



МЕРА МУЖЕСТВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва . 1965

9(С)27
М52

Составитель *В. С. Локшин*
Редактор *Н. С. Гудкова*

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

2 мая 1945 года соединения Советской Армии завершили штурм Берлина. Над поверженной столицей третьего рейха взвилось красное знамя Победы. К этому времени на всей территории Германии не осталось ни одной более или менее организованной части фашистских войск: они были разгромлены, и оставшиеся, как говорят, у разбитого корыта, представители ставки Гитлера оказались вынуждены подписать акт безоговорочной капитуляции. На том и закончилось существование третьего рейха.

День окончания войны с фашистской Германией — 9 мая 1945 года был объявлен в нашей стране всенародным праздником.

С тех пор прошло двадцать лет, но события Великой Отечественной войны сохранились в памяти так, словно они совершались только вчера. И это не удивительно. Ведь нельзя забыть массовый героизм советских людей, их ратные и трудовые подвиги. Чем дальше отодвигает нас время от тех знаменательных событий, тем полнее видится их масштаб, яснее становится их смысл и существо.

Начало Великой Отечественной войны сложилось для нас весьма неблагоприятно. Вероломное вторжение огромной военной машины Гитлера в пределы Страны Советов принесло много бед. Оставляя города и села пограничных областей и республик, войска Красной Армии откатывались в глубь страны с большими потерями в людях и технике. Стратегическая инициатива находилась в руках врага. Германские империалисты рассчитывали сравнительно быстро уничтожить Советское государство, восстановить в нашей стране власть помещиков и капиталистов,

расчленить Советский Союз, отторгнуть и включить в состав Германии Эстонию, Латвию, Литву, Белоруссию, Украину, Крым, Кавказ, Поволжье, а советских людей превратить в рабов. К осени сорок первого враги подошли к жизненно важным районам страны, в том числе и Москве.

Но именно в этот весьма опасный для Советского Отечества момент Коммунистическая партия, руководя борьбой Вооруженных Сил и всего народа, сумела организовать дело защиты социалистической Родины так, что на самых ответственных участках фронта — под Ленинградом, на подступах к Москве и в районе Ростова-на-Дону — врагу были нанесены сильные контрудары, в результате чего стратегическая инициатива стала уходить из его рук. А после разгрома немцев под Москвой стало ясно, что успехи захватчиков носили временный характер. Однако наше положение оставалось еще очень серьезным, и поэтому Советское правительство, Коммунистическая партия, ее члены, находящиеся в рядах армии и флота, продолжали вести работу по мобилизации всех сил к новым генеральным сражениям.

Второй фронт на западе Европы, куда довольно долго собирались высадиться войска Англии и Соединенных Штатов Америки, возможно, так и не открылся бы, если бы советский народ, ведя борьбу с фашистской Германией один на один, к исходу сорок второго года, после завершения Сталинградской битвы, не добился коренного перелома хода всей второй мировой войны в пользу антигитлеровской коалиции.

Этот перелом был достигнут благодаря массовому героизму советских людей на фронте и в тылу, правильной политике партии. Враг был побежден стойкостью советских воинов в оборонительных боях и решительностью в наступлении, их высоким воинским мастерством, мощью и количеством вооружения, изготовленного на советских заводах, значительная часть из которых была заново введена в строй после эвакуации в глубокий тыл страны.

Вскоре весь мир облетела еще одна радостная весть: битва на Курской дуге завершилась победой советских войск. Враг, пытавшийся взять реванш за поражение на Волге, оказался на краю пропасти. Теперь перед советскими войсками встала задача очистить родную землю от захватчиков, а затем приступить к исполнению исторической миссии — освобождению народов Европы от гитлеровского ига.

Небывалый трудовой подъем тружеников тыла страны — рабочих, колхозников, советской интеллигенции, неудержимый

наступательный порыв воинов, возросшее мастерство военных начальников предопределили исход борьбы на новом этапе войны. К концу 1944 года — года решающих побед Красной Армии над немецко-фашистскими войсками и их союзниками — советская земля была полностью освобождена от врага. Кроме того, к этому же моменту крупные силы немецко-фашистских войск были разгромлены на территории Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и северной Норвегии. Таким образом, зловещее пламя войны, взметнувшееся из центра фашистского государства, было возвращено на его собственную территорию. Сеятели ветра пожали огненную бурю.

Таков вкратце итог героических усилий советского народа в Великой Отечественной войне с немецко-фашистскими захватчиками. Сплоченность советского народа и Коммунистической партии обеспечила не только свободу и независимость единственного в ту пору социалистического государства, но и избавила человечество от коричневой чумы. Я убежден, что свободолюбивые народы мира никогда не забудут наш вклад, наши жертвы в этой борьбе за победу прогресса, за победу света над мраком, за утверждение длительного мира на земле.

Мне, участнику многих сражений на фронтах Великой Отечественной войны, довелось пережить немало трудных, порой невыносимо тяжелых дней. Но самое сильное, что осталось в памяти от тех испытаний,— это чувство гордости за героизм наших воинов. Защищая священные рубежи на берегах Волги или штурмуя вражеские укрепления на всем многотрудном пути от Волги до Берлина, они буквально не знали страха в бою. Целыми полками, дивизиями шли под огонь и, действуя решительно, используя врученную им боевую технику на полную мощь, выходили победителями. Ни вода, ни огонь, ни ливни свинца, ни вихри рваного железа, что били им в лицо на каждом шагу, ни зной, ни холод в обледеневших окопах — ничто не мешало им драться за свободу и честь любимой Родины с отдачей всех сил. Это были настоящие богатыри земли советской. Ими нельзя не гордиться.

Порой в груди становится тесно от полноты чувств за свой народ. Минувшая война была поистине всенародным подвигом великой страны за великие идеалы.

И мне приятно отметить, что в этом всенародном подвиге приняли активное участие советские писатели.

Писательское слово в солдатском окопе или блиндаже можно сравнить с боевым снарядом, разящим самую опасную цель в стане врага. Писатель приносил в солдатские души веру в

победу над врагом. Я не знаю ни одного случая, чтобы после беседы писателя с воинами или после прочтения его выступления в печати появилось уныние или растерянность. Такого не было в дни войны! Наоборот, писательское слово вселяло бодрость, решительность в воинов. Вспомните выступления Николая Тихонова — поэта и публициста из осажденного Ленинграда! Его рассказы о героизме воинов и трудящихся города Ленина, блокированного фашистами, поднимали дух, неукротимое желание разбить врага во что бы то ни стало не только на берегах Невы, но и на берегах Волги, на Дону, на Кубани, на всех участках фронта.

В тяжелые дни Сталинградской битвы наши воины видели в своей среде писателей Константина Симонова, Евгения Долматовского, Михаила Шолохова, Алексея Суркова, Василия Гроссмана, Миколу Упеника и других бойцов «литературного полка».

Позже мне довольно часто приходилось встречаться непосредственно на фронте с неугомонным Всеволодом Вишневским, человеком неистощимой творческой энергии и отважного сердца.

Тогда, в дни суровых испытаний, в дни горестных и радостных переживаний, у нас, командиров и политработников, не хватало ни сил, ни времени на то, чтобы рассказать о виденном и пережитом, порой казалось, нет таких слов, чтобы выразить свои чувства, свои впечатления о той ярости, с которой вели сражения наши воины. Временами появлялась вполне обоснованная забота: что надо сделать, чтобы наши дети, будущие поколения знали о патриотических делах своих отцов, матерей, старших братьев и сестер в войне с фашистскими захватчиками? Мы тревожились: не останутся ли забытыми те, кто пал смертью храбрых на поле боя, не успев сказать ни слова о себе и о своих боевых подвигах? Ведь истинные герои мало говорят, а больше делают и умирают почти всегда молча. Как, какими путями проникнуть в духовный мир погибших, чтобы они смогли поговорить с живыми, ради жизни которых они шли в бой? Трудная и сложная задача.

Но уже в ходе войны стали появляться очерки, рассказы, повести, в которых, как бы воскресая, вставали перед глазами живые образы героев недавних сражений. Прошло еще немного времени, и стали появляться большие литературно-художественные полотна — романы, поэмы, пьесы, киносценарии, в которых заговорили во весь голос и погибшие и живые участники былых сражений. За это наше солдатское спасибо советским писателям! Они, летописцы боевых дел своего народа, своими писа-

тельскими средствами, художественным словом, как бы вводят нас в круговорот былых сражений, рассказывают новому поколению, какой ценой добыта мирная жизнь, и учат, какие уроки надо извлечь для настоящей и будущей жизни из той борьбы, какую вели отцы и старшие товарищи.

Вот и теперь, в этой книге, большая группа писателей представила в своих очерках и зарисовках грандиозную картину минувшей войны, целую галерею героев. Читаю эти очерки и как будто вновь оказываюсь там, на переднем крае борьбы с захватчиками. Перед глазами встают и напряженные дни сражений под Москвой, и суровая жизнь людей в дни блокады Ленинграда, и огненные бури на берегах Волги, и штурмовые ночи на Днепре, и шквальные удары наших войск по укреплениям противника в его собственном логове. Сколько ярких эпизодов, сколько удивительно смелых и отважных людей в этой книге!

Авторы настоящего сборника описывают не выдуманные эпизоды, а то, что видели сами, что пережили в огне войны. Мне особенно приятно отметить, что наряду с такими художниками слова, мастерами советской литературы, как Александр Фадеев, Константин Федин, Николай Тихонов, Мариэтта Шагинян, Константин Симонов, Борис Полевой, Василий Гроссман, Александр Бек, Алексей Сурков, Юрий Жуков, Сергей Смирнов, в настоящем сборнике выступают молодые публицисты, и среди них бывший боец 62-й армии Алексей Очкин, бывший комиссар стрелкового батальона Иван Падерин и другие.

Каждый из них по-своему, но искренне рассказывает о войне, о своих боевых друзьях, о массовом героизме советских людей на фронте и в тылу, о мужестве и отваге бойцов, командиров, политработников, которых вела наша великая партия к победе. Многие герои этих очерков пали смертью храбрых на поле боя, многие продолжают честно служить Родине. Я хочу, чтобы наша молодежь знала о них. У них есть чему поучиться.

В добрый путь, герои-воины, к душам и сердцам новых поколений!

Маршал Советского Союза,
дважды Герой Советского Союза
В. ЧУЙКОВ

С. С. СМИРНОВ

УТРО В БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

Героическая оборона Брестской крепости, гарнизон которой принял на себя первый удар гитлеровцев на рассвете 22 июня 1941 года, вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из самых славных и ярких ее страниц. Десятки героев этой обороны, таких, как Герой Советского Союза майор Петр Гаврилов, воспитанник полка мальчик Петя Клыпа, военфельдшер Раиса Абакумова и многие другие, теперь всенародно известны, а стойкость и мужество крепостного гарнизона стали воплощением лучших качеств советского воина.

В очерках, печатающихся ниже, рассказано лишь о первых минутах и часах этой беспримерной обороны на двух участках центральной крепости. Все описанные здесь события происходили на самом деле, и все имена героев подлинные. Лейтенант Александр Махнач — ныне белорусский писатель — живет и работает в Минске. Заместитель политрука Самвел Матевосян — горный инженер, трудится в Армении, депутат Верховного Совета Армянской ССР. Полковой комиссар Ефим Фомин, душа обороны Брестской крепости, был позднее раненым захвачен гитлеровцами и расстрелян у крепостной стены. Посмертно он награжден орденом Ленина.

СЛУШАЙ МОЮ КОМАНДУ!

Лейтенанту Махначу казалось, что ему привиделся ночной кошмар. Что-то грозное, стихийное, как внезапно налетевшая буря, бушевало вокруг него, жаркий ветер хлестал в лицо, спирая дыхание, и какие-то камни больно барабанили по голове и плечам. Махнач инстинктивно съежился и закрыл лицо руками. Это движение вернуло ему чувство реальности, он осознал, что

уже не спит и то, что кажется ему сонным кошмаром, происходит на самом деле. Он стремительно вскочил.

Все вокруг гудело, дрожало. Близкие взрывы встряхивали каменный пол казармы, с потолка дождем сыпалась штукатурка. Все было так жутко, что казалось неправдоподобным, и на мгновение Махначу снова почудилось, будто он видит сон. Он даже ущипнул себя за руку, чтобы скорее проснуться, и лишь, ощутив боль, понял, что это не сон, что началась война.

Сквозь открывшуюся от взрыва дверь он видел двор крепости, заволоченный клубами дыма и пыли.

Вдруг у самых дверей вырос столб пламени, грохнул оглушительно звонкий взрыв, горячая волна воздуха туго плеснула в лицо, вихрь осколков с воем пронесся над головой, и лейтенант в ужасе кинулся под нары. Подгоняемый безудержным слепым страхом, он быстро пополз на четвереньках, больно ударяясь головой о перекладины, пока не очутился в углу, куда не так часто падали осколки. Здесь он присел на корточки, перевел дух и почти машинально посмотрел на свои часы. Было четыре часа двадцать минут.

Только теперь, немного придя в себя, Махнач вспомнил о том, что он — единственный командир в казарме, остальные с вечера получили отпуска. Значит, именно он и никто другой должен командовать, поднять бойцов в ружье, организовать и возглавить оборону роты. Ведь враг вот-вот появится здесь.

От этой мысли он похолодел. Сознание необходимости действовать немедленно, не теряя ни секунды, было таким повелительным, что он начал командовать, прежде чем подумал о том, как это следует сделать.

— Рота-а! — закричал он из-под нар.— Я — лейтенант Махнач! Слушай мою команду! В ружье!

И тотчас же ему ясно представилась вся нелепость положения. Он, командир, приказа которого ждут бойцы, забился под нары и отсюда подает команды, призывает к оружию. Ему вдруг стало мучительно стыдно перед солдатами, перед самим собой, и стыд этот, как огнем, выжег последние остатки страха. Махнач торопливо выбрался из-под нар, вытащил из кобуры свой пистолет, перебежал к наружной стене и стал около нее, в стороне от дверей.

Два-три бойца, заметив лейтенанта, бросились к нему. Человек десять жались в углах. Остальных не было видно — вероятно, тоже спрятались.

— Слушай мою команду! — снова крикнул Махнач.— Все ко мне! Немцы идут!

Это подействовало. Один за другим люди вылезали из-под нар и бежали к командиру. Вокруг Махнача сразу собралось десятка три бойцов.

Но лишь немногие имели винтовки — большинство было с пустыми руками. Пирамида с оружием стояла как раз напротив двери, там особенно густо летали осколки, и подойти туда никто не решался.

Тогда один из сержантов, у которого была винтовка, осторожно пополз вперед. Укрываясь за нарами и издали подцепляя штыком за ремни, он вытаскивал из пирамиды винтовки и подсумки с патронами и передавал их солдатам. Вскоре все были вооружены. По приказанию Махнача бойцы снимали с нар раненых и укладывали их на матрацы в безопасном месте у стены. Раненых и убитых оказалось много, и в роте оставалось всего тридцать — сорок боеспособных солдат.

Махнач заметил, что, получив оружие, бойцы приободрились и повеселели, снова почувствовали себя воинами, а не одинокими беспомощными людьми. Но солдат было слишком мало. Для успешного отражения атаки надо было как можно скорее соединиться с другими ротами.

Сделать это было нелегко. Казармы 455-го полка занимали ту часть кольцевого здания Брестской крепости, где раньше находились склады с большими железными дверями, отгороженные друг от друга глухими стенами. Чтобы попасть из отсека в отсек, надо было выйти во двор.

Артиллерийские налеты немцев следовали один за другим. Во дворе бушевал такой огонь, что всякая попытка перебежать в соседнее помещение привела бы только к ненужным потерям. Но ждать, пока противник прекратит обстрел, тоже было нельзя — тогда начнется атака пехоты. Оставался лишь один способ — проламывать стену.

В углу казармы лежали ломы и кирки. Ими пользовались, когда батальон работал на строительстве укрепленного района. Как только раздались первые удары, с той стороны послышался глухой стук — видимо, бойцы из соседнего отсека тоже стали пробиваться навстречу людям Махнача.

В противоположной дверям северной стене казармы были прорезаны две узкие бойницы, выходившие на Мухавец. Молодой сержант, который смотрел в одну из них, встревоженно окликнул лейтенанта.

Махнач подбежал к нему.

Сквозь бойницу была видна часть моста через Мухавец, ведущего из северной части крепости на центральный остров. На

мосту лежали убитые. Их было много, и по одежде Махначу показалось, что большинство из них командиры. Четверо командиров, низко пригибаясь, бежали по мосту к казармам. И хотя взрывов в этот момент поблизости как будто не было, трое упали, убитые или раненые, а четвертый на мгновение присел, но тут же побежал дальше, прихрамывая, и скрылся из поля зрения лейтенанта.

— Видать, немец откуда-то из пулемета по мосту бьет,— сказал сержант.— Я все гляжу — командиры наши в казармы бегут, а он их так и косит, так и косит.

— Вон еще...— начал сержант, но вдруг осекся и, резко дернув головой, опрокинулся навзничь.

Махначу показалось, что сержанта поразил в спину осколок, влетевший со двора через дверь. Он потряс его за плечи и тогда увидел, что сержант мертв. На лбу у него чернела рана. Значит, кто-то стрелял в бойницу со стороны Мухавца — может быть, в кустах противоположного берега уже сидел немецкий снайпер.

Махнач опасливо отошел от бойницы. Солдаты уже проломили стену в смежный отсек, и первое, что бросилось в глаза Махначу, было раскрасневшееся, взволнованное лицо его товарища по пехотному училищу младшего лейтенанта Смагина.

Они очень обрадовались друг другу, и Махнач с удивлением подумал о том, каким образом Смагин оказался в крепости — ведь вчера он ушел в отпуск. Но спрашивать и говорить об этом было некогда. В отсеке Смагина было двадцать стрелков и два станковых пулемета.

Начали пробивать стены в соседние помещения, соединились с другими ротами. где уже командовали лейтенант Стельмахов и раненный в руку лейтенант Мартыненко, проникли в полковой склад боепитания и раздали бойцам патроны и гранаты. Теперь отсеки сообщались между собой. Во всех помещениях набралось около трехсот человек. Стрелки и пулеметчики залегли у дверей, заняли позиции у окон, выходящих во двор.

Немцев еще не было видно, но за пеленой дыма, где-то в стороне Тереспольской башни, в районе расположения 333-го полка, слышалась сильная перестрелка, и со двора в двери казарм вместе с осколками все чаще стали залетать пули.

Махнач приказал направить в ту сторону один из станковых пулеметов. и сам прилег за щитком рядом с расчетом «максима». Они ждали, пока рассеется дым от взрывов и станет видно, что делается около Тереспольских ворот. Но противник усилил обстрел крепости, и снаряды рвались во дворе непрестанно.

Вдруг откуда-то, казалось из самой гущи взрывов, возникла пригнувшаяся, стремительная фигура, и в отсек вбежал командир. Его появление было так неожиданно, что никто даже не успел заметить, с какой стороны он прибежал. Первым опомнился Махнач.

— Ложись! — крикнул он.

Командир послушно упал ничком возле лейтенанта. И как только он повернул голову, Махнач сразу узнал круглое, слегка курносое молодое лицо с быстрыми живыми глазами, в которых даже сейчас горел озорной огонек. Это был другой его товарищ по Минскому пехотному училищу. Махнач уже забыл его фамилию, но помнил смешное прозвище — Сашка-пистолет. Два года назад они были курсантами одной роты, но потом Махнача и многих других перевели в Калинковичское училище, а Сашка-пистолет остался доучиваться в Минске. Они не виделись с тех пор и сейчас встретились впервые.

Как и Махнач, Сашка-пистолет носил на петлицах два лейтенантских «кубаря». Он, видимо, служил в каком-то из соседних полков. Он тоже узнал Махнача. Они ни о чем не спросили друг друга, даже не поздоровались, и Сашка лишь сказал торопливо:

— Мне туда,— и махнул рукой в направлении Тереспольских ворот.— Меня там мои бойцы ждут, может, уже дерутся, а я никак к ним не проберусь. Дай мне двух пулеметчиков — пробиваться буду.

Махнач вызвал из соседнего отсека двух бойцов с ручными пулеметами.

— В ту сторону не ходи,— показал он направо, на казармы 333-го полка.— Там бой идет. Лучше мимо Белого дворца пробирайся. Придешь на место — присылай связных.

— Ладно! — кивнул Сашка.

— Я думаю, скоро войска должны подойти,— сказал Махнач.— Наверно, и Москва уже знает.

— Пока Москва узнает, от нас тут только пыль останется,— невесело усмехнулся Сашка.

И хотя всем, кто находился в отсеке казармы, еще недавно показалась бы безумием всякая попытка выйти во двор под бешеный огонь противника, эти трое, низко пригнувшись, один за другим выскочили в двери и скрылись за стеной. А Махнач, проводив их глазами, почему-то всем сердцем поверил в то, что с его товарищем не случится ничего плохого и молодой лейтенант благополучно доберется к своим бойцам, которые, может быть, уже дерутся с противником, а может быть, еще не опра-

вились от первого замешательства и нужен решительный властный голос командира: «Слушай мою команду!», чтобы вернуть им самообладание и волю, призвать их к оружию и к борьбе.

Махнач только успел подумать об этом, как в той стороне, куда ушли смельчаки, где-то за Белым дворцом, в расположении 84-го полка, затрещала беспорядочная пальба, и далекое протяжное «ура!» донеслось оттуда. А в следующую минуту из высокого узкого окна костела, где помещался гарнизонный клуб, по 455-му полку ударил длинной очередью немецкий пулемет.

Немцы были в центральном дворе Брестской крепости.

КРЕПОСТЬ ПРИНИМАЕТ БОЙ

С первыми взрывами комсорг 84-го полка, заместитель политрука Матевосян, схватив пистолет, одежду и сапоги, выскочил в коридор. Здесь никого не было. Дверь комнаты напротив была раскрыта настежь, и сквозь нее виднелся серый прямоугольник окна, то и дело озарявшийся вспышками взрывов, бушующих во внутреннем дворе крепости. Казарма ходила ходуном, но сюда, в коридор, осколки не залетали.

С лихорадочной поспешностью Матевосян оделся. Внезапно открылась дверь кабинета комиссара полка. Оттуда в коридор вырвались клубы густого дыма, а вместе с ними появился и комиссар Фомин, в одних трусах. Матевосян ринулся к нему навстречу.

— Что случилось? — хрипло выдохнул комиссар, и даже в сумраке коридора Матевосян увидел, как бледно его лицо.

— Война, товарищ комиссар! Немцы напали! — закричал комсорг.

— Может быть, диверсия? Склады взрываются? — допытывался Фомин.

Он словно боялся произнести это слово «война», силясь подыскать какое-нибудь другое объяснение происходящему.

В конце коридора у лестницы показался лейтенант Кузнецов, дежуривший внизу, в штабе. Розовощекое мальчишеское лицо его выражало испуг и растерянность. Подбежав, он вытянулся перед комиссаром и как-то нелепо козырнул ему рукой, в которой держал пистолет.

— Что делать, товарищ комиссар? Что делать? Что

делать? — быстро и нервно спрашивал он, странно припрыгивая на месте.

Вероятно, вид этого растерявшегося лейтенанта помог Фомину справиться со своим волнением.

— Возьмите себя в руки! — резко сказал он.— Оставайтесь на своем месте. Всех людей — в подвал. Я сейчас приду.

Кузнецов опрометью кинулся исполнять приказание, а комиссар вдруг рванулся назад, к двери своего кабинета, и Матевосян едва успел схватить его за руку.

— Куда вы?

— Там одежда. Партбилет в гимнастерке. Сгорит все!..— крикнул Фомин, вырываясь.

Оттолкнув комиссара, Матевосян бросился в дверь. Густой едкий дым наполнял кабинет так плотно, что нельзя было даже различить окно на противоположной стороне комнаты. От окна дышало жаром — видимо, туда попал зажигательный снаряд и там горел пол.

Помня, где стояла койка комиссара, Матевосян, зажмурив глаза, кинулся вперед и с разбегу почти упал на кровать. Отворачивая лицо от огня, он шарил руками и тут же наткнулся на одежду, висевшую на спинке кровати. Он сгреб ее в охапку и нагнулся, пытаясь отыскать на полу сапоги комиссара, но жар стал нестерпимым, и Матевосян, чувствуя, что в следующую секунду потеряет сознание, побежал к двери, задыхаясь и судорожно кашляя.

В коридоре обнаружилось, что он принес комиссару две гимнастерки. Но Фомин первым делом нащупал в нагрудном кармане одной из них партбилет и, махнув рукой, сказал, что брюки и сапоги он достанет у кого-нибудь из бойцов.

Через минуту комиссар и комсорг были в подвале, под штабом. Здесь уже собралось сотни полторы людей — штабные работники, солдаты хозяйственного и конного взводов, какие-то незнакомые Матевосяну бойцы из других подразделений, с винтовками и безоружные. Притихшие, бледные, люди толпились кучей, встревоженно прислушиваясь к неумолкающему грохоту артиллерийского обстрела.

Фомину тотчас же раздобыли брюки и сапоги. Матевосян заметил, как подтянулись бойцы, едва только раздетый человек, несколько минут назад прибежавший к ним в подвал, превратился в знакомого им полкового комиссара. Да и сам Фомин, туго затянув ремень на своей гимнастерке с четырьмя шпалами на петлицах, казалось, окончательно обрел свойственные ему спокойствие и уравновешенность.

Солдаты расступились, пропуская его и Матевосяна к окну. Сейчас они с немым вопросом и надеждой смотрели на комиссара, ожидая его приказаний. Все они понимали — нужно что-то делать, но что́ — мог сказать только он — старший из находившихся здесь командиров. В этот час смертельной опасности, когда им предстояло в сложной и неясной обстановке внезапного нападения врага выполнять свой долг, командирская власть сразу приобрела особый смысл и значение.

Сводчатое окно подвала, пробитое на уровне земли, выходило на юг, в сторону Мухавца. Река текла всего в десятке метров впереди, но берег скрывал ее от глаз.

За Мухавцом сплошной темной стеной поднимались зеленые заросли Южного острова. Вспышки разрывов то и дело озаряли кроны высоких тополей, и тогда видно было, как в огненном столбе взлетают вверх комья земли и срезанные ветви деревьев.

Вот взрывы загрохотали где-то совсем близко — очевидно, немцы били по крепости из тяжелых орудий. Так продолжалось минут десять, а затем грохот постепенно отдалился — вероятно, артиллеристы противника перенесли огневой вал дальше.

И вдруг слева совсем рядом раздался негромкий рокот автомобильного мотора, мимо окна медленно проплыло что-то громоздкое, с темными фигурами людей, и все находившиеся в подвале ясно услышали непривычный для уха чужой говор — отрывистую, гортанную немецкую речь.

Все замерли. Это показалось страшнее всяких взрывов.

Только несколько секунд спустя Матевосян понял, что́ проплыло мимо окна. Наполовину скрытый береговым откосом по Мухавцу у самых стен казармы прошел катер, на палубе которого стояли немецкие солдаты. Его появление было таким неожиданным, что никто даже не пытался стрелять по немцам, и катер тут же скрылся из глаз, направляясь вверх по течению в сторону Холмских ворот.

Немцы в крепости! При этой мысли Матевосяну стало жутко. Что могут сделать сто пятьдесят наполовину безоружных людей, скученных в тесной каменной коробке подвала! Достаточно будет двух-трех немецких гранат, брошенных через окно, достаточно будет нескольких очередей автомата!

Словно в ответ на его мысли комиссар приказал:

— Выводи людей наверх и занимай оборону в ограде Белого дворца. Тут нельзя оставаться.

Матевосян бросился к выходу из подвала.

— Все ко мне! — крикнул он.— Коммунисты и комсомольцы, вперед!

Подвал мгновенно пришел в движение. Люди устремились к дверям, возле которых стоял комсорг, и по тому, с какой поспешностью откликнулись они на его зов, Матевосян понял, как тяготит их это вынужденное, томительное ожидание и как нетерпеливо рвутся они к действию.

Пробравшись через толпу, к дверям подошел и Фомин. Сто пятьдесят пар глаз с жадным вниманием неотрывно смотрели сейчас в бледное, озабоченное, нахмуренное лицо этого невысокого черноволосого человека.

Кратко, в нескольких фразах Фомин сказал о начавшейся войне и напомнил бойцам об их долге перед Родиной. Это были те же знакомые слова, которые солдаты не раз слышали из уст комиссара во время политбесед, но Матевосян почувствовал, что сейчас они звучат совсем по-новому, словно сказанные впервые. Даже голос комиссара был иным — в тоне его, раньше неизменно спокойном и суховато наставительном, теперь слышалась глубокая взволнованность, проникновенность.

Комиссар не скрывал опасности положения. Он сказал, что немцы уже в крепости, что они вот-вот могут ворваться во двор и в казармы. Надо немедленно выходить из подвала, занимать оборону и держаться во что бы то ни стало, пока на помощь не подойдут другие части. Он объявил, что до прибытия командира дивизии и командира полка принимает командование и назначает своим заместителем замполитрука Матевосяна, приказы которого обязательны для всех.

— Веди! — коротко приказал он комсоргу.

С криком «За мной!» Матевосян, взмахнув пистолетом, кинулся вверх по узкой лестнице, выводящей из подвала в помещение штаба на первом этаже. Солдаты повалили за ним.

Он еще не добежал до конца лестницы, как вдруг картина, открывшаяся его глазам, заставила его резко остановиться. В пустом помещении штаба был только дежурный командир — Кузнецов. Вероятно, заслышав топот на лестнице, он бросился от стола навстречу Матевосяну. И в этот самый момент за его спиной в светлом прямоугольнике окна, выходящего во двор, появилась темная фигура немца в надвинутой на лоб каске. Зазвенело разбитое стекло, в воздухе промелькнула граната с длинной деревянной ручкой и ударилась об пол рядом с Кузнецовым. Комсорг упал на ступени, раздался взрыв и отчаянный, нечеловеческий вскрик Кузнецова. В следующую секунду Матевосян вскочил на ноги, пробежал через комнату мимо

стонущего на полу окровавленного лейтенанта и в наружной двери столкнулся лицом к лицу с немецким солдатом.

Они выстрелили одновременно, почти в упор — немец из автомата, Матевосян из пистолета. Взмахнув руками, автоматчик повалился навзничь, через порог. Матевосян почувствовал резкий удар по голове, отшатнулся и схватился рукой за темя. Под ладонью была кровь.

Но это оказалась только царапина — пуля лишь рассекла кожу на голове, не задев кости. Тотчас же опомнившись, комсорг перепрыгнул через труп немца, валявшийся у порога, и выбежал наружу.

Бетонная, с железной решеткой ограда Белого дворца тянулась параллельно казармам, образуя как бы широкую улицу. Над улицей висела дымная полумгла, смешанная с пылью, поднятой взрывами. В этой дымной мути тонко посвистывали пули, часто сверкали огоньки выстрелов и совсем близко мелькали темные, настороженно пригнувшиеся фигуры людей в касках и с автоматами в руках. Вокруг были немцы.

Матевосян так никогда и не мог вспомнить во всех подробностях, как развертывался этот первый бой. Он что-то кричал, командовал, но ему казалось, что никто не слышит его голоса и все происходит само по себе, независимо от его вмешательства.

Отряд автоматчиков, который только что вошел в Тереспольские ворота цитадели и своим авангардом занял клуб и столовую комсостава, теперь продвигался основными силами к восточной окраине острова. Немцы шли по улице хаотически нестройной толпой, строча по сторонам из автоматов. Удар бойцов во главе с Матевосяном, вырвавшихся из дверей штаба, пришелся как раз в середину этой толпы и рассек ее надвое.

Только половина людей имела винтовки, остальные вооружились чем попало. Немцев было больше, и у них были автоматы. Но в тот момент никто даже не подумал об этом. Увидев перед собой противника, бойцы с ходу ударили в штыки, и яростное «ура!» загремело над улицей, заглушая собой грохот окрестной канонады.

Страшная, неудержимая сила была в этом ударе. В нем словно выплеснулось наружу все то, что уже успело до краев переполнить души бойцов за эти полчаса войны,— гнев и возмущение против врага, который так подло, воровски напал на спящих людей, боль за погибших и гибнущих товарищей, стремление расплатиться за пережитый каждым оскорбительный страх первых минут нападения.

Немцы, вероятно, уже не рассчитывали встретить серьезное сопротивление в цитадели. Внезапное появление русских солдат, бегущих со штыками в атаку, застало их врасплох. Автоматчики дрогнули и смешались. Те из них, которые еще не дошли до дверей штаба, кинулись назад, к Холмским воротам и костелу. А большая часть отряда оказалась отрезанной от своих и, беспорядочно отстреливаясь, побежала к восточному углу острова.

Вид отступающего противника сразу прибавил бойцам силы. Полное глухой угрозы и суровой решимости «ура!» атакующих раскатилось еще громче и победнее. Отирая рукавом кровь, Матевосян на бегу стрелял в зеленые спины автоматчиков и видел, как впереди в толпе удирающих немцев неистово работают штыками наши бойцы, как, обгоняя его, бегут охваченные азартом боя, со страшными, перекошенными в яростном крике лицами красноармейцы, вооруженные ножами, какими-то палками или просто обломком кирпича. К каждому убитому немецкому автоматчику бросалось несколько человек, стараясь завладеть его оружием, а если падал кто-нибудь из своих, его винтовка тут же оказывалась в руках другого бойца, продолжая с прежней силой разить врагов.

Раньше, чем немцы успели опомниться, они были отброшены к восточному краю острова и прижаты к реке. Но здесь, на берегу, они залегли, и их огонь остановил атакующих. Только тогда противник обнаружил свое численное превосходство — автоматчиков было больше сотни, а преследовало их всего сорок — пятьдесят бойцов. Немцы тотчас же воспользовались этим преимуществом и перешли в контратаки, стараясь пробиться назад, к своим основным силам. Поредевшая в бою группа красноармейцев, упорно отстреливаясь, стала медленно отступать к Белому дворцу.

Отбегая назад, от укрытия к укрытию, Матевосян кричал, подбадривая своих людей. Он ожидал, что с минуты на минуту сюда подоспеют остальные бойцы его группы, погнавшие немцев к Холмским воротам, и тогда автоматчики снова будут отброшены к Мухавцу. Но помощь не приходила.

Патроны в пистолете комсорга давно кончились, и теперь в руках у него была винтовка, взятая у кого-то из убитых. После очередной перебежки Матевосян оказался в проеме одной из дверей казарм и, припав на колено, сделал отсюда несколько выстрелов по немцам. Потом обойма иссякла, и стрелять уже было нечем. С досадой сжимая в руках ставшую бесполезной винтовку, комсорг растерянно оглянулся по сторонам и вдруг

заметил, что он стоит у двери, ведущей в казарму третьего батальона.

Мгновенная догадка осенила его. Третий батальон — единственный из всех батальонов 84-го полка — не участвовал в учениях и не был выведен в летний лагерь, оставаясь в крепости. Сейчас он в полном составе должен быть здесь, в казармах, на втором этаже.

Немцы были уже совсем рядом. Матевосян нырнул в дверь и, прыгая через ступеньки, помчался вверх по лестнице. Теперь исход боя решали минуты.

Казалось, противник неминуемо прорвет редкую цепь красноармейцев. Огонь автоматчиков делал свое дело, и отступление наших бойцов грозило вот-вот превратиться в бегство. Немцы уже шли в рост, без перебежек, чувствуя, что силы обороняющихся на исходе.

И в этот самый момент из открытых дверей казармы вырвалось многоголосое протяжное «ура!», и на улицу прямо в середину толпы атакующих автоматчиков хлынул свежий поток вооруженных бойцов. Роты третьего батальона, возглавленные Матевосяном, внезапно ударили во фланг противнику.

Все было кончено в несколько минут. Большую часть автоматчиков перебили тут же на улице, в рукопашной. Уцелевшие немцы побежали назад и кинулись вплавь через Мухавец, но по воде застрочили наши ручные пулеметы, и ни один германский солдат не вышел на противоположный берег. У убитых забрали их оружие, патроны, и Матевосян повел батальон к Белому дворцу.

Первый успех необычайно поднял настроение бойцов. Комсорг видел вокруг себя радостно возбужденные лица, горящие глаза, слышал, как взволнованно солдаты делятся друг с другом впечатлениями об этом бое. Они получили сейчас боевое крещение, встретились лицом к лицу с противником, вступили с ним в рукопашную схватку и одержали победу. Они почувствовали сокрушительность своего штыкового удара, ощутили всю грозную силу своего раскатистого «ура!» и поверили, что могут бить врага и обращать его в бегство. Сознание этого сразу сделало их смелыми, сильными, уверенными в себе, и это было важнее, чем сам итог боя — уничтожение немецкого отряда. Матевосян подумал, что теперь противнику не сломить боевой дух этих воодушевленных первой победой солдат.

Фомин с остальными бойцами из штаба был уже в ограде Белого дворца. Увидев окровавленное лицо Матевосяна, он встревоженно бросился к нему, но, узнав, что рана неопасна,

выслушал доклад комсорга и велел санитару перевязать его. Пока солдат заматывал бинтом ему голову, Матевосян, впервые с тех пор, как он выбежал из подвала, смог перевести дух и оглядеться.

Шел уже шестой час, и со стороны Мухавца над крепостью поднялось солнце, то и дело заволакиваемое пеленой дыма. Вокруг по-прежнему грохотали взрывы, свистели осколки, но сейчас этот грохот не казался таким страшным, как в первые минуты: ухо уже успело привыкнуть к нему. Высоко в чистой синеве неба одна за другой проплывали эскадрильи германских бомбардировщиков, идущих на восток. На западе вдоль всей линии границы до самого горизонта недвижимо стояли в воздухе похожие на огромных сонных рыб серебристые немецкие аэростаты наблюдения с подвешенными к ним корзинами.

Вокруг Белого дворца собралось уже сотни четыре бойцов, вооруженных пулеметами, винтовками и отбитыми у немцев автоматами. Солдаты сидели или лежали у бетонной ограды, надежно защищающей их от осколков и пуль. Взад и вперед сновали санитары, подбирая тяжелораненых и перенося их в подвалы дворца. В западном углу ограды под деревом возились «станкачи», устанавливая «максим» так, чтобы обстреливать клуб и столовую комсостава — оттуда по Белому дворцу время от времени били вражеские пулеметы.

Присев тут же у стены, Фомин созвал командиров. В большинстве это были сержанты и старшины и среди них три или четыре лейтенанта из штаба, остальные средние командиры ночевали на своих квартирах в городе или в домах комсостава и теперь оказались отрезанными от крепости.

Комиссар приказал ротным старшинам возглавить роты, а помощникам командиров взводов — принять взводы. Наметив каждому подразделению участок обороны, он напомнил, что надо беречь боеприпасы и стрелять только наверняка, велел выделить снайперов и охотиться прежде всего за немецкими офицерами и унтер-офицерами. Видимо, Фомина особенно тревожило то, что командиров у него мало, и он настойчиво повторял им, чтобы они действовали осторожно и расчетливо.

— Помните,— сказал он еще раз,— командиры у нас на вес золота... .

Он вдруг замолчал, словно в голову ему пришла какая-то неожиданная мысль, и, обернувшись, сказал что-то сидящему рядом с ним бойцу, которого оставил при себе в качестве связного. Солдат мигом развязал свой вещевой мешок и достал из него аккуратно свернутую запасную гимнастерку комиссара —

ту самую, что Матевосян давеча вынес из горящей комнаты. Комиссар развернул гимнастерку, ощупал карманы и протянул ее комсоргу:

— Надевай! — приказал он.

— Что? — не понял Матевосян.

— Надевай эту гимнастерку,— повторил Фомин. И, обращаясь к командирам, вдруг сказал твердо и значительно: — От имени командования я временно присваиваю замполитруку Матевосяну звание полкового комиссара. Поручаю ему северный и восточный секторы обороны. Западным и южным буду командовать сам.

— Товарищ комиссар...— растерянно возразил Матевосян. Он обвел взглядом лица командиров, но они были серьезны и строги — это внезапное повышение в звании никому не казалось смешным.

— Я вам трижды приказывать не буду,— отрезал Фомин.— Переодевайтесь! — И, понизив голос, чтобы не слышали бойцы, добавил укоризненно: — Неужели тебе надо объяснять, что значит для солдат присутствие еще одного старшего командира? Выполняй!

Комсорг торопливо стал переодеваться.

Командиры один за другим вскакивали на ноги и, окликнув своих бойцов, пригнувшись, бежали с ними вдоль ограды занимать свой участок обороны. Пулеметчики, поставив под деревом «максим», дали первую очередь по окнам клуба. Далекий шум боя доносился от Тереспольских ворот. Нарастающая трескотня перестрелки слышалась со стороны казарм 445-го полка.

Первые минуты растерянности прошли. Крепость приняла бой.

РАЗЪЕЗД ДУБОСЕКОВО

Разъезд Дубосеково... Нет в нашей стране человека, чье сердце не отзовется на это название. Дети встречают его в школьных хрестоматиях, а их отцы и старшие братья помнят время, когда эта пядь советской земли была на устах у миллионов. Разъезд Дубосеково. Место, где двадцать восемь гвардейцев-панфиловцев отважно приняли бой с пятьюдесятью танками врага. Мне выпало счастье первому рассказать об этом подвиге. Вскоре он стал известен всему миру. Разъезд Дубосеково навсегда вошел в историю Отечественной войны.

Не один раз я бывал на этом священном рубеже советской воинской славы...

Октябрьское наступление фашистских орд на Москву провалилось. На 147-й день войны противник начал второе генеральное наступление на нашу столицу. «Тайфун» — так назвал эту операцию Гальдер, командующий сухопутными войсками гитлеровской армии. Когда весной 1940 года против Франции на всем фронте — от моря и до Седана — действовали десять-одиннадцать бронетанковых дивизий, весь мир содрогнулся от ужаса перед этой концентрацией техники. Теперь только на Москву было двинуто больше бронетанковых частей, чем против всей Франции.

Гитлер обратился к войскам с приказом, объявил начало последнего, «решающего» наступления. «Путь,— гласил приказ,— готов для сокрушительного и окончательного удара, который раздавит противника до начала зимы».

16 ноября. Мощные танковые тараны обрушились на правое крыло нашего Западного фронта. Юго-восточнее Тулы возобно-

вила бешеные атаки 2-я танковая армия противника. В центре рвалась вперед его сильнейшая группировка — 4-я армия.

Помните эти дни?

Северо-западнее столицы гитлеровцы вышли к каналу Москва-Волга — теперь в летние дни москвичи ездят туда купаться — и форсировали его в районе Яхромы. Обойдя Тулу, приблизились к Кашире.

Вскоре после переезда в здание «Правды» редактор вручил мне четыре строки политдонесения, поступившего в числе многих других от политотдела одной из дивизий, оборонявших Москву. В нем было сказано, что группа бойцов во главе с политруком Диевым отразила атаку пятидесяти танков. Ни имени бойцов, ни точного рубежа, на котором разыгрался бой,— ничего не известно. Только фамилия политрука, упоминание о разъезде Дубосеково и самый факт, волнующий, как тревожная, сильная песня...

Я тотчас сел к столу и написал передовую. Назвал ее «Завещание двадцати восьми героев».

Читатель прочтет ее здесь целиком. Не могу сказать, что она хорошо написана. Но именно в ней — пусть и неполно — впервые рассказано о подвиге двадцати восьми героев-панфиловцев. Она была опубликована в газете «Красная звезда» 28 ноября — через двенадцать дней после боя.

Итак, передовая:

«В грозные дни, когда решается судьба Москвы, когда вражеский натиск особенно силен, весь смысл жизни и борьбы воинов Красной Армии, защищающих столицу, состоит в том, чтобы любой ценой остановить врага, преградить дорогу немцам. Ни шагу назад — вот высший для нас закон. Победа или смерть — вот боевой наш девиз.

И там, где этот девиз стал волей наших людей, там, где наши бойцы прониклись решимостью до последней капли крови оборонять Москву, отстоять свои рубежи или умереть,— там немцам нет пути.

Несколько дней тому назад под Москвой свыше пятидесяти вражеских танков двинулись на рубежи, занимаемые двадцатью девятью советскими гвардейцами из дивизии имени Панфилова. Фашистские танки приближались к окопам, в которых притаились наши бойцы.

Сопротивление могло показаться безумием. Пятьдесят бронированных чудовищ против двадцати девяти человек! В какой войне, в какие времена происходил подобный неравный бой! Но советские бойцы приняли его, не дрогнув. Они не

попятились, не отступили. «Назад у нас нет пути»,— сказали они себе.

Смалодушничал только один из двадцати девяти. Когда немцы, уверенные в своей легкой победе, закричали гвардейцам: «Сдавайс!», только один поднял руки вверх. Немедленно прогремел залп. Несколько гвардейцев одновременно, не сговариваясь, без команды выстрелили в труса и предателя. Это Родина покарала отступника. Это гвардейцы Красной Армии, не колеблясь, уничтожили одного, хотевшего своей изменой бросить тень на двадцать восемь отважных.

Затем послышались спокойные слова политрука Диева: «Ни шагу назад!» Разгорелся невиданный бой. Из противотанковых ружей храбрецы подбивали танки, зажигали бутылки с горючим.

В этот час горстка героев не была одинока. Над ней встало великое прошлое нашего народа, грудью отстаивавшего свою независимость. С ней были доблестные победы русской гвардии, о которых фельдмаршал Салтыков еще во время Семилетней войны с пруссаками доносил в Петербург: «Что до российских гвардейцев касается, могу сказать, что противу их никто устоять не может, а сами они подобно львам презирают свои раны». С ней была доблесть и честь Красной Армии, ее боевые знамена, которые в эти минуты как бы осеняли героев. С ней было великое народное благословение на беспощадную борьбу с врагом.

Один за другим выходили из строя смельчаки, но и в ту трагическую минуту, когда смерть пыталась закрыть им глаза, они из последних сил наносили удары по врагам. Уже восемнадцать исковерканных танков недвижно застыли на поле боя. Бой длился более четырех часов, и бронированный кулак фашистов не мог прорваться через рубеж, обороняемый гвардейцами. Но вот кончились боеприпасы, иссякли патроны в магазинах противотанковых ружей. Не было больше и гранат.

Фашистские машины приблизились к окопу. Немцы выскочили из люков, желая взять живыми уцелевших храбрецов и расправиться с ними. Но и один в поле воин, если он советский воин! Политрук Диев сгруппировал вокруг себя оставшихся товарищей, и снова завязалась кровавая схватка. Наши люди бились, помня старый девиз: «Гвардия умирает, но не сдается». И они сложили свои головы — все двадцать восемь. Погибли, но не пропустили врага! Подоспел наш полк, и танковая группа неприятеля была остановлена.

Мы не знаем предсмертных мыслей героев, но своей отвагой, своим бесстрашием они оставили завещание нам, живущим.

«Мы принесли свои жизни на алтарь Отечества,— говорит нам их голос, и громким, неутихающим эхом отдается он в сердцах советских людей.— Не проливайте слез у наших тел. Стиснув зубы, будьте стойки! Мы знали, во имя чего идем на смерть, мы выполнили свой воинский долг, мы преградили путь врагу. Идите на бой с фашистами и помните: победа или смерть! Другого выбора у вас нет, как не было его и у нас. Мы погибли, но мы победили!»

Погибшие герои Отечественной войны — двадцать восемь доблестных гвардейцев из дивизии имени Панфилова — завещали нам упорство и твердость, стойкость и презрение к смерти во имя победы над заклятым врагом. Мы исполним этот священный завет до конца. Мы отстоим Москву, разобьем гитлеровскую Германию, и солнце нашей победы навеки озарит подвиг советских воинов, павших на поле брани».

Утром следующего дня в редакцию позвонил Михаил Иванович Калинин:

— Жаль наших людей — сердце болит. Правда, война тяжела, но без правды еще тяжелее. Что же делать, коль война, то — по-военному, как Ленин говорил. А то, что вы поднимаете на щит героев,— хорошо. Надо бы разузнать их имена. Постарайтесь. Нельзя, чтобы герои оставались безыменными.

В этот же вечер я отбыл на фронт. Он находился от редакции в сорока пяти минутах езды на автомобиле. Дивизию, в которой служили двадцать восемь, застал на переформировании в Нахабине. Это была Панфиловская дивизия. Командира ее генерала И. В. Панфилова я знал раньше. Он был убит незадолго до моего приезда. Начальник штаба полковник Серебряков вполне твердо заявил, что слыхом не слыхал ни о каком политруке Диеве. Комиссар дивизии Егоров тоже не мог припомнить такую фамилию. Между тем дивизия в числе, совпадающем с политдонесением, дралась также и у разъезда Дубосеково. Но Диева никто не знал.

Что это могло означать?

Правда, дивизия только что вышла из многонедельных тяжелых боев. Потери ее были большими. В страшной горячке этих залитых кровью дней, в хриплой бессоннице, в чудовищном напряжении, в чередовании смертей и приема пополнений могло, конечно, затеряться имя политрука роты. Но ведь кто-то должен знать его.

К исходу дня случай свел меня с капитаном Гундиловичем из полка Капрова. Он спокойно сказал, еще ничего не зная о цели моего приезда и только услышав расспросы о Диеве:

— Ну как же, Диев, Диев... Политрук моей роты. Его настоящая фамилия Клочков, а Диевым его прозвал один боец-украинец. От слова «дие», дескать, всегда-то наш политрук в деле, всегда действует — ну «дие», одним словом. Ах, Клочков, Клочков, геройский был парень! Он со своими бойцами остановил полсотни танков у Дубосеково...

Клочкова в дивизии знали все. Я вернулся в Москву и написал очерк, в котором были названы имена двадцати восьми панфиловцев, и рассказал подробности их подвига.

Героизм есть результат целесообразного военного воспитания, говорит нам военная история. И моральный дух, поднявший двадцать восемь гвардейцев на вершину героизма, был не даром судьбы, не минутной вспышкой отваги, а славным итогом терпеливого, упорного воспитания людей.

316-я стрелковая дивизия формировалась в Казахстане. В составе ее были русские, много казахов, украинцы, киргизы. Вскоре она оказалась под Москвой, на защите подступов к столице.

В полосе обороны дивизии враг обладал колоссальным численным превосходством. Но и в самые тяжелые для себя дни она не давала немцам радостей их военных прогулок по Европе. Дивизия отступала, но как! Противник точно узнал, сколько метров в километре, сколько саженей в русской версте. Каждый шаг вперед он оплачивал большой кровью. На фронте гремела слава дивизии, и уже тогда была известна одна примечательная особенность: сквозь участок ее обороны вражеские танки не проходят.

Старый воин полковник Иван Ильич Капров, комиссары Александр Фомич Галушко, Петр Васильевич Логвиненко и Мухомедьяров, капитан Баурджан Момыш-Улы и Гундилович, в чьей роте служил политруком Клочков-Диев,— но и не только они, конечно,— могут считаться нравственными учителями гвардейцев, остановивших пятьдесят танков врага. И все они учились стойкости и умению воевать у своего командира — отца дивизии генерала Панфилова.

Есть военачальники, чья судьба еще при жизни могла стать легендарной. Таков генерал Иван Васильевич Панфилов. Еще живым блеском лучились его глаза, еще часовой у командного пункта замирал от восторга, когда генерал, выходя из зем-

лянки, отечески клал ему на плечо свою руку, еще звучал в батальонах его чуть хрипловатый от стужи голос, а фронтовая молва уже понесла его имя по советской земле.

Август в Казахстане — еще не осень. Не жарким, но душным днем 18 августа воинский эшелон — теплушки, платформы, красные вагоны — оставил станцию Алма-Ату, двинулся на запад.

316-я стрелковая дивизия пошла на фронт.

Ехали не по-курьерски, но и не задерживались. Началась Россия. Березы нехотя сыпали на землю лист. Он медленно кружился в смятенном воздухе, цеплялся за нижние ветви, все хотелось ему задержаться среди других, еще стойких, упругоглянцевых листьев, но новый порыв ветра уже легко, злобноиграючи срывал его вниз.

Темной, без огней, ночью 25 августа эшелон стоял в Москве. Шагая через запасные пути, Клочков прошел насквозь здание вокзала. Бродил по улицам, останавливался, вглядываясь в тревожное, черное небо, добрался до центра города и там, может быть на безлюдном Кузнецком, на улице Горького, вспыхивающей синими маскировочными огнями проносившихся машин, или где-то еще, бросил в узкую щель почтового ящика письмо в Алма-Ату:

«...Чертовская ночь, воровская ночь. Дождь шел все время. Пока что не известно, был в Москве или около Москвы германский вор, но целую ночь гудели моторы самолетов».

Панфилов полагал, что дивизия прямо из вагонов пойдет в бой на дальних подступах к Москве. Но эшелон двинулся дальше, на территорию Ленинградской области. Весь сентябрь дивизия действовала там на второй линии обороны, числясь резервом главного командования.

Из письма тех дней Клочкова жене:

«Бойцы рвутся в бой, и мне самому страшно хочется поскорее схватиться с гадами. А генерал ходит по лагерю с улыбкой и говорит: «Хорошо, хорошо, ребятки. Главное, ешьте побольше, загорайте. Наше слово будет последним». Бойцы за полтора месяца совсем преобразились: стали крепкие, драчливые. Только и разговоров: «Когда же в бой? Где же немцы?» Отчаянные все».

Понюхали пороха панфиловцы и там на Северо-Западном, но главное было впереди.

И когда полки Панфилова маршем двинулись к Москве, на защиту столицы, генерал понимал, что борьба будет жестокой, не на жизнь, а на смерть, но был уверен — дивизия не дрогнет. Он открыл уже своим воинам секрет победы, закалил их в трудах боевой учебы и первых схваток. Полки шли к Москве...

Герой, подтянутый и строгий,
Стоит Панфилов у дороги.
Ему, чапаевцу, видны
В боях окрепшие сыны.
Глядит в обветренные лица.
На поступь твердую полков.
Глаза смеются, он гордится:
Боец! Он должен быть таков!
Его боец!.. Пускай атака,
Пусть рукопашная во рву —
Костьми поляжет и, однако,
Врага не пустит на Москву.

Поражает вера Панфилова в назначение его дивизии. «Наше слово будет последним»,— сказал генерал. А в своей газете «За родину» — ее редактировал поэт и переводчик Джамбула П. Кузнецов — заявил твердо, продуманно: «Мы должны и можем добиться того, чтобы соединение наше вошло в героическую летопись войны неустрашимым, овеянным славой подвигов и геройств орденоносным соединением».

В письмах домой среди простых слов о житье-бытье и нежных строчек о младшей Маечке, «Мамочке», как он ее называл, Панфилов всякий раз клялся: «...дивизия, как я обещал, будет краснознаменной» — или в другом, видимо после переименования первых семи соединений Красной Армии в гвардейские: «...наша дивизия будет гвардейской», в третьем: «Я думаю, скоро моя дивизия должна быть гвардейской...»

И так почти в каждом письме. Вот целиком одно из них:

«Здравствуй, дорогая Мура! Целую тебя и детей. Москву врагу не сдадим. Уничтожим гада тысячами и танки его — сотнями. Дивизия бьется хорошо... Мурочка, работай не покладая рук для укрепления тыла. Твой наказ и свое слово я доблестно выполняю. Твой друг, тебя любящий, Ваня. Целую детей, береги Маечку. Папка. Адрес прежний. Дивизия будет гвардейской. Целую тебя, мой друг и любящая жена». И в уголке странички: «Пишу тебе во время сильнейшего боя».

Пять фашистских дивизий противостояли бойцам Панфилова в Подмосковье. Тридцать тысяч вражеских солдат и офицеров и свыше ста пятидесяти танков еще при жизни генерала унич-

тожила его дивизия в боях за столицу, 316-я стрелковая была одним из тех воинских соединений, которые круто оборвали расчеты врага на падение Москвы.

Когда на командный пункт генерала принесли газеты с Указом Президиума Верховного Совета о награждении дивизии орденом Красного Знамени и преобразовании ее в 8-ю гвардейскую, слезы радости выступили на глазах Панфилова.

— Что он сказал в тот момент? — допытывался я потом у комиссара дивизии.— Не помните?

— Как это не помню? — с обидой ответил Егоров.— Еще как помню! Иван Васильевич говорил, как вреза́л в память. Его слова в решете не просеешь. Полновесно говорил. А когда прочли Указ, вытер слезы и сказал:

— Не стыжусь. Большое дело. Это партия всем нам руку пожала — живым и мертвым. Пойдите да так и скажите людям.

Отношение бойцов к Панфилову можно выразить одним словом: обожание. Они любили его той мужественной любовью, что возникает под огнем, когда генерал делит с солдатом тяготы боев. Панфилов не ходил с обнаженной шашкой в атаку впереди наступающей цепи. Не та война. Но всякий раз он оказывался именно в том месте, где его присутствие было особенно необходимо. Военным корреспондентам, если они хотели встретиться с генералом, приходилось иногда волей-неволей пробираться на очень горячие рубежи. И не то, чтобы Панфилов не считался с опасностью, как люди, верившие в то, что «бог милует». Нет. Посмеиваясь, он приговаривал:

— Эх, чего не бывает на войне. Бывает, что и убивают. Да ведь служба у нас такая.

И, покряхтывая, ехал на своей «эмке» туда, где был нужен. Уже в начале подмосковной битвы исправно действующий «солдатский телеграф» распространил по дивизии молву об этом примечательном свойстве генерала. И бойцы готовы были идти за ним в огонь и в воду. Не фигурально, как мы часто понимаем это выражение, а буквально, именно в огонь и именно в воду.

Но не раз, когда генерал объезжал батальоны и роты, появлялся в передовых траншеях, где от близких разрывов снарядов и мин осыпаются с брустверов комья земли, где стонут только что раненные люди, рядовые бойцы умоляли его уйти с линии огня. Сердясь и прикрикивая на гвардейцев, генерал отвечал:

— Ну-ну, в няньки лезете! Забыли: чем ближе мы к немцу, тем больше ему перцу.

И, похлопывая по плечу бойца, с любовью и жадным любопытством смотревшего ему в глаза, Панфилов усмехался:

— Не гони, брат, меня отсюда. Где жарче бой, там и мы с тобой! А как иначе? — А потом уже серьезно добавлял: — Так ведь я работаю. Вот понаблюдаю противника визуально, посоветую вам, может, что дельное и поеду. Разве я буду зря рисковать...

Бесстрашный гвардейский генерал не случайно оказался под Москвой со своей дивизией. Время было тревожное, и партия заботливо отбирала военачальников, которым следовало доверить оборону столицы.

Панфилов оказался полностью достойным этого доверия.

Командовать на войне — значит предвидеть.

Предвидеть не только в бою, а и в пору, когда рота, полк, дивизия еще только вылупливаются как цельный воинский организм из первозданного «хаоса» разных слагаемых: непохожих друг на друга людей; технических средств борьбы, еще не «одухотворенных» взаимодействием; машин, еще не притертых в общей системе; интендантского добра, еще не пущенного наиболее целесообразно в дело.

Скучная материя все это, правда? И слова какие-то серые: «технические средства борьбы», например. А это общий псевдоним пушек, пулеметов, автоматов, самолетов и другого-прочего. Есть, конечно, на свете вещи повеселее. Но тот, кто воевал, никогда так не скажет. Солдату совсем не безразлично, в какой части ему служить-воевать. Его, солдата, конечно, о том не спрашивают, но если он попал в полк, где людей быстро переделывают на «военную колодку», где все дышит одним ритмом, все отлажено, пришабрено, спаяно и повинуется суровой, но доброй воле, он быстро начинает смекать: «Здесь моя кровь не прольется даром». А такая вера уже не скучная материя, сами понимаете.

Так вот, основой предвидения служат уставы, наставления. Но история подсказывает: каждая новая война вносит в них такие поправки боевого опыта, так их обогащает и перерабатывает, что уже в процессе ее или к концу они неузнаваемы. Умение смело откинуть догмы, внести исправления на ходу, предугадать только еще накапливаемый опыт — бесценный дар военачальника.

Панфилов им обладал.

Мне известен один эпизод,— он имеет, думаю, прямое отношение к схватке у Дубосеково, и им, словно эхолотом, можно точно измерить глубину оперативно-тактического предвидения генерала из Казахстана.

Дело было в Алма-Ате в июле 1941 года, когда дивизия еще

только формировалась. В небольшой комнате педагогического училища, где размещался штаб дивизии, Панфилов разговаривал с командиром одного из полков майором Шехтманом и комиссаром Корсаковым. Неожиданно за дверью послышался шум, юношеские голоса, и в комнату буквально влетела группа ребят.

— Кто такие? — строго спросил Панфилов.

— Мы — добровольцы, комсомольцы,— пролепетал один из подростков, не ожидавших, видимо, увидеть за обшарпанной дверью, которую они с ходу рванули на себя, самого командира дивизии.

— Какие-такие добровольцы? — так же сурово спросил Панфилов.

— Прибыли для зачисления в дивизию,— ответствовал добрый молодец, у которого еще и пушок на губах не пробился.

— Откуда?

— Сами от себя,— вконец оробел юноша.

И тут Панфилов откинул притворную суровость, глаза его стали добрыми-добрыми, и он спросил:

— Кем же вы хотите быть, уважаемые товарищи добровольцы?

— Разведчиками!

— Разведчиками, значит? Ну, конечно, разведчиками — кем же еще! Так, так. Ну, а если истребителями? Истребителями танков — как вы на это смотрите?

Полковник Шехтман, в ту пору майор, свидетель этой сцены, рассказывает, что, услышав такое наименование, он улыбнулся, решив, что генерал шутит с ребятами — выдумал каких-то истребителей танков. Но потом, когда Панфилов, еще и еще раз очень серьезно и испытующе поглядывая на всех, кто был в комнате, снова задал парням тот же вопрос, он понял, что генерал вполне серьезен.

Я живо представил себе, как Шехтман и комиссар Корсаков, сидевший рядом, сохраняя непроницаемое выражение лиц, внутренне развели руками. Какие, собственно, истребители танков? Майор Шехтман, служивший в Красной Армии с 1918 года, и слыхом не слыхал о такой военной специальности и, как сам признает, не мог понять, куда же гнет генерал.

А генерал, между тем, «гнул» туда, куда надо...

Выслушав рассказ о том разговоре в Алма-Ате, я вспомнил, как однажды под Москвой во время встречи с Панфиловым я спросил у него:

— Скажите все-таки, товарищ генерал, в чем же, собст-

венно, секрет стойкости дивизии? Как бы можно было его сформулировать коротко, в двух словах?

— А вам на что,— рассмеялся Панфилов,— собираетесь командовать дивизией?

Здесь, разумеется, пришлось рассмеяться мне, и я, задерживая генерала,— он спешил — умоляюще заканючил:

— Так ведь, товарищ генерал, для пропаганды передового опыта... Нужно ведь...

— Ну это другое дело,— лукаво сощурился генерал.— Скажу вам коротко: не боимся танков!

Признаюсь, в момент этого короткого разговора я решил, что генерал, торопившийся в штаб армии, попросту решил от меня отделаться. Потом, когда я писал о подвиге двадцати восьми героев-панфиловцев, об их единоборстве с пятьюдесятью немецкими танками, мне уже был ясен глубокий смысл замечания Панфилова. Но только после того, как мне рассказали о его беседе с группой комсомольцев в Алма-Ате, я, связав воедино все эти факты, до конца оценил железную хватку Панфилова.

Тогда, в 1941 году, редко кто из наших военачальников не сжимал до боли виски, задумываясь над причинами быстрого продвижения немцев в глубь страны. С тоской в сердце читали советские люди — от подростков до стариков — военные сводки. И каждый задавал себе драматический вопрос: как могло случиться, что лозунг «Бить врага малой кровью на его территории» остался только лозунгом, а наша армия покидала город за городом?

Но военные люди вносили в эти тягостные раздумья еще и точность профессиональных соображений, оперативно-тактические выкладки, опыт своей деятельности в армии, знание военной истории, сравнительный анализ военных потенциалов воюющих сторон.

Ведь среднесуточный темп наступления противника в первые восемнадцать дней войны равнялся в среднем: на северо-западном направлении — 26 километрам, на западном — 30, на юго-западном — 20 километрам.

Было над чем задуматься.

Противник нес огромные потери в живой силе и технике, но тем не менее группа немецко-фашистских армий «Центр», наступавшая на Москву, обладала в сентябре 1941 года огромным превосходством над нашими войсками в людях, в танках, в самолетах.

Только в декабре 1941 года у нас перестало падать производство боевой техники и вооружения, вызванное потерей крупных

промышленных районов. Нужно было время, чтобы наши демонтированные предприятия, двигавшиеся в бесконечных эшелонах на восток, разместились на новых местах и начали выпускать продукцию. Нужно было время.

А танки противника рвались вперед... Только в середине второго полугодия было восстановлено у нас производство 45-миллиметровых противотанковых пушек и началось освоение новых, 57-миллиметровых. И только в октябре этого же года наша промышленность начала давать фронту противотанковые ружья.

Все эти цифры, разумеется, в то время не публиковались. Но опытные военные люди не могли не понимать смысла происходящего.

И вот теперь представьте себе зеленую Алма-Ату, отделенную тысячекилометровыми пространствами от огнедышащей линии фронта, здание педагогического училища — расположение формировавшейся дивизии, представьте себе скромного русского человека в генеральской форме — Ивана Васильевича Панфилова и сухие знойные ночи, когда он оставался наедине с картой России.

Размышляя над среднесуточным темпом наступления противника, генерал Панфилов понимал, что основа этого движения — мотор, броня и огонь: самолеты — в воздухе, танки на земле.

Сейчас нам известно, что уже к вечеру первого дня войны танковые соединения противника нависли над обоими флангами Западного фронта, угрожая ему глубоким охватом. Иван Васильевич не имел в ту пору сколько-нибудь точных данных о положении на фронте. Да если говорить откровенно, не получал он, как и любой другой военный, ровно никаких данных, которые позволяли бы ему видеть дальше других.

В тот начальный период войны противнику удалось значительно дезорганизовать наше управление войсками. То и дело нарушалась связь. Командиры и штабы всех степеней не получали регулярных правдивых сообщений о положении на фронтах. Информация нередко запаздывала или искажалась. И в таких случаях решения, принятые на ее основе, не отвечали обстановке, а выводы — реальным событиям.

А сама Ставка доводила подчас принцип секретности до такой степени, что иные командиры уже переставали «понимать свой маневр». Эту ситуацию хорошо отражал широко распространенный тогда анекдот: некий командующий армией все допытывался у водителя своего «виллиса», не знает ли он, хотя

бы приблизительно, когда их фронт начнет наступать. Анекдот почти всегда основан на гиперболе. Но есть, видимо, в нем и что-то от истины: на голом месте ничто не растет.

Как бы там ни было, но Иван Васильевич Панфилов судил о положении на фронте, как и все грешные, по сведениям «солдатской и офицерской почты» (в Алма-Ату к тому времени уже были привезены первые раненые) и по военным сводкам.

Сводки эти, особенно на первом этапе войны, страдали некоторым несоответствием между формой и содержанием. Тон их был вполне бодрым, и поэтому сообщение в конце абзаца о том, что оставлен такой-то город, всегда звучало неожиданно, застигало нас врасплох.

И пока в далекой Алма-Ате генерал Панфилов размышлял над опубликованными сводками, расспрашивал раненых в госпиталях, складывалась в его голове такая мысль, что ему, его пехотной дивизии, нужно найти управу на танки противника.

Прикидывал Иван Васильевич и так и этак. Получалось, что без тщательно разработанной тактики противотанковой борьбы пехоте не жить. Будут ее давить танки, сминать, проходить через ее боевые порядки...

И вот тут-то, в этих-то размышлениях и родилась у генерала мысль об «истребителях танков». Пусть не поймут меня так, будто Панфилов один нашел эту форму борьбы пехоты с танками — учила, подсказывала жизнь, бои. Важно, что генерал увидел ее еще в дни формирования дивизии. А мне, когда я узнал о беседе Панфилова с комсомольцами, она открыла не только еще одну сторону военного дарования Панфилова, но и показала новый исток подвига двадцати восьми героев.

Пехотный генерал уже тогда, в июле 1941 года, вскоре после начала войны, вдали от полей сражения пришел к мысли, что пехота, раз уж того требует обстановка на многих участках фронта, не только должна, но, главное, может один на один выстоять против танков противника.

Но прийти к такой мысли, хотя и вполне смелой, для того времени было мало.

Смелость ее была незаурядной: ведь сколько раз в те времена выкрик «Танки прорвались!» сеял гибельную панику и заставлял пехотинцев бросать траншеи, бросать все и бежать, падая под огнем противника. Сколько раз один вид движущихся на окоп бронированных чудищ лишал присутствия духа даже обстрелянных солдат, если они были почему-либо лишены мощной артиллерийской или воздушной поддержки на поле боя.

И все-таки миф о неуязвимости танков давал трещины. То там, то здесь возникали на фронте рассказы о героях, одерживавших победу в единоборстве с танками...

Над этой проблемой и раздумывал генерал Панфилов, и спор между танком и пехотинцем он решил для себя, для своей дивизии в пользу пехотинца. Вот почему он задал алма-атинским комсомольцам удививший всех окружавших его вопрос:

— Хотите быть истребителями танков?

И я думаю: а кто же были двадцать восемь героев-панфиловцев у разъезда Дубосеково? Они и были теми истребителями танков, о которых мечтал Панфилов, формируя свою пехотную дивизию.

Мысль о единоборстве пехоты с танками была смелой, железно-необходимой, полностью оправданной той обстановкой, тем соотношением технических средств борьбы, что сложились на первом этапе Отечественной войны.

Мы сидели с Панфиловым за его любимым чаем, заваренным как-то по-особому, душистым и крепким. Еще несколько минут назад, когда я в ожидании этой встречи вытаптывал свежий снежок возле генеральской избы, ко мне приблизился откуда-то сбоку почти неразличимый в сумерках человек и строго спросил:

— Кого караулите?

— Вас.— Узнал я Панфилова.

Передо мной стоял невысокий военный в полушубке с белым овчинным воротником, на груди у него на переброшенном через плечо ремне висел черный полевой бинокль.

— Ну, ну, снимаю вас с поста, пойдемте в избу,— так же строговато сказал Панфилов и неожиданно, уже совсем сурово спросил: — Вы чай пить любите, чаевничаете или как?

— Чаевничаю! — односложно и потому глуповато ответил я.

...В чистой половине избы возле выбеленной печной стены у стола стоял Панфилов. Он был смугл, или так мне показалось в отсвете вечернего огня. Твердые черты лица, густые изогнутые брови и короткая щеточка отрезанных квадратиком усов придавали ему суровый вид, смягчавшийся лишь умными, добрыми глазами. Панфилов колдовал над чайником, обвитым белым облаком пара, и вскоре мы сидели за чашками с его любимым напитком.

Разговор не клеился. Я спрашивал у генерала об одном из его командиров полка: правда ли, что тот проявил личную храбрость, сам повел роту в атаку?.. Потом, не получив ответа на этот вопрос, перешел к делу, которое и привело меня на

командный пункт генерала. Речь шла об опыте последних боев. Мне хотелось получить статью Панфилова на эту тему.

Иван Васильевич отвечал неохотно, рассеянно, видно, думал о своем. Разговор почти угас, когда Панфилов, заглянув мне в глаза, сказал:

— А чай вы не очень любите!

В ответ на это «тяжкое» обвинение я рассказал генералу про своего отца — большого любителя чаепития «с полотенцами», иначе говоря «до седьмого пота».

А суть моего рассказа состояла в том, что мальчонкой я все допытывался у отца, почему он всегда самолично заваривает чай, не доверяет никому другому. Все в доме делает мать: убирает, чистит, моет, обед готовит, крошит, солит, перчит,— а вот чай заваривает отец, только он. Почему так? Отец отвечал мне, что заваривание чая — дело сложное, умственное, серьезное — такое серьезное, что мама с ним справиться не может. Однажды я особенно настырно затребовал, чтобы отец раскрыл мне секрет его заварки.

— А ты никому не проболтаешься? — спросил он.

Я побожился, предвкушая поход в волнующее царство секретов.

— Ну ладно, скажу.— Отец понизил голос, оглянулся вокруг и, сделав круглые глаза, зашептал мне на ухо: — Понимаешь, сынок, для того, чтобы чай был хорош, грел и ласкал, в чайник нужно засыпать много чая — всю осьмушку, а лучше — четвертушку, а то и поболе. Так вот, твоя мама этого сделать не может: рука у нее не поднимается. Понял?

Панфилов быстрым движением поставил чашку на стол и от души рассмеялся. Лицо его покрылось сеткой добрых морщинок, глаза стали веселыми. Он всплескивал руками, повторял: «...Конечно, мама не может...» А потом, отсмеявшись, отдышавшись и снова взяв в руку чашку, сказал странно серьезным голосом:

— А все-таки ваш отец не был большим специалистом заварки. Он, как бы это выразиться, брал количеством. Но где, я вас спрашиваю, уменье, то есть наука, или, еще чище, где искусство? Есть у меня в Алма-Ате приятель, так он одной только щепоткой чая заваривает такой нектар, что вы по первому же глотку чувствуете: райская утеха. А ведь всего одна щепотка... Знаете, на войне один батальон иногда сильнее полка, а иногда — слабее роты. Как заварить бой — от этого многое зависит...

Серьезность, с какой Иван Васильевич говорил о сравнитель-

ных достоинствах мастеров заварки чая, невольно навела меня на мысль, что в его рассуждениях есть какой-то подтекст. И когда он неожиданно упомянул о различной боеспособности батальона, я понял, что назревает интересная беседа. Не чай, конечно, занимал мысли Панфилова.

Я не ошибся. Тут-то Иван Васильевич и высказал соображения о качествах офицеров, военачальников, которые я постарался со всей возможной точностью записать в тот же день, когда был еще полон размышлениями об этой беседе.

...Панфилов говорил неторопливо. Он подбирал слова и, казалось, читал лекцию аудитории, куда большей, чем его единственный слушатель.

— Так видите ли,— говорил Панфилов,— как заварить бой и как его прихлебывать, или, вернее, расхлебывать. Раньше-то люди тоже не дураки были. Давно уже все военные авторитеты сошлись на том, что умственная работа военачальника — одна из самых труднейших, какие только выпадают на долю человеческого разума.

Панфилов испытующе посмотрел на меня и подтвердил:

— Именно так. А почему? Боевые действия всегда проходят в сложной динамической обстановке со многими неизвестными. Но ведь и условия этой обстановки — «величины переменные». Вот и скажите теперь: может военачальник при этом полагаться на вспышку прозрения, или, иначе говоря, на свое «нутро»? Раз, два — сказал как отрезал — и в лужу, между прочим, плюхнулся. Нет, дорогие вы мои, нужно терпеливо анализировать события, сопоставлять факты и готовить основу правильного решения. Война требует от нашего брата офицера такого ума, который способен стоять под ружьем без отдыха и срока. Его надо натренировать к длительной, напряженной работе. Я вам Америк не открываю, так ведь, знаете, их каждый день и не откроешь. Но вот каждый бой — это, знаете, неизвестная Америка, и ее заново нужно открывать. Вот вы говорили о личной храбрости, но храбрость офицера заключена в мужестве его ума, в разумной смелости, с какой он принимает решение, в его дальновидности и уверенности, основанной на трезвом соотношении сил. В этом смысле война похожа на шахматы, с той разницей, что в шахматах конь, как правило, сильнее пешки и две пешки сильнее одной, а на войне, я уже говорил, один батальон иногда посильнее полка, а иногда слабее роты. Вот она щепоточка-то... Как заварить ее — в этом дело.

Генерал рассмеялся коротким невеселым смехом, потянулся к чайнику, налил себе чашку крепчайшего настоя, взял кусочек

сахару, зажал его большим и средним пальцами вместе с ножом, нависшим, как гильотина, над кусочком, и каким-то неуловимым движением с силой опустил все это сооружение на стол, тюкнув при этом указательным пальцем по ножу. Кусочек раскололся на равные дольки.

Панфилов отодвинул чашку, расставил на ее флангах по кусочку рафинада и продолжал:

— Вы сначала данные соберите, самые разнообразные, и на их основе сумейте предвидеть действия противника за несколько ходов вперед. Вот тогда вам, как говорится, партия и правительство спасибо скажут. Чем крупнее масштаб действия офицера, тем более отодвигается на второй план храбрость как свойство темперамента и, соответственно, тем большее значение приобретают смелость мысли, храбрость ума. Я скажу вам так: каждая ступень командования на войне образует свой собственный круг этой самой храбрости. Если вы приняли осторожное, половинчатое решение там, где надо было предписать энергичный, стремительный образ действий, значит, вы проявили трусость. И наоборот, если военачальник принял опрометчивое решение там, где нужна была осторожность, значит, он тоже проявил трусость, отступил перед трудностями размышления и анализа обстановки. Наш брат обязан прийти к правильному решению и добиться успеха, иначе он должен признать, что отступил перед волей противостоящего ему неприятельского офицера и потому — трус. Вот ведь какое дело, дорогие товарищи. Серьезное очень. Как заваришь — так и попьешь...

Панфилов придвинул к себе чашку, хрупнул кусочком сахару и медленными глотками стал отпивать чай.

— Вот вам и опыт боев под Москвой, не весь, конечно, куда там, но опыт...— заключил Панфилов.

— Так это ж готовая статья! — обрадовался я.

— Нет,— ответил Иван Васильевич,— статью мы с вами писать не станем, а то ведь будет так: статью опубликуем, смотрите, дескать, какой Панфилов умный, а я возьму тем часом и отступлю. Вроде бы и отступать больше некуда, а все же, наверно, придется. Люди и скажут: других учит, а сам отступает, хороша фигура. Отступлю я, как думаете? — и он посмотрел на меня проницательными, умными глазами.

— Не знаю,— солгал я после паузы.

Панфилов усмехнулся.

Читатель представляет, в какое время происходил этот разговор. Газеты были полны призывов: «Ни шагу назад!» Москва

подвергалась величайшей опасности. Окраинные улицы города ощетинились ежами и надолбами. Ночью завывали сирены воздушной тревоги, лучи прожекторов шарили по черному небу — там, в высоте, надрывно гудели немецкие бомбардировщики. «Ни шагу назад!» — но наши войска все медленнее и медленнее, цепляясь действительно за каждую пядь дорогой земли, все еще отступали.

Правда, тогда этого слова как бы не существовало. Оно было выброшено из военного лексикона — ни в сводках, ни в газетах его не нашел бы ни один внимательный глаз. Но войска отступали. Это обозначалось термином, в котором звучало что-то до странности деликатное,— «потеснение»: «Противник потеснил наши войска на участке...» Или, в крайнем случае,— «отход»: «Наши войска отошли на участке...»

Не хотелось и думать о том, как долго еще фашистские армии будут идти вперед и куда они могут прийти. Не хотелось, но думали эту думу все.

— Не знаете? — жестко переспросил тогда Панфилов.— Ну, а я знаю. Отступлю... немного, но отступлю. А дальше — некуда. Пружина сжата до отказа.

Вскоре после этого разговора я писал ночью в редакции по четырем строчкам политдонесения первую передовую о двадцати восьми панфиловцах, их вожаке Клочкове-Диеве. А спустя два дня погиб генерал Панфилов.

Это было 19 ноября 1941 года. Минный осколок пробил Ивану Васильевичу грудь, когда он стоял возле избы, возможно той самой, где мы пили чай.

6 декабря началось наше наступление под Москвой. Панфиловская дивизия с боем взяла один из самых первых пунктов на пути нашего движения на запад — деревню Крюково.

Генерал Панфилов уже не участвовал в этом наступлении.

А теперь запомним три даты, три коротеньких зимних дня — в них уместилось многое:

16 ноября — бой у Дубосекова.

17 ноября — Указ о переименовании 316-й стрелковой дивизии в гвардейскую.

19 ноября — гибель Панфилова.

Это — война...

Наступило лето 1942 года. Вот он снова, разъезд Дубосеково. Нужно пройти немного вправо, метров сто, и вы окажетесь там, где панфиловцы сражались с немецкими танками. Мы уже были здесь однажды, и тогда на тяжелом снегу, сверкавшем под солнцем белым саваном славы, никто, кроме капитана Гундиловича, не мог определить, где наши люди встретили свой последний час, где немецкий бронированный вал разбился о сталь невидимых преград.

Теперь земля обнажена, и перед нами вся арена боя. Вешние воды размыли глинистые стены блиндажа, и бревна наката, почерневшие от обильных дождей, рухнули. Извилистая линия окопа. Его края и дно поросли уже травой, синими васильками, бледно-желтой сурепкой, зеленым молочаем.

Вот здесь, бросая взгляды окрест, стояли герои, отсюда, хватаясь рукой за бруствер, покрытый ледяной коркой, они поднимались навстречу танкам. Может быть, там, где сейчас ветер колышет ветки редкого кустарника, упал смертельно раненный Клочков-Диев. Здесь неподвижно застывали дымные громады подорванных танков. Тогда, в сорок втором году, в очерке об этом дне я написал: «И отсюда, с этого луга у небольшой русской деревни Нелидово, мы видели мысленным взором, каким гордым обелиском бесстрашия возвышается над нашей страной слава двадцати восьми героев. Их подвиг уже высоко вознесся крыльями легенды, и мы — современники эпоса, возникающего вокруг их имен». Да, и на Кубе теперь виден этот обелиск, что высится в Подмосковье.

Нам дорог каждый клочок нашей земли, каким бы он ни был — влажным ли, дымящимся по весне черноземом на Курщине или жестокой каменистой осыпью в горах Алтая. Нам близки и дороги все уголки России. Но особенно врезаны в память народа те, что неотторжимы от деяния его сынов. Те, что политы пóтом мирной страды или окрашены кровью поля брани.

Вот почему, когда произносишь: «Разъезд Дубосеково», мгновенно встают перед тобой люди-герои, навечно связавшие свои имена с этим неприметным, но бесценным для нас куском земли.

Бесконечное русское поле,
Ходит ветер, поземкой пыля,
Это русское наше раздолье,
Это русская наша земля,
И зовется ль оно Куликовым,
Бородинским зовется ль оно,

Или славой овеяно новой,
Словно знамя опять взметено,
Все равно, оно русское, наше.
Через сердце горит полосой,
Пусть война на нем косит и нашет
Темным танком и пулей косой,
Но героев не сбить на колени,
Во весь рост они встали окрест,
Чтоб остался в сердцах поколений
Дубосеково — темный разъезд.

Эти строфы — из поэмы Николая Тихонова. Не знаю, что думают о ней критики — они не ругали ее и не хвалили. На фронте ее заучивали наизусть. Я помню ее до сих пор — от первого до последнего слова. И сейчас, когда пишу, повторяя про себя эти обжигающие слова, вновь и вновь думаю о героях Дубосекова.

Даже теперь, спустя двадцать три года, нелегко писать о тех днях. Называешь имя, пишешь число — семнадцать, двадцать восемь,— и неотступно думаешь: погибли, убиты, сгорели. Наши люди. Могли бы ходить сейчас среди нас, работать, смеяться, слушать музыку, читать газеты, восхищаться космонавтами, наконец, просто дышать, учить уму-разуму сына, горевать, радоваться, строить планы. Но нет их, нет. Бежали с гранатой, с автоматом, падали, подсеченные, навзничь, пели «Интернационал» в горящем танке, обрушивались с высоты в обломках сбитого самолета, смертельно раненные, захлебывались в болотной жиже.

Что было необыкновенного в этих людях?

Вместе с драгоценными словами «мама», «папа» они научились произносить «Ленин»... Они ходили в советскую школу — ее временами критиковали газеты, но она всегда была советской. Собирали спичечные коробки с летящим самолетом на этикетке и надписью: «Ответ на ультиматум Керзона». В семейных альбомах видели на фотографиях своих отцов и братьев в островерхих шлемах со звездой.

Они делили мир на «красных» и «белых». Выросли, строили пятилетки, гордились первым волжским трактором, восхищались пробегом ашхабадских конников, мужеством челюскинцев и стратонавтов, плыли с Чапаевым в холодных водах уральской реки, страдали за Абиссинию, волнуясь и негодуя, шептали строчки: «И мстительные коршупы «капрони» бомбардпруют тихий Адпграт», уходили мыслями за Пиренеи, мечтали добровольцами пробраться в огненный Мадрид, твердо понимали: фашизм — это война. Бегали в тир, били в яблочко мишени,

и рядом с ней тотчас же валился на бок деревянный фашист со свастикой.

Они были причастны ко всему, что происходило в мире, и не знали одиночества европейского мещанина. На земле они жили среди молний. Вокруг бушевала трудная жизнь, и каждый день на ее горизонтах гремели дальние громы. Иногда они сердились, досадливо махали рукой, вырывалось крепкое слово и «эх!..» — многого не хватало, но никогда ирония привычно пустой усмешки скептического наблюдателя не скользила на их губах. Они уже ухватились одной рукой за берег хорошей жизни, но другая всегда была занята — сжимала винтовку. Они пошли в бой, злые на темную силу, что уже давно мешала им спокойно строить дом, и они знали: не расколотим ее — пропадем, загубим все, что успели сделать. Надо расколотить. А когда немцы приблизились к Москве, наши люди забыли все, кроме нее одной. Страшная наука ненависти ожесточила сердца. Но и ее не хватило бы для победы. Двадцать восемь научились воевать. Их партийные и военные руководители были умными, опытными людьми. Танки врага не прошли. «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва» — эти слова Василия Клочкова облетели весь мир. Двадцать восемь панфиловцев не сделали ни шагу назад. Они решили свою задачу — задержали противника. Впоследствии выяснилось, что пятеро из них — израненные — остались живы, остальные погибли.

Память невечна. Где-то плачет еще ночами старенькая мать, грустит жена, быть может вышедшая второй раз замуж, выросли дети и смотрят на выцветшую фотографию молодого парня: это их отец. Люди поют новые песни, трудятся, спешат на свидания. Все идет своим чередом. Где-то уже холмик могильный сровнялся с землей. Где-то и кладбище перенесли на другое место — так, стало быть, нужно было по планировке. Новых людей награждают орденами. Вечерами загораются огни, сияют витрины, на улицах веселая толчея.

А тех нет.

Забыты они?

Нет!

Разная протяженность обозримого времени у одного человека и у народа. Не долог век людей, даже если они доживают до глубокой старости. Но поистине вечен народ. Ему жить и жить, покуда светит солнце, а когда и оно погаснет, через миллионы лет, народ найдет себе место под новым солнцем, пробьется в другие миры, плывущие в бездонном пространстве. Вечен народ, и память его вечна.

Многое можно забыть в жизни — сегодняшнюю удачу, вчерашнюю печаль, но такое, как подвиг панфиловцев, не подвластно времени. От сердца к сердцу обошел он миллионы людей. В прах обратились тела героев, но они навеки с нами, они — наша общая слава. Хранитель ее — народ. Он бережет имена своих героев. Туда, в далекое грядущее, дойдут и книги, как к нумизмату доходит древняя монета, и списки, и реляции, и газеты. Они, может быть, примут другой вид, превратятся в мотки магнитной проволоки, а потом во что-нибудь другое, суперэлектронное, звенящее полутаинственным шепотом, но дойдут...

Теперь не каменный век, и народ, да еще если он свободен, сам думает о реликвиях, какие ему нужно, как эстафету, передать в бесконечное будущее. И не только имена. Дух раскованный, желание справедливости, исповедание добра, ненависть к рабству, веру в народное бессмертие — все, за что погибли герои, и их нравственную силу переливает народ в череду будущих поколений и живет ею, от века к веку молодея.

Название: разъезд Дубосеково, а сколько стоит за ним всего — и слез, и веры, и гордости. И сколько таких названий на нашей земле...

ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕЛОН...

Очень не люблю слово «был» за его страшную, беспощадную вместительность. Это слово, особенно для тех, кто побывал на войне,— как кладбище. В нем судьба друзей, кровь друзей, на полях войны отдавших самое дорогое — жизнь, ради нашей жизни, ради нашей победы, ради того, чтобы сирень пахла сиренью и влюбленные целовались под звездами. И все-таки, как ни тяжело, это слово нельзя выкинуть из нашего обихода, потому что мы живем единым потоком общего устремления народа к общему миру на земле, без войн и оружия. И те безымянные герои, о которых еще до сих пор втихомолку плачут матери, а невесты состарились в тоске и одиночестве, те, о которых мы говорим «они были», незримо присутствуют в нашей жизни, в нашей борьбе за справедливость, за человеческое счастье. И в этом нет никакой мистики. Есть единая связь поколений в борьбе за человеческое счастье. Видимо, в ней, в этой борьбе, и есть бессмертие самого народа, его духа, его жизни. У подвига нет конца, как нет конца у самой жизни, если эта жизнь посвящена жизни.

Без памяти жить нельзя. Это понятно каждому. И как бы это ни было тяжело для моего сердца, я не могу отказаться от беспощадного глагола «был».

Был последний день нашего пребывания на полуострове Ханко. Нам больше нечего было здесь делать. Дня за три до этого по всему полуострову была объявлена мертвая неделя. Финны, думая, что мы их опять заманиваем, боялись этой тишины хуже бомбежки. А наши гарнизоны по ночам бесшумно снимались со своих обжитых позиций и, заминировав всем, чем только можно заминировать, передний край и дороги, двигались

по направлению к причалам порта. К нашему счастью, начинались затяжные осенние дожди. Медленные низкие тучи без конца волочили свои мокрые подолы от горизонта до горизонта, и финские наблюдатели даже днем не могли заметить нашего передвижения.

Эвакуация началась еще в октябре, и первые части, как нам стало известно, благополучно высадились в Кронштадте. Мы уходили с последним эшелоном в ночь на 3 декабря.

Два с лишним десятилетия прошло с того времени, и каждый раз в ночь на 3 декабря, так же как и в ночь на 22 июня, я не могу сомкнуть глаз от какой-то смутной мучительной тревоги, поселившейся в моей душе. В эти ночи память, как разводящий, ставит меня часовым у живой надежды всех погибших, что это никогда не повторится.

1 декабря мы выпустили последний номер газеты. «Красный Гангут» на этом кончил свое существование. Сын бакинского провизора Женя Войскунский, романтик, до умопомрачения влюбленный в «Алые паруса» Грина и поразительную загадочность Эдгара По, написал для этого номера передовую. Она называлась «Мы еще вернемся» и была клятвой верности и мужества. Работавший в нашей газете замечательный художник Борис Иванович Пророков нарисовал, а Ваня Шпульников вырезал на линолеуме последнюю гравюру. Она занимала три колонки в верхнем углу слева на четвертой полосе. На ней были изображены матросы и пехотинцы, идущие на незримого врага с автоматами и винтовками наперевес. Над гравюрой на всю полосу надпись:

«Мы идем бить фашистскую сволочь и будем бить ее по-гангутски!» Под гравюрой были мои стихи:

Такие не боятся и не гнутся.
Так снова в бой и снова так дерись,
Чтоб слово, нас связавшее,— гангутцы
На всех фронтах нам было как девиз!
Здесь жили мы размеренно и просто,
Скрепили дружбу кровью и огнем.
За горизонтом скрылся полуостров,—
Здесь жили мы и мы сюда придем!

На оставшейся бумаге мы «в наследство» финнам напечатали листовки и дополнительный тираж нашего ответа на послание Маннергейма. Кто-то предложил выбить для участников обороны Ханко памятную медаль, нашлись даже и чеканщики по металлу, готовые взяться за это дело, но было уже поздно, и вместо медали мы напечатали в типографии маленькую

книжонку в зеленой обложке. «Храни традиции Гангута». В ней были помещены портреты двенадцати выдающихся героев Ханко и стихи, посвященные этим героям.

2 декабря мы встали пораньше и собрали в дорогу все, что нам дорого. Я засунул в полевую сумку подшивку газет и завернутые в полотенце зубную щетку и мыло. У Бориса Ивановича был рюкзак. Он набил его рисунками и газетами. На складе обмундирования мы переоделись во все новое. Я выбрал себе по росту ботинки и клеш, две тельняшки, форменку, бушлат и мичманку. Потом мы пошли проститься с нашим Гангутом. Мы прошли мимо кирки и гарнизонной гауптвахты. Было тихо и пасмурно, словно финны, так же как и мы, объявили мертвую неделю.

Мы увидели стеклянный парфюмерный павильончик. Из его распахнутой двери валил белый дым. Любопытства ради мы подошли поближе и заглянули внутрь. На полу сидел красноармеец, обняв ногами вместительную коробку. Из картонки он методичными движениями вынимал коробки с пудрой, свертывал им крышки и выдувал пудру. Он был так поглощен своим занятием, что не заметил нас. Белая пыль засыпала его, как снег, и пахучей приторной метелью вырывалась наружу. Мы не стали ему мешать. Мы переглянулись и улыбнулись. Чудак! Он не хочет оставлять финнам даже пудры!

У нас в руках была пачка листовок, банка с клеем и малярная кисть. Я мазал этой кистью по оставшимся заборам и стенам, по стволам деревьев и по диким камням, а Борис Иванович ловким движением ладони прилеплял на эти места наши прощальные лозунги. Мы прошли на скалу, крутым обрывом уходящую в море, и подошли к чугунной петровской пушке. Я мазнул кистью по изъеденному соленой водой стволу, и Борис Иванович приклеил к нему листовку с последним рисунком из последнего номера «Красного Гангута». «Мы идем бить фашистскую сволочь и будем бить ее по-гангутски!»

На пустынной, размытой дождем дороге я увидел моего Министра, он шел ко мне, нехотя помахивая рыжей запутавшейся гривой. Я побежал ему навстречу. И он положил мне свою голову на плечо и обдал шею теплым дыханием.

— Прощай, Министр! — сказал я.— Мне надо уходить, в Ленинград уходить, а тебе оставаться. Для тебя кораблей не приготовили,— и сунул ему в теплые мягкие губы пригоршню сахару, похлопал Министра по крупу и легонько оттолкнул от себя.

Конь нехотя поплелся к лесу.

Мы пришли к порту, где хлопотливый чумазый паровозишко сталкивал в воду вагоны с разным барахлом, которое не на что было грузить. Портовый кран, подцепив стальными стропами, легко, как перышко, переносил полковую пушку «смэрт Гитлеру» на палубу пришвартованного к стенке эсминца.

Старый, как галоша, буксир «Камиль Демулен», черпая бортами воду, доставил нас на рейд к спущенному трапу турбоэлектрохода. Мы поднялись на палубу, и я подумал, глядя вслед уходящему «Камилю Демулену»: как странно на этой земле все устроено. Был член конвента Парижской коммуны поэт Камиль Демулен, о котором сейчас, наверно, и во Франции забыли, а он, превратившись в буксир, захлебываясь волной, продолжает жить и помогать людям.

День был серым и темным. Смеркаться начало рано. На рейде за утиным мысом, бросив якоря, покачивались на медленной волне корабли последнего каравана, транспортники и тральщики, эсминцы и рыбацкие лайбы, торпедные катера и подводные лодки. Наш турбоэлектроход стоял среди них, как слон среди овец, сливаясь камуфляжем со стальной водой и серым небом. На душе тоже было мутно. Последние буксиры отчаливали от порта и шлепали к рейду.

Наш турбоэлектроход, год назад построенный на верфях Амстердама, сверкал внутри полированной карельской березой и надраенной медью. И вот в его великолепные салоны ввалилась наша сухопутная и морская братва, пропахшая дымом землянок и окопной сыростью. Она задымила махрой и разлеглась по коридорам и каютам на измазанных глиной шинелях, тяжело топча по блестящему паркету каменными сапогами и ботинками. Она стала хозяином трюмов и палуб. В отведенной для нашей редакции и типографии четырехместной каюте разместилось тринадцать мужчин и еще машинистка Лида со своим недельным наследником. Мы отвели ей нижнюю койку, а сами стояли, плотно прижавшись плечом к плечу, задыхаясь от жары и спертого воздуха.

Кукушкин и Федотов остались в группе прикрытия. Им надлежало взорвать водокачку, вокзал и Дом флота. Я проталкивался на палубу. Мне захотелось посмотреть на работу наших подрывников. На темном туманном небе смутно виднелись портальные краны и размытые очертания берега. Сначала я увидел сноп красновато-желтого огня, осветившего Дом флота и водокачку, потом услышал глухие перекаты грома. Значит, первой взлетела гарнизонная гауптвахта. Кукушкин сдержал свое обещание: ради того, чтобы ее взорвать, он сам напросился у

капитана Червякова в группу прикрытия. За первым взрывом послышалось еще три, и лохматые низкие тучи, подсвеченные снизу пламенем пожара, смешались с самим пламенем. В свете пожара я увидел, как отчаливал от порта последний тральщик. Корпус корабля вздрогнул и загудел мелкой пульсирующей дрожью. Слышно было, как натужно скрипели в клюзах якорные цепи. По медленному раскачиванию с борта на борт мы поняли, что двинулись.

Была ночь и штормовая вода, пронизывающий до костей ветер и мелкий сырой снег. И наша махина шла в этой темноте, битком набитая людьми, мешками с крупой и мукой, ящиками с маслом и консервами. Слышно было, как штормовые волны накатывались на задраенные люки, и корабль кренился с борта на борт и с носа на корму. Тусклые лампочки освещали землистые лица, покрытые испариной. Мы не спали. Пересохшими ртами ловили душный воздух и ждали, глядя друг другу в усталые глаза, когда кончится это тошнотворное скольжение в пропасть и подъем на гору. Я попробовал глотнуть из фляги спирту и немного забыться. Не помогло. Тошнота усиливалась, и я стал сомневаться в том, что человек — покоритель морской стихии. Я снова пробрался на палубу и, ухватившись за поручни, подставил лицо ледяному мокрому ветру. Зеленые топовые огни плясали в этой дикой скачке воды и ветра, как погибающие звезды. Меня вывел из оцепенения голос впередсмотрящего:

— Справа по борту мина!

И вслед за этим где-то подо мной что-то царапнуло по обшивке корабля и столб огня осветил высоко задранную корму и обдал горьким запахом дыма и острой водяной пылью. За первым последовал второй взрыв с левого борта, электричество замигало и погасло. Из труб корабля к черному небу метнулся столб искр. Я на ощупь пробрался в каюту, чтобы надеть бушлат и мичманку и сообразить вместе со всеми, что делать.

В коридоре напротив каюты кто-то зажег свечу, и окровавленные мокрые люди, как черти из подземелья, стали вылезать по мокрому трапу из трюма.

После третьего взрыва снова вспыхнуло электричество.

— Не поднимайте паники! — раздался спокойный голос в репродукторе.

Паники не было. Была беспомощность сильных характерами и мускулами людей, не знающих, что делать. Корабль медленно кренился на левый борт и на корму. Чтобы побороть беспомощность и не сойти с ума, надо было что-то делать.

По трудным дорогам войны

Идет бой

И шли бойцы по лесам и болотам...



Ленинград не сдается

Старшим командиром на корабле остался Борис Иванович Пророков. Он вышел на палубу. К правому борту стали подходить тральщики. Пришвартоваться при такой штормовой волне было почти невозможно. Тральщик кидало как скорлупку сверху вниз и било о корпус нашего потерявшего ход корабля.

— Эвакуировать раненых! — услышал я повелительно четкий голос Пророкова.

— Эвакуировать раненых! — гаркнул Колька Иващенко.

Только теперь я понял, как пригодились Кольке нестандартные лычки на рукаве. Его все принимали за полкового комиссара, и клянусь, что он в эту минуту своим спокойствием оправдывал это звание. Прежде всего мы на руках передали с нашей палубы на тральщик машинистку Лиду и ее ребенка. Потом стали вытаскивать на носилках раненых из салона первого класса. В салоне первого класса разместилась операционная. Мы с Женей Войскунским таскали носилки, балансируя по мокрой, скользкой от крови палубе, и передавали их на тральщик. За этим занятием мы не слышали четвертого взрыва. Брезжило, когда начался обстрел, и по верхней палубе стегануло два снаряда. Раненых прибавилось. Они стонали. Я запомнил только одного парня с тупым от боли лицом. Он сидел на полу и держал руками свою правую, оторванную ногу. Парень орал истошно и дико.

Я взвалил его на спину и поволок на операционный стол вне очереди.

Тральщики менялись, и мы таскали раненых к правому борту, где наводил порядок Колька Иващенко.

Потом мы зашли с Женей в свою перекошенную каюту. Она была пуста. Я достал флягу, и мы выпили по глотку. Я показал Жене взглядом на свой карабин.

— Я не хочу тонуть, Женя; если корабль пойдет ко дну, лучше так...— и показал, как нажимают спусковой крючок.

— Корабль стоит на банке. Он не затонет. А это брось, идем помогать!

Я вышел опять на палубу. Передо мной болталась вверх-вниз округлая корма тральщика. «БТЩ-218»,— прочел я на корме, поднял глаза выше и увидел Кукушкина.

— Прыгай сюда! — кричал Кукушкин.— Мы последние!

Тральщик отчаливал. Кукушкин кинул мне веревку, и я бросился, ухватившись за этот конец, в месиво воды и снега. Он вытащил меня на ходу. В последний раз я скользнул по палубе нашего корабля. Я увидел Васю Бубнова. Я хотел ему что-то крикнуть и не мог. Кукушкин влил в меня через дрожащие

зубы спирта, и я задремал стоя, потому что упасть было нельзя — так плотно стояли на тральщике люди.

Под вечер мы причалили к Гогланду. Я запомнил этот остров, когда мы шли на Ханко. Он был похож на купающегося двугорбого верблюда, поросшего зеленой шерстью. На прибрежном обрыве стояла тогда девушка в розовом платье, с распущенными волосами. У ее ног лежала рыжая собака. Девушка махала нам платком, улыбалась и что-то кричала...

Мой клеш и бушлат заледенели и превратились в панцирь. Волосы перепутались и смерзлись. Я не мог сойти по трапу, а съехал по нему на спине. Я ввалился в землянку к зенитчикам, попросил их снять с моего пояса фляжку и растереть мне уши и руки.

Встал я утром бодрый и здоровый. У меня даже не было насморка. Вечером мы тронулись курсом на Кронштадт. Все наши из редакции были целы, и мы вместе погрузились на тральщик БТЩ-218. Тральщик тянул на буксире два торпедных катера. Они получили пробоины и идти своим ходом не могли. Месиво снега и воды становилось гуще и превратилось в лед. Острые льдины, отбрасываемые нашим винтом, быстро продырявили тонкую обшивку катеров. Катерники перебрались на тральщик и отрубили концы. Первый катер зарылся носом, накренился на бок и пошел на дно, второй скрыли сумерки.

Радист тральщика поймал Москву. Как сообщала оперативная сводка, наши части с боем взяли Ростов.

— Значит, начинается! — сказал мне Пророков.

Мы не могли молчать. Мы пошли в каюту капитана, выпросили лист бумаги и через час вывесили окно сатиры. Это была последняя наша работа вместе.

В Кронштадте шел снег. Мы шли, тяжело ступая на скользкий булыжник. Дул пронизывающий ветер...

ВОСЬМОЕ ДЕКАБРЯ

День 8 декабря 1941 года, этот один из решающих дней нашего контрнаступления под Москвой, мне, военному корреспонденту, довелось провести на командном пункте генерал-майора А. П. Белобородова, ныне генерала армии, командующего Московским военным округом.

Я записывал все, что слышал и видел в тот исторический день. Привожу несколько страниц тогдашнего своего блокнота.

12 часов 05 минут. Белобородов зовет подполковника Витевского.

— Давайте вашу карту.

Витевский раскрывает черную папку из твердого картона,— она всегда с ним, когда он входит к генералу. В папке оперативная карта, моментальный снимок сражения. При всяком новом сообщении — иногда через каждые пять — десять минут — Витевскому приходится, иной раз пользуясь резинкой, исправлять рисунок, нанесенный красным карандашом на карте.

Белобородов берет папку. Конфигурация красных линий сейчас лишь очень отдаленно напоминает чертеж, который генерал рано утром набросал в моем блокноте. Вместо крутой кривизны двух стремительных дуг, охватывающих Снегири, у этого пункта оказалось несколько прямых, коротких стрелок: две из них уткнулись в здание школы и две другие, немного продвинутые дальше, жались к границам поселка.

Лишь линия, стремящаяся в Жевнево, линия 102-го, совпадала со стрелкой, проведенной генералом. Но и тут встречной стрелы — слева — не было.

— Не умеем,— сказал Белобородов.— Из этой злосчастной школы нам стукнули по физиономии — захотелось сейчас же

сдачи дать. Ввязались в темноте, вошли в азарт, и оторваться трудно. Азарт — страшная штука на войне. Трудно быть хозяином своего азарта.

12.15. Белобородов продолжает рассматривать карту.

Я сижу за столом близ Белобородова и тоже смотрю на карту. Красные карандашные линии помогают разобраться во множестве теснящихся значков и надписей.

Я нахожу Рождествено,— среди сбежавшихся в кучку полосок и квадратиков едва заметен маленький черный крест: это церковь, где засели немцы. Нахожу Жевнево, Трухаловку, Снегири. Один квадратик в Снегирях — маленький, но отчетливо отделенный от других,— обозначен двумя буквами: «Шк».

Школа! Сколько раз здесь произносилось сегодня это слово! Та самая школа в Снегирях, у которой с раннего утра идет жестокий и безрезультатный бой!

Вижу железную дорогу, вижу шоссе — четкий просвет меж двумя параллельными, пробегающими через весь лист.

Это Волоколамское шоссе. Край листа обрезает линию шоссе,— в этой точке я различаю какие-то мелкие буквы. Напрягаю зрение, всматриваюсь, читаю. На странном для нас языке военных карт, не признающих склонений, в точке, где обрывается шоссе, написано: «В Москва».

Это слово, словно взблеск молнии, вдруг озаряет смысл происходящего, как-то затерявшийся, куда-то отодвинувшийся в мельканин событий дня.

Ведь все, что совершается сегодня в этих безвестных подмосковных поселках: — захват с криками «ура» окраин Рождествена, продвижение в Жевнево, многочасовой, все еще длящийся бой у школы, неудачный удар танков, нестихающая пальба пушек, минометов, пулеметов, залп «Раисы»,— все это наша атака.

Наша армия, прижатая к Москве, атакует немецкую армию, эту чудовищную силу, не испытавшую ни одного поражения в десяти завоеванных странах Европы.

Удастся ли атака? Опрокинем ли врага? Погоним ли его?

Хочется ответить: да, да, да! Но карта — не ведающая пристрастия «третья сторона», инструмент, от которого требуется только одно: точность,— карта, над которой склонился генерал, вглядывающийся в оттиск сражения, не говорит сейчас, в полдень 8 декабря, ни «да», ни «нет».

Боевой день еще не дал решения, судьба атаки неясна.

12.25. Подняв круглую стриженую голову, Белобородов к чему-то прислушивается. Я тоже слушаю. Мне на минуту ка-

жется, что пулеметная стрельба как будто продвинулась к нам. Но Белобородов спокоен. Он спрашивает Витевского:

— Какие у тебя последние сообщения из Рождествена? Я что-то давненько никого там не тревожил.

— Мне тоже давно оттуда не звонили.

— Почему? Связь действует?

— Да, все время действовала.

— Тогда какого же черта? Что они, обязанностей своих не знают. А ну вызови их. Пробери начальника штаба, чтобы другой раз быстрее поворачивался.

Витевский соединяется с начальником штаба бригады:

— Говорит шестьдесят два. Я уже полчаса ничего от вас не имею. Большой хозяин приказал поставить вам это на вид.

Белобородов не выдерживает:

— Грубей, Витевский! Грубости тебе надо побольше, грубости не хватает! Дай сюда трубку!

Белобородов подходит к телефону, но в этот момент из соседней комнаты доносится странный шум. Кажется, кто-то рвется к двери, его задерживают, слышен чей-то голос: «Обожди!» — и другой, взволнованный: «Мне надо лично к генералу».

Белобородов быстро идет к двери, распахивает ее и спрашивает с порога:

— Кому я нужен?

12.30. Шум сразу прекращается. Среди наступившего молчания раздается:

— Товарищ генерал, разрешите доложить. Полковник Засмолин просит подкрепления.

По голосу слышно, что человеку не хватает дыхания; он говорит запыхавшись.

И вдруг Белобородов громко, по-командирски произносит:

— Как стоите? Докладывать не научились! Фамилия? Должность?

— Виноват, товарищ генерал. Командир разведывательного батальона старший лейтенант Травчук!

— Не Травчук, а чубук вы! От дырявой трубки! Какого черта напороли паники? Откуда вы сейчас?

— Из Рождествена, товарищ генерал.

— Зачем нужны там подкрепления? Вам и самим там делать нечего.

— Разрешите доложить, товарищ генерал.

— Вольно, можешь не тянуться. Иди сюда, рассказывай.

Вслед за генералом в комнату входит Травчук. Поверх шинели натянуты широкие белые штаны, туго подвязанные кожа-

ным сыромятным шнурком. Подвернутые полы шинели сбились на животе под белыми штанами. У Травчука растерянное, оторопевшее лицо.

Вместе с Травчуком в комнате появляется еще один человек — я знаю его — это лейтенант Сидельников, командир мотострелкового батальона, отчаянный мотоциклист. Он очень молод, лицо кажется юношеским, но он умеет приказывать, в нем есть командирская жилка, в батальоне его слушаются с одного слова. Мотострелковый батальон расположен рядом, в пятидесяти шагах отсюда. Это тоже резерв Белобородова...

Щелкнув каблуками, Сидельников замирает, вытянув руки по швам и слегка подавшись корпусом к Белобородову.

На нем меховая шапка и хорошо подогнанный короткий полушубок, к рукавам пришиты варежки.

Сидельников не произносит ни слова, но весь он: сосредоточенное и вместе с тем радостное лицо, напряженная, словно на старте, фигура,— весь он — сама готовность! Приказ — и он вмиг вылетит из комнаты! Приказ — и через две минуты батальон отправится выполнять задачу.

Взглянув на Сидельникова, Белобородов спрашивает:

— Это он тебя с собой притащил?

— Точно, товарищ генерал.

— Ишь какой расторопный, где не надо! Не плохой разведчик! В момент разведал, где резерв. Не там разведуешь!

Последнюю фразу Белобородов выкрикивает. Потом обращается к Сидельникову:

— Слетай туда, дружище, посмотри, почему они там в штаны напустили. И сейчас же мне доложишь!

— Есть, товарищ генерал!

Стремительно повернувшись, Сидельников выходит.

12.40.— Ну, товарищ мастер! — говорит Белобородов.— Мастер разведывать, что у него сзади!

Белобородов смеется. Мне странно, как он может смеяться в такую минуту, еще не узнав, с чем прибежал к нему этот взволнованный, запыхавшийся человек. Травчук тоже смотрит на генерала с удивлением, но его лицо становится осмысленнее, спокойнее.

Резко оборвав смех, Белобородов спрашивает:

— Выкладывай, с чем пришел?

— Нас выбивают из Рождествена, товарищ генерал.

— Кто? Сотня вшивых автоматчиков?

— Нет, товарищ генерал, они подбросили туда два танка и свыше батальона живой силы.

— Ну и что ж? А у нас там полк.

— Бьет термитными снарядами, товарищ генерал. Зажигает дома, которые мы заняли. Бойцы не выдерживают, откатываются.

— А для чего вам подкрепление?

— Как для чего? Не понимаю вопроса, товарищ генерал?

— Я спрашиваю,— голос Белобородова опять гремит,— для чего вам подкрепление?

— Для того... Для того, чтобы выбить...

— Значит, дяденька за вас будет выбивать? Варяги к вам придут выполнять вместо вас задачу?..

— Мне приказано, товарищ генерал...

— Передай полковнику, что никаких подкреплений у меня нет. Здесь у меня только мотострелковый батальон. Это мой резерв. Его дать не могу. Понятно?

— Понятно, товарищ генерал.

— Передай, что надо учиться воевать, учиться побеждать теми силами, которые имеются. Передай, чтобы выполнял задачу! Все! Можешь идти!

— Есть, товарищ генерал.

Белобородов задумчиво ходит по комнате.

* *
*

14.50. Я не уловил момента, когда в комнате что-то изменилось. До меня дошло какое-то движение, и в тот же момент меня словно подбросило. Я понял, что незаметно задремал.

Белобородова уже не было в комнате. Дверь в соседнюю комнату оказалась почему-то открытой. Я поспешно направился туда.

Там по-прежнему горели керосиновые лампы, освещая потертые брезентовые коробки полевых телефонов, карту на большом столе, фигуры и лица работников штаба, с утра не снимавших здесь, в темных, отопревших стенах, шапок и шинелей.

Отсюда весь день доносился гул разговора, но сейчас меня поразила тишина.

Я сразу увидел Белобородова. Он стоял в центре — невысокий, тяжелый, сумрачный. Лампа освещала снизу его широкоскулое лицо,— щеки залились румянцем, небольшие глаза сузились. Все, кто его знал, понимали: он сдерживает рвущийся наружу гнев. Я не хотел бы держать ответ перед ним в эту минуту.

Против него стояли три человека, очевидно только что вошедшие. Я увидел на полушубках и шинелях снег, еще не потемневший, не подтаявший, и понял, что не опоздал.

С Белобородовым говорил кто-то высокий, сутуловатый, в полушубке до колен, с шашкой на боку. Я узнал полковника Засмолина. Он настойчиво старался в чем-то убедить Белобородова.

Я не застал начала разговора, но по двум-трем фразам догадался: Засмолин приехал, чтобы лично просить у генерала подкреплений.

С Засмолиным прибыл капитан, офицер связи штаба армии, тот, что утром провел некоторое время у Белобородова.

Рядом стоял человек в шинели с красной звездой на рукаве. В первую минуту я не узнал его. Меня лишь удивило очень бледное его лицо. Но я тотчас понял, что это не бледность растерянности или испуга. Лицо было сурово, сосредоточенно, и я сразу вспомнил вчерашнюю мимолетную встречу: крепко сбитую фигуру, твердую постановку головы и корпуса. Я шепотом спросил телефониста:

Кто это?

— Комиссар бригады,— был ответ.

Белобородов молча слушал.

— Хватит! — вдруг крикнул он.

Засмолин осекся.

Секунду помедлив, овладевая в этот момент собой, Белобородов негромко продолжал:

— У нас с тобой после будет разговор...

Затем он обратился к капитану:

— Вы откуда? Доложите обстановку. Только быстро, быстро.

Волнуясь, но стараясь говорить спокойно, капитан последовательно изложил события боя за Рождествено.

В девять утра два наших батальона заняли южную окраину села Рождествено. Сопротивление противника концентрировалось в церкви и вокруг нее. Наши силы захватывали дом за домом. Противник подбросил резервы — два танка и до батальона пехоты. Немцы стали бить термитными снарядами, зажигая дома. Это внесло замешательство. Послышались крики: «Огнем стреляет!» Несколько человек побежало, за ними остальные. Штаб бригады выбросил резервный батальон, который залег в полукилометре от села. Но теперь положение ухудшилось. Из села небольшими группами, по десять — пятнадцать человек, начали выбегать автоматчики противника и, пробираясь лесом, стали обходить батальон. Некоторое время батальон лежал под

обстрелом с флангов, неся потери, но немцы проникали дальше, стремясь с обеих сторон выйти батальону в тыл,— наши не выдержали и откатились.

— Куда? — спросил Белобородов.

— Сюда. Бойцы залегли у окраины этого поселка. Штаб бригады бросил последнее, что у него было,— комендантский взвод. Сейчас немцы ведут огонь с опушки леса. Они уже подтянули сюда и минометы.

— Все? — спросил Белобородов.

— Что еще? Артиллеристы увидели, что батальон отходит,— орудия на передки и тоже сюда.

— Все?

— Да, во всяком случае, товарищ генерал, самое главное.

— Самое главное? — переспросил Белобородов и взглянул на комиссара, словно ожидая от него ответа.

В эту минуту все ясно услышали глухой разрыв мины где-то рядом с домом. Тотчас ухнул второй, третий, четвертый... Против нас действовала немецкая новинка — многоствольный миномет.

Засмолин не выдержал молчания.

— Мне нечем их отбросить,— сказал он.— Они могут на плечах сюда ворваться.

Но Белобородов словно пропустил это мимо ушей.

— Самое главное? — повторил он и опять пристально посмотрел на комиссара.

Тот стоял в положении «смирно», глядя прямо в глаза генералу. Комиссар молчал, но кадык, остро выступающий на сильной шее, подался вверх и скользнул обратно, как при глотательном движении. По напряженному лицу, обросшему двухдневной щетиной, угадывалось, что у него сейчас стиснуты зубы.

И вдруг генерал стукнул по столу,— во вздрогнувшей лампе подпрыгнул и на секунду закоптил огонь,— и крикнул на весь дом:

— А пулеметчики, которые не побежали, как овцы, из Рождествена,— это для вас не главное? Пулеметчики и стрелки, которые и сейчас там держатся,— это не главное? Сколько их?

— Человек сорок,— не очень уверенно ответил Засмолин.

— Сорок? А может быть, сто сорок? Ни черта, я вижу, ты не знаешь. Но пусть их осталось даже двадцать пять,— эти двадцать пять стоят сейчас дороже, чем две тысячи, которых, из-за того, что ты не умеешь управлять, гоняет по лесу сотня вшивых автоматчиков.

— Из двух тысяч, товарищ генерал, осталось только...

— Не верю! Сказки про белого бычка! Ни черта ты не знаешь! Почему ты сейчас здесь? Кто тебе позволил бросить войска и прибежать сюда?

Молчание. Слабо доносится пулеметная стрельба, пулеметы бьют неподалеку, но стены и плотно занавешенные окна скрадывают звук. Слышится сильный глуховатый удар, это опять немецкий многоствольный миномет, но мины ложатся где-то в стороне; ухо едва улавливает четыре отдаленных разрыва.

— Комиссар! — Голос Белобородова гремит на весь дом.— Комиссар! Почему вы здесь? Почему вы не с пулеметчиками, которые держатся в Рождествено?

Комиссар молчит. Лицо по-прежнему очень бледно, и он по-прежнему смотрит прямо в глаза генералу.

— Извольте отвечать!

Комиссар отвечает очень сдержанно:

— Я приехал, товарищ генерал, чтобы получить ваши приказания.

— Какие приказания? У вас есть приказ. Другого приказа нет и не будет! Запомните: не будет!

— Какой приказ? — спрашивает Засмолин.

— Выполнить задачу!

Снова где-то совсем рядом разрыв, и тотчас звон стекол, посыпавшихся в другой половине дома. Нервы ждут второго, третьего, четвертого удара, но их нет: это одиночная мина.

— Выполнить задачу! — властно повторяет генерал.— Овладеть Рождественом! Окружить и уничтожить всю эту вшивую шпану!

— Товарищ генерал. Но я прошу...— произносит Засмолин.

— Не дам! Ни одного бойца не дам! Учись воевать собственными силами.

— Сейчас их нет...

— Вранье. Не верю! С твоими силами можно раздавить это село! С твоей артиллерией там все можно разнести к чертовой матери! Руководить надо, управлять надо, а не распускать слюни!

— Но...

— К черту твои «но»... Отправляйтесь сейчас сами — командир, комиссар, начальник штаба, все до единого, все, кто есть у тебя в штабе. Отправляйтесь туда, где растеряли своих людей, и наводите там порядок. И чтобы в двадцать один ноль-ноль задача была выполнена! Окружить и взять Рождествено во что бы то ни стало!

Белобородов смотрит на Засмолина в упор. Голос генерала опять гремит на весь дом:

— Любой ценой! Понятно?

Его взгляд, почти физически источающий волю, ясно говорит: «Даже ценой твоей, Засмолин, жизни!»

— Понятно! — отвечает Засмолин.

Белобородов испытующе смотрит на него, потом поворачивается к комиссару:

— А тебе, комиссар, задача: пробиться к пулеметчикам в Рождествено. Собери охотников — фамилии их сейчас же мне пришли сюда — и с ними! Ползком ползите, но проскользните, поддержите! Там твое место, комиссар! Ясно?

— Ясно, товарищ генерал.

— Ну, что еще? Тут, товарищи, проверяется все. С нами шутить не будут. Это приказ Москвы.

Белобородов сказал это негромко, но с такой непреклонной силой, что у меня морозец пробежал по позвоночнику. И вероятно, не только у меня. Вероятно. многие, кто присутствовал в эту минуту здесь, в сырой, промозглой комнате, где обосновался штаб советских войск, начавших в шесть утра 8 декабря 1941 года атаку на Волоколамском направлении,— многие остро ощутили критический час истории, когда Белобородов, второй раз в этот день, произнес слово «Москва».

После минутной паузы Белобородов спросил:

— Вопросов нет?

— Разрешите сказать, товарищ генерал,— произнес Засмолин.

Он уже изменился: проступила командирская подтянутость, командирская твердость.

— Комиссар ранен, товарищ генерал.

— Ранен? Куда?

— В левое плечо. Ему на поле боя санитар сделал перевязку.

— Я...— начал комиссар и смолк.

— Говорите,— сказал Белобородов.

— Завтра я приду к вам, товарищ генерал, с докладом, что задача выполнена, или...

Комиссар запнулся, но он заставил себя договорить:

— Или не приду совсем!

Белобородов пристально посмотрел на комиссара.

— Хорошо,— сказал он.— Больше вопросов нет? Нет. Все. Идите.

* *
*

16. 20. Обедаем. Я говорю:

— Какое у вас странное отчество: Павлантьевич...

— Эх,— отвечает Белобородов,— мой отец и сам толком не знал, как его зовут: Паладий, Евлампий, Аполантий... Рылся всю жизнь в земле, так и умер темным! Сейчас оглянешься — и страшно: как были задавлены люди, как были обделены всем, что достойно человека. О самом лучшем, о высшем счастье даже не подозревали...

Еще в первую встречу Белобородов рассказал мне — правда, очень кратко — историю своей жизни. Я уже знал, что он окончил четырехклассную сельскую школу, что в 1919 году, шестнадцатилетним подростком, пошел в партизанский отряд. В 1923-м добровольно вновь вступил в Красную Армию и, прослужив год красноармейцем, был послан в пехотную школу. «Недавно по дороге на фронт,— рассказывал он,— я вышел из поезда в Горьком. В тысяча девятьсот двадцать шестом году я уехал оттуда на Дальний Восток командиром взвода, а возвращался пятнадцать лет спустя командиром дивизии».

Я спрашиваю Белобородова:

— А что же, по-вашему, самое лучшее?

Он отвечает не задумываясь:

— Творчество.

— Творчество? На войне?

— Странно? Мне самому иногда странно. Задумаешься и содрогаешься: какой ужас война! Никогда не забуду одной жуткой минуты. Это было в бою во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге. Лежал боец и мокрыми красными руками запихивал кишки в живот, разорванный осколком. Это видение преследовало меня годы! А сколько теперь этой жути! А это? (Белобородов обвел вокруг себя рукой, указывая на диван, на голые железные прутья кровати, на забытую сломанную куклу, на всю комнату, покинутую какой-то семьей.) Это разве не страшно? И все-таки я никогда не знал такого подъема, никогда не работал с таким увлечением, как теперь. На днях я получил телеграмму от жены. Она поздравляла меня сразу с тремя радостями: с тем, что дивизия стала гвардейской; с тем, что я получил звание генерал-майора; и с тем, что на свет появился наш третий ребенок. Жена у меня чудесный человек, по образованию педагог. Я до сих пор влюблен в нее, но когда прочел телеграмму, вспомнил, что последний раз послал ей от-

крытку полтора месяца тому назад. Дело так увлекает, что забываешь обо всем. Думаешь, думаешь — и вдруг сверкнет идея. И примериваешь, сомневаешься...

— Сомневаешься? — переспросил я.

— Еще как! Поставить задачу, отдать приказ — это не просто. Иногда измучаешься, пока найдешь решение. А ведь бывает, что надо решать мгновенно. И за одну минуту столько переживешь, будто вихрь через тебя пронесся. Ошибешься — людей погубишь, соседей подведешь, весь фронт может колебнуться из-за твоей ошибки. А ведь какой фронт — Москва сзади! Возьми, например, сейчас. Что делать? Может быть, послать резерв к Засмолину, чтобы отбросить противника, который взял инициативу в Рождествено и прорывается сюда? Нет! Если пойти на это, значит, уже не я командир, а противник мной командует, навязывает мне свою волю. А сегодня мы должны переломить его! Сегодня мы должны погнать его назад, погнать по нашей воле! Ты знаешь обстановку — противник здесь крепко держится. И надо искать решение. Где оно?

— Но мне кажется, Афанасий Павлантьевич, что у вас как будто есть решение.

— Да, наклевывается. Но надо еще взвесить, потолковать с людьми, проверить и только потом сказать: «Да, так!» Но знаешь, что помогает?

— Что?

— Ненависть!

Он произнес это слово, и его лицо, которое я знал хмурым и веселым, добрым и разгневанным, на миг стало беспощадным.

Я смотрел на его широко раздавшееся, плосковатое лицо — лицо «иркутской породы», и мне стало и радостно, и жутко. Ведь сейчас, во время негромкой беседы за столом, в этом лице промелькнуло лишь слабое, отдаленное отражение беспощадности, что в нем живет.

— Не знаю,— продолжал Белобородов,— мог ли бы я ненавидеть яростнее, если бы физически боролся один на один с бандитом, который хочет ножом перерезать мне горло! А поговорите с народом — о, как растет ненависть! Фашисты готовили нам всем такое, что даже жизнь моего отца — серая, скудная жизнь придавленного человека — показалась бы невероятно радостной. Но не вышло, горло они нам не перережут! Они уже начинают уяснять и скоро завопят от ужаса, когда с нашей помощью окончательно поймут, какая это сила Советская страна!

Белобородов говорит, я слушаю с волнением.

Казалось бы, мысли, высказанные им, не новы и, быть может, на бумаге выглядят давно известными, много раз прочитанными, но у него они накалены страстью, окрашены чем-то глубоко личным, идущим от самого сердца.

Я слушаю, и мне вдруг становится яснее, почему ни одно государство не выдержало бы ударов, которые пришлись на нашу долю.

Я слушаю Белобородова и вспоминаю других выдающихся людей нашей страны, которых мне довелось близко знать, хотя и не о всех, к сожалению, я успел написать. Я вспоминаю семью доменщиков Коробовых, строителя Кузнецкого завода Бардина, конструктора советских авиамоторов Швецова,— они все различны и все похожи.

И Белобородов похож на них.

Это люди-созидатели каждый в своей профессии и вместе с тем созидатели нашего общества, государственные деятели Советской страны, подобных которым — по манере, повадке, характеру, духу — не знает история.

И пожалуй, первый признак, по которому их узнаешь,— то, что от них ощутимо исходит или даже брызжет радость напряженнейшего творчества. Они живут в полную силу, во весь размах большого дарования.

И вместе с этим — воля! Часто почти невероятная, часто совершающая невозможное!

Это люди страсти — творческой страсти, творческой одержимости, влюбленные и беспощадные.

После революции миллионы стали жить и живут творчески, миллионам доступно высшее счастье, о котором говорил Белобородов.

Вот о чем думалось мне, когда говорил Белобородов.

СЛАВА НАРОДА

КАПИТАН ГАСТЕЛЛО

На рассвете 6 июля на разных участках фронта летчики собрались у репродукторов. Говорила московская радиостанция, диктор, по голосу, был старым знакомым — сразу повеяло домом, Москвой. Передавалась сводка Информбюро. Диктор прочел краткое сообщение о героическом подвиге капитана Гастелло. Сотни людей на разных участках фронта повторяли это имя.

— Гастелло? Да это же о нашем капитане!

Николай Францевич Гастелло был членом большой и дружной семьи советских летчиков.

Еще задолго до войны, когда он вместе с отцом работал на одном из московских заводов, о нем говорили: «Куда ни поставь, всюду пример».

Это был человек, упорно воспитывавший себя на трудностях, человек, копивший силы на большое дело.

Чувствовалось, Николай Гастелло — стоящий человек. Когда он стал военным летчиком, это сразу же подтвердилось. Он не был знаменит, он быстро шел к известности. Он все мог, все умел, на все у него хватало сил.

Кто знал его прежде, до сих пор помнит, как однажды пришлось ему везти тридцать человек раненых. Путь пролегал над хребтом, погода капризничала, над перевалом неистовствовал грозовой шквал.

Пытаясь пробиться к месту назначения, Гастелло едва не задевал самолетом вершины гор. И тут, на беду, отказал один из моторов. Ну что же, гибель?

Публикуемые очерки печатались в годы войны в «Правде», «Красной звезде» и фронтовых газетах.

Но он не захотел сдаться даже перед явной неизбежностью. Он попробовал набрать высоту. Он набрал ее. Он взял перевал. Приземлившись, Гастелло сам удивился тому, что сделал.

С первого же дня Великой Отечественной войны капитан Гастелло во главе своей эскадрильи громил фашистские танковые колонны, разносил в пух и прах военные объекты, в щепу ломал мосты.

О капитане Гастелло уже шла слава в летных частях. Люди воздуха быстро узнают друг о друге!

Последний подвиг капитана Гастелло не забудется никогда. Это не фраза. Подвиг его не забудется потому, что будет повторен сотнями других летчиков, если им придется оказаться в столь же безвыходном положении, что и капитану Гастелло.

3 июля во главе своей эскадрильи капитан Гастелло сражался в воздухе. Далеко внизу, на земле, тоже шел бой. Моторизованные части противника прорывались на советскую землю. Огонь нашей артиллерии и авиации сдерживали и останавливали их движение. Ведя бой, Гастелло не упускал из виду и бой наземный.

Черные пятна танковых скоплений, сгрудившиеся бензиновые цистерны говорили о заминке в боевых действиях врага.

И бесстрашный Гастелло продолжал свое дело в воздухе. Но вот снаряд вражеской зенитки разбивает бензиновый бак его самолета.

Машина в огне. Гастелло сделал все, чтобы сбить пламя, но это не удалось! Выхода нет.

Что же, так и закончить на этом свой путь? Скользнуть, пока не поздно, на парашюте и, оказавшись на территории, занятой врагом, сдаться в постыдный плен? Нет, это не выход.

И капитан Гастелло не отстегивает наплечных ремней, не оставляет пылающей машины. Вниз, к земле, к сгрудившимся цистернам противника мчит он огненный комок своего самолета. Огонь уже возле летчика. Но земля близка. Глаза Гастелло, мучимые огнем, еще видят, опаленные руки тверды. Умирающий самолет еще слушается руки умирающего пилота.

Так вот как закончится сейчас жизнь: не аварией и не пленом — подвигом.

Машина Гастелло врезается в «толпу» цистерн и машин — и оглушительный взрыв долгими раскатами сотрясает воздух сражения: взрываются вражеские цистерны.

Запомним имя героя — капитана Николая Францевича Гастелло. Его семья потеряла сына и мужа; семья, Родина приобрели героя. Среди бессмертных подвигов советских соколов навсегда останется подвиг человека, отдавшего свою жизнь до последнего дыхания своей Родине, своему народу.

СЫНЫ КАВКАЗА

Удар с моря по Керчи был неожиданностью для немцев. В штормовую декабрьскую ночь, когда, казалось, ни одно существо не проберется живым через кипящий волнами пролив, бесшумно подошли большие и малые десантные суда. Люди прыгали в студеную воду и, высоко подняв в руках оружие, спешили к берегу. Крохотный катер подскочил к самому причалу, но не пришвартовался вплотную. Между бортом и пристанью было пространство метра в полтора-два. Пехотинцы чуть замялись. Безыменный краснофлотец прыгнул в воду, уперся руками в края причала, шепнул ближайшему бойцу:

— Пехота, прыгай на меня! Не бойся: флот под тобой! Не подведет!

И шестьдесят пар сапог промчались по его богатырским плечам. В спешке этой героической ночи никто не заметил, куда потом девался отважный моряк. Одни говорили, что захлебнулся и погиб. Другие уверяли, что видели его поутру в первых рядах наступающих и слышали, как он покрикивал:

— Размяться никак не могу, ребята! Навек пехота меня сгорбатила!

Удар с моря был для немцев страшной неожиданностью. Но еще большей явилось для них яростное звучание боевых криков на добрых пяти языках, раздавшееся в предутреннем сумраке Керчи: звали в бой, пели, бранились, скликали товарищей на русском, украинском, грузинском, армянском и азербайджанском.

Бой был жестоким. Бушлаты моряков и шинели пехотинцев звенели, подмерзнув на холодном ветру. Бой шел за берег Крыма, за дороги, за город, за каждую улицу. И поныне цел дом, в котором группа краснофлотцев, заняв второй этаж, выбивала немцев из первого и третьего этажей. И поныне памятно место, где погиб, ведя за собой бойцов, комиссар Георгадзе. Его сильный певучий голос немцы могли услышать одним из первых:

— Ваша! Ваша! [1]

Он звал за собой, голос его в темноте ночи был маяком, определявшим путь вперед.

— За нашу Грузию! — подхватывали бойцы-грузины зов своего комиссара.

— За Айястан! — вторили им бойцы-армяне.

— За Баку, за солнце Азербайджана! — дружно поддерживали азербайджанцы.

— За Черное море! — гремели краснофлотцы.

...Из Крыма Гитлер мог угрожать станицам Терека, долинам Грузии, степям Азербайджана, горам Армении. Отбивать Крым от немцев сошлись бойцы со всех сторон Советского Союза, и, пожалуй, ни на одном другом фронте нет такого национального разнообразия, как в Крыму. Здесь все народы в братском единстве защищали каждый свое родное и кровное. Молодые воины Кавказа получали здесь свое первое боевое крещение, и скоро подвиги более опытных слились с новой славой тех, кто впервые взял в руки винтовку.

В содружестве солдатских народов началась борьба за освобождение Крыма. Это содружество создало свои традиции, свою славу, свое бессмертие. Вот оно.

Идя на прикрытие наших бомбардировщиков, летчик-истребитель капитан Абзианидзе встретил над территорией, занятой немцами, семь «Мессершмиттов» и пять «Юнкерсов». В его распоряжении было не больше полсекунды, чтобы принять решение. Он принимает самое смелое — вперед!

Подскочив на шестьсот метров к семерке вражеских истребителей, он берется за пулемет и орудие. Не давая фашистам опомниться, он первым нападает на них. После нескольких выстрелов у одного самолета отрывается левая плоскость. Он падает. И одиннадцать остальных вразброд отваливают в сторону, сходя с курса, поворачивают назад. Небо остается за капитаном Абзианидзе.

А на земле, в подбитом немецком танке, башенный стрелок Саиб Измаилов, азербайджанец, перевязав раненого командира, открывает огонь из орудия по фашистской колонне, идущей в контратаку. Снаряд за снарядом он метко посылает в немцев. Их контратака сорвана. Они растерянно залегают. А Саиб Измаилов, израсходовав все снаряды, спокойно принимается за пулемет. Он бьет по залегшим цепям, заставляет их ползти назад или разбегаться по сторонам. Тогда вражеская артиллерия со-

[1] Ваша — по-грузински «ура».

средоточивает на танке Измаилова сильнейший огонь. Танк в огне. Немцы радостно улюлюкают: сейчас советский танкист выскочит с обожженным лицом, поднимет вверх руки и будет молить о пощаде. Гитлеровцы придвигаются ближе, чтобы не упустить его. А Измаилов и не думает покидать горящей машины. Он знает одно: впереди есть еще не перебитые фашисты, а патронов у него много. Он бьет по врагам в упор. Жизнь его замолкает с последним выстрелом, точно они едины.

Недалеко от этого места продвигается вместе с подразделением автоматчик Айрапетян. Немцы жестоко отбиваются. Они подбрасывают подкрепления, чтобы задержать наш натиск. Их резервам удается на какой-то момент приостановить атаку. Все может сейчас пойти прахом. Решают секунды. Нужен решительный зов или отважный поступок, чтобы возобновить движение. Айрапетян горяч и вспыльчив, как всякий южанин, а битва еще более возбудила его. Полный ярости, скрипя зубами от злости, он вплотную приближается к фашистам и открывает такой сумасшедший огонь из автомата, точно стреляет последний раз в жизни. «Психическая атака» Айрапетяна имеет успех: немцы растеряны. Не зная, что позади него, не зная, один он или в соседстве с товарищами, Айрапетян по-прежнему наседает на противника.

— Ура, я вам говорю, ура! —кричит он, и громовое «ура» раздается в ответ на его настойчивый зов. Минуты растерянности как не бывало. В этот момент, решающий исход схватки, Айрапетян ранен в руку.

— Ура! — кричит он.

Однако что это? Немцы пытаются перейти в контратаку. Еще раз повторяется мгновение, когда нужен решительный зов. Айрапетян по-прежнему впереди. Огонь его автомата действует сильнее окрика, решительнее команды. Айрапетян ранен в плечо. Стрелять ему теперь очень трудно. А уйти невозможно. Еще «ура», и еще вперед!

Немцы отходят. Дважды раненный Айрапетян бросается вслед за отступающими. Не имея штыка, он бьет фашистов прикладом своего автомата.

Но тут третье ранение, в ногу, и товарищи опережают Айрапетяна. Теперь наступление неудержимо, как камни обвала с горной кручи...

В этом ожесточенном бою санитар Ахмед Гейдаров выносит из-под огня более тридцати раненых с их оружием. Когда он несет очередного бойца, вражеская пуля пробивает Ахмеду ногу. Надо ползти. Он пополз, истекая кровью и влача на себе

беспомощное тело товарища. Правда, они незнакомы, даже не понимают друг друга. Но у них есть речь без слов, речь общей цели. Огонь немцев преграждает путь санитару. Раненому нужно какое-нибудь укрытие, иначе — гибель. Никакого укрытия нет. Тогда скромный азербайджанский колхозник, впервые переживающий бой, прикрывает собой раненого и так, обняв его, погибает.

...Темная южная ночь перепутала небо с землей. Разведчик Михаил Кварацхелия выходит за языком в паре с земляком-грузином. Как ни тихо они ползли, наткнулись на патруль. Кварацхелия слился с землей, а его напарник трусливо поднял вверх руки.

— Трус проклятый!

И Кварацхелия заносит гранату — вражеский патруль и трус в последний раз видят землю и небо.

Двадцать ночей в течение пяти недель пробыл Кварацхелия в тылу врага. Двадцать благодарностей в его деле. Одна из них от маршала Тимошенко. В эту ночь Кварацхелия не привел языка, зато не дал он языка и немцам. Были они земляками, Кварацхелия и тот подлец, что поднял руки, и был у них один язык, а души разные. У Кварацхелия нет общей речи с трусом, хотя тот был бы трижды грузином. Кварацхелия сражается по-советски, и его все понимают: и моряки-украинцы, и русские-саперы, и армяне-снайперы, и кубанские казаки.

...Вот каковы они, дети советского Кавказа, собравшиеся на битву за кровно принадлежащий всем, общий наш Крым.

В НАСТУПЛЕНИИ

Выйдя на запад от Терека, в широкие долины Баксана и Малки, наши танки и пехота в течение трех суток проделали путь, отнявший у немцев три месяца. Потеряв Эльхотово, Моздок и Нальчик, немцы отходили, предпринимая частые контратаки. За Плановским они уже не успевали даже разбрасывать мины. В Александровской оставили мастерскую и в ней больше десятка танков. В Пришибской сожгли 200 своих машин. В Прохладном бросили лагерь наших военнопленных, 18 тысяч снарядов, почти 2 миллиона патронов, 450 ящиков тола, десятки мотков проволоки.

Единственное, что они еще успевали делать,— это методически, расчетливо разрушать мосты и с немецким упорством ва-

лить один за другим телеграфные столбы. 200 граммов тола, привязанные к столбу на уровне двух метров, надламывают бревно, как соломину.

Догоняя противника по изуродованным дорогам, переправляясь через десятки быстрых рек — то верхом по переброшенному рельсу, то ползком по наспех наведенному подобию моста, а то и прямо вброд,— выходила на просторы плоскостной Кабарды и к степям Ставропольщины великая пехота большевиков. Она шла не быстрым, но и не медленным шагом, тем, что называется у бойцов «дальним»; таким шагом, будь это горы Кавказа, степи Дона или леса дальнего севера, русский солдат делает 50 километров в сутки.

В станице Змейской немецкий фельдфебель вбежал в хату, схватился руками за голову:

— Русский солдат идет! — И удрал, забыв награбленное добро, личные вещи и даже оружие.

Да, идет русский солдат. Он идет своим дальним шагом, весело поглядывая на морозное солнце, напоминающее украинцам февраль, русским — апрель, сибирякам — начало мая. В середине дня после недолгого боя стрелки взяли Змейскую, к вечеру были в Александровской. По дороге плотной стеной стояли, плача и смеясь, казачки с ребятами на руках. В Солдатскую стрелки вошли в канун рождественского праздника по старому стилю. В хатах пекли пироги, варили сладкий узвар, кутью, араку.

— Заходите в хату, угостим вас, как полагается,— кричали стрелкам хозяйки.— Зайдите, про наших расскажите!

Сколько бы ни воевали люди, какие бы гигантские пространства ни охватывала война, но никогда не исчезнет у человека вера, что солдаты, где бы они ни воевали, должны обязательно встречаться и знать друг друга. Но стрелки не стали заходить в хаты. Наступление возбудило их до крайности, не позволяло медлить. В наступлении всегда кажется, что тебя кто-то обгонит и ничего не оставит из той славы, что воссияет после победы.

Да и как тут не торопиться, когда в Солдатской уже видно воочию, что немец сильнее забеспокоился? Тут даже телеграфные столбы целы, цела железнодорожная станция, оставлены огромные военные склады. На пространстве добрых двух километров лежит около 500 вагонов авиабомб, артиллерийских снарядов, тола, 20 новых авиационных моторов, несколько самолетов. Когда немец бросает столь ценные вещи, медлить нельзя. К ночи стрелки командира Рубанюка уже у Ново-Павловской.

Здесь следы той же растерянности: около 200 вагонов боеприпасов, 2 танка, 10 самолетов и еще множество пока неуточненных трофеев.

Гитлеровцы готовились отправить из этих районов до 20 тысяч мужчин и женщин на работы в Германию, но не успели забрать и двух десятков. Они готовились вывезти все поголовье скота, все зерно — и тоже не успели. Они едва успевают увозить своих солдат, то обещая им теплую зиму в Армавире, то уютные квартиры в Ростове, то возвращение домой, на отдых.

Стрелки идут, неся на плечах жерди, волоча за собой тяжелые кряжи, застилая мосты, перетаскивая на руках пушки. Великое напряжение удачи, успеха, доброго дела удесятеряет их силы.

В одном из передовых подразделений идет красноармеец Василий Иванович Лепехин, человек зрелых лет, призванный из запаса и уже раненный в эту войну под Белой Церковью. Это солдат не кадровый, не молодцеватый, а скорее падкий до работы. Таких, как он, в нашей армии сотни тысяч, если не миллионы. У него на все дела один аллюр — степенный русский шаг, на вид не быстрый, но ходкий.

Лепехин сам из Змейской. Первым вбежал в станицу, постучал в хату, а сам еще кричит «ура» и постреливает из автомата. Обнял жену, взглянул на присмиревших ребят и бегом за своими.

Пехота, танки, артиллерия идут все вперед и вперед. Над станицами уже звездная ночь, но не мирная, когда все живое укладывается на отдых, а военная, не затихающая ни на минуту. Бесшумно, как летучие мыши, проносятся на выключенных моторах «Иваны-полуночники» — маленькие «У-2». Как глухари на току, заливаются автоматчики. Где-то за садами лязгает металл танков. С упрямым русским терпением, которому нет предела, саперы сращивают сломанные телеграфные столбы, сжимают их хитроумными шинами, связисты тянут по ним свой нескончаемый кабель, и скрипит их «шарманка» — катушка. Движение пехоты, уютно овеянное махорочным духом, нарушается грохотом танков, орудий, кухонь. Саперы совершили одно из своих необъяснимых чудес — наложили десятки мостов за считанные часы, лязг металла будит спокойно заснувшие станицы, и снова собираются у дорог ребята и женщины.

А впереди — зарево пожарищ, глухой орудийный гул, кипение боя. Предстоит штурм очередного узла сопротивления. Ле-

пехин снимает скатку, рюкзак, кладет наземь винтовку и затем снова все медленно надевает на себя. Это — на его языке — называется обновить кровообращение. Потом он выжидающе смотрит на командира.

— Ну, как, скоро пойдем? — спрашивает он.

И от боя к бою, в ожесточенных схватках уничтожая врага, идет он, русский солдат, все вперед и вперед, по просторной радостной дороге наступления.

ЛЮДИ НЕПОБЕДИМОЙ ВОЛИ

Каждый советский воин, праздновавший День победы в поверженном, дымящемся фашистском Берлине, ощущая всем существом, что закончен наконец долгий, тяжелый подвиг, великий ратный труд, невольно оглядывался на пройденный им путь.

Кто вспоминал только путь вперед, придя в Советскую Армию в годы безостановочного движения на запад, а кто помнил и первые дни войны, дни горьких переживаний, отступлений и окружений, дни, когда враг угрожал Москве и Ленинграду и казалось, что нет ему преграды, что ничем его не остановить...

Но так казалось только людям, упавшим духом, подавленным масштабом развернувшихся событий. В сердце настоящего воина даже в дни тяжелых потерь жила глубокая вера в то, что мы остановим и одолеем врага, чего бы это нам ни стоило!

Враг приближался к Ленинграду. Его авиация господствовала в воздухе. Его танки грохотали по всем дорогам. Его силы превышали наши в несколько раз. Расстояние от фронта до города на Неве сокращалось с каждым днем.

Бойцы на фронте с болью ощущали, что за их плечами лежит Ленинград. Это придавало им новые силы в самые трудные, отчаянные часы, бросало на подвиг, заставляло биться насмерть. В записной книжке погибшего сержанта Павла Омельченко было написано в те дни о Ленинграде: «Этого города — колыбели революции — нельзя не любить за его красоту и величие. На жизнь и смерть пойдешь за него!.. Придет время, и мы перейдем в наступление могучим, победным маршем. Пусть я не доживу до этого дня, но умру с верой, что он будет!»

И чем ближе разгоралось сражение, тем сильнее жило в советских людях, вставших на защиту Ленинграда, сознание сво-

его превосходства над, казалось бы, непобедимым врагом, имевшим огромное преимущество в сухопутной технике, в авиации, в боеприпасах.

В этих людях жила несокрушимая сила воли. Их вдохновляли примеры народного героизма, так как борьба стала народной. Вот я и хочу рассказать о людях, которые сражались и погибали в 1941 году. Воспоминания эти могут быть очень обширными, но я ограничусь несколькими страницами из этого, теперь уже далекого прошлого.

...Стоял сухой, жаркий, пропитанный гарью пожарищ август. С инструкторами из политуправления фронта я и писатель Саянов заехали в знакомую еще с финской войны дивизию. Генерал-майора Андрея Егоровича Федюнина мы нашли около Шелони, на поляне, среди больших лесов.

Он командовал дивизией, только недавно отличившейся в сокрушительном ударе по врагу под Сольцами. 56-й моторизованный корпус генерала Манштейна, получив этот сильнейший удар в районе Городища и Уторгоша, попал в критическое положение, из которого с трудом выбрался. 8-я танковая фашистская дивизия понесла большие потери и вышла из боя наполовину уничтоженной.

Удар двух групп наших войск с севера и юга был внезапен и бил по флангам выдвинувшейся группировки противника. Мы начали угрожать тылам и коммуникациям 4-й танковой группы, наступавшей на Кингисеппском и Лужском направлениях.

Фашистское командование вынуждено было прекратить наступление на Кингисепп и Лугу и обрушить все удары на Новгородское направление. В четыре раза превосходил враг наши части, и они с тяжелыми боями отошли на рубеж рек Мшага и Шелонь...

В лесу стояла душная летняя тишина, казалось, что самое время собирать грибы и ягоды, совершать мирные прогулки. Генерал рассказывал, как его дивизию сняли с Карельского перешейка, где среди валунов, речек, болот и лесов долгое время она с успехом отражала атаки финнов, и перебросили на рубежи нашей 11-й армии, чтобы не допустить прорыва противника к Новгороду. Замысел удался. 40 километров бежали разбитые фашисты. Не ожидавшие сопротивления, они теперь бросались к машинам и удирали, а те, кто не успел уехать, снимали сапоги, чтобы легче улепетывать.

Теперь на этом участке фронта уже почти две недели затишье. Даже странно, что мы окружены суетой бивуака, и после многих дней непрерывного сражения враг как будто отказался

от дальнейшего продвижения. После большого успеха в дивизии живет большая уверенность. Видеть бегущего врага — что может быть лучше в дни тяжелых боев!..

Генерал, однако, хмур и сосредоточен. Он расстилает на траве карту и угрюмо смотрит на нее.

— Тишина эта обманчива,— замечает он.— Я вам скажу, что случится, и, вероятно, очень скоро. Мы помогли нашей лужской группе и враг перегруппировывает силы. Он ударит правее нас, потому что левее бить некуда — там озеро Ильмень. Он ударит не по нашей дивизии. Он ее знает и знает, что она его отобьет. Немец нанесет удар там, где стоят 1-я горно-стрелковая бригада, в которой нет ничего горно-стрелкового, и 1-я дивизия народного ополчения. Разломав фронт, противник начнет двигаться к Новгороду, оттесняя нас или в леса, вернее, если мы уйдем туда, или к озеру, где нам не будет спасения. Конечно, все это он сделает превосходящими силами. Он любит бить наверняка, зная, что у нас слаба авиация и нет почти никаких резервов. Что остается делать нашей дивизии? Драться, драться до последней возможности, потому что потери, понесенные фашистами по всему фронту, в конце концов скажутся. Когда части противника выйдут на ближние подступы к Ленинграду, они будут обескровлены. Нам будет сейчас очень тяжело. Но другого выхода у нас нет: сражаться на уничтожение!

— Знают ли бойцы про трудность положения?

— Знают. Видят, что делается. Это боевая дивизия, покрывшая себя славой на Карельском зимой 1940 года и сейчас. Они будут драться до конца.

— Нельзя ли повторить снова контрудар, как было под Уторгошем и Сольцами?

— Положение изменилось не в нашу пользу. Тяжелые бои идут на Карельском, на Кексгольмском, на Петрозаводском направлениях, на Кингисеппском участке. А у нас даже резервов нет. Авиации очень мало. Танков надо бы побольше...

— Но враг может выйти к Новгороду и развивать удар на Чудово, к Ленинграду, перерезать Октябрьскую дорогу?

Тяжелая складка легла на лбу генерала.

— Может. Если он и дойдет до Новгорода, то только ценой очень больших потерь. Наша задача — не дать ему хода, сойтись с ним грудь с грудью. Сейчас главное — измотать его силы, обескровить, уничтожить как можно больше машин, людей, орудий. Смерть в бою солдату не страшна. А Ленинград Гитлер не возьмет никогда!

— Не возьмет никогда! — как эхо, ответили мы.

Весь день мы провели в окопах, в сторожевых охранениях, беседовали с солдатами и командирами, с разведчиками. Все, с кем мы ни говорили, ждали близкого вражеского наступления, но ни в ком не было уныния.

Вдруг в дверях блиндажа мы увидели человека с суровым, обветренным лицом. Он был в штатском платье, подпоясан желтым ремнем, за ремнем — гранаты. Командиры внимательно слушали его. Месяц назад он был служащим и любил ходить по лесам только тогда, когда уезжал в летний отпуск.

Сейчас он командир партизанского отряда, постоянный житель лесов, охотник за вражескими отрядами. Разведчик рассказывает о том, как на рассвете, лежа у дороги, он в тусклом сумраке считал, сколько вражеских танков прошло на его глазах, сколько собралось на перекрестке, как был взорван мост на реке.

Потом он склоняется над картой и показывает, каким путем сейчас пойдет в разведку; и странно, в этом штатском, подтянутом, худом человеке вы вдруг видите бесстрашного и умелого воина. Сейчас он уйдет в лес. Это командир партизанского отряда.

Совсем стемнело. Часовые зорче всматриваются в глубину леса. Гудят минные разрывы в стороне речки. Захлебывается пулемет где-то вправо. Прямо на часовых идет, широко шагая, пожилая крестьянка. На плечах у нее лопата и пустой мешок.

— Куда, бабка, путь держишь? — спрашивают ее.

— Картошку копать, родные.

— А где твоя картошка?

— В уголку, у речки, где рощица. Вон там...

— Да ведь там немец минометом бьет, как же ты копать будешь?

— Да, батюшка, знаю, что бьет, он к самой-то темноте обязательно шуметь перестанет, а я тут и покопаю.

— А не боишься?

— А нам бояться-то нельзя, родной.— И женщина таинственно шепчет: — Вася-то, сын мой, в партизанах ходит...

И она уходит в полосу огня, большая, крепкая русская женщина, носящая данное ей жизнью имя: мать партизана.

Мы сидим и курим в тишине вечера. Вокруг бродят неясные шорохи. Нам кажется после утреннего разговора, что действительно все это мираж и вот-вот разразится неслыханный гром и начнется последний, решительный бой. Загудит лес, повалятся вековые деревья, всюду поползут языки пламени, и

треск рвущихся снарядов зелено-красными сполохами начнет полосовать августовскую ночь, полную запахов летнего леса.

— Товарищ генерал,— задает один из собеседников неожиданный вопрос,— а почему на вас парадные штаны — не полевые, защитные? Очень уж броско, издали видно, что генерал.

Тот машет рукой с досадой.

— Сколько ни требовал прислать мне полевую форму, не присылают, думают — мелочь... Да, конечно, это мелочь, но теперь переодеваться поздно. Бойцы подумают — дело плохо: сам генерал от своих отличий отказывается. Так ведь?

— Когда же, вы думаете, все-таки бой?

Он смотрит на небо, точно там есть ответ на наш вопрос.

— Может быть, даже завтра! — говорит он тихо.— Все может быть. Мы готовы!

Мы лежим на копне сена. Спать не хочется. В голове проходят картины дня. Все просто: народная война, крестьянка, такая, какую рисовал еще Венецианов, и совсем не такая. Но в ней есть вековечное, суровое, народное сосредоточение, глубокий взгляд на мир и на то, что в нем происходит. Так естественно ей идти с лопатой и вместо картошки думать о том, как помочь в борьбе и сыну, и всем своим, что бьются за родную землю...

Кругом спят люди дивизии. Иных из них я видел на финской войне, в лесах и на льду залива, в страшнейший мороз и вьюгу... Вспоминаю слышанный днем рассказ о летчике Шаврове Владимире Николаевиче. Из комсомольцев он, сам рабочий человек. 14 июля был принят в партию, 20-го получил кандидатскую карточку, а 22-го прилетели на аэродром фашисты. Нагрянули из-за облаков. Завязался бой по всем правилам. Карусель такая — не приведи бог. Шавров пошел в лоб на фашиста. И тот идет, не сворачивая. Ас какой-нибудь это был. В амбицию влез. Идут и идут навстречу. Так с лету и врезались друг в друга. Ни тот, ни другой не свернул. Самолеты разлетелись на тысячу кусков. Только брызги блеснули в небе. Что же вы думаете? При виде этого зрелища все фашистские самолеты немедленно вышли из боя и смылись, как не было. Они бежали в панике, и ни один больше не приходил на наш аэродром, хотя они прекрасно знали наше расположение. Один сбитый позже немецкий летчик показал, что их ас надеялся, видно, что наш в последнюю минуту отвернет. Непонятен фашистам такой героизм.

...Ночь ползет медленно, и луна стоит над головой. В лесу смутные шорохи, шуршали ветки под чьими-то осторожными

шагами. Тихие голоса. Где-то кричит ночная птица. Вспоминаю, как обсуждали сегодня бойцы гибель шофера Парфения Кустова. Вражеские мотоциклисты — пьяные, нахальные — внезапно настигли на дороге две машины. В одной из них сидел Кустов. Положение было безвыходным. Он не думал сдаваться и лихорадочно соображал, как спасти машины. Вдали послышалась стрельба. Кустов сунул себе за голенище ключи от своей и от второй машины, надеясь протянуть время. Немцы, заслышав стрельбу, торопятся, спрашивают у Кустова ключи.

Он отвечает, что у него их нет.

Немцы нервничают, а стрельба все ближе. Стали обыскивать пленных. Найдя ключи, фашисты пришли в бешенство. Спокойно, не дрогнув, принял смерть Кустов.

— Стреляйте, собаки! — крикнул он в лицо врагам.

Так умер русский солдат Парфений Кустов. Но не удалось фашистам угнать машины: их окружили и перестреляли товарищи Парфения.

— Вот,— говорили бойцы,— какие люди! Кустов сознательно пошел на смерть, чтобы не отдать машины врагу. И не отдал.

Он и самую смерть превратил в оружие. Выиграл время и товарищам показал пример, как надо исполнять до конца свой долг. Так погибать умеют только сильные душой...

Я ворочался на сене и не мог уснуть: картины недавних боев и всего виденного на фронте стояли перед глазами. Мозг сверлили слова генерала Федюнина о том, что нет резервов, авиации. Удар будет неотвратимый. Предстоит неравный смертельный бой.

Что будет здесь, за этим лесом, на этих дорогах, ведущих к древнему Новгороду, красе городов русских?

На рассвете за нами зашли инструкторы политотдела, и мы уехали.

2

...Мы стояли, прижавшись, к стене древней церкви в Новгороде. Нам некуда было деваться. Налет застал нас врасплох. И хотя бомбили переправы и пристани на Волхове и вокзал, но город поливали тоже усердно смертоносным дождем. Зрелище горящего города, перекрещивающихся лучей прожекторов, зенитных разноцветных линий, освещенные взрывами черные старые деревья, всполохи, пробегающие по окнам зданий,— все

это походило на страшный сон. Но это не был сон. Новгород стал ареной битвы. И, может быть, эта стена древней церкви, к которой я прислоняюсь сейчас, через некоторое время рухнет и все, что мы называем нашей гордостью и древней славой, превратится в руины; исчезнут с лица земли и фрески Софийского собора, и удивительные росписи стен церкви Спаса на Нередице, и памятник тысячелетию Русского государства. Все пожрет алчный огонь нашествия, и грохот адской стрельбы воцарится здесь на долгие месяцы.

Я подумал о генерале Федюнине. Где он сейчас, где его дивизия? Целыми днями мы крутились в огненном кольце. Нас обступали грохот боев и пожары, которым не было конца. Они вспыхивали непрерывно. Черные космы дыма висели над полями и лесами. Снаряды невидимых орудий рвались в деревнях, ударяли в крыши, косили людей и повозки, скот, который гнали по дорогам.

Потоки людей стремились на север. Вокруг горела и рыдала на все голоса новгородская земля. В деревнях среди паники и суматохи собирались в лес будущие партизаны. Под натиском сильнейшего врага мы снова отходили. Федюнин был прав: враг любил бить наверняка. Он скопил столько силы, чтобы обязательно проломить фронт.

Я представлял себе, как части дивизии идут по лесам, выходя из окружения, как Федюнин мрачно шагает по дебрям, как ему трудно думать, что соседи не устояли, отступили, что теперь надо спасать дивизию, вынести знамя, раненых...

Я думал о непобедимой воле этих людей, которые сражались до конца и не дали врагу легкой победы, которые теперь идут с горькой думой, но с железной волей к сопротивлению, зная, что, если они погибнут, новые бойцы займут их место в строю.

Новгород горел в разных местах. Черные тучи пожаров мешались с тучами, низко нависшими над городом. Трудно было добиться точных сведений о том, где фронт и что на нем происходит. Ночью мы встретили командира, который мог только сказать, что немцы ввели новые резервы, что их авиация неистовствует, что 70-я, насколько он знает, отступает на север западнее Новгорода, по лесам, что Федюнин, кажется, погиб...

— Когда вы проехали село Медведь? — спросил командир.

Мы вспомнили и назвали время, когда мы были в Медведе и покинули его.

— Ваше счастье,— сказал командир,— через час там уже хозяйничали немецкие танки...

3

Штурм Ленинграда был отбит. Все атаки фашистов оказались безуспешными. Началась долгая, с перерывами битва, которая длилась 900 дней.

Прошли самые тяжелые, кризисные дни, и я снова оказался в той дивизии, которая в августе сорок первого с боями выходила из окружения. Не было генерала Федюнина, дивизией командовал несколько раз раненный полковник Анатолий Андреевич Краснов, прославленный Герой Советского Союза. Бывший пензенский агроном, богатырского сложения человек. От его фигуры так и веяло просторами полей. Его пышные усы горели на солнце.

Бойцы дивизии, несмотря на тяжелые бои, не унывали.

— Он для нас разрешенный,— говорили опи о враге.

— Что значит «разрешенный»?

— А то, что мы все его секреты разрешили, как он воюет, и все его хитрости. Мы и сами на хитрость часто берем. У нас даже женщины его бьют. Пулеметчица есть одна на правом фланге, она пулеметом так работает, что другому мужчине не угнаться.

В пустой казарме всего три красноармейца. Остальные на занятиях. Дневальный так гаркнул: «Смирно, встать!» — что командир невольно улыбнулся.

Дневальный — пожилой боец, рапортовавший самым отменным образом.

— Вы старый солдат?

— Так точно, товарищ майор.

— С немцами в прошлую войну воевали?

— Так точно, бпл немцев!

— Ну, а как снова будете воевать? — спросил командир, не без удовольствия рассматривая широкоплечего, могучего человека, сохранившего военную выправку.

— Нам не привыкать,— отвечал боец.

— А дети у вас есть?

— Три сына сражаются на войне. Один — лейтенант в пехоте, один — танкист и один — в артиллерии. Я, выходит, четвертый боец.

— А где жена?

— Старуха моя дома осталась — нас дожидаться. Проживет с семьей, пока воюем. Ничего, у нас хлеба на три года хватит: у нас края богатые; да и она не одна, помогут. Вот у нас задача

потяжельше: Ленинград оборонить, врага уничтожить. Нам дома сидеть не должно!

— Вот она Россия! — говорит комиссар Георгий Журба.— Поднялась из самой глубины. И с такой уверенностью в победе, что не надо никакой агитации.

Бывший диспетчер с ленинградского завода, Георгий Журба пошел ополченцем в страшные сентябрьские дни. Не сразу узнали, что у него две шпалы, а он дерется простым бойцом.

Перешел из ополчения в армию батальонным комиссаром. Немцы напирали. Шли психическими атаками. Не все же одним немцам ходить. Оглянулся комиссар и повел своих в атаку. По-суворовски атаковали вал, за которым сидели фашисты, ворвались в деревню. Жаркий был бой. Шли на Журбу семь гитлеровцев. Троих он уложил из автомата. Четверо куда-то делись. Соскочили с забора — и нет их. Подбежал к забору, посмотрел в щель — сидят в канаве. Ах, сидите, так получайте! И сгоряча три гранаты, одну за другой, туда пустил. Начисто вымел...

Много боев прошел с дивизией комиссар. Выходил из окружения по сырым лесам и болотам. Выносил раненого командира полка. Где только ему не приходилось сражаться! И там, где в мирное время гулял на отдыхе,— в аллеях Пушкинского парка, и под Колпино, и на Неве.

Комиссар подмечает все, малейший недочет не скроется от его хозяйского глаза. Вот прибыло пополнение. Разные в нем люди. И подход к ним разный. Есть такие, что с самим Чапаевым вместе воевали, с немцами бились в первую мировую войну. Это один народ. А есть юнцы, хорошие парнишки, но совсем зеленые вояки. Идет такой с самокатом, останавливается за кустами. Вспотевший лоб, чуть растерянные глаза, говорит ломающимся голосом:

— Товарищ подполковник, а где здесь пункт связи, не знаете?

— А ты что — связной? — спрашивает комиссар.

— Связной буду! — говорит краснощекий юнец.

— А в армии-то давно?

— С апреля, с конца. Месяц всего...

— Ну, так иди по этой тропинке, потом налево, там и найдешь. А когда увидишь своего командира, то скажи, сынок, ему, чтобы он тебя научил, как по форме к начальнику обращаться. Ну, иди, понял меня?

— Понял, товарищ командир,— говорит смущенный, покрасневший до ушей юный воин и уходит по тропинке.



Так жила страна с первых дней войны

Это не забудется

Блокада прорвана! Встреча воинов Ленинградского и Волховского фронтов 19 января 1943 года

«После боя сердце просит музыки вдвойне»

— Ничего, вырастим из него вояку,— говорит комиссар,— я сам, знаете, первые дни воевал не по форме. Пошли мы в разведку. Деревня противником занята. Нас 12 человек всего. Сколько немцев, не знаем. У деревни брошенный миномет и при нем мины. А мы толком никто стрелять из него не умеем. Смекнули, однако, наладили да и ударили по деревне — раз, другой. Немцы выскочили, бежать, мы — на ура. Ворвались в деревню и заняли ее. Вот как бывает на войне...

4

Здесь не было яркого солнечного освещения, здесь не было высококолонного зала, залитого белым искусственным светом. Широкая покатость холма, вокруг стройные рощицы молодых сосен, уходящие в разные стороны ложбинки с еще зелено-бурой травой. Надо всем белесая многоярусная толща тумана. Тихий влажный день поздней осени.

Строгие воинские ряды, море касок защитного цвета, скромная трибуна, в стороне белое пятно труб оркестра.

У трибуны окруженное почетным караулом командиров высокое знамя, красный тяжелый бархат с потускневшей от времени вязью вышитой надписи.

Знамя крепко держит старый питерский мастер, ныне директор завода, товарищ Иванов. К древку знамени прикреплен орден Боевого Красного Знамени, полученный городом-бойцом за разгром контрреволюционных полчищ.

На торжественном заседании Петроградского Совета 20 декабря 1919 года М. И. Калинин сказал тогда: «Товарищи, вручая это знамя, я могу сказать, что все рабочие и крестьяне могут быть вполне уверены в том, что питерские рабочие, закаленные в борьбе, никогда не отдадут врагам народа этого Красного Знамени. Они привыкли брать, но не отдавать знамени». Десятилетия это знамя гордого города не знало поражений и не должно знать, десятилетия оно было залогом непобедимости великого города, по улицам которого ни разу не ступала нога чужеземного завоевателя.

И сегодня, в дни длящейся второй год осады Ленинграда, оно, овеянное бессмертной славой, окутанное пороховым дымом далеких битв, снова призывает к подвигам. Немецко-фашистские полки залегли у города. Совсем недалеко линия огня, вражеские дзоты и траншеи. Глядите на это знамя, бойцы, и

клянитесь в верности ему в сердцах своих! Будьте стойки, как были стойки ваши отцы, говорит этот красный бархат.

Тут же рядом стоят они, представители рабочего класса, живые участники октябрьских событий.

Вперед выходит молодой стройный командир. Его имя известно многим. Это Клюканов, прекрасный воин. Он говорит за всех. Они будут биться так же, как бились люди тогда, когда это знамя вело их на врага. Клюканов не оратор. Клюканов — боец, его слова звучат веско, как слова военного приказа, в них уверенность, искренность и горячность.

— Клянемся этим знаменем, на котором кровь героев,— говорит он,— что мы не посрамим этого знамени, клянемся отстоять город Революции, разгромить врага!

На трибуне участник старых сражений, рабочий Балтийского завода, моряк в прошлом Столяров. Да, тысячи под этим знаменем отдали жизнь, отдали охотно, потому что знали, за какое дело они борются.

Его сменяет работница-ленинградка Корпуснова. Она говорит о том, как не покладая рук трудятся в Ленинграде женщины. Они не отдадут того, что дал им Октябрь...

Она говорит горячо. Мы знаем эти ночи Ленинграда, где в грохоте цехов рождаются новые танки и пушки, автоматы и пулеметы, новые снаряды и авиабомбы. Женщина говорит, что фашисты убили ее сестру, и она требует от красноармейцев отомстить за нее, за тысячи других, погибших от руки врага.

Мимо трибуны проходят батальоны. Это идут боевые полки, знавшие и бессонные ночи обороны, и переправы, и атаки, и кровавые «пятачки», отбивавшие неотвязные вражеские натиски и сами ходившие в атаки. С автоматами и винтовками, с противотанковыми ружьями катится лавина непобедимых.

Они идут мимо священного знамени, на котором горит боевой орден, и они клянутся выстоять, победить. Они идут, дети единой семьи. Среди их лиц вы легко обнаружите скуластые черты казаха, сына степей, и горного таджика и сурового латыша и горящие глаза кавказцев, и уверенные, спокойные лица украинцев и белорусов.

И старая путиловская работница, и участник октябрьских боев с любовью смотрят на них, будто это идут их собственные сыновья...

Они сдержали свою клятву.

21 апреля 1945 года первые выстрелы по Берлину произвел дивизион тяжелых орудий, которым командовал майор Гаркун, дивизион, сражавшийся за город Ленина.

ДЕЛА И ЛЮДИ УРАЛА

Свойства их разны были всегда:
Ковко железо, а сталь — тверда.
Сплавь их — получишь в одном металле
Ковкость железа и твердость стали.

Старинное правило,
как делать булат

Чтоб понять, каким образом Урал выполнил задачу обороны, как он смог заменить собой технически более передовой и мощный юг, нужно вспомнить решающее качество советского человека — пробужденный и выросший в нем инстинкт деятеля-творца...

В том, что произошло на самом показательном участке нашего тыла — на промышленном Урале, есть черты эпохального значения.

Сущность происшедшего вытекает из того главного факта, что экономика социалистического хозяйства — это всегда экономика мира, созидания, роста, а не войны и разрушения. И главная сила нашей новой экономики — это рабочий человек. Посмотрим на конкретных примерах, как он вел себя во время Отечественной войны.

ВОСПИТАНИЕ

Тот, кто проделал длинный осенний путь с запада на восток вместе с заводским эшелоном, мог наблюдать в пути группы подростков. Они выскакивали из теплушек и бежали за кипятком — всегда стайками, никогда в одиночку. Полудетские лица

В годы Великой Отечественной войны Мариэтта Сергеевна Шагинян выполняла различные задания на Урале. Она много ездила по городам, стройкам и селам, выступала перед коллективами предприятий, наблюдала за работой нашего героического тыла. На основе наблюдений и дневниковых записей М. С. Шагинян опубликовала серию документальных очерков. Четыре из них предлагаются вниманию читателей.— *Ред.*

их были озабоченны, неподвижны, насупленны, словно мысль работает и хочет освоить неожиданное, случившееся с ними, и еще не может его схватить. Ноги их путались в длиннополых, не обношенных форменных шинельках. Это были ученики ремесленных училищ и фабзавучники, присоединенные к рабочим коллективам своих заводов. Ребята, едва начавшие сознавать себя, уже проделали большую и романтическую историю, уже накопили опыт жизни.

Остановите того, кто бежит медленней всех,— широколицего веснушчатого паренька, почти безбрового, с носом-пуговкой, переваливающегося в слишком длинной шинели. Это Шурка. Он из смоленского колхоза, любимец матери. Дома, бывало, не уснет, пока мать не подтянет его к себе, под материнский бок, хоть старшие и засмеивали и дразнили за это. Когда Шурку отсылали в город, в ремесленное училище, он ревел белугой и слез не утирал. Мать напекла ему в дорогу жирных рассыпчатых пшеничных лепешек и твердых ароматных ржаных коржиков. Город Москва совершенно подавил и ошеломил Шурку; три дня он, как зверек, ни на чьи вопросы не отвечал. Потом начал отвечать, опустив подбородок на грудь и таким шепотом, что его приходилось переспрашивать. А потом уже носился по училищу бойчее всех, и только к вечеру, после приготовления уроков, как начнут от усталости слипаться глаза, Шурка вспоминал мать, тихо подбирался к воспитательнице и ластился к ней стриженой головой: ему недоставало ласки.

А воспитательница, немолодая полная женщина, своих шестерых поставила на ноги и все это очень понимала. Она старалась дать мальчикам, сразу вырванным из больших крестьянских семей, из теплого избяного уюта, вместе с лаской то, чем сама увлеклась и что в те дни увлекало и всю Москву: чувство высокой, прекрасной гордости за подготовку нового поколения рабочего класса — хозяина родной земли.

Государство взяло на себя эту подготовку и щедро поставило ее. Ничего не пожалело: светлые, большие, умно обставленные классы, теплые, хорошо проветренные спальни, мягкие кровати с простынями и пододеяльниками, еженедельная смена белья, души, а какая еда! В первое время ребятам не хватало хлеба, по крестьянской привычке набивать им желудок. А потом они вошли во вкус мясных блюд, гарниров, компотов, стали все чаще оставлять хлебные корочки на столе. Гуляли они парами, как до революции институтки и пансионерки закрытых учебных заведений, и с каждой прогулкой им раскрывалась Москва, красота ее старых архитектурных групп, старинные камни

Кремля, мшистый, потемневший, густой, такой особенный, как «на картинке», цвет этих камней в зеркально-ясном осеннем небе Москвы.

Уже они так привыкли к новой жизни, что дома, в колхозной избе, сразу заметили бы и духоту, и житейские неудобства. Но еще не осознали они того главного, чем одарила их новая жизнь. И заметили это в пути...

Враг подходил к Москве. Шла эвакуация заводов. По ночам ища безопасного выхода для заводского эшелона, тихо маневрировал темный паровоз вокруг всего города; на платформах доканчивали погрузку. И ребята ремесленных училищ, испуганные, сжавшиеся, наблюдали, как покрывались брезентом машины, как из пригородного лесочка рабочие несли охапки свеженаломанного порыжевшего березняка и заботливо укрывали им сверху свои машины, маскируя их от вражьего глаза.

Третий раз мальчики меняли семью. Теперь из уютных, светлых спален и классов, из размеренного учебного дня с хорошими учителями и ласковыми воспитательницами они попали в необычный, неопределенный мир с неизвестным завтрашним днем. Душная, тесно набитая теплушка, чужие взрослые люди, скудный котелок на железной печурке, чистка картошки, поиски старых бревен на остановках, рубка леса, забота о себе и своей пище, о том, чтобы не опоздать вскочить в вагон, а там укутанные на платформах заводские цехи, в соседних вагонах заводские рабочие — их новая семья, на первый взгляд такая неласковая, незнакомая,— их неведомый трудный завтрашний день!

Засыпая на досках теплушки, ребята вспоминали, как к ним в ремесленное училище приезжали писатели читать свои стихи и рассказы; приезжали ученые, профессора, певцы, актеры, музыканты; в те первые месяцы вся Москва хотела помочь государству готовить из них новый рабочий класс. Разница была слишком велика, скачок слишком чувствителен.

— Набаловали вас — ничего, привыкайте,— сказал им както дежурный по эшелону без злобы.

Но дети обиделись. Они уже привыкли считать, что не баловство, а законное, простое дело было их воспитание. От него сейчас остались следы — голос выработанных привычек. В определенные часы, трижды в день, громко заговаривал желудок: он требовал еды; утром рано, проснувшись, тянуло помыться и зубы почистить; в часы прежних занятий ребята искали книгу, тетради, испытывали голод мозга, потребность поучиться, а

вечером было пусто: недоставало урока, который непременно требуется приготовить на завтра. Мальчики тогда не знали, и окружающие их тоже не знали, что в этих позывах образовавшихся привычек, в этой выработанной цепи рефлексов — самое важное, самое дорогое, что они успели получить в училище,— великое чувство режима, устроенный на весь день распорядок времени, приучивший к себе организм человека. Не знали ребята и того, что чувством режима надо очень дорожить и беречь его, стараясь при всех обстоятельствах как-то отвечать на него, то есть жить, не разбивая образовавшихся рефлексов. Если б в теплушке с ними был прежний учитель, он им рассказал бы в утренние часы о городах и краях, куда они ехали, а вечером спрашивал бы у них о рассказанном. Но время учебы кончилось, мальчики становились взрослыми людьми.

Вот они в чужом городе, на огромном, знаменитом заводе, в сверкающем сталью и стружками, шумящем проводами механическом цехе. Шурка в фартуке вместо мундира, с черными пятнами металлической пыли на носу и у переносицы — токарь третьего разряда. И рядом с ним старый, седой рабочий, земляк мальчугана, тоже смоленский.

Шурка стал молчалив. Вначале он пристрастился было курить, и как-то его поймали на том, что он потянулся к плохо лежавшему чужому добру. Хотели судить Шурку, но вступился хозяин украденного Шуркой кисета — вот этот самый смоленский токарь. У него давно не было семьи, сына он потерял на фронте. А Шурка не знает, что сталось с его матерью и родными: в тех местах хозяйничали немцы. Рабочий разговорился с мальчиком, угостил его, как взрослого, табачком. Они сидели на скамейке перед бараком; слово за слово выведал старик у мальчика всю подноготную, рассказал ему о своих делах, пригласил работать вместе. И день за днем взрослым, хорошим обращением, уважительным подходом старый токарь пробудил в своем товарище смутное рабочее самоуважение. Стал Шурка чаще молчать и думать, курить бросил сам собой, захотел ближе и лучше узнать машину, начал следить за рабочим местом, за чистотой своей койки. И тут как-то он поделился со старым токарем своим огорчением, что нет прежнего порядка в жизни, нет аккуратного, по звонку, чередования дела и отдыха, еды и спанья. Только было привык к нему, и вдруг — словно и не было!

— Порядок он хорош в самом человеке,— ответил токарь,— велика честь жить по звонку. Ты вот сам будь звонком своей жизни, образовывай себя!

И Шурка всерьез принялся образовывать в себе тот великий внутренний звонок, ту строгую внутреннюю дисциплину, без которой нет полного человека. Он стал хозяином своего времени.

Тысячи уральских ремесленников переходят сейчас в ряды взрослых рабочих. В Магнитогорске есть один не совсем обычный горновой, тоже Шурка. В цехе его зовут Малыш. А если спросить у него самого, то он скажет, что его зовут Александр Александрович Бронников. Этот Малыш — низенького роста, курносый, очень миловидный мальчик, лет шестнадцати, перепачканный графитом, ладный и грациозный. Он горновой в бригаде Дроздова, на трудной и ответственной плавке. Измерить его работу можно записной книжкой. Там на замусоленной страничке Александр Александрович небрежно занес свой заработок последнего месяца: две с четвертью тысячи зарплаты и полторы премиальных.

— Ого! — скажете вы, прочитав.— Небось, мать отнимает?

— Сам домой несу,— важно ответит Малыш.

Улыбнется он только, если вы спросите, нравится ли ему работа горнового.

— А то как же?

И белые зубы сверкнут в совершенно черных от сажи и графита губах.

Горновые — высокая квалификация, у них инженерская ставка. В старые времена доменное дело велось скрытно, на Урале была в ходу так называемая мастеровщина, тщательное оберегание секретов производства. Доменный процесс считался загадочным, различные явления его — непонятными. Была целая своя каста, немногочисленная, мастеров и инженеров, имеющих якобы особый многолетний опыт распознавания этих явлений. Они лечили домны за особую плату и в искусственно создаваемых внешних условиях. До 1929 года и у нас, в системе Наркомтяжпрома, еще были такие доменные лекари, требовавшие особого уважения к себе и считавшие, что без них доменное дело идти не может. Но советская молодежь быстро пораскрыла все эти секреты и сделала их известными для каждого. И сейчас Малыш, Шура Бронников, горновой Магнитки, тоже имеет такой «многолетний опыт» и уже прекрасно справляется со всеми загадочными явлениями доменного производства.

На заводе, где директором Д. Кочетков, работает токарем шестнадцатилетний уралец, Витя Толкачев. В самые напряженные дни работы над оборонным заказом Витя сбежал из цеха на футбольный матч — проступок в военное время очень большой. На собрании его перебрали, что называется, по косточкам.

Но, слушая, как о нем говорят, Витя глядел под ноги, кривил рот, супился: мол, а мне наплевать: возьму вот и удеру! И в цехе укоренилось мнение, что из этого парня толку не выйдет.

Лишь старый, умный кировец, токарь Гребс Владимир Федорович, думал иначе. Он прикрепил мальчика, с которым никто не хотел иметь дела, к себе: пусть-ка попробует поработает со мной!

Старый и малый работали два месяца: Гребс, высокий, светлоглазый ленинградец, с лицом и повадками северянина, молчаливый и справедливый, но без нежностей, и упрямый уральский мальчишка, не знающий, что такое дисциплина.

Гребс ни с кем в цехе не делился, как идет работа, и ничего не рассказывал о Викторе. Но вот Владимира Федоровича выдвинули в мастера, и Витя остался один на почетном гребсовском месте, на месте, где работал виртуоз, знаток своего дела. Добрая слава токаря Гребса и его станка сделалась наследством Вити. Словно испугавшись, что его переведут отсюда, Витя трудился изо всех сил, трудился в упоении, перенеся в работу весь свой задор футболиста, всю радость ощущения своих мускулов, своей ловкости,— и через несколько дней, на удивление цеху, начал выполнять бывшую выработку Гребса. Станок его учителя заработал на полный ход, по-прежнему!

С тех пор Витя Толкачев вошел в график стахановцев. В цехе впервые увидели, какие золотые руки у мальчика. Про него пустили хорошее слово — «быстроручка», стали звать его Толкачом. А Витя, чувствуя новую свою репутацию, с уральской упряминкой, подтягивая за собой других, вышел на самую передовую линию. Прежде чем ввести на заводе новую норму, ее дают обычно на пробу, на подготовку, чтоб посмотреть, как с нею справятся рабочие. В субботу на новую пробу поставили Витю Толкача. Он сделал пятнадцатичасовую работу за восемь часов. Снял и сложил свой фартук. Вымыл руки, вытер их насухо, пришел в контору и, ни на кого особенно не глядя, деловым тоном сказал:

— Желательно внести тысячу рублей на танковую колонну.

Из кармана своей курточки Витя вынул кошель, отсчитал аккуратно деньги и положил их стопочкой. Вите дали расписку и сказали:

— Ну, Толкачев, в выходной ты свободен. Иди хоть в футбол играй, дело свое ты сделал.

Виктор поднял глаза на говорящего, попробовал было снисходительно, как взрослый на шутку, усмехнуться: мол, не такое время, чтоб в футбол играть! Но шестнадцать Витиных лет

взяли свое, и мальчик увидел перед собой законное, свободное, заработанное честным трудом время как светлую, длинную, приятную дорожку отдыха и удовольствия и вдруг, повернувшись, вприпрыжку побежал к выходу.

ВСТРЕЧА С ВОСТОКОМ

Почти все, что у нас было опытного, талантливого, знающего, перекочевало на восток. Но Урал встретил эту армию не с пустыми руками. В уральском народе десятками поколений воспитывались старинные культурные навыки к заводскому труду. Свое, вековое мастерство переходило от деда к внуку, от отца к сыну. Есть здесь потомственные сталевары, насчитывающие сталеваров в семье с незапамятных времен. Есть доменщики, чей опыт может поспорить с самыми передовыми доменщиками юга, хотя они работают на старых, заштопанных, технически примитивных домнах.

На такой допотопной, маленькой домне завода имени Куйбышева уральцы взялись осенью прошлого года за ответственнейший оборонный заказ. Стране нужен был один из ферросплавов, делавшийся раньше в электропечах юга. Его никогда не выплавляли в домнах. Но уральские доменщики взялись его выплавить.

На заводе имени Куйбышева работает коренной уралец Семен Иванович Дементьев, по собственному его выражению, «произошедший весь доменный процесс». Начинал он с коногона, возил на ко́нях (уральцы делают ударение на первом слоге) руду к домне, а сейчас он старший мастер. У него франтоватые, по-заграничному модно закрученные кверху рыжие усы, а глаза неожиданно простодушны и детски кротки, в полном противоречии с самонадеянными усишками. Дементьев сконфуженно крутит их — такие уж они от природы — и глядит на вас добрым взглядом рабочего человека: «Всю жизнь всех вывозил и сейчас, если надо, вывезу». Ему-то и достались основные трудности необычной для домны плавки. Главный инженер завода Герасимов, руководивший бригадой по этой плавке, говорит про Дементьева, что в уходе за печью, в выпуске плавки он проявил огромный практический опыт, небывалое мастерство. Вот с такими местными мастерами и пришлось встретиться приехавшим новым кадрам.

В этот же город, где жил Дементьев, перебросили с юга горняков-криворожцев. В первое время никак не могли криво-

рожцы свыкнуться с местным обычаем. У себя они привыкли к большим домам с десятками квартир, встречались с соседями на лестницах, в клубе, в парке отдыха и культуры, в столовке. Жизни не представляли себе без радио, без газеты. А здешний народ молчаливый. После работы прячутся по домам. Как идти к ним в гости, если вокруг рудника снежное поле, до ближайшей улицы три километра, а домики редкие, в садах, запутаешься в них, покуда найдешь нужный номер? И криворожцы тосковали. Особенно скучал голубоглазый и хрупкий Москаленко, мастер. Он был человек со вкусом, любил смотреть на жизнь через понравившиеся ему образы искусства: вспыхнет интерес, и облегчится жизнь. А тут художественных впечатлений не было. Да и до них ли? И мастер экскаваторного цеха Москаленко, по собственному его признанию, «сидел на чемодане». Представься возможность, и он бы уехал отсюда. Возможность все никак не приходила, и Москаленко ежедневно ранним утром отправлялся на рудник.

Перед ним была богатейшая железом гора. Дышалось в крепкий мороз удивительно легко. Экскаваторы — огромные американские бьюс-айрусы — все работали хорошо, а один особенно хорошо. Москаленко и сам не заметил, как взгляд его, соскучившийся без книг, без театра и без картин, стал внимательней к жизни. Этот взгляд отметил в работе экскаватора что-то необыкновенно ритмичное, почти музыкальное. Управлял им уральский парень, машинист Митя Пестов. Он сидел в кабинке и не спеша, словно на гармони играл: тут нажмет, там тронет пальцем, потянет рычаг на себя, от себя, и огромная машина, издавая тягучую музыку и слушаясь каждого движения Мити, так и ходила гармонией, взад и вперед.

Москаленко видел Пестова и раньше. Невысокий, кряжистый и кудрявый, как дубок, с широким ясным лбом, рассеченным поперечной складкой философа, с яркими, застенчивыми глазами, с детской шраминкой на губе, он был хозяйственным парнем и домоседом. Сам, своими руками, поставил себе избу, ходил по праздникам на охоту. И жена его, повыше него ростом, молчаливая, суровая, как другие уральские жены, тоже не прочь была побаловаться ружьишком в лесу, принести домой подстреленную дичину и выпить с мужем в «кумпании» [1], когда ходят парни стеной, с гармошкой из своей слободы в соседскую.

Острые глаза Москаленко следят за Митиным лицом, они видят в нем больше, чем известно самому Мите. «Замечательная

---

[1] Уральцы часто произносят «у» вместо «о»: кумпания, кустюм.

у него наружность, незабываемая»,— думает Москаленко, стоя в снегу и поблескивая голубыми глазами. Кто знает, какое беспокойство пробудил этот пристальный взгляд начитанного криворожского мастера в молодом и бездумном пареньке?

— Пестов, ну а сможешь ли ты экскаватором спичку с земли поднять? — пошутил неожиданно Москаленко.

— Можно,— невозмутимо отозвался Митя.

И тут произошло невероятное: шутка перешла в дело. Решили испытать Митю: положили на землю, в снег, обыкновенную спичку, уговорились, что Пестов поднимет ее крайним правым зубом экскаваторного ковша, и отошли к сторонке.

Раздалось тонкое, почти звериное подвывание машины. Затанцевали гусеницы. Чудовищное тело экскаватора напряглось, заскрежетало, шея скосилась острым углом, как у кузнечика в прыжке, и вдруг деликатно, по-девичьи поплыло к земле и нежно, правым зубом, как языком, слизнуло спичку. Так забирает слон хоботом копеечку с земли. Ковш поплыл, скрежеща, в воздух, к самому лицу Москаленко, и кудрявый Пестов, выглянув из окошка, озорно так вымолвил:

— Можете закурить!

С этого случая Митя ясней стал понимать самого себя, свободней входить в обладание своих внутренних богатств и «талана». Если экскаватором можно спичку поднять с земли, то сколько же он при умелом обращении железа нагрызет для фронта?

Однако «железо нагрызть» свыше нормы мешали Митиной бригаде важные объективные обстоятельства. И ему, и работавшему в другой смене на этом же участке замечательному уральцу, машинисту Батищеву, приходилось часами ждать паровоза для отгрузки руды. На весь рудник шла одна-единственная рельсовая колея. Вывезет паровоз руду с их участка — и свистит мимо них, дальше, чтоб обслужить соседний участок. А груды растут вокруг, только движению экскаватора препятствуют; поневоле остановишь машину, высунешься из кабинки, покуришь, балясы поточишь. И тогда Батищев и Пестов решили рационализировать это дело; они добились того, чтоб на их участок была проведена отдельная ветка. Теперь по-другому пошла работа: экскаватор знай вгрызается и вгрызается в землю, несет в ковше руду, откроет пасть — и сыплется из нее черная струя прямо в думкары; а паровоз только и делает, что оборачивается взад и вперед, туда с рудой, оттуда порожняком. Заинтересовали и паровозников. Раньше, бывало, не знаешь, кто там у топки возится, а теперь и Ломоносов, и Катаев, и

Калугин, паровозные машинисты,— все знатные люди. В феврале, когда рудникам недодавали энергии и приходилось подолгу стоять, Митя в четыре дня выполнил месячную норму. Вот это и есть прославившаяся в Тагиле «комплексная выработка по методу Батищева — Пестова».

Москаленко больше не «сидит на чемодане»: корешки сотворенного им на новом месте прикрепили его к этому месту жизненной связью. Он стал партийным организатором рудника. Да и сидеть на руднике вообще некогда. Рудник держит знамя, и держит так, что отбить у него это знамя трудненько, разве что на короткое время.

ШКОЛА РУКОВОДСТВА

Недавно в великолепном зале огромного Индустриального института города Свердловска состоялось вручение почетных премий группе ученых. Поднимались на трибуну убеленные сединой академики, знатные металлурги, профессора, застенчивые, скромные люди — врачи, создавшие замечательные целебные средства против страшных эпидемических заболеваний. Среди всех этих людей трое казались совсем молодыми и держались особнячком. Одного, Дмитрия Босого, в зале сразу узнали, хотя он снял бороду, помолодел, похорошел. Но другие два были незнакомы. Простое русское лицо с открытым взглядом, веселые губы, певучий говорок — это недавний человек на Урале, Алексей Семиволос, знатный бурильщик Кривого Рога. Он произвел революцию в бурильном деле, стал обуривать за смену много забоев. Другой — высокий, сутуловатый, с низко начесанной на лоб темной челкой и глубокими, выразительными глазами мечтателя — уралец Илларион Янкин. Он ездил поучиться у Семиволоса и перенес к себе на Урал его опыт, но перенес не пассивно: если Семиволос ввел многозабойное бурение, то Янкин прибавил к нему и многоперфораторное. Это зачинатели, такие же, как Босый. От них пошла новая методика, новая производительность труда. Получив диплом, они в обнимку уселись в первом ряду и стали его разглядывать.

А хорошенькие городские девушки из зала уже незаметно ближе и ближе подтягивались к первому ряду и нет-нет да засматривались на них, новых молодых людей нашей эпохи, окруженных ореолом советской романтики.

В войне эти новые молодые люди — лицо поколения, молодежь сороковых годов XX века — раскрылись с необычайной

яркостью и определенностью. Были эпохи в прошлом, когда отцы не понимали своих детей, философы задумывались над тайной завтрашнего дня, потому что не видели, что скрывается за лицом молодежи. Гадали поэты еще недавно, в десятых годах нашего века, до революции: каковы они, те, кто идут на смену старикам? Пугали беспутством всяческих «Огарков» (было такое общество опустошенных молодых людей), невежеством, нежеланием учиться, неспособностью на жертвы. Все это смешно вспомнить в наше время. Мы, отцы, видим новое поколение, завтрашний день свой, глаза в глаза. И на вопрос, какое оно, можем ответить единственным словом: надежное. На детей наших можно спокойно положиться: они и нам помогут, если понадобится.

В ноябре, под снегом, эвакуировали на Урал один из старейших наших заводов. Отличный заводской мастер, Григорий Михайлович Егоров, молодой парень с веселым, круглым лицом, невысокий ростом, широкоплечий, не успел из вагона ступить на землю, как его услали в соседний город — показать рабочим другого завода новый для них гидравлический пресс. Егоров поехал, а покуда ездил взад и вперед, товарищи его на новом месте уже разобрали по своим бригадам лучших рабочих. Егорову достались одни новички, трудная смена. Стал Егоров со своей сменой отставать. А время острое, завод необходимо как можно скорей наладить. Нарком на людях пристыдил мастера:

— Что же это ты, Егоров? Дома лучше всех работал, а здесь на черепаху сел?

Мастер ответил было наркому:

— Обожди малость!

Но услышал суровое:

— Фронт не ждет!

Собрали бюро, поставили на бюро егоровский отчет (а отчитываться пришлось в одних неуспехах) и крепко поругали его. Вышел Егоров после заседания бюро красный, взволнованный. Сам он рассказывает об этом времени так:

— Решил не выходить из цеха, серьезно обучить смену. Двенадцать часов мастером проработаю, а еще часов восемь на станках с новичками. Берешь рукой их руку и прямо так, наложением рук, и показываешь им, что надо делать. Они пальцами с пальцев моих чувствуют, где нажим, какое касание, сколько силы приложить, куда потянуть, повернуть. Вижу — сообразил человек, сам начал руками владеть, я ему тут же совсем сырых, новеньких подсаживаю. «Обучай тех, кто меньше твоего знает!» Он обучает и при этом сам учится, последнюю беглость

приобретает. А работали мы в таких условиях: цех едва перекрыт, как на вольном воздухе, и от мороза замерзала эмульсия, варежка на руке гремела. В нашей продукции фронт очень нуждался. И скоро моя смена вышла в передовые.

Четырех человек в егоровской смене наградили, а сам Егоров получил орден Ленина.

Казалось бы, все так обыкновенно в этом рассказе: griналег, поработал, вылез. Но в случае с Егоровым есть новое качество. За что хорошего мастера Егорова отчитали на бюро? Он, как пословица говорит, без вины виноват: его услали на другой завод, когда он еще не успел подобрать себе смены; очутился парень не по своей вине с сырыми, необученными рабочими. В мирное время, с обычной психологией мастер на его месте сослался бы на объективные причины, и его никто не стал бы ругать, потому что ругать его было бы несправедливо. Но сейчас, в военных условиях, Егорову и в голову не пришел вопрос о правоте — неправоте, вопрос о справедливости. Не пришел потому, что справедливость сейчас одна: чтоб пошла продукция, чтоб фронт получил оружие, и Егоров, принимая упреки, мерил себя не объективным мерилом, а вот этой высшей мерой суда над собой — любовью к Родине. Когда у матери болен ребенок, она не утешает себя тем, что не виновата; и к сердцу, к душе ее, к ощущению болезни ребенка, боли за него, потребности выходить его у нее органически не смогут примешаться какие-нибудь внутренние расчеты с собой: объективно-де я все сделала и нельзя меня винить. Как массовое явление на наших заводах и в наших уральских людях наблюдается сейчас вот такое материнское, кровное, пристрастное отношение к делу, сведшее на нет всякие объективные причины и ссылки на них. И это — очень характерное, очень важное явление.

Как-то я зашла к Янкину проститься. Он с товарищами уезжал. Я спросила когда. И мне ответили: если самолет будет, так сегодня. В этом коротеньком ответе такая огромная реальность: новое поколение, вот эти три знатных работника Урала,— оно давно уже село на самолеты, освоилось с новой формой транспорта, и это для него так же обыденно — летать, как для нас ездить. Мы, старики, еще только, как купаться в холодную воду — нерешительно и вскрикивая, знакомимся с новым, переживаем его как исключение, как новизну, потому что мы все еще храним в памяти старое, прежнее чувство его необычности. А для нашей молодежи пропорции уже изменились. Исключение стало повседневностью. Они дети своего века, и техника века — это их техника.

Мало кто задумывался над тем, как повлияла наша советская конституция на воспитание характера. А ведь ранние права граждан, полученные молодежью, постепенно приучили и к очень ранней ответственности. Парню еще нет двух десятков, а он руководит коллективом, заставляет себя слушать и уважать. Сперва с пионерами, потом с комсомольцами, он вырастает в хорошего командира, хранящего и в зрелые годы черты особой — молодежной — тактики.

ДОМАШНЯЯ ХОЗЯЙКА

Годами стояла уральская домашняя хозяйка у кухонной плиты, изо дня в день соединяя в себе бухгалтера, счетовода, кассира, закупщика, заготовителя, повара, чернорабочего, завхоза, уборщицу, планировщика и директора своего маленького хозяйства. Соединяя все эти функции в одном лице, она никогда ни от кого не получала за них не только заработной платы, но часто даже и простой благодарности. Молчаливо подразумевалось, что вся эта огромная работа естественна, как природа, что домашняя хозяйка само собой должна ее от века производить и что никаких особенных качеств и талантов для таких обыденных, маленьких, незаметных дел и не требуется.

Но вот великолепный цех большого Кировского завода на Урале. В этом цехе, требующем высокого класса точности, стоят самые «интеллигентные», как здесь выражаются, машины в мире — машины-умницы, сложные, тонкие, требующие заботы и умного обращения. Но машины стоят, а квалифицированных рабочих не хватает. Где взять их? Как быть?

— Нас выручили, знаете кто? Уральские домашние хозяйки! — сказал нам заместитель начальника цеха товарищ Марголис.— Они пришли сюда прямо от кухонной плиты и от базарных корзинок. И какие же это работницы, доложу вам! Выдумать таких надо. Во-первых, подход к станку. Наша машина им сама в руки пошла, как ручная. Заботливые, внимательные, аккуратные оказались, пыли не дадут сесть. Во-вторых, сосредоточенность на нескольких операциях: она и за одним, и за другим, и за третьим сразу уследит и не проморгает. В-третьих, экономия на материале, на масле, на инструменте: стружку и ту жалеет, попусту не бросит, а уж напортить ничего не даст ни себе, ни другим. В-четвертых, укладка во времени, чувство времени, организованные движения. И работать любит. Уж ее

гонишь, гонишь после смены — обязательно всех позже уйдет, всех раньше придет.

Об этом говорит не один Марголис, об этом говорят и другие начальники цехов на десятках уральских заводов. Домашняя хозяйка накопила за годы и годы своей незаметной, серенькой деятельности нажитую тяжким опытом культуру времени и привычку хозяйственного отношения к материалу. Но раньше она была организатором лишь ежедневной потребы семьи, и работа ее исчезала, как только бывала выполнена, оставляя за собой лишь добавочный труд мытья кострюлек. А сейчас она стала делать материальную, весомую, прочную вещь, идущую на фронт, необходимую в обороне, вещь с долгим бытием.

И домашняя хозяйка развернулась в редкостную работницу, жадную на труд, счастливую тем, что труд ее говорит ей «спасибо», что из неблагодарного, домашнего он стал благодарным, народным трудом.

Горновой у домны — это тяжелая, ответственная профессия. Не каждый мужчина справится с ней. Весь Урал знает горнового Фаину Шарунову. Но Шарунова — сильная девушка, с мужской хваткой.

А поглядишь на Евдокию Петровну Щербакову, когда она выходит после окончания смены в берете и жакетке, кто подумает, что это горновая на одной из крупнейших наших домен! Щербакова — маленькая, щуплая русая женщина, с невеселым лицом, задумчивая. В глазах и в тоне ее, когда она говорит негромко, непролитые слезы. Евдокия Петровна приехала на Магнитку из Уфимской области и долго работала в столовой. Жизнь ее сложилась тяжело, неудачно. Муж оказался непутевый. Ребенок на руках. Нервы зашалили. Но пришла война, и маленькая, хрупкая женщина попросилась в доменный цех.

Никто не верил, что Щербакова может стать горновым, ходить с тяжелой лопатой, ровнять канавы для чугуна, быть в этом вихре жара, круглых огненных брызг и черной графитной, острой, как стекло, пыли.

Но Щербакова сделалась прекрасным горновым, передовой работницей в цехе, и ее светлые глаза, как и у всех доменщиков, подолгу застаиваются на игре огня, на великом зрелище выпускаемого из домны огненного потока...

Анастасия Яковлевна Усольцева — другой человек. Это степенная, молчаливая работница; глаза у нее смотрят по-хозяйски, исподлобья, без всякой мечтательности. Работает она в одном из цехов огромного комбината. И однажды к ее станку пришла целая комиссия — изучить и зафиксировать режим ее работы.

На большой лист, разграфленный и замеченный, нанесены были все особенности этой работы, а потом вывешены для примера и сравнения.

Усольцева не изобретатель, не Босый. Она ничего не приделала к своему станку, не предложила новых приемов. И все же оказалось, что эта суховатая женщина в платочке, с гладко причесанными волосами, с поджатыми губами, стала вожаком своего дела. Работа ее раскрыла перед цехом огромное значение ритма.

Чтобы сделать эту работу наглядней, ее записали рядом с рабочим режимом другой работницы, Зуйковой, соседки Усольцевой, тоже стахановки. Что же мы видим?

Усольцева приходит к станку за полчаса до начала смены. В эти полчаса она обеспечивает себе хорошую настройку станка, заточку инструментов, чистоту рабочего места — на весь производственный день.

Соседка ее приходит лишь к звонку.

Усольцева останавливает свой станок за десять — пятнадцать минут до конца смены, чтобы прибрать и приготовить место для своей сменщицы.

Соседка ее даже к звонку не всегда успевает закончить намеченную программу.

Усольцева, подготовив станок и хорошо его зная, работает так, что на производственный труд у нее уходит 95,6 процента всего времени, на заточку резцов — 2,9 и на уборку — 1,5 процента.

Соседка ее производственному труду посвящает только 86,1 процента всего времени. Остальное время тратится у нее на уборку, заточку, настройку и, наконец, на отдых, которого в графе режима Усольцевой вообще нет.

Посмотрим теперь, как протекает у обеих женщин самый процесс работы.

Усольцева в первые четверть часа набирает темпы в 160—165 процентов выполнения нормы и ниже этого уровня уже не спускается, а, наоборот, постепенно и равномерно повышает его до 200—270 процентов и на этом держится.

Ее соседка через полчаса достигает 150 процентов, но на этом не удерживается, а снижает темп до 100 процентов. Потом рывками то повышает его, то понижает, падая иногда ниже 100 процентов.

Спрашивается, в чем же секрет превосходства Усольцевой? Как может она, не имея графы на отдых, работать лучше своей соседки, которая этот отдых имеет?

Оказывается, Усольцева отдыхает во время плавного хода станка, вернее сказать, не устает настолько, чтобы нуждаться в отдыхе. Хотя станок ее фактически работает на час больше соседних, Усольцева добилась от него такого спокойного хода, что, загрузив свое время почти сплошь и не делая никаких перерывов на отдых, она к концу смены утомляется гораздо меньше, нежели ее соседка. У той станок работает нервно, и сама она работает нервно. А от нервной, неритмичной работы, даже с отдыхом, устаешь гораздо больше, нежели от безостановочной, напряженной, ритмичной работы.

Это — большое, важное наблюдение! Оно ясно показывает значение ритма не только для производства, но и для здоровья и нервной системы работницы.

А в самом производстве ритм — великое, можно сказать, величайшее дело: это программа, выполняемая ежедневно; это такое производственное дыхание, где месяц можно дробить на дни, дни — на часы, часы — на минуты и каждая минута будет показывать одно — программа на заводе выполняется. Вот почему такие работники, как Усольцева, делают сейчас государственной важности дело: они борются за *ежеминутное* выполнение программы.

СЕРДЦА МАТЕРЕЙ

Всевыносящего русского племени
Многострадальная мать.

Н. Некрасов

Это было нынешним летом[1], в звенящей от зноя степи между Доном и Осколом и по ту сторону Дона — на казачьей земле.

По грейдерам и проселкам грохотали танки. Орудийная канонада обступала со всех сторон. По ночам зарева горящих деревень и городов кровянили небо над степью. Грозные были дни и страшные ночи.

Из тысяч человеческих лиц, промелькнувших перед глазами в эти дни, запомнились мне на всю жизнь лица трех русских матерей.

Над глубокой лощиной, за Валуйками, стоит тихая русская деревенька. Там сейчас немцы. Мы въезжали в нее на исходе дня. Деревня плыла на нас сверху, из синей глубины неба, по широким плесам созревающей ржи и голубым заливам цветущих лугов. В темно-зеленой листве садов сквозили белые стены мазанок, розовеющие под лучами ущербного солнца. Еще три дня назад здесь была тишина. Война спугнула тишину. Она рычит близко, совсем рядом, за лесистыми холмами в долине степной реки Оскола.

Возятся в пыли белоголовые ребятишки. Мычат коровы. Пастух щелкает длинным пеньковым кнутом. Все как прежде, и все не так. Под соломенными навесами крыш стоят обожженные зноем старухи. Поднося к глазам ладони почерневших в труде рук, они тревожно, пристально смотрят на юг и вслушиваются. Они смотрят на проходящих красноармейцев молча и строго. В их глазах застыл немой вопрос: неужели «он» придет?

---

[1] Очерк написан осенью 1942 года.

В хате, где нам пришлось заночевать, жили две женщины. Старшая — хозяйка хаты — здесь выросла, здесь прожила свою жизнь, кружась по маленькому дворику от хатки к хлеву, от хлева в огород и сад. В каком-то бестолковом оцепенении она и сейчас снует по двору, спрашивая десятый раз, оставлять ли на ночь буренку в хлеву или лучше привязать в саду под яблоней.

Другая женщина — молодая, городская. Когда мы входили во дворик, она стояла у притолоки, с недоумением и жалостью наблюдая за своей суетливой золовкой. Она держала на руках двухлетнюю девочку. Ребенок протянул ко мне худенькие ручонки и, светло улыбнувшись синими, как полевые васильки, глазами, залепетал:

— Папа... папа...

Мать вздрогнула и спрятала лицо в плечико дочки. Потом, овладев собой, глянула мне в глаза прямым взглядом сухих, глубоких глаз:

— Смешная у меня дочка. Как военного увидит, так и тянется к нему, папой называет. Отец у нее тоже военный был. Совсем маленькую оставил в прошлом году, а вот запомнила...

Я взял девочку на руки. Она доверчиво обняла мою шею слабыми ручонками и, ласкаясь, стала лепетать что-то, понятное только матери. Тельце ребенка было почти невесомо. Реденькие русые волосики завивались несмелыми кудряшками над висками, исчерченными синими веточками вен. Ножки, пораженные рахитом, были кривы и тонки. Все маленькое тельце льнуло к большому человеческому телу, как льнет к теплой стене хаты плющ, обожженный морозом.

— Она у меня осадница. Прошлую зиму мы с ней в Ленинграде высидели. Не чаяли выжить. Я ее своим телом грела. Спать отвыкла: все боялась, как бы во сне не задушить. Выжила моя сиротка... Да, видно, на горе выжила...

Два «Мессершмитта» вырвались из облака и шумно пронеслись над деревенской улицей. Девочка захлопала в ладоши и закричала:

— Птички... птички...

Нам стало холодно от этого детского вскрика, и мы торопливо вошли в хату.

От глиняного пола, густо застланного пахучими стеблями чебреца и мяты, в хате было прохладно. На красной стене висели семейные фотографии. Девочка потянулась к портрету молодого, статного краснофлотца с комсомольским значком на форменке:

— Папа...

Сквозь хмурые дни ленинградской осады, сквозь тревожные бомбежные ночи, на тряском грузовике, по тающему, пористому льду Ладоги и в дымной тесноте беженских теплушек пронесла молодая женщина на своей груди эту дорогую фотографию, как светлое воспоминание о недавнем счастье, о том, что был у нее муж, а у дочки — отец...

Свечерело. Хозяйка ушла со старухами соседками ночевать в только что откопанное нами убежище. Маруся осталась с нами в хате. Она улеглась с дочкой в кухонке, на лежанке.

Всю ночь на западе урчала артиллерия и в звездной синеве пролетали самолеты — свои и чужие. Спалось плохо, беспокойно. Товарищи, утомленные дорогой, наконец уснули как мертвые. Сквозь их шумное дыхание и храп я уловил тихий шопот за перегородкой. Приподнялся на локтях, вслушался.

Тревожная мать в ночной бессоннице шептала над разметавшейся во сне дочкой. Полынную горечь своего раннего вдовства, темное беспокойство своего материнского сердца, острую тревогу за будущее выливала она в жарком шепоте над безмятежно спящим ребенком.

— И зачем мы с тобой сюда приехали?.. Пропадем мы здесь. Папу не покличешь... Не придет он, не оборонит... Сирые мы с тобой... Несчастные...

Где ты теперь, ленинградка Маруся? Может быть, надругался над тобой пьяный фашистский ефрейтор. Может быть, застрелил тебя под яблонями, поруганную, истерзанную... Может быть, разбил об угол русую головку твоей милой дочки...

...Из Валуек к Россоши грейдер идет. Чернозем на грейдере летом был гладкий, укатанный, как городской асфальт. Возле грейдера, чуть вправо, за рощей, деревня есть. Там тоже сейчас немцы. Приехали мы в эту деревню за полночь. Старая хозяйка приняла нас в хату как желанную родню. Поставила кувшин молока. Свежего душистого сена для спанья принесла. Спутники мои быстро угомонились, а я до утра никак не мог уснуть. Думы обступили со всех сторон. Ворочался, в ночь вслушивался. Ночь была обыкновенная, прифронтовая, артиллерийская. В окнах дрожали отсветы вражеских осветительных ракет, развешиваемых самолетами над грейдером. Вперемежку с орудийными залпами басовито пела «катюша». Фырчали грузовики. Погромыхивали гусеницами танки. Оконные стекла жалобно дребезжали от орудийного грома и взрывов бомб. Товарищи во сне стонали, бредили домом...

Кроме меня в хате не спал еще один человек. По вздохам, по долетающим обрывкам шепота чуялось, что на хозяйской

половине кто-то мучается, уснуть не может. Перед рассветом я услышал, как зашлепали по полу босые ступни, как скрипнула дверь.

Замученный ночным одиночеством и бессонницей, я поднялся с полу и вышел на крыльцо. В огороде, где на листьях капусты и подсолнуха стыли студеные капли росы, между грядками копошилась наша старая хозяйка. Она выпалывала сорную траву, но по движениям было видно, что работа не спорится, не тут ее мысли. Через узкую калиточку я прошел в огород.

— Ты что, товарищ командир, полуночничаешь? Спать бы тебе надо. Вишь, с лица осунулся. Чай, которую ночь не спишь. Иди, милый, ляг... Говорят, на зорьке сон бывает особенный, сладкий...

— Не выходит у меня, мать... Сердце не на месте... А вы что сами ни свет ни заря поднялись? Как мне вас по имени-отчеству называть?..

— Зовут меня Марина Васильевна. А правду сказать, так у меня тоже сердце не на месте. Сон не идет. Третью ночь такое. Думы всякие нехорошие в голову лезут. Больно уж «он» близко подошел. А мне и уходить не в пору. Куда я со своими старыми да малыми тронусь... Понял, милый?

Она взглянула на меня своими усталыми, скорбными глазами, и я не прочел в ее взгляде ни упрека, ни раздражения.

— Уж ежели ты бессонный маешься, расскажу кой-что. Может быть, на сердце от разговора полегче станет. Разворошила война нашу жизнь. Деревни наши стали как муравейник разоренный. Все вкривь да боком пошло. Жили мы, трудились, большой радости ждали, ан глядь — беда пришла.

Подняла я двух сыновей да трех дочек. Девки, известное дело, как замуж вышли, ломоть отрезанный. Своя семья, своя судьба. А сыновья на всю жизнь около материнского сердца стоят. Старший у меня красавец вымахал — как вот этот клен. И умом и статью — всем взял. С тринадцати лет сам хлеб зарабатывать стал. Первый комсомолец был в округе. До редактора районной нашей газеты дошел. В службу пошел — через полгода политруком стал. Перед войной жену с ребятами к себе во Львов выписал. Как война началась, сноха с ребятами обратно приехала голым-гола, что на себе — весь достаток. А Федя канул. Одиннадцать месяцев от него ни чутья ни вести. Больно мне, товарищ командир. Первый он у меня. Рожая его, я первую боль материнскую приняла и первую радость. Тяжко мне было его в сердце хоронить. Похоронила я его в своем материнском сердце и последние слезы по ночам выплакала. Теперь эта боль

в глубину сердца пала, на самое дно. От младшего второй месяц вестей нет. Он в Лисках, в депо, в железнодорожной ФЗО учится... Сказывают, «он» депо по кирпичику разбомбил. Я за худое не цепляюсь. Может, почта плохо работает. Может, сынок, по мальчишеству своему, писать поленился... Только тревогу не отгонишь...

Марина Васильевна выпрямилась над грядкой, взяла меня за локоть и повела в хату.

В сенцах, на самодельной кроватке, тесно прижавшись друг к другу, спали двое малышей — мальчик и девочка. Потеплев взглядом и голосом, Марина Васильевна зашептала мне на ухо:

— Вот из-за чего я ночи не сплю. Это Федины сиротки — внучата мои. Старшенький-то весь в отца. Я гляжу на него и молодость свою бабью вспоминаю. Забудусь и покажется мне, что не старая я баба хворая, а молодуха голосистая Маринка, первая деревенская песельница и хороводница. Тяжко мне было Федю в сердце хоронить, да просвет был. Думала — подниму сирот, выхожу, на ноги поставлю. И дело мне в жизни будет и радость. Думала — пока Советская власть стоит, не погибнут малые. Федор мне, как война объявилась, писал: не горюй, если пропаду. Коли мы Советскую власть не обороним, кто ее оборонит? А устоит Советская власть против фашиста, не пропадут мои малые. Я Федору как себе верила. От его слов легче было горе нести.

Марина Васильевна перевела дух, поправила одеяльце на ребятах.

— А теперь что?.. Не подняться мне с ними. Не уйти. И старик у меня больной. Придет «он» — не будет моим малым жизни, не будет света.

Помолчала. Напружинилась вся. Словно моложе стала.

— Ведь не на все же время вы уходите? Ведь вернетесь же?.. Ведь, если не вернетесь, матери вас проклянут, земля, как пропадете, не примет.

Стояла она передо мной в темноте сеней прямая и гневная, телом своим загораживая внучат от невидимого врага. И показалось, будто Россия в рост поднялась над пепелищами и выжженной землей, гневная, властная. Взял я изъеденную трудовыми мозолями материнскую руку Марины Васильевны и губами к ней прикоснулся. Обмякла, старая. Сжала ладонями мои виски, поцеловала в лоб трехкратным поцелуем.

— Беспокойный ты человек. Беспокойным людям не легко на свете жить. Ну к чему ты мою бабью горечь на сердце принял? Своей, что ли, мало?..

...В душную летнюю ночь того же злосчастного июля довелось мне заночевать в маленьком степном городке, который был когда-то казачьей станицей. Поставили меня на ночевку в квартиру жены местного врача — Евдокии Николаевны Н. Едва я переступил порог, едва глянул в глаза одинокой, пожилой женщины, заброшенной в пустоту осиротелой квартиры, как понял, что сна и в эту ночь не будет.

Так и вышло. Само собой накатилось то, что тревожит людей везде: и в Тамбове, и в Казани, и в Ярославле, и под Воронежем, и в далекой от фронта Сибири. Хозяйка потушила свет и распахнула настежь окна. Из садика повеяло ночной прохладой. Студеный ветер прогнал сон. Беседа затянулась до рассвета. Еще одна горькая материнская судьба встала передо мной из темноты душной задонской ночи.

Несложными словами рассказала Евдокия Николаевна свою сложную судьбу. Жили на свете мирные люди — районный врач с женой. Вырастили сына, вырастили дочку. Муж был коммунист из породы правдолюбов и правдоискателей. Трудно уживался с районным начальством. Так и состарился в вечных перебросках.

Пришла война и нарушила весь строй жизни. Сына — лейтенанта — у самой границы в первых боях убили. Муж с первых дней ушел добровольцем — где-то на юге в эвакогоспитале работает. Дочка, едва кончила десятилетку, медсестрой ушла. Осталось осиротелой матери только в тысячный раз письма перечитывать да часами на фотографии близких смотреть.

Русским своим сердцем учуяла Евдокия Николаевна, что военная беда близко подступила. От этой последней тревоги жизнь не в жизнь стала. Сидит передо мной Евдокия Николаевна на стуле и, невидимая в темноте, требовательным, тревожным голосом спрашивает:

— Это ладно... Это я знаю... У меня муж такой же, как вы... А все-таки скажите, удержат его?.. Вы не думайте, что я смерти боюсь. Мне сына терять было страшнее смерти, а не сломилась. Мне судьбу свою в порядок привести перед смертью надо. Мне отсюда не уйти. Сердце у меня плохое. На десятом километре в канаву упаду мертвая. Да и куда, зачем идти? А с «ним» мне не жить. «Он» моего сына убил. «Он» мою семью разметал по свету. Да вы сами поймите, как мне, русской, с «ним» ужиться? Что же мне остается делать? В Хопер броситься?

В бессонные ночи надумала я одно дело. Если придут «они» в город, я офицеров на постой приглашу. Домик у нас чистенький, уютный, думаю, что польстятся. Уважительная буду. Ковер

под ноги подстелю. Постели свежим бельем накрою. Стол праздничный приготовлю. По бабьему предрассудку я, как война началась, пять литров водки купила и в саду под яблоней закопала. Думала пир устроить, когда мои воины после войны под родной кров придут. Выкопаю я эту водку. На горькой полыни настою. На стол поставлю: кушайте, гости незваные, русское угощение! Окороком накормлю, огурцами свежими, пирогами русскими. Говорят, они жадные до русской еды и водки. Наедятся до отвала, напьются допьяна — спать уложу. Своими руками с них сапожки да мундирчики немецкие стяну. А как захрапят они, пройду в кладовку — там у меня большой бидон с керосином стоит. Пеньку я третьего дня по углам разложила. Оболью пеньку керосином и — грейтесь, гости непрошеные, у русского огня... А дальше — что будет...

Из редеющей перед рассветом темноты глядели на меня два больших серых глаза. И понял я, что, если доведется, все сделает Евдокия Николаевна, как задумала. И в смерть пойдет твердо и бестрепетно. Ведь в смерть идти по дороге, протоптанной чужими ногами, для сердца легче...

На высоком лесном берегу верхней Волги, перед пылающим, как свеча, русским городом Ржевом, в золотую северную осень вспомнились мне ваши образы, русские солдатские матери — Марина Васильевна и Евдокия Николаевна. Вспомнилась и ты, солдатка Маруся, и маленькая твоя дочка. Рассказал я о вас товарищам-бойцам, что в окопах над Волгой стоят. Слушали они и лицом строжали. И видел я, как руки их стискивали холодную сталь автоматов.

Запомнили они твой наказ, Марина Васильевна. Вернемся мы назад и за все отплатим, за все посчитаемся.

Из болотной сырости северного леса кланяемся мы земным поклоном вашей материнской скорби, богатырскому мужеству вашего материнского сердца. Губами своими касаемся мы земли, по которой ступала ваша нога. Слезы ваши материнские жгут сердце, спать не дают...

* *
*

Рассказанное в этом очерке случилось в страшном июле 1942 года в душной, пропитанной тревогой, дорожной пылью и зноем русской степи между Осколом и Доном. Военная катастрофа того лета угадывалась с тех пор, как случилось несчастье с так называемым Изюм-Барвенков-

ским «мешком». Но даже нам, пережившим в 1941 году незалечимую боль отступления от границы до Подмосковья, масштаб разразившейся катастрофы оказался ошеломительным. Под сокрушительными ударами с земли и воздуха раскололся фронт под Харьковом, и живые осколки его покатились к востоку, через Дон, к нижней Волге и кавказским предгорьям. И вновь, как в 1941 году, обжигая сердца стыдом и болью, молча глядели в глаза отступающим солдатам старухи и старики, горестные матери и несмышленые ребята, оставляемые нами на произвол нагло рвущегося вперед врага. В такие дни иногда казалось, что смерть от пули или бомбового осколка менее тяжела для живого человеческого сердца. И нужны были поистине нечеловеческие усилия воли, чтобы оградить от пламени беды ростки надежды, жившей в глубине сердца.

Моя покойная мать, прожившая горькую, многотрудную жизнь и часто плакавшая по ночам, говорила, что слеза с сердца боль смывает. Может быть, поэтому и написал я в те трудные месяцы этот очерк. Мой редактор, человек нетрусливый и решительный, посчитал, однако, что не стоит бередить и без того горючую боль солдатского сердца, и вернул мне этот очерк. Так он и остался у меня в записных книжках, как немой свидетель великой боли великого времени, боли, из которой прорастали ростки нашей будущей победы.

Пусть же теперь, через двадцать лет после победоносного завершения войны, с уважением и гордостью прочтут счастливые ровесники коммунизма эти строки, посвященные великому подвигу души наших матерей.

СЕРГЕЙ БОНДАРИН

НА БЕРЕГУ И В МОРЕ

Прошло больше полугода с тех пор, как Черноморский флот оставил Крым и перебазировался на порты Кавказского побережья.

В Новороссийске сосредоточились преимущественно легкие силы флота, поддерживавшие связь с осажденным Севастополем,— подводные лодки и эсминцы. Среди этих кораблей выделялся лидер «Ташкент» — быстроходнейший голубой красавец, гордость черноморцев. Немцы хорошо знали этот корабль и всегда особенно внимательно следили за его действиями. Он обладал небывалой скоростью — до 46 узлов. Это позволяло ему неожиданно появляться то здесь, то там, быстро проходить опасные районы.

К июню 1942 года положение осажденного Севастополя становилось тяжелым. Расчеты на Керченский плацдарм не оправдались. Севастополь остался один на один перед мощной армией Манштейна. Все чаще над городом завывал сигнал базовой воздушной тревоги. И наступили дни, когда эта предупредительная мера стала бесполезной: эскадрильи бомбардировщиков непрерывно висели над Севастополем. И днем и ночью в Севастополе что-то стонало и рушилось.

В пятницу 26 июня «Ташкент» собирался в очередной рейс в Севастополь, приняв на борт свыше 2000 красноармейцев-сибиряков, около 1200 тонн боезапасов и несколько полевых орудий.

За два часа до «Ташкента» в море вышел эскадренный миноносец «Безупречный». Для «Ташкента» это был третий поход за неделю. Моряки лидера хорошо знали, что героем становился

каждый, кто в эти дни ступал на каменистые берега Севастополя.

Командовал кораблем капитан третьего ранга горячий кубанец Василий Николаевич Ерошенко. С первых дней войны, еще тогда, когда «Ташкент» в составе кораблей поддержки оборонял Одессу, за Ерошенко установилась репутация хорошего командира, находчивого, смелого. Уже тогда о нем говорили: «Это человек нужный для войны. Бог войны любит таких людей».

Слышал о командире «Ташкента» и писатель Евгений Петров, направлявшийся этим рейсом в Севастополь. Шел в этот рейс и кинооператор Смолка.

«Безупречный» и «Ташкент» вышли в море с таким расчетом, чтобы подойти к Севастополю ночью.

Сейчас, через 20 с лишком лет, я хорошо помню этот день: спокойное море, по горизонту круглые безмятежные облака, отличная видимость. Для прорыва в блокированный порт погода, прямо сказать... была убийственная. Но сибиряки, хозяйственно расположившиеся на палубах, чувствовали себя отлично. Несмотря на беспрерывный шум большого хода, на мостик занеслась солдатская песня. Петров и Смолка почти не сходили с мостика. Ерошенко, внимательно вглядываясь в горизонт впереди по курсу корабля, сказал:

— Очень хорошо. Пусть поют. Дело солдатское.

«Ташкент» приближался к меридиану, на котором предполагалось догнать «Безупречного». Внимание наблюдателей усилилось. Ерошенко и сам был прекрасный наблюдающий, а по своей военно-морской специальности — артиллерист. И вдруг его глаза как-то сузились, взгляд стал еще напряженней, на широком смуглом лице задвигались скулы. Все посмотрели туда, куда устремился взгляд командира: над горизонтом вставало огромное облако дыма и пара. Над облаком кружилось несколько точек. Сомнений не могло быть: взорван эсминец «Безупречный».

Многие из команды «Ташкента» имели на «Безупречном» друзей, знакомых. Гибель «Безупречного» болью отозвалась в сердцах ташкентцев... Удастся ли подводным лодкам спасти людей?

Издалека было хорошо видно огненное кольцо вокруг Севастополя. В Камышовой бухте на Херсонесском мысу старая баржа служила причалом, и здесь в наступившей тьме, озаряемой вспышками залпов и беглым светом прожекторов и ракет, пришвартовался «Ташкент». В прежние времена на это согласился бы не каждый командир небольшого катера, а тут был перегруженный корабль, узкий и длинный, как меч.

Многое можно было бы сказать о том, что представляли из себя берега Камышовой бухты в ту ночь. Хорошо известна ассоциативная способность запахов. Люди, вдохнувшие едкий, горький запах гари испепеляемого города, никогда не забудут его. По всей сжигаемой и испепеляемой земле — от Инкермана до Балаклавы — люди отстаивали ее шаг за шагом, перевязывали друг другу раны, помогали детям, женщинам и старикам. Обычное чувство опасности было потеряно. Немецкие батареи приближались с каждым часом и покрывали огнем все новые и новые площади. Воистину, тот, кто в эти дни ступал на каменистую севастопольскую землю, уже был героем.

Прямо с корабля сибиряки пошли в бой.

Сгрузили артиллерию, боезапас, и сразу началась погрузка корабля, заселение его палуб и отсеков ранеными и эвакуируемыми. Носилок не хватало, и нередко двое раненых тащили третьего. На борту распоряжались старший помощник и комиссар корабля. Ерошенко время от времени появлялся на мостике, угрюмо следил за погрузкой, иногда рядом с ним показывались Петров и Смолка. Петрова очень интересовало: оказана ли помощь тем, кто остался в море после гибели «Безупречного», и Ерошенко подтвердил, что туда посланы подводные лодки.

Петров старался уяснить себе военное значение перехода, участником которого он оказался. Он все спрашивал:

— Ведь это, собственно, прорыв блокады? Не правда ли? Ведь немецким крейсерам «Шарнгорсту» и «Гнейзенау» легче было прорваться в свои порты? Не так ли?

Петров имел в виду известный рейд немецких линейных крейсеров, и он был прав, полагая, что с моральной стороны прорыв нашего «Ташкента» был значительней, чем операция мощных и быстроходных, сопровождаемых авиацией немецких кораблей. Не напрасно теперь, через 20 с лишним лет, во многих курсах истории военно-морских операций действия лидера «Ташкент» приводятся как образцовые.

Корабль взял на борт до 3000 раненых бойцов и более 500 человек из гражданского населения: ведь здесь ждали двух кораблей, а пришел один... На борт была погружена и та часть знаменитой панорамы Рубо, которую удалось спасти.

Начинало светать. «Ташкент» отваливал. Баржа медленно отходила.

Капитан третьего ранга, который, по обыкновению, командовал посадкой, кричал с берега:

— Приходите еще разок! Не забывайте. Счастливого плавания!

— Счастливо оставаться! — неслось ему в ответ.

По правому борту темнел силуэт Константиновского равелина. Там еще держался последний отряд черноморцев. Их поддерживали наши катера, но уже в следующую ночь подойти к равелину не удалось. Уцелевшие бойцы вплавь перебрались на Южную сторону. Двое поддерживали раненого командира. В это время все севастопольские батареи стреляли по немецким батареям, которые могли помешать плывущим морякам.

В бортовом журнале «Ташкента» в отчете о дальнейших событиях сказано: «Приняв на борт раненых и эвакуируемых, лидер вышел в Новороссийск. С рассветом был обнаружен воздушной разведкой противника и вслед за этим атакован пикирующей авиацией...»

На «Ташкенте» не было ни одного человека, не видавшего над собой вражеских самолетов, но встретить бомбежку в море большинству предстояло в первый раз.

Зенитчики не спали всю ночь, дремали, не отходя от пушек. В 5 часов колокола громкого боя возвестили тревогу.

Над безмятежным морем разгорался рассвет. Самолеты шли с разных сторон. Спящие просыпались. Матери теснее прижимали к себе детей...

Ерошенко, в кожаном реглане нараспашку, переходил с одного крыла мостика на другой. Фуражка сбилась на затылок, чуб падал на глаза. Командир корабля с изумительной быстротой оценивал обстановку и отдавал команды.

Корабль уклонялся от бомб маневром, который называется описанием карданата.

Слева показалось новое звено бомбардировщиков.

— Нет, я перешибу вас,— кричит Ерошенко,— бейте того, который отделился.

— Огонь по правому пикировщику! — командует артиллерист.

Чаще всего Ерошенко направлял корабль прямо на пикирующий самолет, стараясь этим обмануть его. С веселым ожесточением он грозил кулаком ревущему пикировщику. Иногда Ерошенко издавал резкий свист, каким табунщики управляют конями. И зенитчики, зная этот сигнал, подражать которому строго запрещалось, заглядывали на крыло мостика и следили за вытянутой рукой Ерошенко.

Сильно тряхнуло и потянуло корабль...

В 7 часов утра «Ташкент» получил первое серьезное повреждение: заклинило руль.

Это было очень опасное повреждение. Держать корабль на курсе с заклиненным рулем можно, только маневрируя машинами, за счет скорости хода.

На корабле появились первые жертвы.

При втором прямом попадании бомбы в рубке вдребезги разлетелись стекла иллюминаторов, навигационной карты как не бывало. Штурман Еремеев развернул новую карту и возобновил прокладку курса по памяти.

Ерошенко то и дело вызывал командира электромеханической группы инженера капитан-лейтенанта Латышева: во что бы то ни стало требовалось поставить перо руля в нулевое положение, но сделать это никак не удавалось. Промокший с головы до ног (работать приходилось в затопленном отсеке), Алексей Павлович Латышев, отличный, знающий свое дело офицер, появился на мостике и предложил единственно возможный выход из положения: взорвать руль. Ерошенко согласился. И в этот момент корабль опять тряхнуло, вода за бортом взметнулась так мощно и высоко, что некоторое время за этой водяной стеной ничего не было видно. Казалось, корабль уходит под воду. Но вдруг водяная стена упала, только впереди, под самой носовой надстройкой-мостиком, кипел буран. Солнце пронзило его светом, вода играла радугой, и корабль шел вперед в этом фантастическом нимбе; гремели пушки; над кораблем продолжали завывать пикировщики. От самолета снова отделилось несколько бомб — одна за другой сигары падали впереди корабля. На мостике и на палубах все замерли. Но в последнее мгновение произошло чудо. Бомбы, взметнувшие море и нанесшие новые повреждения кораблю, сделали то, чего не мог добиться Латышев: от сильного сотрясения руль стал в нулевое положение, и кораблю удалось отвернуть в сторону от новой серии бомб.

Пострадали котлы, но кочегары успели стравить пар. Этот скрытый, закулисный подвиг трех кочегаров — Великанова, Шкляра и Губашкина — достоин подвига двух оставшихся безвестными матросов миноносца «Стерегущий»... Мне кажется, что именно это свойство русского геройства усматривал Лев Толстой и в капитане Тушине, и в Хлопове...

Между тем от камбуза несся сильный вкусный запах, там белели горки начищенной картошки: севастопольские женщины помогали на камбузе кокам. Другая группа женщин помогала переносить раненых. Особенно бросалась в глаза энергичная, красивая, высокая и широкоплечая женщина. Она действовала смело и решительно, опускалась в затопленные

помещения и в санитарный отсек, где у операционного стола, весь в поту, работал корабельный хирург.

Бой длился четвертый час. «Ташкент» уже принял до 1500 тонн воды, исчерпав запас плавучести. Воду вычерпывали всем, чем могли. Помпы давно не справлялись. С каждой минутой слабел противозенитный огонь. Из двух машин работала одна.

Ерошенко знал, что из Новороссийска вышла помощь, вот-вот должны показаться самолеты. Многие заметили, что Ерошенко сбросил реглан и надел новый китель с орденом Красного Знамени — памятью Одессы. Он жадно вглядывался в горизонт на востоке.

— Сколько миль до базы? — запросил он штурмана.

— Шестьдесят,— был ответ.

Все более мрачнея, Ерошенко зло двигал скулами, ему уже трудно было отдавать команды: сорвался голос. На мостике слышали, как он вдруг пробормотал:

— Неужели потопят?

— Нет, не потопят,— сказал громко кто-то, и Ерошенко с благодарностью взглянул на товарища.

Помощь, однако, не приходила. Ерошенко распорядился приготовить документы к уничтожению, спасательные средства — к спуску.

Бурун поднялся почти до мостика.

К 9 утра немцы сбросили на лидер около 400 бомб, потеряв несколько пикировщиков.

Алексей Павлович Латышев опять показался на мостике. Козырек его фуражки был сломан, с промокшего кителя струилась вода, но глаза возбужденно горели. Получив от Ерошенко нужные распоряжения, он на минутку задержался рядом с Евгением Петровым, худощавое лицо которого, казалось, еще более осунулось. Военный корреспондент не переставал вносить в свой блокнот записи. В армейской пилотке, с походной сумкой на боку, его худая длинноногая фигура была очень заметна среди моряков. Латышев сказал ему с оттенком сочувствия:

— Не повезло вам.

— Я бы не знал войны, если бы не видел всего этого,— отвечал Петров.— Негодяи! Сожгли город, теперь топят такой красивый корабль.

И вот, когда уже казалось, что все кончено и спасение невозможно, по всей верхней палубе, покрывая рев самолетов и гром пушек, раздалось радостное «ура».

С оста приближались два самолета. Они были еще едва различимы в голубом сиянии утреннего неба, а тысячная толпа уже почувствовала, что это не враги — друзья. Через несколько минут, заглушая своим ревом новую волну «ура», над кораблем пронеслись наши «Петляковы». На востоке показались буруны. Оттуда неслись наши торпедные катера, и вскоре обозначились силуэты эсминцев.

Ерошенко и все, кто был на мостике, на верхних палубах корабля, как бы онемев, молча смотрели в ту сторону широко раскрытыми глазами.

Вражеские самолеты исчезли: наше сопротивление истощило немцев, а может быть, они решили, что поврежденный корабль все равно не дойдет до базы.

Корабли сближались, и через полчаса «Ташкент» почувствовал бортом толчок братского эсминца. Второй эсминец заходил с носа, и наша боцманская команда, оплескиваемая волной, уже пробовала завести скобу.

Испуская пар, до конца истощив свою волю, «Ташкент», как ослабевшее животное, уткнулся в руки спасителей.

На мостике стоял Ерошенко с орденом Красного Знамени на груди...

Торпедный катер примчал командующего эскадры, и вице-адмирал, помахивая фуражкой с раззолоченным козырьком, кричал с катера:

— Василий Николаевич, жив?

— Жив,— тихо ответил Ерошенко.

Взойдя на мостик, командующий протянул Ерошенко руку:

— Спасибо, товарищ капитан второго ранга, за доблестное выполнение боевого задания,— этим самым командующий поздравлял Ерошенко с повышением в звании.

Бойцы, потные, задымленные, с возбужденными блестящими глазами, уже передавали с борта на борт женщин и раненых. Нельзя было терять ни минуты.

Раздавались быстрые команды. Голоса моряков на «Ташкенте» были сиплыми и натруженными боем, как и голос их командира...

...Недавно мы встретились с капитаном первого ранга Алексеем Павловичем Латышевым. Вспомнили прошлое, вспомнили многих товарищей. Вспомнили, между прочим, и ту славную севастопольскую женщину, рослую, расторопную, красивую, о которой говорится в очерке. Алексей Павлович рассказал мне, как после благополучного прихода «Ташкента» в Новороссийск моряки старались найти запомнившуюся им женщину, хотели

представить ее среди других участников боя к награде — найти не удалось.

— Сколько осталось таких безыменных, но незабываемых героев! — сказал Алексей Павлович.

И конечно, это замечание справедливо. Когда теперь думаешь обо всем этом, тебя охватывает высокое и чистое чувство благодарности к людям, с которыми война сводила тебя то здесь, то там, которые научили тебя чувствовать, понимать, ценить лучшее, что может быть на войне,— человечность.

Думаю, что это свойство и порождает героев...

Говорили мы с Латышевым и о Василии Николаевиче Ерошенко. Контр-адмирал в отставке Ерошенко переселился с Черного моря на Балтийское, живет в Ленинграде. Я был рад услышать, что сам Василий Николаевич пишет о своем знаменитом голубом корабле.

РАССКАЗ ЛЕТЧИКА

Во время войны я записывал рассказы летчиков-истребителей, сражавшихся за Ленинград. Записывал почти слово в слово. Вот одна из таких записей.

Рассказ Героя Советского Союза
балтийского летчика-истребителя
гвардии капитана Георгия Костылева

НА ШТУРМОВКУ

В первых числах июля 1941 года мне много приходилось летать на разведку и штурмовку наступающих вражеских танковых колонн.

На первую штурмовку полетел я с майором Новиковым и Сосединым. Впервые увидел я горящие деревни. Погода стояла удушливо жаркая, пылали подожженные бомбами леса, густой дым застилал землю. Мы нырнули в этот дым и пошли над шоссе. Тут впервые увидел я немецкие синевато-пепельные танки, их огромные автофургоны. В тот период войны фашисты не маскировались, не то что теперь. Меня взяло зло, я все забыл и поливал, поливал, поливал из всех пулеметов.

Когда кончились патроны, я почувствовал желание спуститься совсем вниз, выпустить шасси и отрывать фашистам головы колесами самолета.

ПЕРВЫЙ СБИТЫЙ САМОЛЕТ

Во время одной из этих штурмовок я впервые сбил самолет. С немецкими самолетами я встречался и раньше. Я уже однажды гонялся за ними в районе Кронштадта. Но тогда они были на страшной высоте — 8 тысяч метров над землей — и ушли прежде, чем я успел набрать высоту.

15 июля пошли на штурмовку Новиков, Соседин и я. Когда подходили к немецким танкам, заметили в стороне «Мессершмитт-110». Мы с Сосединым хотели было броситься к нему, но майор Новиков, помахав крыльями, приказал нам идти на штурмовку, чтобы прежде всего выполнить задание.

«Мессершмитт» скрылся. Мы отштурмовали и хотели уже было повернуть домой, как вдруг снова заметили его. «Мессершмитт-110» прятался от нас в дыму пожара.

Патроны у нас еще оставались. Мы тоже нырнули в дым и выскочили прямо к «Мессершмитту». Нас стали обстреливать зенитки. Новиков принялся атаковать зенитки, а мы с Сосединым набросились на «Мессершмитт-110».

Соседин подошел к нему сзади сбоку и убил стрелка-радиста. Я подобрался прямо к хвосту «Мессершмитта» и открыл стрельбу. Увидел, как мои трассирующие пули летят точно во вражеский самолет. Это была моя первая стрельба не по учебному конусу, а по самолету.

Соседин отошел в сторону и теперь помогал Новикову подавлять вражеские зенитные точки. Я один взялся за «Мессершмитта» и стрелял, не переставая. Мы неслись на высоте 400 метров. Я ожидал, что экипаж выбросится на парашютах. «Расстреляю их, пока они будут опускаться»,— думал я. Они сбросили козырек, чтобы легче было выпрыгнуть. Но тут вдруг «Мессершмитт» закачался, и я понял, что судьба его решена. Снизившись до 50 метров, он стал разворачиваться к танковым колоннам. «Нужно показать немцам, как он будет падать»,— думал я.

Дал последнюю очередь из крупнокалиберного пулемета. Видимо, убил летчика. «Мессершмитт» повис носом, взорвался и рухнул.

Я сделал круг над местом его гибели, подстроился к своим и пошел домой.

НАД КЛОПИЦАМИ

В июле меня с моим звеном направили защищать один аэродром, где стояли наши бомбардировщики.

Гитлеровцы находились уже совсем близко. Налетали на аэродром много раз в день. В мое звено входили два молодых летчика — Сухов и Соседин.

Нас направили на неделю, потом обещали сменить. Перед Суховым и Сосединым я поставил две задачи: первая — за эту неделю враг не должен тронуть аэродром; вторая — за эту неделю мы должны сбить не меньше двух вражеских самолетов на каждого. Они дали мне слово выполнить обе эти задачи.

Однажды мы втроем атаковали над аэродромом четыре «Мессершмитта-109». Несмотря на численное превосходство, они вызвали себе на помощь шесть «Хейнкелей-113». «Хейнкели» явились. Теперь против трех наших самолетов дрались девять фашистских. И все же мы победили. Не понеся никаких потерь, мы сбили один «Мессершмитт» и один «Хейнкель», остальные удрали.

Немцы знали, что нас только трое, и стали за нами охотиться.

Эта охота научила меня, что никогда не надо успокаиваться после победы. Помню такой случай: атаковали мы втроем два «Мессершмитта-109». Один зажгли, другой подбили, и он еле ушел. Только хотели мы повернуть домой, как вдруг видим: снова летят на нас «Мессершмитты». На этот раз целая четверка. Мы встретили их и опять победили: один «Мессершмитт» был сбит, остальные ушли. Этот успех чрезвычайно поднял наш дух, мы возвращались в восторге, ликовали. Патронов у нас уже не было, оставалось только победоносно сесть на свой аэродром.

Случайно взглянул я на Сухова и вижу: он вертится, делает переворот за переворотом и вдруг понесся от меня прочь. Значит, сзади кто-то есть. Я оглянулся, а в меня уже летит сзади полоса трассирующих пуль. Три «Мессершмитта» наседают на нас, а у нас — ни одного патрона. Что делать? Если уходить, они нас уничтожат. Мы соединились, повернулись и пошли прямо на немцев — не имея патронов, имитировали атаку. И что же? У них нервы не выдержали, они повернули и ушли.

Я сделал вывод: когда нечем стрелять, ни в коем случае не следует выходить из боя, а, наоборот, нужно действовать еще «нахальнее». Этот урок принес пользу всем летчикам нашего

гвардейского полка: расстреляв патроны, они из боя никогда не уходили.

Слово свое Сухов и Соседин сдержали — мы сбили семь самолетов, то есть больше, чем по два на каждого.

О БАГРЯНЦЕВЕ

Попав на Балтику молодым летчиком, я оказался в звене у Багрянцева. Я знал его раньше. Мне он нравился потому, что у него был большой талант летчика-истребителя. Он был человеком высокой дисциплины, приказ командира для него закон. Никогда не спросит, сколько самолетов противника, а спросит: где?

Был он из беспризорников, образования не получил, писал плохо, но авторитетом пользовался громадным, так как был человеком большой души, прекрасным бойцом и летчиком.

Когда в июле немцы подошли к Старой Руссе, туда для усиления нашей авиации перебросили несколько летчиков-балтийцев, в том числе Багрянцева с его звеном. В звено его в ту пору входили Халдеев и Михаил Федоров. Они наводили ужас на немцев. Багрянцев протаранил своим самолетом два «Юнкерса» и был за это награжден орденом Ленина.

Он сменил мое звено на аэродроме. Тремя самолетами, подобно мне, защищал он аэродром от беспрерывных нападений вражеских бомбардировщиков. В это время в его звено входили Каберов и Алиев. В первые три дня боев они сбили шесть самолетов.

В одном из боев — 11 сентября — Багрянцев погиб. Это был жестокий бой. Фашисты шли на Ленинград волнами — в каждой волне по 45 бомбардировщиков. Только отгоним — еще 45, и так без конца. Бой шел на всем пространстве от Лигова до Низина. Весь наш полк в полном составе принимал участие в этом бою. Разобраться в нем было очень трудно: в воздухе была каша из самолетов. Атакуешь один самолет, и сразу приходится атаковать второй, третий, четвертый, так и не видя, что сталось с теми, кого атаковал раньше. С земли разобраться в этом бою было не легче.

Я сбил «Юнкерс-88». Когда я сел на аэродром, ко мне подбежал командир полка Герой Советского Союза подполковник Кондратьев.

— Это ты?! — воскликнул он удивленно.

— Я.

— А я думал, что тебя сбили.

Помолчав, прибавил:

— Ну, значит, сбили Багрянцева. Я его самолет принял за твой.

Он оказался прав.

А в Ленинград немецкие самолеты мы в тот день не пропустили.

В ОБЛАКАХ

16 октября вылетели мы шестеркой на охрану Кронштадта. Одним звеном командовал майор Никитин, другим — я. В мое звено входили летчики: Ефимов, ныне Герой Советского Союза, и Львов.

Погода была своеобразная — несколько слоев облачности, один слой над другим. Приходилось все время просматривать промежутки между слоями.

И вот Никитин со своим звеном пробил первый слой облаков, и мы их потеряли из виду. Я решил поискать звено Никитина и тоже пробил первый слой облаков. Только мы вышли из облаков, как видим: метрах в четырехстах от нас навстречу нам идет «Юнкерс-88». Словно в сказке. На ловца и зверь бежит. У нас троих руки всегда на гашетках пулеметов — такой уже инстинкт выработался. Я качнул крыльями, и все мы дали по залпу. 400 метров мы проскочили в несколько секунд и сразу же оказались позади «Юнкерса». Мы развернулись и зашли ему в хвост. Он сделал попытку уйти под облака. Но мы сразу же оказались ниже его и стали гнать его вверх, ко второму слою облачности. Тогда он попытался уйти во второй слой облаков, но мы его и туда не пустили. Ему оставалось идти только прямо. К этому времени мы уже подбили ему один мотор, и он еле ковылял. Он знал, что находится над заливом, и упорно шел к берегу. До берега ему дойти удалось, но до территории, занятой немцами, он не дошел. На высоте 500 метров сорвался в пике и врезался в землю.

Когда мы вернулись домой и доложили о своей победе, нам сказали, что этот «Юнкерс» за несколько минут до встречи с нами был над нашим аэродромом и производил разведку. Все были очень довольны, что разведка его кончилась так неудачно.

МЕНЯ СБИЛИ

К началу февраля 1942 года за мной уже числилось 18 сбитых самолетов. Но 5 февраля я замечтался, увлекся разведкой и меня самого сбили. Я и не видел, как и откуда ко мне подошли. Я даже не обиделся — рассеянных учат.

В этот день я единственный раз вылетел не на своей «сказке», а на самолете товарища. И вот самолет этот запылал. Захватив все данные разведки, я выпрыгнул на парашюте — высота была 3 тысячи метров.

Я находился за линией фронта, над территорией, захваченной противником. Но фронт был совсем недалеко, и ветер дул от немцев к нам. Весь мой расчет строился на том, что ветер перенесет меня через линию фронта. Чтобы спускаться подольше и помедленнее, я постарался раскрыть свой парашют как можно раньше.

Я был ранен в левую руку и потому управлять парашютом не мог. Но я не особенно беспокоился — ветер сделает свое дело и отнесет меня к своим.

И вдруг, к своему изумлению, вижу: ветер несет меня к немцам. Дело скверное. А мне, признаться, жить хочется. Но плен хуже всего. И я стал доставать пистолет, чтобы застрелиться в воздухе.

И вдруг ветер переменился. Меня понесло к своим. На душе у меня радость. И я спрятал пистолет.

Но недолго я радовался.

Ветер опять переменился и понес меня к немцам.

Так менялся он три раза, и три раза я вынимал и прятал пистолет. И только когда я достиг 1500 метров, он окончательно установился. Меня понесло к своим и вынесло на передовые позиции.

Когда меня несло над окопами немцев, они стреляли в меня с земли, но не попали. Я упал в снег как раз позади наших окопов. Ко мне подбежал на лыжах боец и довольно недоверчиво оглядел меня. Но когда я сказал, кто я, он отвел меня к своему командиру.

Я вернулся в свой полк. В госпиталь не ложился, рука зажила на ходу. Мне не терпелось в бой.

Я ПОЛУЧАЮ «ХАРРИКЭЙН»

Меня вызвал к себе Герой Советского Союза гвардии полковник Кондратьев и сказал:

— Завтра отправляйтесь в город изучать английский истребитель «Харрикэйн».

Я летал на всех типах наших отечественных истребителей, а с иностранными был незнаком. «Харрикэйны» я видел лишь на фотографиях и знал о них только то, что слово «харрикэйн» значит «ураган». Хорошее название для истребителя.

Я без особого труда овладел техникой пилотирования на «Харрикэйне». Труднее всего оказалось привыкнуть к английским мерам, которые были обозначены на всех приборах моей новой машины,— ко всем этим футам, галлонам и милям. Но и к ним я скоро привык. После нескольких испытаний над аэродромом я убедился, что «Харрикэйн» обладает рядом достоинств, которые с успехом могут быть использованы в бою.

И вот я снова на фронте.

Мы отправились сопровождать штурмовики, которые должны были нанести удар по базам финского флота.

Нас было шестеро. Над островами встретили мы группу финских истребителей «Фоккер-Д-21» и вступили с ними в бой. «Фоккер-Д-21» — не слишком скорый, но очень маневренный, увертливый самолет.

Интересно было испытать «Харрикэйн» в бою с самолетами, обладающими такими свойствами. Мы разделились на два отряда: одно звено вело бой на виражах, другое — на вертикалях. Бой был непродолжителен. Через несколько минут два «Фоккера» рухнули в воду, остальные удрали.

После этого боя моя вера в «Харрикэйны» укрепилась.

ЗА ПЕТЮ ЧЕПЕЛКИНА

В одном из воздушных боев погиб отважный летчик моей эскадрильи гвардии капитан Петя Чепелкин.

Все мы были потрясены его смертью и решили: за Петьку враг дорого заплатит.

Мы вылетели группой. Ведущим был я. Глядим, навстречу нам идет шестерка «Капрони». Как нарочно!

Погода была скверная — дождь, низкие облака. «Капрони» разделились: два пошли нам в лоб, а четыре поднялись, чтобы сверху зайти нам в хвост.

Передним у нас шел капитан Хаметов. Не меняя курса, он с первой очереди сбил первый из идущих нам навстречу «Капрони», и тот упал в воду.

Второй «Капрони», ведомый упавшего, стал заходить на Хаметова, но на него сразу набросились два наших летчика — Каберов и Евграфов. Все это происходило низко, в 20 метрах от воды. Уходя от Каберова и Евграфова, «Капрони» вошел в вираж. Я находился выше и наблюдал за ним. «Этот летчик, видимо, хорошо владеет машиной,— подумал я,— если на такой ничтожной высоте рискнул войти в вираж». И вдруг вижу: «Капрони» зацепил крылом за воду, перевернулся, переломился и упал. Через мгновение на поверхности воды плавали только обломки.

Каберов в восторге кричит мне по радио:

— Гляди! Напился, напился!

— Игорь,— отвечаю я,— это уже второй напился.

Через минуту я сбил третий. Он пикировал сверху на один из наших самолетов, я налетел на него сбоку и со второй очереди зажег. Он вспыхнул и упал.

Еще минута — и рухнул четвертый «Капрони». Его сбил летчик комиссар Косоруков. Остальные ушли. Бой закончился со счетом 4 : 0 в нашу пользу.

Так отомстили мы за Петю Чепелкина.

ШТУРМОВКА ВРАЖЕСКОГО АЭРОДРОМА

На одном из аэродромов в глубоком тылу противника наша разведка обнаружила значительное скопление самолетов. Зная, что самолеты эти предназначены для бомбежки Ленинграда, командование приняло решение нанести по аэродрому штурмовой удар. Наносить удар по аэродрому отправилось несколько штурмовиков, а мы небольшой группой, которую вел гвардии майор Мясников, вылетели их сопровождать для защиты от неприятельских истребителей.

Полет этот был мне особенно любопытен, потому что год назад я сам садился на этот аэродром и хорошо его знал.

Мы перелетели линию фронта и увидели земли, захваченные фашистами. Когда в прошлом году я пролетал над этими самыми землями, здесь всюду чувствовался расцвет жизни — без конца тянулись засеянные рожью поля, цвели сады и огороды, паслись стада, бегали дети, уютный дымок тянулся из

труб над крышами. Сейчас здесь запустение и смерть. Поля поросли бурьяном, вместо деревень — черные пожарища.

Мы появились над аэродромом внезапно. Фашисты не ожидали, что мы осмелимся совершить налет на такой далекий тыловой аэродром, и зенитная артиллерия открыла огонь только после того, как наши штурмовики сделали первый заход. Благодаря внезапности удара вражеские истребители не успели взлететь. После нескольких атак наших штурмовиков внизу под нами было море огня и множество исковерканных самолетов.

На следующее утро Советское Информбюро сообщило: «Летчики Краснознаменного Балтийского флота на одном аэродроме противника уничтожили 58 самолетов». А наши техники с величайшим любопытством рассматривали две фотографии — аэродром до штурмовки и аэродром после штурмовки.

ЧИСТАЯ РАБОТА

На один из участков Ленинградского фронта гитлеровцы пытались подтянуть резервы морем. Срыв этих операций был поручен группе штурмовиков под командованием знаменитого летчика-штурмовика Карасева. А перед нами снова поставили задачу охранять наши штурмовики от вражеских истребителей.

Вечером перед закатом один из летчиков-разведчиков доложил, что по Финскому заливу движутся три больших транспорта в охранении сторожевых кораблей. Мы вылетели на уничтожение этих транспортов — 4 штурмовика и 10 истребителей.

Увидев нас, корабли противника заметались из стороны в сторону. Это был не маневр, это была паника.

Один из транспортов — самый крупный — был нагружен боеприпасами. Когда в него попала бомба, сброшенная Карасевым, произошел такой силы взрыв, какого я никогда прежде не видел. Столб воды и пламени поднялся на 200 метров. В вечерних сумерках он был виден с замечательной отчетливостью. Когда этот столб рухнул, большого транспорта в 3 тысячи тонн на воде уже не было. На поверхности моря плавало только несколько обломков.

Я по радио поздравил Карасева с чистой работой.

Я ВЕРЮ

Мать моя живет на Балтике, в городе Ораниенбауме. Фронт проходит совсем близко, враг обстреливает город, но уезжать она не хочет. Она хочет видеть, как сражается ее сын. И я, вспоминая пристальный, требовательный взор матери, стараюсь сражаться как можно лучше.

Я получаю много писем. Мне часто пишут незнакомые люди. Строго, пристально и требовательно следят они за тем, как мы сражаемся, как я сражаюсь.

И, чувствуя на себе их внимательный взор, я стараюсь сражаться как можно лучше.

Много было боев, много боев еще будет. В этих боях мы научились ненавидеть врага. Мы научились прямо смотреть в лицо смерти. Мы научились побеждать. И мы победим.

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ

БЕССМЕРТИЕ

Александр Фадеев был одним из выдающихся советских писателей, который с первых же дней Великой Отечественной войны отдал свое яркое перо служению фронту. С поездками на 3-й Украинский фронт связана, в частности, и творческая история создания всемирно известного романа «Молодая гвардия».

В феврале 1943 года частями Красной Армии был освобожден небольшой украинский городок Краснодон, захваченный гитлеровцами в июле 1942 года, а вскоре всему миру стали известны совершенные здесь героические дела антифашистской подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» и трагическая судьба большинства ее руководителей и участников.

Бессмертный подвиг и необыкновенная судьба молодогвардейцев не могли не взволновать советского писателя-патриота Александра Фадеева. Столкнувшись с подвигом героев, писатель увидел в их легендарных делах не только те качества, которые постоянно рождала в советских людях обстановка смертельной опасности во время войны с фашистами. Писатель разглядел в них ту особенную духовную цельность и моральную чистоту, которые свойственны нашим людям, людям свободным, бесстрашным и гордым, людям с благородными сердцами и с чистой совестью.

В день опубликования Указа правительства Союза ССР о награждении сорока четырех молодогвардейцев орденами и о присвоении пяти членам штаба «Молодой гвардии» высокого звания Героя Советского Союза появилось первое выступление Фадеева о молодогвардейцах. Опубликованный в «Правде» очерк «Бессмертие» фактически и явился первым высказыванием творческого замысла автора романа «Молодая гвардия».— *С. Преображенский.*

«Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной, многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь:

Беспрекословно выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем.

Хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в «Молодой гвардии». Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть тридцати шахтеров-героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания.

Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей.

Кровь за кровь! Смерть за смерть!»

Эту клятву на верность Родине и борьбу до последнего вздоха за ее освобождение от немецких захватчиков дали члены подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в городе Краснодоне Ворошиловградской области. Они давали ее осенью 1942 года, стоя друг против друга в маленькой горенке, когда пронзительный осенний ветер завывал над порабощенной и опустошенной землей Донбасса. Маленький городок лежал, затаившись во тьме, в горняцких домах стояли немцы, одни продажные шкуры — полицейские да заплечных дел мастера из гестапо — в эту темную ночь обшаривали квартиры граждан и зверствовали в своих застенках.

Старшему из тех, кто давал клятву, было девятнадцать лет, а главному организатору и вдохновителю Олегу Кошевому — всего шестнадцать.

Сурова и неприютна открытая донецкая степь, особенно поздней осенью или зимой под леденящим ветром, когда смерзается комьями черная земля. Но эта наша кровная советская земля, заселенная могучим и славным угольным племенем, дающая энергию, свет и тепло нашей великой Родине. За свободу этой земли в гражданскую войну сражались лучшие ее сыны во главе с Климом Ворошиловым и Александром Пархоменко. Она породила прекрасное стахановское движение, преобразующее лик всей нашей земли. Советский человек глубоко проник в недра донецкой земли, и по неприютному лицу ее выросли мощные заводы — гордость нашей технической мысли, залитые светом социалистические города, наши школы, клубы, театры, где расцветал и раскрывался во всю свою духовную силу великий советский человек. И вот эту землю топтал враг... Он шел по ней, как смерч, как чума, повергая во тьму города, превращая школы, больницы, клубы, детские ясли в казармы для постоя солдат, в конюшни, в застенки гестапо.

Огонь, веревка, пуля и топор — эти страшные орудия смерти — стали постоянными спутниками жизни советских людей. Советские люди были обречены на мучения, немыслимые с точки зрения человеческого разума и совести. Достаточно сказать, что в городском парке города Краснодона немцы живьем зарыли в землю тридцать человек-шахтеров за отказ явиться на регистрацию в немецкую «биржу труда». Когда город был освобожден Красной Армией и начали отрывать погибших, они так и стояли в земле: сначала обнажились головы, потом плечи, туловища, руки.

Ни в чем не повинные люди вынуждены были уходить с родных мест, скрываться. Рушились семьи. «Я распрощалась с папой, и слезы ручьями потекли из глаз,— рассказывает Валя Борц — член организации «Молодая гвардия».— Какой-то неведомый голос, казалось, шептал: «Ты его видишь в последний раз». Он пошел, а я стояла до тех пор, пока не скрылся из глаз. Сегодня этот человек имел семью, угол, приют, детей, а теперь он, как бездомная собака, должен скитаться. А сколько замучено, расстреляно!»

Молодежь, всякими способами уклонявшуюся от регистрации, хватали насильно и угоняли на рабский труд в Германию. Поистине душераздирающие сцены можно было видеть в эти дни на улицах городка. Грубые окрики и брань полицейских сливались с рыданием отцов и матерей, от которых насильно отрывали их дочерей и сыновей.

И страшным ядом лжи, распространяемой гнусными немецкими газетенками и листовками,— о падении Москвы и Ленинграда, о гибели советского строя — стремился выродок-фашист разложить душу советских людей.

Люди старших поколений, оставшиеся в городе Краснодоне, для того чтобы организовать борьбу против немецких оккупантов, были скоро выявлены врагом и погибли от его руки или вынуждены были скрыться. Вся тяжесть организации борьбы с врагом выпала на плечи молодежи. Так, осенью 1942 года сложилась в городе Краснодоне подпольная организация «Молодая гвардия».

Это была наша советская молодежь — та самая, которая растет вокруг нас, воспитывается в советской школе, пионерскими отрядами, комсомольскими организациями. Враг стремился истребить в ней дух свободы, радость творчества и труда, привитые советским строем. И в ответ на это юный советский человек гордо поднял свою голову.

Вольная советская песня! Она сроднилась с советской молодежью, она всегда звенит в душе ее.

«Один раз идем мы с Володей в Свердловку к девушке. Было совсем тепло. Летают над головами транспортные немецкие самолеты. Идем степью. Никого кругом. Мы запели «Спят курганы темные... Вышел в степь донецкую парень молодой». Потом Володя говорит:

— Я знаю, где наши войска находятся.

Он мне начал рассказывать сводку. Я бросилась к Володе и начала его обнимать».

Эти простые строки воспоминаний сестры Володи Осьмухина нельзя читать без волнения.

Организаторами и руководителями «Молодой гвардии» были: Кошевой Олег Васильевич, 1925 года рождения, член ВЛКСМ с 1940 года; Земнухов Иван Александрович, 1923 года рождения, член ВЛКСМ с 1938 года; и Тюленин Сергей Гаврилович, 1925 года рождения, член ВЛКСМ с 1941 года. Вскоре три патриота привлекают в свои ряды новых членов организации — Ивана Туркенича, Степана Сафонова, Любу Шевцову, Ульяну Громову, Анатолия Попова, Николая Сумского, Володю Осьмухина, Валю Борц и других. Олег Кошевой был избран комиссаром. Командиром штаб утвердил Туркенича Ивана Васильевича, члена ВЛКСМ с 1940 года.

И эта молодежь, не ведавшая старого строя и, естественно, не проходившая опыта подполья, в течение нескольких месяцев срывает все мероприятия немецких поработителей и вдохновляет на сопротивление врагу население города Краснодона и окружающих поселков — Изварино, Первомайское, Семейкино, где создаются ответвления организации. Организация разрастается до семидесяти человек, потом насчитывает уже свыше ста человек — детей шахтеров, крестьян и служащих.

В характере организации, в методах, в общем духе ее сказывается преемственность с великой бессмертной революционной школой Ленина. «Молодая гвардия» сотнями и тысячами распространяет листовки — на базарах, в кино, в клубе. Листовки обнаруживаются на здании полиции и даже в карманах полицейских. «Молодая гвардия» устанавливает четыре радиоприемника и ежедневно информирует население о сводках Информбюро.

В условиях подполья происходит прием в ряды комсомола новых членов, на руки выдаются временные удостоверения, принимаются членские взносы. По мере приближения совет-

ских войск готовится вооруженное восстание и самыми различными путями добывается оружие.

В это же время ударные группы проводят диверсионные и террористические акты.

В ночь с 7 на 8 ноября группа Ивана Туркенича повесила двух полицейских. На груди повешенных оставили плакаты: «Такая участь ждет каждого продажного пса».

9 ноября группа Попова Анатолия на дороге Гундоровка — Герасимовка уничтожает легковую машину с тремя высшими немецкими офицерами.

15 ноября группа Петрова Виктора освобождает из концентрационного лагеря в хуторе Волчанске семьдесят пять бойцов и командиров Красной Армии.

В начале декабря группа Машкова на дороге Краснодон — Свердловск сжигает три автомашины с бензином.

Через несколько дней после этой операции группа Тюленина совершает на дороге Краснодон — Ровеньки вооруженное нападение на охрану, которая гнала пятьсот голов скота, отобранного у жителей. Уничтожает охрану, скот разгоняет по степи.

Члены «Молодой гвардии», устроившиеся по заданию штаба в немецкие учреждения, предприятия, умелыми маневрами тормозят их работу. Сергей Левашов, работая шофером в гараже, выводит из строя одну за другой три машины; Юрий Виценовский устраивает на шахте несколько аварий.

В ночь с 5 на 6 декабря отважная тройка молодогвардейцев — Люба Шевцова, Сергей Тюленин и Виктор Лукьянченко — проводят блестящую операцию по поджогу немецкой «биржи труда». Уничтожением «биржи» со всеми документами молодогвардейцы спасли несколько тысяч советских людей от угона в Германию.

В ночь с 6 на 7 ноября члены организации вывешивают на зданиях школы, бывшего райпотребсоюза, больницы и на самом высоком дереве городского парка красные флаги. «Когда я увидела на школе флаг,— рассказывает жительница города Краснодона Литвинова М. А.,— невольная радость, гордость охватила меня. Разбудила детей и быстренько побежала через дорогу к Мухиной. Ее я застала стоящей в нижнем белье на подоконнике, слезы ручьями расползались по ее худым щекам. Она сказала: «Марья Алексеевна, ведь это сделано для нас, советских людей. О нас помнят, мы нашими не забыты»».

Организация была раскрыта полицией потому, что она во-

влекла в свои ряды слишком широкий круг молодежи, среди которой оказались и менее стойкие люди.

Но во время страшных пыток, которым подвергли членов «Молодой гвардии» озверевшие враги, с невиданной силой раскрылся нравственный облик юных патриотов нашей Советской Родины, облик такой духовной красоты, что он будет вдохновлять еще многие и многие поколения молодежи.

Олег Кошевой. Несмотря на свою молодость, это великолепный организатор. Мечтательность соединилась в нем с исключительной практичностью и деловитостью. Он был вдохновителем и инициатором ряда самых героических мероприятий. Высокий, широкоплечий, он весь дышал силой и здоровьем и не раз сам был участником самых смелых вылазок против врага. Будучи арестован, он бесил гестаповцев непоколебимым презрением к ним. Его жгли раскаленным железом, запускали в тело иголки, но стойкость и воля не покидали его. После каждого «допроса» в его волосах появлялись седые пряди. На казнь он шел совершенно седой.

Иван Земнухов — один из наиболее образованных, начитанных членов «Молодой гвардии», автор ряда замечательных листовок. Внешне нескладный, но сильный духом, он пользовался всеобщей любовью и авторитетом среди молодежи. Он славился как оратор, любил стихи и сам писал их (как, впрочем, писали их и Олег Кошевой и многие другие члены «Молодой гвардии»). Иван Земнухов подвергался в застенках самым зверским пыткам и истязаниям. Его подвешивали в петле через специальный блок к потолку, отливали водой, когда он лишался чувств, и снова подвешивали. По три раза в день били плетьми из электрических проводов. Полиция упорно добивалась от него показаний, но не добилась ничего. 15 января он был вместе с другими товарищами сброшен в шурф шахты № 5.

Сергей Тюленин. Это маленький, подвижной, стремительный юноша-подросток, вспыльчивый, с задорным характером, смелый до отчаянности. Он участвовал во многих самых отчаянных предприятиях и лично уничтожил немало врагов. «Это был человек дела,— характеризуют его оставшиеся в живых товарищи.— Не любил хвастунов, болтунов и бездельников». Он говорил: «Ты лучше сделай, и о твоих делах пускай расскажут люди». Сергей Тюленин был не только сам подвергнут жестоким пыткам — при нем пытали его старую мать. Но как и его товарищи, Сергей Тюленин был стоек до конца.

Вот как характеризуют четвертого члена штаба «Молодой гвардии» — Ульяну Громову Мария Андреевна Борц, учительница из города Краснодона. «Это была девушка высокого роста, стройная брюнетка с вьющимися волосами и красивыми чертами лица. Ее черные, пронизывающие глаза поражали своей серьезностью и умом... Это была серьезная, толковая, умная и развитая девушка. Она не горячилась, как другие, и не сыпала проклятий по адресу истязателей... «Они думают удержать свою власть посредством террора,— говорила она.— Глупые люди! Разве можно колесо истории повернуть назад...»»

Девочки попросили ее прочесть «Демона». Она сказала: «С удовольствием! Я «Демона» люблю. Какое это замечательное произведение. Подумайте только, он восстал против самого бога!» В камере стало совсем тихо. Она приятным, мелодичным голосом начала читать... Вдруг тишину вечерних сумерок пронизал дикий вопль. Громова перестала читать и сказала: «Начинается!» Стоны и крики все усиливались. В камере была гробовая тишина. Так продолжалось несколько минут. Громова, обращаясь к нам, твердым голосом прочла:

Сыны снегов, сыны славян,
Зачем вы мужеством упали?
Зачем? Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!

Ульяну Громову подвергали нечеловеческим пыткам. Ее подвешивали за волосы, вырезали ей на спине пятиконечную звезду, прижигали тело каленым железом и раны присыпали солью, сажали на раскаленную плиту. Но и перед самой смертью она не пала духом и при помощи шифра «Молодой гвардии» выстукивала через стены ободряющие слова друзьям: «Ребята! Не падайте духом! Наши идут. Крепитесь. Час освобождения близок. Наши идут. Наши идут...»

Ее подруга, Любовь Шевцова, по заданию штаба работала в качестве разведчика. Она установила связь с подпольщиками Ворошиловграда и ежемесячно по нескольку раз посещала Ворошиловград, проявляя исключительную находчивость и смелость. Одевшись в лучшее платье, изображая ненавистницу советской власти, дочь крупного промышленника, она проникала в среду немецких офицеров и похищала важные документы. Шевцову пытали дольше всех. Ничего не добившись, городская полиция отправила ее в уездное отделение жандармерии Ровеньки. Там ей загоняли под ногти иголки, на спине вырезали звезду. Человек исключительной жизнерадостности и силы

духа, она, возвращаясь в камеру после мучений, назло палачам пела песни. Однажды во время пыток, заслышав шум советского самолета, она вдруг засмеялась и сказала: «Наши голосок подают!»

7 февраля 1943 года Люба Шевцова была расстреляна.

Так, до конца сдержав свою клятву, погибло большинство членов организации «Молодая гвардия» — в живых остались всего несколько человек. С любимой песней Владимира Ильича «Замучен тяжелой неволей» шли они на казнь.

В их подвиге, во всем их моральном облике выразились с огромной силой лучшие черты людей ленинской закалки. В них словно повторились черты лучших людей нашего народа — Дзержинского, Кирова, Орджоникидзе и многих других славных большевиков.

«Молодая гвардия» — это не одиночное исключительное явление на территории, захваченной немецкими оккупантами. Везде и повсюду борется гордый советский человек. И хотя члены «Молодой гвардии» погибли в борьбе, они бессмертны, ибо их духовные черты есть черты нового советского человека, черты народа страны социализма.

Вечная память и слава юным молодогвардейцам — героическим сынам бессмертного советского народа!

Пусть трепещут кровавые фашистские псы перед расплатой — она настигнет их везде, куда бы ни пытались они скрыться от своих преступлений!

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА

Ночью сибирские полки дивизии полковника Гуртьева заняли оборону. Всегда суров и строг вид завода, но можно ли найти в мире картину суровее той, что увидали люди дивизии в октябрьское утро 1942 года? Темные громады цехов, поблескивающие влагой рельсы, уже кое-где тронутые следами окиси, нагромождение разбитых товарных вагонов, горы стальных стволов, в беспорядке валяющиеся по обширному, как главная площадь столицы, заводскому двору, холмы красного шлака, уголь, могучие заводские трубы, во многих местах пробитые немецкими снарядами. На асфальтированной площадке темнели ямы, вырытые авиационными бомбами, всюду валялись стальные осколки, изорванные силой взрыва, словно тонкие лоскуты ситца. Дивизии предстояло стать перед этим заводом и стоять насмерть. За спиной была холодная темная Волга. Ночью саперы взламывали асфальт и в каменистой почве выдалбливали кирками окопы, в мощных стенах цехов прорубали боевые амбразуры, в подвалах разрушенных зданий устраивали убежища. Полки Маркелова и Михалева обороняли завод. Один из комадных пунктов был устроен в бетонированном канале, проходившем под зданиями главных цехов. Полк Сергеенко оборонял район глубокой балки, шедшей через заводские поселки к Волге. «Логом смерти» называли ее бойцы и командиры полка. Да, за спиной была ледяная темная Волга, за спиной была судьба России. Дивизии предстояло стоять насмерть. Прошлая мировая война стоила России больших жертв и большой крови, но в первой мировой войне черная сила противника делилась между западным фронтом и

Очерк написан в 1942 году.

восточным. В нынешней войне Россия приняла всю тяжесть удара германского нашествия. В 1941 году германские полки двигались от моря до моря. В нынешнем, 1942 году немцы всю силу своего удара сконцентрировали в юго-восточном направлении. То, что в первую войну распределялось на два фронта великих держав, что в прошлом году давило на Россию, на одну лишь Россию фронтом в три тысячи километров, нынешним летом и нынешней осенью тяжким молотом обрушилось на Сталинград и Кавказ.

Всю огневую тяжесть бесчисленных минометных батарей, тысячи орудий и воздушных корпусов обрушили немцы на северную часть города, на стоящий в центре промышленного района завод «Баррикады». Немцы полагали, что человеческая порода не в состоянии выдержать такого напряжения, что нет на земле таких сердец, таких нервов, которые не порвались бы в диком аду огня, визжащего металла, сотрясаемой земли и обезумевшего воздуха. Здесь был собран весь дьявольский арсенал германского милитаризма — тяжелые и огнеметные танки, шестиствольные минометы, армады пикирующих бомбардировщиков с воющими сиренами, осколочными, фугасными бомбами. Здесь автоматчиков снабдили разрывными пулями, артиллеристов и минометчиков — термитными снарядами. Здесь была собрана германская артиллерия от малых калибров противотанковых полуавтоматов до тяжелых дальнобойных пушек. Здесь бросали мины, похожие на безобидные зеленые и красные мячики, и воздушные торпеды, вырывающие ямы объемом в двухэтажный дом. Здесь ночью было светло от пожаров и ракет, здесь днем было темно от дыма горящих зданий и дымовых шашек германских маскировщиков. Здесь грохот был плотен, как земля, а короткие минуты тишины казались страшней и зловещее грохота битвы. И если мир склоняет головы перед героизмом русских армий, если русские армии с восхищением говорят о защитниках Сталинграда, то уже здесь, в самом городе, бойцы Шумилова с почтительным уважением произносят:

— Ну, так что мы? Вот люди: держат заводы. Страшно и удивительно смотреть: день и ночь висит над ними туча огня, дыма, немецких пикировщиков, а Чуйков стоит.

Грозные эти слова для военного человека: «направление главного удара», жестокие, страшные слова. Нет слов страшнее на войне, и, конечно, не случайно, что в хмурое осеннее утро заняла оборону у завода сибирская дивизия полковника Гуртьева. Сибиряки — народ коренастый, строгий, привыкший к холоду и лишениям, молчаливый, любящий порядок и дисциплину,

резкий на слова. Сибиряки — народ надежный, кряжистый. Они-то в суровом молчании били кирками каменистую землю, рубили амбразуры в стенах цехов, устраивали блиндажи, окопы, ходы сообщения, готовя смертную оборону.

Полковник Гуртьев, сухощавый пятидесятилетний человек, в 1914 году ушел со второго курса Петербургского политехнического института добровольцем на русско-германскую войну. Он был тогда артиллеристом, воевал с немцами под Варшавой, под Барановичами, Чарторийском.

Двадцать восемь лет своей жизни посвятил полковник военному делу, воевал и учил командиров. Два сына его лейтенантами ушли на войну. В далеком Омске остались жена и дочь-студентка. И в этот торжественный и грозный день полковник вспомнил и сыновей-лейтенантов, и дочь, и жену, и много десятков воспитанных им молодых командиров, и всю свою долгую, полную труда, спартански скромную жизнь. Да, пришел час, когда все принципы военной науки, морали, долга, которые он с суровым постоянством преподавал сыновьям своим, ученикам, сослуживцам, должны были получить проверку, и с волнением поглядывал полковник на лица солдат-сибиряков: омичей, новосибирцев, красноярцев, барнаульцев,— тех, с кем сулила ему судьба отражать удары врага. Сибиряки пришли к великим рубежам хорошо подготовленными. Дивизия прошла большую школу, прежде чем выступить на фронт. Тщательно и умно, беспощадно придирчиво учил бойцов полковник Гуртьев. Он знал, что, сколь ни тяжела военная учеба, ночные учебные штурмы, утюжение танками сидящих в щелях бойцов, долгие марши,— все же во много крат тяжелее и суровее сама война. Он верил в стойкость, в силу сибирских полков. Он проверил ее в дороге, когда за весь долгий путь было лишь одно чрезвычайное происшествие: боец уронил на ходу поезда винтовку, соскочил, поднял винтовку и три километра бежал до станции, чтобы догнать идущий к фронту эшелон. Он проверил стойкость полков в волжской степи, где необстрелянные люди спокойно отразили внезапную атаку тридцати немецких танков. Он проверил выносливость сибиряков во время последнего марша к городу, когда люди за двое суток покрыли расстояние в двести километров. И все же с волнением поглядывал полковник на лица бойцов, вышедших на главный рубеж, на направление главного удара.

Гуртьев верил в своих командиров. Молодой, не знающий устали, начальник штаба полковник Тарасов мог дни и ночи сидеть в сотрясаемом взрывами блиндаже над картами, плани-

ровать сложный бой. Его прямота и беспощадность суждений, его привычка смотреть жизни прямо в глаза и искать военную правду, как бы горька она ни была, зиждились на железной вере. В этом небольшом сухощавом молодом человеке с лицом, речью и руками крестьянина жила неукротимая сила мысли и духа. Заместитель командира дивизии по политической части Свирин обладал крепкой волей, острой мыслью, аскетической скромностью, он умел оставаться спокойным, веселым и улыбаться там, где забывал об улыбке самый спокойный и жизнерадостный человек. Командиры полков Маркелов, Михалев и Чамов были гордостью полковника, он верил им, как самому себе. О спокойной храбрости Чамова, о несгибаемой воле Маркелова, о замечательных душевных качествах Михалева, любимца полка, по-отечески заботливого к подчиненным, мягкого и «симпатичнейшего человека», не знающего, что такое страх, все в дивизии говорили с любовью и восхищением. И все же с волнением глядел на лица своих командиров полковник Гуртьев, ибо он знал, что такое направление главного удара, что значит держать великий рубеж обороны. «Выдержат ли, выстоят ли?» — думал полковник.

Едва дивизия успела закопаться в каменистую почву, едва управление дивизии ушло в глубокую штольню, выдолбленную в песчаной скале над Волгой, едва протянулась проволочная связь и застучали радиопередатчики, связывающие командные пункты с занявшей в Заволжье огневые позиции артиллерией, едва мрак ночи сменился рассветом, как немцы открыли огонь. Восемь часов подряд пикировали «Юнкерсы-87» на оборону дивизии, восемь часов, без единой минуты перерыва, шли волна за волной вражеские самолеты, восемь часов выли сирены, свистели бомбы, сотрясалась земля, рушились остатки кирпичных зданий, восемь часов в воздухе стояли клубы дыма и пыли, смертно выли осколки. Тот, кто слышал вопль воздуха, раскаленного авиационной бомбой, тот, кто пережил напряжение стремительного десятиминутного налета фашистской авиации, тот поймет, что такое восемь часов интенсивной воздушной бомбежки пикирующих бомбардировщиков. Восемь часов сибиряки били всем своим оружием по вражеским самолетам, и, вероятно, чувство, похожее на отчаяние, овладевало немцами, когда эта горящая, окутанная черной пылью и дымом заводская земля упрямо трещала винтовочными залпами, рокотала пулеметными очередями, короткими ударами противотанковых ружей и мерной злой стрельбой зениток. Казалось, все живое должно быть сломлено, уничтожено, а сибирская дивизия, закопавшись

в землю, не согнулась, не сломалась, а вела огонь — упрямая, бессмертная. Немцы ввели в действие тяжелые полковые минометы и артиллерию. Нудное шипение мин и вой снарядов присоединились к свисту сирен и грохоту рвущихся авиационных бомб. Так продолжалось до ночи. В печальном и строгом молчании хоронили красноармейцы своих погибших товарищей. Это был первый день — новоселье.

Этой ночью на командном пункте полковник Гуртьев встретил двух своих старых друзей, которых не видел больше двадцати лет. Люди, расставшиеся молодыми, неженатыми, встретились уже седыми, морщинистыми. Двое из них командовали дивизиями, третий — танковой бригадой. Они обнялись, и все вокруг: и начальники их штабов, и адъютанты, и майоры из оперативного отдела — увидели слезы на глазах седых людей.

— Какая судьба, какая судьба! — говорили они.

И в самом деле: что-то величественное и трогательное было во встрече друзей юности в грозный час, среди пылавших заводских корпусов и развалин. Видно, правильной дорогой шли они, если встретились вновь при выполнении высокого и тяжелого долга.

Всю ночь грохотала вражеская артиллерия, и, едва взошло солнце над вспаханной немецким железом землей, появилось сорок пикировщиков, и снова завыли сирены, и снова черное облако пыли и дыма поднялось над заводом, закрыло землю, цехи, разбитые вагоны, и даже высокие заводские трубы потонули в черном тумане. В это утро полк Маркелова вышел из укрытий, убежищ, окопов, он покинул бетонные и каменные норы и перешел в наступление. Батальоны шли вперед через горы шлака, через развалины домов, мимо гранитного здания заводской конторы, через рельсовые пути, через садик городского предместья. Они шли мимо тысяч безобразных ям, вырытых бомбами, и над головами людей был весь ад гитлеровской воздушной армии. Железный ветер бил в лицо, и они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватило противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?

Да, они были смертны. Полк Маркелова прошел километр, занял новые позиции, закрепился на них. Только здесь знают, что такое километр. Это тысяча метров, это сто тысяч сантиметров. Ночью немцы атаковали полк во много раз превосходящими силами. Шли батальоны пехоты, шли тяжелые танки, и пулеметы заливали позиции полка железом. Пьяные автоматчики лезли с упорством лунатиков. О том, как сражался полк Маркелова, расскажут мертвые тела бойцов, расскажут друзья,

слышавшие, как в ночь и на следующий день и снова в ночь рокотали русские пулеметы, раздавались взрывы русских гранат. Повесть об этом бое расскажут развороченные и сожженные вражеские танки и длинные вереницы крестов с немецкими касками, выстроившиеся повзводно, поротно, побатальонно...

Да, они были простыми смертными, и мало кто уцелел из них, но они сделали свое дело.

На третий день немецкие самолеты висели над дивизией уже не восемь, а двенадцать часов. Они оставались в воздухе после заката солнца, и из высокой тьмы ночного неба возникали воющие голоса сирен «юнкерсов», и, как тяжелые и частые удары молота, обрушивались на полыхавшую дымным красным пламенем землю фугасные бомбы. С утренней зари до вечерней били по дивизии пушки и минометы. Сто артиллерийских полков работали на противника в районе города. Иногда они устраивали огневые налеты, по ночам они вели изматывающий методический огонь. Вместе с ними работали минометные батареи. Это было направление главного удара.

По нескольку раз в день вдруг замолкали немецкие пушки, минометы, вдруг исчезала давящая сила пикировщиков. Наступала необычайная тишина. Тогда наблюдатели кричали: «Внимание!», и боевое охранение бралось за бутылки горючей жидкости, бронебойщики раскрывали брезентовые сумки с патронами, автоматчики обтирали ладонью свои ППШ, гранатометчики ближе подвигали ящики гранат. Эта короткая, минутная тишина не означала отдыха. Она предшествовала атаке.

Вскоре лязг сотен гусениц, низкое гудение моторов оповестили о движении танков, и лейтенант кричал:

— Товарищи, внимание! Слева просачиваются автоматчики.

Иногда гитлеровцы подходили на расстояние тридцати — сорока метров, и сибиряки видели их грязные лица, порванные шинели, слышали картавые выкрики, угрозы, насмешки, а после того как немцы откатывались, на дивизию с новой яростью обрушивались пикировщики и огневые валы артиллерии и минометов. В отражении вражеских атак великую заслугу имела наша артиллерия. Командир артиллерийского полка Фугенфиров, командиры дивизионов и батарей находились вместе с батальонами, ротами дивизии на передовой. Радио связывало их с огневыми позициями, и десятки мощных дальнобойных орудий на левом берегу жили одним дыханием, одной тревогой, одной бедой и одной радостью с пехотой. Артиллерия делала десятки замечательных вещей: она прикрывала стальным пла-

щом пехотные позиции, она корежила, как картон, сверхтяжелые танки, с которыми не могли справиться бронебойщики, она, словно меч, отсекала автоматчиков, лепившихся к броне танков, она обрушивалась то на площадь, то на тайные места сосредоточения, она взрывала склады и поднимала на воздух немецкие минометные батареи. Нигде за время войны пехота так не чувствовала дружбу и великую помощь артиллерии, как здесь.

В течение месяца немцы произвели сто семнадцать атак на полки сибирской дивизии.

Был один страшный день, когда вражеские танки и пехота двадцать три раза ходили в атаку. И эти двадцать три атаки были отбиты. В течение месяца каждый день, за исключением трех, немецкая авиация висела над дивизией десять — двенадцать часов. Всего за месяц триста двадцать часов. Оперативное отделение подсчитало астрономическое количество бомб, сброшенных гитлеровцами на дивизию. Это цифра с четырьмя нолями. Такой же цифрой определяется количество самолетоналетов. Все это происходит на фронте длиной около полутора — двух километров. Этим грохотом можно было оглушить человечество, этим огнем и металлом можно было сжечь и уничтожить государство. Фашисты полагали, что сломят моральную силу сибирских полков. Они полагали, что перекрыли предел сопротивления человеческих сердец и нервов. Но удивительное дело: люди не согнулись, не сошли с ума, не потеряли власти над своими сердцами и нервами, а стали сильней и спокойней. Молчаливый, кряжистый сибирский народ стал еще суровей, еще молчаливей. Ввалились у красноармейцев щеки, мрачно смотрели глаза. Здесь, на направлении главного удара германских сил, не слышно было в короткие минуты отдыха ни песни, ни гармоники, ни веселого легкого слова. Здесь люди выдерживали сверхчеловеческое напряжение. Бывали периоды, когда они не спали по трое, четверо суток кряду, и командир дивизии, седой полковник Гуртьев, разговаривая с красноармейцами, с болью услышал слова бойца, тихо сказавшего:

— Есть у нас все, товарищ полковник, и хлеб — девятьсот граммов, и горячую пищу непременно два раза в день приносят в термосах, да не кушается.

Гуртьев любил и уважал своих людей, и знал он — когда солдату «не кушается», то уж крепко, по-настоящему тяжело ему. Но теперь Гуртьев был спокоен. Он понял: нет на свете силы, которая могла бы сдвинуть с места сибирские полки. Великим и жестоким опытом обогатились красноармейцы и

командиры за время боев. Еще прочней и совершенней стала оборона. Перед заводскими цехами выросли целые переплетения саперных сооружений — блиндажи, ходы сообщения, стрелковые ячейки; инженерная оборона была вынесена далеко вперед, перед цехами. Люди научились быстро и слаженно производить подземные маневры, сосредоточиваться, рассыпаться, переходить из цеха в окопы ходами сообщения и обратно, в зависимости от того, куда обрушивала свои удары авиация противника, в зависимости от того, откуда появлялись танки и пехота. Были сооружены подземные «усы», «щупальца», по которым истребители подбирались к тяжелым танкам, останавливающимся в ста метрах от здания цехов. Саперы минировали все подходы к заводу. Мины приходилось подносить на руках, по две штуки, держа их под мышками, как хлебы. Этот путь от берега к заводу шел на протяжении шести — восьми километров и полностью простреливался врагом. Само минирование производилось в глубоком мраке, в предрассветные часы, часто на расстоянии тридцати метров от фашистских позиций. Так было заложено около двух тысяч мин под бревна разнесенных бомбежкой домиков, под кучки камней, в ямки, вырытые снарядами и минами. Люди научились защищать большие дома, создавая плотный огонь от первого этажа до пятого, устраивали изумительно тонко замаскированные наблюдательные пункты перед самым носом у неприятеля, использовали в обороне ямы, вырытые тяжелыми бомбами, всю сложную систему подземных заводских газопроводов, маслопроводов, водопроводов. С каждым днем совершенствовалась связь между пехотой и артиллерией, и иногда казалось, что Волга уже не отделяет пушек от полков, что глазастые пушки, мгновенно реагирующие на каждое движение врага, находятся рядом со взводами, с командными пунктами.

Вместе с опытом росла внутренняя закалка людей. Дивизия превратилась в совершенный, на диво слаженный единый организм. Люди дивизии не чувствовали, сами не понимали, не могли ощутить тех психологических изменений, которые произошли в них за месяц пребывания в аду, на переднем крае обороны великого рубежа. Им казалось, что они те же, какими были всегда: они в свободную тихую минуту мылись в подземных банях, им так же приносили горячую пищу в термосах, и заросшие бородами Макаревич и Карнаухов, похожие на мирных сельских почтарей, приносили под огнем на передовую в своих кожаных сумках газеты и письма из далеких омских, тюменских, тобольских, красноярских деревень. Они вспоми-

пали о своих плотницких, кузнечных, крестьянских делах. Они насмешливо звали шестиствольный немецкий миномет дурилой, а пикирующих бомбардировщиков с сиренами — скрипунами и музыкантами. На крики немецких автоматчиков, грозивших им из развалин соседних зданий и кричавших: «Эй, рус, буль-буль, сдавайся», они усмехались и меж собой говорили: — Что это немец все гнилую воду пьет или не хочет волжской?

Им казалось, что они те же, и только вновь приезжавшие с лугового берега с почтительным изумлением смотрели на них, уже не ведавших страха людей, для которых не было больше слов «жизнь» и «смерть». Только глаза со стороны могли оценить всю железную силу сибиряков, их равнодушие к смерти, их спокойную волю до конца вынести тяжкий жребий людей, занявших смертную оборону.

Героизм стал бытом, героизм стал стилем дивизии и ее людей, героизм сделался будничной, каждодневной привычкой. Героизм всюду и во всем. Героизм был в работе поваров, чистивших под сжигающим огнем термитных снарядов картошку. Великий героизм был в работе девушек-санитарок, тобольских школьниц Тони Егоровой, Зои Калгановой, Веры Каляды, Нади Кастериной, Лели Новиковой и многих их подруг, перевязывавших и поивших водой раненых в разгаре боя. Да, если посмотреть глазами со стороны, то героизм был в каждом будничном движении людей дивизии: и в том, как командир взвода связи Хамицкий, мирно сидя на пригорке перед блиндажом, читал «беллетристику», в то время как десяток вражеских пикировщиков с ревом бодал землю, и в том, как офицер связи Батраков, аккуратно протирая очки, вкладывал в полевую сумку донесения и отправлялся в двенадцатикилометровый путь по «логу смерти» с таким будничным спокойствием, словно речь шла о привычной воскресной прогулке, и в том, как автоматчик Колосов, засыпанный в блиндаже разрывом по самую шею землей и обломками досок, повернул к заместителю командира Свирину лицо и рассмеялся, и в том, как машинистка штаба, краснощекая толстуха, сибирячка Клава Копылова, начала печатать в блиндаже боевой приказ и была засыпана, откопана, перешла печатать во второй блиндаж, снова была засыпана, снова откопана и все же допечатала приказ в третьем блиндаже и принесла его командиру дивизии на подпись.

Вот такие люди стояли на направлении главного удара.

Об их несгибаемом упорстве больше всего знают сами немцы. Ночью в блиндаж к Свирину привели пленного. Руки и лицо его, поросшее седой щетиной, были совершенно черные

от грязи, превратившийся в тряпку шерстяной шарф прикрывал шею. Это был немец из пробивных отборных частей гитлеровской армии, участник всех походов, член нацистской партии. После обычных вопросов пленному перевели вопрос Свирина: «Как расценивают они сопротивление в районе завода?» Пленный стоял, прислонившись плечом к каменной стене блиндажа. «О!» — сказал он и вдруг разрыдался.

Да, настоящие люди стояли на направлении главного удара, их нервы и сердца выдержали.

К концу второй декады противник предпринимал решительный штурм завода. Такой подготовки к атаке не знал мир. Восемьдесят часов подряд работала авиация, тяжелые минометы и артиллерия. Три дня и три ночи превратились в хаос дыма, огня и грохота. Шипение бомб, скрипящий рев мин из шестиствольных «дурил», гул тяжелых снарядов, протяжный визг сирен одни могли оглушить людей, но они лишь предшествовали грому разрывов. Рваное пламя взрывов полыхало в воздухе, вой истерзанного металла пронизывал пространство. Так было восемьдесят часов. Затем подготовка кончилась, и сразу же в пять утра в атаку перешли тяжелые и средние танки, пьяные орды автоматчиков, пехотные полки. Немцам удалось ворваться в завод, их танки ревели у стен цехов, они рассекали нашу оборону, отрезали командные пункты дивизии и полков от переднего края обороны.

Казалось, что лишенная управления дивизия потеряет способность к сопротивлению, что командные пункты, попавшие под непосредственный удар противника, обречены, но произошла поразительная вещь: каждая траншея, каждый блиндаж, каждая стрелковая ячейка и укрепленные руины домов превратились в крепости со своими управлениями, со своей связью. Сержанты и рядовые красноармейцы стали командирами, умело и мудро отражавшими атаки. И в этот горький и тяжелый час командиры, штабные работники превратили командные пункты в укрепления и сами, как рядовые, отражали атаки врага. Десять атак отбил Чамов. Огромный рыжий командир танка, оборонявший командный пункт Чамова, расстреляв все снаряды и патроны, соскочил на землю и стал камнями бить подошедших автоматчиков. Командир полка сам стрелял из миномета. Любимец дивизии, командир полка Михалев, погиб от прямого попадания бомбы в командный пункт.— Убило нашего отца,— говорили красноармейцы.

Сменивший Михалева майор Кушнарев перенес свой командный пункт в бетонированную трубу, проходящую под завод-

скими цехами. Несколько часов вели бой у входа в эту трубу Кушнарев, его начальник штаба Дятленко и шесть человек командиров. У них имелось несколько ящиков гранат, и этими гранатами они отбили все атаки немецких автоматчиков.

Этот невиданный по ожесточенности бой длился, не переставая, несколько суток. Он шел уже не за отдельные дома и цехи, он шел за каждую отдельную ступеньку лестницы, за угол в тесном коридоре, за отдельный станок, за пролет между станками, за трубу газопровода. Ни один человек не отступил в этом бою. И если противник занимал какое-либо пространство, то это значило, что там уже не было живых красноармейцев. Все дрались так, как рыжий великан-танкист, фамилии которого так и не узнал Чамов, как сапер Косиченко, выдергивавший чеку из гранаты зубами, так как у него была перебита левая рука. Погибшие словно передали силу оставшимся в живых, и бывали такие минуты, когда десять активных штыков успешно держали оборону, занимаемую батальоном. Много раз переходили заводские цехи от сибиряков к немцам, и снова сибиряки захватывали их. В этом бою гитлеровцам удалось занять ряд зданий и заводских цехов. В этом бою вражеские атаки достигли максимального напряжения. Это был самый высокий потенциал их удара на главном направлении. Словно подняв непомерную тяжесть, они надорвали какие-то внутренние пружины, приводившие в действие их пробивной таран.

Кривая немецкого напора начала падать. Три гитлеровские дивизии, 94, 305, 389-я, дрались против сибиряков. Пяти тысяч немецких жизней стоили сто семнадцать пехотных атак. Сибиряки выдержали это сверхчеловеческое напряжение. Две тысячи тонн превращенного в лом танкового металла легло перед заводом. Тысячи тонн снарядов, мин, авиабомб упали на заводской двор, на цехи, но дивизия выдержала напор. Она не сошла со смертного рубежа, она ни разу не оглянулась назад, она знала: за спиной ее была Волга, судьба страны.

Невольно думаешь о том, как выковывалось это великое упорство. Тут сказался и народный характер, и высокое сознание великой ответственности, и угрюмое, кряжистое сибирское упорство, и отличная военная и политическая подготовка, и суровая дисциплина. Но мне хочется сказать еще об одной черте, сыгравшей немалую роль в этой великой и трагической эпопее,— об удивительной целомудренной морали, о крепкой любви, связывавшей всех людей сибирской дивизии. Дух спартанской скромности свойствен всему командному составу дивизии. Он сказывается и в бытовых мелочах, и в отказе от поло-

женных законом ста граммов водки во все время боев, и в разумной, нешумливой деловитости. Любовь, связывающую людей дивизии, я увидел в той скорби, с которой говорят о погибших товарищах. Я услышал ее в словах красноармейца из полка Михалева, ответившего на вопрос:

— Как живется вам?

— Эх, как живется,— остались мы без отца.

Я увидел ее в трогательной встрече седого полковника Гуртьева с вернувшейся после второго ранения батальонной санитаркой Зоей Калгановой.

— Здравствуйте, дорогая девочка моя,— тихо сказал Гуртьев и быстро с протянутыми руками пошел навстречу худой стриженой девушке.

Так лишь отец может встречать свою родную дочь. Эта любовь и вера друг в друга помогали в страшном бою красноармейцам становиться на место командиров, помогали командирам и работникам штаба браться за пулемет, ручную гранату, бутылку с горючей жидкостью, чтобы отражать немецкие танки, вышедшие к командным пунктам.

Жены и дети никогда не забудут своих мужей и отцов, павших на великом волжском рубеже. Этих хороших, верных людей нельзя забыть. Наша Красная Армия может лишь одним достойным способом почтить святую память павших на направлении главного удара противника — освободительным, не знающим преград наступлением. Мы верим, что час этого наступления близок.

ИНДУСТРИЯ ПОБЕДЫ

История побед Советского государства над гитлеровской Германией есть вместе с тем история побед советской промышленности, ибо в современной войне без техники победить нельзя.

В СТЕПИ

...Башкирская степь. Круженье пурги, в котором не видно ни земли, ни неба. Есть где-то синее море, горячий песок, Одесса. Куда там! Проваливаясь в снег, хлопочут одесситы вокруг ящиков, будто сброшенных с неба на эту кромешную землю. В пальтишках с фасоном, но без ваты, в баретках желтой кожи, они таскают какие-то валы и станины...

— Скажите, летом тут тоже такой же климат?

— Сфотографируйте мой нос на память, завтра его уже не будет.

Они удивленно рассматривают ледяные крупинки, которые сразу наполняют ладонь, только подставь ее под ветер,— такого снега им не приходилось видеть. Машиностроительный завод выгрузился на этом полустанке, от родной гавани за две тысячи верст по прямой.

Две недели они поднимали завод на колеса, погрузили все вплоть до письменных столов и с женами и детьми пустились в путь. Навстречу им шли эшелоны с войсками, и каждый поезд, каждая сводка торопили их: скорее, скорее — пускаться! 80 тысяч вагонов ежедневно уходили с Украины на восток, и они были в их числе. У них не было блюмингов, но они везли с собой тончайшие «сипы», станки-неженки, уйму инструмента

громадной номенклатуры, запас незавершенного производства и всю дорогу приводили в порядок свое хозяйство и писали протоколы для ясности. Директор улетел вперед, и они не знали, что ждет их на новом месте.

Они прибыли в степь, но это не была пустыня. Среди снежной равнины стоял завод, на три четверти построенный. План третьей пятилетки осуществлялся в этих заброшенных местах, и по этому плану тут возводился завод нефтяного оборудования для «Второго Баку». Здание заводоуправления было готово. Там поставили печки и повесили термометры. Потом туда внесли «сипы». Конструкторы и чертежницы выкрасили голубым стены и, надев синие халаты, принялись за работу. К ним приходили отогреваться и, главное, греться душевно: тут уже все было, как в Одессе. Но зато вокруг... что делалось вокруг! Крыш над цехами не было. Лекальщики, фрезеровщики, токари стали плотниками и наводили перекрытия, а в это время внизу уже работали станки. Да, они работали, на временной проводке, окруженные досками, в персональных юртах из брезентов от снега. Те самые станки, которые десяток лет назад с таким трепетом выгружали из американских ящиков, вокруг которых ходили, боясь притронуться, чтобы не испортить. Теперь с ними обращались за панибрата, как курильщики с папиросами. Теперь не требовалось никаких проектов цехов, потому что у людей был опыт двух пятилеток и они могли играть, не глядя на доску.

— Был бы топор, а мы и часы починим,— сказал, не шутя, старик механик, прославившийся кладкой временных печей.

Вскоре он устроил и центральное отопление. За отсутствием котла на заводской двор вкатили старый паровоз, перебрали трубы и пустили его вместо котельной.

Происходило все это в ноябре первого года войны, а в январе завод уже перевыполнил план. Южане получили ватники и валенки, но это не значит, что им было тепло. Люди расселились в домиках местных жителей, а дров в этих местах нет, их продают как пирожные — поштучно. Дорог тоже нет — они заменены бродами среди невылазной грязи. Пища для души в степи небольшая — разве что красивые закаты... Но никто и не думал об этом в то время. Вооружение — вот что занимало все мысли и все время. То самое вооружение, которое двигалось на запад и в конце концов должно было дойти до Одессы.

* *
*

...Я пришел посмотреть «Сильву» в Свердловскую оперетту, которая справедливо считается если не первой, то второй в Союзе. Администратор смущенно сообщил мне, что спектакль отменяется.

— А что случилось? — поинтересовался я.

— Видите ли, тут одна строительная организация получает сегодня знамя Государственного комитета обороны... Она победила в соревновании...

Я прошел в зал. Там пахло овчиной и юфтью. Толстые от ватников и полушубков люди сидели тесно и глядели на закрытый занавес. Лица их были красны от зимнего загара.

Вдруг загремел оркестр, занавес раздвинулся, и стол с президиумом возвеличился перед залом в свете софитов, брызнувшем из боковых лож. Председатель встал и объявил торжественное собрание особой строительной части номер такой-то открытым. Гром оваций смешался с маршем, грохнувшим из труб, тюльпаны которых выросли перед полом сцены.

Открылись двери зала, и в партер вплыло бархатное алое знамя с плоским ажурным копьем на конце древка. Оно проследовало между рядами и установилось перед столом. Его держал знаменосец — маленький человечек в стеганых ватных брюках, огромных валенках с загнувшимися вверх острыми носками и в рубашке, которая вылезала из-под нового, непомерно широкого пиджака с таким узким и таким высоким воротником, что, казалось, он грозил оторвать голову от туловища. Видимо, знаменосец не привык ни к пиджаку, ни к галстуку, но ради торжественного случая согласился на этот костюм.

Высокий и скромно одетый начальник особой строительной части вышел вперед, преклонил колено и, взяв пригоршню золотой бахромы знамени, приложился к ней губами. Потом с расширенными от волнения глазами он поднялся на трибуну.

— Мы должны были и мы смонтировали домну на месяц раньше срока,— сказал начальник.

Он остановился. Это были самые важные слова, которые он мог сказать. Зал молчал. И вдруг аплодисменты взлетели к потолку и обрушились на оратора, оглушительные, так, что казались почти видимыми, как если бы это были цветы. Все в зале встали. Это был акт уважения к самим себе. За словами начальника было столько всего, о чем знали только они, и так это все было трудно и славно, что, в сущности, к сказанному было нечего прибавить. Но все хотели услышать подробности своей

жизни за истекший квартал. И начальник, мешаясь и волнуясь, рассказал им это.

Он говорил о том, что раньше они были сантехстроевцы и не только в первый раз строили домну, но и вообще впервые работали под открытым небом. Он рассказывал об авариях от мороза и об авариях от ураганов, о ночах без сна и о беде с кипятком; и чем труднее были дни, о которых вспоминал он, тем счастливее делались лица слушавших, и шепот пробегал по рядам. Он называл имена, и тогда аплодисменты вновь вспыхивали в зале...

— Мы отобрали знамя у бригады номер такой-то,— сказал начальник, замялся, смутился и со своего могучего роста посмотрел в зал,— мы не отдадим его никому. Мы сейчас идем на другую домну. Мы ее построим еще скорее.

Он остановился. Это опять были важнейшие слова. Они определяли все будущие дни этих людей и его самого. Рядом с ним стоял бюст Ленина. Голова Ленина была повернута немного в сторону от оратора, но тоже глядела в зал.

— Мы славно поработали,— сказал наконец начальник и захлопал в ладоши.

Все захлопали тоже, все громче, все ожесточеннее, и звуки гимна вошли в этот грохот.

На улице грузовики уже шумели моторами, в световых воронках фар кружился снег и строители, подсаживая женщин на платформы, перекликались и торопили водителей.

Вереница красных огоньков ушла в уральскую ночь. Там где-то ждала их доменная громада, а за ней другая и третья, и залы электростанций, и здания новых блюмингов и мартенов. Новая промышленность, взращенная под гром орудий, вставала над востоком страны. Заводы войны, индустрия победы...

* *
*

До войны Украина давала более 60 процентов всего чугуна и всего угля в стране. Когда немцы захватили Юг и Донбасс, по всем рассуждениям выходило, что возместить эту потерю невозможно. Однако ведь когда партия решила строить первую пятилетку, по всем рассуждениям буржуазных ученых тоже выходило, что это невозможно. Но «невозможное» стало реальностью. И то и другое стало возможно в результате величайшего единства народа, которое было воспитано советским строем, и в результате величайшей преданности народа этому

строю. Советская экономическая система выдержала тяжелые испытания.

В руках Советского государства оказались рычаги, которые только одни и могли сдвинуть и перенести индустрию с запада на восток. Все предприятия были в его полном владении. Весь транспорт был в его руках. Все земли на востоке и все крупные постройки на этих землях принадлежали ему и только ему. Оно не могло, конечно, руководить погодой или предписывать рудам залегать там, где было бы нужно, но все остальное было в его распоряжении. И прежде всего готовность миллионов сделать все для осуществления его планов.

Тут перед нами разворачивается одна из самых замечательных страниц истории Советского государства.

Уже в первые недели войны Советское правительство приняло решение о том, чтобы перевезти промышленность угрожаемых районов на восток. Был разработан всеобъемлющий план эвакуации заводов, и началась работа, небывалая по масштабам.

Часто под бомбежкой и всегда в условиях чрезвычайно трудных производились демонтаж оборудования и погрузка его в поезда. На всем пространстве от Ленинграда до Черного моря миллионы людей снимали станки и агрегаты с фундаментов, разбирали их и размещали на платформах и в вагонах. Тысячи поездов шли в глубь страны, удаляясь от угрожаемой зоны. Промышленность Украины, Белоруссии, Ленинграда, Москвы встала на колеса и двинулась в тысячеверстный путь.

Это было переселение машин, какого не знала история человечества. Только одному из днепропетровских заводов было подано 1400 вагонов. Поезда шли не только по главным магистралям, они пробирались по всем второстепенным веткам, лишь бы вовремя увезти от врага свой драгоценный груз. Там, где не было автоблокировки, железнодорожники расставляли живые семафоры, которые давали сигналы машинистам, чтобы те могли гнать поезда с максимальной скоростью, не опасаясь столкновений.

Необыкновенную картину представляли эти эшелоны. Ехали не только станки, ехали громадные агрегаты в тысячи тонн весом — прокатные станы и доменные механизмы, турбины, стальные валы которых достигали 90 сантиметров в диаметре, прессы на тысячи тонн давления и заводские краны, которые приходилось укладывать на несколько вагонов сразу.

Тут же ехали люди. Подняв завод с места, они должны были и опустить его где-то далеко в незнакомых краях и не

только опустить, но и тотчас же приступить к работе, ибо фронт ждал вооружений. Поэтому они должны были предусмотреть все, что потребуется им для производства. Они везли с собой телефонные станции и чертежные столы, автомобили и электрогенераторы, инструмент и приспособления. Они везли и те полуфабрикаты, которые были на заводе, и материалы на первые месяцы работы. Они везли с собой еще и большую печаль по родным местам, по красивым заводским зданиям, которые увезти было невозможно, и жестокую ненависть к гнусным бандам, ворвавшимся на их родную землю. Это был тоже тяжелый и тоже очень важный груз, который шел на восток.

Сколько людей пришлось повидать мне на заводах, и я не вспоминаю ни одного, кто оказался бы ленивым, или безразличным, или отчаявшимся. Непохожи их биографии, разнообразны их характеры, но дела их были направлены только на одно — на оснащение армии...

...Молодая женщина, мужа ее убили на фронте. Она вырезала из присланной ей окровавленной его рубашки ало-черную ленту и ею отмечала свою выработку на доске соревнования. Эта лента всегда была впереди других.

...Старики — уральские вальцовщики, всю жизнь работавшие кровельное железо, взялись катать алюминий и переоборудовали свой цех времен первой Отечественной войны в образцовый цех цветного проката.

...Девушка, решившая показать, что женщинам по плечу любая мужская работа, и потому вставшая горновым к домне.

...Два сварщика, проработавшие в раскаленном цилиндре более четырех часов и этим позволившие не останавливать важнейшего агрегата, без которого задержалось бы производство пропеллеров.

...Изобретатели — инженеры Уралмаша, которые произвели революцию в технологии этого гиганта и добились десятков миллионов рублей экономии в год.

Все эти усилия, стремления и страсти миллионов людей, объединенные и направленные к одной цели и подчиненные единому плану, и создали чудо, которое мы называем технической победой над Гитлером.

ПРЯМОЙ СТАРИК

Старику уже больше двухсот лет. Конечно, от детства его ничего уж не осталось, кроме чугунной метрики со шрифтом петровских времен да большого пруда с плотиной у подножия гор Лысой и Высокой. Но и нового в нем немного. Уже при входе вы предъявляете пропуск такому древнему вахтеру, что, пожалуй, он стоит здесь не менее полвека, а войдя, попадаете в промышленную старину, какой поискать по всему Уралу — не сразу найдешь.

Переулки между цехами, вросшими в черный от копоти снег. Юрты, крытые железом. Повороты, углы, низкие эстакады, мосты, заполненные рельсовыми путями... Колеи лежат от стены до стены. Возле двух рельсов узкоколейки времен Демидовых проложен третий, образующий современную колею, и два паровоза — «карлушка» и «кукушка» — из двух столетий идут по одному полотну: старое и новое движется тут рядом.

Здания начинаются с элементов: сначала входим под кусок крыши, лишенной железа, потом появляются стены, уже ничего сейчас не огораживающие, потом — за какой-то чертой — действующий цех. Но и тут столетия сплелись, как переплеты железных стропил, и нельзя разобрать, что и когда было выстроено, что и когда переделывалось. Здесь вот был какой-то архив, а копнули бумаги — и под ними были найдены полувросшие в землю части машин, непонятно каких и как сюда попавших. А здесь влезло в цех здание поновее, из бетонных блоков, и занимает половину пространства, и сталактиты льда свисают сверху, и сталагмиты льда поднимаются им навстречу, и седая ледяная борода висит па маховиках, покосившихся и засыпанных землей по ступицу. Это вододействующие устройства, когда-то дававшие силу прокатным клетям. Тут в рыжих от ржавчины кожухах спят деревянные мельничные колеса, о которых и до сих пор говорят, что работали они способно и только тем были плохи, что в сухие месяцы нечем было их двигать... Впрочем, в те времена и рабочие, как вода, отливали с завода летом: на сенокос, на уборку, а то и просто на охоту.

Пришла иная пора. Рядом со старым заводом вырос новый, где ни одного камня не было от прошлого. Здесь же многое осталось, как было двадцать, а то и сто лет назад.

Но мы уже не мальчики и знаем, что в большом хозяйстве и старый нож пригож, был бы остер.

А особенно в военное время.

Выйдя из завода, мы поднялись к Лысой горе, обошли ее и попали в рабочий поселок, раскинувшийся за прудом. Широкие улицы, покрытые почти черным снегом, были по-деревенски малолюдны. Вдоль них стояли плотной стеной коренастые домики, прочно срубленные из полных бревен, с крышами на прямой угол, украшенными резьбой, с тяжелыми воротами, с глухими заборами. В просветах улиц виднелись вдали невысокие, пологие горы, покрытые лесами, за которые спускалось голубое небо.

Спутник мой был коренной уралец и, хоть это и не касалось темы моих расспросов, все съезжал на охоту в этих горах, необычайно богатых всякой дичиной. Охотничья страсть, видимо, была его свойством, как, впрочем, и почти всех, кого я встречал в Тагиле. Все-таки я приставал к нему с одним происшествием в цехе, о котором мне рассказали мельком, и он наконец сказал:

— А пойдемте к Затеичу: он вам все хорошо спишет.

Затеичем звали Терентия Зотиевича Лапина — мастера цеха. Был он болен: его помял паровозик «карлушка», и он теперь, несомненно, должен был находиться дома.

Громадную дверищу ворот с ручкой для ладони великана отворила нам девочка лет десяти, широколицая, розовая, прочненькая.

— К дедушке? — спросила она, улыбаясь так, что и мы не могли не улыбнуться в ответ.

Через крытый двор с чуланами, рундуками, сеном и козой в сене прошли мы в дом. На большой ореховой кровати под алым одеялом, на ситцевых красных подушках высоко лежал Затеич. Большое лицо его, с большим носом, широким подбородком и большими ушами, небритое и, как видно, похудевшее за время болезни, было изборождено морщинами и еще полно пережитого волнения. Глаза смотрели из темной глубины глазниц настороженно и сердито. Кисти рук с квадратными ногтями и несмываемой чернотой на суставах казались чересчур большими и хваткими в сравнении с тонкими, обтянутыми кожей костями выше запястья.

Он был окружен тихими и краспвыми женщинами — как видно, дочерьми и внучками; они сидели возле окна и на кровати напротив, спицы посверкивали в их руках. Меньшая стояла возле изголовья и то поправляла подушки, то подавала табак, следя за каждым движением старика.

— Ну, вот беда! — заговорил он, только мы поздоровались.— А знаешь, Михаил Лукьянов, кто виноват во всем? Микеша, не иначе. Утром прохожу через вахтерку, лезу за пропуском,

а он и не смотрит: «Иди, говорит, Затеич, я тебя уже сорок шесть лет на завод пропускаю». Я и пошел, не задержавшись. А если бы он соблюл свой порядок, я бы минутку-то и потерял бы, а «карлушка» тот по мосту успел бы за минутку пройти и меня не повстречал бы. Вот и беды не было бы!

Женщины улыбнулись шутке старика, но никто не рассмеялся. Затеич оглядел их строгим взглядом и продолжал:

— Теперь уж лучше. Только вот простыл я, до сих пор отогреться не могу — не то от испугу, не то от морозу. Ох и лютый был мороз, пока меня везли до дому! Однако я поправлюсь. Я от демидовского «карлушки» пропадать не намерен. От Демидова не пропал, а от его паровоза — паче... Как с железом сегодня?

Затеич говорил громко и как-то по-особому веско. Сила чувствовалась в его голосе, в манере выпаливать слова, привычка, что его слушают и слушаются. Завязался разговор, мне почти непонятный. Был он весь в терминах, вероятно технических, но присущих только этому заводу, а может быть, только этому цеху. Оба собеседника работали там с детских лет, как, впрочем, и почти все их сотоварищи. Перенимать ученые слова им было не от кого, и даже начальник, известный Колосов,— человек практики и науки не знает. Речь шла о прокате, том самом, которым славился завод испокон веку. На памяти еще дедов Затеича были это производство и особый его способ, называемый уральским. Называется он также «промусоривание».

Странное слово отвечает вполне существу процесса. Раскаленные листы железа пускаются под валки пачкой, как бы книжкой, а между ее страниц кидают пригоршни мелко молотого древесного угля. Листы выходят после проката ровного голубого цвета и, как говорят, стойкими против ржавчины. Европа уважала это железо, и оно почти все шло в Англию. Оно мягкое, не рвется, не трескается в обработке, любой угол из него получается ровным, даже если гнуть без нагревания. Но работать его нелегко.

Все здесь требует великой опытности, достигаемой десятилетиями труда. Надо изучить нрав машин, их особенности и капризы. Валки клетей имеют форму слегка вогнутой бочки и принимают профиль строгого цилиндра, только разогревшись от жара вальцуемого железа. Сила их нажатия регулируется винтами, от которых тоже зависит ровность получаемой поверхности. На этих винтах люди «робят» лет по тридцать и научаются удивительной чуткости. И твердость, и состав, и температура железа требуют особой силы давления, особого времени проката.

Все это надо уметь сочетать в нужных пропорциях, надо понимать машину и материал до тонкости. Никакой автоматики, никаких приборов для измерения тут нет, и производство зависит только от умения. Однако брак в цехе Затеича не принят, это — стыдное дело. Что же ты за вальцовщик, если выдаешь плохой лист?! Тогда становись на подноску, учись, покуда не постигнешь.

Наконец, собеседники обговорили все дела минувшего дня, и я приступил к Затеичу с моей просьбой.

— Что ж тут рассказывать?! — сказал он.— Было срочное задание правительства, мы его выполнили. Вот и все.

Он оглянулся на внучку, и та положила на одеяло газету, табак и бумагу. Скрутив и закурив от уголька, поданного дочерью, Затеич принялся за рассказ. Передать своеобразие его речи я не берусь. Он говорил короткими фразами, вернее, вопросами, на которые тут же отвечал; и хотя почти не двигался, однако лицо его, пальцы, даже дыхание были так выразительны и так полны убежденности, что я видел все, о чем говорил он. Слова «задание правительства» повторял он особенно часто и с особенным смаком. Он хотел подчеркнуть, что все случившееся имеет цену и интерес именно потому, что было сделано во исполнение задания правительства. А иначе что ж в этом было бы важного или что удивительного?

Случилось все под зиму первого года войны, в то как раз время, когда перевозились заводы на восток. Положение было трудное, потому что, едучи, завод работать не может, а между тем оставлять фронт без оружия тоже нельзя, особенно без самолетов. Самолеты же делаются из алюминия, алюминий же надо катать. Требовалось: пока заводы будут ехать, временно наладить прокат алюминиевого листа на уральских металлургических заводах. И вот приехали алюминщики в Нижний Тагил на старый завод и привезли задание правительства: листопрокатному цеху прокатать энное количество тонн алюминия. Пришли в цех, посмотрели и пошли прочь:

— Катать алюминий в таком месте?!

Терентий Затеич и другие не особенно огорчились таким пренебрежением: и без твоего алюминия у нас дела хватает.

Но все-таки было интересно узнать, что же за такой удивительный продукт — этот металл: ведь им и медь приходилось катывать и сталь, или уж это совсем особая тонкость?

— Особого ничего нет,— сказали им алюминщики,— только у нас металл двадцатого столетия, а у вас цех восемнадцатого столетия.

— Это то есть как же?

— Да очень просто: допотопный цех, дырявый, а тут еще домна ваша над самой крышей, из нее уголь моросит день и ночь. Да и сами вы с вашим промусориванием полтораста лет грязь разводите. Алюминий мусорщиков не любит.

— Так,— сказал Затеич,— мы, стало быть, мусорщики, и цех у нас дырявый. Хорошо.

С этих слов и пошли события.

Ночью зазвенели колокола над заводом: пожарные машины прибыли из всех частей. Струи воды зашипели под стропилами цеха. Это не было мытье. Это было нечто похожее на работу гидромониторов, размывающих породу. Угольные напластования сыпались сверху вместе с ржавыми лоскутами железа и гнездами галок, издавна населявших подкрышье. «Карлушки» вытягивали из цеха платформы с мусором. Лопаты и ломы ворошили кучи хлама наполеоновских времен, не хватало только подрывников, чтобы взрывать их.

Наутро стремянками уставили цех, и все полезли на крышу латать ее небесные прорехи. Стены зашивали тесом, на чугунные плиты пола настилали доски, а потом, набрав пакли и тряпья со всего завода, набросились на агрегаты мыть их керосином. Скоблежка, отколупывание, протирание и латание продолжались несколько дней и закончились тем, что в цех принесли кисти и стали обряжать клети в светлую краску.

Когда алюминщики пришли в цех, им показалось, что они перепутали и попали на хлебозавод. Но вальцовщики глядели недобрыми глазами. Преодолев удивление, инженеры спросили:

— А как же с отоплением? Алюминий нельзя обрабатывать на морозе.

— А мы печами, в которых греется металл.

— Алюминий печей не требует. Его катают в холодном виде.

В холодном! Это было неожиданностью страшного смысла. Ибо клети с их бочкообразными валками могли правильно действовать, только нагревшись.

— И кроме того, для растяжной машины и термопередела нужно другое помещение, с постоянной температурой. Это не годится.

Ночью были притащены рейки и доски. Посреди цеха был выстроен еще цех — из дерева, для растяжной машины и термопередела.

Алюминщики подивились, дали инструкции и пустились в обратный путь.

И вот началось!

Конечно, нельзя сказать, чтобы катать алюминий на вальцах для железа было так же трудно, как шить на ремингтоне или качать воду роялем. Но все же было трудно.

Затеич, Павел Мокин, Петр Черных, Михаил Лукьянов, Николай Матюгин и сам Колосов запарывали один лист за другим. Белый металл не поддавался. Он выдавливался волнами, топорщился, застревал, кособочился... Валки придавали ему нелепую чечевичную форму, вальцовщики ходили вокруг родных клетей, будто то были и не клети вовсе, а черт знает что — контрабасы или телескопы непонятного характера. В своем новом, светлом и холодном виде они как будто понабрались такого самомнения, что плевать хотели на своих прежних хозяев и производили какую-то чепуху вместо листов.

— Угольком бы его, Терентий Затеич! — говорили подручные.

— Я те дам угольком! Я те рожу науглерожу, мусорщик! — цыкал Затеич, приседая и который раз вглядываясь в щель между валками.

Наконец решили реформировать клети. Отыскали шлифовальный станок и стали выправлять валки. Пробовали и так и этак, вставляли, катали, опять вынимали, опять прошлифовывали.

И вот в одно утро, морозное и злое, пошел вдруг лист. Гладкий, как серебряная фанера. Хозяева обуздали наконец строптивость машин. Бегая в уголок погреть руки над печуркой, вальцовщики чувствовали жар гордости под стеганными ватниками.

— Чисто рубли из него штамповать, Терентий Затеич! — говорили подносчики.

— И ничего в нем нет особого,— отвечал старик.— Кровлю мы ка́тали? Ка́тали. Медь ка́тали? Ка́тали. И белое железо ка́тать будем.

Он говорил «ка́тали» с ударением на первом «а» и называл алюминий белым железом. Теперь, когда он его обуздал, он не хотел выделять его среди других вверенных ему металлов. Нет, не его цех стал алюминиевым, но алюминий стал железом, раз пришел к нему в цех!

Вскоре вальцовщики перекрыли программу в шесть раз. Никто не мог ожидать такой производительности. Металл для самолетов пошел на авиазаводы с берегов нижнетагильского пруда.

Прямо из восемнадцатого века в двадцатый!

Затеич ходил, не выказывая гордости, но более, чем когда-нибудь, к нему шло прозвище, которое укрепилось за ним на заводе: Прямой старик.

* *
*

Возвращался я от Затеича по льду демидовского пруда, густо-серого от угля, который сыпали на него доменные печи. Следы на снегу казались полными черной туши. Домны и вся их архитектура вычерчивались на вечернем небе чернью по золоту. Рыжий дым, то ли самосветный, то ли от заката светящийся, из многих труб разного роста шел вверх, там изгибался от своей тяжести и катился бреющим полетом над прудом. Все было спокойно вокруг. Все было так присуще одно другому, так слитно — и горы, пологие, богатые рудой и дичью, и невысокая каланча на Лысой горе, откуда оглядывала когда-то демидовская охрана, все ли в порядке, и сам городок с низкими прочными домами, где на одной улице живут и дед, и сын, и шурин, и зять с семьей, и все с одного завода, из одного цеха... Коротенькие, толстые от полушубков девушки стайкой прошли мимо. Они переговаривались с той вопросной интонацией, какая свойственна уральцам и особенно хороша для женского голоса.

Молодой месяц был приколот к небесной синеве и держал в алюминиевой своей оправе бледный шар луны.

Все было спокойно вокруг.

ВОЛЖСКАЯ КРУЧА

Утро 14 октября 1942 года еще не наступило, еще ночь боролась с рассветом... Но уже ощущалось дыхание нового дня: предутренний рассвет растворял ночь, темные густые краски уступали светлым, прозрачным. Вначале смутно виднелся лишь далекий правый берег, а над ним бушующее на десятки километров море огня. Потом из серой мглы стали выступать очертания обрыва и песчаной косы; с крутого берега из разбитых баков, будто расплавленный металл, устремилась пылающая нефть, и красными языками долго плясала на воде. Левый, низкий берег еще скрыт в тумане, проступают лишь верхушки деревьев. В отсветах пожаров, словно дымящая кровь, курилась широкая Волга. От берега к берегу сновали сотни лодок; в них переправляли термосы с горячими борщами и кашами, ящики патронов, мин, снарядов и гранат. По приказу командарма Чуйкова напервo перевозили боеприпасы на Тракторный. До этого скупо, по голодной норме, отпускали боезапас; и теперь те, кто перевозил, удивлялись: зачем вдруг такая прорва мин, патронов и гранат?

В тот предрассветный час никто из нас не предполагал, что скоро, очень скоро наш противотанковый узел на площади Дзержинского перед Тракторным окажется на главном направлении удара фашистов, что уже сотни вражеских самолетов готовились подняться в воздух, чтобы сбросить тысячи бомб на наши головы, а сотни танков двинулись на исходные позиции, чтобы все раздавить, уничтожить. Не знали, что в тот предрассветный час наши радиостанции поймали голос Гитлера — он в пятый раз заявил миру, что возьмет город на Волге.

Немцы скрытно подтянули огромные силы в район Тракторного. Нас насторожила та тишина, которая вдруг воцарилась

накануне. Прекратились бомбежки, обстрелы, даже пулеметы фашистов замолчали. С первых дней великой битвы, с жарких июльских дней, сражалась наша дивизия в степях за Доном, в междуречье Дона и Волги, вела самые что ни на есть кровавые бои за Мамаев курган, поселки Красный Октябрь, Баррикады, Тракторный... Наше ухо привыкло к грохоту боя. Зловещая, настороженная тишина... Что она таит в себе? Что задумал немец? Где и когда нанесет свой удар? На войне хуже нет такой коварной тишины, страшней она любого смертельного боя.

Всю ночь комиссар части Филимонов и я ходили по переднему краю и в какой уже раз уточняли с командирами пехотных подразделений задачи, взаимодействие, связь. Только к рассвету вернулись на площадь Дзержинского. Сюда веером вливались улицы, поэтому здесь и решили создать наш противотанковый узел, чтобы надежно заслонить тракторный завод.

На дне круглых колодцев, прислонившись к земляной стенке, спали охотники на танков; рядом с ними в выдолбленных нишах поблескивали горлышки бутылок с горючей смесью. Из одного колодца нас поприветствовал дежурный с биноклем в руках.

— Что с фрицами приключилось? — спросил он.— Вымерли они, что ли?..

— На это ты не надейся,— заметил ему Филимонов, обходя искусно замаскированный окоп с бронебойкой.

У левофлангового орудия в укрытиях все, кроме дежурного, спали. Наш воспитанник Ванюшка Федоров прикорнул у обгоревшего куста в заводском скверике. Вечером мы его приняли в комсомол. Утром с поваром, который доставит завтрак, Ваня уедет на тот берег — по приказу командарма Чуйкова всех подростков отправляют в тыл армии. Не хотелось расставаться с Ваней... Когда ехали на фронт, он зайцем проник в наш эшелон — решил отомстить фашистам за погибшего отца. Сгоняли его не раз. Я даже подрался с ним. Стаскивал с буфера, а он ни в какую. Ну, и сцепились. Ему четырнадцать, мне, лейтенанту-скороспелке, семнадцать. Потом он исчез. А при разгрузке эшелона машинист подвел его к нам. Ваня был весь черный, в угольной пыли. Оказалось, он зарылся в уголь на тендере. Командир части оценил напористость парнишки, определил его поваренком. Вскоре Ваня стал подносчиком снарядов и даже заменял наводчика.

Остановились мы над спящим парнишкой, поправили съехавшую с него шинель и пошли к своему командному пункту.

Дежурный телефонист с привязанной к уху трубкой привстал в ровике, доложил, что «сверху» запрашивали, как немец себя ведет. Комиссар Филимонов забрался в укрытие и, приткнувшись к чьей-то спине, сразу уснул. Я завалился рядом с усачом Черношейкиным; его длинные ноги не вмещались в щель, и поэтому он предпочитал располагаться под открытым небом.

Стояла все та же гнетущая тишина, лишь оранжевые языки пламени беззвучно трепыхали в просветлевшем небе, пожирая развалины домов. Иногда раздавался треск старой смолистой балки да шумно осыпались кирпичи. И снова тишина. Оборвалась она неожиданно...

Проснулся я будто под огромным царь-колоколом, по которому бьют разом тысячи молотов. Гул разрывов больно отдавался в ушах, казалось, вот-вот лопнут барабанные перепонки; от едкого дыма и жаркого воздуха спирало дыхание. Светлое утреннее небо стало черным от крыльев с фашистскими крестами. Такого еще не было за всю великую битву, не было, кажется, и потом за всю войну. Фашисты бросили все, что у них было, на чашу весов, а они, эти весы, могли тогда по-разному качнуться...

Сколько продолжалась бомбежка?.. Потеряли счет времени. Лишь когда земля стала оседать, поняли — конец. Мы оглохли и новый рокот моторов услышали в последнюю минуту — танки уже подошли совсем близко. Скомандовал:

— К бою!..

От центрального орудия сержанта Кухты, где я находился, увидел, как слева и справа расчеты приводят пушки к бою. Напротив, из Ополченской улицы, словно огромная гусеница, выползла бронированная колонна. Двигалось не меньше трех десятков танков. Слева, по проспекту Ленина, и справа, по Дзержинской улице, на нас надвигалась еще колонна танков. Сколько же их!.. Около сотни, больше? Пятнистые, зеленожелтые стальные громады с черными крестами ломали на своем пути обгоревшие деревья, столбы, все крошили и подминали под себя...

Бойцы выкатили из укрытий на прямую наводку пушки. Махнув командирам орудий: «Огонь!» — бросился к бронебойке, у которой погиб расчет. Рядом из противотанкового ружья стрелял Борис Филимонов. Он, как всегда, невозмутим. На бойцов спокойствие действует лучше всего. Но только кажется со стороны, что Борис спокоен. Я то уж знаю, чего это ему стоит... Он так сжал челюсти, что желваки вздулись по яблоку, костяшки пальцев, обхвативших бронебойку, побелели.

Сжечь танк не просто. Как разъяренный бронированный дракон, изрыгающий огонь, он никак не хочет подставлять уязвимые места. И снаряды, высекая снопы искр, отлетают рикошетом от брони, оставляя лишь безобидные вмятины. Только после нескольких выстрелов удалось заклинить башню одному танку, перебить гусеницу другому, попасть в борт третьему.

Когда ведешь огонь, трудно наблюдать, как воюют другие. Но командир должен постоянно видеть своих солдат. В соседнем окопе убило бронебойщика. Посылаю туда Черношейкина. Нескладный, длинноногий, он очень ловко перебежал и спрыгнул в окопчик. Скрывшись в нем лишь наполовину, Черношейкин начал палить из бронебойки. (Суровая школа боев научила нас заменять друг друга у пушки, бронебойки, пулемета).

У левого орудия, цепляясь руками за щит, опустился на землю раненый наводчик. К панораме бросился командир и тут же, скошенный, упал. Остальные в расчете все новенькие, из пополнения. Надо бежать на выручку. Но что такое?.. К орудию встал Ванюшка Федоров. Значит, он не успел переправиться на левый берег?! Не знал я, что наш повар, как и многие другие, не достиг в то утро и середины Волги. Ваня повернулся к растерявшимся было бойцам, крикнул им: «Давайте снаряды!» — и стал палить.

Бой достиг самого высокого накала. Мы в упор расстреливали танки, они нас. В горячем бою теряешь чувство времени — минута иногда покажется часом, и наоборот. Отбили мы первую атаку, подожгли восемь танков, остальные еще не расползлись в развалины, как опять налетели самолеты. Бомбили жестоко, долго и только площадь Дзержинского. Потом снова атаки...

Фашисты выдвинули пулеметы, автоматчиков. Ванюшка только успел нырнуть вниз, как вдребезги разнесло панораму, убило подносчика снарядов. Не растерялся парнишка, стал наводить орудие по стволу. Танки все ближе... Вот они поравнялись с круглыми колодцами, с ревом устремились на нас... Сейчас раздавят... Но тут из колодцев им в хвост полетели бутылки с горючкой. Синим огнем запылала жидкость на броне. Взрываются моторы, башни со снарядами. Танки застопорили. Отползают. Мы приканчиваем их кинжальным огнем из орудий. Но радость недолгая... В небе опять «Юнкерсы».

Снова бурой стеной поднялась земля. Ничего не видно. «Что с Ванюшкой? Жив ли он? Окончится бомбежка, сбегаю к нему...» Но бежать пришлось к правому орудию, потому что туда угодила бомба. Откопали мы командира Сашу Медведева

и наводчика Николая Смородина. Остальные погибли. И снова бросились к бронебойкам...

Четырнадцать танков пылали полукругом у площади. Часть громад пошла в обход слева, вдоль заводской стены. Танки смяли нашу пехоту, гвардейцев дивизии Жолудева. Немецкие автоматчики подбираются к орудиям. Там, где был Ваня, уже трещали автоматы.

Когда вздыбленная земля осела, я увидел, что Ванино орудие разбито. Он один остался в живых и стрелял из автомата. Но вот автомат выпал из его рук... Ему раздробило левую руку. Из раны хлестала кровь, а Ванюшка все швырял и швырял гранаты. Разорвался снаряд. Облако земли и дыма скрыло его. «Убит...» — подумали мы с комиссаром. А когда дым рассеялся, увидели снова Ванюшку. Некоторое время он лежал неподвижно на бруствере, затем пошевелился, поднял голову от земли и стал выпрямляться. Снарядом ему оторвало кисть правой руки. Но юный боец не сдавался... Над пылающей, исковерканной землей он поднялся с гранатой в зубах, пошел навстречу стальным чудовищам, что двигались в обход слева.

Во что бы то ни стало надо остановить его. Дал очередь из автомата, швырнул последние гранаты, бросился... А комиссар схватил и толкнул меня к орудию:

— Танки, танки справа!..

Справа, к заводским проходным устремились танки. Мы не должны пропустить их на завод. Тяжело ранило наводчика, и огонь пришлось вести мне. Если подбить танки и повернуть ствол налево, уничтожить бронегромаду, на которую идет Ванюшка,— спасу его. А если... Подбил справа два танка, а слева на нас уже ринулись другие...

И в это время раздался оглушительный взрыв.

Застыла бронегромада, а за ней и те, что шли по узкому проходу следом. Мы спасены и можем продолжать бой. А моего родного Ванюшки уже нет. Шагнул в бессмертие парнишка, ему в ту пору было четырнадцать, всего лишь один день он был в комсомоле.

Бой не стихал ни на минуту. До последнего стоят охотники в круглых колодцах. Горят десятка два танков, хвосты черного дыма стелются по площади. Немцы, отказавшись от попыток взять Тракторный в лоб, обошли завод с тыла, ворвались в цехи. Если обойдут танки — у нас приказ: прорваться и оборонять сборочный цех. Но как прорваться в завод?! Фашисты обложили нас со всех сторон.

Перед закатом солнца в который уже раз налетели «Юнкерсы». Немецкие автоматчики упрятались от бомбежки в развалины. Мы воспользовались этим — прорвались, заняли оборону в сборочном цехе.

У проемов разбитых стен залегли бойцы с бронебойками, автоматами, пулеметами. Последнюю пушку поставили в воротах, чтобы танки не прошли по заводской аллее. Гулко строчат пулеметы, ночную темень прорезают огневые трассы пуль. Мертвый холодный свет немецких ракет озаряет на две-три секунды груды исковерканного железобетона, фигуры стреляющих бойцов, раненых, разметавшихся на цементном полу. И снова все погружается в темень. Раздаются стоны. Раненые просят пить, а воды ни капли!

К полуночи вернулись разведчики. Они проникли в кузнечный цех. Там бойцы из 524-го полка. Оттуда пришел лейтенант Шутов, командир второй истребительной батареи. Все мы знали его мягким, застенчивым юношей. А теперь перед нами стоял переживший тяжелое горе мужчина с окаменевшим лицом: бронированный таран уничтожил всю его батарею. Он уцелел с одним бойцом — полуживой, оглохший.

— Приказывай, все буду делать,— хрипло и громко, как обычно говорят оглохшие, сказал он мне.

В таком страшном состоянии одно спасение — дать человеку срочное дело.

— Найди воду для раненых! — крикнул ему на ухо.

Шутов выбрался из цеха, растаял в темени и вскоре появился с рабочим-ополченцем. Пожилой усач, водопроводчик с Тракторного, где-то полазил, разгреб груду кирпичей, нашел трубу, перебил ее и нацедил в посудину воды. Раненые жадно пили ржавую, неприятно пахнувшую воду.

Утро началось с новых жестоких атак врага. Пулеметные очереди через проломы стен прошивали наш цех насквозь, пули цокали по кирпичу, барабанили по металлу, в исковерканных фермах оглушительно рвались мины, осколки с диким воем молотили железо. Тяжелораненых негде укрыть. А самое страшное — невыносимо видеть, когда на твоих глазах гибнут товарищи.

Принимаем с Борисом Филимоновым решение. Он прорвется с частью бойцов сквозь цепь немцев и спасет раненых. Расставаться трудно. Все, кому довелось оставлять своих товарищей, знают эту муку расставания.

Но на войне чувства выражают скупо. И Борис, неловко прижав меня, безусого, к пропахшей дымом и порохом жесткой

щеке, уходит. А дальше все идет по намеченному плану. Мы с бойцами наносим отвлекающий удар, Филимонов в это время вырывается из цеха. Удастся ли ему спасти раненых, уцелеет ли сам?

К вечеру мы уничтожили еще семь танков. Разбило и нашу последнюю пушку. И все бы ничего, если бы не соседний гарнизон в кузнечном цехе... Там оборонялась горстка бойцов. В последней радиограмме они сообщили командующему: «Нас окружили пятьдесят танков — гибнем, но не сдаемся. Прощайте, товарищи!»

Но гарнизон не весь погиб... Мы прорвались к нему на выручку, когда немецкие автоматчики уже стали просачиваться в цех. Удар наш был неожиданным. Немцы откатились. Кузнечный цех сохранился лучше сборочного, и мы решили занять здесь оборону.

«Знакомиться» с новым пополнением пришлось в бою. Помню, около меня оказался симпатичный рыженький солдат. Когда фашисты пошли в атаку, он потерял пилотку. Я обратил внимание на его огненно-рыжие волосы — они рассыпались. Для парня волосы слишком длинноваты. Хотя, где ж ему было стричься? С самого Дона в боях — скоро три месяца!

Вдобавок к танкам гитлеровцы подтянули орудия, минометы и с немецкой педантичностью приступили к уничтожению всего живого в пылающих развалинах цеха. Рвутся снаряды, трещат железные прутья арматуры. Смерть бушует в развалинах. Боезапас у нас на исходе. Стреляем скупо, гвоздим наверняка.

К исходу третьего дня почти все наши на Тракторном были уничтожены. У нас в цехе занялось сплошное пламя. Гимнастерки на бойцах тлеют. Собрался было скомандовать прорываться в другой цех, подбежал сержант Козачек:

— Товарищ лейтенант! Под обрывом у Волги есть патроны, гранаты... Мы оттуда еще тринадцатого таскали. Там целый склад!..

Раздумывать некогда. Приказываю:

— Приготовить гранаты. Прорываться к обрыву... Здесь — смерть, там — патроны, жизнь! Сержант первый, за ним остальные!..

Рванулись бойцы на вражеские пушки и пулеметы, забросали их последними гранатами. Оторопели фашисты. Из огня, сами в огне, словно пылающие факелы, бегут на них русские солдаты. В каждой доле секунды победа или смерть... И прорвались через огненное кольцо! Вначале думали занять оборону у волжского обрыва, в недостроенном Дворце культуры. Дви-

нули туда, а там в подвале врачи и сестры из передового медсанбата.

— Лейтенант, вы ранены! — крикнула одна из медсестер, а я, весь обгоревший, не чувствую боли.

Только стала медсестра бинтовать мне голову, вижу, бежит рыжий солдат:

— Своему лейтенанту сама буду делать перевязку!

Рыжий солдат оказался девушкой — Тоней Давыдовой. Санинструктор из 149-й стрелковой бригады, она попала в окружение под Орловкой; вырвалась с небольшой группой на участке обороны нашего полка, с остатками которого мы и соединились в кузнечном цехе.

Пока врачи и сестры выносили из подвала раненых к обрыву и спускали вниз, немецкие танки и автоматчики стали обходить недостроенный Дворец культуры. Решили занять оборону на самом обрыве, благо боеприпасы рядом, внизу. До темноты отбивали вражеские атаки. Раненых переправляли на тот берег. Контузило Тоню. Хотел было ее переправить, а она ни в какую: — Я с вами воевала, здесь и останусь. Вы ведь тоже ранены, а остаетесь.

Уговаривать ее было некогда, а приказным порядком не хочется действовать. А вскоре кого-то ранило, и за ласковую заботу Тони боец поблагодарил ее: — Спасибо, солнышко!

Так и привязалось к ней имя Солнышко, и по-другому ее на волжской круче уже не звали.

Фашисты всю ночь жгли ракеты, бешено строчили из пулеметов. А мы, отстреливаясь, долбили и долбили по самой кромке отвесной кручи. Ячейки словно ласточкины гнезда. У подножия тридцатиметровой скалистой кручи проходила узенькая песчаная полоска с острыми камнями — сорвешься, врача можно не звать.

К рассвету от комиссара Филимонова возвратились три бойца во главе с сержантом Кухтой, все вымокшие, усталые, грязные. Им удалось вынести раненых к нашим. Комиссара Филимонова ранило. Сержант Кухта доставил его в медсанбат и там от врачей и сестер узнал, что мы держим оборону на круче. Где вплавь, где ползком по берегу сержант с бойцами добрались к нам.

Мы назначили сержанта Кухту начальником «тыла». Все, что было под кручей, называли тылом... «Тыл» — это узкая каменистая полоска с двумя ручными пулеметами и тремя минометами (один из них без плиты, и, чтобы вести огонь, его ставили стволом прямо на камень), склад боеприпасов, укрытый

в выдолбленных пещерах. Под началом у Степана Кухты был и «лазарет» Солнышки. Тоня начала долбить свой «лазарет» под кручей в первую же ночь обороны.

С тремя бойцами и сержантом Кухтой нас стало пятьдесят семь. Почти все мы комсомольцы, только двое, Иван Афанасьевич Пивоваров и Степан Кухта, коммунисты. Самый старший по возрасту — Пивоваров. В гражданскую, при обороне Царицына, он был таким же, как и мы, безусым комсомольчонком, лихо носился на пулеметной тачанке. Сурово выглядел Пивоваров. С острой, клинышком, бородкой и чуть посеребренными висками, подтянутый, он скорее походил на старого кадрового офицера, чем на простого солдата. Но только с виду он был суров. «Пивоварыч», как мы любовно прозвали его, покорял всех сердечностью, мудростью и, точно магнит, притягивал к себе людей. Когда мы создали на круче «военный совет», туда вошли Пивоварыч и Степан Кухта.

Помню первое утро на волжской круче... Едва заалели верхушки дубрав на том берегу, как над нами появились «Юнкерсы». Закружились каруселью. От них одна за другой отделялись черные капли. Дикий визг, нарастая, выворачивал душу. Казалось, бомбы летят прямо в наши «ласточкины гнезда» — такие ненадежные, открытые со стороны реки. Взрываясь, бомбы поднимали в реке водяные фонтаны. Два часа «Юнкерсы» висели над нами — бомбили, обстреливали. Наши гнезда, вытянувшиеся по кромке ниточкой, оказались неуязвимыми.

Потом открыли огонь артиллерия и минометы. Снаряды и мины рвались впереди нас и позади — в Волге. Тут только и оценили мы по-настоящему свою позицию по кромке кручи. Никакими уставами и наставлениями не предусмотрено занимать такую оборону. Но на войне не всегда все укладывалось в уставы. После авиации и артиллерии, как всегда, двинулись танки. Для них наша позиция тоже оказалась малодоступной. Они расстреливали нас из пушек и пулеметов, а приблизиться многотонной громадой остерегались, боясь рухнуть с кручи. Из бронебоек мы подбивали танки, пулеметами отсекали от них автоматчиков. Сержант Козачек, прозванный у нас начальником артиллерии, сверху, из ячейки, словно дирижер, махал руками, показывая минометчикам, куда вести огонь: влево, вправо, ближе, дальше. Минометы стояли прямо в воде, на камнях: узкой полоски берега для них не хватало. Открыв бешеный огонь, минометчики быстро убирали стволы под обрыв: нашу артиллерию мы берегли пуще всего.

Поняв, что в лоб им нас не взять, фашисты начали штурмовать с флангов. Слева, до самых Баррикад, они вышли к Волге. С этого фланга — сверху и снизу — нас атаковали батальоны немецких автоматчиков. С группой бойцов тут отбивался Вася Шутов. После гибели своей батареи он стал моим помощником. Потухший было огонек в его глазах снова загорелся: он стал быстрым, решительным.

Еще жарче на правом фланге. Здесь углом сходятся волжская круча и обрыв глубокой котловины реки Мечетки. По ту сторону котловины, в поселке Рынок, наши. Фашисты, стремясь туда, хотят обойти кручу, ударить нам во фланг. Мы не даем им осуществить затею. Но как-то на правом фланге у нас умолк «максим» — убило пулеметчика. И сразу к замолкнувшему пулемету бросились немцы. От меня до пулемета не меньше трехсот метров. Бежать туда по кромке, на виду у немцев — убьют, спуститься с кручи, пробраться по низу и снова вскарабкаться на обрыв — не успеешь... И тут я увидел, что из соседней с пулеметом ячейки выскочил Пивоваров. Немцы открыли по нему огонь. А он проворно, словно мальчишка, пробежал по кромке и — снова зарокотал пулемет, расстреливая фашистов в упор. После этого им не удалось прорваться. Пивоваров рядом с пулеметной ячейкой открыл еще одну и перетащил туда свою бронебойку. Так и воевал он, словно многостаночник,— вел огонь то из бронебойки, то из «максима». На виду у всех бойцов проводил «политическую работу» наш правофланговый Пивоварыч.

До темноты отбивали атаки. Бойцы уже несколько суток не смыкали глаз; давал о себе знать голод. Но надо, используя ночь, долбить терраску, чтобы соединить ячейки. И, борясь со сном, поддерживая друг друга, чтобы не рухнуть вниз и не разбиться, мы вырубаем уступ. К рассвету почти все гнезда соединили между собой терраской. Теперь можно прийти на помощь бойцу, заменить выбывшего из строя; теперь у нас будут лучше взаимосвязь, управление и крепче оборона.

Все тяготы с нами переносила и Солнышко. Ночью вырубала с бойцами террасы, таскала наверх воду. Из валявшихся на берегу канатных обрывков сплела веревку — поднимать на кручу ящики с патронами и опускать тяжелораненых. Научилась по этой веревке лазить, точно белка,— ловко, цепко.

В недолгие минуты затишья, оставив в лазарете разметавшихся в жару и стонущих тяжелораненых, Тоня поднимала на кручу ведра горячего рыбьего бульона и поджаренные куски

рыбы. С 13 октября у нас не было во рту ни крохи, и выброшенная на берег, оглушенная бомбами, минами и снарядами рыба, еле отмытая от нефтяного мазута, была необыкновенно вкусной.

Когда среди мужчин воюет женщина — это много. Если она переносит этот кромешный ад — мужчина должен перенести. А Солнышко заставляла себя улыбаться, чтобы хоть чем-то ободрить тяжелораненых. Некоторые из них после перевязки отказывались уходить с кручи.

Колю Устинова, с виду совсем мальчика, тяжело ранило в ноги. Он нашел в себе силы выбраться из ячейки, лечь на бруствер и продолжать стрелять в озверелых фашистов. Ему оторвало миной руки. Когда его спустили с кручи, он не мог слова вымолвить. Только его горящий взгляд ярче всяких слов выражал страшную досаду, что он больше не может сражаться. Сильный, молодой, он боролся со смертью почти сутки. И все это время Солнышко не отходила от Коли. И не одному ему Солнышко облегчила последние минуты...

Смерть каждый день вырывала кого-нибудь из защитников кручи, но никто из нас не думал о гибели.

В свободную минуту солдаты перекидывались словом с соседом по ячейке. Запомнился мне один вечер... Обошел я по терраске бойцов и задержался у Пивоварова. Впереди горели развалины Тракторного. В свете пожаров строгое, исхудавшее лицо нашего Пивоварыча казалось высеченным из красного гранита. Задумчиво взял он валявшуюся у бруствера немецкую листовку, оторвал уголок, свернул козью ножку; в ладонях растер жесткий стебелек полыни, набил козью ножку и прикурил. Бумага чадила, от полыни шел едкий, дурманящий дым. Курильщику без табака страшней, чем без хлеба. И тогда на круче многие жгли по ночам горькую полынь.

— Взглянуть бы хоть одним глазком, лейтенант, годков через двадцать, как оно будет? — в раздумье сказал Пивоварыч.— Что будет с моими детьми?.. У меня четверо их, друг Алеша, осталось. Две дочери и два сына...

Вспомнил Пивоваров и жену, отца, который в семнадцатом штурмовал Зимний. И так ему хотелось, чтобы все они знали, как он стоял насмерть на волжской круче, как выполнил свой долг перед Родиной.

Так задушевно Пивоварыч никогда со мной не разговаривал. Может, чувствовал старый боец, что последний вечер отпущен в его жизни, поэтому и говорил так, будто завещание оставлял...

Раннее утро 20 октября началось с жестоких атак фашистских батальонов при поддержке танков. Мы палили из бронебоек, вели беглый огонь из минометов. Стволы пулеметов накалились. Уже семь танков подорвались на минах и подожжены из бронебоек, уже десятки грязно-серых трупов лежат перед нашими ячейками, а фашисты, не унимаясь, все лезут...

Снарядом из танковой пушки тяжело ранило Пивоварыча. Он снял пилотку, зажал рваную рану и, обливаясь кровью, продолжал вести огонь... Его «максим» дал еще одну очередь и смолк. Когда я добежал к ячейке Пивоварова, он был уже мертв. Фашисты, уверенные, что пулемет уничтожен, бросились на этот участок кручи. Но «максим» ожил. Рукоятки, которые я сжал, хранили еще тепло рук Пивоварова. Пулемет беспощадно косил фашистов — мстил за гибель боевого друга.

Настал день, когда нас осталось тринадцать. В ту ночь мы привели в порядок оборону, по-новому расставили поредевших бойцов: девять — на кромке, четверо — под кручей, заминировали остатком мин проходы перед кручей...

Утром снова бой. Те четверо под кручей (с ними и Солнышко) обороняли фланги, вели огонь из минометов, подавали нам боеприпасы. Если раньше Солнышку и Степану Кухте удавалось соорудить плот из бревен и сплавить тяжелораненого в надежде, что его прибьет к нашему берегу, то теперь такой возможности нет. Все сражались до последнего.

Однажды после жестокой бомбежки вражеские танки подошли к самой круче. До сих пор им это не удавалось — подрывались на минах. Теперь фашисты двинули танки-тральщики, имевшие приспособление для подрыва мин. Весь день они пытались сбросить нас с кручи. Тяжело ранило Тоню. Она отстреливалась, пока не потеряла сознание. Вечером я спустился с кромки обрыва...

Степан Кухта каким-то чудом выловил лодчонку. С Шутовым он уговаривал пришедшую в сознание Тоню:

— Ты пойми, Солнышко, тебе нельзя оставаться. Заражение будет, ногу потеряешь.

— Ну и пусть!

— От гангрены умрешь.

— Ну и пусть. Мы дали клятву, и я не имею права уйти с кручи. Правда, командир? — Тоня попыталась улыбнуться, но силы оставили ее.

Медлить было нельзя: скоро рассвет, и тогда лодку не переправить. Я отнес Тоню в лодку. Ее глаза смотрели на меня с укором...

Десятый день, как мы сражались. Без сна, отдыха. Бойцов мучил голод. Казалось, сил уже нет, а все держимся. После гитлеровский генерал Ганс Дерр писал, что немецкие дивизии не смогли овладеть отвесным берегом Волги. Это была правда. Гитлеровский генерал ошибся в одном — нас было не три дивизии русских, а всего лишь пятьдесят семь солдат!

Ближе всех ко мне стоял Коля Смородин. Я помню, каким он пришел в часть — гимнастерка на нем была словно влитая. Я по сравнению с ним был худеньким мальчишкой. Бывало, Смородин поглядит на меня и засмеется: «Тоже мне командир, пацан, и все». Я любил этого здоровяка, не раз брал его с собой в разведку.

А теперь я смотрел на Николая и с трудом узнавал в этом исхудавшем, измученном человеке — скелет и одни блестящие глаза — былого здоровяка. Как он только держится! Да и другие не лучше...

В последний день обороны нас осталось шестеро: Степан Кухта, Илларион Шутов, Коля Смородин, Коля Сергиенко, Черношейкин и я. Мы знали, что к вечеру придет подмога, и надо во что бы то ни стало продержаться. У каждого в ячейке по пулемету, бронебойке, по два-три автомата, запас гранат и патронов. Голодные, обгоревшие, мы безостановочно палим из всех видов оружия; деремся так, что фашисты потом будут говорить, что нас еще чуть ли не дивизия осталась.

За развалинами Тракторного пламенел закат. Поскорее, поскорее бы сумерки! Помню, как Смородин подбил танк-тральщик. Когда целился в другой, его ранило осколками снарядов. Николай начал медленно сползать с обрыва. А танк все ближе... У меня, как назло, заело патрон в бронебойке. Выбил его, смочил губами, зарядил, выстрелил. И словно в ответ фашистская пуля пробила мне голову, кровью залило правый глаз. Вижу еще два танка. Делаю еще несколько выстрелов... Вдруг ударило в грудь, подломилась нога, и я ушел в забытье...

Очнулся только в госпитале. Узнал, что в ту ночь Степан Кухта спустил Смородина и меня с кручи, привязал каждого к бревну и сплавил вниз по Волге...

А фашисты так и не овладели волжской кручей: пришло подкрепление.

* *
*

Дороги войны разбросали нас, последних из пятидесяти семи... Коля Сергиенко остался тогда на круче и продолжал драться с пришедшим туда подкреплением; Солнышко выбыла

из части после Курской дуги; усача Чернощейкина тяжело ранило на Днепре, и с тех пор о нем ни слуху ни духу; Степану Кухте и Иллариону Шутову чуть-чуть осталось дойти до Берлина, но не суждено им было разделить радость победы. След Николая Смородина затерялся в те дни, когда Степан Кухта привязал его, раненого, к бревну и сплавил по Волге...

Прошло более двадцати лет. Осыпались ячейки и терраски на волжской круче, у Тракторного. В той самой пещерке, где был лазарет Солнышки и умирали бойцы, играют детишки, которые только по книжкам знают о боях в их родном городе. Но подвиги не умирают и должны служить тем, которые вступают в жизнь.

В канун двадцатилетия великой битвы на Волге центральная печать, радио и телевидение рассказало о «пятидесяти семи бессмертных» и о том, что командир их жив. Взволнованно вспомнил о нас Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков на страницах «Правды» и журнала «Огонек». Стали поступать письма от знакомых и незнакомых людей. Пришли радостные весточки от Антонины Давыдовой — нашей Солнышки и от Николая Смородина. Судьба их по-разному сложилась...

Тоня привезла к себе на родину в Томск больную фронтовую подругу, у которой погиб муж и все родные. Подруга лежала многие годы в больнице за сто километров, и не было случая, чтобы в неделю несколько раз не проведала ее Тоня; помогала подруге воспитывать двух детей. А у самой тоже погиб муж, и остались вдвоем с дочерью. С тех пор как вернулась Солнышко с войны, она трудится на главном посту станции Томск-1; предотвратила крушение пассажирского поезда, спасла мальчонку, чуть не погибнув под тяжелым дизелем. Ее, простую стрелочницу, знают в Сибири, много у нее друзей и в Польше, и в Германской Демократической Республике, и на Кубе. От них она получает письма.

А Николая Смородина подобрали в Волге, вылечили в госпитале. После, в боях за Харьковский тракторный, он потерял обе ноги. Вернулся Смородин в родной колхоз в горячую пору уборки. Не смог без дела сидеть — восстановил сломанную жатку, по две нормы на ней давал; потом по старой специальности на трактор сел, работал, пока техника безопасности не запретила. Пошел на строительство. Тяжело было на протезах. Одолел и это. Но судьба уготовила ему еще более тяжелое... В автомобильной катастрофе погибла его жена Наташа. Осталось пять малых детишек. Бывает же так, что на одного

человека столько наваливается бед, будто сломить его хочет. А он не сдается и побеждает.

Наша встреча с фронтовыми друзьями была волнующей и незабываемой. Мы вместе побывали на волжской круче, вспомнили о местах боев, о друзьях-товарищах — о Ванюше Федорове, Иване Афанасьевиче Пивоварове, Степане Кухте, Васе Шутове... Многих, многих потеряли мы на волжской круче. Но память о них высечена в наших сердцах. И мы как бы отчитались перед своей совестью в том, что на волжской круче сделали все, что было в силах человеческих, и сделаем всегда, если потребует родная Отчизна.

ВСЕВОЛОД АЗАРОВ

ПО СЛЕДАМ ОДНОГО ДЕСАНТА

В годы Отечественной войны я был работником фронтовой печати в осажденном Ленинграде и на Балтике. Когда я вспоминаю это время, память неизменно возвращает меня к десанту моряков Краснознаменного Балтийского флота, вобравшему в себя, как в фокусе линзы, пучок невыносимо яркого света от того пламени, которое мы зовем массовым героизмом.

Осенью 1941 года фашистская артиллерия уже вела огонь по улицам и площадям Ленинграда. Систематическим обстрелам и бомбардировке с воздуха подвергался и морской форпост города Ленина — крепость Кронштадт, где находилась редакция нашей многотиражной газеты Кронштадтского укрепленного района «Ленинец».

В сентябре гитлеровцы вырвались в районе ленинградских пригородов Стрельни и Петергофа к Финскому заливу. Но огневая мощь Кронштадта и знаменитые ораниенбаумские форты Красная Горка и Серая Лошадь, расположенные на южном берегу залива, как острая кость, вонзились в пасть фашистского зверя. Балтийцы — наследники боевых традиций защитников красного Петрограда, в те дни дали Родине клятву: «Пока бьется сердце, пока видят глаза, пока руки держат оружие, не бывать фашистской сволочи в городе Ленина!»

Чтобы помочь частям Красной Армии, мужественно отстаивавшим ораниенбаумский «пятачок», соединиться с частями Ленинградского фронта, командование КБФ приняло решение высадить на петергофский берег десант балтийских моряков.

Командиром десанта был назначен полковник Андрей Трофимович Ворожилов, бывший красный командир. Ворожилов

с начала зарождения Красной Армии вступил добровольно в ее ряды. Вместе со своей женой Прасковьей Тимофеевной, боевой санитаркой полка, молодой красный командир сражался под Рогачевом и Калинковичами, под Барановичами и Лидой. Участвовал в штурме Перекопа. Ворожилов был награжден орденом Красного Знамени, именными золотыми часами. Эти часы, перед тем как уйти в петергофский десант, оставил он своему сыну Юлию.

Ему, воспитателю молодых балтийских моряков, Родина доверила руководить посланным из Кронштадта десантом.

Под стать Ворожилову был и его боевой помощник полковой комиссар военком Андрей Федорович Петрухин. Сын шахтера, он вступил в 1918 году четырнадцатилетним пареньком в ряды ленинского комсомола. До 1924 года, когда он добровольцем пошел в армию, Петрухин работал смазчиком, кочегаром. В 1926 году он стал коммунистом.

Я не знал этих людей, но и в годы войны и по сей день, в Кронштадте, от товарищей, служивших вместе с ними, не раз слышал слова, воздающие должное их личному обаянию, внутренней силе и мужеству.

В десант добровольно шли лучшие из лучших по зову совести, по приказу сердца — цвет Кронштадта, матросы линейных кораблей «Октябрьская революция» и «Марат», учебного отряда, курсанты Военно-морского политического училища.

Пришел в десант Николай Мудров, участник обороны Таллина, участник героического прорыва кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт. Дважды отклоняли просьбу Мудрова, оружейного мастера, об отправке на передовую. Кронштадту, где кипел непрерывный бой, был дорог каждый, кто умел чинить оружие. Но пришел и его час.

— Сначала,— вспоминает Мудров,— нас хотели одеть в армейскую форму. Но все наотрез отказались.

Только флотская одежда! Бушлат цвета черной ночи, золотые пуговицы на нем с якорями, как звезды. Мичманки, бескозырки.

Автору этих строк довелось присутствовать на проводах десанта.

Командиров не отличить от матросов — они в такой же матросской форме. Только по седой пряди, выбивающейся из-под бескозырки, да по резким чертам уже немолодого лица догадываешься — перед тобой командир.

Сотня за сотней, молодые и статные, проходили они перед нами, провожавшими. Сданы на хранение партийные, комсо-

мольские билеты, оставлены в Кронштадте письма и фотокарточки близких.

С напутственным словом выступает командующий флотом адмирал Трибуц.

— Мы верим в вас, дорогие балтийцы. Знаем, что вы не посрамите чести отцов, покажете врагу, как умеет сражаться Балтика,— говорит адмирал.

Рядом со мной стоит Всеволод Вишневский. Он волнуется, у него за плечами такие десанты на Волге и в Крыму в годы гражданской войны.

Удачи, счастья вам, дорогие...

Берег, занятый врагом, темен, только ракеты полосуют эту вязкую, тягостную октябрьскую ночь.

Вишневский глуховатым голосом говорит молодым о таких же десантах, уходивших с кронштадтских кораблей двадцать лет назад.

— Жаль, что всех вас обнять не могу,— заканчивает он,— но вот тебя,— притягивает он стоящего перед ним в строю матроса,— обниму за всех!

Объявлена посадка. Моторные катера, гребные шлюпки уходят в пронизанную осенней моросью тьму.

...Три следующих дня и ночи в Кронштадте были полны тревожным ожиданием. Нам было известно, что операция началась сравнительно благополучно. Первая группа десанта высадилась почти без потерь. Немецкое охранение в Нижнем парке, к пристани которого подходили катера, не выдержав стремительного натиска бойцов, откатилось к дворцу. Но следующей группе десантников пришлось высаживаться в слепящем свете прожекторов, под посылаемыми с берега трассирующими пулями и пулеметными очередями, по пояс в ледяной воде.

Огонь пулеметов и минометов, вспышки автоматных и винтовочных выстрелов с берега свидетельствовали — десант вступил в бой. И трое суток мы ждали от него вестей.

Катера безрезультатно выходили ночами к петергофскому берегу. Не появлялись условленные зеленые ракеты, несколько связанных голубей возвратились в Кронштадт без голубеграмм. Молчала и рация десанта.

Вишневский записал тогда в своем дневнике: «8 октября. Беседа в штабе Балтийского флота. Упорные бои в новом Петергофе. Борьба за каждый дом. Трое суток от десанта нет известий. Куда он пробивается?»

Не смогли установить связи с десантниками и наши ора-

ниенбаумские части, закрепившиеся с боем в полуразрушенном Английском дворце.

Раскаленный петергофский берег, поглотивший тысячу храбрецов, хранил тайну. Она оставалась неразгаданной до январского наступления 1944 года.

Я служил тогда в редакции «Сокола Балтики», газеты 9-й штурмовой авиадивизии, дислоцировавшейся на одном из фронтовых аэродромов ораниенбаумского «пятачка». В те дни я побывал в только что освобожденном Петергофе. Страшное зрелище являл он.

Мы безмолвно смотрели на полуразрушенный город. Сердце сковала боль.

Руины дворца. На месте, где стоял Самсон, гигантская воронка.

Летят алмазные фонтаны
С веселым шумом к облакам,
Под ними блещут истуканы
И, мнится, живы...

Нет большого каскада, не видно мускулистого, сверкающего, словно отлитого из расплавленного солнца, гиганта. Нет и золотых наяд, сирен и тритонов, взвивающих в небо хрустальные водяные струи.

Лишь бесформенные уродливые глыбы и колючая проволока кругом да аккуратные черные дощечки с надписью по-немецки: «Опасно. Мины!»

Оступившись, я полусбежал, полускатился в Нижний парк. Там стояли замаскированные фашистские орудия, нацеленные на Кронштадт. А рядом с ними у заминированной прибрежной полосы вилась зловещими змеями проволока, на шипах которой кое-где висели клочья черных, с позеленевшими пуговицами матросских бушлатов — следы трагических осенних дней 1941 года. Лишь много позже, когда саперы тщательно прочесали всю местность, обезвредив смертоносные мины, невдалеке от гранильной, петровских времен, фабрики, удалось обнаружить останки бойцов, установить их имена.

В день нашего первого свидания с растерзанным Петергофом здесь побывала М. А. Тихомирова — жена художника Непринцева, искусствовед, главный хранитель богатств его музеев. Марина Александровна одной из последних уходила осенью 1941 года из Петергофа. Ей и ее товарищам удалось под огнем вывезти в Ленинград многие музейные ценности. Некоторые скульптуры были золотые. И теперь она одной из первых в танке приехала в дорогие ей места, чтобы отыскать

Эти груды лома — бывшие фашистские самолеты

«Потерпите, родные...»



Московские колхозники — фронту

скульптуры фонтанов. Делать это было нелегко: изменился рельеф местности, исчезли знакомые ориентиры.

Позднее в стихах я описал эти удивительные поиски:

Штыком вздымая глыбы ледяные,
Дробили мы промерзший пласт песка,
И мы увидели глаза живые,
Блеснула золотистая щека.
И улыбнулись вдруг из темноты
Спасенной нами статуи черты...

В поисках М. А. Тихомирова проникла в подвал гранильной фабрики. Там, очевидно, размещался подземный фронтовой госпиталь. На койках лежали обезглавленные советские воины. В изголовьях — бескозырки, каски. В углу чернела зловещая пирамида из голов. Среди этих жертв, возможно, были и десантники... М. А. Тихомирова доложила о своей страшной находке Чрезвычайной комиссии по расследованию фашистских злодеяний.

И все-таки тайна исчезнувшего матросского десанта не была до конца разгадана.

...Давно окончилась война, но история петергофского десанта по-прежнему не давала мне покоя.

Толчком к новым поискам послужило опубликованное «Ленинградской правдой» в конце 1963 года письмо бывшего защитника Ленинграда военного моряка Сергея Васильевича Беляева.

В своем письме Беляев рассказал о боях, которые он и его товарищи вели в те дни. Письмо взывало к памяти живых, в нем были приведены слова песни, которую пели защитники Малой земли:

Вспомним, товарищи, мы ветеранов,
Героев смертельных атак,
Кто в Петергофе погиб у фонтанов,
Врага не пустил в Ленинград!

Я списался с Беляевым, служившим на Дальнем Востоке, получил от него ответ. Беляев вспоминал о встрече с моряком с линкора «Октябрьская революция», пробившимся тогда к ним из Петергофа: «Конечно, если бы знал, то все можно было записать. Но тогда, право, было не до этого».

Еще одна ниточка, найденная и оборвавшаяся.

Я решил обратиться за помощью в издающуюся в Петродворце газету «Заря коммунизма».

В начале января 1964 года газета под рубрикой «В боях за Ленинград» опубликовала мою заметку «О судьбе матросского десанта». Я просил всех, знающих что-либо о десанте, откликнуться. Заметку сопровождали стихи:

...Где штормовая юность, цвет Кронштадта,
Что в сорок первом шла сюда в десант?
Я провожал их, я глядел им в лица.
Три ночи и три дня здесь длился бой.
Когда бы мог в кровавый мрак пробиться
Победный день, от солнца голубой!

И стихи соединили меня с теми, кого я искал все эти годы.

Первая встреча произошла в Кронштадте. М. Никитин, тоже бывший военный корреспондент, и я в двадцатую годовщину снятия блокады рассказывали в редакции газеты «Советский моряк» о пережитом.

Когда я прочел стихи о десанте, неожиданно из рядов военных моряков поднялся человек в гражданском костюме и прерывающимся голосом сказал:

— Я один из его участников.

Это был Григорий Кузьмич Васильев, художник-ретушер газеты. Сбивчиво, взволнованно он начал свой рассказ.

Все воспринималось в нем с волнением, каждая деталь: и голубь, который сидел у Васильева за пазухой и был раздавлен при высадке, и погибшая вместе с радистом десантная рация.

Но уже в рассказе Васильева, это подтвердили и другие отыскавшиеся позднее участники, прозвучало и то, что десант моряков нанес противнику значительный урон.

— Высадились мы скрытно, по крайней мере так нам казалось. С катеров, подняв оружие над головой, бросались по грудь в ледяную воду. Шлюпки, прибуксированные катерами, имели небольшую осадку — они высадили людей ближе к берегу. Пошли вброд молча. С берега начался обстрел. Когда мы бросились вперед, выставленные против нас немцы шарахнулись в темноту. Десант произвел на них ошеломляющее впечатление: ведь все побережье представляло систему сильно укрепленных рубежей. И вдруг советские матросы! Ни один из немцев не сблизился с нами на расстояние рукопашной схватки. Но огонь против нас вели отовсюду — из укрытий и многих замаскированных огневых точек. К полудню 5 октября десантники выбили фашистов из всего Нижнего парка.

Бой вели группами, и Васильев, естественно, знал только о судьбе своей. Но трупы фашистов они встречали повсюду. Велики были и потери десанта.

Погиб полковник Ворожилов. Командование десантом принял на себя комиссар Петрухин. Матросы продолжали драться. Шли бои возле Петергофского Большого дворца, у Монплезира, Золотой горы Марлинского каскада и у дворца Марли.

Некоторым удалось завязать бой на петергофских улицах, возле железной дороги Ленинград — Ораниенбаум. Там моряки вступили во взаимодействие с пехотинцами одного из полков 10-й стрелковой дивизии, дравшейся насмерть на петергофских рубежах.

Здесь потери врага были особенно ощутимы. Командующий группой армий «Север» фон Лееб вынужден был отдать приказ о переброске сюда ряда своих частей, штурмовавших Ленинград.

Танки, артиллерия, авиация гитлеровцев — все было брошено на подавление десанта кронштадтцев.

И не в те ли часы в волчьи души врагов закрался страх перед смельчаками, которых они ненавидели и боялись, называя русских матросов «черной смертью»?!

— У нас,— вспоминает Васильев,— подходили к концу патроны. Суточный паек оставался почти нетронутым. Мучила жажда. Ночь провели в подвале какого-то разрушенного строения. Перевязывали друг другу раны. Кто-то пополз с флягой за водой к одному из фонтанов.

К рассвету появилась фашистская авиация. Самолеты со свистом и ревом пикировали, сбрасывали бомбы. Мы видели три немецкие пушки, они били прямой наводкой...

Моряки отстреливались, выбирая цель наверняка, сберегая гранаты для последнего боя.

Ночью 6 октября фашистские войска при поддержке танков отсекли матросов от берега.

Посланные из Кронштадта катера с пополнением и боезапасом не могли прорваться к десантникам...

Васильеву и еще нескольким матросам удалось вырваться из окружения, пробиться к берегу. Их каждую ночь встречали катерники. Чтобы дать им знать о себе, надо было послать две зеленые ракеты.

Обстоятельств, при которых обессиленный, раненый моряк добрался на корабль, Васильев уже не помнил.

Очнулся он в палате кронштадтского госпиталя...

Многое из того, что рассказал Васильев, потом подтвердилось в воспоминаниях других героев тех событий.

Удалось спастись и кронштадтскому оружейнику Мудрову.

— У нас было только оружие близкого боя,— рассказывал Николай Мудров.— А фашисты предпочитали стрелять из-за укрытий. И все же мы навязали им близкий бой. Он шел целый день. Каждый вооружился немецким автоматом. Помню какое-то кирпичное строение, кажется бывшие царские конюшни. Оттуда мы долго отстреливались. Немцы были очень близко. Через громкоговорители какая-то белогвардейская шкура все время уговаривала нас, чтобы мы сдавались. Но не на таких напали!

Вечером, когда бой утих, мы, небольшой группой устроившись в воронке, решили перекусить. Только вскрыли ножами банки, рядом разорвалась мина. Дружку пробило висок, мне осколок попал в ногу. Я выковырнул его кинжалом.

Раненого (он еще был жив) товарищ потащил в госпиталь. Где он находился, не знаю. Моряков в воронке в тот момент осталось трое.

У нас был приказ пробиваться к частям 8-й армии в Мартышкино. Но туда путь был перекрыт врагами. Решили пробиваться к центру отряда, то есть туда, откуда доносилась стрельба. Всюду, куда бы мы ни ползли, мы нарывались на фашистский огонь.

Не знаю как (я был контужен), но утром 7 октября мы неожиданно оказались вблизи поселка Ропша. Дальше судьба нашей тройки сложилась так. Нам удалось присоединиться к толпе беженцев, выселенных из поселков Володарская и Стрельня. Переоделись с помощью добрых людей в гражданскую одежду. При проверке немцы сразу отводили в сторону мужчин с короткой стрижкой. У матросов были чубы. Каждый из нас получил в руки деревянную бирку с красной печатью со свастикой.

Так начался тернистый путь трех кронштадтцев, полный опасности и переживаний.

В военном билете Мудрова имеется запись: «В 1941 году пропал без вести. С 1942 по 1944 год — партизан».

В конце концов Мудрову повезло: ему удалось связаться с партизанами.

Он и в партизанском отряде проявил себя как стойкий и решительный боец. Был награжден орденом Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны I степени».

Сейчас Николай Мудров живет и работает в Ломоносове, не-

неподалеку от тех мест, где он принял в октябре 1941 года боевое крещение.

...Немного позднее Мудрова у меня побывал его товарищ по десанту — Алексей Степанов.

И снова, уже из уст третьего человека, я слышу о трагических событиях той поры.

— Мы шли к берегу на деревянных катерах. Старый Петергоф горел. Не слышно было обстрела, не видно прожекторов. Вооружены мы были хорошо; у нас были пистолеты, гранаты, пулемет. Прыгнули прямо с борта в воду. Тихо...

И вдруг весь Петергофский парк осветился. Мы оказались словно на сцене. И сразу же полоснул пулеметный и автоматный огонь. Много наших погибло еще при высадке. Трассирующие пули летели со стороны Монплезира. Главстаршина Кравченко приказал: «Подавить огонь!» С криками «ура!», «полундра!» мы бросились к Монплезиру. В темноту шарахнулись серые тени. Немцы отступили. Помню высокое здание царских конюшен. Здесь погиб главный старшина Александров.

У меня остался в руке штык, винтовку раздробило осколком. Я спотыкался о трупы. Помню окоп в парке, оказалось там несколько человек... Мы видели немецкую зенитную батарею, стрелявшую в упор по матросам. Мы забросали ее гранатами.

Шли уже вторые сутки боя. А может быть, третьи. Я был ранен в голову и в ногу. В это время товарища, находившегося рядом со мной, тяжело ранило разрывной пулей.

Я знал в Петергофе все тропинки и повел матросов к фонтанам «Адам» и «Ева». Страшно хотелось пить.

Я, как и все петергофские мальчишки, знал тайное устройство фонтана «Шутиха» — он мог внезапно облить водой. Мы набрали здесь каску воды.

Товарищ спросил меня:

«Попробуем доплыть в Кронштадт?»

Но это было бессмысленно — мы бы не доплыли. В окопчике возле Шахматной горы мы провели четыре дня. Раненая рука у меня горела, распухла. Когда к нам подошли немцы, я выстрелил. Фашистский офицер выбил у меня пистолет из руки...

В подвале Большого дворца, куда привели пленных матросов, немецкие офицеры слушали патефон. Звучала русская песня.

Офицер в черной шинели поднялся, увидев пленных, удивленно спросил:

— Бой давно окончился, а где же вы были?

— Гуляли!

А далее началось...

Огромный лагерь в Красном Селе в помещении бывшего театра. Голод, побои и расстрелы тяжелораненых.

Голубые мирные тележки из-под мороженого, на которых пленные везли своих обессилевших товарищей. Хохочущие фашисты, кормящие своих собак мясом на глазах у умирающих от голода людей. Когда один из пленных, не выдержав, попытался подобрать лежащее на снегу мясо, его подвели к бочке, пустили из шланга воду и заживо заморозили.

Степанову удалось бежать из лагеря. Сзади полоснула автоматная очередь. Он упал, ощупал себя — жив! Его приютила старая женщина, накормила, обогрела.

Но его снова схватили. В этом изможденном, обросшем человеке никто, даже самый близкий, не мог бы узнать двадцатитрехлетнего балтийского матроса. Сорок пятый год застал его в Австрии.

Наши части освободили Степанова из плена, и он стал снова солдатом Родины.

Более двадцати лет прошло с тех пор. Недавно с Борисом Мининым, еще одним участником петергофского десанта, мы совершили поездку по местам, где он и его товарищи вели когда-то бой.

По-прежнему прекрасен Петродворец. Мы прошли по его боковой лестнице. Золотой Самсон снова грозно вставал на скалистом подножии. Возвышавшийся в центре Большого каскада Боец сжимал металлической дланью горло змеи.

Минин рассказывал:

— Тут мы высаживались, здесь был убит наш батя — Ворожилов. Вот у этой стены,— Борис Иванович показал старинную кладку, возле которой примостился современный нарядный киоск,— я отстреливался...

В сердцах старых балтийцев вечно жива память об отряде полковника Ворожилова. Матросский десант — плоть и кровь Ленинграда, гордость Кронштадта — отдал свою жизнь во имя грядущей победы...

Рассказывают, что о действиях балтийских моряков стало известно и в ставке Гитлера. Фюрер был в бешенстве. Это был еще один удар бессмертного, не сдающегося Ленинграда!

И когда позднее десанты моряков освобождали занятые врагом острова, уничтожали фашистов в Прибалтике, в Восточной Пруссии, балтийцы продолжали священное дело кронштадтских моряков, погибших в Петергофе!

Андрей Гаврилович Зиначев, капитан I ранга запаса, содействовавший уточнению истории десанта, рассказал нам о матросской фляге, закопанной в землю и найденной морским офицером случайно, спустя много лет.

Во фляге были две записки — завещание героев, не доживших до наших дней.

Я держал в руках эти листки, вырванные из школьной тетрадки, вчитывался в написанные карандашом прощальные строки.

В одной из них крупно, наискосок написано: «Живые, пойте о нас. Мишка».

На второй: «Люди! Русская Земля! Любимый Балтфлот! Умираем, но не сдаемся. Рядом убитый Петрухин. Деремся вторые сутки. Командир — я. Прощайте, братишки.

Вадим Федоров».

Пусть жена и дети командира Ворожилова, комиссара Петрухина, пусть семья командира коммуниста Вадима Федорова, пусть все живущие прочтут этот прощальный привет, гордясь ушедшими.

За вас, стоявших насмерть у стен Петергофа, моряк, дошедший до Берлина, написал на стене рейхстага: «Мы из Кронштадта!»

...Полита кровью, прокалена огнем, омыта балтийскими волнами, слезами матерей, озарена залпами салюта Победы эта грозная, прямая дорога.

Расти, наследник без вести пропавших
Балтийцев, смелых, боевых парней,
Братишка младший тех, с земли не вставших,
Чтобы вернулась к людям ясность дней.

Чтобы стоять дворцу, сиять фонтанам,
Чтобы из пепла встал цветущий сад.
Честь воздавая павшим ветеранам,
Матросам салютует Ленинград!

НА ФЛАНГАХ ВОЙНЫ

Через три моря прошла с первого дня войны линия фронта: Баренцево и Черное на флангах, Балтика в центре. Балтийский бассейн, как морская ось гигантской битвы: трудный, трагический уход назад, в стиснутый рабочий Кронштадт, в Неву, под степы Ленинграда, а потом вперед, к Кенигсбергу, к Штеттину, к Ростоку. Левый фланг откатывался через Одессу и Севастополь до Цемесской бухты в Новороссийске, устоял там, а потом двинулся вдоль побережья, пересекая днепробугский и днестровский лиманы, на Дунай и по Дунаю к Белграду, к Будапешту, к Вене. Правый фланг выстоял там, где началась война. На полуостровах Рыбачьем и Среднем, на черном хребте Муста-Тунтури моряки сохранили довоенные позиции артиллерийских береговых орудий и даже пограничный знак, оттуда они наступали, освобождая Норвегию, на Киркенес.

Война застала меня в Таллине, на Балтике, где 22 июня я был зачислен в Краснознаменный Балтийский флот. Потом как военный корреспондент центральной морской газеты я был на севере и на юге, на флангах войны. Я расскажу здесь две истории: про жизнь матросов на правом фланге, где выстоял фронт, и про опорный пункт на левом фланге, где фронт был оставлен и откуда потом началось наступление.

В МЕРТВОЙ ДОЛИНЕ

Лейтенант Анатолий Бородин за эти сутки смертельно устал. Накануне вечером из фиордов Норвегии поплыл долгожданный туман. Как мутный паводок, он залил перешеек между полуостровом Средним и материком, и лейтенант поднял на ноги свой отряд.

Передний край проходил над перешейком — от губы Кутовая до губы Малая Волоковая в Варяжском заливе. Напротив, на материке, от залива до залива угрюмой черной грядой, перевитой белыми полосами вечного снега, лежал хребет Муста-Тунтури. На его вершинах сидели немцы. У подножия этих гор на гряде обрывистых скал и сопок держалось наше боевое охранение. Между передним краем и опорными пунктами простиралась Мертвая долина. Зимой снежные бури хоронили в ней людей. Летом всю ночь, как фонарь, над ней торчало солнце. Под бурым мхом громоздились обломки шифера и гранита, похожие на холмики могил: в неглубоких ложбинках стыла черная вода; голая каменистая долина была открыта вражескому огню. Но и зимой и летом матросы лейтенанта Бородина спускались в долину, доставляя своим товарищам в боевое охранение пищу и оружие. Туман облегчал эти походы. Лейтенант доложил о нем на флагманский командный пункт на Рыбачий и тотчас отправил в путь первую группу подносчиков.

К их возвращению лейтенант получил приказ помощника командира батальона создать на опорных пунктах трехсуточный запас; в помощь пришла группа автоматчиков из соседней роты.

Туман уже рассеялся, однако и вторая группа прошла удачно. На обратном пути немцы обстреляли ее, но все же к исходу ночи все вернулись на сборный пункт, выполнив задание.

Лейтенант собирался уже отпустить людей на отдых, но утром начальник санитарной службы потребовал немедленно вынести из блокгауза в боевом охранении раненых для эвакуации в госпиталь. На этот раз лейтенант пошел сам.

За ночь солнце покинуло карнизы гор, перекатилось за океан и вновь выплыло на востоке, за нашей спиной. Теперь ясное утреннее солнце освещало Мертвую долину, оно било немцам в глаза, и противник, к счастью, не мог вести прицельный огонь.

Разгрузив на опорных пунктах термосы с горячим завтраком и мешки с гранатами, матросы взяли на плечи раненых и двинулись за лейтенантом в обратный путь.

Все было бы хорошо, не подведи Виноградов — новичок, только накануне присланный на этот фронт с пакетом из трибунала. При первых же выстрелах он бросил свою ношу и весь мокрый от пота предстал на сборном пункте перед лейтенантом и товарищами.

Рука лейтенанта невольно потянулась к кобуре. Он с трудом сдержал себя и отвернулся. Ему противно было смотреть в мокрое лицо этого рыжего малого.

Он скользнул взглядом поверх плеча Виноградова — мат-

росы позади в ватниках, в ушанках, а то и в затвердевших повязках на голове, стояли темнолицые, на Виноградова смотрели злые, беспощадные глаза.

— Значит,— процедил сквозь зубы лейтенант,— струсили?

— Струсил,— безвольно и равнодушно повторил Виноградов.

— Раненого товарища бросили? Знаете, что за это полагается?

Виноградов вяло смотрел в землю; он качался, словно не находя в ней опоры.

Матросы двинулись к нему.

В круг протиснулся худощавый и такой же длинный, как и лейтенант, матрос — он только что бережно положил на носилки двоих раненых. Это был Степан Борцов, одессит, отчаянный и бывалый человек, известный тем, что однажды он пролежал в Мертвой долине сутки без движения, обманывая снайпера: на спине у него был тогда мешок с продовольствием, он грыз землю и не шевелился, сутки не ел и все же перехитрил врага, потерявшего цель на однообразном мшистом склоне. Борцову лейтенант поручил присматривать за новичком.

— Раненого я подобрал, товарищ лейтенант,— доложил Борцов.

— Подобрал? — резко повторил лейтенант.— Мне ваше геройство и так известно. Остановить надо было и заставить поднять.

— Виноват, товарищ лейтенант,— смутился Борцов.— Разрешите, я потренирую этого сачка. Может быть, из него хоть половина матроса выйдет?

— Давайте. И запомните, Виноградов: вы уже должны считать себя снова под трибуналом. Посмотрим, как сумеете искупить свою вину. Можете идти.

Борцов вывел Виноградова из круга, и до лейтенанта донесся его шипящий голос: «Шоб ты, козявка рыжая, дурочку из себя не сочинял. Тут половину ребят крестил прокурор. А теперь отмечены наградами. Лейтенант за нас отвечает головой. Или ты хочешь узнать неприятный характер Степана Борцова?..»

Вскоре лейтенанту доложили, что Борцов — в четвертый раз за сутки — взял груз и вместе с Виноградовым ушел на самый тяжелый опорный пункт, на пути к которому помимо Мертвой долины надо было преодолеть еще одно препятствие: по веревочному трапу влезть на абсолютно отвесную скалу.

Было пять часов дня, когда лейтенант, измученный событиями этих беспокойных суток, забрался в свою землянку и

прилег на топчан; а в шесть его уже трясли за плечо, и сквозь сон он услышал назойливый голос связного:

— Заряд... Заряд идет, товарищ лейтенант... Пурга...

Он спустил ноги с топчана.

В печурке гудел ветер. У окошка, выходящего прямо на скалистую землю, прижалась к стеклу полевая мышь. На ее шубке таяли неустойчивые хлопья свежего летнего снега.

Лейтенант надел ватник и вышел из землянки.

Со стороны Норвегии быстро надвигалось темное сетчатое облако пурги; оно росло над Варяжским заливом и вскоре должно было затуманить всю Мертвую долину плотнее любой дымовой завесы.

Лейтенант потер снегом лицо и прошел за высоту к землянке помощника командира батальона.

Там, в лощине, закрытой от противника склоном сопки, уже собирались матросы.

Помощник командира батальона, мужчина пожилой и грузный, распределял между ними полные бугристые мешки, аккуратно разложенные на снегу.

— Вот что, архаровцы,— ворчал он,— мешки вернуть мне без дырок. Штопать некому...

— Дырки страшны не в мешках, а в термосах,— сердито сказал лейтенант.

Он пересчитал людей и приказал брать поклажу.

— Помните, товарищи: вы несете врагу смерть! — сказал вдруг лейтенант, не глядя на хмурого помкомбата.— То, что у вас за спиной, нужно товарищам, чтобы бить врага. Не донести — преступление. А уж бросить...

Ему надоела эта речь, но во внезапно оборванном напутствии прозвучала угроза.

Лейтенант хрипло спросил:

— Борцов вернулся?

— Нет, товарищ лейтенант.

— Черт. Поглядывайте по пути. Не попутал ли его там этот...

По знаку лейтенанта все двинулись к исходному рубежу.

У гребня сопки передние обождали отставших и возникла колонна, подобная вьючному каравану в горах.

Лейтенант один поднялся на гребень сопки, последней перед спуском в Мертвую долину. Он окинул взглядом безмолвное пространство внизу и угрюмые отроги Муста-Тунтури, поднял руки и крикнул:

— Ну, друзья, поплыли!..

Вслед за лейтенантом подносчики гуськом поднялись на гребень.

И тотчас на немецкой стороне вдоль горной цепи каскадом посыпались огоньки, всю долину заволокло сизым дымом разрывов и подброшенным к небу подснежным мхом; над передним краем завязался огневой бой. С нашей стороны, сзади из тылов, раздельно и экономно отвечали батареи полевой артиллерии и минометы; постепенно, впереди, к ним присоединился едва слышимый треск — там, в опорных пунктах боевого охранения, открыли по противнику встречный огонь из автоматов и винтовок.

Колонна на гребне смешалась и исчезла. Она растаяла в зелени спуска, в дыму, в снегу и в тумане надвигающейся пурги, как ныряющий в бурное море пловец. Люди бежали в долину, не отстреливаясь, по двое и поодиночке, они то плашмя бросались на землю, становясь обычным на местности бугорком, то снова вскакивали и бежали, бежали — либо в сторону, либо вперед. У каждого на пути было свое не раз проверенное укрытие, ложбинка или камушек, каждый по-своему петлял и чертил маршрут, и в этом проявлялось не только чутье человека, чувствующего себя мишенью, но и тонкое умение, искусство маневра, подобное маневру самолета в воздушном бою или корабля в морском сражении. Разница лишь в том, что, лавируя по открытой долине, никто из этих ребят не мог стрелять: они были безоружны.

Зато за спиной они несли врагу смерть.

Первые цепи пересекли долину и уже подходили к подножию скал, а на высоте возник силуэт следующей колонны; как и группа лейтенанта, эта колонна тоже рассыпалась по долине, и трудно стало за каждым из подносчиков уследить.

Все происходило в нарастающем темпе, как при психической атаке, очень темпераментной и настойчивой, когда атакующие идут и идут под прямой огонь. Только в атаке этой второй колонны подносчиков было еще больше хитрости и выдумки; матросы, рассыпавшись по долине, запутали противника и рассеяли его внимание.

А вскоре над ними закружилась и завыла летняя пурга.

Не зря на полуостровах этим людям дали ласковое морское имя — «ботики», равняя их работу с действиями кораблей малого флота, с отвагой экипажей мотоботов, проникающих в любую погоду в самые опасные и глухие уголки моря. Именно мотоботы наиболее ловко проскакивали под огнем немецких батарей к Рыбачьему из Полярного, доставляя те грузы, толику

которых несли в этот час на себе «ботики» в боевое охранение. Быть «ботиком» считалось опасным даже на переднем крае полуостровов. Многие тут искупали всякие свои проступки и воинские прегрешения, возвращали утраченные звания, а то и получали ордена. За три ходки через Мертвую долину полагалось поощрение. В Заполярье каждый знал, что «ботик» — геройски храбрый человек, ему приходится преодолевать два-три километра под плотным огнем, он идет навьюченный не только в редкие часы туманов или снежных зарядов, но и при ясном летнем небе, пересекает долину по два и по три раза в день, сколько ему прикажет командир.

Мертвая долина вся была в огне. Заряд прошел, и над землей снова стояла ясность.

«Ботики» возвращались — кто в копоти, в зелени, в земле, кто перехваченный свежим, быстро темнеющим бинтом.

Лейтенант встречал их на сборном пункте. Каждый вручал ему расписку, полученную у старшин в боевом охранении взамен сданного груза.

Кроме официальных отметок многие приносили оттуда, со скал, наспех написанные карандашом на обрывках газетной бумаги слова благодарности «подносчикам жизни»; эти боевые характеристики они сдавали лейтенанту с напускным безразличием.

Борцова все еще не было.

Лейтенант опрашивал по телефону каждый из опорных пунктов.

Из некоторых отвечали, что приходило много матросов с грузом и был ли именно Степан Борцов, запомнить трудно. Из того опорного пункта на отвесной скале, куда он направился сразу, подтвердили, что еще днем Борцов с каким-то веснушчатым парнем приходил, но после того как будто не появлялся.

Лейтенант стал спрашивать каждого вновь прибывающего матроса, не видел ли тот Борцова в долине раненым.

Все утверждали, что в Мертвой долине никого нет.

Лейтенант не понимал, что могло произойти с человеком, которому шестнадцать раз сопутствовала удача.

«Ботики» разбрелись по землянкам.

Землянка лейтенанта всегда привлекала боевой актив — тех, кто ходил через долину уже второй десяток рейсов и, кроме дырок в мешках, беды не знал. Сам собой тут возник не каждому открытый клуб храбрецов, где после удачного похода было дозволено петь песни и «травить» всякие морские побасенки.

И сейчас в землянке лейтенанта от тесноты стало темно и жарко. Люди, не спавшие вторые сутки, не склонны были отдыхать. Принесли гармонь, она попала в искусные руки, и под ее звуки кто-то затянул:

...После боя сердце просит
Музыки вдвойне...

Можно было подумать, будто все забыли о пропавшем товарище и, довольные своим благополучным возвращением, наслаждались наступившим покоем.

Но это было не так.

Каждый телефонный звонок настораживал матросов. Они молча смотрели на лейтенанта.

Время от времени дверь землянки поскрипывала, всовывался делегат из другой землянки и тихо спрашивал: «Не пришел?..»

Лейтенант ждал утреннего часа, когда солнце снова будет бить противнику в глаза, чтобы послать на розыски.

И когда все истории уже были пересказаны, все песни перепеты и гармонист вернулся к той песне, с которой начали, заскрипела дверь и в ней появилась фигура Борцова.

Он был весь в ссадинах и в грязи и еле стоял на ногах.

За ним боком протиснулся Виноградов.

В землянке стало совсем тихо.

— Где пропадали? — спросил лейтенант.

— Тренировались,— хрипло произнес Борцов.— Сани разгружали. Те, что застряли там с весны...

— Целый воз?! — хором спросило несколько человек.

Лейтенант поморщился.

— Так точно, товарищ лейтенант. Можете проверить...

Борцов протянул расписки старшин опорных пунктов на боевой груз с тяжелых саней, застрявших в Мертвой долине в полярную ночь.

Лейтенант отложил расписки, не глядя, в сторону, на врытый в землю самодельный столик. Он зло взглянул на Виноградова, отвернулся и спросил Борцова:

— А этот как?..

— Товарищ лейтенант,— Виноградов, по-прежнему потный и даже в темноте сверкающий своими веснушками, выступил вперед,— стыдно мне, товарищ лейтенант.— Он задыхался и говорил шепотом.— Стыдно. И страшно было... в первый раз.— Он заплакал и прислонился к двери.

Никто в его сторону не смотрел.

— Спать-то вы сегодня будете, архаровцы?! — загудел помкомбат, взыскивающий за каждую пробоину в мешках.

Никто не приметил, когда он появился в дверях.

Лейтенант обернулся. Дверь хлопнула.

Гармонист рванул что-то неразборчивое, завел было прежнюю песню, не совладал с нею, бросил гармонь на койку и ушел.

Поскрипывала дверь. Молча разбредались все.

Борцов шагнул к печурке, ища где бы присесть.

Лейтенант знаком подозвал его.

— Ну как? — тихо спросил он.

— Погода удачная, товарищ лейтенант,— лениво ответил Борцов.— Еще потренируем. Носить будет. Голову немножко подбирает.

Они стояли посреди землянки. Борцов оглянулся на своего подопечного, тот, прислонясь к двери, все еще всхлипывал. Борцов пожал плечами:

— Так что через месяц-другой, товарищ лейтенант, сможете ему подписать. Если не схватит шальную... Разрешите быть свободным?..

Он вышел из землянки, вытолкнув перед собой Виноградова.

НАД ЦЕМЕССКОЙ БУХТОЙ

Генерала Гречкина — командира левофланговой дивизии советско-германского фронта — я застал на командном пункте в скалах под Новороссийском, в стороне от приморского шоссе. Он диктовал адъютанту оперативное донесение в штаб армии.

— Добавьте,— сказал генерал,— обе атаки на сарайчик отбиты с большими для противника потерями. Гарнизон сарайчика держится непоколебимо.

Я спросил генерала, о каком сарайчике идет речь.

— Сарайчик? Это, знаете ли, целый Верден,— рассмеялся генерал.— Мы его барометром называем, барометр нашего фронта на цементных заводах...

Я отправился к морю на берег Цемесской бухты посмотреть, что же это за сарайчик.

В батальоне сказали, что консультацию по этому вопросу может дать лейтенант Джербинадзе. Георгий Антонович Джербинадзе — командир роты, в хозяйство которого входит и упомянутая цитадель. Я отыскал его под одной из разрушенных

стен завода «Октябрь», в узкой, невыносимо тесной дыре, приспособленной под командный пункт.

Джербинадзе спал, сидя на табурете и положив руки и черную кудрявую голову на какое-то возвышение. При ближайшем рассмотрении оно оказалось тумбой от письменного стола.

— Лег немножко отдохнуть,— смущенно сказал Джербинадзе, даже не замечая своей оговорки.— Уже почти совсем отдохнул. Хорошо отдохнул...

Он взял автомат и повел меня по заводскому лабиринту.

Мы перелезли через порожки, вышли из одного здания, вошли в остатки другого, пересекли канаву, поднялись по лестнице, спустились без лестницы — словом, Джербинадзе шел с уверенностью человека, шагающего по знакомым ему с детства путаным переулкам.

Перед огромной кручей Джербинадзе остановился и заявил, что территория нашего фронта кончилась. Дальше — боевое охранение, а за ним немецкая оборона. Надо подняться на эту кручу и по ходу сообщения проскочить к цели.

Мы быстро взбежали наверх, окунулись в ход сообщения и услышали позади разрывы гранат, а впереди окрик часового.

Джербинадзе произнес пароль. Нас пропустили в какое-то сооружение, сложенное из дикого камня, как все хозяйственные постройки на юге. По коридорчику мы прошли в маленькую дверь, очутились в продолговатой комнате барачного типа с темным низким потолком. Позже я узнал, что эта комната на схематическом плане сарайчика громко именуется комнатой отдыха. В углах стояли полупустые бочонки, в них еще остался цемент — довоенная продукция новороссийских заводов.

На стене мерцал фонарик. На земляном полу трещал камелек. Вокруг тесно сидели бойцы.

— Турсумбеков! — позвал Джербинадзе.— Где Турсумбеков?

— У третьей амбразуры с капитаном Модиным, товарищ командир роты,— ответил кто-то из полутьмы.— Сейчас позовем.

Я присел к камельку. Все молчали, сохраняя вежливую сдержанность, хотя чувствовалось наставшее по случаю появления незнакомого человека любопытство.

— Товарищ из Москвы приехал,— сказал Джербинадзе.— Военный корреспондент.

— Из Москвы? — услышал я удивленные голоса.— К нам сюда из Москвы?

И через сколько-то мгновений:

— Егорушкин, Кошеленко, Серомолот, будет спать! Тут из самой Москвы человек.

— Кто тут из Москвы? — докатился вдруг бас; не глядя, можно было сказать, что он принадлежит рослому, могучему человеку.— Где тут из Москвы? Где земляк?

Подошел огромный капитан-сапер Борис Модин — знаменитый здесь тем, что он взрывал со своими молодцами немецкие блиндажи. Он протянул руку и тут же установил, что, во-первых, мы соседи или почти соседи и, возможно, ездили по столице в одном трамвае, и, во-вторых, независимо ни от чего я обязан по возвращении проведать его отца и вручить ему письмо, а после войны мы обязательно выпьем, и выпьем в Москве, у Модина на квартире.

Все это было высказано одним залпом и так шумно, что я усомнился, действительно ли тут до немцев только пятнадцать метров. Трескучие разрывы гранат над головой вернули нас к истине. Я инстинктивно съежился. Но Модин тут же честным словом сапера заверил, что крыша сарайчика несокрушима. Он сел рядом и стал расспрашивать о Москве.

Я рассказывал все, что мог припомнить, о московских театрах и о московских милиционерах, ходят ли троллейбусы и куда тянут новую линию метро. Этим людям дорога была всякая новость из жизни столицы. Но меня интересовал сарайчик, и, улучив момент, я заговорил об этом с молодым стройным казахом, присевшим скромно в стороне.

— Командир гарнизона,— шутливо представил его капитан Модин,— казахский полководец хан Турсумбеков.

— Нурмахан Турсумбеков,— сердито поправил юноша, в полутьме блеснули его темные восточные глаза.— Командир взвода, обороняющего передовой опорный пункт.

— Какой сердитый ты человек, Нурмахан,— рассмеялся Модин.— Я же тебя так представляю, чтобы скрыть от гостя твою молодость. Понимаете, счастливый он человек, этот младший лейтенант: бреется раз в неделю, и борода не растет. Неоценимое качество для фронтовых условий. А смотрите, какими бородами командует,— Модин показал на прикорнувшего у камелька бородатого солдата-пулеметчика Алексея Серомолота.

Турсумбеков действительно был самым юным среди всех обитателей сарайчика. Но слава командира этой небывалой крепости создала ему на фронте надежный авторитет.

Он открыл планшет, вынул карту участка фронта над Цемесской бухтой, именуемого в то время в сообщениях

Советского Информбюро «районом Новороссийска». Маленькой красной точкой был помечен на этой карте пункт, в котором мы находились. У этой точки была своя боевая история, тут же рассказанная мне Турсумбековым.

В октябре 1942 года, когда немцев остановили под Новороссийском, самые кровопролитные бои разыгрались на цементных заводах. Сражения шли в цехах «Октября» и «Пролетария» за каждую площадку, за каждый пролет. Постепенно возникла разграничительная линия — мы на «Октябре», противник на «Пролетарии». Обе стороны чувствовали, что фронту тут стоять не день и не неделю, и каждая из занявших новые позиции частей старалась улучшить свое положение.

В один из этих дней штурмовым ударом Нурмахан Турсумбеков захватил маленький каменный сарайчик на высоте за цехами «Октября» ближе к «Пролетарию». До блиндажей противника отсюда было всего пятнадцать метров. В руках немцев находилась высота «Сахарная головка» — она господствовала и над сарайчиком, и над заводами. Но Нурмахан со своим взводом прочно засел в сарайчике, готовясь к длительной обороне.

На другой день противник пытался отбить потерянный пункт и тут все убедились, до чего это замечательный рубеж. Фашисты пробежали ничтожные метры между позициями, намереваясь захватить гарнизон живым. Но взвод Турсумбекова открыл такой огонь, что будь тут целый полк,— и тот не смог проскочить в сарайчик. Турсумбеков и его бойцы расстреливали противника в упор. Фашисты, кто успел, отошли обратно.

С тех пор новоявленная крепость стала подвергаться методическим жестоким штурмам. Ее забрасывали гранатами — сыпался кирпич, частями рушились стены. К ней подползали во тьме. Ее не прочь были, вероятно, смести с лица земли. Но бомбить или обстреливать тяжелыми орудиями сарайчик немцы не решались: слишком близко находились их собственные позиции, а все вылазки и штурмы были тщетны: турсумбековская цитадель выдерживала все, крепла день ото дня и вызывала дикую ярость врага.

Ночью сюда зачастили разведчики фронтовых частей — сарайчик стал для них исходным пунктом. Постоянными обитателями его были отныне и саперы капитана Модина. Они углубили ход сообщения, соединявший сарайчик с нашей передовой, или, как здесь говорили, с тылом, и возвели дополнительные «фортификации». Одна-две гранаты подчас разрушали плоды многочасового труда, но сарайчик постепенно креп, и внутри

его росла по простейшему чертежу распланированная крепость. Она превратилась в своеобразную многокомнатную квартиру: амбразуры, индивидуальные одноместные каюты для автоматчиков и пулеметчиков, комната отдыха — то помещение, где мы сидели у камелька. Каждый боец определил себе точный сектор обстрела, и теперь гарнизон пресекал любую попытку противника не только сделать шаг в направлении сарайчика, но и высунуть из блиндажа нос.

Но сидеть в обороне, даже в неприступном сарайчике, особенно когда на всех фронтах идет наступление, не по душе гарнизону Нурмахана Турсумбекова. Отбив штурм, он перешел к активным действиям.

Почин сделал пулеметчик Алексей Серомолот, которого шутливо прозвали здесь «Серп и молот»: крючком, чуть больше рыболовного, он притянул с вражеской стороны труп накануне убитого нашим снайпером офицера. Вместе с трупом в сарайчик попал планшет с оперативными документами фашистского штаба. После этого случая рыболовные снасти Алексея Серомолота решено было взять на вооружение: начались еженощные хождения к немецким блиндажам. Саперы Бориса Модина прорыли подземный ход, и в одну из темных ночей они взорвали три вражеских блиндажа с солдатами и штаб. А днем работали снайперы.

Тогда фашисты выкатили на гору небольшую пушку. Прямой наводкой эта пушка разнесла правый задний угол турсумбековской крепости, и вслед за этим начался новый штурм.

Турсумбеков с группой защитников сарайчика встал возле пробитой артиллерийскими снарядами бреши, остальные заняли позиции у амбразур и выходов. Сарайчик все-таки отстояли. Модин залечил нанесенные штурмом раны все тем же новороссийским цементом — отличным довоенным портландом.

...В разговорах прошла ночь. Когда взошло солнце, мы с Турсумбековым отправились осматривать его владения. Нам сопутствовал почти весь маленький гарнизон.

Мы заходили к пулеметчикам — там царили полумрак и сырость; мы останавливались у амбразур, слушая, что творится совсем рядом — у врага.

Время от времени над сарайчиком свистели снаряды — то наш, то фашистский. Постройка находилась в «мертвой зоне», между двумя огнями.

Модин с гордостью показывал свои нехитрые, но спасительные для людей сооружения. Я спросил:

— А что здесь раньше было?

— Товарищ Епимахов,— обратился Турсумбеков к гранатометчику, стоявшему на вахте возле амбразуры.— Что здесь раньше было?

— Водонапорный бак стоял, товарищ командир взвода. А потом баню устроили; только я тогда здесь уже не работал.

— А вы здесь разве работали? — заинтересовался я.

— Я тут еще до войны работал,— ответил Епимахов,— в карьерах, подрывником.

— Подрывником? — всполошился Модин.— Что же вы скрываете у себя саперов, товарищ Турсумбеков? Я ищу специалистов, а тут такой пропадает. Мы его живо к себе заберем.

— Никак нельзя, товарищ капитан,— хмуро сказал Епимахов.— Мне обязательно здесь надо быть. Не иначе.

— Что же тут теща у тебя или жена? — иронически произнес Модин.

— Именно что жена,— серьезно ответил Епимахов.— Отсюда мне родной дом видать.

— Вы откуда? Из Новороссийска? Давно?

— Да вот как враг там,— ответил Епимахов.— Семья там — жена, детишек двое.

— А что с ними?

— Бог его знает что. Может, фрицы и погубили. Отсюда не видать.

— А вы смотрите?

— Каждый день в трубку гляжу. Улицу вижу. Дом вижу. А своих нет. Только фрицы...

— А что там происходит, не видно?

— Не видно, но слышно. Первые ночи такие крики шли, ну, стоишь у амбразуры, прямо сердце скрипит. Все кажется, будто моя баба воет. Тогда бы мне, да под горячую руку...

— Много их накрошили?

— Да нет. Штук шесть или семь. Это — которых видно. А не видных — шут его знает сколько.

— Ты, Василий Иванович, не скромничай,— сказал Алексей Серомолот,— накосил фрицев целый овраг.

— Все может быть,— усмехнулся Епимахов.— Каждый день гранаты кидаем. Стараемся...

Тут нас немного потревожили: фашисты, видимо, услыхали голоса и бросили на сарайчик несколько очередных гранат. Мы замолчали. Епимахов, осторожно опустив крышку люка, раз-

махнулся и от всей души отправил врагу парочку гранат своих, советских.

Расстались мы на следующее утро. Турсумбеков долго не решался о чем-то спросить. Потом набрался храбрости и тихо произнес:

— Скажите, вы специально в наш сарайчик приехали?

— Специально.

— Вам командир батальона сказал?

— Нет, генерал.

— А в Геленджике вам про нас говорили?

— И в Геленджике говорили.

— И в Сочи?

Мне хотелось сказать ему приятное, и я сказал:

— И в Сочи.

— Так, может быть, вам даже в Москве про нас рассказывали? — Турсумбеков пристально оглядел притихших товарищей и взволнованно продолжал: — Может быть, даже в Кремле про нас известно?.. Конечно, про Турсумбекова, может, там и не знают. Нурмахан Турсумбеков небольшой человек. Но про сарайчик, я думаю, знают. Это ведь крепость. Маленькая крепость, но очень серьезная крепость. Как вы думаете, товарищи?

Весь гарнизон: и Алексей Серомолот, и Егорушкин, и Епимахов, и сапер Модин, и командир роты Джербинадзе — все охотно подтвердили, что это очень важная крепость.

— И вы знаете, о чем бы я вас очень просил? — Турсумбеков дал знак бойцам.

Но не успели они подать жестяные кружки, как лейтенант Джербинадзе вытащил из кармана своих брюк литровую флягу с грузинской чачей и подхватил:

— Я знаю, о чем ты хочешь просить, Нурмахан. Ты хочешь предложить один маленький тост.

— Выпить этот бокал,— торжественно продолжал Джербинадзе, наливая чачу в кружки,— за то, чтобы наша маленькая крепость не сегодня-завтра стала самым обыкновенным сарайчиком. Так я тебя понял, Нурмахан?

— Толково сказано, Георгий Антонович,— присоединился Модин.— Такой тост и я охотно поддержу. Так грохнем по чарке за завтрашний день! А вы, земляк, об этом так и напишите. Добро?

И мы выпили за это близкое будущее.

* *
*

Вскоре мне прислал письмо Борис Федорович Модин с обратным адресом: «Полевая почта 911, часть 165». Он напоминал о времени, проведенном в сарайчике, о фотографиях, которые я там сделал, и сообщал мне как корреспонденту «интересные дела» — какие, я не смог прочесть. Только через несколько месяцев удалось об этом узнать: наши части заняли Новороссийск; сарайчик сыграл свою роль как опорный пункт для разведки и саперов — это и были «интересные дела», которые подготавливали Модин и его друзья. Рота лейтенанта Джербинадзе штурмовала город. Василий Епимахов нашел свою улицу и номер дома на сохранившихся воротах. За воротами не было ни дома, ни семьи. С Нурмаханом Турсумбековым он ушел вперед по берегу Черного моря.

А на цементные заводы тут же пришли строители восстанавливать разрушенное производство такого крепкого цемента, который помог Нурмахану и его товарищам выстоять. И цитадель снова стала обыкновенным сарайчиком — простой постройкой на холме над Цемесской бухтой.

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Имя народного героя Александра Матросова знает в нашей стране стар и млад. Его подвиг вошел в летопись Великой Отечественной войны, в летопись титанической борьбы за нашу Советскую Родину. И на всех континентах планеты народы знают об этом простом советском юноше, без колебаний отдавшем свою жизнь за мир и счастье людей на земле.

На Всемирном конгрессе за всеобщее разоружение и мир, в кулуарах Кремлевского Дворца съездов один из делегатов Кубы — Эдуардо Корона, беседуя со мной об Александре Матросове, говорил, что с этого солдата и с других советских героев кубинцы брали пример в борьбе за свободу своей революционной родины. Кубинский друг забрасывал меня вопросами о жизни и воспитании характера героя...

Так что же и кто воспитал этого героя?

Саша Матросов прошел суровую школу жизни. Труден и поучителен был путь осиротевшего подростка. В детской воспитательной трудовой колонии, куда его привели как правонарушителя, диковатый и озлобленный паренек увидел примеры увлекательного труда и заботливого отношения к человеку. Опытные и чуткие учителя и воспитатели нашли путь к сердцу Саши, бережно направили его сокровенные стремления в нужное русло, утолили его жадную любознательность. У мальчика была страсть к путешествиям. Воспитатель Трофим Данилович увлекательно рассказывал о путешествиях, разъяснял, что нужно многое знать, чтобы быть не жалким бродягой и невеждой, а ученым, исследователем, как Пржевальский, Козлов, Миклухо-Маклай. Интересно говорил он и о других профессиях. Но особенно любил Саша слушать рассказы о героях учитель-

ницы Лидии Васильевны. И Саше хотелось быть таким, как Чапаев, Щорс, Котовский.

Старый мастер слесарного цеха Сергей Львович учил Сашу не только держать напильник, обрабатывать детали, сноровисто и ловко покорять металл, но и мечтать, творить, изобретать. Прививая Саше любовь к труду, он между делом рассказывал о таких изобретателях и творцах машин, как солдатский сын Иван Ползунов, Попов, Яблочков. И у Саши появилась страстная и дерзновенная мечта — стать инженером, изобрести такую машину, с помощью которой можно было бы управлять ветрами и тучами.

В библиотеке Евгения Ивановна, как драгоценные подарки, подавала ему увлекательнейшие книги, и среди них «В людях» и «Мать» Горького, «Как закалялась сталь» Островского.

По-новому вошли в сознание Саши понятия личного достоинства, чести. Пареньку внушили веру в свои силы, и он понял, что он не только не «пропащий», как говорили ему до колонии, но что он может учиться и работать не хуже, а даже лучше других.

— Человек всегда должен стремиться быть лучше, чем он есть,— часто повторял Трофим Данилович.— Чем сознательнее человек, чем больше он знает и умеет, тем больше приносит пользы людям.

Таким и хотел быть Александр Матросов. И ему помогали в этом всюду: в школе, в цехе, в клубе.

Так по крупице, по зернышку люди вкладывали в душу Матросова все лучшее, что имели сами,— опыт, знания, любовь к человеку, к Родине. Сама жизнь советского общества была отличной школой для юного гражданина Александра Матросова. И он по праву входил в великую трудовую семью могучего народа-преобразователя.

Когда началась война, Саше было 17 лет. На митинге после выступлений учителей и воспитателей попросил слово и он.

— Война касается нас всех,— сказал Саша.— Вот нас бесплатно учат и кормят, одевают, обувают. Кто это все дает? Она, мать наша — Родина. И мы в обиду ее не дадим. Теперь у всех советских людей одна забота, одно кровное дело — разбить напавшего на нас врага.

Колонийская мебельная фабрика получила военные заказы — изготовлять ящики для снарядов, гранат и патронов, учебные винтовки, маскировочные сети. Слесарю Матросову то и дело несли в мастерскую точить поперечные и ленточные

пилы, ручные ножовки, ножи рейсмусов и другой инструмент. От качества этого инструмента зависел и общий производственный успех. С железным упорством изо дня в день Матросов перевыполнял нормы на 150, 200, 300 процентов.

Его фамилия появилась на Доске почета. Ребята с уважением относились к Матросову, перенимали его сноровку в работе, искали дружбы с ним. Но он мечтал о другом. Ему все казалось, что он мало помогает фронту, и он решает попросить воспитателя Трофима Даниловича похлопотать о посылке в действующие войска.

— Мы ведь для фронта и работаем,— ответил тот.— Вот тут и проверь себя, годишься ли на трудные дела.

И Матросов проверял себя...

Осенние дожди размыли дорогу, по которой с фабрики вывозили изготовленные ящики для снарядов. На фабрике накопилась гора ящиков, а где-то в них была острая нужда. Матросов предложил носить ящики до шоссейной дороги на себе. Некоторым ребятам его предложение показалось невыполнимым. Кто-то крикнул:

— Мы не машины и не лошади, они и то не могут!

Матросов сердито сказал:

— Да, машина не может, лошадь не может, а мы сможем! Фронту нужны снаряды, а без наших ящиков их не переправишь.

И когда воспитанники, увязая в грязи, понесли к шоссе ящики, Матросов шагал впереди и пошучивал:

— Орлы мы или чижики? Нечего носы вешать!

Упорство и смекалка Саши Матросова хорошо были знакомы его колонийским друзьям. Весной река Белая грозила унести много леса, очень нужного для фабрики. Лес в плотах, пригнанный поздней осенью, не успели вытащить из воды. За зиму плоты вмерзли в толщу льда. Не сегодня-завтра половодье может унести их. Воспитанники вырубали изо льда и вытаскивали длинные обледенелые бревна на высокий берег реки.

Несколько дней ребята, подбадриваемые Матросовым, работали с утра до вечера. Талая вода все больше заливала лед вдоль берега. К вечеру третьего дня залитый водой лед стал вздрагивать, потрескивать и мог вот-вот двинуться...

Матросов с тревогой смотрел на реку. Лед держал еще не менее тридцати кубометров ценного леса. И Матросов стал убеждать ребят:

— Хлопцы, на фронте солдатам, думаете, легче? Поднатужимся еще немного, дорога каждая минута. Пошли, друзья.—

И сам первый полез в ледяную воду. За ним последовали и другие.

Дорогой, как хлеб, лес был спасен.

Александр умел ценить дружбу и потому был богат друзьями. К нему льнули ребята. Им нравились его прямота, смелость, умение и ловкость в работе. Он был и на работе первым, и товарищем верным.

Доброй семьей и школой была для Матросова колония.

Просясь на фронт, он писал в военкомат: «...Шести лет я лишился родителей. Будь это в капиталистической стране, мне грозила бы голодная смерть. Но у нас, в Советском государстве, обо мне позаботились, обеспечили мне образование и специальность слесаря в детской трудовой колонии. За все это я очень благодарен Коммунистической партии и Советской власти. И сейчас, когда наша Родина в опасности, я хочу защищать ее с оружием в руках... Мне 17 лет. Я уже взрослый. Я больше принесу пользы на фронте, чем здесь. Убедительно прошу поддержать мою просьбу — направить меня на фронт добровольцем...»

Три раза отклоняли его просьбу, но он все-таки добился своего. «Сбылась моя мечта...» — писал он уже с фронта своей любимой девушке.

Провожая своего питомца на фронт, руководители колонии без прикрас писали о нем в характеристике:

«Матросов Александр Матвеевич, 1924 года рождения, уроженец города Днепропетровска, происходит из семьи рабочего, образование — семь групп, русский. В Уфимской детской трудовой колонии зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Работал на мебельной фабрике в качестве слесаря. За хорошую работу на производстве, отличную учебу в школе и поведение Матросов А. М. с 15 марта по 3 сентября 1942 года был в должности помощника воспитателя. Кроме этого, был избран председателем центральной конфликтной комиссии. Активная работа в учебно-воспитательной части и личное желание Матросова окончательно подготовили его к самостоятельной жизни. Товарищ Матросов выдержан, дисциплинирован, умеет правильно строить товарищеские взаимоотношения».

Советская Армия стала для Матросова подлинной школой мужества, отваги и воинского мастерства. Он попал на фронт в разгар наших наступательных боев. Это была пора исполинского напряжения сил и душевного подъема всего советского народа. Только что закончилась небывалая в истории битва на

Волге. Начиналось массовое изгнание врага с нашей земли. Советские воины — от рядового до генерала и маршала — совершали подвиги. Уже вся страна знала о подвигах Николая Гастелло, Виктора Талалихина, Юрия Смирнова, Лизы Чайкиной, Зои Космодемьянской и многих героев прорыва блокады Ленинграда, битвы на Волге и на других фронтах.

Молодой солдат Матросов понял, что у нас героев, как и хороших людей, гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Фронтовые герои, о которых он знал из газет и слышал по радио, были теперь рядом с ним. Вот они — командиры и рядовые, его новые учители и друзья по оружию, овеянные пороховым дымом и боевой славой: комбат Афанасьев, замполит Климовский, командир роты автоматчиков Артюхов, бывалый солдат парторг роты старшина Кулигин, комсорг Татарников, рядовые Щеглов, Андрущенко, Суслов, Белевич и другие. Это были скромные, простые советские люди, но у каждого из них можно было многому поучиться.

91-я стрелковая бригада, куда попал Матросов, входившая в соединение сибиряков-добровольцев, провела на Калининском фронте ряд горячих, трудных, но успешных наступательных боев. По всем фронтам шла добрая слава о воинах-сибиряках.

Матросов полюбился товарищам. Веселый, целеустремленный, неутомимый, он всегда был заводилой в подразделении, до самозабвения любил петь песни, превыше всего ценил дружбу, проявлял душевную заботу о товарищах. И скоро узнали все: паренек — не робкого десятка.

Командир Артюхов, отбирая солдат в роту автоматчиков, заявил, что ему нужны самые смелые и выносливые.

— Предупреждаю: у меня будет трудно. Кому это не по плечу, лучше помолчи. Ну, есть ли среди вас добровольцы в мою роту?

Матросов первым изъявил желание стать автоматчиком.

...На долгом и трудном марше, когда измотанные солдаты, с полной выкладкой еле передвигали ноги, Матросов помогал кому как мог: одному вещевой мешок поднесет, другому — патроны или гранаты, а иного теплым словом подбодрит. В морозные ночи на привалах, когда усталые люди валятся на снег и крепко засыпают, он, проснувшись, раскладывает костерок, будит товарищей, чтобы не замерзли, не простудились.

В малых и больших делах его жизни воплощалось простое и мудрое правило, подсказанное ему когда-то колхозным пасечником дедом Макаром: «Жить надо так, чтобы людям легче было от того, что ты живешь».

А на военных дорогах Матросов много видел черного горя, посеянного жестоким врагом: разграбленные и сожженные села, могилы замученных, расстрелянных, повешенных или заживо закопанных в землю советских людей; видел истерзанных беженцев, потерявших кров и свои семьи.

Накануне памятного сражения, перед выходом на исходный рубеж на комсомольском собрании Матросов сказал:

— За что фашисты ненавидят и убивают наших людей? Только за то они убивают нас, что мы — советские люди, что любим нашу землю, нашу прекрасную Родину. Великая правда озарила наш созидательный труд, нашу счастливую жизнь. Рабство и смерть несет нам враг. Значит, наша священная обязанность — беспощадно бить врага, освободить от него нашу родную землю... Пришел наш час, и мы отомстим врагу за все муки наших людей. Приказ командования мы выполним. И за нашу Родину, за наш народ, за мир и счастье людей на земле я буду бить врага по-комсомольски, буду бить, пока руки мои держат оружие, пока бьется мое сердце...

Батальону, в котором служил Матросов, было приказано взять штурмом укрепленный опорный пункт противника — деревню Чернушки. Это была тем более трудная задача, что из-за лесного и болотного бездорожья невозможно было продвинуть нашу тяжелую военную технику. В бою можно было пользоваться только тем вооружением, какое могли пронести по лесным чащобам, заваленным снегом.

Двое суток шли бои у деревни Чернушки. Наконец удалось блокировать и подавить огневые точки противника. Оставалась одна преграда — центральный дзот, который бешеным огнем покрывал поляну и косил людей, когда они поднимались в атаку.

По приказу командира шесть автоматчиков пытались подползти к дзоту, чтобы забросать его гранатами, но все они были сражены.

Командира и его связного — Матросова угнетала одна мысль: приказ командования не выполнен, бесцельно гибнут бойцы, лежа на снегу, под угрозой и жизнь остальных.

Матросов сдвинул брови. Суровая решимость легла тенью на его юное обветренное лицо.

— Разрешите мне,— сказал он тихо, но твердо.

Командир разрешил.

Матросов пополз правее, кустарниками, как будто и не к дзоту. За его движением следили десятки людей, лежавших под огнем и готовых броситься вперед при первой возможности. Он

теперь был их надеждой и силой. Только бы дополз. Доползет или упадет на снег, как те шестеро?

Пули решетили снег то впереди него, то позади. Когда струю огня направляли в сторону, Александр, чуть приподняв автомат, быстро полз вперед; когда пули ложились близко, он замирал, и вражеские пулеметчики, видно, принимали его за убитого.

Вот совсем рядом дзот, теперь надо быть особенно осмотрительным. Фашисты или не замечали его, или нарочно подпускали ближе: пулемет их бил куда-то влево.

Матросов мельком взглянул туда и чуть не вскрикнул от удивления и тревоги: задушевный друг его — Петр Андрущенко тоже полз к дзоту. По нему и бил пулемет. Движения Петра были неловки, он все заваливался набок, падал лицом в снег, но, осыпаемый пулями, без каски и без автомата, упрямо полз вперед. Израненный, окровавленный, он и сам не верил, что доползет до дзота, но полз и полз на виду у врагов, презирая их огонь, полз на явную гибель.

Какая сила влекла вперед этого простого солдата? Он ведь, кажется, уже сделал все, что мог. И теперь решил погибнуть, чтобы отвлечь на себя огонь вражеского пулемета, чтобы помочь ему, Матросову. Вот она, несокрушимая сила воинской дружбы, согретая любовью к народу, к Родине!

Матросов пополз еще быстрее. Вытащил гранаты. А затем, став на колено, бросил их одну за другой. Гранаты взорвались у самого дзота. Пулемет на минуту смолк, потом опять заработал. Но Матросов был в выигрыше: пока рвались гранаты, он сделал несколько прыжков вперед и снова упал на снег. На миг перед ним мелькнуло лицо недвижно лежащего на снегу, иссеченного пулями товарища. «Я буду драться по-комсомольски»,— вспомнил Александр.

Вражеский пулемет снова застрочил по залегшим на поляне бойцам. Надо заставить его замолчать! Матросов вскочил, мгновенно обшарил свое боевое хозяйство — у него не осталось ни одной гранаты, пуст был и автоматный диск. Была у воина только неизмеримая душевная сила и святое желание — скорее и лучше исполнить свой долг. Его почти детское лицо озарила богатырская решимость. Теперь он был сильнее огня, сильнее смерти. Стремительно он побежал вправо, как бы мимо дзота, потом, почти поравнявшись с ним, резко свернул влево и бросился грудью на черную амбразуру.

Пулемет захлебнулся и умолк. И стало тихо. Так тихо, что слышно было, как шумят сосны. Солдаты замерли в оцепенении, потрясенные увиденным. Потом вскочили и, как по команде,

хотя команда не успела последовать, бросились вперед, к дзоту. Теперь путь к нему был открыт. Через минуту в дзоте закончилась рукопашная схватка, и враги лежали на куче гильз. Бойцы выбили фашистов из деревни Чернушки и погнали их дальше, на запад.

В журнале боевых действий было скупо записано:

«В районе Западной Двины, в Земцах, получили пополнение из курсантов Краснохолмского пехотного училища. В их числе прибыл рядовой Матросов. 23 февраля 1943 года во взаимодействии с другими соединениями корпуса перешли в наступление под городом Локня с задачей выйти на линию железной дороги Локня — Насва. В результате этих боевых действий были разгромлены и частично уничтожены: 2-я авиадесантная пехотная дивизия немцев, 19-я, 93-я и 41-я пехотные дивизии СС. В этих боях совершил великий подвиг мужества и героизма красноармеец 2-го батальона 19-летний комсомолец Александр Матросов. Второй батальон имел задачу наступать на деревню Чернушки и овладеть ею. Противник из дзота открыл сильный пулеметный огонь, не давая продвигаться нашей пехоте. Товарищ Матросов, получив приказ уничтожить укрепленную огневую точку противника, подполз и своим телом закрыл амбразуру дзота. Пулемет врага замолчал. Пехота пошла вперед и овладела Чернушками. Товарищ Матросов погиб смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками...»

Весть о подвиге, безмерном мужестве рядового советского воина долетела до всех уголков нашей земли.

Президиум Верховного Совета Союза ССР посмертно присвоил Александру Матвеевичу Матросову звание Героя Советского Союза. Батальон, где служил Матросов, стал гвардейским, а полку присвоено имя героя, и он навечно зачислен в списки 1-й роты. И в полку каждый день на поверке в торжественной тишине воины вспоминают бессмертный подвиг солдата Матросова.

Именем Александра Матросова названа Уфимская детская трудовая воспитательная колония. Его имя присвоено многим рабочим бригадам, пионерским дружинам, садам и паркам, театрам и улицам, кораблям и поездам.

Герой бессмертен не только потому, что благодарная память разума и сердца людей навсегда сохранит его светлое имя. Высокие моральные качества Александра Матросова, его подвиг, непрестанно возрождаясь, живут в героических делах неисчислимых Матросовых военных и мирных дней. Об этом свидетельствуют многочисленные волнующие вести, идущие со всех

концов страны, от людей разных национальностей, профессий и возрастов.

«Мы, матросы, здесь, на Дальнем Востоке,— пишет сержант Дроздов,— с героем Матросовым в сердце становимся на пост нести боевую вахту...»

Механизатор Петр Миненко пишет из Алтайского края: «Образ Матросова вдохновляет наш народ и его молодежь на героизм и подвиги и служит прекрасным примером беспредельной преданности Родине и великому делу Ленина. Имя Матросова для меня — символ мужества, символ славы...»

Из сибирского города шахтеров — Прокопьевска пишут пионеры школы-интерната: «Всю свою жизнь будем равняться на любимого героя Александра Матросова и бороться всеми силами за мир на земле. Но если понадобится отдать за нашу милую Родину жизнь, даем вам честное пионерское слово, что не колеблясь повторим подвиг Саши Матросова...»

А комсомолка каменщица Рая Бурова, строящая в голой степи Западной Сибири крупнейший металлургический завод, по-своему учится у Матросова: «Как себя подготовить, чтобы в любой момент можно было постоять за честь Родины? Во-первых, воспитывать силу воли и твердый характер. Во-вторых, говорить правду и только правду. И учиться, учиться! Без знаний никогда не станешь настоящим человеком. И вообще — быть во всем похожей на Сашу Матросова!..»

Письма, письма. Их множество. И в каждом письме — благородный огонь любви к Родине и тяга к доброму делу, к подвигу, готовность следовать высокому патриотическому примеру Александра Матросова.

Его имя известно далеко за пределами нашей страны. Оно стало символом мужества, бесстрашия и душевной красоты. Художники пишут его портреты, поэты воспевают в поэмах, композиторы — в кантатах, симфониях. Ему воздвигают памятники, о нем слагают легенды и песни, помогающие строить и жить.

ГЕРОИ НАХОДЯТСЯ

В годы войны, когда ты, военный корреспондент, побывав на переднем крае, возвращался потом в тыл, в редакцию, и писал о людях войны, о тех, кто остался там, на переднем крае, как часто ты думал, что тебе уже не увидеть их, не узнать об их судьбе, что война не сведет тебя с ними во второй раз — и потому, что война необъятна, и потому, что люди смертны. А там, на переднем крае, где остались люди, о которых ты написал, они тем более смертны.

Да часто так оно и выходило. Писал о человеке, а потом — иногда сам, во второй раз приехав в ту же часть, иногда стороной, от других — узнавал, что герой твоей корреспонденции погиб, что тебе уже никогда не услышать его живого имени.

Кончилась война. Прошло много лет после нее. У тебя, так же как и у твоих товарищей, вышло по нескольку сборников военных очерков и корреспонденций. О некоторых из героев этих очерков ты знал, что они погибли, о других не знал ничего, но, возвращаясь к ним мысленно, чаще всего думал, что, наверно, их нет в живых. Тебе казалось, что, будь они живы, как-нибудь попал бы к ним этот твой сборник. и они бы написали тебе хоть несколько слов о том, что живы-здоровы.

И вот сейчас все чаще оказывается, что ты обманывался в своих представлениях, что многие из людей, о которых ты когда-то писал и которых считал погибшими, на самом деле живы. Они живы, и они помнят, что ты писал о них, и им попадались в руки твои очерки, в которых упоминаются их имена и их подвиги, но просто по своей натуре это люди, которые не любят напоминать о себе. Им не приходит это в голову.

Очерки, которые я предлагаю вниманию читателей в этом сборнике, написаны в годы войны. Я хочу предпослать каждому из них маленький рассказ о том, как выяснилось, что герои этих очерков живы, и о том, что они делают сейчас.

Сколько таких юных помощников было у разведчиков!

Все что осталось от вражеского эшелона

«Дорогие мои, пишу вам в перерыве между боями»

Скоро они полетят в бой

СОЛДАТСКИЙ ЮБИЛЕЙ

В феврале 1964 года я получил из редакции газеты «Социалистическая Осетия» от сотрудника отдела писем и информации Н. Бизянова письмо. «Нас заставляет обратиться к вам,— писал мне Н. Бизянов,— желание рассказать читателям «Социалистической Осетии» о человеке, который послужил прототипом героя одного из ваших произведений. Нам стало известно, что в городе Орджоникидзе сейчас живет полковник в отставке Ефим Самсонович Рыклис, которого вы должны знать. Мы будем признательны, если вы напишете несколько слов о том, действительно ли вы были знакомы с ним...»

Я очень обрадовался, что майор Рыклис жив. Говорю «майор», потому что, когда впервые познакомился с ним на Рыбачьем полуострове и когда он мне рассказывал историю, легшую в основу моей поэмы «Сын артиллериста», тогда он был еще майором. А потом я уже встречал его подполковником, весной сорок второго, в 14-й армии под Мурманском. А теперь, оказывается, он полковник в отставке, живет в Орджоникидзе...

Я написал в редакцию, что очень рад узнать, что Ефим Самсонович Рыклис жив и здоров и что мой напечатанный очерк «Солдатский юбилей» с именем, отчеством и фамилией Ефима Самсоновича Рыклиса не оставляет сомнений в том, что мы знакомы с ним. Видимо, полковник в отставке Рыклис простонапросто не любит говорить о себе. Только этим можно объяснить, что редакции приходится обращаться ко мне за подтверждением тех обстоятельств, которые он знает сам не только не хуже, но наверняка лучше меня...

Так разыскался герой очерка «Солдатский юбилей», от которого я вскоре получил в ответ на свое письмо два листочка, полных воспоминаний о войне в далеком Заполярье. Внизу стояла подпись — Е. Рыклис и в скобках — бывший командир 104-й ПАП РГК, ныне полковник в запасе.

Метель к утру стихла, может быть, завтра она снова закроет небо и горы белой пеленой, но сейчас прояснело.

Майский день в Заполярье. Скалистая приморская тундра завалена снегом, горы поднимаются со всех сторон толпой высоких белых шапок, и только самые верхушки их, обдутые ветром, торчат как круглые черные донышки.

То здесь, то там на крутых скатах, словно приклеенные, громоздятся гигантские серо-зеленые валуны. Они обросли ягелем.

Ягель островками выглядывает из-под снега, похожий на позеленевшее серебро.

Наклонив ветвистые головы, его жуют олени. Рядом с легкими нартами, посасывая трубки, стоят погонщики-ненцы, приехавшие сюда с Ямала. У них скуластые коричневые лица и невозмутимое спокойствие людей, всю жизнь проживших на севере.

Войска продвигаются, штаб переезжает вперед, и на легкие нарты грузится нехитрое штабное имущество: телефоны, палатки, легкие железные печки.

Здесь много мест, где не может проехать машина и лошади по грудь проваливаются в снег. Но олени с нартами проходят везде, перевозя продовольствие и патроны и доставляя в тыл раненых.

Мы только что проехали полсотни километров по дороге, проложенной через горы на запад многосуточными трудами саперов. Она оголена от снега, и снежные навалы высятся вдоль нее на спусках сплошной стеной; они так огромны, что высокие санитарные автобусы идут по дороге невидимые сбоку.

И вот дорога сворачивает влево. Отсюда к наблюдательному пункту артиллеристов ведут только пешеходные горные тропы.

В стороне от дороги из мелкого кустарника торчат закамуфлированные бело-черные стволы орудий, отсюда вперед, на вершины скал, ползет черная нитка телефонного провода.

Шесть километров мы идем вдоль этой нитки, все выше и выше карабкаясь по скалам.

Вот и гора Резец — цель нашего перехода. Еще недавно здесь гнездились немецкие горные егеря, сейчас их сбросили с этой гряды вниз, и на гору Резец вскарабкались наши наблюдатели.

На открытой всем ветрам каменной площадке полукругом сложена из валунов низкая стенка, похожая на прилепившееся к скале орлиное гнездо. Гнездо это высотой по грудь человеку, и с двух сторон его возвышаются двурогие окуляры стереотруб.

Сейчас на наблюдательном пункте кроме дежурного командира, телефониста и разведчика еще двое: командир полка подполковник Рыклис и немецкий ефрейтор.

Да, немецкий ефрейтор, австриец Франц Майер в сине-серой, запорошенной снегом шинели с посеребренным металлическим цветком эдельвейса на рукаве.

Цветок эдельвейса — знак того, что Франц Майер — солдат 6-й австрийской горноегерской дивизии, в свое время просла-

вившейся взятием Крита, а теперь доживающей свои дни здесь, в заполярной тундре.

Подполковник развертывает хлопающую на ветру карту, и ефрейтор долго водит по ней пальцем, потом они оба подходят к стереотрубе. Майер наводит ее привычным движением артиллериста и, поймав какую-то еле видимую отсюда точку, показывает подполковнику.

Подполковник кивает. Его наблюдения последнего дня совпали с показаниями пленного.

Майера уводят с наблюдательного пункта в землянку за скат горы.

Проводив взглядом исчезнувшую внизу сутулую фигуру австрийца с развевающимися по ветру рваными полами шинели, подполковник рассказывает его короткую историю.

Франц Майер — артиллерист-наблюдатель. Он заблудился сегодня утром, пробираясь на свой наблюдательный пункт, и его взяли наши разведчики. Он сдался, не пытаясь драться, а попав в плен, не лгал, что он перебежчик.

Он не перебежчик, он просто бесконечно намерзшийся и уставший от войны солдат, к тому же еще австриец, человек, родине которого Гитлер не принес ничего, кроме рабства и горя. Последнее время, отчаявшись, он равнодушно ждал пули, которая пресечет его жизнь. Когда его окружили, он не схватился своими обмороженными пальцами за карабин. Он молча ждал, ему было все равно: так и так — смерть. Он считал, что в плену его убьют. Так писали в их солдатской газете «Вахт им норден», так говорили офицеры, так думал он сам, зная, что делают по приказанию генерала Дитла с русскими, когда они попадают в плен.

Его обезоружили и повели. Его не расстреляли. Его отогрели у железной печки в русской солдатской палатке и дали ему русского хлеба. Потом с ним стали говорить. Его не били, как это делал фельдфебель Гримль, не кидали лицом в снег, как фельдфебель Краузе, не привязывали к столбу, как капитан Оберхауз.

Тепло палатки, кружка чаю, кусок хлеба и человеческий разговор — казалось бы, немногое, но это немногое вдруг потрясло Франца Майера, потрясло по контрасту с тем, что он ждал от плена, и с теми жестокими нравами, что завел у них в корпусе генерал Дитл — «смерть егерей», как прозвали его между собой солдаты.

Русские, говорившие с Францем Майером, ничего ему не обещали, но он по тону их слов и по выражению их лиц вдруг

почувствовал, что здесь его не убьют и не будут над ним издеваться.

Что-то очень далекое, забытое, задавленное страхом и муштрой проснулось в нем.

В эту минуту страх не играл роли в его решении. Он просто вдруг почувствовал желание чем-то отплатить людям, отнесшимся к нему по-человечески.

Волнуясь, он сказал переводчику, что хочет объяснить все, что он знает. Волнуясь, тыкал пальцем в захваченную вместе с ним немецкую карту и только на наблюдательном пункте, вдруг успокоившись, взялся за стереотрубу твердым движением решившегося идти до конца человека.

Такова была история Франца Майера, рассказанная нам подполковником Рыклисом.

Было одиннадцать часов вечера, но наступивший полярный день уже две недели как окончательно спутал все представления о дне и ночи. В ночные часы не темнело, только небо становилось еще свинцовее, а далекие хребты еще синей, но с наблюдательных пунктов по-прежнему были видны каждая скала и лощина на несколько километров в окружности.

Морозный горный воздух сокращал расстояния, все казалось близким, да и в самом деле вражеские укрепления, которые штурмовали наши части, были не так уж далеко.

Поворачивая стереотрубу, мы видели на гребнях скал каменные наросты неприятельских дотов и тонкие линии кольев с колючей проволокой.

После долгого боя наступил час затишья. Подполковник, готовясь спуститься вниз после двадцатишестичасового дежурства, последний раз хозяйским оком оглядывал лежащий впереди пейзаж. Казалось, что и сейчас в его глазах этот пейзаж аккуратно разделен на квадраты, точь-в-точь как на карте, что покоится в его артиллерийском планшете.

За каменными буграми, в лощинах, стояли батареи, с которыми он боролся. Одни из них были разбиты, другие принуждены к молчанию. День был удачным. На отдаленной высоте, по форме похожей на седло, утром батарея старшего лейтенанта Винокурова внезапно накрыла накопившийся для атаки батальон егерей. На соседней высотке виднелись серые пятна развороченных и опустевших дзотов.

В пейзаже были только два цвета — белый и серый, и трудно было отличить укрепления и землянки от огромных, словно из

гигантской пригоршни рассыпанных по скатам камней. Но подполковник, точно наведя на какую-то далекую точку стереотрубу, предложил посмотреть на нее.

— Видите три пятна?

— Да.

— Это замаскированные землянки. Мы обнаружили их еще утром, но пока там нет оживленного движения. Я решил оставить их до завтра. Завтра мы их накроем.

Подполковник говорил об этих землянках тоном заботливого хозяина, оставляющего их до завтра, про запас, в полной уверенности, что они-то от него не уйдут.

Было тихо. Только время от времени сзади слышались выстрелы одной из наших батарей, которая беспокоящим огнем круглые сутки обстреливала ведущую к фронту немецкую вьючную дорогу. В бинокль было видно, как по дороге гуськом движутся лошади и люди. Короткий дымок разрыва — лошадь и человек упали, остальные бросились врассыпную. Несколько минут молчания — и снова методический выстрел и дымок, где-то уже дальше, за невидимым изгибом дороги.

То сползая, то скатываясь вниз, мы добрались до подножия горы, где стояла палатка подполковника Рыклиса. Адъютант и два телефониста — вот и все, что он взял с собой сюда, вперед, уезжая из штаба полка.

Палатка колыхалась от резких порывов ветра. Ящик, служивший походным столиком, маленькая железная печка и две кучи нарубленных веток вместо кроватей — таким было временное помещение КП.

Ефим Самсонович Рыклис отогрел у огня закоченевшие ноги.

Я встречал его полгода назад на другом участке того же Карельского фронта. С тех пор он из майора стал подполковником, на его гимнастерке появился орден Красного Знамени, но в остальном он ничем не изменился. Те же темные южные глаза и южная горячность, а в разговоре та же влюбленность в свои дальнобойные, милые его сердцу пушки, та же способность говорить о них как о чем-то умном и одушевленном, те же вдруг грустные нотки в голосе, когда разговор зайдет о семье.

Старый артиллерист, мастер и патриот своего дела, подполковник за двадцать лет прошел суровую военную дорогу.

Еврейский мальчик из Молдавии, плохо говоривший порусски, пошел в Красную Армию и попал в одну из первых наших артиллерийских школ. Вначале ему приходилось трудно: кроме всего остального приходилось учить еще и язык. Но он

был упорен и через два года владел им в совершенстве. Потом выпуск и, год за годом, гарнизонная служба в артиллерийских полках.

Менялись места службы, гарнизоны; с каждым перемещением он двигался все дальше и дальше на восток. Первый сын родился в Перми, второй — в Челябинске, дочь — в Бурят-Монголии. В семье ее так и прозвали — буряткой. Семья солдата кочевала вместе с ним.

Пять лет Рыклис провел на дальневосточной границе, в Бархатной пади, среди глухих лесов Забайкалья.

Жестокая дальневосточная закалка закончила воспитание артиллериста. На Крайний север Рыклис приехал уже готовый ко всем испытаниям и случайностям. Войну он встретил на Рыбачьем полуострове. Невероятные метели, дикие ветры, оторванность от всего мира — в этих условиях приходилось начинать войну. В критическую минуту батареи Рыклиса не дали немцам ворваться на Рыбачий.

Он был награжден, переброшен сюда, и здесь он продолжал воевать все с той же страстной влюбленностью в свое дело.

На наблюдательном пункте, окостенев от северного ветра, менялись и уходили греться люди, но подполковник, как одержимый, часами сидел, не отрываясь от стереотрубы, и охрипшим голосом командовал своими батареями.

Сегодня, впервые за последние трое суток, он счел возможным разрешить себе погреться и поспать. Он прилег на положенную поверх веток плащ-палатку, но ему не спалось. Он вдруг стал вспоминать, как три дня тому назад, в снег и распутицу, его артиллеристы подвозили сюда боеприпасы. Сначала застряли машины, потом тягачи. Тогда стали возить снаряды на вьюках. Лошади, выбившись из сил, застревали в снегу. Но пушки должны были стрелять, чего бы то ни стоило. Тогда снаряды понесли люди. Каждый нес один тяжелый снаряд. Так сутками, один за другим, много километров шли они сквозь непогоду. Это было тяжело, почти нестерпимо, но пушки стреляли.

Из-за приоткрывшейся полы палатки дунуло снегом: в палатку влез связной, веселый белобрысый парень с девичьей фамилией Марусич. Он за десять километров притащил подполковнику мешок с продовольствием.

Рыклис вскрыл ножом банку консервов и, налив водки в две «артиллерийские чарки» — головки от снарядов, сказал задумчиво:

— Вот и двадцатилетний юбилей. Ну, это даже хорошо, что он здесь исполнился. Позавчера ровно двадцать лет, как я в

армии, стукнуло. Тогда было некогда, да и не с кем. А сегодня хоть задним числом. Ну, а теперь что же — спать так спать.

Он лег и закрыл глаза. Но через секунду, что-то вспомнив, снова открыл их.

— Есть тут одна батарея. У меня с ней старые счеты. Она перекочевала с того места, где я раньше был, тогда мы ее называли «цель номер семь», теперь переименовали в «номер пятнадцать». Старые враги путешествуют вслед за мной. Но ничего, здесь я с ней расквитаюсь.

Он перевернулся на бок и заснул мгновенным сном давно не приклонявшего головы человека.

На следующий день мне пришлось быть свидетелем того, как подполковник расквитался со своим старым врагом.

Мы уже третий час сидели на наблюдательном пункте. По часам — вечерело. На глаз — было по-прежнему светло.

Подполковник корректировал огонь батарей.

Немцы то смолкали, то снова отвечали огнем. Они били по переднему краю. И вдруг бризантный снаряд разорвался над самой вершиной скалы, в двухстах шагах от наблюдательного пункта. В воздухе застыло круглое, далеко видное облачко дыма. Немцы явно пристреливались к наблюдательному пункту. Вслед за бризантным последовало несколько гранат.

Подполковник прислушался к далеким хлопкам выстрелов.

— Это пятнадцатая,— уверенно сказал он,— но только снова переместилась куда-то левей и ближе.

Он быстро сделал несколько поправок в прежних данных и, отрывисто передавая приказания телефонисту, стал нащупывать среди снежных скал своего невидимого старого врага.

Вслед за немецкими снарядами следовали наши очереди.

Рыклис, делая новые поправки, видимо, все ближе подбирался к вражеской батарее.

Но и она, пристрелявшись, била все точней. Несколько снарядов разорвалось в сорока шагах от подполковника. Над каменной стенкой визжали осколки.

Рыклис не обращал на это ни малейшего внимания. Он был занят, очень занят. Ему было некогда. Он нащупал своего старого врага и подбирался к нему вплотную.

Все стремительней отдавал он приказания, все чаще следовали очереди наших орудий. Азарт этой артиллерийской дуэли горел на лицах всех, кто находился на наблюдательном пункте. Это была борьба — жестокая и очевидная. Надо было добраться до врага раньше, чем он доберется до нас.

Последний снаряд разорвался перед самой стенкой.

Подполковник потянул носом воздух. Пахло дымом и порохом. Он долго напряженно всматривался в стереотрубу и, сделав последнюю поправку, приказал дать очередь.

Сзади нас прогремела батарея.

Рыклис натянул перчатки и застегнул планшет движением человека, закончившего свое дело и собравшегося уходить.

Мы с молчаливым вопросом посмотрели на него.

— Теперь накрыта,— уверенно сказал он.— Это был ее последний выстрел. Можно идти греться. А впрочем, если хотите, подождем.

Мы подождали еще пятнадцать минут. Немцы молчали. Очевидно, подполковник был прав. В честь своего солдатского юбилея он победил сегодня еще в одном поединке.

1942 год.

ВОСЬМОЕ РАНЕНИЕ

Известие о герое написанного в сорок третьем году рассказа «Восьмое ранение» Карпе Яковлевиче Козюренко (в рассказе я назвал его Корниенко) пришло ко мне несколько странным, во всяком случае не совсем обычным путем. Зимой шестьдесят третьего года я получил из Благовещенска от Галины Григорьевны Успаковой письмо, в котором она просила меня сказать, действительно ли ее сослуживец Карп Яковлевич Козюренко — отставной военный, кавалерист, служивший в конном корпусе генерала Селиванова, восемь раз раненный за войну и награжденный многими орденами и медалями,— тот самый Карп Корниенко, который описан в моем рассказе «Восьмое ранение».

Отвечая на это письмо, я написал, что у меня не сохранилось того фронтового блокнота, в котором записана подлинная фамилия героя моего рассказа, но, помнится, что я тогда сознательно дал очень близкую фамилию, только чуть-чуть изменил ее, потому что факты в рассказе, за самым небольшим исключением, были все подлинные, а главное, все так сходится, что я почти исключаю возможность совпадения.

Прошло совсем немного времени, и вот я уже получил письмо-телеграмму, на этот раз уже не от заботливой сослуживицы человека, который, видимо, не считал нужным подкреплять данные своей боевой биографии чьим-нибудь специальным подтверждением, а от самого Козюренко — героя рассказа «Восьмое ранение».

Вот что писал мне в этом письме-телеграмме Карп Яковлевич Козюренко, который как был во время войны, так остался и в дни мира не очень-то разговорчивым человеком:

«Здравствуйте, Константин Михайлович, ваше письмо мне передали, благодарен, что вспомнили нашу встречу. Да, я действительно служил в это время в 5 корпусе. А встречались у начальника политотдела полковника т. Привалова и на должности я был нач. ахо корпуса. После нашей встречи я в скорости вновь вернулся в госпиталь. После госпиталя штаб фронта назначил меня командиром отдельного истребительного дивизиона, где я командовал. После войны меня судьба забросила в Амурскую область. Здесь я женился и укоренился. Долгое время я болел, у меня отнимались обе руки и ноги, но при помощи медицины я вновь встал в строй. Сейчас меня перевели работать на электроаппаратный завод. Жена работает в областной больнице. Дочери две учатся в школе, старшая в 7 классе, а младшая в 5 классе. С приветом — Козюренко».

Восьмое ранение он получил в песках под Моздоком. Был очень холодный ноябрьский день. Еще ночью задул сильный ветер с Каспийского моря и продолжался весь день, не переставая, сметая с песчаных горбылей снег, засыпая колючей порошей пушки, забиваясь под воротники шинелей.

Был день как день — обычный, один из тех, к которым за полтора года войны Корниенко уже привык и не находил в них ничего особенного. С утра было тихо, к полудню немецкие артиллеристы начали ловить его батарею, но не поймали. Потом стоявший слева полк атаковал несколько вражеских танков. Корниенко открыл огонь и поджег один танк, остальные ушли. Потом, часов до пяти вечера, опять было тихо.

Ветер был такой промозглый, что даже во время боя, работая у орудий, люди кутались в свои синие выцветшие башлыки, плотно обвязывая их вокруг воротников шинелей. Только сам Корниенко поднял уши у шапки и опустил воротник, а башлык заправил за ремень. Ему было так же холодно, как и всем, но так поступать у него была своя причина: пять дней назад его контузило, он плохо слышал, и ему все казалось, что это оттого, что мешают шапка и башлык. Однако лучше слышать он не стал, и, когда в пять часов вечера на батарею налетели бомбардировщики, он, стоя в отдалении от своих казаков, не услышал гула, перешедшего в свист, и бросился на землю только в ту секунду, когда где-то совсем рядом раздался взрыв.

Восьмое ранение было в живот. Он почувствовал боль и, превозмогая ее, попробовал сесть. Но руки скользили по снегу, и сесть ему долго не удавалось. Наконец, застонав, он все-таки сел и, опершись руками о землю, попробовал встать. И раньше, когда он бывал ранен, ему казалось, что главное — встать, оторваться от земли, тогда он превозможет боль и останется жив. Но сейчас он не мог приподняться. К нему подбежало несколько казаков, и пока двое укладывали его на носилки, остальные молча стояли вокруг. Он не мог видеть своей раны, но, встретившись взглядом с их глазами, понял, что, наверное, вид ее был ужасен. Он почувствовал: перед тем как его унесут, он должен что-то сказать своим батарейцам, они ждут этого. Но сказать ему хотелось только одно: что напрасно они на него смотрят как на покойника, что он не умрет.

— Достаньте, в правом кармане смертельник лежит,— сказал он шепотом.

Санитар расстегнул у него карман гимнастерки и достал оттуда черную круглую коробочку, похожую на те, в которые хозяйки кладут иголки.

— Открой,— сказал Корниенко, когда санитар достал смертельник.

Санитар открыл: коробочка была пуста. Тогда, обращаясь к казакам, уже совсем тихо, так, что даже не все расслышали, Корниенко сказал:

— С финской войны еще вожу и ничего не кладу, потому что все равно меня не убьют.

Он сказал это с ожесточением: ему было обидно, что батарейцы так легко могли поверить в возможность его смерти.

Носилки подняли, и он сразу потерял сознание.

В первый раз он очнулся, когда в полевом госпитале его стали готовить к операции. Он открыл глаза, увидел над собой знакомое лицо врача, у которого он один раз уже оперировался, и попросил, чтобы ему дали стопку водки. Врач не удивился этой просьбе: она была достаточно частой, и сам врач считал, что перед обработкой раненого водка иногда не вредит. Но Корниенко он отказал.

— На этот раз нельзя. У вас рана в живот.

— Ну не надо,— покорно ответил Корниенко и снова потерял сознание от боли, как только ему начали промывать рану.

Без сознания он был почти две недели. Иногда сквозь полусон он чувствовал, что его куда-то везут на машине, один раз почувствовал раскачивание поезда, потом опять наступала темнота, и в голове его проносились какие-то дикие, странные

образы, обрывки воспоминаний — все, что потом он, как ни старался, так и не мог вспомнить. Сознание окончательно вернулось к нему только в большой прохладной комнате с высоким белым потолком и двумя длинными рядами кроватей.

— Сестрица,— сказал он и удивился, что сестра не слышит.— Сестрица! — крикнул он.

Тогда сестра медленно повернулась, словно до нее долетел едва слышный шепот.

— Что за город? — спросил Корниенко.

— Ереван,— сказала сестра.

В окне виднелись крыши соседних домов, все в желтых пятнах южного солнца. На стене против койки висели большие часы с маятником. Корниенко показалось, что они стоят, потому что они не тикали, но потом он увидел, как качается маятник, и понял, что просто еще плохо слышит после контузии. Он со злобой вспомнил об этой контузии, из-за которой он к тому же был еще и ранен, и, чтобы отвлечься от дурных мыслей, решил поговорить с сестрой. Долго не мог он решить, с чего начать, потому что был неразговорчив вообще, а с женщинами в особенности. Наконец он спросил:

— Сестрица, а хороший город Ереван?

— Очень хороший,— сказала сестра.— Вот встанете, увидите.

Он попытался приподнять голову с подушки.

— Не надо, лежите тихо,— сказала сестра.— Вам сейчас опять будут делать переливание крови.

Так потянулись долгие дни.

Ему еще два раза делали переливание крови. Всего, как сказал ему доктор, в него влили почти два литра.

— Два литра крови,— сказал доктор, веселый, черноусый, начинавший толстеть армянин.— Два литра нашей армянской крови. Здоровая, хорошая кровь. Ты еще будешь молодцом, дорогой. Потолстеешь, твоему коню будет еще тяжело тебя возить.

Вспомнив о коне, Корниенко попросил принести его документы, среди которых была фотография его коня Зорьки, сделанная полгода назад одним заезжим фотокорреспондентом.

— Вот конь,— сказал Корниенко, не добавив от себя никакой похвалы, потому что было достаточно взглянуть на фотографию, чтобы видеть — такой конь в похвалах не нуждается.

Но доктор, никогда не бывший кавалеристом, с деланным сочувствием сказал:

— Ничего, хорошая лошадка,— и, бережно положив карточку около Корниенко, пошел к следующему больному.

««Хорошая лошадка!» Не понимает,— сказал про себя Корниенко и, дотянувшись до фотографии, поднес ее близко к глазам.— Разве можно сказать, что это хорошая лошадка? Это же трофейный конь, арабских кровей, во время разведки взятый у офицера. Да еще как взятый! Лихо взятый».

Он долго смотрел на фотографию. Был он холост и бездетен и, должно быть, оттого любил лошадей еще больше, чем остальные кавалеристы. Эта фотография была единственной, которую он возил в своем бумажнике. Правда, и его товарищи часто за дружеской беседой, после выпитой рюмки показывали вместе с фотографиями своих жен и детей фотографии своих любимых коней, но у Корниенко была только одна эта, и потому он ее особенно ценил. Он положил фотографию под подушку и показывал ее, когда его кто-нибудь навещал, если человек ему нравился. Собственно говоря, он сначала не думал, чтобы в этом далеком и чужом городе кто-нибудь мог его навестить. Но его навещали. Один раз приходили школьники, другой раз зашел однополчанин, с которым он служил еще в мирное время под Кишиневом. Три раза его заходили навещать женщины, которые отдали ему свою кровь. Два раза они приходили все втроем, шумно и весело, и приносили разные вкусные вещи, которые, однако, доктор запретил ему есть. На третий раз пришла только одна из женщин — высокая девушка-армянка, как ему показалось, очень красивая, но такая бледная, что ему вдруг стало неловко оттого, что именно она дала ему свою кровь. Он спросил, как ее здоровье. Она удивленно сказала:

— Хорошо.

— Вы мне бледной показались, поэтому я вас спросил.

Девушка, поняв, очевидно, его мысль, стоявшую за этим вопросом, заторопилась сказать, что она всегда такая бледная, южанка, а бледная, и загар ее не берет. Девушка села около него. Они помолчали. Потом он спросил, как ее зовут. Она сказала, что ее зовут Аннуш. Разговор опять оборвался. Корниенко было приятно, что она сидит рядом с ним, и, в сущности, он бы мог о многом ей рассказать. Если бы перед ним сидел кто-нибудь из товарищей, то он, наверное, сразу бы вспомнил не один десяток фронтовых историй. Но то, что это было в тылу, в госпитале и перед ним сидела девушка, которая могла воспринять его рассказы как бахвальство, удерживало его.

— Расскажите что-нибудь о себе,— попросил он.

Она смутилась. Ей уже давно сказали в госпитале, что вот этот бледный, усталый человек, лежавший перед нею, ранен

в восьмой раз, что он награжден тремя орденами Красного Знамени, что он и есть именно один из тех, кого называют героями. Но он молчал и ничего не говорил о себе — так что же могла рассказать ему она, простая девушка, только недавно окончившая десятилетку и еще ничего не видевшая в жизни? Однако молчание становилось тягостным, и она, запинаясь, стала рассказывать ему о том, как в последние годы жила каждое лето у отца в Нухе, в совхозе, работала там, а после работы часто по вечерам каталась верхом. Корниенко внимательно слушал, потом вдруг спросил, какая у нее была лошадь. Она рассказала. Тогда он запустил руку под подушку и вынул фотографию своего коня.

— Вот посмотрите,— сказал он.

Она посмотрела на фотографию и сделала несколько замечаний, к большому удовольствию Корниенко, свидетельствовавших о том, что она несомненно понимала толк в лошадях. Оживившись, он начал рассказывать о том, как ходил в разведку и как ему достался этот конь. Ему очень хотелось, чтобы она представила себе, как все это было: и как он под носом у немцев вскочил на коня, и как удрал от них. Потом, еще раз поглядев на фотографию, он добавил:

— Тут этого не видно, а у коня левое ухо прострелено. Они прострелили, когда я от них тикал,— насквозь, как березовый листочек.

Когда девушка уходила, она неожиданно вскинула на него свои большие, с мохнатыми ресницами глаза и, встретив его взгляд, поняла, что он очень хочет, чтобы она пришла еще. Она посмотрела на него неожиданно, и он не успел спрятать этот просящий взгляд. Девушка сказала, что в следующее воскресенье придет к нему опять.

После ухода Аннуш Корниенко долго лежал, закрыв глаза, и вспоминал, с каким интересом она слушала рассказанную им историю. Он представил себе, как, выйдя из госпиталя, он пойдет по солнечной улице, она — рядом с ним.

Тут он с досадой вспомнил об одном обстоятельстве, которое его давно огорчало. До сих пор он так и не удосужился получить ни одного из своих трех орденов: два раза привозили в полк для него награды, и оба раза он, снова раненный, оказывался именно в это время в госпитале. В душе он был самолюбив, особенно теперь, когда он представил себе, как, выписавшись из госпиталя, пойдет гулять с девушкой по Еревану. Вот он будет ей рассказывать истории, а про ордена вспомнить не посмеет: не станешь же ей показывать удостоверение,

в котором написано, что он награжден. Ему стало обидно от этой мысли, и он невольно подумал, что хорошо, если бы комиссар полка догадался и прислал кого-нибудь в госпиталь с орденами для него. Несколько минут он мечтал о том, как это могло бы быть, как входит в палату Гуляев или, может быть, Загоруйко (лучше Загоруйко — он хороший парень) и вручает ему ордена.

Вечером в палату принесли центральные газеты, пришедшие сразу за несколько дней. Корниенко без посторонней помощи приподнялся на подушках и стал разглядывать газеты, одну за другой. У него от слабости еще рябило в глазах, и он читал только заголовки и смотрел фотографии. В одном из номеров он увидел на фотографии знакомое лицо. Приблизив газету к самым глазам, он прочел подпись: «Командир Н-ского полка майор А. М. Чуйко, награжденный орденом Ленина». Корниенко долго смотрел на фотографию.

«А. М... Александр Михайлович,— подумал он.— Только теперь майор. И усы отпустил...»

Он долго, пристально смотрел на фотографию.

— Александр Михайлович... Александр Михайлович...— повторял он машинально и снова смотрел на фотографию.

Вид ее всколыхнул в его памяти тьму воспоминаний. В голову лезло все сразу: и действительная служба в учебной батарее, и первые дни войны, Кишинев, Бендеры, Одесса и то, как он, сам сев за руль полуторки и посадив рядом с собой своего тяжело раненного командира батареи капитана Чуйко, привез его в госпиталь и сдал там на руки врачу, неподвижного, потерявшего сознание. То, что было между ними, нельзя назвать дружбой: Корниенко преклонялся перед Чуйко, это был человек, за которого он, не задумываясь, отдал бы жизнь, человек, который из упрямого, любопытного, но неграмотного парня сделал его артиллеристом, влюбил его в артиллерию, заставил почувствовать, что такое настоящая жизнь. Пастух из Усть-Лабинской станицы, грузчик в Керченском порту, шофер-самоучка, Корниенко пришел на действительную, в батарею, таким, каким бы он сейчас, пожалуй, себя и не узнал. У него были только упрямое решение выбиться в люди, воловье здоровье и от природы золотые руки, а остальное дал ему Чуйко. Сам одержимый артиллерист, он заставлял Корниенко учиться математике, баллистике и даже в воскресенье утром, встретив его где-нибудь, кивал ему как заговорщик и говорил:

— Пойдем, Корниенко, до пушек.

И они шли «до пушек», и Чуйко, казалось, никогда не надоедало объяснять, а Корниенко — слушать. Он сделал из Кор-

ниенко лучшего артиллериста батареи, и когда тот стрелял на учебных стрельбах, Чуйко волновался так, словно вся его судьба зависит от того, насколько удачно будет стрелять его ученик.

Потом они вместе попали на фронт, чтобы через два месяца, под Одессой, расстаться,— казалось, навсегда. Нет, это не было дружбой — это было больше, чем дружба. Самолюбивый, уверенный в себе, считавший (и не без оснований), что, куда бы он ни попал, он со своими пушками справится лучше всех, Корниенко в то же время совершенно забывал о самолюбии, когда вспоминал про Чуйко. В самые трудные минуты жизни Корниенко не покидало острое желание, чтобы именно Чуйко посмотрел на его работу.

Н-ский артиллерийский полк... Где он этот полк? Где майор Чуйко? Куда ему написать? Почему не напечатали адреса в газете? Чего им стоило: «Н-ский артиллерийский полк, такая-то военно-полевая почта». Не напечатали...

Он посмотрел еще раз на фотографию, и ему, уже не из самолюбия, а из благодарности к Чуйко, захотелось, чтобы вот так же была напечатана и его, Корниенко, фотография и чтобы Чуйко, так же как он сегодня, увидел эту газету.

Ночью в палате горел синий свет. Корниенко не спал. Усталость, накопившаяся за эти полтора года, до сих пор мешала ему думать о возвращении на фронт и о войне. Ему было спокойно, хорошо и казалось, что можно еще долго так лежать и после выписки из госпиталя гулять по улицам, подставляя лицо солнцу.

Но при воспоминании о Чуйко его мысли вернулись в полк, и он стал озабоченно думать, кто же теперь там командиром батареи, и, ревниво перебирая всех, кто бы мог быть назначен на эту должность, прикидывал, что все равно тот, другой, не справится так, как справлялся он. Он соображал, где мог стоять сейчас полк; если на прежнем месте, то, наверное, батарейцы вырыли уже блиндажи, как он им говорил, под горкой и наблюдательный пункт давно сделали там, где тогда собирались, на холме, слева. И должно быть, сейчас в термосах ужин принесли. А завтра с утра опять бой будет. И он почувствовал, что его там не хватает. А может, думают, что умер он? Если так, то интересно, что говорят про него.

И когда он представил себе все, что может сейчас происходить на батарее, у него было такое чувство, будто он надолго уехал из дому, и даже если этот дом совсем не там, где был, а перекочевал в другое место и совсем на других пригорках

роют себе норы его артиллеристы, то все равно именно это и было домом, и никуда от этого до конца войны нельзя уйти.

Из госпиталя он вышел, пролежав полтора месяца. Был воскресный день, ясный и теплый. Снег, выпавший в начале января, давно стаял. По широким сухим тротуарам, наступая на солнечные пятна, прогуливались пары. Встречалось много раненых, на костылях и без костылей, с нашивками на шинелях. Они шли особенно медленно, некоторые потому, что им еще трудно было ходить, другие потому, что отвыкли от воздуха и солнца. Все, что они делали после выздоровления, они делали особенно неторопливо и с удовольствием. То же чувство испытывал и Корниенко. Он шел по тротуару, прихрамывая на левую ногу, на которой в последнее время опять открылась старая рана, и тяжело опираясь о палку. Рядом с ним шла Аннуш. Она весело и подробно рассказывала ему про улицы, по которым они шли, про дома, магазины и вывески. Он делал вид, что слушает ее, хотя на самом деле слышал не все, целиком поглощенный ощущением воздуха и солнца и тем, что вот он снова может сам передвигаться, идти, куда хочет, по этому южному, сверкающему городу.

— Коля, да вы меня не слушаете,— вдруг сказала Аннуш.

— Нет, я слушаю, слушаю,— ответил он, легонько взяв за локоть и прижав к себе ее руку.

Она продолжала что-то щебетать. А он шел и думал, что сделал очень хорошо, назвавшись ей Колей, хотя на самом деле его имя было Карп — Карп Корниенко. Его давным-давно никто не называл по имени, в армии все его звали или «товарищ Корниенко» или просто «Корниенко», а другой жизни, кроме армии, у него давно уже не было. И когда она спросила, как его зовут, имя Карп вдруг показалось ему таким некрасивым, что он сказал: Коля.

— А вот это военный комиссариат,— сказала Аннуш, когда они проходили мимо одного из зданий.

Он посмотрел на дом. У входа была обычная, как в тысяче других городов, вывеска. Он прикинул в уме, через сколько времени он попадет в этот дом после врачебной комиссии, и подумал, что едва ли раньше чем через месяц. Он шел по городу, и все встречные невольно смотрели на него, на восемь нашивок — три золотые и пять красных,— пришитых к его шинели.

Когда Аннуш привела его в домик к своим родителям, он, сев за накрытый к обеду стол, где уже собралась семья (старики, сестра и младший брат Аннуш — мальчишка лет тринадцати), сначала чувствовал себя неловко: с такой предупреди-

тельностью, словно к больному, все относились к нему. А мальчишка просто ел его глазами. Зачерпнув ложку супу, он, не донеся ее до рта, остановился и смотрел на Корниенко так жадно, как будто тот сейчас провалится сквозь землю и он никогда его больше не увидит. Корниенко встретился с ним взглядом, вспомнил себя таким же пареньком, неожиданно подмигнул, и оба рассмеялись. Напряженность исчезла, и дальше пошел длинный, шумный, бестолковый обед с тостами, которые Корниенко не всегда понимал, и армянскими кушаньями, которых он никогда еще не пробовал.

Вечером он вернулся в дом для выздоравливающих. Было уже поздно, но никто не спал: некоторые лежали, некоторые сидели на кроватях. К потолку поднимался густой табачный дым. На крайней койке, привалившись к прислоненным у изголовья костылям, сидел одноногий лейтенант и, тихонько подыгрывая себе на гармони, пел вполголоса:

Под весенним солнцем развезло дороги,
И на Южном фронте оттепель опять.
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге.
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать...

Корниенко дошел до своей кровати и лег.

«Да, наверное, там оттепель,— подумал он.— Судя по всему, полк наступает где-нибудь под Армавиром. Кони, наверное, устали, но пушки все-таки тащат».

Он представил себе, как едет на своей Зорьке впереди батареи, и ему стало жаль одноногого лейтенанта, который — не то что он, Корниенко,— никогда уже больше не вернется в свой полк.

Через месяц на медицинской комиссии его признали инвалидом, освободили вчистую и выдали пенсионную книжку. Все это случилось в течение каких-нибудь трех часов, потому что дело казалось врачам ясным. Он переходил из рук в руки, его выстукивали, осматривали, выписывали бумажки. Он опомнился, только когда вышел на улицу, и остановился в недоумении: куда же, собственно, ему идти? В кармане гимнастерки у него лежала пенсионная книжка. Он с удивлением ощупывал карман: она действительно там лежала. «Вчистую». Это слово, которое он когда-то механически повторял, говоря о других, сейчас было готово его раздавить. Он задумался и попробовал представить себе, как будет дальше жить. Значит, у него не будет полка, не будет батареи, там будет другой командир, а он уже не увидит никого из тех, с кем воевал. Он не будет ехать

рядом со своими пушками по грязным весенним дорогам и подгонять лошадей, не будет выбирать наблюдательные пункты, не будет вести огонь, и в термосе не принесут вечером еду, и он не перекурит с друзьями, и никто уже ему не скажет «товарищ командир», потому что он уже не будет командиром, и никому он не отдаст приказания, потому что некому будет приказывать. И он даже не будет знать, где находится его прежняя батарея, потому что никто ему этого не скажет, он не будет иметь к ней никакого отношения.

Он медленно шел по улице, прихрамывая, опираясь на палку тяжелее, чем обычно. «Это старый кадровик»,— обычно говорили про него, когда заходила о нем речь в полку с кем-нибудь незнакомым. И он никогда раньше особенно не вдумывался в это слово. Но сейчас он вдруг сообразил, что позади осталось чертовски много лет — три года действительной, три года сверхсрочной, полтора года войны. Жизнь без армии давно перестала существовать для него. И сейчас он, трезво рассуждая, очень хорошо представлял себе, как он, освобожденный вчистую, будет где-нибудь работать, хотя бы в этом городе, в каком-нибудь учреждении, или за городом, в совхозе, и, может быть, женится — и все пойдет так, как идет в жизни у многих тысяч людей. Он мог думать об этом, но, когда он хотел более реально представить себе, какая она будет, эта жизнь, он не мог себе этого представить, это было невозможно.

Когда он остановился, то увидел, что незаметно для себя прошел почти весь город. Он повернулся и поспешно, как только мог, пошел назад. Но пока он дошел до военкомата, наступил уже вечер и занятия кончились.

Было совсем темно, когда он добрался до дома, где жила Аннуш. Там его ждали, и Аннуш, выбежавшая ему навстречу, спросила:

— Ну как? Что тебе сказали?

— Ничего, все в порядке,— ответил Корниенко.— Говорят, скоро совсем поправлюсь. Завтра вечером поеду догонять свою часть.

Он видел по ее глазам, что она не верит, чтобы на медицинской комиссии могли сказать ему, что все хорошо. Но она не посмела переспросить его и только молча взяла за руку и привела в комнату, где его встретили ее родители. И началась обычная домашняя суета о приготовлении ужина. Он сидел у них весь вечер, половину ночи и по тому, как с ним говорили Аннуш и окружающие, чувствовал, что, куда бы он ни уехал, в этом доме его будут ждать.

* *
*

Командир дивизии полковник Вершков сидел над картой в низкой, черной халупе. Войдя, он забыл стащить с себя папаху и сейчас, сдвинув ее на затылок, грудью навалившись на стол, рассматривал с начальником штаба карту. Левой рукой он машинально размешивал ложкой в стакане воображаемый чай, который уже давно был выпит.

— К вам прибыл лейтенант Корниенко,— приоткрыв дверь, сказал адъютант.

— Корниенко? — переспросил полковник и со звоном опустил ложку в стакан.

— Так точно, товарищ полковник,— сказал Корниенко, входя и оттесняя плечом адъютанта.

— Ей-богу, живой,— сказал полковник, вставая и делая два шага навстречу Корниенко.

В самые тяжелые дни боев самыми радостными для полковника были те минуты, когда он узнавал, что тот или другой из его знакомых казаков после ранения возвращался в часть.

— Здравствуй, Корниенко.

— Здравствуйте, товарищ полковник,— сказал Корниенко и в свою очередь сделал два шага навстречу полковнику, стараясь не прихрамывать (палку он оставил за дверью).

— Вот правильно,— сказал полковник, обращаясь к начальнику штаба.— Правильно. Выздоровел — и направился в часть, в свою же часть.

— Никак нет,— сказал Корниенко, продолжая стоять навытяжку.— Никак нет, товарищ полковник, не направляли меня в часть. Я без документов пришел, два раза задерживали меня.

— Без документов?! — удивленно протянул полковник.

— Так точно.— Корниенко все еще продолжал стоять навытяжку.— Вот мне весь документ дали,— добавил он дрогнувшим голосом.— Вот он, документ.

Он положил, почти бросил на стол перед полковником свою пенсионную книжку. Он хотел сказать что-то очень важное, давно приготовленное, но промолчал, потому что в первый раз в жизни почувствовал, как комок подступает к горлу.

Полковник перелистал пенсионную книжку, потом перевел взгляд на Корниенко, на его восемь нашивок, на грязную, оборванную шинель, в которой он, видимо, добирался сюда то попутными машинами, то пешком по весенней кубанской грязи, и наконец медленно сказал:

— Садись.

Когда через час за Корниенко закрылась дверь, полковник повернулся к начальнику штаба и сказал, разводя руками, словно оправдываясь в собственной слабохарактерности:

— Что, Федор Ильич, что я могу с ним сделать? Ну что я могу с ним сделать?

— Ничего, Сергей Иванович,— улыбнулся начальник штаба.

Но полковник продолжал оправдываться:

— Вы понимаете, если человек из Еревана добрался сюда, под Ростов, больной, без документов, без аттестата — разве я могу ему после этого сказать: «Нет, вы не в силах нести службу»? Может, и правда, он не в силах, но не нести эту службу он и вовсе не в силах, сами видите... О чем вы задумались, Федор Ильич? — спросил полковник у начальника штаба, который, посасывая трубку, молча ходил по комнате.

— Все о том же,— сказал начальник штаба.— Все о том же — о войне. Вот вы тут говорили весь этот час с Корниенко, а я слушал и думал: «Победим, непременно победим».

А Корниенко в это время ехал в свой полк на вездеходе полковника, который тот лично приказал ему дать. Он ехал, и хотя счастье, что он возвращается к своим, переполняло его душу, но в то же время не переставали мучить две смутные мысли. Во-первых, ему не нравилось, что полковник сказал: «Съездите пока к себе на батарею, а там мы завтра решим, куда вас назначить». Это «завтра решим» не нравилось Корниенко и мучило неизвестностью. Кроме того, хотя и было приятно, что полковник дал ему свою машину, в то же время это и пугало его. Ведь раньше полковнику никогда не приходило в голову возить его на своей машине. А сегодня вот он дал ему машину, как инвалиду, как человеку, которому, по мнению полковника, трудно даже добраться до своего полка. И эта вторая мысль тоже пугала Корниенко, заставляла его с завистью поглядывать на казаков, трусивших по обочинам дороги на своих низкорослых донских лошадках.

На батарее, уже под вечер, когда Корниенко увидел всех живых и помянул всех мертвых, когда все уже было переговорено и рассказано по три раза, когда он дотошно осмотрел пушки, из которых две были новые, а две еще старые, его пушки,— Корниенко с товарищами уселся наконец, укрываясь от ветра, под стену разбитого сарая и спросил, нет ли закурить. Ему растерянно ответили, что закурить-то есть, но вот уже сутки, как вся бумага вышла, не из чего ни одной цигарки скрутить.

— Неужели не из чего? — спросил Корниенко.

— Не из чего.

Тогда он полез в карман гимнастерки и достал оттуда сложенную в восемь раз, потертую на сгибах газетную страницу. Это был старый, прошлогодний номер армейской газеты. Он с особенной бережливостью хранил эту газету именно потому, что ему так до сих пор и не выдали ни одного ордена, а в газете корреспондент очень интересно и подробно описал все, что касалось Корниенко, и даже указал на заслуженные им награды. Корниенко вынул газету, минуту помолчал, держа ее в руках, потом, оторвав сначала клочок на цигарку себе, передал ее товарищам.

— Ладно. Все равно уж,— сказал он, не объясняя никому, что это за газета.— Все равно уж, завернем. На радостях.

1943 год.

БОЙ НА ОКРАИНЕ

В 1963 году, работая над книгой «Солдатами не рождаются», мне довелось встретиться с бывшим командиром так называемой группы Горохова, воевавшей на северной окраине Сталинградского тракторного, генералом в отставке Сергеем Федоровичем Гороховым. Мы вспоминали с ним людей, которых я знал и о которых писал, когда был у него в группе в дни обороны города. Некоторые из этих людей погибли, кое-кого он знал сейчас, а многих потерял из виду.

Среди этих потерянных из виду был и командир батальона Вадим Яковлевич Ткаленко, о котором я когда-то писал очерк «Бой на окраине».

Мы разошлись с Гороховым, посетовав о том, что следы людей теряются. Но прошло всего несколько месяцев, и вот я получил от Сергея Федоровича письмо. «Константин Михайлович, вы интересовались командиром 2 отд. стр. б-на, 124 ОСБР т. Ткаленко Вадимом Яковлевичем (Чапай). Недавно я узнал его адрес и решил сообщить вам». Получив это письмо, я написал по указанному в нем Гороховым адресу, и вскоре у меня на столе лежал ответ от героя очерка «Бой на окраине». Хочу привести несколько цитат из этого письма, говорящих о дальнейшем пути одного из тех людей, которые тогда, в сентябре и октябре сорок второго, не пустили немцев к Волге.

«...Повоевать мне пришлось много. После окончания боев на Волге я попал от ее могучих просторов к истокам, ее началу. Воевал в Калининской и Смоленской области. Со 124 бригады, которая после Сталинградских боев стала Краснознаменной, выбыл по ранению. После излечения был назначен командиром стрелкового полка... Как вам известно, начало войны меня застало на западных границах Украины. Освобождая Украину, я вышел со своим полком в 12 километрах севернее от того места, откуда начал отступать. Побывал в тех местах, нашел квартиру, на которой пришлось переночевать ночь перед войной. После окончания войны еще год находился в армии, служил в Донском военном округе. Ушел с армии 7 мая 1946 года... За время войны мне много пришлось, поневоле, произвести разрушений, а поэтому сразу по приходе с армии я включился в работу по восстановлению Донбасса. Первые два года работал помощником главного механика угольного треста, а с 1948 года по настоящее время — в системе Шахтстроя монтажником... Восстанавливали разрушенные войной шахты и обогатительные фабрики, а окончив восстановление, строим новые. В 1957 году построили и смонтировали семь комсомольских шахт. Вот так и идут мои житейские дела... Семья у меня небольшая — шесть человек. Два сына, дочь, жена и мама. Старший сын уже отслужил положенный ему срок в Советской Армии, сейчас учится в техникуме. Дочь учится в музыкальном училище, а самый меньший кончает 8 класс. Мы с женой работаем, а бабуся наша, моя мама, на хозяйстве... Приезжайте к нам в Донбасс, я вас познакомлю здесь с хорошими людьми, в обиде не останетесь. Вот как будто на первый случай и все. Вадим Ткаленко».

За спиной — Сталинград. Это чувствуется не только потому, что, когда повернешься назад, видишь контуры города, крыши домов, заводские трубы. Эти слова в самом воздухе боя, в выражении лиц людей, которых встречаешь здесь, на передовых. Губы сжаты, в усталых, красных от бессонницы глазах возбужденный блеск, рождающийся у тех, кому еще предстоит самое главное и самое тяжелое.

Командир батальона старший лейтенант Вадим Яковлевич Ткаленко при первом взгляде чем-то неуловимо напоминает Чапаева. Может быть, это сходство придают светлые, пшеничные, завивающиеся кверху усы и слегка набекрень надвинутая на русые волосы пилотка. Словом, он чем-то очень похож на Чапаева — такого, к какому мы привыкли в кино. И только когда

Ткаленко выходит из блиндажа и вытягивается во весь рост в тесном ходе сообщения, вдруг по его почти мальчишеской худобе, по угловатым движениям замечаешь, что он еще очень молод и что его усы — это скорей юношеская прихоть, чем принадлежность старого солдата.

Ткаленко исполнилось всего двадцать три года. Молодость сохранилась в его походке, в движениях, в фигуре, но в глазах ее не осталось. У старшего лейтенанта пристальные, твердые, беспощадные глаза человека, прожившего за год войны десять лет и десять жизней. Пристальными их сделал опыт, твердыми — привычка к опасности и беспощадными — народное горе.

Должно быть, потом будет трудно определять возраст тех людей моего поколения, которые переживут эту войну. Их возраст трудно определить уже сейчас, после пятнадцати месяцев войны; человек двадцати трех лет, проживший эти пятнадцать месяцев на фронте,— человек совсем другого возраста, чем такой же двадцатитрехлетний, только вчера пошедший в свой первый бой.

Осенью прошлого года Ткаленко одно время носил не только усы, но и бороду. Тогда, возглавляя группу разведчиков, он работал по тылам врага. Совершал налеты на штабы, держал связь с партизанами. Однажды — это было недалеко от Умани, в селе Христиновка,— готовясь к налету на немецкий штаб, он стал невольным свидетелем того, что ему, наверно, не удастся позабыть до последнего дня жизни.

В селе работал фашистский карательный отряд. Он искал командира партизанского отряда — «дядю Ваню». Дядя Ваня был родом из этого села. Ткаленко стоял в толпе рядом с одним из его партизан. Карателям было точно известно, что дядя Ваня где-то здесь поблизости. Сначала они взяли его отца, дряхлого старика, и после тщательного допроса, обмотав двумя канатами — одним под мышки, другим за ноги,— привязали к двум танкеткам и разорвали на части. Согнанный на улицу народ угрюмо молчал.

Тогда они стали подходить поочередно то к одной, то к другой женщине и, вырывая из их рук детей, спрашивали, где дядя Ваня. Женщины молчали.

Фашисты одного за другим отводили детей в сторону. И когда их набралось больше двух десятков, они всей гурьбой обхватили их канатом, завели танк и под общий замирающий стон нечеловеческого ужаса раздавили детей. Всех вместе. Танком.

В эту секунду Ткаленко, у которого в кармане была граната, опустил руку в карман и выхватил ее. Но чьи-то тяжелые пальцы сдавили его руку, и партизан, стоявший рядом с Ткаленко, почти неслышно сказал ему в самое ухо тихим, задыхающимся шепотом:

— Там и мой один, а я же стою, смотрю.

И он, разжав пальцы, отпустил руку Ткаленко. Ткаленко не бросил гранаты. Он бросил ее потом, ночью, вместе со многими другими, когда они громили штаб карательного отряда. В эту ночь Ткаленко не выполнил приказа: он не взял языка, и, пожалуй, трудно его за это винить.

С тех пор он видел еще много народного горя, но этот день, канат, обвязавший детей, молчащая сельская площадь и общий вздох ужаса заслонили в его сознании все, что он видел потом, после этого.

С тех пор, когда ему говорили «фашисты», он видел эту площадь. Когда ему говорили «иди в атаку», он видел эту площадь.

Его двадцатитрехлетние глаза стали беспощадными, в них больше не светилась молодость, в них застыла ненависть. Только ее холодный огонь освещал эти глаза.

На войне рассказывают о войне по-разному, иногда волнуясь, иногда приходя в ярость. Но всего чаще бывалые люди говорят о самом невероятном так, как Ткаленко,— спокойно, точно, сухо, словно ведя протокол. Это значит, что они все давно обдумали и решили и поставили перед собой отныне единственную и простую цель — убивать врага.

Мне интересно знать, что делал Ткаленко до войны, но он говорит об этом с неохотой человека, не желающего отвлекаться.

Да, он кончил экстерном десятилетку и шестнадцати лет, прибавив себе в документах два года, поступил в энергетический институт. В двадцать один год он уже был главным инженером большой электростанции.

Да, он очень увлекался энергетикой, и, быть может, он когда-нибудь вернется к ней вновь, но сейчас ему даже странно вспоминать об этом. Больше того — не хочется.

Его тяжело ранили зимой, и всю весну он пролежал в госпитале. Он почти умирал. Была такая минута тишины в белой больничной палате, когда ему вдруг показалось, что войны нет, хорошо, что так тихо, а все совершается где-то там, помимо него. Должно быть внутри него именно в эту минуту решался вопрос: выживет он или умрет? Но в следующую минуту ост-

рая боль в простреленном двумя пулями легком заставила его застонать. Он запекшимися губами спросил врача: выживет ли он и не будет ли калекой? И врач с солдатской прямотой ответил ему:

— Если,— на «если» он сделал ударение,— ты выживешь, то калекой не будешь.

И Ткаленко понял, что минута спокойствия и равнодушия родилась у него оттого, что он поверил в свою смерть. Но теперь он в нее не верил, он хотел жить. Он с хрипом дышал своим изорванным легким и хотел жить дальше, жить во что бы то ни стало!

Врач был прав. Ткаленко не стал калекой, хотя навсегда перестал быть здоровым человеком. И все-таки ему удалось преждевременно выписаться из госпиталя и почти сразу же попасть в новую, только еще формировавшуюся часть.

Он нетерпеливо лечился для того, чтобы скорей вновь убивать врага, но он был дисциплинированным солдатом; не сумев сразу попасть на фронт, он и в этой, пока еще тыловой, части нашел применение своей ненависти: он учил ей других, воспитывал ее в своих бойцах, потому что ненависть тех, кто видел, сильней ненависти тех, кто знает, но еще не видел своими глазами. Он не обманывал себя, но знал, что та последняя, разящая, неукротимая ненависть, которую он хотел прочесть в глазах своих солдат, не родится у них раньше первого боя. Но он радовался, видя, как они учатся драться, и с каждым днем все уверенней чувствовал, что они, эти ребята, которые моложе его на год войны, пойдут в бой и сумеют отомстить.

Этот день, которого он ждал со спокойствием человека, чей удел отныне война и только война, настал под Сталинградом.

День был тяжелым, бригаде полковника Горохова приходилось вступать в бой по частям, и первым был брошен в бой только что переправившийся батальон Ткаленко. Это было на рассвете на северной окраине города. Вечером немцы заняли деревню, примыкавшую к окраине, и утром, видимо, собирались двигаться дальше. Батальон должен был с ходу развернуться и отбросить врага обратно на север.

Предстояла кровопролитная атака. Но Ткаленко, по собственному опыту зная, как тяжело начинать свою военную жизнь с отступления, был рад, что его бойцам придется начать ее с атаки.

Она началась на рассвете. Лощина перед деревней была заминирована противотанковыми минами, и несколько танков, поддерживавших батальон, стреляли с места, не рискуя дви-

нуться раньше саперов. Пехота пошла одна. Через триста метров она встретила полосу минных разрывов.

Приходилось подниматься в гору, и Ткаленко, идя с батальоном, с горечью почувствовал, что ранения не обошлись ему даром. Он дышал только одним легким, и в гору идти было тяжело. Только благодаря тому, что он, по долгому опыту, делал все расчетливо и точно и не ложился лишний раз при недолетах и перелетах, так, как это делали рядом с ним его еще не обстрелянные бойцы, только благодаря тому он и на этот раз шел так, как привык,— одним из первых. Люди рядом с ним шли хорошо, даже лучше, чем он ожидал. Они, правда, излишне часто ложились, но зато их не приходилось поднимать, они сами быстро вскакивали и снова шли вперед.

На выходе из лощины гитлеровцы встретили батальон пулеметным огнем. Но первые дома были уже близко, и через несколько минут на окраине деревни завязался гранатный, рукопашный бой. Автоматчики отстреливались из домов, из подворотен, из-за заборов.

Одного из них, высунувшегося из-за крайнего дома, Ткаленко убил сам, почти в упор, короткой очередью из автомата. Здесь, у крайнего дома, он остановился. Он сделал со своим батальоном тот самый первый, самый страшный прыжок в первом бою, когда нужно пройти открытое пространство, прежде чем дорваться до врага. Теперь люди вошли в азарт боя. Противник был тут, рядом, под рукой, и это было уже несравненно легче, чем та лощина, через которую он только что провел батальон.

Ткаленко сам застрелил фашистского автоматчика, потому что тот подвернулся ему под руку. Но ненависть никогда не ослепляла его, она была у него беспредельной и поэтому трезвой.

Окинув взглядом местность, он спокойно стал отдавать очередные приказания.

Саперы разминировали два прохода для танков. Четыре танка перевалили через лощину и, войдя в деревню, открыли огонь вдоль улицы. Бой продолжался во всем своем ожесточении.

Вдруг наискось от Ткаленко вдоль забора промелькнула согнутая фигура.

— Стой!

Человек остановился в двух шагах от Ткаленко. Он был без пилотки и винтовки, только на поясе у него висела еще не отцепленная сумка с гранатами. Это был беглец с поля боя. И ко-

роткое мгновение, последовавшее за окликом «стой», Ткаленко употребил на то, чтобы взглянуть в его лицо и постараться вспомнить его фамилию, но он не мог вспомнить его фамилии, не мог потому, что черты этого лица были до неузнаваемости искажены страхом. Беглец шарил глазами по земле, казалось, ища отверстия, в котором можно исчезнуть.

— Куда? — холодно спросил Ткаленко, перехватывая в руке автомат.

Но тот ничего не ответил, а только, низко пригнувшись, попытался пробежать мимо старшего лейтенанта.

Ткаленко, не вскидывая автомата, коротким движением повел дулом, и беглец, согнувшись, упал, скользнув пальцами по стене дома. Ткаленко на секунду оглянулся на него и потом так же спокойно, как начал, продолжал отдавать приказания стоявшему рядом саперу.

В эту минуту ему было тяжело, но Ткаленко не хотел показать этого ни саперу, ни кому бы то ни было другому. Он не хотел обнаруживать своих чувств. Он хотел, чтобы по его спокойствию люди поняли: этого труса убил не он, Ткаленко, а закон, беспощадный закон войны.

К полудню деревня была занята. Ткаленко со своим связным перешел на ее дальнюю, северную окраину. Деревня была взята, но, чтобы удержать ее, следовало теперь же занять лежавшие впереди нее за километр небольшие высотки.

Ткаленко остался с третьей ротой в деревне, а вперед отправил командира второй роты, маленького расторопного Кашкина, и командира первой роты, веселого здоровяка Бондаренко, прозванного в батальоне «декабристом» за густые, черные, заботливо выращенные бакенбарды.

Они быстро двинулись со своими ротами вперед, легко преодолевая редкий огонь несколько растерявшихся после первого удара немцев.

Через два часа связные донесли Ткаленко, что Бондаренко у обрыва над Волгой захватил четыре автоматические пушки. Ткаленко был доволен результатами боя, но опыт подсказывал ему, что враг на этом не успокоится.

Он приказал срочно перетащить через овраг, теперь оказавшийся позади него, две оставшиеся в тылу противотанковые пушки.

Недавно прошел дождь. Скаты у оврага были крутыми и скользкими, и пушки предстояло сначала опустить в овраг на руках, а потом, также на руках, поднять оттуда. Артиллеристы медленно и осторожно начали спускать пушки.

Было около пяти часов. Внезапно в лощине, пролегавшей между занятой деревней и высотами, на которых засели первая и вторая роты, показалось пятнадцать тяжелых немецких танков. Батальон вступил в бой прямо с марша, и в его распоряжении почти не было ни противотанковых гранат, ни ружей. И в этом была вся сложность положения. На танках ехали десанты. Одновременно с их появлением немцы открыли огонь из дальнобойных полковых минометов. Два противотанковых ружья сержантов Ройстмана и Чебоксарова открыли огонь по танкам, два танка загорелись, но остальные прошли вперед, раздавив гусеницами противотанковые расчеты. Через четверть часа еще два танка загорелись, взорванные связками гранат. Остальные танки с грохотом утюжили поле боя, стараясь раздавить пехоту. Соскочившие автоматчики пошли в наступление. И чем дальше, тем труднее было задерживать их огнем, потому что танки не давали поднять голову от земли.

Позади первой роты был обрыв, спускавшийся к Волге, а впереди — танки. Именно это имел в виду лейтенант Бондаренко, когда, показав рукой сначала вперед, а потом назад, хрипло сказал лежавшим рядом с ним бойцам:

— Или биться, или полечь. Все!

Ткаленко видел все происходившее. Две роты были отрезаны от него, и их положение становилось угрожающим. Первым его душевным движением было сейчас же пойти самому туда, где умирали его люди, но в следующую минуту он хладнокровно решил, что их спасение заключалось не в этом. Оно было в пушках, а пушки все еще втаскивали на скользкий откос. Прервав наблюдение за полем боя, Ткаленко сам занялся их подъемом. Он делал это, как и все, что делал, без лишней торопливости и суеты, и поэтому подъем сразу пошел быстрее.

Наконец пушки подняты. Было некогда отыскивать им другие позиции, и они открыли огонь прямо с откоса, оттуда, куда их подняли. Танки двигались боком к ним, и сразу же два из них были подбиты. Это и стало переломной минутой боя. Танков осталось девять из пятнадцати, к тому же начало темнеть, и оставшиеся танки, очевидно не рискуя пойти в лоб на пушки, повернули и стали выходить из боя. Автоматчики стали отступать вслед за ними. Бой шел всю ночь, до утра, пока последние из них, оставшиеся в живых, не отошли за гряду холмов.

Утром хоронили убитых. Батальон понес большие потери, и Ткаленко был сумрачен. Его удручало количество убитых.

В таком настроении я и застал его днем. Был час относительного затишья, и, когда я зашел к нему, он, задумавшись,

молча сидел в блиндаже. Все время, пока он рассказывал мне о своей жизни, я тщетно ловил на его лице хотя бы подобие улыбки. Потом, когда мы вышли наружу, на солнце, я посмотрел ему в лицо и, подумав, что, может быть, это усы придают ему выражение такой постоянной, не свойственной его годам серьезности, спросил:

— Усы сбрить не собираетесь?

И тут он улыбнулся в первый раз, грустно и застенчиво.

— Вы знаете,— сказал он мне,— я дал зарок, я забыл вам об этом сказать. Когда мы последний раз в прошлом году ходили в разведку в тыл, четверо из шести на обратном пути погибли: трое на месте, а четвертый, Хроменко, умер у меня на руках, когда я тащил его до наших. Он был огромный, веселый человек, в прошлом тяжелоатлет. Когда мы нагнулись над ним в последнюю минуту, он сказал нам: «Вот, хлопцы, як просто построена жизнь, дивись вот — был жив и вот вмер!» Сказал и умер. Мы двое, оставшиеся в живых, похоронили его, и второй из нас, грузин Самхарадзе, сказал мне: «Знаешь, что, лейтенант, давай бороду сбреем, а усы в память о них оставим до конца войны, пока за умерших драться будем». Вот каким образом получился зарок.

И Ткаленко во второй раз улыбнулся своей застенчивой и грустной улыбкой.

— А вот и Бондаренко. Вы хотели пойти к нему в роту. Вот он сам.

К нам подошел рослый, краснощекий «декабрист» Бондаренко. Видимо, он хотел придать бакенбардами суровость своему веселому, круглому лицу. Это ему плохо удавалось, но зато голос у него был басовитый, зычный, совсем как у старого солдата.

Мы простились с Ткаленко, и Бондаренко повел меня в свою роту. Он неторопливо показывал мне ее расположение, блиндажи, окопы, хитро устроенный наблюдательный пункт, с которого были отлично видны проходившие в шестистах метрах отсюда вражеские позиции. По всему чувствовалось, что этот человек со своей ротой прочно, по-хозяйски зацепился за землю и меньше всего собирается с нее уходить.

Потом мы спустились с ним вниз, под крутой волжский обрыв. Мне еще никогда не приходилось видеть, чтобы население жило так тесно, рядом с войсками, на передовых позициях, как вот здесь. Но другого выхода, видимо, не было, и женщины, дети и старики из сожженных деревень ютились здесь, на берегу Волги, под обрывом, в пещерах. Кругом слышался плач детей,

и смертельно усталые глаза женщин провожали нас долгим просящим взглядом.

Я повернулся к Бондаренко и вдруг на его круглом, только что веселом лице прочел то же выражение застывшей, неискоренимой ненависти, какое я читал на лице его комбата.

— Сволочи, до чего довели,— сказал Бондаренко.— Вы подумайте только, до чего людей довели. Как звери — в пещерах.

Обратно в батальон меня провожал автоматчик, совсем молодой паренек, на вид никак не больше двадцати лет. Он был родом из Сибири.

— Страшно было в первом бою? — спросил я.

— Ага. Страшно,— сказал он.— Сначала страшно, а потом ничего. Когда я убил его, то стало не страшно. Он из-за угла выскочил, я ему под ноги гранатой ударил — и убил.

И в третий раз за этот день я увидел все то же выражение ненависти.

Да, есть предел, за которым кончается человеческое терпение, за которым из всех чувств остается только одно — ненависть к врагу, и из всех желаний остается только одно желание — убить его. Все те, кто был в Сталинграде в эти дни и видел все, что здесь происходит, уже перешагнули этот предел вместе с Ткаленко, вместе с Бондаренко, вместе с автоматчиком, фамилии которого я не знаю, вместе со всеми защитниками Сталинграда.

1942 год.

ЗВЕЗДЫ НА БРОНЕ

Поколения наших советских отцов и детей, работая вместе и стремясь к общей цели — построению коммунизма, тем не менее отличаются друг от друга — и не только количеством прожитых лет. 20 со дня всемирно-исторической победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне детьми воспринимается как историческое свидетельство, передаваемое по наследству. А для нас, отцов и матерей, те грозные годы титанической борьбы нашей Советской Родины с черными силами фашизма были действительностью и составляли главное содержание нашей жизни.

Гигантский фронт и военный тыл жили единой волей и стремлением: скорее разгромить гитлеровские полчища и вернуть драгоценное счастье мира. Воспитанный партией на основах великого учения Ленина, наш народ, как на линии огня, так и в тылу, проявил такую беззаветную храбрость и любовь к Родине и такую высокую сознательность в труде, что все мы, пережившие те грозные годы, одушевлены стремлением: как можно глубже, многограннее и выразительнее передать дух той эпохи, рассказать, как на фронте и в нашем военном тылу ковалась великая победа.

С первых месяцев войны я стала корреспондентом «Правды» на Урале и писала главным образом о наших оружейниках, создателях танков, знаменитых «тридцатьчетверок». Сотни дней и ночей я видела патриотический труд уральских сталеваров, кузнецов, слесарей, сборщиков.

— У нас только что не стреляют, а труд наш огненный, фронтовой! — с полным основанием говорили тогда славные уральские мастера.

Фронт был за тысячи километров от Урала, но как сильно чувствовалась нерушимая связь фронта и тыла!.. Вспомнить, например, дни передачи очередной партии танков представителям фронта. Сколько бы

ни сдавалось «тридцатьчетверок», каждая машина проходила пробу. Белый (зимний) танк с разбегу вычерчивал на пробном поле круги, эллипсы и восьмерки, алмазно сверкая на солнце, летела во все стороны морозная пыль, а грозный рык новой боевой машины гулко отдавался где-то за дальними горами и лесами. А проводы танков на фронт! Белые полушубки фронтовиков, деловито-подтянутые провожающие и сурово-сердечные пожелания в сторону длиннейшего эшелона танков:

— Побольше вам, голубчики, звезд на броне!

А те звезды — даже малые ребята это понимали — означали будущий счет побед советских танкистов над черными полчищами фашистских «тигров».

Я написала большую трилогию «Родина», посвященную трудовому подвигу нашего рабочего класса, десятки оперативных очерков о славных мастерах танковых заводов на Урале, но все это только малая часть виденного и перечувствованного в те годы.

Предлагаемые очерки, написанные в годы войны, за вычетом небольших сокращений, сохраняют имена, факты и настроения тех незабываемых дней.

СТАЛЬ ИДЕТ

Сталевар Ибрагим Валеев нажал на рычаг. Заслонка поднялась, и печь распахнула свой пылающий зев. Огненная вьюга бушует в ее раскаленном чреве. Что яростнее и прекраснее кипения стали! Пожалуй, только с солнцем можно сравнить этот могучий пламень и великолепное неистовство покоренного человеком металла.

Золотой свет заливает площадку перед печью № 3. На фоне этих широких отблесков черная сухощавая фигура сталевара кажется тонкой и юношески стремительной. Он всегда в движении: то подходит к разверстой печи и напряженно всматривается сквозь синее стекло в бурлящее кипение стали, то в разных направлениях пересекает площадку и бросает в печь, лопату за лопатой, руду, известь, марганец, то опять нажимает на рычаг, и заслонка падает; то он поворачивает руль регулятора, то командует брать пробу. Его большие агатового цвета глаза следят, как с длинного черпака скатываются тяжелые литые капли кроваво-золотой пробы. Сталь брызжет звездным дождем искр и, шипя, растекается на черных плитах пола.

— Скоро будем ее выпускать,— говорит Валеев, вытирая потное лицо,— сегодня она у нас идет фасонная.

«Она» — это сталь, могучий, гибкий, богатейший металл, которому Валеев посвятил полтора десятка лет своей жизни.

Сироту из татарской деревеньки, бывшего батрачонка, дядя-портной хотел обучить своему ремеслу. Но когда в 1926 году юноша увидел на Чусовском заводе мартены, сталь его покорила и он понял, что нашел свое призвание.

— А ведь в 1926 году на старом Чусовском заводе печь работала вхолодную, на дровах, газ был слабый, плавка тянулась долго — однажды плавка продолжалась... 70 часов! И все-таки я и тогда считал, что самое лучшее для меня на свете дело — сталь варить! Сначала я заслонщиком работал и ужас как завидовал сталеварам: «Эх, скорей бы мне хоть подручным быть!» Через три года я самостоятельно варил сталь...

Великая война за Советскую Родину, наполнив гневом и тревогой сердце Ибрагима Валеева, приказала ему:

— Давай больше, фронт требует!

И он, подобно миллионам рабочих, ответил:

— Сделаю!..

Вместо 8—9 тонн последней довоенной своей нормы он стал давать уже 11—12 тонн. Успех начался с выполнения графика. Сталевар закрепился на этом и все смелее стал сжимать время. Однажды он провел плавку за 7 часов 20 минут вместо 9 часов по графику, сэкономил 1 час 40 минут, что дало 12,8 тонны с квадратного метра. Смену Валеева пришли приветствовать от райкома, и кто-то спросил:

— А еще быстрее давать можно?

Валеев сразу зажегся:

— Дадим и больше!

Смена у него уже кончилась, можно было идти домой. А он остался в цехе, завалил печь и новую плавку выпустил за 6 часов 30 минут.

Когда в феврале 1942 года начальник цеха товарищ Покалов поставил в пример уралмашевским сталеварам знаменитого верхисетского Нурулу Базетова, о котором весь Советский Союз знает, Ибрагим Валеев сказал:

— И Нурулу можно перекрыть — я дам для фронта больше.

Он понимал, что Нурула Базетов — серьезный соперник, но Валеев вообще любил рисковать: ни одна победа не дается без риска!

Он все рассчитал и все учел, как свои сильные стороны, так и неиспользованные внутренние ресурсы. Он заправляет печь, не выключая форсунок,— хлопотливое дело, зато печь

не остывает. Он научил завалочную бригаду быстро и ловко производить эту операцию. Он следил, чтобы горючее подавалось бесперебойно. Он вел свою печь всегда на предельно высокой температуре. В грозные дни войны Валеев с особенной силой почувствовал и оценил главное в искусстве сталевара — умение точно определить момент, когда начинать доводку печи, что предрешает успех плавки. Некоторые сталевары или начинают доводку слишком рано или слишком долго ждут, когда металл подогреется, и те и другие пропускают драгоценный момент!.. Нет, Валеев умеет ловить этот момент, не теряет ни минуты даром и вместе с тем оберегает печь — свод печи у него всегда под неусыпным наблюдением. «Святых» сталеваров не бывает. И Валееву случалось прожигать свод печи. Он на всю жизнь запомнил белый, как кипень, цвет печного свода, когда кирпич начинает таять, тянется, как тесто,— в высшей степени неприятная вещь. А в дни войны пережечь печь — просто трагедия, ведь она на много дней выбывает из строя!

Цвет печного свода оранжево-желтый, а кипение стали, или кип, как говорят сталевары, интенсивное, бурное и вместе с тем ровное. Отличная, здоровая сталь пойдет на выпуск!

Так, прилежно сжимая время и следя за качеством, Ибрагим Валеев снял однажды в марте 13,5 тонны.

— Начатое дело все идет вперед! — весело усмехнулся он, сдавая печь своему сменщику сталевару Дмитрию Сидоровскому.

Крепко заснул после смены Ибрагим Валеев, а вечером узнал: Дмитрий Сидоровский, его сменщик, снял 15,3 тонны!

Утром Валеев поздравил Сидоровского, пожал ему руку и тут же заявил:

— А я все-таки тебя перекрою!

Он аккуратно заваливал печь, следил за качеством шихты, держал высокую температуру. Опять сократил время плавки и снял однажды 15,6 тонны. Сердце сталевара гордо забилось: он перекрыл Нурулу Базетова с его 14 тоннами съема!..

Теперь Сидоровский поздравил его, похвалил со своей обычной сдержанной улыбкой, ничего лишнего не сказал — такой уж характер у человека.

Сидоровский, как его называют на заводе, осторожный сталевар. Когда наблюдаешь за его работой, кажется, будто он не умеет торопиться. И все-таки работа у него прекрасно спорится. Там, где рисковый Валеев наддает жару, даже если по условиям плавки есть возможность снизить температуру, осторожный Сидоровский непременно воспользуется этой возможностью

и даст печи некоторый отдых. Он придирчиво выбирает шихту, заваливает печь с максимальной загрузкой, какая только допускается, и производит это быстро и солидно. И все в этом моложавом человеке: походка, нетерпеливые, но точные и скупые движения, манера отдавать приказания своим подручным, даже манера приспускать и поднимать на шляпу синие очки,— все выглядит очень солидно и спокойно. Однако напряжения в его работе ничуть не меньше, чем у темпераментного Валеева.

Такой человек, как Сидоровский, и неожиданность преподнесет с тем же уверенным спокойствием, как это и было однажды в ночь во второй половине марта, когда он снял с квадратного метра пода печи 15,9 тонны стали!

Два знатных сталевара Уралмаша — Валеев и Сидоровский решили встретиться с третьим богатырем стали — Нурулой Базетовым.

Встреча прошла дружески и торжественно. Окруженные своими соратниками — сменными мастерами, руководителями партийных и цеховых организаций, сидели на почетных местах три богатыря уральской стали. Встретились сталевары двухсотлетнего Верх-Исетского завода с мастерами стали молодого Уралмаша главным образом для того, чтобы на основе новых рекордов уточнить некоторые обязательства договора на социалистическое соревнование между двумя заводами. Но так как три сталевара — люди, беззаветно влюбленные в свое дело, то страсти, естественно, разгорелись.

Поднялся с места Нурула и заявил:

— Я был доволен, когда Валеев вызвал меня на соревнование. Ведь без соревнования всегда будешь топтаться на месте, а тут отставать нельзя.

Ибрагим Валеев слушал внимательно, пытливо наблюдая за Нурулой своими беспокойными агатовыми глазами. Но когда Нурула сказал: «Я уверен, что в соревновании с Уралмашем победа будет за нами!», Ибрагим поднялся и заговорил, возбужденно отчеканивая слова:

— Я сказал бы, что товарищу Базетову не удастся перегнать нас. Мы сейчас первые и будем передовыми! Кое-кто говорит, что у нас на Уралмаше лучшие условия и поэтому мы можем давать высшие съемы. Давай тогда, товарищ Базетов, я пойду на два дня работать на твою печь, а ты к моей становись. Увидим, кто первым будет!

Дмитрий Сидоровский остался верен себе и спокойно заявил, что пока еще рано говорить, кто выйдет на первое место.

— Главное в том, чтобы закрепить наши достижения и поднять всех сталеваров до нашего уровня! — закончил он свою короткую речь.

Действительно, разве только в том дело, кто из этих трех богатырей будет первым? Значение этого тройственного поединка очень хорошо раскрыл в своем выступлении на этой встрече директор Уралмаша товарищ Музруков:

— Надо помножить свои рекорды на большее число стахановцев, и тогда Красная Армия получит новые грозные машины, отлитые из вашей стали, и будет ими еще сильнее громить врага.

В едином стремлении слились мечты уралмашевцев выполнить новогоднюю клятву — удвоить, утроить выпуск всех видов вооружения и водрузить над заводами знамя легендарной 3-й гвардейской дивизии. Вот какими ключами открываются золотые ворота победы! И каждый стремится распахнуть их перед собой, давать фронту все больше боевой стали, и как на старом Верх-Исетском заводе за Базетовым, так и на Уралмаше за Сидоровским и Валеевым поднимается целая плеяда талантливых сталеваров-скоростников: Талип Валеев, Ефим Узких, Александр Кузьмин и другие. И чем шире их круг, тем больше стали и тем увереннее бьются наши бесстрашные бойцы с черными стаями фашистских волков.

И сталь идет, великолепная уральская сталь, идет день и ночь неиссякаемой огненной рекой. Грозным заревом вспыхивает огромный цех, когда выпускают сталь. С грохочущим звоном льется она в огромные многотонные ковши и переливается в них рубиново-золотым разливом. И отсвет его мятежным пламенем и торжеством играет на лицах сталеваров — да, этой сталью со все возрастающей силой наши бесстрашные храбрецы будут уничтожать и все дальше гнать на запад кровавые орды фашистских захватчиков.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВЕДЕТ

Коммунист Егор Павлович Симбирев — один из видных строгалей гигантского цеха. В 1930 году он собственными руками строил этот красавец цех, учился в нем мастерству, а с 1936 года работает бессменно на одном из цеховых участков.

— Без доверия к себе, без авторитета я в своей бригаде ничего не смог бы добиться,— говорит он.

Когда этот худощавый человек, чуть поблескивая светлыми глазами на подвижном костистом лице, рассказывает о том, как надо завоевывать доверие рабочих, чувствуется, что эти мысли особенно любимы им и подтверждены самой жизнью.

— Если спросить на участке, кто хочет пойти в бригаду Симбирева, так все захотят: знают его и доверяют,— рассказывает секретарь цеховой партийной организации товарищ Дубцов.

Как и чем заслужил Симбирев это доверие? Послушаем его самого.

— Некоторые коммунисты заботятся прежде всего о том, чтобы они сами по себе правильно поступали: я сказал то-то, я сделал так-то; все я да я. Таким коммунистам прямо скажу: ничего у тебя, друг, не получится. Вот когда все твои усилия направлены на то, чтобы вокруг тебя все хорошо работали и правильно поступали, все тогда ты выиграл! А людям, которых ты побуждаешь все лучше работать, в свою очередь приятно хороший пример видеть, да чтобы без сучка и задоринки. Значит, работай сам так, чтобы люди, глядя на тебя, так же хотели работать.

Симбирев превосходно изучил строгальные станки. Он работает на двух, а если надо, на трех станках. Опытный многостаночник, Симбирев не держит в запасе никаких «секретов». «Все, что знаешь, отдай коллективу!» В бригаде Симбирева все двухсотники. Но передавать опыт и методы работы коллектива — это не просто выложить их для обозрения. Надо обогащать ими других, уметь возбуждать ответные мысли и предложения. Симбирев нашел для этого верный путь.

— Задания у нас самые разнообразные, и потому-то мы всегда друг с другом советуемся. Пришла к нам на строжку новая деталь — изучаем, как запроектирована по технологии ее обработка. Технологию надо уважать и строго соблюдать, но... Тут светлые глаза Симбирева заиграли вдруг хорошей русской хитрецой, без которой ни одна выдумка не обходится.— Как известно, вражеские самолеты сбивают зенитками, но известно и другое: можно сбивать их и из винтовки. Так и мы к технологии свою выдумку приложили. Для строжки новой детали был запроектирован один суппорт, а мы применили сразу три и, значит, в три раза ускорили обработку. Для детали это было чрезвычайно важно, потому что иногда качество строгальной работы повышается именно от ее быстроты: чем большая плоскость обрабатывается одновременно, тем лучше получается деталь.

Но жизнь учит, что и самая успешная техническая выдумка и самый богатый опыт немыслимы без подкрепления их дисциплиной. А уж ее-то коммунист Симбирев хранит, как одно из самых ценных завоеваний своей дружной бригады. Атмосфера взаимного уважения, которую он сумел создать в ней, строга и требовательна. Всякое проявление разгильдяйства, лени, бракодельства просто невозможно здесь, говоря иначе, органически чуждо крепкому и ясному строю работы в этой бригаде.

Если даже Симбирев не был бы ряд лет в руководстве цехового комитета, ведущая его роль коммуниста-бригадира все равно ощущалась бы не только в его бригаде, но и на всем участке. Случается, соседние бригады просят его «продрать с песком» отстающих или слишком спокойных людей. Да он и не привык ограничивать свое поле зрения тем пространством цеха, где два его высоких могучих станка день и ночь строгают детали будущих боевых машин. Когда он «пропесочивает» людей, возражать ему трудненько: он неуязвим для чужих стрел. По натуре своей Симбирев мягкого, ровного характера, но это отнюдь не мешает ему «крыть» нерадивых очень метко, прошибать, что называется, до самого сердца.

Бригада не островок, а действенная часть сложной жизни гигантского цеха. И конечно, она ощущает на себе всякие неожиданности, неполадки и недочеты. Симбирев не из тех, кто выжидательно посматривает на это, как на не зависящие от него «объективные причины», не станет он также неразборчиво смешивать свою честную работу с чужими грехами. Затор, помеха? Отчего, кто в этом виноват? Мастер не позаботился? Инженер не учел? Каждый, кто бы он ни был, должен держать ответ перед рабочими за свое упущение.

Непримиримо критикуя и требуя, Симбирев стоит на своей правильной позиции человека, который заботится о том, чтобы общая работа двигалась по широкой трактовой дороге стремительными, фронтовыми темпами, а не плелась по проселку. А чтобы эти фронтовые темпы не снижались, надо все учитывать, все брать на заметку, вплоть до самых, казалось бы, повседневных мелочей. Для Симбирева далеко не мелочь — порядок, в каком разложены в его рабочем шкафу все его резцы, шайбы, гайки, планки, ключи. Ему ни секунды не надо тратить на поиски, потому что каждая вещь знает свое место. Особенно приятно смотреть на строгальные резцы: всегда в большом запасе, они сложены в строго заведенном порядке, наточенные до блеска, как само мастерство — крепкое мастерство уральских строгалей.

Да, народ они стойкий, уральцы, но эта стойкость дается не так уж дешево. Безмерные испытания и потери, понесенные нашей Родиной, нашим народом, рождают в сердцах советских людей великую боль за нее, недавно мирную нашу землю. Симбирев не оправдывал бы своей ведущей роли коммуниста бригады, если бы не понимал ее большого морального значения. Никак нельзя сказать, чтобы он был теоретически силен в политических вопросах. Но рабочее чутье, мужество и разум русского человека неизменно дают ему в руки верную нить к каждой беседе, к каждому душевному разговору в своей бригаде и на участке. В беседах о войне коммунист-бригадир связывает неразрывно фронт с тылом — с трудом для нужд обороны, с работой завода, с сегодняшними заданиями своей бригады. Самоотверженный и отличный труд в помощь беззаветной храбрости дорогих наших бойцов на обширных полях величайшей битвы — вот самая почетная и благородная задача жизни каждого мастера, вот один из золотых ключей нашей грядущей победы.

И горячее бьется в рабочей груди сердце, бьется бесконечной любовью к Родине, и еще спорее работают верные искусные руки уральских строгалей, и стальная стружка вьется из-под резца — звонкая и каленая, как песня священной ненависти.

МОЛОДЫЕ РАБОЧИЕ

Старая башня Демидовых, одна из трех «падающих» башен в Европе, мрачно возвышается над городом и над Невьянским заводом, который по справедливости зовется дедушкой уральских заводов. Над узорчатыми чугунными решетками башенных балконов носятся голуби. Старинные куранты гулко отбивают часы. Высоко над сизыми далями лесов и волнистой линией Уральского хребта, в верхнем ярусе башни, стынет смешной, допотопный «музыкальный вал», на котором в старину разыгрывались французские менуэты.

На заводском дворе сохранилось приземистое кирпичное здание доменного цеха петровских времен — вот и все, что осталось от демидовского хозяйства. Вокруг всех этих остатков, особенно за годы советских пятилеток, столько приумножено и настроено, что заводу уже тесно между горой и зеленым прудом. А когда проходишь по цехам, видишь, как все же молодо выглядит он, этот старый Невьянский завод. Куда ни посмотришь, всюду молодые, свежие лица, всюду слышишь звонкие голоса.

Молодая девушка стоит за токарным станком, на котором вертится продолговатое тело. Девушка в вязаной пестрой тюбетеечке приостанавливает станок. Миг — и новая деталь пошла в обточку. Обмакнув кисть в масло, девушка молниеносно обводит ею вокруг вертящейся детали, а другой рукой берет на изготовку новую деталь. И, едва сняв прежнюю, ставит новую. Испытывая чисто зрительное удовольствие при виде этого строгого и ясного ритма, вы тут же даете оценку: как быстро и ровно идет работа! Ни одного лишнего движения, ни одного лишнего рывка, все выверено с методической точностью! Недаром эту сероглазую девушку в тюбетеечке, токаря-оператора Веру Кузнецову, прозвали методисткой. Она, кроме того, токарь-универсал. Она знает несколько систем станков: револьверный, операционные, станок «Феникс» и другие. Методичность работы у Кузнецовой, таким образом, еще и от разнообразия ее технических знаний. Как всякий методист, она должна обладать немалым запасом терпения и умением подходить к разным людям: ведь она инструктирует новичков.

Вот недавно четырех она обучила работать на токарном операционном станке.

— Быстро осваивают станок новички?

— Полагается десять, а они в три-четыре дня. И это как правило. Да и разве может быть иначе в такое время!

В самом деле, так напористо и быстро овладевать станком и технологическим процессом ни дедам, ни даже отцам этой молодежи и не снилось. Коротенькие биографии этих юношей и девушек, только что ставших взрослыми, начались именно с этого насыщенного тревожно боевыми темпами труда. Взять Юрия Терехова, который со второго курса техникума пришел работать на завод в родном Невьянске. Совсем недалеко позади детство, школа, беззаботные дни мирной жизни. Но теперь он уже рабочий, он металлист военного времени, и его безусое круглое лицо уже выражает заботу и серьезность.

— Станок свой я освоил очень быстро и теперь даю две нормы, а случается и больше. Знаю уже пять операций, то есть не только свою, но и смежные. Зимой я вернусь в техникум с неплохим опытом,— добавляет он.

Николай Живов до войны «имел дело с игрушками» — он работал хронометражистом на игрушечной фабрике в Киришах, под Ленинградом. На фабрике делали чудесные самолетики, автомобильчики, зверей, кукол. Грянула война — и веселая фабрика перестала быть детской. Эвакуировавшись на Урал, бывший игрушечник показал крепкую производственную

хватку. Капризный свой станок он освоил в три-четыре дня, а после положенных по технологии десяти дней он уже давал 170 процентов нормы.

— Говорят мне: «Вот из-за такой операции вся цепочка стоит, помочь надо». И я по-комсомольски берусь и делаю. Не могу терпеть, если что-то застопорилось: ведь мы же для фронта работаем! Надо все сделать, чтобы бить, бить врага! — И карие глаза юноши на сухощавом живом лице вспыхивают решимостью и ненавистью.— Наша Красная Армия потому и может так сражаться, что у нас тыл и фронт едины. А вот у фашистов тыл самый неверный: одним страхом держится! И мы их тыл своим советским тылом тоже ведь бьем.

— У него золотые руки,— говорят о Живове руководители цеха.

Этот бывший хронометражист детской игрушки учит других не только технической грамотности, но и смелой изобретательности.

— Стал я на ходу вставлять и вынимать детали, не выключая станка. И тут сколько минут можно для государства сберечь! И девушек, которые к нам на завод пришли, я тому же научил. И они теперь хоть и не так быстро, как я, но уже работают тоже не выключая станка. Сколько может сделать человек — только подготовь все да будь смелее!

Анна Рогова, что пришла на завод в дни войны, предпочитает пользоваться только твердыми словами: могу, сделаю, выполню.

Эта маленькая русая девушка, придя в новый цех, на незнакомую работу, острым, хозяйским глазом огляделась, быстро освоила свой станок, его сложную операцию и явилась запевалой стахановского движения среди цеховой молодежи.

— Не на слова, а на дело бойка,— уважительно говорят о ней.

К 8 марта она дала 200 процентов, а к 10 марта уже подняла норму до 300 процентов. Она настолько изучила потом свой станок, что предложила повысить его скорость. И предложение оказалось реальным и очень полезным. Дорожа самостоятельностью в работе, когда «никому не надо кланяться», Рогова научилась сама затачивать режущие инструменты и делает это ничуть не хуже всякого специалиста. Она кандидат партии.

— Она у нас хныкающих сильно не уважает,— говорят о ней руководители цеха.— Уж если Рогова сказала, что такое-то

дело вполне возможно, значит, так оно и есть. Она у нас в цехе помогает «внутреннюю политику» делать!

Кузнецова, Живов, Терехова, Рогова считаются в цехе «крепкими середняками». Лидия Белоусова, девушка из Невьянского колхоза, плотная, здоровая, считается рекордсменкой. В цехе у своих двух станков она кипит страстной энергией, предприимчивой требовательностью. Цех и работа, которую ей назначили выполнять в дни войны, были новы для нее. В два-три дня она овладела работой сначала на одном, а потом и на двух станках. И в июле этого года дала рекорд — 333 процента с каждого станка. У Белоусовой уже обучилось десять учеников, которые и посейчас хорошо работают.

— Правильно сказано: «Каждый в труде будь как в бою». И до чего же зло берет, когда и среди нас, молодых, есть люди, которые еще совсем не боевито работают! Нет хуже, когда ты свое задание выполнишь, а предыдущая операция тебя задерживает. Ну прямо словно за бревно зацепилась!.. Так и рвешься скорей помогать соседям, чтобы своему заданию дорогу расчистить.

Сурово сдвинув брови, Белоусова становится к чужому станку и властной рукой расшивает узкое место. Так поступают и другие четверо — Рогова, Терехова, Живов и Кузнецова. Помогать товарищам, конечно, дело хорошее. Однако пусть задумаются над этим те молодые, полные сил люди, которые уже привыкли надеяться, что добрые и сознательные их товарищи опять и опять их вытянут, вывезут и в общем все-де сойдет благополучно. А благополучие-то это очень относительное: на оказание помощи ведь затрачивается время, которое должно двигать работу вперед.

Крепкой, без оговорок, всегда самостоятельной, гордой, передовой должна быть работа молодежи в дни великой войны за Отчизну. Что может быть прекраснее и благороднее, когда вся свежесть силы распустившейся в человеке молодой энергии, любви к жизни и умения выражает себя в самоотверженном труде для фронта, для счастья Родины.

ЗВЕЗДЫ НА ЩИТЕ

Мы идем по обширному летному полю, залитому весенним солнцем. Распластав краснозвездные крылья, стоят новенькие машины, пахнущие свежей краской.

Около машин работают небольшие группки людей. В мороз и ветер, в зной и дождь эти маленькие бригады здесь, под открытым небом, проводят машину сквозь предполетное испытание. После того как машину отладят и она получит свой паспорт, как выдержавшая испытание на земле, диспетчерская выпишет наряд летчику для испытания самолета в воздухе, а дальше начнется боевая жизнь прославленной машины — советского штурмовика.

На поле вдруг что-то властно взревело, и теплый воздух наполнился густым ровным гудением — это запустили мотор, значит, машина скоро взлетит в небо. Сверху зеленая, как хвоя и листва родных лесов, она поднимется ввысь, и голубое ее подкрылье сольется с небесной лазурью. А придет минута — как молодой орел за добычей, ринется она вниз, на фашистские войска, разбивая, сжигая живую силу и технику врага, а вместе с ними — и многие надежды тупой, самоуверенной, лютой гитлеровской солдатни.

Очень ответственное перед Родиной и народом дело — отладка самолета на просторе заводского аэродрома.

— Да, сейчас у нас здесь порядок, а посмотрели бы вы на этот аэродром зимой...— И главный технолог завода товарищ Иванов рассказал, что случилось зимой.

Работать на аэродроме можно только днем, а январские дни короткие. Машины же все прибывали, на аэродроме становилось все теснее, работа шла все хуже. График сломался, заводу не присудили знамени.

И вот в это время произошла история, на взгляд довольно обычная, в которой, однако, заложено зерно великой власти человека над техникой... Как в наступлении, на поле боя, какое-то подразделение первым своим выстрелом открывает шквальный огонь по врагу, так и на заводе в те трудные январские дни начала наступление одна из небольших аэродромных бригад, где бригадиром Петр Павлович Лабойко.

Лабойко задумался: отчего завод знамя не завоюет? — и пришел к выводу: оттого, что время пошло вразлом с техникой. Можно, оказывается, превосходно знать все производственные операции и все-таки не иметь власти над техникой. В чем же дело?

Вспоминается мне рассказ древнего старичка об уральских мастерах прошлого: «Уж вот искусники были! Положит медный пятак под молот, расплющит, а потом на ребро поставит — нарезочки-то ведь целы остались! А то часы золотые — он их как крылышком коснулся! — из-под молота вынет целехонькими,

даже стеклышко не треснуто!» Внук его, молодой токарь, спросил: «А быстро ли они работали?» «Ну, этого не упомню, время было немеряное»,— ответил старик.

Непримиримой воительницей против этого «немеряного» времени представляется мне творческая мысль лучших людей нашего социалистического труда. Идет ли речь о не использованной еще силе внутренних источников опыта и энергии или открывается нечто новое, главный ее закон: сделай проще и скорее, береги драгоценное фронтовое время!.. Но это еще не все, люди мечтают о большем. Вспоминается страстная речь молодого уральца на рабочем собрании:

— Если я один или даже бригада моя хорошо работаем, а на других это не влияет, значит, сила моя только при мне остается. Нет, ты так работай, чтобы твоя работа, как мотор, все вокруг себя в движение приводила!..

Бригадир Лабойко мог размышлять по-иному, но поступил он именно так, как приказывает в наши дни передовая мысль рабочего класса нашей Родины.

— Нового я ничего не сделал, но я точно рассчитал и измерил по времени операции каждого члена нашей маленькой бригады: вот твоя работа, и вот твое время — и ни минуты больше! Людей я расставил сообразно их знаниям и опыту. Себе я взял самое трудное, но, ясное дело, не для того, чтобы я сам вертелся в мыле, а другие бы пустяками отделывались, а для пользы фронтового задания. Постановили мы: на завтра никаких «хвостов» не оставлять, чтобы каждая смена чистенькая была!.. В наше, военное время техникой владеть — значит все от нее взять, и не вообще, а в данный отрезок времени, и сполна все отдать фронту. Мы боролись за время и качество и выполняли график день за днем... Вот и все...— рассказывал мне Лабойко своим ровным голосом с мягкими интонациями украинца, и только посверкивающие в его глазах лукавые искорки говорили о том, что о днях своей борьбы за «святое время» графика он вспоминает как о победе.

А ее тогда сразу заметили: на белом высоком щите показателей она засияла красными звездочками, обозначающими количество сданных бригадой машин.

— Лабойко опять впереди! — говорили товарищи по цеху, и с каждым днем все больше становилось людей, кого задевали за живое эти неугомонные звезды на щите: у кого одна, а у Лабойко три, у кого две, а у Лабойко пять!..

Так успехи бригады Лабойко привели в движение весь цех. Все просторнее становилось на обширном поле под студеным

зимним небом, все слаженнее шла работа, и цех уже начал поторапливать сборку. А сборка, в свою очередь, принялась торопить соседние цехи — и так наступательная волна, двигаясь все дальше, достигла изначальной операции потока. И, как освободившаяся от льдин река, поток пошел вперед в своем раздавшемся русле. Завод получил знамя и сейчас его удерживает. Бригада Лабойко была премирована, а сам он получил от наркомата значок «Отличника социалистического соревнования». И опять же это не все. Не для того пришли длинные весенние дни, чтобы только повторять зимние успехи. Человек властвует над техникой, если первая победа оплодотворяет почву для новой,— и она уже есть.

— Зимний опыт очень помог нам: теперь в каждой бригаде больше стало людей, и на руках у нас сразу по две-три машины, теперь выпуск их увеличился,— рассказывает Лабойко.

В предмайском соревновании его бригада закончила программу к 26 апреля, перегнав соревнующуюся с ней.

Солнце уже припекает. В весеннем небе летит тонкое длинное облачко, похожее на аиста. Может быть, летит оно на Украину, где, было время, на крыше хаты вил гнездо аист — важная, задумчивая птица. Было время, в родном садике весной белой кипенью цвели вишни и яблони. Где он теперь, вишневый садик? Где мать его и сестры, Маруся и Катя? Может быть, угнали их в рабство проклятые палачи, а может, и убили?.. Кипит ненавистью сердце бригадира, и так раскалена и беспредельна она, что само черное горе плавится в ней, как железо на огне. И, как ненависть, раскалена его работа. Его острый взгляд замечает мельчайшие дефекты в деталях механизма или в управлении машины, его чуткий, как у подлинного диагностика, слух придирчиво ловит малейшее «чиханье» или «одышку» в моторе — и не бывало еще случая, чтобы после его отладки машина не выдержала испытания воздухом.

Так строгие и властные руки человека-мастера посылают в небо родные краснозвездные машины — грозный труд всенародного возмездия.

ВОЙНА И ВЕСНА ПОБЕДЫ

ОРУЖИЕ

Неторопливый, тихий полковник, с несколько литературной фамилией — Рощин, начальник артиллерии дивизии, идя со мной по лесной дороге, говорил, будто рассуждая с собой:

— Двигаемся. Нажимаем серьезно. Можно бы и еще нажать. Да очень он много оружия оставляет, понимаете ли. На оружие не скупится. Много оставляет, да.

Слово «оружие» произносилось им без малейшего нажима, как слово обиходное, хотя оно вовсе не означало того, что раньше под ним разумелось. Враг оставлял, конечно, не винтовки и не пушки с пулеметами. Весь путь своего отступления он засевал особым оружием — коварным и губительным, и мы это видели тут же, на этой лесной дороге, потому что на каждом шагу нам встречались дощечки на воткнутых в землю палках с надписями, сделанными той неопределенной красно-рыжей охрой, какой вощат ворота и заборы: «Мины», «Мины», «Мины».

Я нагнал дивизию, которая была вторые сутки на марше и сейчас располагалась в лесу, на новом месте. Здесь только что стояли немцы, заминировавшие при отступлении все уголки, пригодные для человеческой ноги. Через каждые пять-шесть минут слышались с лесных полян раздирающие воздух, как полотняную материю, взрывы, то близкие, то отдаленные, и один офицер заметил, не бросая какого-то своего дела:

— Кто знает: подрывают или подрываются...

Рощин сказал:

— Бывает... Он кислого не любит. Чем ему кислей, тем он каверзней. Раньше его мины саперы разряжали. Теперь бросили. Теперь как нашли мину, так подрывать. Он, понимаете, в мине какой-нибудь секретный взрыватель присобачит на не-

обычном месте или еще что схитрит. Лучше подорвать. Вернее. Ну, конечно, бывает, что и подрываются, да...

Когда со временем будут говорить об отличиях этой войны от всех предшествовавших, то в числе самых важных отличий назовут роль минного оружия. Оно оказало во вторую мировую войну исключительное влияние на тактику боев, обороны и наступления, на темпы операций, создало совершенно новые приемы воздействия на все наземные войска: пехоту и танки, кавалерию и артиллерию.

Противник уже выбит из позиций, оставил их, очистил громадную территорию, бежал, и раньше сказали бы — его и след простыл. Но нет, именно след его не простыл, след его огненно-горяч, след противника продолжает вести его оборону. Отсутствуя, враг наносит урон победителю до тех пор, пока местность не очищена от вредоноснейшего оружия — от мин. Масштабы применения этого оружия грандиозны. Борьба против него должна вестись и ведется — сложная, искусная и по масштабам тоже огромная.

Вот вьется проселочная дорога, в невинных выбоинах и ямах. Не доверяйте ей. В колеях ее — оружие; на глубине два-три вершка лежат закопанные мины. Вот слишком узкий предмостный участок шоссе, и со встречной машиной можно разъехаться, лишь свернув на широкую обочину. Не доверяйтесь ей. Обочина — излюбленное место минного оружия. Спускается ли к водопою беззаботная зеленая тропинка, манит ли тенью дерево в поле, лежит ли у канавы доска, валяется ли немецкая стальная каска или другой ни к чему не годный предмет, который хочется мимоходом пнуть ногой,— осторожность и осторожность: враг всюду оставил оружие.

Обычная надпись, бросающаяся в глаза по путям наступления: «Дорога разминирована. Дальше пе проверено». Или другая: «По сторонам от дороги проверено на пять метров». Или еще: «По тропинкам не ходить. Мины».

Войска движутся лентами, строго по дорогам. Перед маршем во всех частях — внушение: не сходить за кюветы, не забирать в поле, не рассыпаться в лесу. Иногда на дороге кучка солдат, молодежи из пополнений, задержится перед разорванной машиной, сосредоточенно рассматривая ее останки и рассуждая: как же случилось, что проехали по дороге сотни машин — и ничего, а вот этой не повезло?

— Новички! — скажет какой-нибудь бывалый.— Что тут объяснять? На волосок поближе к кювету подрулил — и все.

Или вот разговор рано утром, в штабе:

— Ты Малиновского знал?
— То есть как знал? Знаю.
— Вчера вечером на мине... И какая штука! Перед ним проехал эшелон машин — в полном порядке. А он следом, верхом. Машины колеями прошли, а он не колеей ехал, а посередине дороги. Так, понимаешь, лошадь копытом напоролась...

В местах сражений и брошенных немцами позиций минные поля обозначаются высокими вехами или сплошной проволокой, и заметы эти далеко видны. Немцы в иных местах не успевают поломать своих знаков, и я видел много полей, огороженных траурными надписями на дощечках черным по белому: «Minen». Эти вывески служат и нашей армии, конечно после того, как установлено, что за ними не скрывается обмана, то есть что немцы не расставили знаки на местах мнимой опасности, чтобы скрыть подлинную.

Но кто же впереди Красной Армии предупредительно расставляет вехи и спасительные надписи? Кто ведет борьбу, кто первый подавляет коварное оружие современной войны?

Наши войска с боями преследуют врага. Важнейшее оружие в таких битвах преследования — дороги. Враг уничтожает их, мы восстанавливаем. Он мобилизует все силы разрушения. Мы создаем жизнь там, где он стремился ее упразднить.

Достоин изумления русский топор, ловкий плотничий топор, в руках вологодца, смоляка, архангельца. Бойкий его стук, сверкание его лезвия, звон обуха по поющему гвоздю — где только не слышится эта музыка и где она не начинает собою новые времена, обещающие возрождение и весну?

Это сапер стучит с восхода солнца плотничьим своим топором, брусуя бревно на берегу реки, на обрыве оврага, у края канавы, и растут на месте взорванных свежие, горящие на солнце, пахнущие сосной мосты и переезды. Сверкают гладко вытесанные перила, хрустит, отскакивая из-под колес, щепа, и катятся, катятся обозы, орудия, танки, и дощатые настилы глухо ворчат под непривычными тяжестями. Стучит сапер топором с восхода до заката солнца, а то и ночи напролет.

А поодаль от него бредут не спеша полем то двое, то трое красноармейцев, вытянув перед собою длинные пруты вроде удилищ и поводя концами их над землею, из стороны в сторону. Это — родные братья строителей мостов и дорог, тоже саперы. Но работают они не топором, а вот этим удилищем, и ловят они им в полях и по дорогам вражеское оружие — мины.

Я надеваю наушники, как радиослушатель. От них тянется провод к концу удилища, где прикреплен маленький аппара-

тик, похожий на микрофон. Я двигаюсь вперед, поводя прутом направо и налево. Все тихо. И вдруг у меня в ушах раздается гудение, похожее на телефонный сигнал и быстро переходящее в визг на необыкновенно высокой ноте и такой пронзительности, что ноги сами останавливаются и — ни с места: тревога, аппарат приблизился к металлу, в трех шагах, может быть, спрятана мина.

Миноискатель — умное приспособление, почти живое существо, с голосом, который замолкает, когда нет опасности, и кричит в отчаянном нетерпении, когда она надвигается, этот миноискатель — русское изобретение. Благодаря ему наша армия сохранила неисчислимое количество жизней, облегчила себе не одну победу и не может обойтись без него ни в одном своем марше, ни в одном наступлении.

Но миноискатель реагирует только на металл. От его чутья не уйдет ни один осколок снаряда. Но если в мине отсутствуют металлические части, он теряет обоняние. На мины в деревянных оболочках он не отзывается. А ведь тол в деревянной мине так же опасен, как во всякой иной. Как же искать деревянные мины или мины из другого неметаллического материала? Эта работа кропотливее и хитрее.

К длинной палке приделан стальной прут с заостренным концом — вот и все орудие, с таким же простым наименованием, как просто его устройство: щуп. Сапер продвигается, прощупывая перед собой землю острым концом щупа. Ответственность работы со щупом гораздо больше, чем с миноискателем: сапер ни на минуту не может ослабить внимание, он должен разгадывать возможное местонахождение мины, его чутье и осязание должны нести работу миноискателя, потому что щуп молчалив, несловоохотлив, он говорит лишь тогда, когда дотронулся до мины. Сапер обязан быть настолько внимательным, чтобы не допустить ошибки. Сапер вообще не может, не имеет права ошибаться. В Красной Армии есть ходячая поговорка: «Сапер ошибается один раз в жизни». И не найти более верной поговорки на свете.

Во всякой военной специальности самая совершенная техника хорошо служит только в руках искусного человека. Не ахти какой техникой обладает сапер, однако тем важнее в его деле человек.

Против меня в палатке сидит коротенький, кряжистый лейтенант с толстоватым изрытым лицом, с подвижным и точным взглядом маленьких глаз. Лицо охотника, следопыта, лесного ходока. Это Иван Афанасьевич Кудрявцев, командир саперного

взвода в полку Макарова, специалист по разминированию. Тридцать семь лет жизни — тот возраст, когда полностью развиваются все способности человека, у крестьянина — его коренные черты сметливости, практичности, расчетливой осторожности. А Иван Афанасьевич — курский крестьянин. В войну он пришел рядовым, в офицеры его произвели за заслуги в саперном деле.

— За заслуги — это, надо понимать, за храбрость? — говорю я.

— Ребята у меня смелые.

— Какие ребята?

— Команда моя, взвод.

— А про себя говорить не положено?

— Про себя? Насчет этой... храбрости? В нашем деле нельзя излишне остерегаться, верно. А только храбростью много сделать невозможно.

— А без храбрости?

Иван Афанасьевич ухмыляется и тихонько покашливает. Видно, он согласен, но предпочитает оценку сам себе не производить.

— Главное — надо разоблачить,— говорит он, приподнимая высоко светлые брови, и смотрит так, будто это меня надо разоблачить.

— Какую подвел неприятель мину? — спрашиваю ему в тон.

— Нет,— поправляет он и трясет плотным указательным пальцем.— Какую мину он заложил, мы хорошо знаем. Противопехотную или там противотанковую, смотря по тому, чего он от нас дожидает. А вот в каком виде он ее заложил — это надо разоблачить.

— Что же он — хитер?

— Нам тоже, говорится, в рот пальца не клади. Но и он, ух, придумчивый, черт! И все на новый лад. Скажем так. Одну мину он прикрепит к земле снизу. Ее, значит, не подними. Другую привяжет проводом сбоку, к кустику какому, к камешку. Ее не потяни в сторону. На третью, обратно же, нельзя надавить. Вот и соображай: не подними, не надави, не потяни.

Иван Афанасьевич засмеялся с видимым удовольствием, лукавым смехом своим будто вопрошая: ну и как же, а?

— Ну и как же? — поддался я на его подсказку.

— Проще ее подорвать. Отойти на тридцать шагов, лечь на землю, контакт — и в порядке. А правильнее — рассмотреть, какие же особенности ввел. Скажем так. Обыкновенно в его мине один капсюль имеется, посередине. Это мы скоро узнали,

привыкли. Он тогда начал два кансюля ставить: один посередине, а другой куда-нибудь сбоку поставит. Ну, мы, обратно, это тоже приняли к сведению. Так он теперь до трех кансюлей ставит, вот черт! То в одно место сунет, то в другое. На какой-нибудь, думает, мы напоремся. А мы его разоблачаем.

— А чем же вы разоблачаете?

— Да как чем? — удивился Иван Афанасьевич.— А руками!

И он вытянул ко мне руки с короткими кругловатыми кистями, с плотными, сильными пальцами, малоподвижными и упорными. И я подумал, что такие руки часто обладают не показным, а скрытым артистизмом, что они бывают виртуозами какого-нибудь ремесла, что, наверно, такие руки «подковали блоху», а потом они же, эти руки, защитили город хитрых русских ремесл — Тулу от нашествия супостата.

— Я ведь работаю всегда одними руками,— сказал Иван Афанасьевич, удивляясь не тому, что говорил, а моему удивлению.

— Без миноискателя? Без щупа?! — воскликнул я.

— Вот как перед вами нахожусь,— снова показал он мне руки и затем уткнул их в колени, выдвинул вперед локти и сделавшись оттого еще круглее и приземистей.

Как настоящий специалист, превосходно знающий, что именно трудно и ценно в его работе, он прикидывал, способен ли я понять самую изюминку его дела и какой поворот разговора будет мне интереснее.

— Взвод у меня обучен работать и щупом и миноискателем. Но понимает и руками. Привычные руки тут необходимы,— сказал он как бы вкрадчиво.— Да и рук тоже недостаточно.

Я хотел, чтобы он сам произнес слово, которого не хватало в разговоре,— «голова», «смекалка», «находчивость», решив испытать его честолюбие. Но крестьянская закваска Ивана Афанасьевича оказалась прочной, и бахвалиться было ему не по душе.

— Он ведь нас тоже наблюдает, как мы его,— подождав, заговорил Иван Афанасьевич, как все, обозначая словом «он» противника.— Скажем, так: обнаружили мы на дороге три мины, выкопали, оставили ямки, мины обезвредили, оболочки бросили на виду, у дороги. Каждый видит: три ямки и три оболочки. В порядке. Он это через свою разведку заметил и начал подделывать все как есть: ямки выкопает, минные оболочки в канаву бросит — разминировано, мол, в порядке. А сам закопает рядом по всем правилам мину — отгадай. Или еще, скажем, так. Видишь — земля вскопана, немного так сверху запорошена.

Отрываешь — мина. Вынул ее, думаешь — все. А он под ней еще одну поставил, поглубже, в расчете, что дождик пойдет, земля потом затвердеет и кто проедет, давление на глубину передастся. Да, много видов всяких хитростей у него придумано. Разного устройства взрыватели и все такое. Я до сих пор шестнадцать видов немецких мин разоблачил.

— Все в орловское наступление?

— В орловское наступление. Скажем, так: от места прорыва и до города Орла я со взводом обезвредил восемь тысяч мин.

— Восемь тысяч? Сколько же на человека приходится?

— У меня пятьдесят человек.

— Ну, а какие потери?

— А у меня потерь не было,— тихо сказал Иван Афанасьевич.

— Может ли это быть? При таком числе!

— Никаких потерь. В соседних полках имелись, а у меня никаких. Я даже в обучение молодых саперов из других частей взял, чтобы перенимали опыт.

В нем уже чувствовался воспитатель — и в том, как он выговорил «перенимали опыт» или говорил «скажем, так». Но меня поразило число — восемь тысяч, и я спросил:

— Так это что же, восемь тысяч — это вы на маршах разминировали?

— В боях и на маршах, где придется. Приходилось с песчаного дна из реки доставать. Нырнешь и достанешь. По-всякому.

— Ну, это до Орла. А после Орла?

— Сколько мин обезвредили?

— Да. Считаете?

— Считаем. Только еще не сложили вместе. Вот Брянск возьмем, тогда сложим.

И он засмеялся, очень довольный и весело-хитрый.

— А как же насчет поговорки о сапере, Иван Афанасьевич?

— Это что сапер ошибается один раз в жизни? Неточная поговорка. Мы говорим: сапер ошибается два раза в жизни. Первый раз — когда идет в саперы.

— Ну, эта ошибка ему прощается,— сказал я.

— Эта ошибка приветствуется,— улыбнулся Иван Афанасьевич.

Нельзя было не залюбоваться этим человеком, который непрестанно работал с самой смертью и был жизнерадостен и спокоен. Примечательный образ офицера из рядовых, самобытный и очень народный, кажется, создан природой для того, чтобы крепче соединить мысль с отвагой.

Фашист, как придавленная оса, волочит позади себя жало. Саперы вырывают жало и растаптывают его.

От вражеского ухищренного оружия остается пустая кожура, выброшенная в канаву.

1943 год

ПАВШАЯ КРЕПОСТЬ

Добрый километр я иду немецким окопом, а он все тянется, и ему не видно конца. Это «передний край» потерянных германцами позиций, завоеванный нами «узел сопротивления» — твердыня современной войны.

Чтобы разойтись в его окопе со встречным, надо повернуться боком. Чтобы выглянуть за его пределы, надо подняться на две головы. По обоим краям окопа сделаны земляные насыпи: спереди — выше, сзади — ниже, в защиту от огня. Под ногами на всем протяжении траншеи настланы слеги с поперечными коротенькими планочками в виде решетки — для предохранения от сырости.

Окоп построен зигзагом, повороты зигзага неравномерны: вот идешь длинным прямым коридором, вот вдруг через каждые десять шагов начинаешь поворачиваться то лицом, то спиной к солнцу. Здесь на углах и выступах кривой укрываются орудийные и пулеметные гнезда.

Что должен преодолеть красноармеец, когда он пошел в атаку на такую крепость?

Я взбираюсь на насыпь. Необозримый горизонт раскрывается вокруг крепости, прочерченной по далеким краям темной зеленью Брянских лесов. Чем ближе, тем яснее местность: остатки сожженных деревень виднеются ржавыми пятнами; места, где могли располагаться наши войска, совсем обнажены, и пространство между ними и немецкими позициями, «ничейное поле», голо, как ладонь. Во всех подробностях с высоты насыпи видны доступы к узлу и сам узел — охваченная кольцом окопа песчаная возвышенность окружностью в десяток километров.

Итак, красноармеец пошел в атаку.

Поднявшись из своего укрытия, он наталкивается на первые проволочные заграждения, вышиной немного больше чем по пояс и шириной метра в два. Затем его ожидает минное поле. Артиллерийская подготовка предварительно прочищает ходы в этих препятствиях, рвет проволоку, разметывает колья, взры-

вает мины. Но эти ходы недостаточны для пехоты; наступая, она должна расширять их и создавать новые.

Преодолев минные поля, красноармеец встречает третью линию проволочного заграждения — спиральную проволоку Бруно. Это густая бесконечная спираль колючей проволоки диаметром около метра, намотанная па деревянные козлы. Спираль Бруно — серьезное препятствие, придумал его старательный дьявол с немецкой фамилией. Проволока скручена кругами, и, когда ее режешь, она распускается, как пружина, запутывая прорезанные бреши и лазы. Но вот и спираль осталась позади, и атакующий видит перед собой насыпь неприятельского окопа. Однако на пути к нему скрыто еще одно препятствие — спотыкач. Это тоже проволочное заграждение, на колышках высотой в четверть аршина, по щиколотку, так что его почти не видно в траве и об него нельзя не споткнуться. Спотыкач делается шириной шагов в пять; ставят его не только перед окопом, но и на минных полях. Он опасен тем, что незаметен и встречается в самом неожиданном месте, когда преодолена какая-нибудь одна преграда и атакующий устремляется к другой. Местность, на которой сооружены все эти заграждения, совершенно открыта, и каждая линия препятствий находится на прицеле.

На тот случай, если смельчаки преодолеют все заграждения и ворвутся незамеченными в окоп, у немцев создана сигнализация. Она очень смешна своей кустарностью, но вполне действенна. В стенку окопа вделан кусок проволоки, на него подвешена связка пустых жестянок из-под консервов. К противоположной стенке прикреплен другой кусок проволоки, конец которой загнут крючком. Днем приспособление находится в бездействии; на одной стороне окопа висит связка жестянок, напротив, на другой стороне,— крючок. Ночью жестянки подцепляются крючком и перекрывают собой проход по окопу. Стоит задеть это перекрытие, как оно разбудит даже глухого. Немцы расставлены в окопе довольно редко, большая часть их находится в блиндажах и землянках. Консервные банки несут сторожевую службу там, где недостает постовых солдат.

В блиндажах к потолку подвешены пустые медные стаканы орудийных снарядов, внутри них на веревке — горсть винтовочных патронов. Стаканы — это колокола, патроны — языки. От стаканов протянута проволока наружу, к постам. В случае тревоги звон меди поднимает на ноги все население узла. Такие же медные гильзы развешаны по окопу; в них бьют болтами, железными пластинами, чем попало, и этот дикарский всполош-

пой набат несется по модернизованным фортификациям современной крепости.

Немецкий солдат устраивается в обороне с удобствами. Рядом с пулеметным гнездом — глухая землянка на одного-двух человек, где можно поспать, укрывшись от непогоды, как в кротовой норе. Около орудий — блиндажи с перекрытиями в несколько накатов неподъемных сосновых кряжей, с нарами на восемь человек. Гитлеровская пропаганда не скупится на печатание картинок, и голые красотки, глазастые кинодивы во всех позах соблазна облепляют бревенчатые стены блиндажа, создавая уют совершенно в духе его потребителей.

Тревога прозвенела — немецкие солдаты кинулись к оружию, к тем самым «огневым точкам», которые для нашего читателя давно перестали быть военным термином.

Вот гнездо пулемета. Его стены обложены бумажными мешками с песком. В гнезде свободно поворачиваются два человека. Амбразура довольно широка, ее видит наш наступающий автоматчик, а так как позади гнезда светит солнце, то он различает и силуэт головы пулеметчика. Поэтому на входе в гнездо немец повесил темную занавеску, она загораживает свет, и силуэт исчезает. Вот более просторный дзот. В нем помещается несколько человек, стреляющих из миномета и противотанкового ружья. Амбразура дзота защищена врытым в землю стальным щитком толщиной в танковую броню. Вот, наконец, самое сильное оружие узла — вкопанные в землю танки. Они обнесены особым окопом, проволочным заграждением и насыпями со всех сторон — на случай прорыва и нападения с флангов и тыла. Это крепость в крепости. Точно башни затонувшего корабля, выпирают танки на поверхность.

Как же может быть взята такая твердыня?

Красноармеец берет ее. Он берет ее искусством русской артиллерии, со времен Ивана Грозного устрашающей врага. На месте немецкого танка топорщится перемятое металлическое крошево. Наши пушки изготовили этот стальной винегрет. На вид он гораздо страшнее целого танка. Рядом виднеется другой, как будто совершенно сохранный танк. Мы забираемся в него, сопровождающий меня офицер садится за управление, и башня танка, словно со вздохом сожаления, начинает медленный, жуткий поворот. Ей, правда, есть о чем пожалеть: ствол ее орудия отбит нашей артиллерией, танк выведен из строя.

Красноармеец берет современные крепости не только силой своего оружия, но и умением воевать. Описанный мной узел сопротивления вблизи поселка Островского, в районе Жиздры,

попал в наши руки целехоньким. Наши войска обошли его, немцы вынуждены были отступить, крепость пала.

В летнюю кампанию 1943 года гитлеровцев преследовал призрак Сталинграда, они благоразумно избегали опасности окружения и, боясь «мешков» и «котлов», покидали позиции весьма увертливо и торопливо. В окопах под Островским видны отчетливые следы бегства — разбросанные пригодные пулеметные ленты, множество нерасстрелянных патронов. Быт немцев в обороне встает перед глазами неприкосновенный, со всеми его картинками, сигаретками, консервными банками, журналами и провинциальными газетами, в которых доказывается, что под Орлом русские разбиты наголову... Читать эти газеты, когда мы находились на марше к Брянску, было крайне занимательно.

Одна женщина в жиздринской деревне сказала мне:

— Ушли, теперь уж больше не вернутся, чай, окопанты.

— Окопанты? — спросил я.

— Ну да, окопанты. Пришли, окопались на земле нашей...

— Не могут вернуться,— сказал я.

И так свежо вспомнил все земляные норы павшей крепости у селения Островского. Немецкие «окопанты» ушли из нее ходами внутреннего сообщения — узкими траншейками, выводящими далеко прочь от переднего края окопа. Дно траншеек, когда я смотрел, было уже затянуто стоячей водой. В ней сидели скучные лягушки.

1943 год.

СОЛДАТЫ

Разгадкой феномена, который называется русским солдатом, занимались многие иностранные историки. Они признавали за ним всевозможные достоинства, от выносливости до ярости. Один французский историк, рассказывая об осаде Севастополя, говорил о русском солдате как об одаренном «редчайшими военными качествами, бесстрашном, упорном, не впадавшем в уныние, напротив, после каждого поражения бросавшемся в бой с возросшей энергией».

Каждое из этих качеств, наряду с другими, о которых свидетельствуют наши отечественные документы и крупнейшие писатели, заставляет глубоко задуматься над природой людей, бросившихся в бой под Москвою, когда Гитлер считал, что советская столица лежит у него в кармане; под Сталинградом, когда враг полагал, что открыл ворота в Индию; под Орлом,

когда противник собирался повторить великоордынский набег на Центральную Россию.

Для нас, кто всем сердцем прислушивается к движению души солдата Красной Армии, необычайно ценно увидеть людей, добившихся победы в переломной Орловской битве, после которой гитлеровские войска начали свое роковое отступление на запад. Люди эти просты. Лев Толстой заставил своего героя Пьера Безухова доискиваться главной причины, приведшей русских солдат к победе под Бородином. И Пьер Безухов приходит к выводу, что солдаты завоевали победу потому, что они «не говорят, но делают».

Под Орлом русский солдат «делал», действовал, следуя велениям своей души и применяя свои разносторонние качества воина.

Штаб полка, куда я прибыл, маскировался руинами деревни. Сам командир, полковник Макаров, стоял в разломанной снарядом хибаре с одной уцелевшей горницей. Вишневый сад крестьянской усадебки наполовину был выкорчеван бомбежкой, наполовину еще обвивал своими изогнутыми деревцами несчастную, ископанную воронками землю. Хибара прикрывалась этими остатками вишняка.

Мы лежали на земле и пили чай такого вкуса и букета, какого я не встретил во всей армии, в чем, к удовольствию полковника, и признался подававшей стаканы Катюше — почтенной и грозной женщине в красноармейской форме, с медалью. Как часто бывает, она оказалась женщиной мягкого сердца, и в ответ на мою похвалу последовало малиновое варенье к чаю.

Именно чай подходил к нашему разговору, который Макаров вел уравновешенно, неторопливо. Все в его повестях было прочно, устойчиво, они обладали истинным героизмом, далеким от показной красивости.

Он велел принести полковое знамя, и через пять минут я помог ему развернуть красное шелковое полотнище, и мы долго смотрели на него. Оно дочерна опалено разрывами авиабомб и разорвано по углам в клочья. Оно пробито осколками в десятке мест. От его древка не осталось следа. Его несли и защищали по очереди пять знаменосцев. Все они были убиты. Кровью они отстояли святыню, слава их смерти сделалась славой полка.

Макаров разгладил большой рукой спутанные нитки почерневших клочьев шелка.

— У меня просили его отдать в музей,— сказал он.— Я отказался. Наш полк будет хранить его всегда. Мы так и будем жить под ним, на войне и после войны.

Мы сложили знамя опять.

Это исторически живое напоминание о самом горячем деле дивизии — о переправе через Оку при деревне Савинково. Много отличилось здесь людей, сам Макаров носит за него орден Александра Невского. Страшная память об этом деле осталась у артиллеристов, принявших удар немецкой авиации. Но слава только и приходит тогда, когда преодолен страх и кровь пролита недаром: Ока была форсирована, путь к Орлу завоеван.

Вот тут, у Савинкова, среди прочих прославился и тот разведчик, капитан Бодаев, который потом попил чайку с коньячком в Орле. Тут он увидел немцев в спину, к чему, как я писал, начал уже привыкать, потому что столкнулся с немцами первый раз под Малоярославцем, второй — под Серпуховом, где трижды был ранен, и вот теперь третий раз принудил их к повороту.

Разведчик всегда уходит далеко вперед со своей частью. А под Савинковом, после того как гитлеровцы нахлынули со множеством танков и самолетов и наша пехота под их давлением должна была отойти на позиции, Бодаев очутился оторванным с горсткой автоматчиков. Он объединил их под своим командованием с десятью солдатами, и у него получился отряд в двадцать пять человек. С одним противотанковым ружьем и с пятнадцатью автоматами он начал обороняться.

Очевидно, там, где дело идет о человеческом духе, математика отступает и соотношение сил измеряется как-то иначе. Бодаев остановил семь самоходных орудий, два танка и батальон немецкой пехоты. Он захватил трофеи, и среди них — противотанковое орудие. И он перебил целую роту противника.

Подобный материал совершенно непригоден для арифметических задачников. Но зато на войне его применение дает отличный результат. Капитан Бодаев сказал мне, что после Орла ему приходилось не раз захватывать в плен гитлеровских солдат и первое, что они при этом кричали, было: «Я — поляк, я — поляк!» А ныне, в отчаянии забегая вперед, кричали: «Гитлер капут!»

В полку Макарова я слушаю эпопеи солдатских деяний и убеждаюсь, что воинские подвиги совершаются глубоко сознательно, не в пылу страсти. Сами герои воспринимают их как нечто подразумевающееся, естественное и рассказывают о них, будто мастер о проделанной работе, но о такой работе, которой он отдал душу.

Мы сидим втроем среди все тех же развалин деревни. Два моих собеседника, очень непохожие друг на друга, обладают одним общим внутренним качеством, мне кажется, это ревность,

ревность к делу. Они следят друг за другом с острой придирчивостью, но благожелательно, как это бывает у супружеских пар.

Коротенький, плотный, даже толстоватый Алексей Иванович Шиленкин — кондопожский рабочий, бумажник, ему чуть-чуть за сорок, по званию — старшина. В обороне он был снайпером, не из самых выдающихся, заурядным.

— Сколько же на вашем счету немцев?

— Обыкновенно.

— Ну, а все же?

— Четырнадцать.

— Порядочно,— говорю я.

— Средственно,— уточняет другой собеседник, и по этому слову я предполагаю, что он «из курских».

— Курский,— подтверждает он с радостью.— Курский крестьянин. Аникеев, Иван Игнатьевич, тысяча девятьсот десятого года.

Это сержант, высокий, худощавый, ширококостный. Руки его лежат на коленях как отлитые. При прощании с ним я вполне оценил, что это за руки.

Когда полк форсировал Зушу, завязался бой у деревни Крутая Круча. Само название ее говорит, какова была местность, а каковы бывают бои в момент прорыва немецких позиций, и говорить излишне.

И вот Шиленкин рассказывает:

— Начинает он кидать в нас мины. Мы залегли. А он кидает сильней. Выбывает наш командир роты. Остаюсь я старшим. Командую: рота, слушай моих приказаний, я принимаю командование! А он все кидает! Люди наши горят под его минами. Санитары не поспевают выносить.

— Где поспеть,— вмешивается Аникеев,— где поспеть! Санитары тоже убыли, а которые работали, те без начальника остались.

— Без начальника они не были нисколько,— останавливает сержанта старшина.

— Как не были, если санинструктор...

— Погоди. Выбывает санинструктор, и я тогда сразу надеваю на себя его сумку.

— А я про то же и говорю.

— А ты говоришь, санитары остались без начальника. Я надеваю его сумку и работаю за санинструктора: сам раненых перевязываю, сам выношу. А сам все командую ротой. Немец думал — конечно, мы готовы. Попридержал огонь, пошел на нас в атаку. Однако мы его не допустили, он стал отходить назад.

У меня опять минутка находится — я к раненым. Перевязываю тяжелораненого, вижу: немцы наших в плен захватили, ведут сторонкой. Наших пять человек, их — одиннадцать. Оглянулся я. Вот так вот, как до этой вишни, около убитого бойца — пулемет. Подползаю я к пулемету. На убитом — граната. Я ее беру. Лежу, укрылся, выжидаю. Сначала наши, которые в плен попали, проходят, за ними — немцы. Я тогда — раз! — гранату. И — за пулемет. Восемь немцев уложил, и тут вся лента вышла. Оглянулся я опять...

Но на этом месте рассказа Аникеев не выдержал, потому что ему давно хотелось выразить, как все это он пережил, а Шиленкин рассказывал гладко, некуда было слова вставить.

— Я тогда...— начал он волнуясь.

— Погоди,— остановил старшина.— Оглянулся я, вижу: сержант Иван Игнатьевич из окопчика поднимается.

— Я подбегаю...— опять начал Аникеев.

— Погоди,— безжалостно перебил Шиленкин.— Я тебя вижу, как ты приближаешься, и командую: сержант Аникеев, помоги!

И старшина кратким жестом командира передал наконец слово Аникееву.

— Я про то же говорю,— третий раз начал тот.— Я слышу, как он мне командует: «Аникеев, помоги!» Бегу к нему и с колена из автомата, сколько очередей, не помню, дал, только остальных трех немцев кончил. Всех пятерых наших мы освободили. И стали мы тогда с Алексеем Ивановичем раненых с поля боя выносить. Вынесли мы тридцать два человека.

— Тридцать два,— подтвердил Шиленкин и прибавил: — Он тут опять принялся мины кидать.

— В это время по связи передают приказание майора,— сказал Аникеев.

— Нет, погоди,— остановил Шиленкин.— В это время, пока мы с тобой раненых выносили, я продолжал командовать ротой.

— Я ничего не говорю про то, когда мы с тобой раненых выносили. А я говорю, когда мы кончили выносить, поступило личное приказание от майора — это наш командир батальона — назначить сержанта Аникеева командовать ротой — это меня.

— А Шиленкин? — спросил я.

— Я остался санинструктором,— ответил он.— Дал мне в мое распоряжение фельдшер пять санитаров. Я и продолжал санработу.

— Как же сержант командовал ротой? — попытал я.

— А вот как,— сказал Аникеев, подвигаясь ближе ко мне и этим показывая, что теперь он не потерпит больше вмешательства Шиленкина в разговор.

— Как вышло приказание идти в контратаку, так поднял я роту и пошел. Как дошли мы до его позиций, так я скомандовал: «В штыки!» Было со мной тридцать бойцов. Поднялись они все и в один голос: «Ура!» Как крикнули «ура», так всю операцию и не переставали кричать. И я кричал.

— Какую операцию? — спросил я.

— Такую операцию, что ворвались мы к нему в позицию и первое — начали его колоть. Второе — он побежал, мы его бросились преследовать. Третье — мы очистили от него позицию, захватили четыре пулемета, телефон и две рации да винтовок...

— И что же, все время «ура» кричали?

— Одни уж начали винтовки сносить, которые захватили, а другие стоят с открытыми ртами, кричат. Я говорю: «Чего орете? Трофеи надо подсчитывать, наша победа». А они смотрят на меня, у них все еще рты не закрываются.

Двое этих ревнивых друзей по роте — сержант и старшина, крестьянин и рабочий — останутся в моей памяти надолго. Но резцом какой стали врежутся они в память друг другу, пройдя действительно сквозь воду форсированных рек, сквозь огонь вражеских крепостей, сквозь медные трубы пушечных и минометных жерл? Нет крепче в мире памяти, чем солдатская память друзей, испытанных боем.

И еще в полку Макарова выдалась мне одна встреча, запавшая в сознание.

Юношески чистые глаза, но без застенчивости и без скрытности. Задорные, но без нахальства. Походка настолько легка, будто ноги того и гляди выскочат из отстающих сапог. Голенища, правда, больно широки, и, почему не спадают сапоги, загадка.

Ну да, конечно, ему всего девятнадцать лет, а позади — столько должностей, столько званий: война любит быстрый рост! И при знакомстве со мной он уже не называет себя Алешей, он уверен, что ему идет только полное имя — Алексей Иванович Зайцев.

— Хорошо, Алексей Иваныч,— говорю я.— А давно ли вы из школы?

— Давно.

— А как вы, Алексей Иваныч, учились?

— Хорошо.

— А сильно ли вы, Алексей Иваныч, озоровали?

— Сильно.

Это все произносится серьезно и даже в предупреждающем тоне, в том смысле, что, мол, вы со мной как будто шутить собираетесь? — напрасно. И вдруг — совершенно ребячий, обрадованный смех, точно солнце брызнуло сквозь тучки:

— Теперь на войне, пригодилось.

— Что пригодилось, Алексей Иваныч?

— То, что сильно озоровал.

Я обнимаю его с тем порывом внезапного расположения, который известен учителям, и задаю ему, как учитель, задачу.

— Ну-ка перечислите мне, Алексей Иваныч, все должности, которые вы занимали с начала войны и до сего дня.

И он, сморщив брови, как у классной доски, перечисляет. Еще когда он был в учебном батальоне дивизии, его произвели в сержанты. К моменту наступления па Орел он — первый заместитель командира взвода автоматчиков. Когда выбыл командир, он заменил его и командовал взводом до самого Орла, где «попил чайку» (словечко свое дело делает — привилось и живет!).

— Ну, отличился все-таки чем-нибудь или нет?

— Так, просто. Где увижу немецкий пулемет — сейчас автомат за спину, пулемет тяну. Комбат это заметил и назначил меня командиром пулеметной роты взамен выбывшего командира. Я ротой и командовал, пока не дали нового командира.

— Ну, а все-таки, что же ты такое сделал, что к тебе доверие такое?

— А ничего. Не дал ребятам в панику бросаться. У меня ребята держались во как!

— Кем же ты сейчас?

— Сейчас — командир расчета пулеметной роты. Меня учиться посылают на офицера, а я не хочу... Почему не хочу? Вот когда победим, тогда захочу...

— Ты офицером и победишь. Офицеры знаешь как нужны армии?

— Я раньше до Берлина дойду,— выпаливает он, и вдруг опять у него вырывается мальчишеский смех.

Но он сразу подавляет его, смотрит мне в глаза испытующепрямо и выговаривает с неожиданной, ярой заносчивостью:

— Эк я ему покажу!.. А что ему спускать? Он наших родных будет калечить, а мы — смотреть?

Тут я заново вижу его глаза: нет, это не мальчик, не юноша — это воин, гневный, страшный и мстительный, мужественный воин.

— Откуда же ты такой родом взялся, Алексей Иваныч? — спрашиваю я.

— Я чернский,— отвечает он.

— Как чернский? — вскрикнул я.— Из Черни?!

— Из Чернского района.

Слово это пламенем осветило мне разваленный германцами когда-то милый городок — кучи и горы оскверненной почвы, поросшей непролазным бурьяном. След землетрясения. Былье.

Так вот как мстит маленькая Чернь за свое поругание! Вот какой огонь посылает она вдогонку за изгоняемым из нашей земли врагом! Вот он, фактор времени в войне: неудержимо быстро созревает молодое племя воинов, из мальчиков делая мужей и мужей превращая в богатырей.

И тут я ясно увидел, как всякий городок, каждое селение и каждый двор, каждый дом, разрушенные фашистами, отправляют на великое поле своих беспощадных мстителей, наполняя сердце их болью за Родину и напутствуя: сим победиши!

Еще раз обнял я Алексея Ивановича, мальчика-мужа, и сказал:

— Хорошо, Алексей Иваныч, иди на Берлин солдатом. Все равно вернешься ты офицером.

1943 год

ВЕСНА ПОБЕДЫ

В преддверие к поющему звону великой Победы мы вошли еще зимой, по снегу и льду, когда началось январское наступление за Вислу и Красная Армия, прорвавшись на Кельце и Радом, открыла свой триумфальный поход на запад.

Все шло неудержимо с того момента, и времена года как будто не успевали за движением наших войск: по снегу и льду красные знамена миновали всю Польшу, достигли былых неприступных границ нашего врага, перенеслись через них и непрерывной лентой развернулись над Одером.

Да, снег еще лежал, а мы уже знали, что армия победы глубоко проникла в тело врага и уже навис над его головой занесенный меч возмездия: Берлин ожидал с трепетом последнего удара. Русская песня слышалась на исконных немецких землях — завтра мы должны были вступить в Саксонию на юге, в Мекленбург на севере.

Много славных походов совершила Красная Армия за годы Великой Отечественной войны, но поход в Германию на долгую

эпоху останется непревзойденным шедевром военного искусства. Академии будут растить военачальников на примерах, которые были показаны стремительным рассечением немецких войск в Померании, когда рухнули последние надежды германского генерального штаба на серьезный контрудар.

Весна приближалась, поля заливались водой, реки выходили из берегов. Казалось, все могла бы приостановить, задержать, переиначить в событиях раскованная стихия. Но другая сила — сила освобожденных народов, которую олицетворяла и заключала в своем сердце величайшая из армий мира, превозмогла стихию, как уже не раз случалось в предыдущие годы войны. Апрель, может быть самый серьезный противник войны, месяц половодий, расковав землю, словно высвободил теплом своего дыхания всю меру могущества советских воинов. Бурный месяц весны превратился в месяц исторического наступления Красной Армии, принесшего Западной Европе освобождение от гитлеровщины.

В апреле наши знамена продолжали шествие по Балканам и Чехословакии, неся желанную волю и независимость братским славянским народам. В апреле начались операции в Австрии, и уже тринадцатого числа пала Вена. Старые венцы не любили числа тринадцать. В былое время трудно было найти на улицах Вены дом под номером тринадцать: его заменяли номером двенадцать «а». И тринадцатого апреля старые венцы, из тех, которые примирились с аншлюсом и господством третьего рейха, могли сказать: не повезло! Но для Австрии будущего, для свободной Вены это число апреля приобретало иное значение: оно становилось открытием новой эры.

В шумный апрель Одер остался далеко позади армий маршала Жукова — они вышли на Эльбу, вихрь достиг своей наивысшей мощи: солдаты Страны Советов ворвались в Берлин с востока и юга!

Война подходила к концу. Громы пушек все еще нарастали, но уже каждый солдат знал, что это конец, каждый человек слышал голос своей души: завтра, завтра!

Три дня спустя после того, как сводки сообщили о берлинских боях, в Саксонии, под городом Торгау, Красная Армия протянула руку войскам своего союзника. Германии Гитлера как целого государства больше не существовало. Ее тело, страшное тело чудовища, недавно подавлявшего собою почти всю Европу, было разрублено надвое и издыхало по кускам. Долгожданный миг уничтожающего удара, о котором мечтали народы, ради которого, как ради высшей справедливости, они принесли

столько жертв — молодостью, счастьем, талантами, богатством, кровью,— этот миг пришел.

Я помню тишину и строгое благоговение огромного, длинного белого зала в Большом Кремлевском дворце, когда на заседании Верховного Совета раздался через громкоговоритель голос Верховного главнокомандующего. С волнением достигнутого счастья он сообщал об историческом событии: гитлеровская Германия рассечена, она повергнута наземь, час окончательной победы наступает. То была минута удивительной остроты душевного подъема и какого-то редчайшего единства разумения и чувств.

В тот день я слушал орудийный салют в Кремле, у подножия Ивана Великого, и оглушающие громы залпов будто поднимали меня над Москвой. Огни ее после бесконечных вечеров и ночей принужденной слепоты уже снимали свои повязки, и город, зрячий, оживший, молодеющий, отвечал на салют торжествующими, радостными раскатами.

Так шествовал апрель — месяц половодий. В последний его день, помню, оторвавшись на час-другой, снова и снова подходил я к плану города Берлина, висевшему уже целую неделю на стене моей комнаты. Как каждый грамотный человек — взрослые и дети,— в те удивительные дни я следил за продвижением советских дивизий по улицам германской столицы шаг за шагом, буквально от одной трамвайной остановки к другой. Войска наши уже дошли до Ангальтского вокзала. Они очищали от фашистов Тиргартен. Подземными ходами «унтергрунда», из которых фашисты сделали свой последний бастион головорезов и самоубийц, через горы щебня, через сплетения железных балок домов, разметываемых нашей артиллерией, красноармейцы со всех концов подтягивались к центру города.

В какие-то секунды становилось до неправдоподобия странно, что вот я стою в московской комнате, окна которой трижды вылетали от террористических немецких бомбежек, и слежу по плану Берлина, как рушатся, разваливаются в ничто последние гнезда сопротивления некогда устрашавшего мир оплота нацистов. Рушился не только Берлин — город, прозванный, по крылатому слову, «логовом зверя». Распадалась вся «ось», которой, как палицей или гвоздарем, размахивал этот зверь в Европе и Азии. Именно в последние дни и часы апреля очищалась от врага Северная Италия и, убегавший, как вор, от народа, пойманный и казненный народом, Муссолини висел ногами вверх на площади Милана, растерзанный и выставленный напоказ и позор. Какая-то женщина выстрелила в его труп пять

раз — по числу убитых на войне своих сыновей, и об этом акте человеческого гнева стало известно всему земному шару — так должно случиться с тем, кто отвечает за неисчерпаемое горе мира, вызвав и развязав мрачное зло войны!

Никогда, как в те предмайские дни, события не владели с такой властью душой. Никогда каждая последовавшая за вашей мыслью минута не оправдывала так щедро ожиданий, выраженных этой мыслью. Гитлеровцы еще дрались, они хитрили, провоцировали, они сдавались на западе, чтобы сильнее обороняться на востоке, они надеялись, стремились в последнюю секунду расколоть союзников, запугав их друг другом. Они думали уйти от смерти. Но смерть не собиралась уходить от них. Она пришла к ним навсегда.

Парад на Красной площади в Москве Первого мая еще не мог быть наименован парадом Победы. Но он был им. Он был парадом победы Советского Союза — это чувствовал народ, он хотел этого, он жаждал великой, справедливой награды за свой героизм, за свою жертвенность. Такой наградой могла быть только победа.

— Скоро ли? — как будто вопрошал народ.

— Скоро,— как будто отвечали войска всем своим строем — от маршалов до суворовцев.

Да, это случилось скоро. На второй день майского праздника пришло извещение, что части Красной Армии полностью овладели столицей Германии. Берлин пал.

В ряду столиц, крепостей и городов, которые взяты были когда-либо нашими войсками, Берлин занял совершенно особое место не только по историческому смыслу и значению успеха Красной Армии, но и по грандиозности боя за превращенный в крепость город с многомиллионным населением. Концентрированность и мощность нашего удара по Берлину ни с чем не сравнима. Довольно привести один факт. Много позже в разговоре со мной, который мне посчастливилось вести на той территории Берлина, где была подписана Германией капитуляция, маршал Жуков сказал:

— В битве за Берлин удалось сосредоточить свыше шестисот орудийных стволов на один километр фронта. Представляете себе, что это такое? Когда до Берлина при прорывах фронтов мы собирали на километр редко более двухсот стволов...

Так начался месяц, расцвет весны. Ему суждено было историей сделаться месяцем фашистских капитуляций. Весенний ветер побед раздувал вражеские фронты, как сухой песок. За капитуляцией огромного берлинского гарнизона последовала

капитуляция в Дании, в Голландии, на северо-западе Германии, в Северной Италии... День за днем приносил вести о сдавшихся новых и новых сотнях тысяч германских солдат, пока через шесть дней, восьмого мая, германское верховное командование не стало на колени и не подписало акта о безоговорочной капитуляции всех германских вооруженных сил.

Кто не помнит следующего утра, когда наш народ закончил восхождение на вершину и, освобожденный от бремени четырехлетней небывалой войны, сбросил его со своих плеч и вышел на улицу во всех городах и селах изумительной нашей страны? Это было ликование богатыря, как будто впервые увидевшего во всей полноте неизмеримое и жизнетворное свое могущество и с детской чистотой воспевавшего счастье своей победы. Салют Москвы из тысячи орудий был только отзвуком этой единой народной песни радости, как огни московских ракет, залившие вечернее небо, были только отсветом того сияния, которым светился Человек.

Мы вспоминаем с гордостью и благодарно весну Победы. Как никогда, мы знаем нашу силу, ощутив ее в том плоде, который завоеван беззаветным героизмом нашего воина и беззаветной работой нашего труженика. Мы ценим и бережем нашу силу, как драгоценность, мы будем развивать, совершенствовать, растить ее, как талант.

И так же, как наш народ был первым в войне за победу, так будет он первым в борьбе за мир, за весну Мира.

1946 год

ХОЗЯИН ОГНЕВОЙ СТИХИИ

1

Полковник Буданов был ранен на другой день после того, как началось наступление. Это было под Пулковом. Он шел по перепаханной снарядами земле, по земле, только что отнятой у противника, и неповторимое ощущение победы владело всем его существом. Командир роты связи лейтенант Кубатин с трудом поспевал за ним.

Взорвавшийся поблизости снаряд опрокинул Буданова на землю. Скорей с изумлением, чем с отчаянием, он крикнул:

— Ну вот и убили меня!

Потом, теряя сознание, он почувствовал горькую обиду за то, что непоправимое случилось именно сейчас, когда наступление двинулось широким, неудержимым потоком. Обида была так велика, что он заплакал, не стыдясь ничего, потому что чего же было стыдиться, когда все равно пришла смерть.

Наступил конец всему, точно кто-то укрыл его с головой тяжелой шубой, поглотившей и свет, и звуки, и весь мир. Было очень странно, что шуба эта то придавливала к земле, то съезжала с головы, и тогда Буданов начинал чувствовать непереносимую боль и видеть медленно летящий снег.

Потом он почувствовал, что кто-то тянет его за воротник, и, скосив глаза, увидел черное, точно вспаханное поле, столбы взметывающихся вверх разрывов, а совсем рядом с собой —

Писательница Елена Катерли во время войны была в осажденном Ленинграде, работала во фронтовой газете «На страже Родины». Тогда и был написан очерк о Герое Советского Союза Ф. А. Буданове.

Е. И. Катерли умерла в 1958 году. Очерк подготовлен к печати Ф. Самойловым.

полушубок и серые валенки. Он хотел спросить, кто это, но не было сил разговаривать, не было сил раздвинуть губы и даже смотреть.

Представление о времени было утрачено, и вдруг показалось, что уже наступила ночь,— так далеко отстоял тот миг, когда он вышел с Кубатиным.

Буданов открыл глаза, но небо оставалось все таким же серым, и снег летел все так же, и столбы разрывов по-прежнему поднимались над землей.

— Скорей! — прохрипел он.

Голос Кубатина, изменившийся и слабый, ответил словно издалека:

— Еще минутку потерпите, товарищ гвардии полковник. Сейчас траншея, там отдохнете. Я скорей не могу, нога задета, не дает.

Буданов не заметил спуска в траншею, потому что сознание опять покинуло его, и возвращение к жизни было вызвано громкими голосами, топотом ног и суетой людей, столпившихся кругом. Полковник открыл глаза и увидел Яшку. Яков стоял рядом и кричал каким-то чужим, грубым голосом:

— Не уберег! Не уберег! Со мной бы не убили!

Но тут Яков взглянул на полковника, лицо его искривилось, и он закрыл его ладонями.

Через траншею с визгом пронеслась мина, вторая лопнула где-то совсем рядом, и земля с шорохом посыпалась по стенке траншеи.

— Зачем столпились тут? — сердито сказал полковник, отведя глаза от Яшки. Он застонал от нестерпимой боли, потому что его подняли и снова опустили. Он закрыл глаза, чувствуя, что от головокружения тошнота подступила к горлу.

Он открыл их, только услышав шум моторов, лязганье гусениц, громкие голоса — весь этот слитный шум людной фронтовой дороги. Его везли с краю, по обочине, а навстречу сплошной лавиной шли грузовики, и орудия, и танки, и санные прицепы, груженные ящиками со снарядами. Все устремлялось вперед, и только его везли обратно. Он заскрипел зубами от бессильной ярости и от зависти к тем, кто шел вперед. В одну сторону с ним шли только пленные, и от этого становилось еще обидней и противней.

Навстречу волокуше, прямо по полю, мчался маленький «виллис». Он проскочил мимо волокуши и затормозил. Из «виллиса» вышел человек в генеральской шинели; он шагнул к волокуше и сказал, наклонившись к полковнику:

— Что же это ты, Феоктист Андреевич?.. Что же это ты, в такой-то момент!..

В голосе генерала звучала как будто бы укоризна, но лицо, с покрасневшей, обмороженной кожей, было искажено болью. Генерал нагнулся совсем низко над волокушей, сжал лицо Буданова обеими руками и крепко поцеловал его в губы. Потом выпрямился, и волокуша поплыла дальше, навстречу стремительному потоку машин, танков, орудий, людей.

Так вышел из боя артиллерист Буданов.

Лежа в маленькой палате ленинградского госпиталя, он мысленно шел вместе с теми, кто неудержимо удалялся сейчас от Ленинграда. В долгие бессонные ночи — а засыпал он только под утро — он участвовал в каждом бою своей дивизии.

За стенами госпиталя плыли тихие ленинградские ночи, полные особенной, неповторимой тишины, вернувшейся сюда после того, как была снята блокада и война ушла далеко от города. А Буданов, лежа неподвижно на спине, с высоко поднятой на распорке рукой, все еще слышал музыку боевых канонад.

2

Буданов начал войну не новичком. Он был профессиономом-военным. Он пришел в Красную Армию много лет назад молодым бойцом. Служил все время в одной части, учился, рос и к началу войны был майором и командовал артиллерийским полком.

Всю свою сознательную жизнь он провел в подготовке к войне, которая, он знал, должна начаться когда-то. Ему казалось, что, когда война разразится, он будет проводить ее как по нотам, так же, как проводил маневры и ученья. И только много позже, когда бессонные ночи в госпитале дали широкий простор для размышлений, он почувствовал, как много поправок и изменений внесла практика войны не только в технику и тактику, но даже в психологию, даже в личные качества каждого бойца и командира.

В начале войны полк, которым командовал Буданов, очутился под Сортавалой.

Обстановка была неясная и угрожающая. Линии фронта не существовало, враг лесными тропинками и болотными гатями просачивался вперед и неожиданно из-за поворота дороги, из-за

деревьев встречал отступающие колонны то пулеметной дробью, то выстрелами «кукушек».

В пыли и зное, под раскаленным небом шли на восток батареи полка Буданова. Шли укрытые, замаскированные ветками. Тяжелые пушки глубоко врезались колесами в сыпучий песок. Все это хозяйство нужно было вывезти из районов, которые покидала Красная Армия. И Буданов добросовестно, как настоящий хозяин, старался это сделать без малейших потерь.

Но наступил день, когда рожденная рассудком и знаниями военных законов добросовестность превратилась в ярость сердца. Она родилась, эта ярость, в тот миг, когда на большой лесной поляне, пустой и безлюдной, Буданов увидел оставленную, брошенную кем-то пушку.

В беспорядке валялись неиспользованные снаряды, в траве лежали оброненные кем-то ремень, котелки, железная каска. У пушки был такой сиротливый вид, что сердце Буданова — сердце старого солдата-артиллериста — стиснула невероятная жалость.

Буданов подскакал к пушке и, спешившись, быстро обошел ее кругом.

— Не моя! — сказал он с чувством облегчения,— мои бы не бросили. Но какие же это прохвосты кинули ее? Оставить ее здесь мы не можем, как ты полагаешь? — обратился он к своему ординарцу.

— На себе нам ее не уволочь, товарищ майор,— ответил тот.

Буданов знал это и сам. Он сразу же, как только увидел пушку, понял, чтó придется с ней сделать, но подсознательно оттягивал эту минуту.

Он приказал ординарцу спешиться.

— Подавай снаряды,— сказал он.— Сейчас дадим огоньку по этому лесу, пусть поежатся.

Ординарец слез с лошади и, привязав ее в сторонке к дереву, подошел к Буданову.

— Охота вам, товарищ майор, на себя «кукушек» приманивать,— неодобрительно сказал он.— Забили ей в ствол песку, стрельнули — и вся недолга...

— Молчи,— сердито ответил Буданов и быстро встал к пушке.

...Выстрелы грохотали на лесной поляне, сотрясая землю. Сорванные воздушным вихрем листья и ветки взлетали вверх и плавно опускались на траву; соседние деревца качались, точно охваченные бурей. Пушка вздрагивала и сотрясалась,

а выпущенные ею снаряды с шипеньем уносились в ту сторону, откуда катился наступавший враг.

Забыв все, не оборачиваясь, не отирая пот, стекающий изпод фуражки, Буданов самозабвенно стрелял. Голос ординарца, сообщившего, что снаряды кончаются, вернул его к действительности.

— Вот теперь — ствол песком,— сказал он и бросился помогать ординарцу.

3

В сентябре 1941 года Буданов оказался на правом берегу Невы, напротив Петрокрепости, тогда еще Шлиссельбурга. Его орудия пришли сюда 7 сентября, а на другой день немцы прорвались в Петрокрепость. С этого дня правый берег Невы, участок напротив Петрокрепости до Невской Дубровки, надолго стал местом «постоянной стоянки» полка Буданова.

На противоположной стороне осели немцы. Весь берег Невы, высокий и лесистый, они изрыли рядами глубоких траншей, опутали колючей проволокой, усеяли минами, застроили дотами, дзотами и блиндажами. И из каждого дота, из каждого окопа, из-за каждого укрытия уставились на правый берег стволы орудий, минометов, пулеметов и автоматов.

Целый год провел Буданов на правом берегу Невы. Рано стала Нева в эту суровую зиму, вьюги наметали на льду высокие сугробы, все более скудным становился военный паек, все меньше снарядов на батареях. Приходившее из Ленинграда пополнение было истощено голодом.

В холодные и голодные месяцы зимы сорок первого — сорок второго года Буданов требовал от подчиненных ему людей того же, чего и от себя,— неукоснительного исполнения своих воинских обязанностей. Он требовал бережного и любовного ухода за орудием, постоянной заботы о конях, соблюдения уставных правил. А главное — он требовал, чтобы при самом экономном расходовании снарядов артиллеристы ежедневно, ежечасно выполняли свою задачу — уничтожали живую силу и огневые средства противника.

Буданов не уставал изучать левый берег Невы, занятый врагом. Часами просиживал он с биноклем на своем КП, впивался глазами в каждую кочку, в каждый пенек, в каждый, казалось бы, безобидный холмик.

Буданов приучил и своих артиллеристов неусыпно следить

за левым берегом. Все траншеи, бугорки и полянки были «закреплены» за отдельными орудиями.

Гитлеровцы упорно бомбили и обстреливали наш берег. Глубокие воронки чернели вокруг КП Буданова, снаряды и бомбы пробивали толстый лед на Неве, и вода, смывая снег, причудливо застывала на льду.

Жестокую эту зиму на берегу Невы Буданов переносил легче, чем другие. Может быть, помогало суровое детство — детство рыбацкого сына, с малых лет привыкшего к студеным ветрам, дующим над обледенелыми прорубями широких озер. Подростком проводил он длинные зимние ночи у таких прорубей, знал вкус замерзшего, жесткого как камень куска хлеба, знал, как в одно мгновение схватывается на морозе промокшая одежда. Далеко от Невы родные озера! В Витебской области, там, где хозяйничали оккупанты, остался около этих озер старик отец, о судьбе которого Буданов не знал ничего с первых дней войны. Почти ничего не знал Буданов и о жене, эвакуированной с детьми в Ивановскую область. В те дни его семьей были артиллеристы, боевые товарищи и соратники, делившие с ним великую военную страду.

Эта глубокая привязанность к своему полку поддерживала людей в самые трудные минуты и тянула их с непреодолимой силой к однополчанам. В марте сорок второго года в полк вернулся адъютант Буданова Николай Егоров. Он пришел на правый берег Невы из глубокого тыла, где больше полгода пролежал в госпитале после тяжелого ранения. Раны не совсем зажили, но Егоров, пробравшись через кольцо блокады, явился в свою родную часть без ведома врачей, даже не взяв документов.

— Вы меня узнаёте? — спросил он Буданова, остановившись в дверях землянки.— Не узнаёте, наверно... Я понимаю, что меня трудно узнать.

Узнать его действительно было трудно — худой, обросший реденькой рыжей бородкой, он еле стоял на ногах. Его следовало бы отправить обратно в госпиталь, но разве можно было поступить так с человеком, который с неимоверным трудом преодолел тысячи километров для того, чтобы попасть на этот вот самый берег, отрезанный от всей страны, обстреливаемый врагом, на берег, где стояли его боевые товарищи? И Буданов оставил его в полку, назначив помощником начальника штаба, потому что хлопотливые обязанности адъютанта были Егорову сейчас не по силам.

Тысячи раз вдоль и поперек исходил Буданов за год уча-

сток берега, на котором расположились его батареи. Сам проверял состояние каждой огневой позиции, был придирчив и строг, требуя, чтоб все было сделано как следует, без малейших упущений.

Как-то поздно вечером подошел к одному из орудий. Расчет выкопал глубокий «карман», в котором должна была стоять пушка, хорошо замаскировал его, приготовил укрытие для людей, но забыл об одной «мелочи» — не расчистил сектора обстрела.

— Интересно, куда вы будете вести огонь? — спросил Буданов, сердито посматривая на артиллеристов.— Как вы увидите цель через эти елки? В елки мы стрелять должны или в гитлеровцев, что за рекой сидят?

Расчет смущенно молчал, и только кто-то сказал простодушно:

— Елки-то, верно, мешают. Да как их срубить, товарищ майор? Немец увидит, что рубим, стрелять начнет.

— Стрелять начнет? — повторил Буданов.— Как это он тебя впотьмах увидит? А ты хотел воевать, да чтобы в тебя не стреляли? Давай топор — покажу, как елки рубят.

Схватив топор из рук растерявшегося красноармейца, он вспрыгнул на пригорок и, размахнувшись, ударил по стволу. Он рубил, не думая о немцах, о том, что его действительно могут очень скоро заметить; топор звенел, впиваясь в промерзший ствол, и в этом звуке, в запахе хвои и снега было что-то от далекой, мирной жизни. Он не слышал, как его окликнули сзади, как взобрались вслед за ним два красноармейца и ударили топорами по стволам соседних деревьев. И только когда подрубленная елка упала, он, усмехнувшись, бросил топор, спрыгнул вниз и как ни в чем не бывало пошел дальше.

Это желание все проверить и посмотреть никогда его не оставляло. Ему хотелось быть одновременно на всех батареях, у каждого орудия, поговорить со всеми наводчиками, заряжающими, ездовыми. А когда дело касалось проверки результатов «работы» его полка, он готов был забраться непосредственно в немецкую траншею, чтобы ощупать, осмотреть все уничтоженное, сметенное огнем его батарей.

К концу года у Буданова было куда более обширное хозяйство — он стал командующим артиллерией дивизии. На вооружении появились новые, более мощные орудия. Каждое такое орудие он встречал, как праздник, как личный подарок.

...Наступил январь 1943 года. Перед войсками Ленинградского и Волховского фронтов была поставлена задача — про-

рвать кольцо, окружавшее Ленинград. Прорыв этот должен был осуществиться как раз там, где стояли артиллеристы Буданова,— у Шлиссельбурга, у деревни Марьино, у электростанции Дубровка.

Штурм левого берега Невы был делом нелегким,— высокий, обрывистый, хорошо укрепленный и богато насыщенный огневыми средствами, он как крепость возвышался над ровным ледяным полем Невы. Артиллеристы Буданова вместе с артиллеристами соседних дивизий должны были так «обработать» этот берег, чтобы вражеские огневые средства не смогли остановить нашу пехоту, когда она ступит на лед.

А ведь наступать на врага, который сидит на горе, со льда во много раз труднее, чем двигаться на него по твердой и прочной земле. На льду не укроешься от своих и вражеских снарядов, он может рухнуть и увлечь с собой все, что находится на нем. Нужно было подавить огневые точки врага, окопавшегося на самой кромке берега, и стрелять при этом так точно, чтобы ни один снаряд не попал на лед.

С десятков наблюдательных пунктов велось непрерывное наблюдение за противником, каждая подозрительная кочка бралась на учет. Разведчики часами сидели на деревьях, на вышках, а то и просто на уцелевших мачтах линии электропередачи. На столе у Буданова каждый день появлялись новые донесения о вражеском береге.

К концу первой декады января 1943 года артиллеристы Буданова были готовы к наступлению. Из штаба фронта прислали подробную панораму вражеского берега со всем, что было обнаружено на нем. Эта панорама дополнилась результатами наблюдений, которые вела дивизия. Каждый метр берега нанесли на специальные планшеты и вручали их артиллеристам. Расчетам орудий, стрелявших прямой наводкой, кроме того, были точно указаны видимые цели.

За несколько часов до начала артиллерийского наступления Буданов еще раз прошел по участку своей дивизии. Уже стояли на местах орудия, нацелив стволы на берег противника. Уже заполнила траншеи пехота, ожидающая только сигнала, чтобы ринуться на невский лед. Глаза пехотинцев и артиллеристов были прикованы к темневшему вдалеке противоположному берегу.

— Ну как? — негромко спросил Буданов у стоявшего рядом с ним молодого пехотинца.— Когда стрелять начнешь?

— Одновременно с вами, товарищ подполковник,— ответил красноармеец.— Вот этим орудием.

Буданов, каждым нервом чувствуя охватившее всех ожидание, вернулся на свой КП с твердой уверенностью, что все произойдет так, как требуется, и противник не устоит.

Он остался теперь на КП, как дирижер гигантского оркестра, готового грянуть по мановению его руки.

...Первый удар орудий был так оглушителен, что, казалось, берега пошатнулись от этого грома. Багровые вспышки залпов зарделись одновременно над всеми орудиями, и через мгновение огонь, перекинувшийся на тот берег, осветил все кругом.

Прямой наводкой били с кромки берега орудия. Издали грозно рокотали тяжелые пушки. Огненным смерчем раздирали воздух «катюши». Исчезли и зимняя ночь, и морозный воздух, и звезды на небе. Огонь, грохот и дым — вот все, что осталось на земле.

Когда потом выяснилось, что артиллерийское наступление длилось больше двух часов, этому трудно было поверить. Казалось, что прошло одно мгновение, продолжительность которого нельзя определить обычной мерою.

Пехота вступила на лед, и огненный вал артиллерийского огня перешагнул, передвинулся дальше. Под его прикрытием по Неве двинулись полки, простоявшие здесь почти шестнадцать месяцев. По Неве пошли люди, мечтавшие об этом дне пятьсот бесконечных дней и ночей, пошли герои, не пропустившие через Неву ни одного немца, выстоявшие здесь, не дрогнув, самые трудные и тяжелые времена.

Буданов, завидуя им, вынужден был пока оставаться на КП. Первые группы пехоты дошли до берега и ринулись на приступ. Люди карабкались по отвесным краям, взбирались по захваченным с собой лестницам, занимая прибрежные траншеи. И артиллерия, остававшаяся на правом берегу, помогала им.

Но вот в боевых порядках пехоты двинулись легкие орудия и минометы. Их везли на лошадях, несли на руках, проваливаясь по пояс в глубокий снег.

И опять Буданов с завистью смотрел на шедших по Неве. Его подразделения ушли к Шлиссельбургу, продвигаясь к Преображенской горе. Обрывистым краем поднимается она над Невой, к ней трудно подойти с реки, невозможно взобраться по ее обледенелым кручам, мощные укрепления создал здесь враг. Именно здесь да на южной окраине Шлиссельбурга особенно яростно сопротивлялись фашисты, засевшие на ситценабивной фабрике и в подвалах домов, и именно сюда вместе с дивизией Трубачева продвигались артиллеристы Буданова.

Наконец наступила и для него эта минута. Вдвоем с ординарцем Яшей, бесстрашным и бесконечно преданным ему, Буданов ступил на лед. Он шел по залитой солнцем Неве, распахнув жаркий полушубок. Азарт и возбуждение боя захлестнули Буданова. Он помогал командирам орудий разделываться с огневыми точками врага, участвовал в захвате штаба батальона противника, засевшего на Преображенской горе.

Так начался для Буданова 1943 год. Окрыленный успехом, награжденный двумя боевыми орденами, вступил он на новый путь — теперь уже не по правому, а по левому берегу Невы — от стен отвоеванного у врага Шлиссельбурга.

4

За все время существования железнодорожного транспорта никогда еще не было такой железной дороги. Проложенная со сказочной быстротой на территории, только что освобожденной от врага, она вилась по узенькому коридорчику, прорубленному в чахлом, болотистом лесу. За редкой порослью этого леса все еще сидели немцы. Их орудия и наблюдательные пункты, их землянки и блиндажи расположились совсем близко вдоль железной дороги. И дорога эта, выстроенная для того, чтобы связать Ленинград с «большой землей», была под постоянным контролем врага.

С такой же быстротой были выстроены и мосты через Неву. Их строили под обстрелами; и нередко враг за несколько минут уничтожал все сделанное саперами.

Артиллеристы Буданова получили задание охранять новую дорогу. Это не освобождало их от других боевых задач: по-прежнему группы орудий крупных калибров громили глубоко эшелонированные укрепления врага, по-прежнему артиллерийские разведчики выискивали расположение неприятельских батарей, заставляя фашистов передвигать и прятать живую силу.

Только благодаря напряженному, неусыпному вниманию артиллеристов могли почти беспрерывно ходить составы по этому насквозь просматриваемому, насквозь простреливаемому коридору.

Апрель и май 1943 года провел Буданов на этом участке. Но летом, когда подсохли размытые весенней распутицей дороги, орудия его пошли в новый боевой путь — по левому

берегу Невы, за Дубровскую электростанцию, к Анненскому и Арбузову, где все еще сидели фашисты.

Берег Невы на этом участке, если смотреть на него с реки, кажется сухим и высоким. Но это ошибочное представление. На самом деле сухая здесь только самая кромка берега, а за ней сразу начинается низкое, топкое место, зыбкие торфяники, поросшие чахлым леском. Берег во многих местах рассекают глубокие, узкие овраги, размытые ручьями.

Низкая и болотистая почва с зыбким, колеблющимся под ногами грунтом грозила засосать в свои трясины орудия. Траншеи надо было не выкапывать в земле, а строить на поверхности, воздвигая нечто вроде сплошных бревенчатых заборов. Заборы эти строились в два ряда, на небольшом расстоянии друг от друга, а промежуток между ними закладывался торфом. Получалась толстая стена, за которой сооружались «карманы» для орудий и укрытия для людей.

Но на этом не кончалось оборудование «укрытия», нужно было еще выстроить прочные высокие фундаменты для пушек, потому что нельзя же было втаскивать их во время стрельбы прямо на стенку. И около каждого «кармана» соорудили такие фундаменты; они представляли собой нечто вроде срубов для колодцев, в срубы были засыпаны торф, земля и камни, а сверху их закрывал плотный настил. К каждому срубу был сделан наклонный дощатый въезд, по которому втаскивалась наверх пушка.

Выглядело все это необычно: над длинной лентой совершенно незаметной насыпной траншеи вдруг, точно по волшебству, появлялись пушки. Издали казалось, что орудия взлетели на верхушки низеньких елочек и держатся там каким-то чудом.

— Как кулики на кочках! — посмеивался Буданов, глядя на своих артиллеристов.

В летние жаркие месяцы 1943 года артиллеристы вели здесь ожесточенные бои. В сводках Совинформбюро они назывались «боями местного значения», а то и вовсе не упоминались.

Немцы несли большие потери. Как только они начинали разгружать подвезенные резервы, по грузовикам ударяли «катюши», колонны подходившей вражеской пехоты сметались снарядами пушек.

Особые надежды возлагались на захват Синявинских высот. К участию в боях за эти высоты Буданов начал готовиться давно. Далеко от поля предстоявших сражений была найдена местность — подобие Синявинской; на ней возведены сооруже-

пия со всеми известными командованию Красной Армии подробностями немецкой обороны.

Здесь проводилась генеральная репетиция. Артиллерия, танки, пехота — все, что имелось в дивизии, принимало участие в этой репетиции. С огромным напряжением работали штабы, неутомимо вели свои наблюдения разведчики, в полной готовности были медсанбаты.

Но как ни важна была вся эта работа, Буданов всегда находил возможность урвать время и съездить к настоящим Синявинским высотам. Там, на месте, он еще и еще раз продумывал план артиллерийского наступления.

Буданов и неразлучный с ним ординарец Яша много раз собственными шагами измерили плацдарм будущего наступления. Здесь в те дни шла артиллерийская перестрелка. Яша ревниво следил за тем, чтобы никогда не думавший об опасности полковник не попал в беду. Он не раз спасал Буданову жизнь, не думая о своей собственной.

Приближалась осень, а с ней дожди, грязь, бездорожье, затруднявшие передвижение по этим и без того низким, болотистым местам. День наступления был назначен.

Как тщательно ни готовься к наступлению, как ни изучай обстановку, всегда в последнюю минуту может выявиться какая-нибудь неожиданность, требующая новых поправок и дополнений. Так случилось и здесь. Дня за три до начала наступления наши части отбили у врага совсем небольшой — около двух гектаров — участок. Он был важен для нас тем, что с него можно было увидеть ту часть Синявинских высот, которая до сих пор не просматривалась. Отсюда-то Буданов и высмотрел совершенно новую в обороне немцев подробность, которая заставила его сразу же, на ходу, изменить разработанный заранее план.

Шесть часов, не отрывая воспаленных глаз от бинокля, провел Буданов на наспех сооруженном наблюдательном пункте. Перед ним как на ладони раскрылась невидимая до сих пор левофланговая, отсечная неприятельская позиция. Он видел укрытия, в которых расположились орудия, видел траншеи, по которым, почти не остерегаясь, ходили немцы, уверенные в том, что за ними никто не может наблюдать. Многие подробности скрытой до этого жизни врага делались теперь очевидными.

Рядом с Будановым, также не отрывая глаз от бинокля, стоял Яша.

— Кухня у них там, товарищ полковник,— сообщал он.— Офицерская, должно быть,— повар в белом колпаке виден. Вон

куда побежал... Обратно бежит, дьявол, несет что-то... Кладовая, видно, там... Вон офицер вышел,— не боится, что увидят! Вон другой; штаб, что ли, какой здесь схоронился?

Буданов и без Яши давно понял, что именно здесь, на этой отсечной позиции, находится и штаб, и основная живая сила, охраняющая высоту, и большое количество орудий, и склады боеприпасов. А впереди, в тех трех траншеях, на которые должно было обрушиться наступление, противник держит только боевое охранение, пополняемое силами, скрытыми на левом фланге.

— Добро! — сказал Буданов, закончив наблюдение.— Теперь ясно стало, как их надо бить! Два дивизиона — на этот клочок! Установим колесо к колесу и дадим огонь по отсечной позиции. Не позволим фрицам стрелять оттуда, и легче станет всю высоту брать! Идем, Яков, торопиться надо — работы у нас теперь будет много.

...Иногда кажется непонятным: как это противник не замечает подготовки к наступлению? Неужели он, настороженный и подозрительный, не чует, какая лихорадочная работа происходит перед его передним краем? Неужели ветер не доносит до него глухой шум двигаемых орудий, шорох подходящей к траншеям пехоты, атмосферу величайшего напряжения, царящую по ту сторону нейтральной зоны? Трудно понять, почему он не видит, не слышит этого, хотя в другие дни любое движение может вызвать с его стороны немедленную настороженность. Во всяком случае, подготовка к наступлению прошла совсем незамеченной немцами. Даже пристрелка минометов, которую провели накануне, инсценируя обычный налет, не вызвала у них никакого подозрения. Минометы пристрелялись и замолчали, а разведка донесла, что противник, как обычно, привел «лопатников» из резерва и начал исправлять поврежденные траншеи.

Бесшумно и скрытно встали на свои места орудия, предназначенные для стрельбы прямой наводкой. Им не нужна была пристрелка — они начинали работать сразу. На небольшом клочке против отсечной позиции встало два дивизиона.

Никогда еще раньше не вызывал Буданов своим сигналом такого грохота, такого моря огня, какой разгорелся в сентябрьский предрассветный час на подступах к Синявинским высотам. Багровым заревом вспыхнуло небо, и яркие хвосты сигнальных ракет прочертили его. По всем траншеям, опоясавшим высоту, по всем амбразурам дотов и дзотов, по каждой землянке, по каждой «лисьей норе» ударили пушки. Как горный водопад,

обрушивалась стена огня на врагов, уничтожая живую силу, разрушая блиндажи и ходы сообщений, выводя из строя расчеты орудий, забившиеся в укрытия. Каждая группа орудий «обрабатывала» свою траншею и двигалась дальше, к самой последней, к третьей, где постепенно сосредоточился весь огонь.

Но вот пехотинцы бросились через нейтральную зону в передние траншеи. Уже почти на самом гребне высоты они вдруг остановились, встреченные огнем вражеских минометов.

— Дымовую завесу! — скомандовал Буданов, и тотчас же густая пелена дыма расстилается по земле, плотно окутывая нашу пехоту. Гитлеровцы, решив, что сейчас, вероятно, начнется атака, выбежали на гребень. Теперь они как на ладони, и наши минометы накрывают их огнем. Гвардейцы бросились вперед и овладели Синявинскими высотами.

Смолк грозный хор орудий. Теперь пехота — хозяин на поле сражения. На правом фланге, в лощине, остались два вражеских дзота. Пехотинцы блокируют их и забирают в плен спрятавшихся там фашистов.

А что же было на левофланговой, отсечной позиции? Там бой развернулся с молниеносной быстротой. Когда на нее обрушился огонь двух дивизионов, немцы так растерялись, что не только не смогли отвечать, но даже не успели одеться. Через полчаса после начала атаки позиция уже была в руках гвардейцев.

Пленных вели мимо затихших орудий, мимо артиллеристов, у которых за эти дни осунулись и потемнели лица, мимо командного пункта Буданова — хозяина всей этой огневой стихии. Пленных было много, и смотреть на их лица было неприятно. Вдруг Буданов неожиданно рассмеялся.

Он увидел, что двое немцев несли на носилках... своего конвойного! Усталый и хмурый красноармеец сжимал в одной руке автомат, а в другой — сапог. Нога, обмотанная окровавленной портянкой, была вытянута вдоль носилок.

— Слушай, куда это тебя фрицы несут? — крикнул Буданов красноармейцу.

— Да я их в плен веду, товарищ гвардии полковник! — ответил красноармеец.— Я с ними шел, а меня осколком в ногу. Идти не могу, так не отпускать же их по этой причине. Вот и велел нести.

Процессия двинулась дальше. Немцы, несшие носилки, старательно обходили все неровности почвы...

...Битва за Синявинские высоты была важным этапом в борьбе за освобождение Ленинграда от вражеской блокады.

Важным этапом была она и в военной биографии Буданова. Орден Красного Знамени, полученный им под Синявином, не только оценивал то, что он сделал, но и обязывал в дальнейшем сделать еще больше.

5

Шел январь 1944 года. Гвардии полковник Герой Советского Союза Буданов, как все на фронте, готовился к решающему удару по врагу. Он разрабатывал план подвоза боеприпасов к переднему краю, намечая дороги, по которым сплошным потоком, не задерживаясь ни на минуту, должны пойти машины. Но это была только крохотная частица общего огромного плана наступления.

Войска Ленинградского фронта готовились отбросить врага от Ленинграда, окончательно снять блокаду. Немцы по-прежнему были совсем близко, их дальнобойная артиллерия с тупым упорством била по жилым домам и улицам города.

Дивизия, в которой служил Буданов, должна была наступать на самом ответственном участке — на участке «главного удара» — с Пулковской высоты. Открытые широкие склоны высоко поднимались над передним краем обороны противника. С Пулковской высоты далеко было видно землю, захваченную врагом, города Пушкин и Павловск, парки, остатки сожженных и разрушенных дворцов.

Подготовка к штурму началась задолго. Так же, как перед Синявинской операцией, в тылу, на сходной местности, подразделения и части проходили тренировку. Так же командирская разведка вела наблюдение за передним краем противника, так же расписывались и закреплялись за орудиями их цели.

Но подготовительная работа теперь была куда более грандиозной, чем перед прежними боями.

За несколько дней до выдвижения на огневые позиции Буданов собрал командиров орудий сопровождения пехоты. Это было необычное, какое-то особенно приподнятое, «душевное» собрание. Среди артиллеристов оказалось много людей, пришедших в дивизию уже во время войны и незнакомых с ее историей. Буданов рассказывал им о заслугах дивизии, о ее героических боях на полуострове Ханко, о том, как сражались гвардейцы во время прорыва блокады, как отвоевали они для Ленинграда, для воинов фронта железную дорогу, которая стала единственным путем на «большую землю».

— Помните, друзья мои, как жили мы зимой сорок первого — сорок второго года? — говорит он ветеранам.— Помните, как было нам тяжело,— и голодать приходилось, и снарядов не хватало, и не имели мы с вами таких пушек, какие у нас есть сейчас. Пехотинцы нашей дивизии отбили у врага коридор вдоль Ладожского озера и вам привезли хлеб, снаряды и вооружение. Мы многим обязаны пехоте и в предстоящем сражении сделаем все, чтобы обеспечить ей продвижение вперед.

Надолго затянулась эта беседа. Буданов подробно разъяснил артиллеристам, как важно соблюдать строжайшую осторожность при выдвижении на огневой рубеж, от этого зависит весь успех наступления. Потом он отправился на передний край и занял наблюдательный пункт в первой траншее. На территории противника было все тихо, запорошенные снегом, горбатились траншеи и доты, черную проволоку опушил иней, белой пеленой лежала ничейная зона. Среди этого безмолвия с трудом верилось, что по снежной равнине движутся выкрашенные в белый цвет орудия, колеса которых, чтобы не скрипели, обмотаны тряпками; за орудиями везут тяжелые зарядные ящики, идут закутанные в маскхалаты люди. Приближалась грозная и могучая лавина.

Беззвучно и невидимо шли артиллеристы Буданова к переднему краю. Две ночи продолжалось выдвижение. На передний край вывели орудия для стрельбы прямой наводкой и спрятали их в глубоких «карманах». Сотни орудий разместились на дальних огневых позициях. С темного неба падал легкий снег, сразу же засыпая все следы на земле.

Наступили последние сутки перед решающим ударом. В штабе Буданова шла окончательная проверка готовности к бою. Отрабатывалось управление огнем — условный язык позывных, сигнализация, кодировка целей. В траншеях, готовые к атаке, сидели пехотинцы — герои Ханко и Шлиссельбурга, ветераны боев на Неве. Около орудий в напряженном ожидании застыли артиллеристы, телефонисты приникли к аппаратам, связные не сводили глаз со своих командиров. Последние, полные великого ожидания минуты перед наступлением!

На рассвете Буданов вышел из землянки КП, расположенного на скате Пулковской горы, около развалин обсерватории. Он остановился, оглядывая свой передний край, нейтральную зону и чуть видные в слабом сиянии утра траншеи врага. Мертвое белое поле расстилалось кругом. Тихо и плавно скользил в воздухе снег, и небо казалось низким и косматым.

Буданов представил себе Ленинград и его жителей, чутко и

тревожно сидящих в своих затемненных, израненных домах. Сегодня еще свистят снаряды над кровлями их жилищ; может быть, за эту ночь прибавятся новые жертвы к тем, которые уже понес город. Но эти жертвы будут последними!

— Вы бы отдохнули, товарищ гвардии полковник,— тихо сказал появившийся рядом Яков.— Потом-то ведь отдохнуть не придется.

— Я не устал,— ответил Буданов. Запавшие в орбиты глаза его блеснули.— В такое время нельзя уставать, Яша, и отдыхать нельзя. Это, брат, великая минута в жизни человека. О такой люди помнят потом до самой смерти и рассказывают о ней детям и внукам.

...Первый залп загрохотал, как горный обвал. В одно мгновение ожило мертвое белое поле, почернело, заполнилось людьми и орудиями. Как по волшебству, из-под пушистого нетронутого снежного покрова вымахнули орудия. И покатился огненный вал, разрушая первую, вторую, третью линии траншей. Сердце Буданова замирало от восторга.

Уже грохотали минометы и «катюши». Артиллерийская подготовка заканчивалась. И вот наступил момент атаки. Во весь рост поднялись гвардейцы.

В последних траншеях врага закипел рукопашный бой; уже вели первых пленных, уже вступал в действие план перемещения артиллерии — следующий этап наступления. На одном из участков наступление немного отстало, и туда направился генерал Симоняк. Покинул землянку и Буданов. Вместе с Яшей он шел по вздыбленной земле, наблюдая за батареями.

К исходу первого дня гвардейцы под командой генерала Симоняка продвинулись на три-четыре километра от Пулковских высот. Вслед за ними новые позиции заняли и орудия. К утру все было готово к дальнейшей работе. Буданов решил побывать у артиллеристов, которые немного оторвались от всей дивизии и выдвинулись вперед.

— Они там нервничают в одиночестве,— сказал он.— Пойду к ним.

И он отправился, взяв с собой командира роты связи лейтенанта Кубатина.

Он шел счастливый тем, что идет по вырванной, отвоеванной у врага земле. На ней и упал он, тяжело раненный осколком снаряда. А дивизия, которой проложили дорогу его пушки, продолжала двигаться вперед. Наступление развивалось.

НЕ ЗНАЮЩИЕ СТРАХА

КРОВЬЮ НАПИСАННАЯ КЛЯТВА

15-я сивашская дивизия, входившая в состав 13-й армии Центрального фронта, вот уже второй месяц занимала оборону северо-западнее станции Поныри, па так называемом Курском выступе, образовавшемся после стремительного наступления войск генерала Рокоссовского, начавших свой победный боевой путь от берегов Волги.

Мне уже несколько раз удалось побывать в Сивашской дивизии. Командир ее, генерал Слышкин, высокий, удивительно спокойный и во всем обстоятельный казак, был весьма приветливым человеком и нас, журналистов, охотно «приручал» к своей дивизии. Жили мы у сивашцев неделями. На этот раз я обосновался в полку, которым командовал подполковник Карташев. Весна только вступила в свои права: журчали ручейки, глухо стонали автомобили, застрявшие в липком черноземе полевых дорог. На переднем крае было относительно спокойно: изредка ухали одиночные пушечные выстрелы, да раздавалась короткая дробь автоматных очередей. Такая тишина на фронте обычно предвещает скорую бурю.

С заместителем командира полка майором Смолянским мы направляемся к землянке пулеметчика Павла Дубка. Идем мы туда не случайно. Павел Дубок — секретарь комсомольской организации полка, и, как говорит майор Смолянский, сам во всем тон задает. Смолянский тут же поведал мне, как Павел Дубок не раз показывал пример стойкости и мужества.

— Наш полк менял позицию,— рассказывает майор.— Отход на новый рубеж поручили прикрывать Павлу. Восемь часов он вел беспрерывный огонь по противнику, пытавшемуся помешать маневру полка. Расчеты двух пулеметов, которыми

командовал Дубок, вышли из строя. Он один, перебегая от пулемета к пулемету, поливал огнем наседавших гитлеровцев и не пустил их вперед ни на шаг.

А в наступлении наш Дубок тоже находчив и смел,— продолжал майор Смолянский.— В одной роте в час горячего боя он по комсомольским делам оказался. Командир роты погиб. Дубок взял командование на себя, отбил у врага окопы, первым ворвался в деревню Александровку, прошил из автомата пятерых гитлеровцев и шестого взял в плен. Таков комсомольский вожак Павел Дубок. И все комсомольцы полка ему под стать.

В землянке нас встретил небольшого роста, румяный, черноглазый крепыш, на гимнастерке которого горели два боевых ордена. Майор Смолянский сообщил цель нашего прихода и, посоветовав обо всем интересном рассказать мне поподробнее, ушел в окопы ближайшего батальона.

Больше двух часов слушал я рассказ Павла о молодых воинах. Мягкий украинский выговор подчеркивал его нежную влюбленность в тех, о ком он говорил.

— Вот очередное письмо Яше Абдулаеву.— Дубок протягивает мне листок из ученической тетради, исписанный разными почерками.— Это наше коллективное письмо Яше в госпиталь. На днях он написал нам: «Не кручиньтеся, скоро увидимся». К нам в полк Яша Абдулаев попал прямо из Ташкентской консерватории, где он учился. Веселый, энергичный, он сразу стал любимцем солдат. Кроме узбекского и русского языков Яша в совершенстве владеет казахским и татарским. Месяц назад Абдулаев, не успев еще поносить погоны старшего сержанта, возглавил группу солдат нерусской национальности и по заданию командования полка повел ее на штурм вражеского дзота. Надо было видеть, как тонко и лихо провел он всю операцию. Разрушив и очистив дзот, Яша лично уничтожил четырех гитлеровцев. Вся группа с солидными трофеями, без потерь вернулась в свои окопы. А недавно Абдулаев шел в бой уже во главе целого взвода. Его ранило в руку. Но в это время убило командира роты, и Яша, не задумываясь, принял командование и повел роту в атаку. Одним из первых он ворвался в деревню Петровку. В азарте боя Яков не сразу почувствовал, как вторая пуля пронзила его тело. И лишь после третьего ранения (пуля пробила кость руки) Абдулаев согласился пойти в медсанбат. К этому времени боевая задача была выполнена — рота овладела рубежом, указанным в приказе командира полка...

Яша-то скоро вернется, а вот Золотарева мы уже не увидим,— тяжело вздохнул Павел Дубок.— Миша Золотарев, можно сказать, вырос в нашем полку. В комсомол вступил, когда был младшим лейтенантом и командовал взводом. На наших глазах вырос до капитана и командира батальона, да еще лучшего в полку. Воинов этого батальона до сих пор так и зовут золотаревцами. А погиб Миша так, как погибают герои...

Ранним утром противник превосходящими силами пошел в атаку на позиции батальона. Золотаревцы организованно встретили его. В разгар боя осколками мины Золотарева тяжело ранило. Истекая кровью, он подозвал связного Курасова: «Вот тебе мой автомат. Пробирайся к моему заместителю и передай приказ: пусть берет командование батальоном на себя». Когда Курасов, передав распоряжение комбата, вернулся в окоп, Золотарев был мертв. Вокруг валялись винтовочные патроны. Пуст был и барабан нагана. Перед бруствером окопа, в котором находился капитан Золотарев, лежало восемь убитых гитлеровцев...

Павел Дубок встал, прошелся по землянке, взволнованный охватившими его чувствами. Потом сел и, словно все обдумав, достал из полевой сумки красную книжечку, бережно завернутую в бумагу. Это был комсомольский билет бронебойщика Григория Кагамлыка. И Павел Дубок поведал мне еще одну героическую историю.

...Гриша Кагамлык на фронт попал недавно и сразу сюда, на Курскую дугу. На курской земле он как бы услышал дуновение родного полтавского ветра. Через неделю он пришел к Павлу Дубку:

— Решил в комсомол войти,— немного смутившись, проговорил бронебойщик Кагамлык.

А еще через неделю Кагамлыку была вручена эта красная книжечка.

— Комсомолец должен быть в наступлении решительным и смелым, в обороне — стойким и мужественным,— громко и отчетливо сказал Кагамлык,— принимая из рук Павла Дубка комсомольский билет.

И эти слова прозвучали как клятва.

Спустя несколько дней все солдаты убедились в верности клятвы Гриши Кагамлыка.

...Павел Дубок шел по окопам, через которые пытались прорваться вражеские стальные громады, а за ними и автоматчики. Вот и окопчик, где находился расчет противотанкового

ружья сержанта Кагамлыка. На бруствере, истекая кровью, лежал сержант. В руках крепко сжато ружье, голова беспомощно лежит на земле.

— Гриша! Кагамлык! — закричал Дубок.

Сержант приподнял голову и, еле двигая губами, спросил:

— Немцы не прошли?

— Не прошли! Не прошли, дорогой! — проговорил Дубок.

Кагамлык еще выше поднял голову и, встретившись взглядом с боевым другом, тихо прошептал:

— Я дрался до последнего... патрона...

Через несколько минут Кагамлык от большой потери крови скончался.

Над курскими холмами висела гарь боя. Раскаленное весеннее солнце уходило за косогор. Дубок осмотрел участок отгремевшей битвы. На дне окопчика лежали бездыханные тела двух солдат героического расчета бронебойщика Кагамлыка. Рядом — противотанковое ружье и пустая магазинная коробка. А перед окопчиком храбрецов — два немецких танка, застывшие страшными стальными чудовищами, и вокруг них — несколько десятков убитых вражеских автоматчиков. Павел Дубок осторожно поднял тело Кагамлыка и положил его между двумя холмиками. Из расстегнутого кармана гимнастерки выпал комсомольский билет, словно напоминая о бессмертии героя...

— Прочитайте.— Дубок развернул комсомольский билет и подал его мне.

Во всю страницу кровью были написаны слова:

«Умру, но не отступлю! Ни шагу назад. Клянусь своей кровью. Сержант Кагамлык».

Внизу, тоже кровью, выведена пятиконечная звезда...

Ровно через два месяца, во второй половине июня 1943 года, в тихий летний вечер командарм 13-й армии генерал-лейтенант Николай Павлович Пухов объезжал свежие боевые части, прибывшие из резерва. Я был приглашен в эту поездку. На окраину села Никольского доносились отзвуки далеких одиночных пушечных выстрелов. Здесь, среди кленов, что у красной кирпичной школы, бойцы полка Карташева только что покрасили деревянную ограду. За ней могильный холм и обелиск. Командарм подошел к ограде, снял фуражку и, как в почетном карауле, застыл на минуту. Склонив головы, стояли и солдаты.

Потом командарм обратился к подполковнику Карташеву:

— Ограду надо сделать железную и обелиск выложить из кирпича. Память об этом человеке бессмертна!

Здесь, в километре от остовов двух сгоревших немецких танков, покоится прах сержанта-бронебойщика, комсомольца Григория Сергеевича Кагамлыка, прожившего на свете всего лишь 20 лет. За беспримерный подвиг в бою указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 года он посмертно удостоен звания Героя Советского Союза...

...Давно отшумели исторические битвы, закончившиеся полным разгромом врага. На бескрайних просторах Родины кипит созидательный труд. Но слава героев войны бессмертна.

В залах Исторического музея в Москве среди сотен экспонатов видел я и тот самый комсомольский билет, который показывал мне весной 1943 года в землянке на Курской дуге секретарь комсомольской организации полка 15-й Сивашской дивизии Павел Дубок,— комсомольский билет Григория Кагамлыка с его клятвой, написанной кровью...

СЛАВА РУССКИХ ПУШЕК

Хмурый, с ватой нависших облаков, неласковый июльский день. А на горизонте, в сторону Орла, густая, черная, не меняющая своего направления стена дыма и копоти. Вот уже который день, приезжая сюда из района штаба фронта, мы издали видим эту черную стену, стену боя. Гитлеровцы предпринимают отчаянные усилия, чтобы сдвинуть ее на юг, к Курску. Но советские войска вначале задержали, а теперь совсем остановили этот черный вал смерти, и он мечется то вправо, то влево, но вперед не подается ни на один метр.

У левого края черного вала дерутся батареи артиллерийского полка, которым командует полковник Николай Железняков. Из уютной, обжитой землянки, наполненной пьянящим ароматом скошенной луговой травы, вот уже много суток Железняков руководит неравным по силам, поистине героическим боем, в котором множится слава русских пушек. От их меткого огня отполыхали многие десятки вражеских танков, и теперь их черные мертвые остовы стоят, как памятники славы и доблести советским артиллеристам.

Подполковник очень занят, и я не отрываю его, а только ловлю отрывки фраз, которые он бросает то в телефонную трубку, то входящим в землянку офицерам. По окающей речи догадываюсь, что Железняков волжанин, даже нижегородец. Так и есть.

— Слушай, земляк, горьковчанин, не подкачай! — кричит командир полка в трубку телефона.

Вот он улучил минутку для беседы со мной. После некоторого раздумья, словно что-то вспоминая, он смотрит на меня в упор и произносит:

— Народ у нас в полку чудесный, крепкий, как будто из особого сплава!

И опять сквозь грохот боя я слышу только обрывки фраз да время от времени смахиваю с гимнастерки землю, обильно проникающую сквозь деревянный накат землянки. Входит бритоголовый, безусый, небольшого роста, с перевязанной вздувшейся щекой солдат. В его фигуре ничего особенного: солдат как солдат, но, видимо, из тех ядреных и крепких, о которых только что с восхищением говорил Железняков.

Я устраиваюсь около раненого солдата. Зовут его Андреем. Фамилия Пузиков. В бою он всего с неделю. Но война ему знакома. Глубокой осенью сорок первого, работая в забое в Подмосковном угольном бассейне, он узнал, что такое бомбежка и артиллерийский обстрел: враг тогда рвался к Туле. Когда, год назад, 19-летнего Андрея Пузикова призвали в армию, он заявил в военкомате:

— Я обстрелянный. В случае чего могу сойти и за бывалого.

Но по-настоящему Пузиков понюхал пороху только в эти дни.

Я попросил Андрея поподробнее рассказать о последних боевых днях. Вот что я записал после его рассказа.

...Пушки батареи расположились так: вторая, третья и четвертая были выдвинуты несколько вперед, чтобы бить по танкам прямой наводкой, а первая, Петра Котюшенко, в расчете которой служил Андрей Пузиков, была оттянута несколько назад. Ее задача: стрелять шрапнельными снарядами и отсекать пехоту от танков. Когда началась массированная танковая атака, Пузиков со своей позиции видел, как расчеты Григория Коваленко, Николая Сержа и Григория Русецкого один за другим поджигали танки. К обеду перед позициями советских пушек стояло уже одиннадцать объятых пламенем или дымящихся вражеских танков. Тяжелые потери понесла и наша батарея: на нее целый день сыпались бомбы, тут же рвались снаряды, лил дождь автоматных очередей. И, не взирая на кромешный ад, батарея выстояла...

Ночью орудие Петра Котюшенко передали соседней батарее, состоявшей всего из двух пушек. За ночь расчет Петра Ко-

тюшенко глубже зарылся в землю, установил связь, отработал обязанности каждого номера расчета.

Утро началось неописуемым грохотом. На позиции батареи обрушили огонь десятки вражеских орудий, сюда же вывалили свой смертоносный груз закрывшие небо «Юнкерсы». Одновременно на равнине поля показались танки. Они шли в четыре нарастающих один за другим вала. Сквозь дым и гул разрывов к расчету Петра Котюшенко пробрался командир дивизиона старший лейтенант Картузов. Он не приказывал, не просил. Он сказал то, о чем сейчас думали все — и командир орудия Петр Котюшенко, и наводчик Алексей Соколов, и установщик Андриян Кондрашев, и замковый Андрей Пузиков. Старший лейтенант Картузов сказал:

— Не посрамим чести нашего оружия, товарищи! Подпустим танки ближе, а потом ударим по ним!

На два советских орудия ринулась лавина танков, на ходу изрыгая огонь. Петр Котюшенко выскочил на бруствер и прокричал:

— По колонне фашистских танков — огонь!

И грянул бой, горячий, ожесточенный. Третьим спарядом Алексей Соколов поджег танк. На глазах всего расчета танк вспыхнул и окутался черными клубами дыма. Еще несколько снарядов — и вспыхнул второй. Первая танковая атака захлебнулась. Тогда гитлеровцы решили пропустить вперед огромные, с длинными стволами пушек, тяжелые танки Т-6 — «тигры». Грозным видом «тигров» гитлеровское командование надеялось морально подавить наших артиллеристов. Но не тут-то было. Наши расчеты стояли на своих местах, как обычно, сосредоточенно наблюдая за движением стальных громад. Наводчик Соколов уже поймал на прицел «тигра», шедшего справа, но в ту же секунду чем-то острым и горячим ударило ему по ногам. Друзья осторожно уложили Соколова на землю рядом с пушкой, и на его место встал замковый Андрей Пузиков.

...В землянке, где я беседую с Пузиковым, наступила тишина. Даже подполковник Железняков оторвался от телефонной трубки и вместе со всеми стал слушать рассказ артиллериста.

— В эту минуту я ни о чем не думал, — вспоминал взволнованный своим рассказом Пузиков, — я как бы физически слился с пушкой, и все — мозг, сердце, глаза и руки были подчинены одной цели: бить точно, без промаха. Выстрелил. Смотрю, попал — горит! — Андрей движением всей своей фигуры

показал, как он это увидел тогда, в те горячие секунды боя.— Еще выстрелил — и еще танк загорелся. Потом и третий...

Кто-то прервал Пузикова:

— Ты поподробнее расскажи, как все это было.

— А вот так и было, как я говорю. «Тигры» загорелись — полыхают они здорово. И вся стальная армада по чьей-то команде остановилась, а передние танки стали разворачиваться на обратный ход.

...Дальше события развивались так. Когда передние танки развернулись на обратный ход, на месте страшного, клокочущего огнем боя наступила тишина, если это можно назвать тишиной. Лежавший у пушки Алексей Соколов застонал. К нему подошел Пузиков. Соколов приподнялся на локтях, увидел во ржи три огромные копны пламени и в знак благодарности пожал Пузикову руку. И в эту секунду около пушки разорвался снаряд. На руках Пузикова Алексей Соколов, еще раз раненый, скончался. Упал сраженный Токманов. Осколки снаряда впились в щеку, в ухо, в руку и Андрея Пузикова.

Андрей еще не успел разобраться, что произошло, как на позиции артиллеристов новой волной двинулись немецкие танки. Место наводчика занял Андриян Кондрашев. Он работал быстро и споро. Пузиков видел, как Кондрашев угодил в бензобак разворачивающегося танка, и машину окутало яркое пламя.

Пузикова отнесли в ровик: раны перевязали лоскутками от нательной рубашки. Но и здесь, в укрытии, он еще жил жизнью боя: прислушивался, как стреляют пушки. Он знал, что бронебойные снаряды должны уже кончиться. Значит, бьют шрапнелью, прикидывал он. И вдруг где-то совсем рядом произошел страшной силы взрыв. Андрей почувствовал огромную тяжесть в ногах. Пробовал было приподняться — не смог, ноги придавила земля, из ушей сочилась кровь. Казалось, все, наступает конец. Но в это время к Пузикову подполз командир дивизиона, старший лейтенант Картузов. Он помог Андрею освободить ноги, заткнул уши ватой.

— Пушку твою, Андрей, разнесло,— проговорил Картузов.— Люди погибли геройски — немецкие танки не прошли. Ползи, пробирайся к командиру полка и расскажи обо всем, что видел и знаешь.

— А вы, товарищ старший лейтенант? — спросил Пузиков.

— Нас тут у второй пушки трое осталось,— ответил Картузов.— Мы без приказа не отступим.

Картузов пополз к пушке. А Пузиков по опаленной, изрытой воронками, земле — в тыл. Андрей двигался медленно, часто прижимался к земле: над головой с воем и свистом пролетали снаряды. Временами он оглядывался и видел, как орудие Картузова изрыгало огонь. «Молодцы!» — думал Пузиков и полз дальше. Устал. Полежал немного. Оглянулся назад и увидел страшное: на позиции, где стояла пушка Картузова, взметнулся черный столб дыма и земли. Андрей припал к земле, заплакал навзрыд:

— Прощайте, боевые друзья! Прощайте, дорогие люди!

Чье-то теплое дыхание вернуло Андрею самообладание. Над ним склонился шофер батареи Михаил Борисов. Он подобрал на поле боя раненых артиллеристов, прицепил к пробитой и простреленной автомашине чудом уцелевшую кухню и по балкам, по оврагам добрался до землянки командира полка. Так попал сюда и Андрей Пузиков.

Я уходил из землянки уже в глубокие сумерки. Подполковник Железняков, прощаясь со мной, сказал:

— За день пушки нашего полка сожгли 57 танков. Все атаки гитлеровцев отбиты. Мы выстояли — враг не прошел.

НА КОМАНДНОМ ПУНКТЕ ГЕНЕРАЛА КАЗАРЯНА

В блиндаж вошел адъютант генерала. Прикоснувшись к моему локтю, он прошептал:

— Генерал просит одеваться. Меняем командный пункт.

— Как меняем? Только в полночь приехали. Что, место неудобное?

— Место-то очень удобное. Но за ночь полки на шесть километров вперед ушли. А знаете нашего генерала — он не любит отрываться от частей.

Генерал-майор Андроник Абросимович Казарян встретил меня свежевыбритым, подтянутым. Хотя на лице лежала печать усталости, глаза покраснели от бессонных ночей, а голос стал глухим и хриплым, Казарян улыбался и добродушно объяснял:

— Прошу прощения, не дал отдохнуть. Но, поверьте, в этом меньше всего виноват я. Пока мы тут отдыхали, части дивизии отбили у врага четыре важных населенных пункта. Хотите посмотреть?

Уже в автомобиле генерал «пожаловался» на свою судьбу:

— Вот уже две недели так: не успеваем на новом командном пункте столы и стулья расставить, как снова приходится все укладывать в грузовики и двигаться вперед. Связисты, бедные, из сил выбиваются.

Августовский рассвет поднимался над Средне-Русской возвышенностью. Косые лучи солнца играли на ржаных полях. В лощинах, как мутные озера, лежали облака густого тумана.

— А у нас в Армении, наверное, виноград поспел,— вторя каким-то своим мыслям, с грустью проговорил Казарян.

Вдруг на дороге, точно из-под земли, вырос солдат с распростертыми руками. Автомобиль взвизгнул и остановился:

— В чем дело? — строго спросил генерал.

— Дальше ехать не разрешаю,— сказал солдат с миноискателем в руках.

— Как так «не разрешаю»? — еще строже спросил генерал.

— Не то, что не разрешаю, а не могу разрешить,— спокойно проговорил солдат.— Тут на дороге мин до дьявола. Вот отсюда до той сосны сорок штук извлекли.

Мы оставили автомашину и пошли пешком. Метрах в трехстах впереди саперы налаживали мост через речушку. Когда мы подошли к ним, солдат, с лицом, обросшим щетиной, без гимнастерки, на бронзовом от загара плече нес бревно и, грузно свалив его на землю, распрямился и сделал несколько упражнений, напоминающих утреннюю зарядку.

— Устал, Аксенов? — подошел к солдату генерал.

— Да нет, не очень, товарищ генерал,— ответил Аксенов.— А вот если бы меня сейчас сам верховный спросил: «Чего, товарищ Аксенов, тебе сейчас больше всего желательно?», я бы ему ответил: «Поспать бы мне минуток сто восемьдесят». Но когда тут спать-то! Ведь днем, наверное, дивизия опять вперед махнет. Значит, новые мосты наводить придется.

Генерал похвалил саперов за отличную службу и не то шутя, не то всерьез сказал:

— А спать обязательно надо. Когда? В промежутки между боями и работой.

Когда мы миновали речушку и отошли немного от саперов, Казарян оглянулся и сказал:

— И верно: когда им спать-то? Немцы под нашим напором убегают и все мосты за собой взрывают. Мост — это обозы, артиллерия, танки, боеснабжение. Мост — это темп наступле-

ния, это время. А время — важнейший фактор на войне. Пока наши саперы дивизию не подводили, не пожалуюсь...

Мы миновали пригорок, на котором несколько часов назад стояла немецкая, теперь трофейная, батарея, и перед нами открылась уже примелькавшаяся, всегда сжимающая сердце, картина: догорающие дома русской деревни. Только на южной окраине в зелени яблоневых садов чудом уцелели несколько дворов. Здесь и обосновали новый командный пункт дивизии.

— Как связь с полками и батальонами? — спрашивает генерал своего заместителя по строевой части, полковника Кузнецова, прибывшего сюда несколько раньше.

— С двумя полками связь работает четко,— докладывает полковник.— С остальными связь будем иметь минут через десять...

Солнце уже высоко над горизонтом и нещадно палит. Но тут жарко не от солнца: рядом бой. Казарян просматривает папку с только что захваченными немецкими документами. Вдруг он громко засмеялся.

Видя наши недоуменные взгляды, генерал прочитал: «На участке 508-го полка русские войска с начала своего наступления по первое августа потеряли: 23 тысячи солдат убитыми, 120 танков, около сотни пушек». Заметьте, бюллетень отпечатан на стеклографе. Это надо обязательно дать в нашей дивизионной газете,— сказал генерал,— солдаты от души посмеются. Пусть они нас убивают в бюллетенях, а мы их будем убивать на орловской и брянской земле. Это надежнее...

Часа через два мы направились на наблюдательный пункт командира дивизии. На дороге предупредительно расставлены таблички: «Путь разминирован». Мы обгоняли обозы и дымящиеся кухни, пушки и автомашины со снарядами: все двигались на запад. На огородах деревни, которую только что миновали, мы встретили лейтенанта Осипова. Он с группой бойцов двигался медленно и что-то время от времени записывал в блокнот.

— Видимо, тут был склад горючего немецкой танковой части,— докладывал лейтенант генералу, когда Казарян поинтересовался: «Что тут ищете?».— Пока обнаружили более ста бочек с горючим, подобрали семь автоматов, два пулемета, много километров телефонного провода.

Новый наблюдательный пункт представлял собой небольшой ровик в густой, нескошенной ржи — телефонный аппарат и стереотруба, поставленная скорее для порядка, чем для дела,— вот и весь НП. Поле боя видно невооруженным глазом.

Гитлеровцы, огрызаясь, старались сдержать натиск наших войск, сбить темп боя. Но наши артиллеристы, идущие в боевых порядках пехоты, разрушали всю огневую систему противника и расчищали путь наступающим частям.

Слева от наблюдательного пункта, в небольшой рощице, сосредоточились советские танки. Немецкая «рама» — самолет-разведчик, все время круживший над рощей,— вероятно, заметила танки. Через некоторое время здесь появились «юнкерсы» под прикрытием «мессершмиттов». Но наши танки не были беззащитными. Истребители «як» и «лавочкины», барражировавшие над опушкой рощи, дружно встретили армаду «юнкерсов» и не только помешали им произвести прицельное бомбометание, но и сбили четыре самолета.

Наблюдательный пункт — очень удобное место для журналиста. По ближним тропинкам в санбаты выносятся и выводятся раненые. В рассказе каждого — великая непосредственность о только что происшедшем на поле битвы. От бойца Евгения Смирнова мы услышали о подвиге комсомольца Ивана Подушкина.

В рощице, на самом переднем крае, два наших танка и взвод автоматчиков ждали приказа. Неожиданный огневой налет — и они оказались без командиров. Комсомолец Иван Подушкин неожиданно для многих властным голосом отдает команду:

— Запустить моторы. Автоматчики — на танки! На фашистов — вперед!

И все подчинились рядовому Ивану Подушкину. Через несколько минут танки на полном ходу ворвались в деревеньку, раздавили три пушки с расчетами, много фашистов перебили, а 23 взяли в плен.

К вечеру наблюдательный пункт командира дивизии перенесли на окраину деревеньки, которую несколько часов назад освободили наши танкисты и автоматчики под командованием Ивана Подушкина. Туда перебрался полковник Кузнецов. А в ржаном поле образовался командный пункт генерала Казаряна. Доклады начальника штаба и допросы пленных немецких офицеров, переговоры с командованием армии и приказы командирам полков — дел у генерала по горло. Он и не заметил, как во ржи появилась большая группа кавалеристов в зеленых маскировочных халатах.

— Откуда? Кто такие? — рассерженно спросил генерал. И тут же рассмеялся.— Да это же наши разведчики! А лошади чьи?

— Немецкие! — лихо отчеканил неустрашимый разведчик Лывадный.— Минувшей ночью перехватили. Враг так драпает, что пешком-то за ним и не поспеешь. А на лошадях-то вроде и сподручнее.

В сумерки, распрощавшись с генералом до новых встреч, я вернулся в деревню, в которой днем устраивался командный пункт штаба дивизии. Минуло всего несколько часов, а из хат выносились столы, ящики с бумагами, чемоданы офицеров. Все грузилось в автомашины: штаб дивизии в третий раз за день перебирался на новый КП. На лицах воинов, давно не знающих отдыха, я видел радостное волнение: люди жили великим порывом наступления, шли вперед, на запад, освобождая родные деревни, села и города, которые два года томились в страшной фашистской неволе...

Я спешил на телеграф, чтобы в очередной корреспонденции для газеты рассказать о событиях, о мужестве и доблести наших воинов, не знающих страха в борьбе с врагом.

ПИСЬМА С ДОРОГИ

НА ДНЕПРЕ

Ночью, преследуя противника, вышли к берегу Днепра. Еще издали, проходя сосновым лесом и песчаными буграми, на которых рос кустарник, называемый верболозом, почувствовали дыхание великой реки, как чувствуют в темноте дыхание близкого человека.

Низко шли облака. Тишину беззвездной ночи нарушало только позвякивание оружия, стук котелков и лопаток, шуршание тяжелых сапог на песке да сдержанный говор бойцов.

Многие из людей, шагавших в темноте, родились на берегах Днепра. Одни из них только что прошли через свои разрушенные села, видели родные пепелища, останавливались перед опустошенными колхозными дворами, миновали истоптанные и сожженные поля. А у других людей родной дом был еще впереди, за Днепром. Видение пройденных дорог неотступно стояло у них перед глазами и толкало сердца вперед. Они шли в торжественном и суровом молчании, как подобает солдатам. Для тех, кто не был уроженцем здешних мест, торжественность минуты заключалась в том, что после тяжких военных трудов, пройдя с боями тысячеверстный путь, они вышли к рубежу, достичь которого было счастьем для их товарищей.

Старые солдаты, стоявшие на Днепре еще в сорок первом, тоже молчали. Они многое вспоминали в эту ночь. Случается в жизни, что идешь к любимому человеку из великого отдаления, которое может быть воплощено и в верстах, и во времени, и в чувстве, всей исстрадавшейся душой стремишься к нему и бесконечно думаешь о встрече, о тех словах, ласковых и нежных, которые необходимо нужно сказать... Но вот ты пришел, и радость встречи так велика, что никакие слова не в силах выразить ее, никакие слова не способны высказать то, что ты

пережил и передумал в разлуке. И ты стоишь молча, и только глаза твои говорят: посмотри на меня, я долго шел к тебе, но вот я пришел...

Когда окончим мы военный труд свой, когда подойдем к последнему, нам назначенному рубежу, вот так же будем мы стоять в молчании, охваченные трепетом и восторгом, обозревая в мыслях пройденные пути, и не о подвигах и славе, не о взорванных мостах и подбитых танках, не о минных полях и лодочных переправах будем мы думать, а о правде человеческой души, которая может все испытать и все постичь и останется ослепительно чистой и нежной, возвышенной и благородной.

Так думал лейтенант Орлянко, стоя в темноте на берегу Днепра. Завернувшись в плащ-палатку, он вздрагивал от ночной прохлады и сырости; на душе у него было светло, как в праздник, несмотря на то, что вокруг была ночь, слышался унылый, сумрачный плеск реки и однообразный шум ветра, вдруг взметнувшего береговой песок и засвистевшего в кустах верболоза.

Лодки отделились от берега и, бесшумно подталкиваемые баграми и веслами, поплыли по реке. Вскоре они исчезли из виду, словно растаяли в темноте. Бойцы и офицеры, оставшиеся на берегу ждать своей очереди, лежали на сыром песке и, слушая мерный плеск речной волны, вглядывались в эту темноту, будто старались угадать, чем она встретит их в следующую минуту. Вскоре лодки вернулись и увезли на правый берег новых людей, пулеметы и ящики с патронами, противотанковые ружья с боеприпасами, гранаты, минометы и сухой паек в больших бумажных мешках.

Переправа под боком у противника проходила гладко. Время и место для нее были выбраны удачно. Все чувствовали это и радовались удаче, хотя, конечно, каждый знал, что в любую минуту переправа может быть обнаружена и тогда темнота озарится вспышками выстрелов и взрывов, а ласковые воды Днепра закипят, как адская смола. Понимал это и лейтенант Орлянко. Он ходил по берегу, в нетерпении ожидая своей очереди переправляться, у него все было наготове: и люди, и кабель на катушках, и все прочее, необходимое для связи. Оставалось только получить приказ и действовать.

К рассвету над рекой поднялся густой туман. Правый берег не был виден за ним, да и здесь, на левом берегу, люди двигались, будто серые тени. На плотах через реку пошли легкие пушки. Орлянко знал, что теперь уже скоро переправляться и

ему, и чувствовал себя бодро и уверенно, в тумане он надеялся переправиться без потерь. Но как раз в то время, когда начальник переправы, полковник, приказал ему грузиться в лодки, на правом берегу началась перестрелка — это переправившийся батальон капитана Безруких вступил в соприкосновение с немцами.

«Ну, теперь началось! — подумал Орлянко, шагая по берегу к своим связистам.— Теперь хлебнем!..»

Прежде чем он успел передать приказание своим людям, начался обстрел реки и берега. Туман завыл и загрохотал, на берегу послышались крики и стоны раненых.

Его люди были в сборе, катушки с кабелем лежали на песке, зеленые коробки полевых телефонов стояли тут же. Линия связи уже была подтянута к самому берегу, теперь оставалось тянуть ее дальше, сидя в лодке и разматывая кабель с катушки. Все это было бы делом несложным, но грузить кабель в лодки приходилось под слепым огнем немецких батарей, а плыть предстояло по реке, в которую то и дело шлепались снаряды и мины.

Орлянко, сам когда-то работавший монтером на линии, вспомнил, как, бывало, прицепив на ноги «когти», толстым ремнем припоясав себя к столбу, взбирался он в летней степи к гудящим проводам, орудовал плоскогубцами у фарфоровых звенящих чашек, чувствовал на своем лице ласковое дыхание ветра и пел во весь голос любимые песни, глядя на бесконечную степь, на пыльную ленту дороги, на машины, идущие в город, на белые платки и яркие кофты колхозниц, работавших в поле... И сейчас, хоть и отражалось в реке туманное утро и берег весь, словно оспинами, был изрыт снарядами и минами, хоть все это не было похоже на картину, вспомнившуюся ему,— старое чувство полноты существования и потребность энергично действовать овладели лейтенантом.

— Готово? — крикнул Орлянко, в последний раз оглядывая берег.— Отчаливай!

Лодку, в которой сидел лейтенант Орлянко, сносило, и бойцы, сидевшие на веслах, все время забирали против течения. Двигались медленно, кабель раскручивался с катушки и погружался в воду.

Днепр был здесь широк и приволен, кручи правого берега открывались вдалеке, по-осеннему пышные и яркие, и как ни старались гребцы, приближались они медленно, точно все это было во сне, где все движения замедленны, а потому особенно памятны.

С правого берега, укрытая где-то в складках высот, непрерывно стреляла артиллерия. Снаряды пролетали над лодками, но к их гудению и свисту относились с привычным спокойствием.

Бойцы делали свое дело так, словно ничто не угрожало им. И воды реки, по которой двигались лодки, и высокий правый берег, к которому они стремились, и небо над рекой и над берегом, и все, что было на берегу,— деревья, дороги, строения, церкви и колокольни — для каждого из тех, кто сидел в лодке с лейтенантом Орлянко, а также во всех других лодках, сейчас были важнее и больше по своему содержанию, чем те невидимые за холмами и строениями пушки, что выбрасывали железо на реку и на левый берег.

Сила, заставлявшая их двигаться к твердо поставленной цели, заключалась в них самих, потому-то они и чувствовали себя так спокойно и вместе с тем так торжественно, хотя, верно, не было среди них ни одного, кто не понимал бы опасности и риска того дела, которое ему предстояло делать.

И, может быть, именно вследствие того, что каждый сознавал опасность и риск предприятия и чувствовал важность того, что непосредственно ему пришлось тянуть первый кабель на правый берег Днепра,— возможно, именно это поддерживало и укрепляло приподнятое и торжественное настроение бойцов в лодках.

Осеннее, глубокое и прозрачное небо, что раскинулось над рекой и берегами, накрывая сады, строения и дороги, отражалось не только в водах реки, могучей в своем утреннем спокойствии, но и в душе каждого. Те бойцы, для которых каждая минута этой переправы могла быть последней, те бойцы, что могли каждую минуту погибнуть в водах широкой и привольной реки или упасть на берегу, орошая его своей кровью,— те бойцы были не только частью могучего движения, для которого уже не существовало препятствий, те бойцы были теперь частью этого торжественного и прозрачного неба, широкой и спокойной реки, твердого заветного берега, и ничто не могло ни пошатнуть, ни нарушить их спокойствия и уверенности в том, что если не они, то другие, такие же спокойные и уверенные бойцы, достигнут цели того победного движения, что в самом себе черпало свою силу.

Кажется, начал петь ефрейтор Дробот, человек, у которого на всякий случай жизни было острое слово и песня, а может быть, и не он, а угрюмый пожилой Василенко, от которого песен никто никогда не слыхал. Песня была о бушующем ночном

Днепре, горами поднимающем волны, о ветре, пригибающем к земле высокие вербы, и о месяце, что ныряет в косматых тучах, словно челнок в синем море... Пели все, кто знал песню, пели и те, кто не знал ее. Полным голосом пели украинцы, с закрытыми ртами гудели сибиряки и кавказцы, от полноты души приветствуя песней вольный днепровский простор, заветные правобережные кручи и прояснившееся небо над ними. И лейтенант Орлянко пел вместе со своими людьми, хотя он был плохим певцом,— он раскрывал рот и громко нараспев произносил слова песни, но ему казалось, что он поет красиво, потому что у него пела душа. Лейтенант Орлянко родился и вырос на Днепре, все здесь было ему знакомо и привычно. Но сегодня, после разлуки, длившейся более двух лет, он особенно остро чувствовал красоту родной реки, словно видел ее впервые, словно возникла она из каких-то давнишних снов и сказочных воспоминаний.

За песней они не заметили, как над рекой появились немецкие бомбардировщики. Всего их было двенадцать, они летели низко, распластав тяжелые крылья и ожесточенно гудя моторами. Зенитки с левого берега открыли огонь, но немцы упрямо бомбили каждую машину на подступах к Днепру и каждую лодку на реке.

Нужно было плыть и разматывать кабель, и лейтенант Орлянко отдал такое приказание, хотя в этом не было нужды — по-прежнему бойцы поднимали и опускали весла, по-прежнему разматывалась катушка и Нехорошев ловко прицеплял грузила к кабелю, быстро уходившему на дно. Самолеты развернулись над рекой, выстроились в боевой порядок, и, прежде чем люди успели подумать о чем-либо, послышался вой бомб, оглушительный грохот разрывов, взметнулись огромные столбы воды, лодки сильно качнуло, а людей обдало брызгами и толкнуло стеной горячего воздуха. Бомбы упали далеко, никто не был ранен, но это было только начало. Уже новый самолет нависал над лодками, уже слышался вой новых бомб, и лейтенант Орлянко хорошо понимал, что какая-нибудь бомба угодит все-таки в лодку или осколками пробьет ее и пустит ко дну вместе с кабелем и людьми, и тогда вся их работа пропадет и новым людям придется делать все сначала.

— Выручай катушки, если что!..— успел крикнуть Орлянко. Его ударило волной, перевернуло и потащило на дно. Напрягая все силы, он толкнул головой воду и вынырнул.

Только четверо бойцов, тяжело противоборствуя взбушевавшимся волнам, плыли недалеко от него: запевала Дробот,

угрюмый Василенко, усатый сибиряк Нехорошев и молоденький кавказец Гатуев.

«Что же это такое? Ох, господи, что же это такое? — мысленно непрерывно повторял Орлянко один и тот же вопрос.— Неужели не удержат они вчетвером катушку? Ох, господи, что же это такое?»

Он плыл к ним, мотая головой и отплевывая воду, плыл и думал только об одном, о том же, о чем думали в это время четверо его бойцов,— нужно, чтобы катушка с кабелем не пошла на дно, нужно любой ценой спасти кабель, иначе все, что они сделали, пропадет понапрасну...

Орлянко смотрел только на своих бойцов, боровшихся за катушку, и потому не видел, что на помощь к ним на других лодках спешат бойцы, которые так же, как он, понимают, что нужно спасать кабель.

Низко над рекой, наполняя воздух звоном и свистом, пролетали немецкие истребители. Они словно прошивали пространство очередями из своих пулеметов. С истребителей видели, как тяжело работают бойцы, пытаясь спасти кабель, и гитлеровские летчики прорывались сквозь огонь зенитных батарей, чтобы снова и снова обстрелять горсточку людей в воде.

Шинель намокла на Орлянко, сапоги наполнились водой. Хорошо, что это были просторные кирзовые сапоги с широкими голенищами. Работая под водой ногами, он сбросил их и начал освобождаться от шинели, которая сначала помогала ему держаться на воде, а теперь сковывала движения, словно лубками охватив тело.

До бойцов, упрямо поддерживавших на воде катушку с кабелем, было уже совсем близко. Самолет прозвенел над рекой, почти касаясь воды дюралевым зернисто-блестящим брюхом. Орлянко увидел, как пули выбили фонтанчиками воду возле его людей.

«Не удержат! — подумал Орлянко.— Ох, не удержат... Не успею доплыть».

Что-то толкнуло его в плечо.

Орлянко почувствовал тяжесть во всем теле и, прежде чем понял, что случилось, ушел под воду. Только под водой он понял, что тонет. Глаза его были открыты,— он видел солнечный свет, попадавший на дно реки сквозь зеленовато-желтую воду, но не мог сопротивляться силе, тянувшей его на дно.

Орлянко очнулся на берегу. Он увидел над собой раскрасневшееся усатое лицо Нехорошева, державшего его за руки. Угрюмый Василенко больно нажимал ему на живот. Затем они

подхватили его, как ребенка, перевернули лицом вниз и подняли так, что голова лейтенанта свесилась. Он почувствовал облегчение и вскоре уже лежал на песке, головой к телефонному аппарату, у которого возился мокрый ефрейтор Дробот. Молоденький Гатуев перевязывал его.

Стояла тишина. Снова было удивительное красноречивое молчание, в котором выражалась жизнь со всей своей силой и страстью. Над собой Орлянко видел чистое небо, на кручах свистели птицы, широкая полоса реки лежала перед ним, а возле него похожий на длинного синеватого ужа уходил в воду кабель, который они протянули сюда.

Орлянко поглядел на своих людей и увидел, что Нехорошев и Василенко в эту минуту тоже смотрят на кабель. Вероятно, они думали о том же, о чем думал он; лейтенант хотел что-то сказать им, но боялся нарушить молчание... В это время над ними раздался голос ефрейтора Дробота, дувшего в трубку и яростно отплевывавшего песок, навязший в зубах.

— Гаркуша, да какого ж ты черта? Я ж забыл позывного... Тут такого у нас было! Это я, Афанасий Дробот... Докладывай по вышестоящих начальствах, що кабеля перетягли... Бачиш? А где ж ты взяв бинокля? От ловко, матери его ковинька... Ну, то скажи мне, как тебя звать? Меркурий? Дал бы ты мне закурить, Меркурий, бо у нас спички раскисли, а курить хочется, аж уши пухнут...

Октябрь 1943 года

АВГУСТ

Мы помним каждый год и месяц нашей великой борьбы, мы не хотим забывать и не забудем даже тех неистовых дней, когда неудачи учили нас надежде, когда вера выковывала в нас терпение и стойкость, которые, превратившись затем в движущую энергию, позволили нам громить врага на огромных пространствах и по трупам захватчиков шагать к победе. Та же армия, те же беззаветно храбрые солдаты, что стояли насмерть на Волге и вписали огнем и кровью свои имена в книгу веков, сегодня бьются за Вислой. Победа, вспоенная волжской водой, шагает сегодня по польской земле. Так не первый раз русское оружие решает судьбы народов, несет им мир и освобождение...

Стоял август сорок второго года. В выжженной дотла степи безоблачное пыльное небо висело над низким кустарником со

свернувшимися от зноя листьями. Немцы рвались к Волге. На земле и в воздухе шел непрекращающийся бой.

Рано утром четвертого августа с капитаном Овчуковым, политработником гвардейского артиллерийско-минометного дивизиона, мы выехали из города. На окраине хлопали зенитки, покрывая небо рябью дымков. По дороге двигалась усталая пехота. Лица, одежда, оружие у солдат были словно осыпаны мукой... Пехота спешила к позициям в степи, артиллеристы устанавливали пушки, бронебойщики занимали свои окопчики. Здесь должен был пройти передний край. У железнодорожной будки нас остановили танкисты. Они сидели у сгоревшего танка, положив на землю свои шлемы, лица их были в крови и в масле...

— Куда вы? — сказали танкисты.— Впереди ничья земля, а дальше — немец...

— Впереди мои люди,— сказал Овчуков и махнул рукой шоферу: — Давай газу!

Мы ехали в полуторке, крытой брезентом. Овчуков стоял на крыле, чтобы смотреть за воздухом. Он подпрыгивал на ухабах вместе с машиной и кричал мне в кабину:

— Мы отходили через Вешенскую. Там немцы разбомбили дом писателя Шолохова, я собрал мешок бумаг и поднял большой его портрет. Бумаги сдал сейчас в городе, а портрет у меня тут, в машине.

Через некоторое время машина наша стояла в углублении, а мы лежали под низкими пыльными кустами в пункте сосредоточения гвардейцев-минометчиков. Грохот боя справа и слева не прекращался.

Командир дивизиона, если память мне не изменяет, майор Фомин, и капитан Овчуков играли в шахматы. Недалеко от них сержант, фамилию которого я не помню, читал книгу. Я подошел к нему. Это была «Мать» Горького.

— Интересуюсь, как люди жили,— сказал сержант и перевернул листок.— Сильно боролись...

Меня поразило спокойствие людей, которые в обстановке страшной борьбы читают книги, беспокоятся о рукописях любимых писателей. Спустя полчаса и Фомин, и Овчуков, и неизвестный сержант, и еще многие другие, в сердцах которых жила неугасимая традиция борьбы сильных людей, умевших побеждать во что бы то ни стало, снова доказали, на что они способны.

Радист с голубым листком радиограммы в руке не подошел, а подбежал к командиру дивизиона. Тот прочел радиограмму

и медленно отстранил от себя картонную шахматную доску. Я, как сейчас, помню содержание радиограммы и слова, неровными буквами нацарапанные на голубом листке. В балке, южнее деревни Тингута, сосредоточивались немецкие танки для осуществления прорыва на Сталинград.

— Где эта балка? — спросил я.

— Вон,— махнул рукою Овчуков,— километра четыре от нас.

Гвардейцы-минометчики стояли впереди всех, за ними была жидкая цепочка спешно окапывавшейся пехоты. Командир дивизиона сел в машину. Мы устроились вместе с ним и через несколько минут уже были на огневых позициях. Минометчики снимали чехлы со своих установок. Я увидел грозный ряд машин, вытянувшихся в одну линию на поляне у дома лесника.

— Это все ваш дивизион? — спросил я.

— Нет, здесь много дивизионов,— улыбаясь, ответил Овчуков.

Раздалась команда. Мгновение — и все уже находились в укрытиях. Раздался треск, словно от сильнейшего электрического разряда; это было похоже на то, что кто-то разрывал огромное полотнище крепкого шелка. Затем послышалось шипение, в воздух метнулись стрелы расплавленного яркого золота, дым и пыль окутали все вокруг.

Не спеша, ныряя в облаках дыма, разворачивались машины. В небе появились немецкие бомбардировщики, но мы были уже далеко, когда они сбросили бомбы на то место, откуда был произведен залп.

Разведчики, наблюдавшие залп, нашли командира за той же шахматной доской. Он делал рокировку и слушал донесение.

— Кажется, вы преувеличиваете,— сказал он докладывавшему лейтенанту,— может, и не все там сгорело. Но теперь они не скоро очухаются, а нам важно выиграть время... Сколько, вы говорите, было танков в той чертовой балке?

— Триста штук, товарищ майор.

Только теперь, когда опасность уже миновала, командир дивизиона вздрогнул. Лоб его покрылся крупными каплями испарины. Он снял фуражку и большим синим платком вытер бритый череп.

— Август,— пробормотал он, глядя на меня,— жаркое время...

Потом было еще жарче, но в адском огне, не прекращав-

шемся несколько месяцев, выплавился тот чудесный металл, который оказался способным сокрушить немцев над Волгой, разгромить их на Дону и привести нас на Украину.

Летом 1943 года мы перешли в наступление. Снова над созревшими к жатве полями плыл август, но это были уже курские и орловские поля... Пятого августа были взяты Орел и Белгород. У Томаровки немцы оказывали сильное сопротивление.

Общий командный пункт генералов Кравченко и Лагутина находился в открытой степи у Трех Курганов. Танкисты и пехота взаимодействовали в бою на берегах Ворсклы.

С Павлом Филипповичем Лагутиным мы поехали на наблюдательный пункт одной гвардейской дивизии, расположенный на горе, над самой Томаровкой. Немцы обстреливали эту гору, подсолнуховое поле и лес, росший здесь... Стереотруба стояла между подсолнухами, повернувшими свои яркие зонты на полдень, к ослепительному августовскому солнцу. Пчелы жужжали вокруг нас, их пение напоминало визг пули в полете...

— Смотри, товарищ писатель,— сказал генерал, трогая свои усы одной рукой, а другою все время поправляя спускавшийся ремень на гимнастерке.— Смотри, может, когда напишешь...

Томаровка лежала на берегу Ворсклы, здания села подымались по горе, образуя подобие амфитеатра. Справа и слева село обтекала наша пехота, бойцы перебегали под огнем, падали и снова подымались, в их рядах разрывались мины, над ними кружили самолеты и сбрасывали бомбы. Но движение не останавливалось. Наши танки уже выходили к переправе... Из-за большого белого строения выползла самоходная пушка «фердинанд», хобот орудия стал зловеще подыматься... Мы вовремя скатились в окопчик телефонистов: «фердинанд» стал обстреливать гору, лес и подсолнуховое поле...

В окопчике было тесно. Мы сидели, прижавшись друг к другу, между жидких бревнышек перекрытия сыпалась земля и падала за воротник. Никто здесь не обращал на это внимания, телефонисты спокойно делали свое дело, один дул и кричал в трубку, другой вылезал из окопчика под огнем ликвидировать обрыв на линии и возвращался невредимый. В маленькой земляной нише топтался над горкой подсолнуховых семечек сизоватый голубь. Он смотрел на нас карим круглым глазком и клевал семечки и ворковал о чем-то своем, голубином.

Земля вздрогнула с грохотом. Нас обдало горячим возду-

хом. Отряхиваясь, один из телефонистов задумчиво проговорил:

— Этого голубя до смерти мне жалко... Сидел я возле блиндажа, покуривал, тихо было под вечер. А он летает вверху, перекувыркивается, штуки всякие свои делает. Птица! И вдруг как зашумит оттуда,— телефонист махнул неопределенно рукой куда-то в сторону Томаровки,— разорвалось в лесу, тогда там двух лошадей убило и тяжело ранило повозочного... А голубь мне чуть не на колени свалился, контузило его.

Телефонист удивленно и восторженно тряхнул головой и, тут же забыв о голубе, стал снова дуть в трубку и покрикивать на невидимого своего соседа по линии так хозяйственно и деловито, будто вокруг не было всего этого железного грохота, скрежета и воя, будто над горой не взрывались снаряды, будто вся необычайность происходившего в ослепительном сиянье августовского дня не задевала его. Однако я ошибался, так думая. Телефонист, прикрывая ладонью трубку, снова обернулся ко мне.

— Я теперь этого голубя вроде как усыновил... Он у меня тут и сыт, и напоен, буду носить его за пазухой, покуда вольно ему в небе летать можно будет.

Не знаю, сдержал ли он свое слово или нет и ходит ли сам сейчас по земле этот безвестный телефонист, но он вспомнился мне в эти новые августовские дни среди грохота и воя битвы за Вислой, когда почти вся Украина уже лежит за нашими плечами, и земля ее свободна для людей, и небо безопасно для птиц. От августа до августа пройден тысячеверстный путь, обильно политый кровью, и сейчас уже бойцы дивизий, освобождающих польскую землю, могут с гордостью говорить:

— Вперед, на Германию!

За Вислой идут бои. Над переправами и мостами висят немецкие бомбардировщики, черные от усталости и порохового дыма паромщики переправляют людей и грузы на западный берег. Саперы-мостостроители с рассветом чинят повреждения, причиненные немцами во время ночных налетов. Отсюда идут дороги к самому сердцу Германии, и каждый это понимает, каждый полон этой сокровенной мыслью и нет-нет да и выскажет ее вслух.

Мы сидели на траве в запущенном очаровательном парке, полном августовской тишины и прохлады. Штурман Николай Иванов и летчик Михаил Соловьев, замечательные воздушные разведчики, имеющие каждый по нескольку сот боевых выле-

тов, весело рассказывали мне о трудностях и опасностях своего боевого ремесла. Они летали над тылами врага в небе над Волгой, над Орлом и Курском, над Днепром. И вот они здесь, кубанец Николай Иванов и волжанин Михаил Соловьев, за многие сотни верст от родных мест, говорят мне с мальчишеским озорством, но вместе с тем и с мужеством испытанных солдат, которыми они и в самом деле являются:

— Теперь до Берлина недалеко... Нам одной заправки хватит слетать туда и назад.

...Выходишь из дома, выезжаешь из села на большую дорогу и видишь вокруг себя синеватые леса и пеструю чересполосицу здешних полей. Небо, подернутое легкими облаками, висит над ограбленной немцами, превращенной в огромное жуткое кладбище польской землей. Женщины, усталые, но довольные крестьянки, убирают с полей урожай: впервые за пять лет земля отдает свои дары тем, кто полил ее своим потом.

Вот почему такой трогательностью овеяны встречи здешнего населения с солдатами Красной Армии. Каждый поляк видит в них своих освободителей и мстителей за нестерпимые обиды и унижения, которые нанесли гитлеровцы многострадальному польскому народу. Вот почему в городах бойцов забрасывают цветами, вот почему босые польские партизаны с бело-красными повязками на рукавах спешат навстречу нашим войскам, помогают наводить переправы и вылавливать прячущихся в лесах немцев.

На перекрестке дорог я видел, как наш солдат, пыльный и усталый, нес на плече маленькую беловолосую девочку в пестром платьице. Рядом шагала ее мать, неся за спиной вязанку душистого клевера, по-видимому, для красноармейских лошадей. И столько было в этом простодушного доверия и человеческой общности людей, борющихся и освобожденных, что мне навсегда врезались в память эта вечерняя лиловатая дорога, уходящая вдаль, мирные поля и силуэты идущих по дороге людей, словно кистью художника очерченные на фоне неспокойного, все еще пылающего багрецом и кровью заката.

Август 1944 года

ДУНАЙ

Федор Войтенко, пожилой, видавший виды солдат, поеживаясь от холода и сырости, сидел на корточках в своем окопе у самой воды. Декабрьские короткие сумерки быстро сгущались,

наступала темнота, та непроглядная, стеною обступающая человека мгла, когда боец не то что соседа, а собственной винтовки не видит и чувствует ее только на ощупь.

Винтовка была при нем, и полный запас патронов и гранаты наготове, оставалось только сидеть в окопе и ждать той минуты, когда все начнется. К этому Войтенко тоже уже давно привык. И сейчас, прислушиваясь к различным шумам и звукам, то и дело доносившимся из темноты, и зная, что это идут последние приготовления к большому делу, Войтенко задумался.

Думалось ему о том, что многих рек, которые он перешел под огнем, ему так и не пришлось повидать во всей их красоте. Вот и к этой реке, о которой знал он давно из песен и которая мнилась ему сказочно голубой и величаво спокойной, он пришел ночью, когда ни зги не видно; пришел, занял свое место в окопе в темноте; стрелял, когда была надобность. А днем на реку посмотреть путем не мог: высунешь голову, тут как раз какой-нибудь гитлеровец и воткнет в нее пулю.

Река оказалась совсем не такой, как в песне, что певала его Марина в далекие годы их молодости:

Тихо, тихо Дунай воду несе,
А ще тихше дiвка косу чеше...

Дунай шумел и вздымался в берегах, переполненный осенними дождями. Он вздыхал и всхлипывал, тяжелой волной бил в берега. Воды его казались глыбами холодного, медленно перекатывающегося свинца... И ветер над Дунаем не стихал, и дождь, то проливной, не оставляющий сухой нитки на теле, то непрерывно моросящий, словно окутывающий тебя всего какой-то мелкой сеткой, сотканной из сырости, не прекращался. Ночью — темнота, а днем — низкое свинцово-серое небо над окопом. Очень непохоже было это на ту давнюю песню, что неотвязно звучала в душе.

Что ж, ладно, перейдем и эту реку, как ни широка она. Гитлеровцы сильно укрепились на той стороне, а мы все-таки перейдем... Вон саперы, слышно, подтягивают к берегу бревна, ладят плоты, понтонеры тоже не дремлют, спускают на воду понтоны. Это все люди нужные, без них на войне солдату куда тяжелее было бы. Лодки — это неплохо, а мотоботы — и совсем хорошо... Подумать только, сколько этого добра теперь заготовлено, а он ведь помнит переправы, когда снял ворота с какой-нибудь клуни, сел на них — и толкай шестом от берега к бере-

гу... Шутка ли! Ну, раз тогда дело выходило, так теперь и подавно.

Порыв ветра, налетевший из темноты, донес до сознания Федора Войтенко какой-то неопределенный шум: не то стук весла об уключину, не то отрывистый говор. Затем все стихло, даже ветер, казалось, улегся и волна успокоилась. Сразу наступила тишина, та умопомрачающая, звенящая тишина, в которой слышишь только биение своего сердца и пение собственной крови. И тогда сразу понимаешь, что вот оно, пришло время выбросить все мысли из головы, оставить только самую нужную, самую важную, ту, о которой вслух не скажешь, собрать всю свою волю в комок и действовать, действовать смело, решительно, быстро, потому что от этого зависит теперь все: твоя жизнь, жизнь твоих товарищей и успех дела, ради которого все пришли сюда, в эту ночную декабрьскую глухомань, в леденящий ветер и мокрый сумрак...

Федор Войтенко приподнялся, нащупал руками край окопа, уперся и, легко выбросив свое тяжелое тело на бруствер, потянул к себе из окопа за штык винтовку. В темноте он почувствовал, что кто-то стоит рядом с ним.

— Ты что? — услышал Войтенко знакомый тихий голос командира батальона.— Чего раньше времени вылез?

— Не терпится, товарищ капитан.

— А, Войтенко,— так же тихо, узнав бойца по голосу, проговорил командир батальона.— Вот характер. Хочешь в мою лодку? Первыми пойдем.

— Пойдем, товарищ капитан.

— Держись возле меня.

Командир батальона капитан Землянцев был человек молодой, и ему нравилось в Федоре Войтенко, что он такой рассудительный и вместе с тем такой горячий, с душой будто лава, клокочущая под остывшей и затвердевшей коркой. Нравилось ему и то, что Войтенко был исправный солдат, на которого можно было во всем положиться. Находиться с таким солдатом в одной лодке было бы очень хорошо, потому Землянцев и решил взять Войтенко с собой.

Слышно было, как вполголоса отдавались приказания. Темнота наполнялась шорохом шинелей, чавканьем сапог в разбухшей прибрежной грязи. Солдаты находили ощупью друг друга и гуськом подходили к воде, к лодкам, у которых уже стояли старшие в командах офицеры и сержанты. Войтенко нащупал руками борт лодки, она плотно сидела на песке днищем.

В ней уже были люди. Он тоже прыгнул в лодку и уселся на носу рядом с пулеметчиком.

Капитан Землянцев еще отдавал последние приказания на берегу. Глухо плескалась у берегов черная дунайская вода. Ничего не было видно. Все молчали, и слышны были только тяжелые вздохи ветра над водой, да изредка на правом берегу вспыхивал одиночный выстрел, и звук его, пролетая над рекой, казался коротким и резким, как щелканье бича.

Войтенко почувствовал, как чья-то рука оперлась на его плечо. Он подвинулся на скамье и дал возле себя место капитану.

— Отчаливай! — негромко приказал Землянцев, как будто это происходило на рыбалке и они заплывали с неводом на середину реки.

В разных концах тихо повторили разные голоса:

— Отчаливай... Отчаливай...

Оставшиеся на берегу оттолкнули лодку с песка, и тотчас же плеснули весла. Лодка закачалась. Бойцы тяжело дышали, налегая на весла. Войтенко смотрел в темноту, стараясь угадать то мгновенье, когда лодка стукнется носом в берег. Тогда нужно будет, не задерживаясь, прыгать в воду и бежать к траншеям, в которых сидят фашисты, на ходу стрелять и бросать гранаты, ложиться в грязь и снова вставать для новой перебежки.

Он чувствовал, как медленно плывет время, как упорно режет их лодка дунайскую волну. И хотя Войтенко ничего не видел в темноте, он представлял со всей ясностью, что в десяти шагах от их лодки справа и слева идут другие такие же лодки, и в них сидят такие же солдаты со своими офицерами, и каждый тяжелой холодной рукой сжимает свое оружие — самое нужное и самое важное теперь в жизни.

— Войтенко,— задумчиво сказал капитан Землянцев,— а ты помнишь...

— Помню,— отозвался Войтенко, не дослышав вопроса, но это было неважно, потому что он отвечал своим мыслям и потому что он действительно помнил все. И вот сейчас с особой ясностью всплывали в его памяти — от Волги до Дуная — все дороги, поля, перелески, все переправы, все пулеметные гнезда, на которые он шел грудью, все высоты, на которые он взбирался под огнем, все окопы, в которых лежал под бомбежкой, все сгоревшие деревни и разрушенные города, освобождая которые, он пришел сюда, спокойный и уверенный в своей правоте.— Помню, как забудешь, товарищ капитан!

Войтенко так долго и так напряженно ждал подхода к берегу, что пропустил его. Лодка ударилась днищем в песок. Их всех качнуло на одну какую-то долю секунды. Но и этой частицы теперь уже стремительно мчавшегося времени было достаточно, чтобы и Войтенко, и капитан Землянцев, и все солдаты, которые находились вместе с ними в лодке, почувствовали и убедились в том, что не только их лодка, но и многие другие лодки уже подошли к берегу. Из них уже выпрыгнули люди, этих людей уже достаточно для начала, а сейчас мотоботы подвезут новых, вот уже слышен тихий рокот моторов, медлить больше нельзя.

Капитан Землянцев негромко прокричал знакомые слова команды. Кто-то первый крикнул «ура», кто-то первый выстрелил. Вспыхнула и разорвалась первая граната. В темноте все побежали сначала по воде, а потом по вязкому берегу туда, к первой линии немецких окопов, и спустя несколько минут уже ворвались в них и навалились на ошалевших от испуга и неожиданности гитлеровцев.

Войтенко тоже бежал и тоже кричал «ура». Он тяжело прыгнул в окоп, ударил штыком направо и налево. Немец завизжал пронзительным голосом. Войтенко выдернул штык и стал в темноте пробираться вдоль траншеи. Кто-то навалился на него сзади, тяжелый и горячий. Железные пальцы сдавили ему горло. Винтовка его упала на дно окопа, и он с немцем тоже упал. Но Войтенко был сверху...

«Ура» уже гремело за первой линией траншей. Войтенко не стал тут задерживаться и бросился вперед, увязая в грязи, тяжело дыша и ругая фашиста, который чуть было не задушил его. Но все это было полбеды; беда заключалась в том, что Войтенко в темноте потерял капитана. Ведь недаром же тот взял его с собой, значит, Войтенко ему нужен, значит, он должен его найти.

Он побежал вперед, но тут из венгерского хутора открыли огонь пулеметы, ударили минометы и пушки, и пришлось лечь в грязь и ползти. То здесь, то там вспыхивали ракеты. При их свете Войтенко увидел, что они подошли уже вплотную к хутору, но продвигаться дальше стало очень трудно — огонь противника был плотный, потери становились все больше. Войтенко лежал на мокрой, холодной земле, его разбирала злость. Он готов был уже подняться и броситься вперед, но в эту минуту снова услышал рядом с собой знакомый тихий голос:

— Войтенко, а помнишь?

А может быть, это ему только почудилось, может быть,

капитан Землянцев был далеко от него и говорил эти слова кому-то другому... Все равно. Войтенко снова вспомнил все: холодную воду многих других переправ, августовскую жару и пыль, осенние дожди и зимние стужи, когда нужно было часами лежать на земле и ждать, ждать, ждать... Делай все в свое время: когда нужно — лежи, когда нужно — вставай и бросайся в атаку. Чутьем опытного человека Войтенко понял, что время еще не пришло. Он плотнее прижался к земле и стал ждать.

Многое было неизвестно Федору Войтенко. В ту минуту ему казалось, что задержка у венгерского хутора обозначает неудачу переправы. Он и себя винил в этой неудаче. Однако вины за ним не было никакой, и неудачи тоже не было.

В то время как Войтенко лежал в полусотне шагов от хутора и ждал, когда ему придется пустить в дело свои гранаты, другие роты выходили уже в тыл хутору. А к берегу причаливали все новые и новые плоты и лодки, с них выгружали боеприпасы, с понтонов скатывали пушки. За Дунай переправлялся весь полк, и эту трудную переправу обеспечивал батальон капитана Землянцева, захвативший плацдарм на правом берегу, а значит, успех обеспечивал и боец Федор Войтенко.

Снаряды немецких пушек рвались за спиной у Войтенко. Батарея била жестоко и упорно, пулеметы не давали поднять головы. Но вдруг батарея замолкла, пулеметы как будто осеклись на полуслове своей смертельной скороговорки, за хуторскими домами взорвались гранаты. Один из домов загорелся, вспыхнул как факел, и Войтенко увидел, как лежавший рядом с ним человек поднялся и, размахивая зажатым в руке пистолетом, побежал вперед. Это был капитан Землянцев. За ним бежали бойцы, побежал и Войтенко, стараясь не отставать от командира...

Выбежавшие из горящего дома немецкие автоматчики ложились за кирпичной стеной, ярко освещенной огнем пожара, и втыкали стволы автоматов в пробитые там амбразуры. Затрещали короткие очереди. Пулей сшибло шапку с головы капитана Землянцева, но он не остановился, будто не замечая этого.

— Убьют,— испугался Войтенко за командира и взмахнул рукой, бросая гранату.

В этот миг острая боль пронзила его, как будто рука вырвалась из плеча, улетев вместе с гранатой. Он пошатнулся и упал... Уже лежа на земле, он ощупал правое плечо и руку: рука была на месте, но казалась очень длинной и тяжелой, точно налита была свинцом.

К нему подбежали товарищи. Потом он увидел лицо капитана Землянцева и услыхал его голос:

— Жив? — тихо говорил Землянцев.— Здорово ты их гранатой. Если бы не ты, лежать бы мне с пробитой головой... Спасибо!

А дальше все было как в тумане. Ослабев от потери крови, он шел, опираясь на кого-то. Его усадили в лодку. Он видел, как к берегу подходили большие понтоны и баржи, как высаживались войска и выгружались самоходные пушки...

Гул боя удалялся от берега. Уже светало, и широкая неспокойная река, в свете декабрьского утра медленно катящая свои мутные воды, представилась ему притихшей и покорной. И в памяти снова всплыла старинная песня, сразу напомнившая родину, дом, семью и связавшая теперь воедино две его жизни — молодость, когда он впервые услыхал эту песню от девушки, которую любил, и нынешнее его мужество, когда он кровью своею успокоил тяжело бушующие волны Дуная...

Южнее Будапешта,
декабрь 1944 года

ВЛ. ПАВЛОВ,
Герой Советского Союза

ПОД СВОДАМИ КЛЕТНЯНСКОГО ЛЕСА

СОЛЬ

Стояла глубокая осень сорок второго года. С берез, с осин слетали последние листья. Хвоя на елях потемнела и приобрела черноватый оттенок. Мороз сковал землю. Колеса тачанок, на которых в ожидании снега все еще приходилось ездить, понадобилось обматывать тряпьем, чтобы они не грохотали в твердых, как рельсы, колеях.

Поле у деревни Николаевки, служившее нам для приема самолетов и поэтому называвшееся «Николаевским аэропортом», стало тверже бетонированных взлетных полос, и на нем могли садиться транспортные ЛИ-2...

Партизанское соединение дважды Героя Советского Союза А. Ф. Федорова отдыхало после трудного лета. Незадолго до этого мы пережили тяжелую блокаду в худосочных, просматривающихся с опушки до опушки рощицах Черниговщины. Долгий месяц, отбиваясь от наседавших со всех сторон гитлеровцев и полицаев, шли на север. И наконец добрались до сурового бесхлебного, но относительно безопасного Клетнянского леса...

Лес этот по сравнению с теми, что нам до сих пор пришлось видеть, был поистине огромен... Зеленые его своды скрывали немало партизанских групп и отрядов. Лесные тропы и дороги контролировались партизанскими патрулями. В селах, расположенных на опушках, под защитой партизанских застав даже работали сельские Советы.

Из ближних, да и из дальних мест в «Лесоград» стекались ходоки — потолковать, посоветоваться, как быть, что делать, и просто свободно вздохнуть среди своих на этом островке Советской власти, среди мутного разлива гитлеровской оккупации...

Конечно, опасность, которая постоянно нависала над всеми нами, не исчезла, а только до поры до времени чуть-чуть отодвинулась.

Да и мы без дела не сидели.

Уходили на задания мелкие и крупные партизанские группы, а потом ночами доносились раскаты пулеметных и автоматных очередей и гул орудийных залпов: где-то шел бой с вражеским гарнизоном или с колонной вражеских машин, угодивших в партизанскую засаду. Поблизости и вдалеке вели непрекращающиеся поиски разведчики. Ставили мины на железных дорогах подрывники. Гремели взрывы, летели под откос поезда.

Но, по партизанским понятиям, все это было где-то очень и очень далеко. А в нашем лагере наступила прямо-таки мирная жизнь...

По утрам командиры взводов выводили своих подчиненных на зарядку. Днем шли политзанятия. Ровно в восемнадцать часов на центральной лагерной дороге выстраивался развод караулов — не хуже, чем в доброе довоенное время. Мы стали регулярно обедать, завтракать и ужинать.

Началась повальная подготовка к приходу «белого дяди» — зимы. Строили землянки. Где можно, добывали сани и лыжи, за которыми иной раз приходилось совершать далекие и рискованные экспедиции. Мастерили из парашютов и холста маскировочные халаты.

Обзаводились «зимней формой»: неимоверно тяжелыми немецкими сапогами, добытыми в боях с карательными отрядами, шили из одеял теплые галифе с черными цветами по лиловому или красному полю и ядовито-зеленые шаровары из стеганого авиазента от парашютных мешков, которые при ходьбе шуршали так, что слышно было чуть ли не за километр. Добывали полушубки, штатские пальто, домотканые шерстяные «киреи» с откидными сердцевидными капюшонами.

Словом, все было спокойно и мирно, ни дать ни взять тихое довоенное житье...

И все-таки беда пришла, и пришла не с той стороны, с которой мы ее больше всего ждали: кончилась соль.

Немногие счастливчики, которым удавалось раздобыть хоть щепотку соли, завязывали ее в узелок и мочили затасканную по карманам тряпицу в своих котелках.

В окрестных селах за соль можно было выменять что угодно: полушубок, мед, даже корову...

Выискивались самые разнообразные заменители. Одни со-

лили еду горьким калийным удобрением, от которого начинался отчаянный понос, другие подсыпали в пищу известь, третьи приправляли варево хвойным настоем и даже табаком.

Но ничто не помогало. Мало-помалу бессолевая диета стала сказываться и на нашем партизанском здоровье: люди сделались вялыми, десны у них побелели, зубы шатались.

Нужно было во что бы то ни стало раздобыть соль.

Командир нашего партизанского соединения дважды Герой Советского Союза генерал-майор Федоров отрядил взвод Феди Быстрова и строго-настрого наказал ему без соли в лагерь не возвращаться.

В это же самое время наша диверсионная группа под командованием Алеши Садиленко возвращалась с железной дороги. Задание нам выполнить не удалось. Обидно возвращаться в лагерь с пустыми руками. Поэтому все мы горели желанием отличиться хоть в чем-нибудь.

В небольшом белорусском селе Веревки мы повстречались со взводом Феди Быстрова. Там же оказалась и небольшая группа из отряда Шемякина, так же, как и Быстров, рыскавшая по округе в тщетной надежде наткнуться где-нибудь на соляные залежи. Командовал этой группой Игорь Лобанов.

В хате, в которой расположились Алеша Садиленко, Володя Клоков и я, собрались командиры. Мы выпили и, с трудом пережевывая несолепую картошку с салом (это блюдо у нас почему-то прозвали «мечтой диабетика»), лениво переговаривались.

Кто-то из шемякинцев, кажется Саша Гибов, невзначай сказал:

— Эх, до райцентра, до Гордеевки бы добраться! Вот где соль-то есть! Вчера немцы три тонны завезли.

Быстров привскочил:

— Ты это точно знаешь?

Вопрос был излишним. Шемякинцы действовали в этих местах довольно давно, имели в селах густую сеть связных и обо всех происшествиях в округе всегда были прекрасно осведомлены.

— Точно,— сказал Гибов.— Меняют у теток: стакан соли — пять килограмм сала... Мирный, так сказать, грабеж!..

— Хлопцы, рубанем Гордеевку? — загорелся Быстров.— С ходу! Немец и не очухается, как мы соль сцапаем!..

Игорь Лобанов передвинул свою серую «шемякинскую» шапку (шапки у всех шемякинцев были одинаковые) с затылка на брови.

— Что ж, можно,— спокойно проговорил он.— Почему не попробовать?

Сразу же началось обсуждение деталей предстоящей операции. Подсчитали людей. Оказалось, что мы располагаем довольно внушительными силами: сорок пять человек, три ручных пулемета, пятнадцать автоматов и даже «артиллерия» — ротный миномет, который в руках нашего знаменитого минометчика Феди Мазепина вполне мог заменить сорокапятку... Среди шемякинцев нашелся партизан — местный житель, отлично знавший дорогу. Сверх этого решили мобилизовать лошадей и сани — вывозить соль.

По сведениям, которыми располагали шемякинцы, гарнизон местечка насчитывал около сотни полицаев и шестьдесят гитлеровцев в комендатуре.

Надо было во что бы то ни стало накрыть их врасплох — от этого зависел успех всей «соляной» операции.

В сумерках наш сводный отряд выступил в поход.

Мы с Володей Клоковым ехали в санях, запряженных парой добрых коней, реквизированных нами у полицаев. Наши «персональные» сани были оборудованы по всем партизанским правилам: деревянной спинкой-скорогоном, привалившись к которой на ходу можно было недурно вздремнуть, и роскошной полостью из распоротого мешка от грузового парашюта. Со стороны Володи на окаймляющих сани жердях-билах висело несколько ручных гранат: Володя клялся, что сани он не бросит ни при каких обстоятельствах. Это не мешало ему хранить на дне саней про запас трофейные лыжи...

Словом, мы с Володей во всеоружии были готовы к любым передрягам.

Путь от села Веревки до Гордеевки шел полем. Партизаны — лесные жители. В поле, далеко от леса, мы чувствовали себя как-то непривычно и, по правде сказать, тревожно.

Когда наши сани въезжали на бугорок и в желтом свете луны становился видным весь наш обоз, растянувшийся жидким пунктиром на снежной дороге, в голову невольно закрадывалась мысль:

— А ну как немцы обнаружат нас раньше времени? Тогда — не уйти!

Впрочем, такие мысли, кажется, беспокоили только меня: Володя, глубоко надвинув на голову капюшон своей домотканой шерстяной «кереи» и засунув руки в рукава, тихонько посвистывал носом: он славился умением спать в любых обстоятельствах.

Наконец скрип полозьев впереди затих, колонна остановилась. Я растолкал Володю, и мы пошли к головным саням. Там уже собрались и все остальные. Впереди смутно чернели строения. Это была Гордеевка.

Быстров, по общему согласию выбранный начальником операции, тихо скомандовал:

— По местам!

Тихонько заскрипел снег под осторожными шагами, и маскхалаты уходивших партизан постепенно слились с лунно-белым сумраком ночи.

На месте осталась группа, возглавляемая самим Быстровым. В эту группу входили и мы с Володей, Алеша Садиленко, Саша Гибов, Борис Мартынов.

Мы легли ничком на снег и молча стали ждать условного сигнала к наступлению.

Ждать боя — на войне самое трудное. Я старался не думать о предстоящем, припоминал всякие довоенные происшествия, но мысли все время перескакивали на другое. Я представлял себе, как пробегу пространство, отделявшее нас от крайних домов городка, а потом...

Это «потом» представлялось весьма туманным. Может быть, вон там, возле угла дома, стоит пулеметный пост, который встретит нас огнем в упор. Может быть, немцы уже давным-давно узнали о нашем приближении, приготовились и теперь только того и ждут, чтобы заманить нас на улицы и захлопнуть ловушку...

Я напряженно вслушивался, вглядывался. Все было тихо. Даже собак не было слышно. Раз собаки молчат — это хороший признак. А все-таки!.. А вдруг?..

Наконец где-то на противоположной стороне городка поднялась красная звездочка ракеты. Это означало, что на дороге, соединявшей Гордеевку с Красной Горой, выставлена наша застава, а группа автоматчиков под командой Лобанова заняла исходную позицию.

Быстров поднялся и, уже не таясь, закричал:

— Вперед! Бей полицаев!

Мы бегом кинулись к городку. Возле крайнего дома блеснула вспышка, прогремел одиночный выстрел. От стены отделилась черная человеческая фигура и, размахивая руками, кинулась удирать. Как выяснилось, это стрелял проснувшийся часовой — полицейский. Быстров дал очередь. Полицай упал и замер на снегу.

А мы уже мчались по улице, стреляли в воздух, кричали:

— За Родину!
— Ур-а-а-а!

Сейчас нам море было по колено. Все тревоги рассеялись, будто их и не было. Захлестнутые общей волной, мы с Володей и с Сашей Гибовым добежали до конца улицы и остановились. Перед нами простиралась заснеженная площадь. Это был центр городка.

— Во-он там магазин! — сказал Гибов.— Рядом с комендатурой! Там соль!..

Подбежал Быстров:

— Ну, чего стали? Айда!

Мы перебежали площадь, посреди которой оказался сквер, и добрались до домов на противоположной стороне. Как сейчас помню это место. Здесь начиналась улица. В самом начале ее — магазин, рядом с ним — какое-то бревенчатое строение, не то баня, не то кладовая. Дальше вдоль улицы стояла школа, в которой помещалась полицейская казарма. Напротив нее находился каменный дом комендатуры. Вокруг казармы, магазина, кладовой стояли редкие голые деревья и кустики. И все это было залито мертвенно-желтым светом луны.

Спереди доносились частые очереди. Мы сразу догадались, что бой ведет группа Лобанова, наступавшая на комендатуру с другой стороны.

Быстров, Володя Клоков, Саша Гибов, я и Ваня Головко — десантник, только что прилетевший к нам с «большой земли», добежали до полицейской казармы. Гибов с размаху швырнул гранату в окно. Здание изнутри озарилось багровым светом. Громыхнул взрыв. Посыпались стекла. Мы высунулись было из-за противоположного угла.

И сразу перед нами вспыхнули оранжевые разрывы вражеских гранат, защелкали о стену пули.

— Назад,— закричал Быстров.— Назад, к магазину!

Мы отбежали. Только Ваня Головко залег возле угла здания и продолжал перестрелку.

Около обитой железом двери магазина возилась группа партизан. Палками, прикладами, стволами винтовок они безуспешно пытались сорвать тяжеленный амбарный замок.

Володя Клоков и Лева Паникленко привязали к замку четырехсотграммовую толовую шашку, Лева чиркнул спичкой, зашипел бикфордов шнур.

— Ложись!

Гулко, как в бочку, рвануло. Мы подняли головы. Дверь магазина сорвало с петель, и она завалилась внутрь. Мы рину-

лись в магазин. Посветили карманным фонариком. В закроме, отделенном от остального помещения досками, блеснула соль...

— Соль! — заорало сразу несколько голосов.

Быстров дал зеленую ракету. Это был условный сигнал для партизан, охранявших обоз.

А со стороны комендатуры по-прежнему гремели очереди. Но теперь все уже стало на свои места. Группа партизан, засевшая в развалинах какого-то дома рядом с комендатурой, непрерывно обстреливала ее. С другой стороны вела бой группа Лобанова. Как и было условлено, наступать на комендатуру мы не стали, а только отвлекали внимание немцев... Главное — соль в наших руках!

Фашисты огрызались свирепо. Конечно, им и в голову не приходило, зачем мы явились в Гордеевку. Они были уверены, что наша цель уничтожить гарнизон, захватить пленных и оружие. С тем большим ожесточением отбивались они...

Лежавший около угла дома полицейской казармы Головко привстал, собираясь, наверное, перебежать к своим, и вдруг грохнулся как подкошенный на землю.

— Убит,— сказал, оказавшийся рядом со мной командир отделения Муравченко.— Кто пойдет?

— Я! — вызвался Лазарь Слободник. Но он не сделал и двух шагов, как со стороны комендатуры коротко прострочил пулемет. Слободник упал. Мы с Володей Клоковым ползком перетащили его назад, за магазин.

— Наповал,— сказал Муравченко.— В сердце. Кто пойдет?

Пошел я. Взяв в руки один конец обнаруженной в магазине веревки (второй держал Муравченко), я пополз. Немцы заметили меня не сразу. Я был уже на середине расстояния между магазином и тем местом, где лежал Иван Головко, когда рядом со мной поднялись фонтанчики снега. Очереди ложились то справа, то слева, то спереди; над головой проносились разноцветные трассы, но я все-таки благополучно добрался до стены и оказался в «мертвой» зоне. Теперь пулеметы мне были не страшны.

Я подтянул Ивана к себе. Окровавленная голова его слабо мотнулась, будто была привязана на веревочке. Он был мертв. Пули прошили насквозь шею, размозжили череп.

Я обвязал Ивана веревкой и крикнул Муравченко:

— Тащи!..

Немцы сразу же приметили движение и открыли бешеный огонь. Я выждал, пока тело Ивана скрылось за краем мага-

зина, и двумя короткими перебежками невредимым добрался до магазина.

Здесь кипела работа. Соль насыпали в мешки, плетеные корзинки, оказавшиеся на полках, в глиняные горшки.

Немцы стреляли по подводам; ездовые бешено гнали лошадей.

Наконец вся соль была погружена. Быстров дал сигнал отхода: две красные и одну белую ракеты.

Мы благополучно выбрались из магазина и скоро встретились с группой Лобанова. В ней тоже имелись потери: был убит автоматчик — москвич Коля Тулышев...

Соль нам досталась дорогой ценой. Трое были убиты и один — пулеметчик Зефиров — ранен, к счастью легко.

Мы дождались, пока вернулись посты, выставленные на дорогах, и наш тяжело пагруженный обоз тронулся в обратный путь. Когда мы были уже километрах в десяти, то увидели вдалеке яркие полосы автомобильных фар. К Гордеевке шло фашистское подкрепление...

Утром в Веревках мы похоронили погибших товарищей. Деревенские женщины, как и везде в России, близко принимавшие к сердцу чужое горе, сделали венки из еловых лап. Мужчины помогли нам выдолбить в промерзшей земле яму и сколотили гробы. Мы похоронили наших ребят на деревенском кладбище, врыли обструганный столб и на его затесанной вершине написали чернильным карандашом:

«Здесь похоронены павшие смертью храбрых в бою с фашистским гарнизоном в Гордеевке партизаны Иван Головко, Лазарь Слободняк и Николай Тулышев.

Прозвучали короткие очереди прощального салюта.

А потом, щедро оделив солью участвовавших в операции колхозников, мы тронулись назад, в глубь хмурого Клетнянского леса, в лагерь нашего соединения. Мы везли с собой соль. Много соли...

ЗА «ЯЗЫКОМ»

Начальник разведки одной из клетнянских партизанских бригад Николай Дьяченко дождался, пока Вера, Виктор Кухаркин и Иван Чесноков уселись вокруг стола, сделанного из березовых жердей, крикнул дневальному, чтобы тот никого не впускал, плотно притворил дверь землянки и расстелил карту.

Собственно говоря, карта не требовалась: и разведчики и их командир знали местность в радиусе ста километров как свои пять пальцев. Но Дьяченко был человеком сугубо армейским и без карты разговаривать не любил. С минуту он внимательно рассматривал подчиненных, словно заново оценивал их. Потом сказал:

— Будем брать «языка». Понятно?

Виктор Кухаркин накрутил на палец кудрявый чуб, свисавший на лоб из-под белой кубанки, с которой он не расставался ни зимой, ни летом, и ковырнул в зубах щепочкой от спичечного коробка. С ленивой усмешкой проговорил:

— Отчего ж не взять? Возьмем. Веру-то на что звал? Мы и сами справимся.

Дьяченко поморщился:

— Ишь ты, быстрый какой. Сначала выслушай. «Язык»-то не простой нужен. Обязательно офицер-железнодорожник... Понятно?.. С Унечи. Радиограмма пришла из штаба партизанского движения!

Помолчав, он тихо добавил:

— Вот какая штука!

Крупная узловая железнодорожная станция Унеча находилась километрах в восьмидесяти от того места, где располагалась партизанская бригада Панасенкова. От Унечи расходятся стальные пути на Оршу, на Гомель, на Харьков, на Брянск. Огромное количество вражеских эшелонов с войсками, боеприпасами, военной техникой, продовольствием, горючим, с награбленным имуществом, скотом и хлебом ежесуточно отправлялось из Унечи во всех направлениях. По количеству эшелонов, проходящих через этот важнейший стратегический железнодорожный узел, по тому, чем были эти эшелоны нагружены, можно было определить замыслы гитлеровского командования, направление предполагаемых ударов, места концентрации их войск. Станция была обнесена колючей проволокой, усиленно охранялась, на ее территорию вход русским был запрещен. Весь обслуживающий персонал, даже уборщики на вокзале, были только из немцев. В пристанционном поселке кроме гестапо и полевой жандармерии расположился крупный эсэсовский гарнизон.

Все это хорошо было известно разведчикам.

— Вот какая штука,— повторил Дьяченко.— Понятно, зачем нужна Вера?

Кухаркин и Чесноков кивнули. Вера Соловьева родилась и жила до войны в Унече, имела там своих людей. Ей не раз

приходилось пробираться в поселок тайком. Но на станцию и Вере и связным — путь закрыт. Все, что удавалось узнать окольными путями, было неполным и отрывочным. Потому-то и требовалось добыть хорошо осведомленного «языка».

Сграбастать зазевавшегося где-нибудь в селе немца, подкараулить и захватить пленного в лихом молниеносном налете — для разведчиков дело не новое. Но теперь задача была посложнее: выкрасть гитлеровского офицера-железнодорожника со станции Унеча!

— А где же ты такого найдешь? — спросил Кухаркин.— Если и поймаешь, так у него на лбу не написано, железнодорожник он или нет!

— Н-да,— пробурчал Чесноков, почесывая чуб.— Сложное дело. Однако, что думаешь ты, Вера?

— Есть у меня в Унече подружка Маруся Лозовская,— сказала Вера.— К ней в гости один немец все набивается. Из станционной комендатуры. Так, я думаю, пусть зайдет разочек? А?

Разъяснений не требовалось — разведчики понимали друг друга с полуслова. Дьяченко указал на карте место, в котором разведчиков на обратном пути будет поджидать «маяк».

— Автоматы оставьте здесь,— сказал он.— Пойдете с пистолетами и гранатами... Ну, хлопцы, смотрите — осторожно! Буду вас ждать с нетерпением!

Разведчики подошли к Унече на рассвете. Остановились в кустиках, совсем недалеко от крайних домов поселка. Молча посидели, вслушиваясь и вглядываясь. Теплый южный ветер доносил со станции железный лязг буферов и перекличку маневровых паровозов. В поселке горланили петухи, мычали коровы, слышался ленивый лай собак. Ничего подозрительного...

— Ну что ж,— сказала Вера, вставая.— Пора.

Она не прощалась. У разведчиков, постоянно ходивших по грани, отделяющей жизнь от смерти, прощанье перед уходом на задание было не в моде. Просто пошел человек, потом вернулся. Не повезло — погиб. На то война.

Иван Чесноков тщательно осмотрел разведчицу, аккуратно стряхнул приставшие к ее одежде травинки, поправил воротничок на блузке, пошутил:

— Хоть на танцы! Пистолет-то где?

Вера молча похлопала по карману жакета.

— Иди! Да скорей ворочайся... Ждать для меня — хуже нету!

Огородами, глухими улочками Вера торопливо пробиралась к центру поселка. Главное — не попадаться никому на глаза.

Одно слово в гестапо или полевой жандармерии — и Вера погибла. Ведь в родной Унече многие ее знали в лицо. Конечно, у Веры на всякий случай была подготовлена «легенда». Месяцев шесть до этого, желая обезопасить родных, Вера завербовалась в Германию. Когда домой пришла повестка с биржи, отец Веры долго вертел ее в руках, потом поднял очки на лоб и внимательно посмотрел в глаза дочери.

— Я все понимаю, доченька,— медленно проговорил он.— О нас не беспокойся. Иди.

В ту же ночь Вера ушла из дому. Нашлись люди, которые помогли ей разыскать партизанскую бригаду. Родители объяснили полиции, что Вера ушла в село к тетке, не желая уезжать на чужбину. Палок избежать старикам все-таки не удалось. Но никто не заподозрил, что Вера ушла в партизаны, и отца с матерью через несколько дней отпустили домой. Теперь в кармане у Веры была припасена фальшивая справка с поддельной лиловой немецкой печатью. В справке удостоверялось, что Вере разрешена отсрочка.

Как хотелось Вере хоть бы единым глазком заглянуть в окно родной хаты! Увидеть отца, успокоить мать, обнять их. Нельзя! Кто мог поручиться, что за домом нет слежки? Да и спешить надо — задание не ждет...

Маруся Лозовская жила почти в центре, совсем рядом с немецким военным госпиталем. Возле госпиталя всегда царило оживление — толпились солдаты, приходившие навещать раненых, подъезжали машины и повозки с продуктами.

И даже в этот ранний час в окнах госпиталя мелькали белые халаты медсестер, а у подъезда стояло два «оппеля».

Вера подошла к дому Лозовской с огорода, без стука вошла в кухню. Мария, молодая красивая женщина, хлопотала возле печки. Возле нее играла девчушка лет трех. Вера сунула ей конфетку, погладила по головке и велела идти играть в соседнюю комнату.

— Ну как? — спросила она, когда они остались вдвоем.— Придет?

— К двум обещал... Я вся аж трясусь от страха!

— А ты не дрожи. Ничего он тебе не сделает.

— Так-то так... А ну как попадемся?!

— Вот что,— перебила Вера.— Сейчас к тебе придут два наших хлопца, ты их спрячь. А что дальше делать — они сами знают. Понимаешь?

— Понимаю...

...Ровно в два «гость» постучался к Марии. Гитлеровец был

гладко выбрит, облачен в новенький мундир с лейтенантскими погонами, на левом кармане которого черным пауком распластался «железный крест». В руках немец держал небольшой чемодан. «Небольшой подарок сделает свое дело»,— размышлял он. С ним, как всегда, было оружие: идти в дом к русской небезопасно даже днем. Конечно, с ним, столько раз занимавшим призовые места в соревнованиях по боксу, отличным стрелком, не справиться никакой женщине. Но все-таки...

— Гутен таг, майн херц! — как можно радостнее приветствовал он Марию, стоявшую в дверях.— О! Как вам к лицу этот руссиш сарафан!

— Заходите, пожалуйста,— проговорила Мария, с трудом шевеля губами.

Немец самодовольно улыбнулся и протянул Марусе чемодан.

— Здесь все необходимое фюр унзере шпайзе — для нашей еды. Битте!..

Он шагнул в комнату. И тут на гитлеровца обрушился кто-то тяжелый. Он упал. С правого боку в него вцепился другой, поменьше, юркий как кошка. Немец изо всех сил дернулся, вскочил на ноги, отбросил того, кто был справа, рванулся к выходу. Чесноков успел ухватить его за пояс, когда он был уже на пороге кухни. Но офицер с огромной силой схватился руками за дверной косяк, а ногами уперся в порог и его никак не удавалось затащить в комнату. На какой-то миг наступило равновесие. Слышно было только тяжелое дыхание.

В кухню вбежала Вера. Она сидела в доме напротив, у партизанской связной, и наблюдала в окно. Как только немец вошел в калитку, Вера кинулась следом. Завидев Веру, гитлеровец истошно закричал:

— Паненка! Паненка! Хельфен зи мир! На помочь!

— Бей его по рукам! — прохрипел Чесноков.

Вера выхватила из кармана пистолет и что было силы ударила рукояткой по пальцам лейтенанта. Тот охнул и повалился внутрь комнаты, увлекая за собой Чеснокова. Падая, Иван ударился головой об угол комода и разжал руки. Почувствовав себя свободным, гитлеровец вскочил, схватился за кобуру.

Может быть, ему и удалось бы достать пистолет, но Вера схватила стоявший у печи топор и занесла его над немцем. Тот вскрикнул вдруг тонким голосом и закрыл лицо руками...

Все остальное было делом минуты. Фашисту заткнули рот тряпкой, связали, обезоружили, нахлобучили на самые глаза

свалившуюся во время свалки офицерскую фуражку с высокой тульей, уложили в кровать и наглухо закрыли одеялом.

Кухаркин, тяжело отдуваясь, потирал скулу. Чесноков вытирал кровь, сочившуюся из глубокой раны на лбу. Вера в изнеможении опустилась на стул — голова кружилась, все плыло перед глазами... В кухне всхлипывала от страха Мария, прижимая к себе перепуганную девочку.

Первая часть операции прошла успешно. Но впереди — самое трудное. Как вытащить пленного из города? Надо ждать ночи...

Время тянулось медленно. Около трех часов к Марусе Лозовской зашла соседка попросить закваски для теста.

— Вы уж извините, гражданочка, но вам придется обождать,— развел руками Чесноков.— Вот тут, на печи, будет удобно.

— Но у меня ж дома картошка сгорит! — растерянно пробормотала женщина.

— Ничего, зато побудете в интересной компании! — пошутил Кухаркин, который никогда не унывал. — С нами не соскучитесь... А картошку, считайте, мы съели!..

Следом за соседкой пришла ее дочь. Приходили еще люди. И всех их разведчики любезно, но непреклонно задерживали.

Незадолго до захода солнца возле самого дома остановились три фашиста в черной гестаповской униформе. Они о чем-то оживленно разговаривали.

«Войдут или нет?» — напряженно думали разведчики, прильнув к оконным занавескам. Иван Чесноков взял в углу топор и пошел к двери.

— С первым сам управлюсь! — прошептал он.— А вы бейте остальных! Только наверняка бейте!

В хате воцарилась мертвая тишина. Слышно было, как жужжат под потолком мухи...

Но немцы не вошли. Постояв немного, они, продолжая разговаривать, двинулись дальше и вскоре исчезли за углом. Разведчики облегченно вздохнули:

Наконец стемнело. Мария Лозовская выглянула во двор: никого.

— Ну,— сказал Кухаркин,— будем двигаться! Берите его на руки, да смотрите у меня — тихо! Чтоб ни стукнуло, ни брякнуло!

Все, кто был задержан, уложив пленного на рядно, вынесли его на улицу. Впереди этой странной процессии шли Вера с

пистолетом в руке и Мария Лозовская с дочерью — они уходили к партизанам. Замыкали шествие Кухаркин и Чесноков.

— Если встретим кого,— предупредил Чесноков при выходе,— отвечайте: пьяный, до дому, мол, тащим.

На опушке леса жителей отпустили, пленному развязали ноги, и он двинулся «своим ходом»...

Через день, после утомительного суточного марша, Вера Соловьева, Иван Чесноков и Виктор Кухаркин благополучно добрались до лагеря бригады.

— Молодцы! Орлы! — сказал Дьяченко, пожимая разведчикам руки.

ОТЧИЙ ДОМ

Уж если в лагере завелись землянки и заборчики вокруг кухонь — жди нежданных гостей. Это верная партизанская примета.

Пришел конец и нашему сравнительно спокойному сидению в дебрях Клетнянского леса.

В конце января 1943 года гитлеровское командование начало блокаду, известную в документах германского генерального штаба под шифрованным названием «Клетте-2».

Наступление на партизан повели специально снятые с фронта крупные силы 4-й танковой армии, полицейские части, подразделения полевой жандармерии, всевозможные зондеркоманды и обученные в борьбе с партизанами власовские батальоны «Днепр», «Березина» и «Припять».

Каратели обложили лес со всех сторон. Села на опушках оказались в руках врага. В нашем «аэропорту» возле деревни Николаевки теперь базировались вражеские самолеты. В Каталине стояли танки. В Вормине — батареи шестиствольных минометов и тяжелой артиллерии.

С боями наше соединение прорвало блокаду противника и вырвалось за пределы Клетнянского леса.

И только один наш отряд, замыкавший колонну, оказался отсеченным. Стиснутые со всех сторон, мы долго блуждали по заснеженному и неприютному Клетнянскому лесу. Наконец наш проводник — Бородулин нашел лазейку...

До войны Бородулин работал лесником и был заядлым охотником. Читал следы, как книгу с крупным шрифтом, знал все вокруг не хуже собственной хаты и умел находить путь и в лесу, и в поле в самые темные ночи. К тому же Бородулин был

смел, не терял присутствия духа в любых критических положениях, мог разложить костер так, чтоб он не дымил, или в два счета соорудить шалаш из еловой коры, бросал финку в пятачок на расстоянии семи метров и славился умением бесшумно снимать часовых.

Словом, для партизан Бородулин был незаменимым человеком. Именно благодаря Бородулину в ту зимнюю ночь начала сорок третьего года мы нашли брешь во вражеском кольце, пересекли большак, перешли по льду Ипуть и оказались в лесу на противоположном берегу реки.

Медленно наступал рассвет. В вершинах сосен и елей бушевала метель, лес стонал и шумел, и в этом глухом шуме нашему до крайности напряженному слуху чудились шаги, голоса, лязг оружия.

Мы шли молча, осторожно ступая. Отряд хоть и вышел из центра кольца, зато попал в самую гущу расположения вражеских частей.

Немцы были где-то тут, совсем рядом. И в минуты затишья, когда ветер на мгновение спадал, с разных сторон явственно доносились выстрелы и ожесточенный лай собак...

Что означали эти выстрелы? Может быть, немцы травили, как загнанного волка, какого-нибудь отставшего бедолагу-партизана, так же, как и мы, уходившего от преследования? Может быть, добивали раненых или пленных? А может, просто забавлялись, чтобы нагнать страху?..

Мы много дней не разжигали костра, не спали, если не считать немногих часов, проведенных в забытьи на снегу во время коротких передышек. С наших обожженных морозом лиц лоскутами слезала кожа. Губы и языки распухли и покрылись язвами от снега, который мы сосали, чтобы утолить жажду. Мы давно уже съели последний сухарь. Люди с трудом передвигали ноги. Поднявшаяся метель скрыла нас за своим белым занавесом, замела следы...

Командир отряда Тарасенко приказал на всякий случай заминировать пробитую нами лыжню и сделать петлю по лесу, чтобы сбить с толку погоню.

Наконец мы сели, точнее — упали в снег под гудящими от ветра стволами деревьев. Упали и больше не меняли поз — не было сил повернуться и лечь поудобнее... Многие, несмотря на стужу, закрывали глаза и впадали в дремоту; те, кто еще был в состоянии, ожесточенно расталкивали засыпающих. Заснуть означало погибнуть.

Я прилег недалеко от Тарасенко, привалившегося к древес-

ному стволу, рядом с комиссаром Михайловым. Тут же поблизости пристроился Бородулин. Он вынул нож, взял лыжу и принялся поправлять ремень. Он держался бодрее всех.

— Дальше идти нельзя! — глухо, с трудом шевеля опухшими губами, сказал комиссар Бородулину.— Надо во что бы то ни стало добыть пищу. Иначе пропадем.

— Так!..— не поднимая головы, односложно ответил Бородулин, своим любимым словечком.— Я так тоже понимаю — надо!

— Может, найдем что поблизости?—с надеждой спросил Тарасенко.— Хоть какой-нибудь самой завалящей картошки?

Бородулин молчал, думал.

Наконец просверлил в ремне новую дырочку, вдернул завязку из сыромятной кожи.

— Что ж...— тихо произнес он.— Попытаем.— И кивнул мне головой: — Пойдем, что ли?

Бородулин шел впереди широким шагом, без видимых усилий пробивая лыжню в глубокой целине, будто и не пережил голода, бессонных ночей. Я с трудом поспевал за ним, хоть идти по проложенному следу было куда легче.

— Нажми, браток, нажми! — коротко подбадривал меня Бородулин.— Ужо отдохнем. Тут недалеко!..

Скоро впереди забрезжил просвет и мы вышли на противоположную опушку леса.

В поле гуляла метель. Ветер гнал снег то в одну сторону, то в другую. Идти стало еще труднее.

— Отдышись,— сказал, остановившись, Бородулин.— Тут надо легше.

Я огляделся: впереди, за снежной завесой, смутно темнели строения. Чуть ближе к лесу, на отлете от остальных, стояла небольшая полузанесенная снегом хата.

Бородулин схватил меня за руку.

— Ложись! — прошептал он.— Часовой!..

Мы кинулись в снег и залегли за деревьями.

— Где? — спросил я.

Бородулин повел головой в сторону хаты. Я увидел скрюченную фигуру, подпрыгивающую от холода. Часовой ходил взад и вперед вдоль стены, обращенной к лесу, изредка скрываясь за углом.

— Чуешь? — едва слышно прошептал Бородулин.— Чтоб ни следу, ни шороху, а то всех погубим...

И еще раз сердито повторил:

— Ни следу, ни шороху! Понял или не понял?..

— Понял, понял! — шепнул я в ответ, удивляясь его многословию.— Сам знаешь — не в первый раз ходим!

Лежа, мы продолжали наблюдать. И я и, наверное, Бородулин до смерти завидовали этому солдату, который только что вышел из жарко натопленной хаты, сытый, отоспавшийся, может быть, хвативший шнапсу. А мы лежали в холодном сугробе голодные и измученные и не смели приподнять головы, чтобы не быть замечёнными.

Не помню, сколько мы так пролежали. Может быть, с час. Наконец со стороны села подошел развод караулов, часового сменили.

— Ну! — прерывающимся голосом шепнул Бородулин.— Теперь пора!

«Чего это он? — подумал я.— Боится? Не похоже...»

Он отстегнул лыжи, сбросил тощий вещевой мешок, закинул автомат за спину, вытащил финку из чехла на поясе, одернул завернувшуюся полу маскхалата и пополз вперед.

Я взял часового на прицел и водил за ним мушкой, когда он двигался.

Бородулин полз быстро, и вскоре его халат слился с окружающей белизной.

Мое сердце учащенно билось. Теперь я забыл обо всем — о том, что устал, что нас с нетерпением ждут товарищи. Исчезла даже мучительная голодная резь в желудке. Все мои помыслы были сосредоточены на мушке автомата, на часовом, на Бородулине.

Вдруг неожиданно (хотя этого я как раз и ожидал!) рядом с часовым что-то тускло блеснуло. Метнулась смутная белая тень, часовой взмахнул руками и медленно осел в сугроб.

Я вскочил, подхватил под мышку бородулинские лыжи и вещевой мешок и побежал к хате.

Пройдя мимо лежавшего ничком часового, я обогнул угол, скинул лыжи и вошел в распахнутую дверь.

В хате мне представилась странная картина.

У стены на кровати лежала мертвая женщина. Из люльки, полной снега, торчала синяя детская ручонка. В углу лежал труп старика. Ошеломленный, я не сразу увидал Бородулина. Он стоял в простенке и держал в руках рамочку с фотографиями.

Это была обыкновенная застекленная рамка, какую можно встретить в любой деревенской хате.

Я вгляделся в один снимок, изображавший молодую женщину и мужчину. В нем я узнал самого Бородулина. Сзади мо-

лоложенов стоял старик, как две капли воды похожий на нашего Бородулина.

Я чуть не вскрикнул, и под ногами у меня скрипнула половица. Бородулин очнулся, посмотрел на меня пустыми глазами.

— Перед самой войной снимались,— глухо пробормотал он, засовывая рамку за пазуху. И спохватился: — Я сейчас... Здесь, под полом, должно, есть... Может, осталось что?..

Мы подняли доски и правда нашли под полом немного картошки и несколько черных, полусгнивших кочанов капусты. Бородулин пошарил под печью и разыскал с десяток покоробившихся сухарей. Все это мы бережно сложили в мешок...

— Может, похороним? — спросил я.

Бородулин с минуту поколебался:

— Нельзя. Не имеем права рисковать. Нас ждут...

И он не то вздохнул, не то застонал.

Потом вытащил из кармана термитную шашку, надломил ампулу, капнул в запал кислотой.

Мы пошли. На опушке остановились. Метель усилилась. В белой мгле ничего нельзя было разобрать. Но в стороне, над хатой Бородулина, как флаг металось и билось на ветру багровое зарево...

Бородулин не отрывал от него глаз. В глубоких морщинах его осунувшегося и постаревшего лица застыли прозрачные ледяные горошинки.

В селе затрещали выстрелы. Мы двинулись к лесу.

Мы несли с собой в мешках жизнь. Нам и всему отряду.

СИБИРЯКИ

На фронт, в действующую армию попал я на исходе второго года войны.

Чем дальше уходили мы от родных мест на запад — по руинам, иссеченным и обожженным лесам и болотам Смоленщины по исщербленной воронками и траншеями псковской земле, тем ближе и милей казались сибирские снега, таежные кряжи Кузнецкого Ала-Тау, студеные струи Мрассу и Кондомы, жаркие и гулкие, солнечноозаренные цехи Кузнецка.

А редкие письма родных и друзей из далекого сибирского тыла, газетные столбцы и радиосводки доносили на фронт все более волнующие вести о великом трудовом напряжении кузнецких доменщиков и сталеваров, шахтеров Кузбасса, изыскателей и строителей, горняков и охотников Шории... И как же радостно было фронтовику увидеть или услышать в сводках или указах знакомые имена земляков! А ведь среди них и у меня осталось немало хороших друзей, спутников и героев моих еще не написанных книг...

Фронтовая жизнь, горячая, очень подвижная работа в маленькой военной газете и постоянное общение с тружениками войны раскрыли новые, прямо-таки чудесные черты и глубины души моего земляка — солдата, сурового и доброго, немногоречивого и находчивого в бою, отважного и стойкого в любом испытании сына земли сибирской.

С одними из них мне довелось бок о бок немало прошагать по военным дорогам, по-братски деля походный паек, горесть боевых утрат и сокровенное тепло солдатской дружбы. С другими нечаянно и ненадолго сводила, а потом разлучала, иногда навсегда, переменчивая солдатская судьба.

...В сорок третьем году наша гвардейская дивизия дралась с врагом на небывало тяжелых рубежах Калининского фронта, в смоленских болотах.

В этих боях прославился — не только в нашей части, но и по всему фронту — гвардии сержант Евдоким Чугаев. Охотник, рыбак, лесоруб из Ахпуна, с Мрассу, сероглазый добродушный богатырь, на фронте он выбрал себе подходящее оружие — 45-миллиметровую противотанковую пушку, а боевой его специальностью стала охота на фашистских «тигров» и «пантер». И в эту маленькую пушечку вложил Евдоким Чугаев свою суровую душу, таежный свой характер, неотразимую силу разгневанного сердца. Уже первые бои показали, что Евдоким Чугаев будто рожден истребителем танков, природный пушкарь большого таланта и тонкого боевого мастерства.

Маленькая подвижная пушка как бы приросла к нему — так он полюбил ее, так верно она ему служила. Бывало, он со своим расчетом на руках переносил ее через трясины, один, плечом своим выталкивал из ухабов, выкатывал на огневую позицию.

Навсегда всем нам запомнились суровые, небывало ожесточенные бои у Гнездиловских высот, на подступах к железной дороге на Смоленск. И особенно памятна высота с отметкой «233,3», за овладение которой дралась вся дивизия несколько дней.

Каждый шаг вперед, на эту высоту, опутанную непроходимыми вражескими заграждениями, опоясанную ярусами траншей, начиненную до отказа дотами, огневыми точками, был подвигом, стоил большой крови и многих жизней...

Батальон, которым командовал любимец гвардейцев — кузбасский шахтер гвардии капитан Суменов, первым пробился на подступы к высоте. Под непрерывным вражеским огнем с земли и с воздуха суменовцы готовились штурмовать неприступную высоту.

Но тут, подтянув подкрепления, гитлеровцы предприняли смертельную контратаку на гвардейский батальон с трех сторон, угрожая отсечь его от остальных наших подразделений или отбросить назад.

Страшной силы шквальный вражеский огонь прижал суменовцев к земле. И вот на них с оглушительным грохотом, лязгом и ревом ринулось около десятка танков — «тигров», несколько самоходных пушек — «фердинандов» и под прикрытием их — эсэсовская пехота, неистово строчившая из автоматов... Шумом, стремительностью натиска, превосходством силы

решили гитлеровцы сломить порыв суменовцев, предотвратить штурм высоты.

В этот момент и вступил в схватку взвод противотанковых орудий, которым командовал Евдоким Чугаев, заменив вышедшего из строя командира.

Навстречу огневому валу и грозно ползущим вражеским танкам и самоходкам чугаевцы выдвинули на открытую позицию свои маленькие пушечки и ударили прямой наводкой по врагу. Евдоким Чугаев, командуя взводом, одновременно сам бил по немцам из своей пушки.

И первый «тигр» остановился и запылал от чугаевского подкалиберного снаряда, следом от снарядов других орудий загорелся еще один танк, за ним — «фердинанд», прекративший рев своей горластой пушки.

Вокруг наших пушкарей и маленьких пушек бушевала огненная пурга разрывов, визжали, фыркали осколки мин, черными фонтанами взметалась земля...

Истомленные многочасовым боем, пехотинцы-суменовцы, видя, как вражьи бронированные чудовища встают на дыбы и горят перед сокрушающей силой маленьких чугаевских пушек, как пятятся железные махины от огня чугаевской отваги, поднимаясь из воронок и траншей, кричали Евдокиму Чугаеву:

— Друг Чугай, давай, давай еще огоньку, жги их!

В грохоте боя он не слышал этих ободряющих, радостных криков, но сам, на миг распрямляясь во весь свой богатырский рост над маленькой пушкой, кричал своим товарищам — наводчикам:

— Крой их, гвардейцы, крой насмерть! — И успевал укрыться за щитком своей пушечки от раскаленных брызг, хлеставших вокруг.

Хотя и сами чугаевцы несли урон — уже замолчали две противотанковые пушки и пали возле них отважные их расчеты,— но продолжали чугаевские снарядики дробить, вгрызаться в немецкую броню, воспламенять вражескую сталь. Сам Евдоким Чугаев подбил еще танк и самоходку, двух «фердинандов» остановили остальные расчеты.

Дрогнули, заметались «тигры» и «фердинанды», с трусоватой неуклюжестью начали отползать в стороны от губительного чугаевского огня, тем самым обнажив следовавшую за ними эсэсовскую пехоту. Вот тут и приспела пора для суменовцев-пехотинцев. Ружейными, пулеметными залпами хлестнули гвардейцы по цепям вражеских автоматчиков, лишенных бронированного прикрытия.

И гвардии капитан Суменов, поднявшись из воронки, выдернул из-за пазухи красный платок, которым он обычно давал сигнал атаки своим пехотинцам. Гвардейцы поднялись и рванулись на высоту, к первой линии немецких траншей.

Контратака мертвоголовцев была отбита с огромными для них потерями. Остались на поле боя, у подножия высоты, четыре дымящихся недвижных «тигра» и два «фердинанда» — один с развороченным стволом орудия, другой со съехавшей на сторону башней...

В минуту затишья кинулись пехотинцы к Чугаеву, к его товарищам, обнимают, целуют отважных истребителей танков. Сам гвардии капитан Суменов, высокий, сухощавый, подошел к Чугаеву, пожал руку пушкарю, глянул на него суровыми, запавшими глазами и коротко сказал:

— Выношу благодарность... Представляю к награде...

А Евдоким Чугаев, уже посмеиваясь прищуренными, острыми глазами, сбив пилотку на затылок, усталый и просветленный, поглаживал ладонью горячий ствол своей пушки и говорил:

— Вот ее надо к награде представить, геройская пушчонка, ей-богу!.. Как войну кончим, я ее с собой в Сибирь увезу и в Кузнецке, на площади Побед, поставлю как памятник, честное слово, поставлю...

Такой он был — ахпунский охотник, богатырь из Горной Шории, пушкарь Евдоким Чугаев... Не довелось ему возвратиться в родной край: в Прибалтике в одной из жестоких схваток с немецкими танками пал он от прямого попадания снаряда танкового орудия.

II

Мы росли в краю суровом,
Где белы снега,
Сибиряк — одно лишь слово
Леденит врага...

Так пелось в одной из наших полковых походных песен, созданной самими гвардейцами.

Грозная боевая слава воинов-сибиряков гремела на всех фронтах всенародной войны. И память горячо и жадно запечатлевала прежде всего обжигающие сердце вести о боевых делах и подвигах земляков, доносившиеся то с Украины, то из белорусских пущ, то из-под Ленинграда.

Так, на Ленинградском фронте вспыхнули и засверкали над всей страной имена трех героев-кузнечан — Ивана Герасименко, Александра Красилова и Леонида Черемнова, вдохновенно воспетые поэтом Николаем Тихоновым в «Балладе о трех коммунистах»:

И вот сейчас на подвиг пойдут в снегах глухих
Три коммуниста гордых, три брата боевых...
И среди грома адского им слышен дальний зов,
То сердце ленинградское гудит сквозь даль лесов!
И ширится с разлету и блещет, как заря.
Не три бойца у дзотов, а три богатыря...

Незадолго до войны пришли из колхоза на одну из кузнецких шахт два друга — Александр Красилов и Леонид Черемнов, оба родом из одного алтайского села — Старой Тарабы. Пришли они, чтоб стать шахтерами, и вскоре, переняв шахтерскую сноровку, ладно рубали уголек в забое. Украинский каменщик Иван Герасименко, отслужив свой срок в Красной Армии, приехал в Новокузнецк. Работы для строителя тут было вдосталь, а молодой растущий город давно манил его. Иван Герасименко стал жителем города металлургов.

С Красиловым и Черемновым Герасименко встретился в день, когда отправлялось на фронт одно из первых формирований. Опытный пулеметчик, прошедший хорошую строевую школу в армии, Герасименко сразу был назначен командиром отделения, в которое попали Красилов и Черемнов.

Солдатская дружба завязалась между ними около пулемета, владеть которым учил новобранцев Герасименко. В Красилове и Черемнове Герасименко угадал хороших пулеметчиков, настоящих сибирских метких стрелков, а два друга-земляка полюбили в своем командире смелого и душевного человека.

К тому времени, как сибирская часть, в которой служили кузнечане, пробиваясь на выручку осажденному Ленинграду, вышла на берега Волхова, трое друзей были уже обстрелянными солдатами, сноровистыми разведчиками и лучшими пулеметчиками во взводе младшего лейтенанта Поленского. В боях еще крепче стала их солдатская земляческая спайка, сибирская закалка.

Они и держались всегда вместе: и в бою, и в солдатском быту; жили в одной землянке; получая письма из Новокузнецка, из дома, от родных и друзей, обязательно читали их друг другу. Да и писали они письма домой обычно в одно время, на листках, вырванных из тетрадки командира отделения...

Молодая жена Ивана Герасименко с маленьким сынишкой

осталась в Новокузнецке и часто писала мужу-солдату о своей жизни, о жизни города металлургов. Герасименко, не скрывая своего волнения, гордясь жинкой, читал друзьям ее письмо, в котором она сообщала, что пошла работать на завод.

— Гляди ты, какая она у меня сметливая да напористая,— говорил Иван Саввич, горделиво подмигивая друзьям.— Всего шесть дней работала чернорабочей, а потом встала за сложный станок — и ведь справляется!..

Он продолжал читать письмо, пока дело не доходило до тех нежных, задушевных обращений, которые предназначались только одному ему. Отводя радостно блестевшие глаза в сторону, он счастливо усмехался:

— Ну, дальше, ребята, так, не важное, женские слова...

А малоречивый, спокойный Черемнов любил вслух перечитывать письма от сынишки своего, Владимира.

— Ишь каким языком, шельмец, выражается! — дивился он, держа в своих больших шахтерских руках письмо, написанное чистым ученическим почерком на тетрадочном листе.— «Папа, я учусь только на «отлично», и тебе, папа, мой приказ: будь герой и на фронте, как был на работе».

— Вот пишут, что морозы там у нас стоят сильные, так что работать на поверхности очень трудно, заносы транспорт останавливают,— говорил Красилов, читая письмо от приятеля-шахтера.

И они втроем принимались писать одно общее письмо домой, своим кузнецким товарищам, заканчивая его призывом:

«Землячки, не поддавайтесь морозам! У вас там сильно холодно, а у нас невозможная боевая жара — под огнем живем и воюем. Так вы давайте больше угля и стали, а мы здесь, на фронте, будем стойко защищать Родину — и победа будет за нами. Давайте ее добывать общей нашей советской силой!..»

За пять дней до того боя, который обессмертил их имена, втроем они пришли в землянку партийного бюро с заявлениями в руках.

«Хочу пойти на любую операцию членом партии»,— писал Иван Герасименко.

«Буду с честью носить звание коммуниста, изо всех сил буду истреблять фашистов»,— говорилось в заявлении Александра Красилова.

А заявление Леонида Черемнова и совсем было коротким: «Я хочу сражаться большевиком, прошу принять меня в партию».

Три боевых друга стали коммунистами.

На заснеженном берегу Волхова в морозном тумане виднелся издали древний Новгород — лишь кое-где уцелевшие купола старинных полуразрушенных церквей, черные трубы печей, торчащие среди обгорелых руин.

На закате сумеречного зимнего дня группа наших командиров, выйдя по ходу сообщения на береговой вал, смотрела на скорбный разрушенный Новгород, занятый врагом. Между остатками моста через Волхов и Юрьевским монастырем, стоявшим несколько на отшибе от города, протянулась линия немецкой обороны — цепь дзотов и блиндажей с бойницами, проволочные заграждения в несколько рядов, извилистые траншеи.

— Вот в этом месте нам и надо сегодня ночью произвести разведку боем,— говорил младший лейтенант Поленский своим трем командирам отделений.— Надо выявить огневые точки противника, их расположение и по возможности уничтожить их. Действовать начнем поближе к утру, когда бдительность у часовых ослабеет. Для этой операции надо подобрать во взводе самых крепких, самых отважных бойцов. Вам, Герасименко, придется идти в головном дозоре, прокладывая путь всей группе...

В полночь группа разведчиков под командой младшего лейтенанта Поленского вышла на рискованное, отважное дело.

Впереди на некотором расстоянии от группы ползли, сливаясь со снегом, головной дозор — Иван Герасименко и, конечно, Красилов и Черемнов.

Незаметно они достигли переднего края вражеской обороны, миновали проволочные заграждения и подползли к укреплениям с тыла.

Герасименко, работая локтями, полз первым. И вот на его пути выросли две высокие, темные фигуры часовых. Безобразные их тени на снегу протянулись до самых наших разведчиков, приникших плотно к земле, слившихся своими белыми маскхалатами со снегом. Герасименко осторожно оглянулся назад. Вся группа разведчиков была уже невдалеке. Вражеские часовые шли рядом: видно, боялись ходить поодиночке.

Герасименко приподнялся и резким рывком бросил гранату. В черном вихре взрыва метнулись тела часовых.

Мгновенно поднялись все наши разведчики и начали забрасывать вражеские дзоты гранатами — кидали их в амбразуры и дымоходные отверстия. В то же время загрохотали и оскалились пулеметным огнем все укрепления противника.

Иван Герасименко, разгорячась, сбоку подскочил к амбразуре одного из дзотов, откуда высунулся ствол очумело изрыга-

ющего огонь пулемета, руками схватился за этот раскаленный ствол и свернул его в сторону. Но струя огня успела его коснуться, и он упал на снег. К нему мгновенно подскочили его друзья, они хотели было оттащить его в сторону.

— Не надо, не надо,— откликнулся Герасименко.— Пустяки, малость царапнуло.

Он приподнялся и сам метнул последнюю свою гранату в амбразуру дзота, заставив умолкнуть вражеский пулемет... Гитлеровцы, затаившиеся в других дзотах, видимо, успели вызвать на себя огонь из фланговых укреплений. На наших разведчиков обрушился шквальный пулеметный обстрел, посыпались крупные мины. Снег зашипел от пуль, вокруг взметнулись минные разрывы, завизжали, заныли осколки... Разведчики оказались в огневом мешке — не было пути ни назад, ни вперед, с флангов из амбразур дзотов хлестал пулеметный огонь.

Выход остался один: надо было заставить замолчать эти проклятые фланговые пулеметы.

Ближе всех к ним находился Иван Герасименко, а возле него Александр Красилов и Леонид Черемнов, готовые своими телами прикрыть раненого друга-командира. У них не осталось ни одной гранаты, чтоб подползти и метнуть в изрыгающие огонь поры. Оставалось ждать...

Но Герасименко вдруг поднялся в полный рост и метнулся к одной из огнедышащих амбразур. И в то же мгновение вскочили его два друга. Словно незримая неразрывная нить соединила их души.

Каким-то особым чувством они молниеносно поняли друг друга — и одновременно сделали одно и то же: рванулись навстречу смертельным струям, хлеставшим из дзотов, и телами своими закрыли три амбразуры. В одно и то же мгновение перестали биться их сердца, насквозь прожженные огненными жалами... Но пулеметы умолкли, и это дало возможность всей группе разведчиков подняться и ринуться вновь на вражьи норы, разнося их гранатами в пух и прах. Горстка смельчаков превратилась в грозных мстителей, она в течение полутора часов держала в страхе всю большую линию вражьих укреплений, истребила около шести десятков вражеских солдат, разгромила десять фашистских дзотов...

III

Три друга, три павших богатыря-коммуниста лежали, своими недвижными телами плотно закрыв амбразуры трех дзотов.

Их кровью залит пенной, за дзотом дзот затих.
Нет силы во вселенной, чтоб сдвинуть с места их!

Зимой 1943 года наша Сибирская гвардейская дивизия, как говорилось во фронтовой сводке, взломала сильно укрепленную оборону врага в заболоченном и лесистом районе. За Великими Луками открывался широкий — и вскоре увенчавшийся великими победами — путь на запад.

В боях этих на всю дивизию прославился взвод разведчиков-автоматчиков гвардии старшего сержанта Тарабарова. Почти каждый из тарабаровцев имел на своем счету по нескольку десятков истребленных гитлеровцев, а сам гвардии старший сержант дивил всю дивизию то необычайными по смелости и неотразимости налетами на вражеские траншеи, то беспримерными по боевой находчивости, сноровке и хитрости проделками в тылу врага... Последняя его операция, о которой шли веселые разговоры в дивизии, действительно была удивительной.

Гитлеровцы очень боялись ночных налетов сибиряков-гвардейцев, признанных мастеров ночных операций. И мы привыкли к тому, что по ночам над передним краем противника то и дело взвивались пулеметные трассы: это часовые и патрули посылали во тьму бесцельные очереди, подбадривая себя и показывая сибирякам свою неусыпную бдительность.

Тарабаров, сам владевший оружием виртуозно, однажды обратил внимание на то, что по ночам вражеские часовые выпускают свои автоматные трассы как-то особенно.

Ночью, находясь на наблюдательном пункте, он видел, как среди беспорядочной пальбы фашистских часовых на фланге нет-нет да и взметнется струя трассирующих пуль, а спустя некоторое время, как бы ответно, с другого фланга вылетит другая струя. Приглядевшись к этим очередям, гвардии сержант опытным глазом и слухом автоматчика уловил определенную последовательность одиночных выстрелов и очередей. А через некоторое время он заметил еще несколько таких определенно упорядоченных трасс и в глубине фашистской обороны: видно, там бродили патрули, высланные для поисков русских разведчиков, нередко под покровом ночи проникавших во вражеские тылы. Тарабаров сам не раз участвовал в таких ночных вылазках за языками.

Еще и еще раз вглядевшись в эту автоматную сигнализацию, Тарабаров разгадал ее: гитлеровцы определенно переговаривались между собой по азбуке Морзе, пользуясь автоматными очередями.

О своей догадке старший сержант доложил командиру роты, тот — комбату, а последний, вызвав переводчика, с его помощью сумел прочесть несколько этих сигналов. Одни очереди означали «все в порядке», другие — «ахтунг, ахтунг» («внимание, внимание»), а третьи — «SOS» («спасите наши души»)...

У Тарабарова между тем уже зрел в голове дерзкий план, о котором он в ту же ночь и доложил комбату. Комбат одобрил его затею. Тарабаров выбрал десять самых надежных своих автоматчиков и ночью исчез с ними. Он подобрался к самым вражеским укреплениям и укрылся в надежном леске, откуда хорошо обозревался передний край противника.

В полночь у фашистов начались автоматные переговоры. Тарабаров терпеливо выждал повторения сигналов и, поймав на слух интересовавший его сигнал, поднял над головой трофейный автомат и выпустил вверх очередь светящихся пуль, точь-в-точь такую же трассу, какая минуту назад взметнулась у фашистов. И вот между Тарабаровым и вражескими патрулями завязался автоматный разговор. Трасса за трассой взлетали в черное небо слева от леска, в котором находились готовые к встрече с врагом тарабаровцы. Тарабаров из автомата повторял свой позывной сигнал... Поисковая группа гитлеровцев явно приближалась к лесу. Вот в темноте на опушке появились черные силуэты врагов. Тарабаров для приманки дал еще короткую очередь. Гитлеровцы осторожно приблизились к самому лесу. А наши автоматчики уже ползком окружили их со всех сторон, и тихое, властное «хенде хох!» заставило насмерть перепуганных врагов, немедленно бросив оружие, вздернуть вверх руки. Их успели связать, заткнуть им глотки и укрыть в леске. Приближалась вторая группа, раза в два больше, чем первая. Бесшумно эту группу взять стало невозможно, да и Тарабарову некогда было с ними возиться: уже начинало светать... Когда гитлеровцы с осторожностью приблизились, из леска ударило по ним десять гвардейских автоматов — и ни один из врагов больше не поднялся с земли.

Тарабаров, прихватив с собой пленных, поспешил из леска, на который фашисты, видно заподозрив что-то неладное, обрушили короткий, но яростный артналет...

Несколько ночей подряд Тарабаров вел в разных местах такие, как он сам говорил, «милые разговорчики», натаскал в часть изрядное число языков, истребил не один десяток гитлеровцев. Над вражеской обороной автоматные разговоры внезапно прекратились и больше не повторялись: видно, эту азбуку отменили.

...Я отправился в батальон, чтоб написать для нашей дивизионной газеты очерк о тарабаровцах, как уже называли все в дивизии взвод автоматчиков.

С командного пункта батальона мне указали расположение первой роты. Блиндажи были выкопаны в осиновой рощице, сильно иссеченной артиллерийским огнем. Лишь на немногих осинах сохранился мелкий, по-осеннему алый лист.

Гвардии старшего сержанта Тарабарова я нашел в блиндаже, вокруг которого солдаты наставили для маскировки молоденькие ярко-зеленые елочки. Стены и потолок довольно светлого и просторного блиндажа были обтянуты ярко размалеванными маскировочными немецкими плащ-палатками, чтобы не осыпался песок... На низеньком топчане спали двое людей. В пирамидке у входа стояли автоматы.

За столиком, на который из маленького оконца отвесно падал свет, сидел гвардии старший сержант и что-то вычерчивал цветными карандашами на листке бумаги. Сержант встал и поздоровался со мной особо щеголеватым, «сержантским» жестом, на миг коснувшись правой брови пальцами правой руки. Резко опустив руку, он весело, четко представился:

— Гвардии старший сержант Тарабаров!..

Был он невысок, худощав, с тронутым оспой смуглым лицом и серыми озорноватыми глазами. На груди его красовались орден Славы и две медали «За отвагу». А из-под лихо посаженной набекрень пилотки разудало свесилась рыжеватая гроздь кудрей — противоуставная вольность, которая, по-видимому, прощалась начальством этому прославленному автоматчику... Но именно эти кудри да щербинки на лице и озорноватые серые глаза сразу показались мне знакомыми, кого-то живо напоминая.

Мы начали разговор. Оказалось, что Василий Тарабаров родом с реки Мрассу, сын таежного старожила, приискателя, и сам до ухода на фронт промышлял зверя в тайге, с артелью мыл золото на ручьях, а потом в леспромхозе валил лес и плавил плоты по Мрассу...

И тут сразу припомнилось мне плавание по Мрассу, спуск карбуза через Большой порог, Красиловское бучило[1]. Живо представился леспромхозовский рыжекудрый заносчивый парепек, бравшийся провести наш карбуз через бешеную стремнину,— Васька Тарабаров...

[1] Карбуз — большая деревянная лодка; бучило — водоворот на речном пороге; салик — небольшой плот, заменяющий лодку (местн. сиб.).

Ну конечно же это был он!

И когда я напомнил ему о том далеком случае на Большом пороге, он, усмехнувшись, сказал:

— Я ж говорил тогда, что разобьете карбуз на бучиле, так оно и вышло. А я бы в целости провел. Сколько саликов, больших сплоток да карбузов доводилось спускать через порог.

Василий рассказал, что вскоре после нашей встречи на Большом пороге он ушел из леспромхоза на рудник «Темир-Тау», работал там сначала бурильщиком, а потом запальщиком и успел стать на руднике знатным горняком.

И так мы хорошо разговорились с Василием о Стране Темира, что забыли даже и о войне, и о том, что находимся в блиндаже, невдалеке от переднего края.

Воспоминания о родных и таких далеких сейчас местах, затронули самую глубь солдатской души, и гвардии старший сержант говорил взволнованно и проникновенно:

— Вот как войну завершим, то есть дойдем до Берлина и Гитлера прикончим, так вернусь я на Темир, а скорей даже в Таштагол: там же — слыхали? — мировой рудник строится! Конечно, месяц-другой по тайге похожу с ружьишком, по Мрассу на салике проплыву от Кабырзы до Старокузнецка, а уж потом — в забой... У меня же, товарищ гвардии капитан, во взводе еще ребята наши есть — с Кондомы, с Мрассу, из Новокузнецка,—продолжал Тарабаров.—Вот сейчас я подыму красноармейца Мижакова. Добрый разведчик, лихой автоматчик. Ночью ходил в поиск, так сейчас отсыпается.

Тарабаров подошел к нарам и тронул одного из спящих за ногу, обутую в кирзовый сапог с резиновой толстой рифленой подошвой. Из-под плащ-палатки мгновенно вскочил широколицый и смуглый паренек с заспанными черными глазами.

— Уже пора, товарищ гвардии старший сержант? — торопливо спросил он, кулаком проводя по глазам. И, еще не открывая их, рывком затянул ремень, надел пилотку, поправил на груди медали.

И тут еще раз пришлось мне подивиться счастливым случайностям фронтовых встреч. Этот черноволосый гвардеец оказался тем самым шорским пареньком в красноармейской фуражке, колхозным бригадиром Алешей Мижаковым, с которым подружился я в пути по Мрассу.

Заметив меня, он тотчас вытянулся, откозырнул, точь-в-точь как Тарабаров, и отрапортовал:

— Гвардии рядовой Мижаков! Товарищ гвардии капитан, разрешите обратиться к гвардии старшему сержанту?

Я протянул ему руку:

— Что ж ты, Алексей, не узнаешь старых знакомых? Или забыл, как мы с тобой плыли в карбузе по Мрассу?

— Товарищ гвардии капитан! — Широкое его лицо совсем расплылось, глаза стали узенькими щелками, из них брызнули веселые огоньки.— Э-э, помню, шибко помню...

— Как же ты, Алексей, все-таки попал в армию, ведь военкомат тогда освободил тебя от призыва, считая, что ты не меньше нужен дома? — спросил я.

— Тогда в Кузнецке меня не взяли,— начал рассказывать он.— Городской военком тоже сказал — семья шибко большая, надо матери помогать, в колхозе работать... Большая обида была... А когда война началась, добровольцем пошел — сразу взяли. Вот с товарищем гвардии старшим сержантом Тарабаровым Василием Ивановичем вместе в военкомат пришли. Вместе эшелоном ехали. К себе в отделение меня взял, вместе давно воюем...

Долго и взволнованно говорили мы, у каждого нашлось что вспомнить и рассказать. Перебрали мы всех наших общих знакомых и друзей, всех земляков.

— Эх, Морошка-то, кайчи [1] знаменитый наш, недавно помер, маленько похворал и помер,— рассказывал Алексей Мижаков.— И Акмет тоже помер. Ох, жалко стариков, таких кайчи, однако, в Шории больше нет, сколько сказок знали!.. А старик Карол жив, жив... Охотится в тайге, много пушнины для Красной Армии добывает. Сын-то его, Михаил, у нас в полку был — бронебойщиком. С отцом, с Каролом, у него интересная история вышла, сам Михаил рассказывал. Он отцу в письме написал, что воюет с железными зверями, с «тиграми», которых гитлеровцы на нас выпустили. А Карол это по-своему, по-охотничьему понял. Отвечает сыну, что собирается послать ему на фронт свой кузей-мылтык... Ты видел у него это ружье? Пуд веса, на заряд надо полфунта пороху. Медведя бьет наповал, одним выстрелом... Вот Карол и решил, что против его кузей-мылтыка ни один фашистский «тигр» не устоит, и надумал его послать сыну. Такой чудной старик!.. А Михаил погиб вскоре. Большое горе у старика Карола. Мы ему письмо писали, сам командир полка подписал, и мы подписали. Старик далеко в тайгу ушел на всю зиму. А весной триста белок сдал в фонд Красной Армии, нам об этом написали из улуссовета...

---

[1] Кайчи — сказочник, исполнитель народных былин и песен.

Еще рассказал Алексей, что двое его младших братишек пошли учиться в ФЗО. Один —в Темир-Тау, другой — в Новокузнецк, на завод...

Когда мы заговорили о заводе, Василий Тарабаров поднялся с места, взял из пирамидки один из автоматов и подал его мне:

— Вот, товарищ гвардии капитан, подарок нам с завода.

На ложе автомата была прикреплена стальная пластинка, а на ней выгравировано: «Сибиряку-гвардейцу от сталевара Чалкова».

Молодой сталевар Саша Чалков, ученик старого мастера Антона Дементьевича, мечтавший когда-то о скоростных плавках стали!.. Я знал из газет, что в сорок третьем году Александр Чалков был удостоен высоких наград за освоение скоростных плавок специальных сталей, слышал, что свою премию сталевар внес в фонд Победы.

— Специально для нашей дивизии Чалков на свои средства приобрел больше сотни таких автоматиков,— сказал Василий Тарабаров.— И, говорят, сделаны они из сибирского материала, по специальному заказу. Бьют замечательно. Почетное, именное оружие. Вручают его самым лучшим гвардейцам за отличие в бою... У меня во взводе пять таких автоматов,— с гордостью заключил гвардии старший сержант.

— Это чей автомат? — спросил я.

— А вот, глядите,— сказал Тарабаров.

Я повернул автомат и на обратной стороне приклада прочел две надписи, вырезанные по дереву острым ножом: «Январь 1944 года. Гвардии красноармейцу Ивану Сухих. Июнь 1944 года. Гвардии красноармейцу Алексею Мижакову».

— Вручался вначале Ване Сухих,— пояснил Тарабаров.— Мировой был автоматчик. В мае погиб. Комбат передал автомат Алексею.

Алексей Мижаков взял у меня из рук автомат, обтер локтем и без того блестевший ствол и унес его в пирамидку.

...Так во фронтовом блиндаже повстречались мы, трое земляков, и у всех была одна мечта: закончив победно войну, возвратиться в родной край и снова горячо приняться за прерванные мирные дела.

IV

Фронт все дальше и неотвратимей продвигался на запад, наши войска готовились к завершающему победному удару по гитлеровской Германии.

Многих фронтовых друзей — земляков не досчитывались мы в своих рядах. Мне, корреспонденту солдатской газеты, приходилось по долгу службы бывать во всех подразделениях, и как больно сжималось сердце, когда я не находил в строю своих земляков, с которыми еще так недавно виделся, о славных боевых делах которых писал в своей газетке. Не стало некоторых из самых близких друзей — земляков, героев моей будущей книги о Стране Темира. Во вражеском тылу, выполняя боевое задание по разведке, смертью храбрых погиб веселый и удалой мрасский плотовщик, таштагольский горняк, рыжекудрый гвардейский автоматчик Василий Тарабаров...

Алексей Мижаков, плача скупыми солдатскими слезами, рассказал мне о кончине своего друга и командира, горько сетуя при этом, что не был с ним рядом в ту роковую минуту.

Мы с Алексеем дали друг другу крепкое солдатское слово, если кому из нас доведется вернуться в родные места, на Мрассу, на Темир-Тау, высечь на одной из скал, нависающих над рекой, имя героя.

Писать о его гибели было некому: не знали мы ни родных, ни близких Василия; сам он ничего о них не говорил, хотя, наверное, там, в далекой Шории, многие любили и помнили озорного смельчака Василия Тарабарова.

Далеко-далеко от Сибири находились мы тогда, в Прибалтике, на подступах к границам Восточной Пруссии. Но как ни далеко занесло нас от Сибири, в какие тяжелые испытания ни попадали, мы никогда не забывали о ней, суровой и такой всегда манящей и близкой, как ни на минуту не забывала и она своих сынов-фронтовиков. Где бы мы ни были, не порывалась не только почтовая, но и живая, горячая связь между фронтом и сибирским тылом, между земляками. Даже и сюда, в Прибалтику, к нам в Сибирскую гвардейскую дивизию приезжали посланцы родной Сибири с щедрыми и трогательными подарками солдатам от родного края. Эти делегации состояли почти из одних женщин, иногда матерей, жен, сестер наших гвардейцев. Их приезд всегда был великим семейным праздником для всех воинов-сибиряков. Ездили ответно на побывку в Сибирь, в гости к землякам и делегаты фронта из нашей гвардейской дивизии.

Совсем неожиданно такая честь и счастье выпали мне.

Наша дивизия была отведена с переднего края на короткую передышку и для подготовки к предстоящему большому наступлению в чудом уцелевший сосновый лес на берегу реки Великой, за Ново-Ржевом...

Редакция и типография нашей газеты постоянно размещались в двух автофургонах, донельзя истрепанных на фронтовых дорогах и потому следовавших при передвижениях частей в самом хвосте колонны. Фургоны служили и постоянным жильем для нас, пятерых газетчиков, составлявших весь аппарат редакции. Впрочем, жил в редакции всегда кто-нибудь один из нас, готовивший к выпуску очередной номер, а остальные находились в подразделениях, собирая или, как говорят газетчики, «организуя» свежий материал для газеты.

Так случилось и на этот раз. Я успел побывать уже в нескольких подразделениях, повидаться и переговорить со многими людьми, когда узнал, что наконец прибыли и наши фургоны.

Наш редактор, майор, добродушный толстяк, с неизменной обгорелой трубкой в зубах, всегда с виду чем-то недовольный, сердито приказал мне тотчас отправиться на командный пункт дивизии — вызывал начальник политотдела...

— Завтра делегация нашей дивизии отправляется в Сибирь,— сказал мне полковник.— Так вот, капитан, будете сопровождать делегацию как корреспондент нашей газеты. Задача: собрать живой, яркий материал о жизни тыла, о земляках, с тем чтоб по возвращении осветить это дело в газете, рассказать фронтовикам о родном крае. Конечно, надо и там рассказать о нас, наших героях. Все. Ясно?

Надо ли говорить о том, как застучало у меня сердце, как я прерывающимся голосом попросил у начальника политотдела разрешения уйти и сломя голову кинулся из блиндажа полковника, чтоб поделиться неожиданной радостью со своими товарищами...

...Приехал я в Новокузнецк в раннее морозное декабрьское утро, когда над городом стоял плотный белый туман и сухой, прокаленный стужей снег скрипел и взвизгивал под подошвами моих армейских сапог. Суровым, повзрослевшим, нахмуренным показался мне любимый город, укутанный в снега.

Я шел на могучий, глуховатый гул завода, к площади Побед, по заснеженной улице Нижней колонии...

Гулкий голос Левитана читал очередной приказ Верховного главнокомандования о новой победе наших войск.

Потом из репродукторов грянула музыка, словно заполнился ею звенящий морозный воздух... И тут я услышал впервые «Марш кузнецких металлургов», созданный, наверное, недавно и потому передававшийся утром для разучивания. Песня звала металлургов к фронтовым, рекордным плавкам, звала словами строевого приказа, как наши боевые песни. Я остановился под репродуктором и дослушал марш до конца, запомнив его припев:

В цехах, на вахте жаркой,
Работать всем, как Чалков,
Броню стальную Родине ковать...

Сталевар Саша, вот как ты поднялся! Твою фамилию я видел на прикладах гвардейских автоматов там, на Прибалтийском фронте, и вот слышу ее как призыв в песне...

Так захотелось мне скорее повидаться со своими знакомыми и товарищами, которых повстречал на площади Побед в летний вечер несколько лет тому назад и все годы вспоминал. Я прибавил шагу, спеша к заводу, вглядываясь в лица встречных и обгонявших меня людей, почему-то надеясь найти знакомых, хотя их было у меня в городе немного.

И вот впереди я увидел могучую, высокую, сутуловатую фигуру — и тотчас, конечно, узнал... В шапке с поднятыми ушами, в легкой стеганой телогрейке и сапогах, заложив назад руки без рукавиц, медленно, тяжело шагал обер-мастер мартеновского цеха Антон Дементьевич Лаушкин, видно направляясь к заводу.

По устало сгорбленной спине, по еще более, чем прежде, отяжелевшей походке заметно было, как постарел могучий сталевар. Я догнал его и прикоснулся к локтю:

— Антон Дементьевич, здравствуйте!

Он повернул ко мне свое крупное, темное лицо и, как привычному знакомому, молча кивнул.

Старика, видно, не удивило мое приветствие: мало ли людей и незнакомых почтительно здороваются на улице со знатным мастером... И уж, конечно, не мог он запомнить меня по одной лишь встрече несколько лет назад, а если б даже и запомнил, то едва ли узнал бы в военной форме.

Наклонив снова голову, он продолжал идти, о чем-то, видно, размышляя и не замечая моего соседства.

Тогда я сказал ему, что приехал с фронта, из военной газеты, назвал себя и попросил его назначить мне время, когда бы можно было с ним побеседовать.

— А, из газеты...— со знакомым мне по прежней встрече безразличием сказал Лаушкин и не очень радушно прибавил: — Где ж меня искать, в цех и приходи. Там в любое время и найдешь, что надо — выспросишь. Только мне и рассказывать не о чем.

— Значит, вы, Антон Дементьевич, с завода и не уходили? — спросил я.— Ведь собирались на отдых.

— Кто это тебе сказал? — покосился он сердито на меня.— До войны, может, и собирался. А сейчас — какой отдых... Все работают без передышки.

Я напомнил ему о былой нашей встрече и разговоре на площади Побед. Он повернул ко мне лицо и вгляделся в меня.

— Вона что... Припоминается... Значит, на военной службе находишься,— медленно проговорил он.

И отчего-то потемнело лицо старого мастера, он тяжело вздохнул и отвел глаза.

— У меня там, на фронте, сыновья — Сергей и Алеша, командиры. И третий, Санька, собирается туда,— медленно проговорил он и глуховато, скорбно добавил: — От Алексея третий год вестей нет...

Я понял, почему так нахмурился и потемнел старый мастер: видом своим я напомнил ему о сынах-солдатах. Мы молча подходили к площади Побед.

Величаво-суровую картину являла она в этот зимний, морозный день. Весь в облаках пара и дыма, в золотисто-розовом зареве, поднявшемся над одной из домен,— видно, там шел выпуск чугуна,— гремел завод, темными громадами своими выступая на фоне снежных взгорий.

Сейчас, среди белого однообразия окружающих гор, завод еще разительней напоминал огромный корабль — грозный боевой корабль, проламывающий во льдах неотвратимый, сокрушающий свой путь.

И явственно мне представилось, как грозные домны и мартены Сибири идут на поединок с заводами Круппа и Симменса, как сибирская сталь обрушивается разящей силой на фашистскую броню.

— Пойдем поглядим,— сказал мне Антон Дементьевич, махнув рукой на левую сторону площади.— Я каждодневно туда захожу.

И тут лишь я заметил возле праздничных трибун, сейчас покрытых толстыми снежными заносами, ржавые груды искореженного, закопченного металла, сразу напоминавшие виденное там, на полях войны.

Мы подошли к ним.

Огромным железным трупом, зеленовато-ржавой развалиной лежал на снегу разбитый фашистский «тигр» — с разорванными гусеницами, с зияющими пробоинами в толстой обожженной броне. Из амбразуры высовывался бесформенный обрубок орудийного ствола. На тупом лбу чудовища, как могильный червь, извивалась обожженная свастика...

Гитлеровский танк № 26264... Как он очутился здесь, на площади города металлургов, у подножья кузнецких домен, за тысячи километров от полей сражений?

Около танка валялся обгорелый металлический остов немецкого тягача, стояла покалеченная немецкая крупнокалиберная пушка с развороченным стволом и разбитым магазином.

Антон Дементьевич, наклонив голову, стоял и смотрел на танк, и на хмуром его лице застыло выражение мрачноватого торжества.

— Вот подарок нам. Из-под Сталинграда,— проговорил он.— Подарок — лучше не надо. Видал, как его, гадину, обработали наши? И, сказывают, кузнецкая сталь ему кончину уготовила. В точности, конечно, это неизвестно. Может, кузнецкая, а может, уральская. Но наша, советская,— это факт.

Антон Дементьевич подошел к самому танку, вгляделся в одну из пробоин с рваными краями в боковой броне.

— Вот зайдешь сюда, поглядишь на этого черта решенного — и сердцу вроде легче, потому что тут и свой труд видишь, и вроде как сам на фронте... Ведь сейчас все мы одной думой живем: как бы скорей врага сломить. Каждый тому и работу свою отдает, свою жизнь в это дело вкладывает...

Антон Дементьевич постоял еще немного, гневно и брезгливо глядя на ржавую, закопченную развалину, распрямил плечи и почти торжественным, тяжелым шагом тронулся к заводу.

— Да, братец ты мой, тяжелое время пережили,— заговорил он раздумчиво.— Когда германец Юзовку, Днепросталь, Керчь взял — эх как сердце похолодало! Мы-то, сталевары, как это понимали? Там, на юге-то, легированные стали варились — в электропечах, в печах с кислой подиной. Из этой стали оружие ковалось... Ну и думалось тогда: «Плохо дело наше, без хорошей стали с Гитлером не повоюешь, он, подлец, нас крупповской сталью бьет». А у нас и на Урале, и в Кузнецке все больше обыкновенную сталь варили. Значит, что же, надо было электропечи строить заново? Да на это же годы бы потребовались... К тому же электропечь дает стали за плавку в пять — десять раз меньше, чем любой из наших мартенов... Вот и пришло нам

задание от правительства: добиться того, чтоб в наших обыкновенных многотонных печах нужную для страны сталь варить. Не делал этого никогда никто до нас, да и самим сначала казалось невозможно... А как невозможно, если тут жизнь наша на карту поставлена, если война того требует, народ о том просит?! Сколько на то силы нашей ушло, сколько бились мы над плавками — о том не расскажешь. День не в день, ночь не в ночь, с ног валясь, работали, у печей ели и спали, из цеха не уходили... Инженер Сахаров, начальник цеха, у нас он всем делом верховодил, так его сколько раз из цеха в бесчувствии выносили. Ну, о нашем брате, мастерах, сталеварах, и говорить нечего. Жизнь не в жизнь, а решили, что дадим нужную сталь!.. Сколько я подин наварил, пока цели достиг... И дали, братец мой, сталь дали! Какие нужны были для фронта сорта и марки, такие в точности и дали. Да еще кое-что и новенькое, наше, сибирское, теперь делаем. Гитлер, поди, почуял, какое оно... А вон Александр, сталевар-то наш знаменитый, на первом мартене не только что научился варить специальную сталь, а скоростные плавки гонит считай что наполовину быстрее, чем раньше. За то ему премия дана! — В голосе Антона Дементьевича зазвучали горделивые нотки.— Сталевар мировой вышел из Саньки, не нарадуюсь...

Мы дошли до туннеля. Антон Дементьевич остановился возле высокого щита, на котором крупными красными цифрами перечислялись показатели работы цехов за истекшую пятидневку.

«Лучший мартеновский цех Советского Союза»,— значилось над показателями работы мартеновского цеха.

— Чуешь, как работаем? — сказал Антон Дементьевич, глянув на меня сверху.— Знамя Государственного комитета обороны год из рук не выпускаем...

V

Александр Чалков работал у первой от входа в мартеновский цех сталеплавильной печи.

Встретились мы с ним в стеклянной кабине управления. Солнечное сияние из окон печи заливало кабинку, сверкало на меди и никеле приборов.

Александр не сразу узнал меня в военной форме, а узнав, рассмеялся:

— Что ж ты, до Берлина не дошел и уже на побывку приехал?!

Я сказал, зачем приехал, передал ему привет от фронтовиков и благодарность за чалковские автоматы.

Александр крепко сжал мою руку.

— Ну и как они, автоматы наши, действуют неплохо? — взволнованно спросил он.

В светло-серых его глазах отражалось пламя печи; говоря со мной, он их почти не отрывал от заслонок окон мартена, поворачивая то один, то другой рычажок на пульте регулировки.

— Недавно мне из гвардейской части, где мои автоматы на вооружении, гвардейский знак прислали. Так что я вроде тоже военный, гвардии сталевар,— сказал Чалков со спокойной гордостью.

Отодвинув меня плечом, он стремительно вышел из кабинки и, подойдя к одному из огнедышащих окон, надвинул кепку с укрепленными на козырьке синими очками, вгляделся в огненный глазок. Знаком что-то приказал подручному. Тот махнул рукой, и к печи подошла завалочная машина. С платформы, стоявшей тут же, она своей гигантской рукой взяла мульду и, повернувшись к одному из открытых люков мартена, отправила в раскаленную утробу печи.

В это время подошел к печи Антон Дементьевич, как всегда с заложенными назад руками. Он вынул из нагрудного кармана синее стекло, через него заглянул в печь и что-то сказал сталевару. Александр ответил ему каким-то, очевидно, взаимопонятным знаком. Подручные лопатами начали кидать в печь большие камни доломита.

Антон Дементьевич зашел в кабину и сразу всю ее заполнил собой. Он глянул на приборы, потом уже заметил меня.

— Сердится Саша,— кивнул он на Чалкова, который с подручными своими шуровал длинной железной пикой в раскаленном зеве мартена.— Вишь, сменщик сдал ему печь на ходу — с начатой плавкой. Но, видно, затянул плавку, держал печь на умеренном режиме, надо подгонять сейчас. А Саша печь на пределах всегда держит, начатую плавку сменщику передавать не любит, стремится сталь за смену сварить. Сегодня хочет в смену полторы плавки сделать: и эту закончить, и еще одну сварить... А сталь варит особую — броневую. Ну гляди, гляди,— оборвал разговор Антон Дементьевич и, сильно качнувшись в дверях, вышел из кабины.

Выйдя за ним, я приблизился к самой печи. Незащищенным глазом нельзя было глядеть в знойное, солнечно-ослепительное

пламя. Один из подручных сталевара сунул ковшик на длинном железном черенке в глубину бушующего пламени, зачерпнул там и выдернул мгновенно побелевший ковшик. Тоненькой молочной струйкой сталь из ковшика полилась в небольшую формочку для лабораторной пробы. Остатки жидкого металла подручный выплеснул на железную плиту; сталь потемнела, застывая неровной, бугристой корочкой. Лицо Чалкова, склонившегося над пробой, заметно помрачнело, он сердито сплюнул. Видно, металл ему не понравился.

Он снова сквозь очки вгляделся в огненный глазок. Тут я и решился спросить у него:

— А что, Александр Яковлевич, быстрее можно плавку закончить?

Он почти гневно вскинул на меня светлые свои глаза и отрывисто ответил:

— На фронте не спрашивают, можно или нельзя, так ведь? На фронте говорят — надо! И бьют.

— Значит, закончите эту плавку в положенный срок? — не отступал я, дав понять ему, что знаю о замедлении плавки в предыдущей смене.

— Что значит в «срок»? — еще более сердито возразил сталевар.— Надо досрочно, а то какие же мы, к черту, гвардейцы!

И он, отвернувшись от меня, по-военному скомандовал подручному:

— Подогреть газ!.. Еще мульду...

Александр Яковлевич стремительно уходил в кабину управления, возвращался к печи, с ожесточением шуровал в пламени ее железным багром, отбрасывал в сторону раскаленный добела прут, подручные тотчас подавали ему другой. С лица сталевара ручьем лил пот, потемнела на спине парусиновая куртка. Он работал неистово, с напряжением и своим темпом подгонял всех.

Я наблюдал за ним со стороны. И он, весь в стремительной горячке, должно быть, не выпускал меня из виду. Когда к печи подкатывал поезд или с высоты опускался с каким-нибудь грузом тяжелый крюк крана, сталевар бросал в мою сторону быстрый взгляд, видно опасаясь, как бы меня чем-нибудь не ушибло, или властным жестом указывал мне место, куда я должен перейти...

Прошло два часа этой напряженной работы. Сталевар еще раза два брал пробу металла, и при последней из них лицо его прояснилось. Он что-то сказал одному из подручных, и тот ушел

на другую сторону печи. Чалков жестом подозвал меня. Взглянув на карманные часы, сказал:

— Ты говоришь — можно ли?.. Надо! Вот видишь, подогнали плавку — и сварили сталь даже на час раньше норматива... Сейчас выпускать будем. Иди туда, погляди.

Я по лесенке поднялся на другую сторону мартена, к летке, из которой выпускается готовый металл. Мостовой кран подвел и поставил под желоб огромную чашу с раскаленной внутренностью — для стали, затем, чуть поменьше, шлаковый ковш. Неподалеку, внизу, стояла разливочная машина, возле которой уже выстроилась батарея изложниц на колесах... У летки находился Антон Дементьевич. Скупыми, неторопливыми жестами он давал какие-то указания двум подручным, ломом пробивавшим летку.

И вот из нее с ревом вырвалась толстая струя пламени, серебряная пурга крупных искр осыпала все вокруг. Из летки хлынул солнечно-ослепительный ручей жидкой стали. Белой полудугой она падала в раскаленные недра ковша, и оттуда пучками взлетали мохнатые золотые звезды; взрываясь, шипя, как ракеты, они падали наземь.

Антон Дементьевич стоял по другую сторону огненного ручья и, заложив руки за спину, глядел, как падает струя стали в ковш. Озаренное солнечным кипением металла, лицо его было сурово и задумчиво. Сдвинув над переносьем густые брови, стиснув сухие губы, он смотрел на поток стали, и мне казалось, что я угадываю его думу в эту минуту.

Отцовское большое горе лежало на его сутуловатых широких плечах, тяжелая скорбь давила на сердце. И может быть, какой-то, не предусмотренной технологическим процессом частью эта боль отцовского сердца, гневная сила души старого сталевара, ненависть его к врагу вошли в сталь — с нею старый мастер направляет еще один удар, сокрушительный удар своего отмщения врагу.

И думалось мне, что от этого сталь должна быть тверже, острее, непроницаемей и сокрушительней.

Влилась в эту сталь и молодая, порывистая сила Александра Чалкова. Ведь каждая плавка металла — это сгусток упорства, смелости, творческого накала сталевара.

Четырнадцать часов, отводимых на плавку,— это время, выверенное многолетним опытом многих поколений инженеров и сталеваров, жесткий и точный норматив, установленный техническими законами эксплуатации печи. Каждая сокращенная минута — это нелегкое завоевание, и это тонны стали сверх

плана. А Чалков варит сталь на несколько часов быстрее, чем положено железным нормативом. Стремительный в движениях, отрывистый в речах, он и плавке сообщает свойства своего характера, еще более накаленного в дни великой войны.

Мартеновская печь под его управлением варит металл бурно, на предельных температурах, на необычайно высоком волевом напряжении и сталевара, и подручных. И может быть, в эти часы горячей вахты у печи он воображением своим уносится туда, на поля сражений, и видит своих братьев — минометчика и пулеметчика, видит их в бою, в грохоте взрывов, под страшным завыванием фашистских пикировщиков. Поэтому и здесь, в цехе, он ощущает себя солдатом, на поле жаркой схватки. Вероятно, оттого и шаг у него строевой, солдатский, и по-боевому звучат команды гвардии сталевара.

Ковш наполнился почти до краев. Всплескиваясь синими языками пламени, под темноватой шлаковой коркой клокотал в нем белый знойный металл — многие тонны грозной, крепчайшей стали...

Александр Яковлевич подошел ко мне и, утирая рукавом куртки мокрое, пылающее лицо, сказал, кивнув на ковш:

— Вот моя сто двадцать первая скоростная плавка за время войны.

И, как бы угадывая мои мысли, добавил:

— Так что, думается, перед своими братками я не в накладе. Они там, на фронте, а я в тылу, сталь варю, но бьем мы в одну точку — в Гитлера... Я так считаю, что каждая моя плавка вроде как залп — прямой наводкой из Сибири по Берлину!..

СОЛДАТСКОЕ СЧАСТЬЕ

Мы с Трофимчуком провели целую ночь на берегу. В нехитром песчаном блиндажике стоял пулемет, около него сидел сам Трофимчук, а на сене, ниже пулемета, второй номер, Кузовков, и я. Трофимчук беспрерывно дымил трубкой и часто выходил на воздух, каждый раз приглашая нас взглянуть на Днепр.

Он уже знал, что один из нас — волжанин, а другой — с Амура, и поэтому очень много рассказывал о родной реке, подчеркивая всякий раз, что Днепр — не Волга и не Амур, что такого красавца вообще во всем мире нет. Мы не спорили. Днепр в эту ночь действительно был чуден. Он не блестел, а как-то разбрасывал брызги блеска во все стороны. Казалось, что светит не луна, а Днепр, освещая песок, кусты, деревья вдали и высокий обрыв на том берегу. Плеска воды не слышно было совсем. Ни холода, ни речной сырости никто из нас не чувствовал, и мы верили рассказам Трофимчука, будто Днепр в иные ночи бывает ласковым и теплым, как солнышко.

Было заметно, что Трофимчук очень соскучился по родным местам, и сейчас переживал счастливые минуты. Свыше тридцати лет прожил он на Днепре, рыбачил с отцом, работал бакенщиком у Кременчуга. Войну встретил в Бресте, где был на сборах. Воевал все время пулеметчиком и в одной части, и сейчас не только в роте или в батальоне, но и во всем полку знают, что он с Днепра, что он просил у полковника разрешения при переправе через реку посадить его в первую лодку.

Это не высокий, но крупный, широкоплечий мужчина. Говорит он очень охотно, знает много историй, поговорок, а когда выпьет — хорошо поет.

В полку его любили. Любили за то, что он бывалый воин и лихой пулеметчик, за то, что с ним никогда не бывает скучно, за любовь к Родине, которая его никогда не покидала, за обходительность и житейскую опытность, за какую-то особенную, прямо лютую ненависть к гитлеровцам.

И было еще одно обстоятельство, которое и у старых солдат и офицеров, и у молодежи полка все время подогревало интерес к Трофимчуку. Воевал он с первых дней войны и ни разу не был ранен или контужен. Многие, конечно, завидовали его солдатскому счастью.

Очень часто бывало так, что он оставался невредимым даже тогда, когда пули, снаряды, мины или бомбы скашивали всех вокруг. Как это получалось — трудно объяснить. Трофимчук сам не знает как. Раз он с третьим отделением был в ночном поиске. Ходили за реку, переправлялись вместе. Он обеспечивал бросок отделения в траншею немцев за языком. Язык был взят, и отделение отходило назад. Немцы накрыли его минами. Девять человек были убиты, а один солдат и пленный немец ранены. Трофимчук под огнем перетащил пулемет, потом еще два раза ходил за реку, доставив обоих раненых.

В другой раз бомба упала в двух шагах от пулемета. Весь расчет был убит, а Трофимчука с пулеметом отбросило метров на десять. Но и только. Ни одной царапины не было на теле пулеметчика.

Во время боев под Орлом он прикрывал отход роты на новый рубеж. Семьдесят немцев подошли к пулемету на расстоянии десять — пятнадцать метров. Семьдесят автоматов били по нему, десятки гранат рвались около окопа. Расчет пал, а Трофимчук сберег пулемет и ни одному фашисту не дал пройти мимо себя...

Когда мы возвратились в блиндаж, несколько минут никто не говорил. Молчание прервал Трофимчук:

— Мой батька в прошлую войну тоже с немцами воевал. Приехал с нее полным георгиевским кавалером. Я его както спросил: как же тебя, батько, ни одна пуля не тронула? Он мне ответил: у меня, говорит, душа перед немцем ни разу не дрогнула. Если душа дрогнет — конец, пуля сразу найдет тебя.

Видимо, сейчас и Трофимчук думал о том самом солдатском счастье, о котором нам хотелось с ним поговорить.

— А дед мой,— продолжал Трофимчук,— был убит в Маньчжурии, когда их рота побежала от японцев.

— Так, по-вашему, выходит,— подхватил я,— что солдатское счастье, другими словами и короче, зовется храбростью или...

— Да я не знаю, как оно называется,— сдержанно ответил Трофимчук.— А сомов вам, товарищ майор, не приходилось ловить?

Я понял, что он не желает продолжать разговор на прежнюю тему, и не стал его к этому принуждать.

Часа в три утра в блиндаж пришел сержант Матвеев и сказал, что пора грузиться на плот. Полк приступил к переправе через Днепр.

Днем командир полка показал мне записку с того берега. Капитан Мочалов писал:

«Пулеметчик Федор Трофимчук опять отличился. В момент, когда немцы пошли в контратаку, он болотом пробрался в кустарник и огнем с фланга вынудил их к отходу. Лейтенант Удельный уверяет, что фашисты потеряли от его огня не меньше пятидесяти солдат и офицеров. Не знаю, к какой награде его представлять».

Трофимчук имел четыре награды — медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», орден Отечественной войны 1-й степени и орден Красного Знамени.

На второй день утром полк подошел к крупному селу и окружил его. Второй батальон атаковал район садов. Прилетело девять Ю-87. Шесть бомбили поле перед садами, а три несколько минут кружили и пикировали на развалины мельницы. Полковник по телефону спросил у Мочалова:

— Что у тебя в развалинах мельницы?

— Там Трофимчук со своим расчетом сидит,— ответил капитан.— Боюсь, как бы не случилось чего...

После занятия села мы увидели Трофимчука. Усталый, обросший и черный от пыли и дыма, он сидел на корточках у забора, кормил гусей.

— Ну, как, здорово бомбили? — спросил у него полковник.

— Да не очень. Там дзот немецкий был — мы его и заняли. Когда они кидали бомбы — мы на дно, а когда развертывались — вытаскивали пулемет и по ихней пехоте били.

А вечером мы с Трофимчуком снова говорили о Днепре, о рыбалках. Он спрашивал про Волгу. О солдатском счастье не упоминали. Не любит эту тему Трофимчук.

ОНИ СПАСЛИ ДНЕПРОГЭС

В свое время я опубликовал в «Известиях» два очерка о борьбе наших войск за Днепрогэс: первый — в марте 1942 года, второй — в феврале 1958 года. Оба они, написанные с перерывом в шестнадцать лет, воплощали в себе интерес к людям, спасшим первую Днепровскую гидроэлектростанцию, как одно из величайших достояний советского народа.

О том, как откликнулись герои второго очерка «Отзовитесь, друзья!», следовало бы написать отдельно. Оказалось, что, пройдя весь путь от Днепра до Шпрее, многие из них живы. Это — великое счастье, что герои, спасшие Днепрогэс, не погибли. Некоторые из них, прочитав очерк, заявили о себе сами, остальных (к сожалению, не всех) удалось разыскать.

То, что они совершили, огромно по разным причинам. Велика материальная ценность, которую они спасли. Но не менее важна моральная сторона содеянного ими: ведь Днепрогэс — первенец советской гидроэнергетики, и хотя новые стройки подобного рода оставили его далеко позади в наши дни, он является первенцем и поэтому особенно дорог нашему народу. Ведь так же, как современные электровозы не способны заставить нас забыть первый паровоз Джеймса Уатта, Братская ГЭС не может затмить славы Днепрогэса, изменившего в корне психологию и жизненный тонус украинцев, приобщив их к духу нового, социалистического века, гремящего великими стройками и зовущего вперед.

ГРОЗЕН ДНЕПР

I

Гневный и величественный, полный сил и великолепия, жил своей волшебной жизнью Днепр. Долгие столетия проносил он голубые воды к морю, и каждая его капля, казалось, вмещала в себе целую историю.

Великое прошлое нашей прекрасной страны всегда связывалось с мощью этой многоводной реки; бурная, некогда клокотавшая народная страсть воплощена была в дикой непобедимости его неугомонных порогов. Днепр — это была Украина.

Он и остался воплощением этой жемчужины. Он был верен земле, которую омывал. Он жил так, как жила Украина. Вместе с ней стонал он когда-то; в новый век исторического расцвета он тоже вошел вместе с ней.

Над крутыми его берегами, над седыми гранитными кручами зазвенела кирка. Динамит и аммонал перекликнулись в тишине долго стонущим эхом. Взлетели Кресло Екатерины, скала Сагайдачного, хортицкие берега... Человек пришел менять облик своего Отечества. Это был новый, невиданный, но настоящий человек.

1927 год. Будущая плотина — одно из величайших созданий человеческих рук — должна была высоко поднять уровень воды и затопить десятки старых соломенных сел, тысячи хат, изъеденных червями времени и превращенных в труху.

И вот из Харькова приехала правительственная комиссия, которая должна была заняться переселением жителей затопляемых районов на новые места. Комиссия отводила плодородные участки, снабжала переселенцев деньгами и материалами для постройки новых, светлых домов, для обзаведения новым хозяйством. Люди с радостью встречали улыбающееся им счастье, они понимали, что их зовет будущее, и покидали свои полуистлевшие гнезда, уходили на Хортицу, на нижний Днепр, чтобы жить, идя в ногу с зовущими их событиями.

Я помню сельскую сходку в Кичкасе. Население собралось для обсуждения вопроса о переселении. Все местечко решило пойти навстречу Советской власти. И только один дед Яким отказался покидать свое насиженное место.

— Отец умер здесь, дед умер и прадед. И меня здесь погребут,— говорил он тихо, но властно.

Дед Яким помнил похороны Тараса Шевченко; он часто перевозил через Днепр художника Репина. Перед его глазами прошло почти целое столетие, и сам он был воплощением прошлого своей великой Украины. Дед Яким был сед, как Днепр, и, как Днепр, непокорен. Он цеплялся за свое прошлое и трепетал перед идущим навстречу веком его правнуков.

Но правнуки, победившие Днепр, победили и деда Якима. В эти дни они совершали прыжок в будущее. Они ушли из села, оставив на площади Якима одного. Но, украдкой оглянувшись, люди увидели, как старик после долгой и мучительной борьбы

с собой, медленно, весь содрогаясь от старческого волнения, пошел за ними.

— Идолы,— сердито ворчал он.— Ваша правда!

Когда он сделал первые робкие шаги, от толпы отделился его правнук Омелько и подбежал к нему. Он схватил под руку своего прадеда, улыбался, ободрял старика. Он был счастлив, что мудрость времени пошла за ними.

Замершая толпа стояла в немом оцепенении, созерцая величественный союз прошлого и настоящего. К ней приближались прадед и правнук. Прошлое оправдывало и вдохновляло молодых.

Через пять лет было завершено одно из самых замечательных строений человеческого гения. Это был не храм, подавляющий своим величием и превращающий человека в ничтожную пылинку. Днепровская плотина возвеличивала Человека, ибо сам и для себя создал он этот гигантский памятник; ибо велик тот, кто сам способен создать подобное величие!

Днепр преобразился. Его трудно было узнать. Как радуга, в брызгах и пене встала величайшая плотина на земле. Внизу, на расчищенных берегах кипящей реки, на Хортице, убранной в майский изумруд, выросли прекрасные строения. В них жили люди, переселенные из затопленных древних сел. Дед Яким сидел на стеклянной веранде ослепительного домика и восхищался плодом труда своего правнука...

II

Передо мной сидит странный человек. Он молод, но бледное лицо окаймлено бесформенной рыжеватой бородой. Он грязен и оборван. Пальцы выглядывают из продранных сапог.

Я с трудом узнаю в нем Омелька — юношу, которого встречал когда-то в Кичкасе, а потом почти ежедневно видел в цементных блоках будущей великой плотины.

Что случилось с этим стройным, так недавно красивым человеком? Какое горе одело его в это грязное тряпье? Что смутило озорной мальчишеский блеск серых, почти прозрачных глаз?

Он пришел из-за Днепра. Он перенес плен и неволю. Его пытали фашистским штыком и били кулаками, поблескивавшими неуклюжими бюргерскими кольцами.

Он пришел к своим по огромным пространствам разоренной, сожженной и ограбленной страны. Он видел горе тех, кто

стонет под германским сапогом, но ждет и верит в нашу победу.

Омелько оборонял Днепрогэс. Грудью своей защищал он то, что создал в поте лица. Он смотрел на ровные улицы прекрасного города, по которым били крупповские орудия, и сердце его обливалось кровью. Здесь, в этом городе, олицетворявшем завоевания его поколения, на плотине, воплощающей его молодую мечту, в бурно пенившемся водопаде покоренной днепровской стихии был видимый, ощутимый, почти осязаемый социализм.

Гитлеровцы нажимали все сильней и сильней. Им нужно было форсировать реку выше Кичкаса. Но Днепр был широк и многоводен. Лазурное озеро Ленина преграждало им путь — оно было непреодолимым препятствием.

Им пришлось пойти через остров Хортицу, где река хоть и узка, но форсировать ее приходилось дважды. Однако советские люди, поклявшиеся ничего не оставлять ненавистному врагу, взорвали радужные мосты, висевшие над голубыми омутами. Сотни гитлеровцев полетели вниз. Но их генералы бросали все новые и новые полчища в Днепр. Окровавленными телами своих солдат прудили они реку, переходя на Хортицу. Высока была цена, но далека победа. Советские воины дрались как львы, и история не забудет имен защитников Хортицы. Памятником им будет победа, славой — высокая доблесть и мужество, с которыми они встречали смерть.

Но положение с каждым часом осложнялось. Врага нужно было задержать на правом берегу, пока еще не вывезены заводы, пока от смертельной угрозы не спасены женщины и дети, пока не отошли войска на новые оборонительные рубежи. Велика была цель, и никакая цена не могла казаться непомерной.

И вот на рассвете произошел взрыв. В старом Запорожье, на расстоянии многих километров, от страшного сотрясения вылетели оконные рамы. Целый пролет Днепровской плотины разлетелся в прах.

Вода ринулась вниз. Она бушевала, как дикое животное, отыскавшее выход своей ярости. Она ломала вражеские переправы, сносила тяжелые орудия и танки, она заливала пространства, превращая и этот путь через Днепр в дорогу смерти. Цель была достигнута: гитлеровцы искромсаны могучим ураганом, стерты в порошок обломками бетона, уничтожены, истреблены.

Но вода рвалась дальше. Она устремилась к маленьким, красивым домикам у подножья изумрудной Хортицы. Она крушила, ровняла с лицом земли места, где люди нашли свое сча-

стье, где недавно жили те, кто в трудовые часы деловито ходил по длинным стеклянным анфиладам турбинного зала, кто осуществил свою мечту, воздвигнув этот сияющий памятник своему времени.

И чем больше мелело озеро Ленина, чем явственнее сближались так недавно далекие берега, тем отчетливее выплывали страшные остатки прошлого, погребенного когда-то под водой. Медленно, будто снова рождаясь, появилась из-под воды уродливая, вся обвитая водяными растениями кичкасская церковь. Все больше и больше оголялись крутые скалы старых днепровских берегов. Затем стали появляться черные, прогнившие за двенадцать лет подводной жизни крыши некогда брошенных строений, появились стены домов, кривые улицы и покрытая песком и илом ярмарочная площадь. Это всплыло прошлое — мир, угнетавший деда Якима, давно уже погребенного в хортицкой земле, на старом казацком кладбище. Это всплыли пройденные века, звеня каторжными кандалами, свистя длинными арапниками крепостничества и угнетения, зияя воспаленными глазами, полными вдовьих слез и сиротского горя.

...Осунувшийся, постаревший правнук деда Якима сидит передо мной. Он видел, как рождалось будущее и как было воскрешено прошлое. Но разве проходят безнаказанно преступления людей, вмешивавшихся в закономерный бег времени? Разве проходят даром святотатство и надругательство над тем, во что верит человек?

И разве можно сомневаться, что это насилие будет достойно отомщено?

III

Когда-нибудь мы назовем фамилию Омелька. Люди, взлелеянные голубым Приднепровьем, узнают того, кто громил немецкие обозы, кто поджигал вражеские танки, кто взрывал склады с боеприпасами в далеком тылу гитлеровцев.

Омелько защищал Хортицу. Он мужественно сражался с врагом, и на его руках один за другим умирали его товарищи. Позже, когда держаться уже не было сил, он включил рубильник. Собственной рукою поднял он в воздух то, ради чего жил. Враг не должен был воспользоваться его бесценным достоянием, его воплощенной мечтой. Омелько укротил боль, но в сердце унес горечь обиды, чувство ненависти, жажду мести, решимость бороться до конца.

Он ушел в партизанский отряд. Он мстил за поруганную честь, за окровавленную Украину, за возмущенный Днепр, за насилие над законами истории и времени. Он мстил, жестоко мстил!

Фашисты дрожали перед именем этого неизвестного мстителя. Никто не знал, откуда он появлялся во главе своих товарищей, но он был вездесущ. Гитлеровское командование назначило большие награды тем, кто покончит с неизвестным храбрецом. Сначала сумма назначалась за живого Омелька. Потом гитлеровцы согласились получить хотя бы его голову. Затем они объявили, что удовлетворятся указанием места, откуда совершаются дерзкие налеты.

Все было напрасно.

Но теперь, когда Омелько сидит перед нами, когда после крупной и удачной операции он прошел через все заградилки, чтобы попасть к своим, мы откроем тайну этого необычного человека.

В день, когда из-под воды всплыли сгнившие, занесенные илом домики Кичкаса, Омелько пережил вечность, сделавшую его стариком. Он решил, что сможет надежно укрыться в этих домиках, куда гитлеровцы не рискнут полезть, но где ему знаком каждый закоулок, каждая улочка. Руины всплывшего Кичкаса скрыли его следы и вместе с ним мстили чужеземным пришельцам. Отжившие и страшные, они мстили за свое неестественное воскрешение, за свое возвращение к жизни, которая по незыблемым законам времени должна была принадлежать Днепрострою.

...Омелько сидит передо мной. Вера его жива. Он будет драться до конца, вдохновленный историей своего народа и своей собственной биографией. Он не успокоится до тех пор, пока враг не заплатит за боль и обиду советской земли, пока вывороченные камни мостовых не перестанут вопить о священной мести.

Он не успокоится до тех пор, пока весна не раскует порабощенный Днепр; пока освобожденные воды не смоют с лица земли страшного кошмара, душераздирающего сна, на мгновение ставшего действительностью; пока страсть созидателя не получит славного и почетного выхода.

1942, март.
Юго-Западный фронт.

ОТЗОВИТЕСЬ, ДРУЗЬЯ!

Передо мной десять страниц машинописного текста — чудом сохранившиеся в течение двадцати лет подлинные боевые донесения специальной группы по разминированию Днепровской плотины. Бумага пожелтела, но еще вполне отчетлив текст, напечатанный на обеих сторонах листа через один интервал на старой штабной машинке с выпадающими и неровными буквами.

Много драматических событий и удивительных поступков запечатлено на этих пожелтевших страницах. Скупые строки дышат героической простотой, в каждой из них содержание, достаточное для большого рассказа, а то, о чем они повествуют все вместе, могло бы быть развернуто в огромный эпический роман.

Упоминаемые в тексте имена почти ничего не говорят. Никто никогда не слыхал о героях, совершивших великое дело. В наши дни на Днепрогэсе сооружен скромный памятник Неизвестному бойцу, спасшему электростанцию,— люди приходят к этому памятнику, чтобы поклониться героизму тех, кто не позволил фашистам взорвать Днепровскую плотину. Как хорошо было бы прочесть на пьедестале их имена! Но строителям памятника герои были неизвестны, и благодарность не имеет адреса, как и герои — имен. В сохранившихся у меня донесениях они названы все, и хочется, чтобы люди их знали. Живы герои или покоятся в безвестных могилах, рассеянных по освобожденной ими земле,— они должны быть названы, а имена их высечены на пьедестале.

I

Вопрос об окончательном уничтожении Днепрогэса начал беспокоить немцев задолго до освобождения нашими войсками Запорожья. Участь станции была для них решена — и потому, что этот первенец советской гидроэнергетики представлял огромную материальную ценность, которую они не собирались оставлять советским людям, и, главным образом, потому, что плотина являлась во многих отношениях готовой переправой через Днепр, которой советские войска могли воспользоваться для форсирования реки с ходу. Поэтому в первых числах сентября 1943 года к зданию ГЭС прибыл состав из двенадцати

вагонов со взрывчаткой и авиабомбами, к которым через месяц прибавились еще семнадцать вагонов с таким же грузом.

Этого огромного количества взрывчатки оказалось, однако, мало для уничтожения гигантского сооружения обычным путем. Плотину они хотели разрушить до основания, для этого требовалось куда больше средств, а к концу 1943 года немцы уже ими не располагали.

Приходилось подумать о том, как добиться максимального эффекта. Саперы начали буровые работы на плотине и спешно выдолбили специальные камеры в бетонном массиве: наглухо забетонировав в огромных камерах взрывчатку, они надеялись значительно увеличить силу взрыва и таким образом все же добиться своего.

К моменту, когда наши войска подошли к плотине, приготовления немцев были закончены. Грозно заминированная плотина стояла окутанная декабрьской дымкой — почти целая, но уже обреченная: рука разрушителя лежала на роковом рубильнике, готовая в любую минуту включить ток. Днепрогэс стала своеобразной заложницей в руках немцев: достаточно было нашим подразделениям сделать неосторожное движение в сторону правого берега, и она взлетела бы в воздух, разрушенная до основания.

Немцы надеялись, что наши войска не сделают неосторожного шага. Они понимали, что Днепрогэс для нас не только огромное общенародное достояние, но и своеобразная святыня. Они были уверены, что этим мы не рискнем. Есть основания предполагать, что именно по этой причине они не убрались за Днепр из левобережных плавней, хотя на всем огромном протяжении от Лоева до Днепропетровска советские войска уже давно форсировали Днепр. В руках у них был заложник — Днепрогэс; шантажируя нас, они, видимо, собирались удержаться на южном левобережье до весны, сохраняя за собой удобный плацдарм, с которого можно начать весеннее наступление. И хотя рубильник находился в их руках, они не хотели бы им воспользоваться тотчас же: если бы мы их вынудили взорвать плотину, днепровские воды уничтожили бы все их низководные переправы и затопили дивизии, окопавшиеся на левом берегу.

Создалась любопытная ситуация своеобразной «холодной войны»: мы боялись вступить на плотину, понимая, что в этом случае немцы вынуждены будут ее разрушить; немцы же опасались, что, если им придется ее взорвать, погибнут их войска, зимующие в низовых плавнях и во всем их фронте на юге образуется огромная брешь.

Началось состязание разведчиков — соревнование в хитрости и находчивости двух воюющих армий, война нервов, которая, как это бывает всегда в подобных случаях, окончилась открытым столкновением огромных военных масс.

В этой «холодной войне» победителями оказались несколько советских солдат, спасших великую электростанцию и открывших путь нашим дивизиям для переправы на западный берег Днепра.

II

Вот как почти в буквальном пересказе выглядят некоторые эпизоды из этой операции по донесениям гвардии капитана Сошинского на имя начальника штаба инженерных войск.

...Часть плотины уже обследована. Чтобы добраться до ее головы, находящейся на правом берегу, оставалось преодолеть еще три последних быка. Эту важную и ответственную задачу возложили на гвардии младшего лейтенанта Курузова, сержанта Ямалова, рядовых Шабанова и Стародубова. В течение суток они готовили штурмовые веревочные лестницы и другие необходимые приспособления.

Ночью группа спустилась с уступа, образовавшегося в плотине после взрыва подкранового моста. Около пятнадцатого быка был обнаружен свисающий сверху трос, прикрепленный к большому железному кольцу, вделанному в бетонную стену на расстоянии двух с половиной метров от вершины. Между тросом и стеной повисла огромная глыба бетона. Ямалов решил взобраться по тросу, но попытка не удалась: гитлеровцы предусмотрительно смазали трос солидолом. Руки скользили по смазке; часть раскачивающейся глыбы сорвалась, чуть было не раздавив стоявших внизу товарищей.

Пришлось вернуться. Днем бойцы изготовили специальные когти, при помощи которых надеялись все же осилить скользкий трос. Но воспользоваться ими не удалось: трос находился слишком близко от стены. Оставалось единственное: любой ценой взобраться по нему на руках, так как никакого другого способа невозможно было придумать.

На этот раз решил попытать счастья младший лейтенант Курузов. Он подтягивался на одной руке, удерживая на ней свое тело, а другой рукой в это время протирал трос — чуть повыше — тряпкой, пропитанной керосином. Затем приподнимался на другой руке и протирал трос еще выше. Действовать

приходилось с крайней осторожностью, чтобы не сдвинуть с места остаток глыбы, которая также могла рухнуть от малейшего колебания троса.

Для такого продвижения нужны были необыкновенные физические силы, на которые в обычных условиях не способен даже тренированный атлет. Курузов все же добрался до глыбы, еще раз подтянулся и в страшном напряжении плавно перевалил через нее.

До вершины бычка оставалось еще два с половиной метра. Теперь младший лейтенант уже находился на огромной высоте, а внизу клокотала вода и зияла бездонная пропасть. Перед Курузовым была совершенно ровная стена, зацепиться не за что. Он осторожно засунул сапог в железное кольцо и, цепляясь за гладкую стену окровавленными руками, выпрямился. До вершины бычка оставалось всего шестьдесят сантиметров, а когда он поднял руки, остался сущий пустяк, но его преодолеть было невозможно.

Курузов прикрепил к железному кольцу штурмовую лестницу и, совершенно обессиленный, спустился вниз.

Третий штурм этого бычка начался в следующую ночь. В распоряжении группы уже имелись специальные зацепы, с помощью которых надеялись взобраться на злополучный бычок. Но воспользоваться ими не удалось: вершина оказалась не просто гладкой, а чуть ли не отполированной; зацепы скользили по ней и срывались. Положение казалось безвыходным несмотря на то, что позади уже осталась большая часть быков, преодоленных с не меньшими трудностями и героизмом.

И тогда Курузов решился на отчаянный шаг: стоя обеими ногами на железном кольце, он с силой подпрыгнул, ухватился кончиками пальцев за гладкую поверхность бычка и повис над бездонной пропастью. Теперь нельзя было медлить: решал каждый миг. Собрав последние силы, Курузов подтянулся на руках и взобрался на вершину.

Это произошло как раз вовремя: через минуту после того, как он спустил веревочную лестницу и вся группа по ней взобралась наверх, внизу разорвался снаряд и остаток бетонной глыбы, висевшей на тросе, с грохотом сорвался и полетел в бездну. Впрочем, как выяснилось впоследствии, снаряд был случайный: почти уже дошедших до цели разведчиков немцы так и не заметили...

III

Параллельно с действиями группы Курузова в обеих потернах, пронизывающих плотину во всю ее длину, шла напряженная водолазная разведка. И здесь задача разведчиков заключалась в том, чтобы добраться до головы плотины, обнаружить электровзрывной провод и перерезать его. Условия работы потребовали от водолазов особых, необыкновенных усилий. В потерне, являющейся, по сути, толстой трубой, водолаз оказался не только надолго отрезанным от людей, руководящих им и ждущих его на поверхности, но и лишенным какого бы то ни было простора для подводного маневрирования. Здесь не было даже слабого света, проникающего на небольшие глубины в реках и морях.

Да и попасть к месту своих действий было не просто. Так, например, чтобы очутиться в верхней потерне, водолаз должен был в полном снаряжении спуститься по железной лесенке с огромной высоты левого берега на дно шлюза, пройти порядочное расстояние по самому дну, затем подняться по такой же лесенке на противоположную стену, проникнуть сквозь вентиляционное окно в сухую часть потерны, после чего по узким внутренним каналам спуститься в затопленную часть. Условия к тому же в некоторых случаях были таковы, что весь этот путь приходилось проделать с включенными кислородными приборами.

Но самое трудное начиналось потом. Предстояло преодолеть шестьсот метров подводного пути, полного всевозможных неожиданностей. Вся потерна была страшно захламлена железным ломом и плавающими под потолком бочками, что уже само по себе очень затрудняло продвижение. В этом хламе каждую минуту путался и цеплялся сигнальный провод, угрожая оставить водолаза не только без всякой связи, но и без единственного указателя пути назад: в кромешной тьме легко было пройти мимо выхода на поверхность, к которому вел только сигнальный конец. Часто так и случалось: гвардии рядовому Курганову, например, пришлось самому его перерезать, чтобы не запутаться окончательно.

Вскоре возникла новая трудность: с каждым обследованным метром водолаз все больше удалялся от базы, и кислородного баллона стало не хватать. Пришлось тащить с собой запасной баллон, но скоро оказалось, что и такого запаса мало.

Командование знало, что путь в нижнюю потерну постепенно идет в гору до центра плотины, а потом, также постепенно,

спускается. Судя по уровню воды, водолазы поняли, что в наивысшей точке должна быть незатопленная площадка, а над ней, возможно, и пригодный для дыхания воздух. На этой-то площадке и решено было накопить запас кислородных баллонов: добравшись сюда, водолаз мог бы отдохнуть, взять новый баллон и спокойно продвигаться к вражескому берегу.

Вот как описаны в донесении — также почти в дословном изложении — события под водой.

...Наступили самые напряженные дни в работе легких водолазов. Люди сильно уставали, но были совершенно поглощены стремлением выйти поскорее к зданию ГЭС. Ефрейтор Кильдеев получил приказ: добраться до центральной площадки с запасным кислородным баллоном. Рядовой Ариков должен был, дойдя до центральной площадки, отдохнуть, затем двинуться дальше в глубь потерны, вернуться на центральную площадку, взять свежий баллон, который притащит Кильдеев, и возвратиться с донесением к командиру подразделения.

Кильдеев преодолел двести сорок метров подводного пути и вышел на центральную площадку. Он выключил кислород, снял шлем-маску и убедился, что воздух над площадкой пригоден для дыхания. Через некоторое время на площадку вышел и Ариков. Но, сняв маску, он вдруг почувствовал себя настолько плохо, что дальнейшей разведки уже продолжать не мог.

Товарищ решил выполнить задание вместо него. Однако, пройдя первые пятьдесят метров, почувствовал, что шнур, конец которого находился у Арикова, дергается. Пришлось вернуться. Когда Кильдеев вышел на площадку, он увидел, что Ариков совсем плох. После первой помощи тот пришел в себя, и все же Кильдеев видел, что оставлять его нельзя — надо возвращаться на базу.

Их отделяли от базы двести сорок метров подводного пути. Кильдеев понимал, что это значит, особенно для ослабевшего Арикова. Поэтому он пустил его вперед, чтобы в случае нового несчастья иметь возможность быстро догнать и оказать помощь. Но, догнав его, Кильдеев обнаружил, что Ариков всплыл под потолок: на нем почему-то не было ни пояса со свинцовыми грузилами, ни шлем-маски.

Кильдеев надел на товарища маску, опустил на дно и потащил его вперед. Но от длительного пребывания под водой и непосильной ноши начал задыхаться сам и в конце концов потерял сознание.

Наверху всполошились: Кильдеев и Ариков не возвращались слишком долго. Посланные для спасения водолазы выта-

щили их на поверхность и привели в чувство. В этот день Кильдеев и Ариков преодолели почти по пятьсот метров тяжелейшего подводного пути, но это не было исключением: почти каждый день был полон драматических событий и героических усилий.

IV

После взрыва подкранового моста немцы были настолько убеждены в невозможности перебраться через плотину, что, по сути, почти не охраняли ее. Поэтому, добравшись до нулевого бычка, находящегося на правом берегу, группа младшего лейтенанта Курузова могла почти беспрепятственно проникнуть и здесь внутрь плотины для поисков электровзрывного провода.

На всем пути через плотину уже были навешены штурмовые веревочные лестницы. Теперь за передовиками следовала небольшая группа боевой охраны во главе с лейтенантом Фроловым, чтобы вести наблюдение за врагом с нулевого бычка и осуществлять в случае необходимости боевое обеспечение группы Курузова, спустившейся внутрь плотины.

Но в это время произошло неожиданное событие, сразу осложнившее положение. Вот как оно описано в донесении майора Бубенцова.

...Подойдя к сопрягающему устою и оставив двоих товарищей для прикрытия на нулевом бычке, Ефремов и Шабанов спустились к зданию ГЭС и увидели, что между аванкамерной стеной и зданием станции проходит дорога, которая их и вывела на твердую землю правого берега. Вдруг, находясь в углу аванкамеры, они услышали звонок телефона, а затем и немецкую речь: кто-то скомандовал «фойер!», после чего раздался артиллерийский залп. Видимо, в помещении лифта обосновался вражеский корректировщик.

Вскоре бойцы услыхали шаги. Необходимо было куда-либо спрятаться. Поблизости стояла сторожевая будка, бойцы юркнули туда. В это время из здания вышла команда солдат и направилась за дровами, сложенными у самой сторожевой будки. Ефремов и Шабанов приготовили ножи и гранаты. Но гитлеровцы, ничего не подозревая, набрали дров и ушли к зданию.

Однако наблюдавший за ними Фролов почему-то не выдержал: то ли не понял, что с товарищами все обстоит благополучно, то ли просто сдали нервы... И когда вражеская команда проходила поблизости, он с нулевого бычка швырнул в нее гранату.

Теперь группа Фролова себя обнаружила. Поднялась стрельба, а затем и общая тревога. В результате бойцам Фролова с плотины пришлось отступить.

Но Курузов с товарищами находились в глубине плотины, они ничего не знали о происходящем наверху и спокойно продолжали искать провод.

В бой на плотине втягивались все новые и новые подразделения, сражение за нее разворачивалось в открытую и приобретало все большие масштабы. Теперь уже немцы не могли включить рубильник и взорвать плотину, так как в боях, происходивших на ней, участвовали и их войска. Но взрыв не прогремел и позже, когда под прямой угрозой окружения им пришлось спешно отступить с левого берега.

Какова же судьба группы Курузова? Удалось ли ей обнаружить электровзрывной провод и обезвредить его?

Это не подлежит сомнению. Ведь в последний момент отступления немцы взорвали щитовое отделение, находившееся впереди плотины. Стало быть, дальше щитового отделения провод был перерезан.

Видимо, сделав свое трудное и благородное дело, спасители Днепрогэса — четыре скромных советских воина просто присоединились к идущим на запад войскам, чтобы и дальше выполнять свой воинский долг, не заботясь о послевоенной славе. Они ушли, и их имена остались лишь на пожелтевших страницах боевых донесений, лежащих сейчас передо мной. Ведь, с их точки зрения, они не совершили ничего особенного — обычная разведка, каких было не мало на их боевом пути.

Отзовитесь, друзья! Родине нужна ваша слава.

1958 год

СОЛДАТКИ

ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ

Казалось, большего напряжения быть не может, невозможно... Едва добирались до жилища, до постели, и мертвый сон валил с ног. Вот уж поистине мертвый — никаких сновидений. Девчонки лет семнадцати, впрочем, рассказывали на утро, в обеденный перерыв свои волшебные сны, но все знали, что они сочиняют. И подумать только, что им мерещилось: гамаки и байдарки в доме отдыха, вальс на залитой светом Манежной площади, туфли молочного цвета, ореховая халва... Все устали, но добродушно смеялись. Старый литейщик дядя Яша внимательно поглядывал на бледноватые лица девушек, подростков, на голубые тени под их яркими воспаленными глазами. Нежность заливала его сердце. Но он говорил строго:

— Гляди, вон какая ты, а уж рабочую карточку получаешь. То-то и оно. Я рабочую карточку и ты. А я пятьдесят лет с гаком на заводе. Чувствуешь ты это или нет, какое у тебя знание?!

— Чувствую! — отвечала собеседница, весело поднимая вверх круглый подбородок.

— Так чего же тебе такой стыд снится, бедовая?

— Дядя Яша! Да ведь как хорошо было до войны-то!

— Стыд, стыд,— упрямо повторял старик, а сердце его горько улыбалось: господи, да какой же это стыд — качели эти, карусели, полвека отдал жизни своей для их счастливой юности. У, сволочи-фашисты, супостаты жадные!

На фронтах каждую минуту людям в глаза смерть глядит,— уже мягче говорил дядя Яша,— наше дело — им снаряды подавать, о себе забыть. Помните ленинские заветы: Советскую власть беречь, все трудности переживать. Мы эту клятву дали у гроба Владимира Ильича, и мы эту клятву держим. Великое счастье это. Так?

— Так,— тихо отвечали юнцы, смутно, но радостно угадывая в словах старика большую правду, и снова шли в цехи делать снаряды, работая по десять часов подряд...

Счастливый человек дядя Яша — старый литейщик Яков Михайлович Веселов. Он видел Ленина. Это делает дядю Яшу даже в его собственных глазах каким-то гигантом. У дяди Яши никогда не болит поясница, ему никогда не хочется спать, ему никогда не снятся пирожные наполеоны. И утром, и ночью, одинаково бодрый, свежий, строгий, работает он один за четверых. В грозный час, когда враг рвался к Москве и правительство просило рабочих подсыпать побольше снарядов, он на мерзлых дровах плавил свинец и вообще делал всякие чудеса. Это были тяжелые, но прекрасные дни — они напоминали старшему поколению дни гражданской войны, а в молодых будили богатырские силы. По приказу правительства завод стал на колеса и уехал... Так было надо. Ветер грохотал, стонал и плакал в пустых цехах. На земле валялись какие-то гайки, трубы, забытая проволока... Снег заметал их. И один молодой инженер, вытаскивая из-под снега обрывки старого чертежа, сказал, поддавшись минутной слабости:

— Точно в чеховском «Вишневом саду». Пусто как...

Он, этот инженер, дважды орденоносец, с виноватой усмешкой вспоминает свои слова.

Дядя Яша, как всегда, утром приходил на осиротелый двор завода... по-хозяйски собирал в кучки гайки, наматывал в клубки проволоку. Подолгу стоял возле статуи Ленина. И, вспоминая, волновался. Вот тут Владимир Ильич держал речь к рабочим, как Советскую власть беречь... Вот тут, в этом месте, он потрепал по голове мальчонку, что попался ему на глаза, и спросил с ласковым смешком в голосе: «А вы тоже на митинг, молодой человек?» Вот тут он быстро-быстро так пробежал несколько раз из угла в угол, словно о чем-то размышляя, и в глазах его вспыхивали острые зарницы... И сердца всех рабочих, в том числе дяди Яши, разрывались от любви к этому огромному человеку. «Ильич! Все вынесем, все сделаем!» — сказали рабочие. И все вынесли, и все сделали... Отдать теперь все это фашистской сволочи?! Гнуть спину на немецких баронов и фабрикантов... Да не бывать этому! Лучше уж лечь около статуи Владимира Ильича, обнять старыми руками ноги его, и пусть засыплет их вместе снегом...

А Ильич улыбался прищуренным, знающим взглядом — хитренько так и светло.

— Эх, Яков, Яков,— упрекал вдруг сам себя старый литейщик и, приосаниваясь, шептал: — Будет сделано, Владимир Ильич! Ожидаем приказа.

И проворно счищал снег со статуи Ленина.

Что будет сделано — не знал, а сердце чуяло: что-то будет сделано.

Так и вышло. Они получили приказ срочно пустить завод, срочно делать снаряды. Никому не показалось это невозможным, несмотря на то что не было ни станков, ни людей, а с неба сыпались немецкие бомбы. Появились и станки, и люди. Старики, женщины, подростки — все пришли.

И так получилось прекрасно: на возрожденном заводе имени Владимира Ильича собрались люди разных национальностей: русские, украинцы, белорусы... В цехах стужа, замерзла смазка. Ничего этого не замечали, выполняли приказ правительства — делали снаряды. Да еще какие снаряды-то, немало гитлеровцев полегло от этих снарядов под Москвой, под Тулой... Вот тут-то еще раз поняли люди, что такое настоящее социалистическое соревнование. Вот тут-то и разгорелось оно и пламенем своим согрело озябшие человеческие души. И плавил на мерзлых дровах свинец дядя Яша, удивляя весь мир своими гигантскими внутренними силами жизни. И закалялись в огне соревнования девчонки и мальчишки, отогревая дыханием своим окоченевшие, распухшие полудетские руки.

Светлый облик великого Ленина помог людям преодолеть все препятствия и даже завоевать потом первое место в соревновании — завод получил знамя Центрального Комитета нашей партии.

Это единение душ, могучий порыв, охвативший на заводе и старого, и малого, продолжается все месяцы войны, и с особой силой ощутим он в дни, когда наша родная Красная Армия пошла в наступление. Невидимые нити протянулись от фронта к заводу, от завода к фронту.

В пламени соревнования родился часовой график. Работа по часовой стрелке. Может ли быть большее напряжение? Человек бросает горящий взгляд на Доску показателей — вот что я сделал за этот час. Да, я сделал много. Но эти снаряды уже громят врага. От меня фронт ждет еще, еще... Ползет часовая стрелка...

— Броня, мы хорошо работаем? — беспокойно спрашивали молодые рабочие секретаря комсомольского комитета.— Броня, наши наступают... Надо работать еще лучше. Но мы, Броня, чувствуем, что больше уж сделать ничего не можем!

Да, казалось, большего напряжения быть не может. И вот в разгар соревнования, в момент наступательных действий Красной Армии пришел приказ: делать новый вид снаряда. И очень срочно. Это было трудно. Особенно все испугались за литейку. В литейке были нелады: не хватало людей. А новый заказ требовал необычайно тщательной и усердной работы стерженщиков и формовщиков. Завод призадумался. Не только директор, не только инженеры, не только старые рабочие. Все думали. Даже новички... И поэтому никого не удивило, когда взволнованная Броня пришла в механический цех и от имени дирекции и комсомольского комитета предложила молодым станочникам добровольно пойти в литейный цех и вытянуть его в передовые. Да, это никого не удивило. И все же молодежь примолкла. Уйти из чистых механических цехов в дымную горячую литейку на незнакомую работу да еще там повести за собой других... Что же это такое?

— Вот это и есть, товарищи, настоящее соревнование,— волнуясь, говорила Броня.— Армия наступает, фронт ждет именно таких снарядов, какие нам заказаны... Нет ничего невозможного. Кто пойдет сегодня же в литейку?

И они ушли из механического цеха в литейный — Морозова, Красневич, Хромова, Вакарева, Степина, Хаустова, Тимошкина, два друга калильщики Орешков и Сорокин и другие, те самые, которые говорили, что больше уж сделать ничего не в силах... Ушли, чтобы работать формовщиками и стерженщиками по двенадцати часов в сутки.

На следующее же утро Степина и Дмитриева прибежали в комсомольский комитет и расплакались. Они признались, что после светлого механического цеха им страшно и угарно в литейке, кроме того, эти песочные стержни рассыпаются, как только к ним прикоснешься, а некоторые рабочие косятся и думают, что девчат сняли со станков за провинность...

— Так что ж, значит, страшно, значит, не выйдет, девчата?

— Как это не выйдет? Как это страшно? А на фронте не страшно? — оскорбленно воскликнули плачущие девушки и умчались обратно.

Бригада юных формовщиц тоже мучилась первые дни.

И вот, представьте, вышли в передовые, вышли в самые передовые. Даже обогнали бригаду опытного формовщика Кирилко. Спросите их, как это у них получилось, они сами не знают, только растерянно и радостно улыбаются.

— Да просто поняли...

— А что поняли?

— Да все поняли!

Такие же чудеса сделала и бригада стерженщиц под командой Шуры Ивановой и другие фронтовые бригады новичков. Литейный цех вышел в передовые. Завод отлично выполнил заказ фронта.

...Самые счастливые секунды на заводе — это секунды салюта в честь побед Красной Армии. Они везде самые счастливые, но рабочие завода имени Владимира Ильича, делающие снаряды, уверяют, что для них это особенные минуты. Вспыхивают в небе цветные ракеты, слышатся залпы орудий. Выбегают из цехов по очереди на двор старики и молодые. Дядя Яша и Зоя, и Шура, и Кирилко, и все... Выбегают разгоряченные, потные, смотрят в небо.

Стоят локоть к локтю. И тут уж не поймешь, кто с кем соревнуется, кто на кого обижается, кто кого обгоняет. Все вместе, все рядом. И Зоя Морозова, и Кирилко...

— Вот оно, Владимир Ильич! Вот она, наша работа-то,— шепчет, волнуясь, старый литейщик.

И Шура Иванова, и Зоя Морозова, и самые молоденькие девчата, которым снится во сне ореховая халва, обнимают друг друга, охваченные ощущением настоящего счастья.

Завод имени Владимира Ильича.
1943 год

В СЕЛЕ ФЕДЯКИНО

Голосистые петухи уже давно поют весну. Приосанились и повеселели березовые рощи. Над ними плывет широкое небо. Оно голубое, как глаза рязанских девчонок. Снега с полей и лугов еще не сошли, но уже осели, а кое-где видишь проталины и ощущаешь, как под ними дышит и ворочается земля. Скоро сеять!

В селе Федякино, где живет большой колхоз имени Кирова, настроение бодрое, как в хорошем воинском подразделении, где каждый боец знает свое место, где каждая винтовка в боевой готовности — спусти курок, и пуля пронзит вражью голову. Председатель колхоза Никифор Васильевич Шустов, или дядя Никиша, как зовут его малые и старые, склонился над своими планами, точно командир над картой. Дядя Никиша спокоен. Спокойны и женщины, которые приходят к нему с важными донесениями со своих участков посевного фронта. Все бригады готовы к севу. Семена засыпаны, очищены,

протриерованы, всхожесть их проверена, инвентарь весь отремонтирован, хомуты, сбруя — все до последней веревки в полном порядке.

Но вглядишься пристальней в лица колхозников, вслушаешься в их разговоры, и чувствуешь взволнованность, ту самую взволнованность, которая бывает перед сражением даже у самых боевых солдат. У дяди Никиши чуть дергается губа, когда он говорит о конях, о семенах, о навозе, о парниках, и бьется жилочка на виске. Вспыхивают горячие и беспокойные огоньки в глазах женщин, докладывающих о делах в бригадах. Подолгу в правлении люди не засиживаются: не время. Доложил — иди делай свое дело,— такая установка у дяди Никиши. Эта установка встречает полное одобрение у колхозников, и особенно у женщин-бригадиров. Они появляются и быстро исчезают. А увидят какого-нибудь мужчину из своей бригады, который извлек из кармана кисет, медленно, со вкусом приготовился свернуть козью ножку и начать долгие разговоры, метнут в его сторону жесткий взгляд и отрежут, как бритвой:

— А ну пошли, пошли, милок! Отсеемся, покурим и пофилософствуем!

Прячет в карман кисет мужчина и, усмехнувшись, говорит не с досадой, а с нескрываемым восхищением:

— Ну и баба нынче пошла, какие слова выговаривает! Не узнать нашу рязанскую бабу! Командиры!

Да, действительно не узнать «рязанскую бабу»! Поднялась она во весь рост и всей матушке-земле показала свою сноровку, волю и силу. Я побывала в нескольких селах района, видела женщин федякинских, кузьминских, новоселковских, видела женщин — председателей колхозов, и бригадиров, и звеньевых, и конюхов — все как на подбор: деловитые, собранные, энергичные, скупые на слова и горячие на дело.

Дядя Никиша с удовольствием рассказывает о своих колхозницах, пожилых и молодых:

— Женщина играет главенствующую роль на данном этапе. Какую колхозницу ни возьми — силища неистребимая...

А Иван Тимофеевич Морозов, председатель Новоселковского колхоза, с увлечением рассказывает о том, как солдатки убирали вручную хлеба — так убирали, что у них под серпами пламя играло...

— Чудеса, истинные чудеса наши женщины показывают. Вот хотя бы Катерину Ромашкову взять. Давно ли она бригадиршей-то, а уж к похвальной грамоте за высокий урожай представлена. Вот это, я вам скажу, женщина! Сама пылает на

ветру и всю бригаду зажигает. А из себя тихая. Подход у нее к массе.

Председатель довольно улыбается. Вот заглянуло в дверь чье-то круглое женское лицо. Острый взгляд, строгий, чуть лукавый, певучий голос:

— Иван Тимофеv! Ты скоро там отговоришься? Действовать нам пора.

— Входи, входи, Катерина Михайловна.

Бригадир Екатерина Ромашкова, скромная, сероглазая женщина, не глядя на приезжих, подходит к столу председателя, а за ней шагает одна из ее звеньевых — бойкая, быстроногая, с румянцем во всю щеку... От них обеих пахнет весенним ветром, талым снегом.

— А что рассказывать-то? — застенчиво говорит Екатерина Ромашкова.— Стараются наши солдатки, ну и достигли. Кто хочет, тот урожай сымет, тому не придется перед Красной Армией краснеть.

Сильное впечатление произвело знакомство с бригадиром полеводческой бригады Александрой Семеновной Левиной. Это — в Федякине. В бригаде Александры Семеновны почти все женщины — жены фронтовиков. Эта бригада вовремя сделала снегозадержание, раньше всех подготовилась к севу.

Я слышала, как Александра Семеновна держала речь к колхозникам:

— Так что, солдатки, думаю, долго решать нам не приходится: Советская власть на нас надеется — должны мы Советской власти ответить. А какой у нас ответ? У всех у нас одно желание — разбить поскорее лютого врага, помочь мужьям нашим и сыновьям.

И в этот же вечер третья бригада вызвала на социалистическое соревнование четвертую бригаду.

Уже взошла луна, когда расходились по избам. Я слышала возбужденные голоса женщин:

— Ничего, поднатужимся — сделаем!

— Эй, дядя Ваня, мы с Евдокией нынче пахать будем и тебя с Грачевым вызовем.

— Думаете, обгоните?

— А то нет?!

Вот голоса и шаги стихли. И вдруг переливчато залилась гармонь.

Ах война, война, война,
Что наделала она...—

прорезал серебряную тишину ночи девичий голос.

— Да уж эта война,— вздохнула глубоко женщина, прислушиваясь к молодым голосам и словно откликаясь на них,— какая бы жизнь была теперь... Хлопочешь, стараешься в деле забыться, молчишь, не даешь воли переживаниям своим — момент не дозволяет! А ведь сказать по правде, много горюшка-то легло на наши женские плечи, ой много...

И вот раскрывается передо мной душа солдатки. И я почти зримо ощущаю, как в этой мужественной душе натянута каждая струночка, каждый нерв. Глаза женщины, которая целый день была такой собранной, деловитой, неутомимой, хлопотала о колхозной земле, о семенах, о навозе и золе, вдруг наполняются до краев горькой слезой, которую она не спешит смахнуть.

И снова, как веслом, рассекает тишину жаркий девичий голос:

Подруга дорогая,
Взяли милого на фронт,
Я ручаюсь головой:
Придет с победою домой.

Колхозные девчата стараются перепеть друг друга, и слепой гармонист едва поспевает за ними.

— Ничего,— шепчет солдатка, медленно и задумчиво стирая ладонью слезу с озаренного лунным светом лица,— ничего, переживем, сделаем и посеем все, как надо, и урожай, как надо, сымем, так и передайте там, в Москве. Колхозница не подведет, колхозница постарается всем, чем может, подсобить; подсобим, перед мужьями своими, фронтовиками, не осрамимся!

Пойти поглядеть, что на конюшне,— уже снова громко и твердо говорит женщина.— Ты домой, Анна?

Солдатки расходятся по избам, чтобы соснуть несколько часов и утром снова приняться за неотложные предпосевные дела.

Рыбновский район
Рязанской области.
1943 год

ХЛЕБ

Деревня Пруды расположена далеко от фронта, о немецко-фашистском зверье, к счастью, знают только по рассказам людей, по газетам, по письмам своих сыновей-воинов. Здесь нет развалин, избы здесь целые, ребятишки румяные, скотина гладкая...

И вообще, когда взглянешь на деревню Пруды, словно и войны нет. Но это только с первого взгляда. Войной здесь живет каждый дом и каждый человек. Четвертый год жители колхоза «Советская деревня» живут только этим и все свои помыслы отдают битве с врагом. И когда пристальней вглядишься в крестьянскую жизнь, заглянешь в душу солдаток,— собственно, они и есть сейчас основные жители, труженики и управители колхоза,— чувствуешь и видишь: Пруды — это фронт. Только что здесь не стреляют.

Татьяна Степановна Зимина, статная бригадирша первой колхозной бригады, разволновавшись, так и сказала:

— А мы его, окаянного, хлебом бьем! Вот наши пушки, слышишь, Сеня? Вот и посчитай, Сеня, сколько моя бригада фашистов свалила. Я думаю, десяток-то свалила я их?!

— Что там десяток, тыщу свалила,— загудела изба.

— Правильно, Татьяна. Вот они, катюши-то наши... Ай да бригадир — верное слово сказала. Ну и жена у тебя, Семен Иванович! Снайпер, а не жена!

Все одобрительно засмеялись. И Семен Иванович тоже довольно засмеялся. Он метнул искоса восхищенный взгляд на жену: уж очень она переменилась за эти годы, уж очень стала самостоятельная. Семен Иванович недавно пришел с фронта, он потерял левую руку. Всем своим существом он еще весь там, где грохочут орудия, где идут сражения, говорит он только о фронте, о своем полку, с жаром, с вдохновением, и столько у него всякого накопилось рассказать, что кажется, века для этого не хватит. Кто бы о чем ни заговорил, Семен Иванович усмехнется загадочно и тут же жадно начинает рассказывать о войне.

Так и сегодня, до полуночи шел разговор о войне и хлебе, и о том, что с гитлеровцами надо общими силами кончать.

— Ну, бабоньки, спать, спать. Словами-то Гитлера не добьешь, он этого не понимает.

— Твои, Татьяна, где завтра? На люцерне?

— И на люцерне, и на картошке, и на свекле, и на бороньбе... на всех фронтах наступаем!

Снова одобрительно зашумела изба. И снова метнул восхищенный взгляд на жену Семен Иванович.

— Ну и ну,—сказал он, смеясь и подергивая левым пустым рукавом,— шли мы с солдатами-то, с инвалидами по домам и говорили между собой: ведь бабы-то там все командные посты заняли, куда нам теперь деваться? Эх, не довоевали мы до победного конца.

— Здесь довоюете,— ласково блеснула глазами Татьяна Степановна...

Утренний осенний туман окутал деревню Пруды. В тумане перекликались женские и мальчишеские голоса. Скрипели колеса. Слышался цокот копыт. И, словно на тачанке, пролетела красавица Зина Бирина, двадцатилетняя бригадирша третьей бригады, самой удалой в колхозе «Советская деревня».

Она стояла на телеге во весь рост, высокая, ладная, крепкая, уверенная в своих силах. Брови дугой, глаза синие, жаркие, чуть озорные.

— А ну, берегись! — крикнула она кому-то.— Ишь туманище, чисто дымовая завеса...

Молча провела свой отряд звеньевая Марья Михайловна Шерстнева, пожилая, домовитая и спокойная на вид. О ней рассказывают так: «Ох, уж эта Марья Михайловна! Молчком, молчком, тихо-тихо, а в соревновании всех опередит. Такие урожаи получает, что весь колхоз ахает. И ведь что проделывает: вот весна была. Поведет она свое звено ночью в поле и потихонечку землю подкармливает, а утром как ни в чем не бывало. Спросишь ее: «Михайловна, да когда же вы все в поле-то пришли? Мы не видали вас, как вы шли-то?» — «Да полно. Мы только сейчас пришли».— И глазом не моргнет. А то в разведку девчонок своих посылает в другие бригады: где как дела идут, не опередил ли ее кто... Стратег! Недаром у нее и сын и муж военные».

Табунок подростков задержался на перекрестке, о чем-то болтая и по-детски заливаясь смехом. Из тумана выплыла шестидесятисемилетняя, но могучая Вера Степановна Чуслина, мать четырех воинов, одна из самых боевых колхозниц.

— Мужики, мужики, пошли, пошли! — властно позвала она мальчишек и легонько подтолкнула их в спину. Веселый табунок исчез в тумане, далеко опередив бабушку Веру.

...В колхозе «Советская деревня» сейчас небывало подъемное настроение. Этот колхоз всю войну работал превосходно, получал высокие урожаи, сам был сыт и много хлеба давал фронту. В нынешнем году и жатва урожая, и обмолот, и хлебосдача прошли, как никогда, дружно. День и ночь не уходили с полей, с токов. К середине сентября прудинские колхозники уже вывезли хлеб и по госпоставкам и по натуроплате. Сто семнадцать тонн хлеба... Колхоз невелик — сто пятьдесят семь хозяйств, но очень трудолюбив, культурно, кропотливо, по всем агрономическим правилам ухаживает за землей, сняли в этом году двадцать три центнера с гектара. Колхозные амбары полны

великолепным зерном. А недавно колхозники решили дать дополнительно «в фонд победы» еще пятьдесят семь тонн. От чистого сердца, от горячего желания помочь Родине, Красной Армии поскорее добить ненавистного, опостылевшего всем врага и залечить кровавые раны, нанесенные им нашей земле.

В горьковской деревне нет пепелищ и развалин. Не было гитлеровских виселиц, душегубок, лагерей смерти, ужасных крематориев, в которых фашистские людоеды сжигали людей, здесь нет детей, искалеченных бомбами, детей, у которых хищники высасывали кровь для переливания своим офицерам. Но разве не отдается это все в сердце горьковской колхозницы? Разве не закипают слезы в ее глазах и не подкатывает гнев к сердцу, когда она подумает о тех русских, украинских, белорусских сельских женщинах, девушках и подростках, которые силком увезены в Германию и томятся там в фашистских застенках или маются батрачками у германских помещиков?!

Красная Армия грозно наступает на врага, упорно загоняя зверя в его логово. И вместе с ней наступает на врага и советская деревня — жены, матери, отцы, дети красноармейцев. В деревне Пруды это ощущается зримо. Как передовой отряд бойцов ведет за собой в атаку всех остальных, так и колхоз «Советская деревня» в борьбе за хлеб ведет за собой многие колхозы.

* *
*

— Женщины! Мы все сделали, мы подчистую с государством рассчитались, все свои планы перевыполнили, но нужно будет, женщины, мы от своего каравая ломоть отрежем, только бы гнпду эту навек истребить! Разве не понимаем мы этого, товарищи женщины!

— Ну, да... Ну, так... Ну, так, так, так, неужели ж мы этого не понимаем, Зина! Ах, Зинушка, Зина, все мы это понимаем...

— Говори, бригадир! Ах, бабоньки, какой это важный для нас разговор. Все бы я, кажется, сделала, только бы скорей войне конец.

— Женщины! Я все сказала. Я думаю так, женщины: не придется нам краснеть перед нашими прудовскими воинами, когда встречать их с фронта будем. Я кончила. Может, Иван Васильевич добавит...

Зина Бирина отошла в сторону и вытерла концами пестренького платка разгоревшееся от волнения лицо.

Разговор о войне и хлебе был на току в сумерки, в минуту передышки. Молотили люцерны, золотую люцерну, вымолачи-

вали из нее драгоценные семена. Лица женщин покрыла серая пыль, глаза от этого казались еще крупней и ярче, а щеки пылали как в лихорадке. А пока говорила Зина, губы шептали: «Ну, да... Ну, так. Правильно. Сделаем, нешто не сделаем! Господи, да неужели ж мы не понимаем».

Иван Васильевич Сачков, председатель колхоза, уважаемый всеми женщинами, сказал:

— Зинаида вам скорую встречу с земляками сулит. И я полагаю, встреча эта не за горами. Когда? От нас с вами зависит, товарищи женщины, чтобы поскорее пришел врагу конец. Вы знаете, как Красная Армия немцев бьет, а нам, стало быть, надо подмогнуть...

При последнем слове Иван Васильевич сделал рукой широкий выразительный жест, словно схватил на вилы копну сена. Женщины понимающе закивали головами.

— Ну что скажете, товарищи колхозницы? Говорить будем?

— А что ж тут говорить, Иван Васильевич, вели запустить машину. Дотемна поработаем, время терять нечего...

Расправили затекшие от усталости плечи, поднялись. Только одна из женщин уткнулась лицом в столб и расплакалась.

— А мой не вернется уж...

Подошли к вдове девушки. Комсомолка Анна Волкова обняла ее и горячо заговорила:

— Марьюшка, не надо... Слышишь, Марьюшка. Не вернется, ничего не поделаешь. Тяжело это... У Зины отец тоже не вернется. Марьюшка, да ведь дети растут! Дети будут жить хозяевами. За чью жизнь он погиб? Марьюшка, за чье счастье, скажи? Ведь за их?

— За их,— прошептала Марьюшка.

И снова загудела машина на току...

...Притомилась колхозница за годы войны. Четвертый год пашет, сеет, убирает урожай, вывозит хлеб, рубит лес, строит дороги, справляется со всеми крестьянскими делами без мужчины. Да и стосковалось сердце солдатки по мужу, по сыну, по брату, по семейному благополучию. Трудно. Но, пожалуй, никогда она, наша советская крестьянка, никогда не ощущала в себе такие силы, как сейчас.

Последние версты длинной тяжкой дороги всегда самые долгие, трудные, но если усталый путник почувствовал наконец близость родимого селения, увидел уже издалека очертания знакомой мельницы или колокольни, он начинает своими натруженными ногами шагать с такой силой, с какой ни шел даже в начале пути. И все ему нипочем. Нужно идти вброд — идет

вброд. Нужно пробраться сквозь колючий кустарник — пробирается. Воля его бездонна. И сравнить ее можно лишь только с волей воина Красной Армии и нашей могучей солдатки.

* *
*

«Мужики» после напряженного трудового дня сидели на лавочке возле колхозного правления. Были они круглолицы, белобрысы, с вздернутыми по-детски носами. И важны необычайно. Ах, «мужики», «мужики», тринадцатилетние, четырнадцатилетние, пятнадцатилетние колхозные хозяева. О вас после войны будут сложены хорошие песни и написаны хорошие книги. Все там будет рассказано: и как пахали и сеяли, и как убирали жатву, отвозили обозы с зерном, на которых полыхали красные стяги: «Хлеб — фронту!» И как врывались неугомонные ребячьи затеи и порывы в ваш боевой, не по годам серьезный труд, как бросались гонять вы косого зайца, кинув плуг посреди пашни, и как однажды вдруг в самую страду по дороге в поле забрались с веревкой в пустой сарай и целых пятнадцать минут качались на качелях, забыв в эти сладкие минуты обо всем на свете, а потом красные, смущенные стояли перед председателем и обещали не делать этого больше.

...Сейчас «мужики», разгоряченные разговором о хлебе и грядущей победе, вслух заглянули в будущее. Они мечтают о том, о чем особенно ярко и вкусно мечтают все дети Советского Союза,— о последнем салюте: из каких пушек будут стрелять в этот день и какие будут ракеты, и будет ли это во всех городах или только в Москве, и услышат ли эти победные залпы в деревне Пруды...

— Я думаю, и в Прудах слыхать будет!

— А то нет!

Мальчишки размахивали руками и говорили все вместе, перебивая друг друга. Руки у них были в ссадинах, голоса хрипловатые, немного простуженные на ветру.

Пришли два деда и тоже стали мечтать, радостно щуря подслеповатые слезящиеся глаза. Потом старые и малые поднялись и пошли проверять коней. Завтра везти последние пуды хлеба, приближающего победу.

Деревня Пруды,
Горьковской области.
1944 год

ПО ДОЛГУ СОВЕСТИ

Из одного металла льют
Медаль за бой, медаль за труд.

А. Недогонов

ЕСЛИ У ТЕБЯ ДУША ПАРТИЙНАЯ...

Пожалуй, самым характерным в Байкове было как раз то, что он ничем не выделялся. И лицо у него было не очень выразительное, и на язык не боек. Солдат он был исполнительный, дисциплинированный, но и только. Так чтобы отличился когда-нибудь инициативой или расторопностью — этого не было.

И командование даже удивилось, когда он вдруг настойчиво стал просить, чтобы его перевели из стрелковой роты в разведку. Это было близ города Юхнова, на четвертом месяце войны.

Байков не сказал, почему он надумал проситься на едва ли не самую опасную боевую работу. А решил он так после того, как полк прошел в семи километрах от его родной деревни — Семеновской. Издалека было не разглядеть, что сделали с деревней гитлеровцы, некогда было Байкову и добежать посмотреть, живы ли отец с матерью. Но он видел зарево пожара, пылавшего в той стороне, и понял, что вряд ли уже найдет там родительскую избу с затейливыми наличниками окон, вырезать которые отец был такой мастер... Кто знает, где родители теперь?

Байков докладывал, что просит перевести его в разведку, тоскливо глядя куда-то мимо командира роты, хотя и стоял прямо перед ним.

Просьбу солдата удовлетворили. Он стал ходить в разведку под началом командира отделения Киселева. Многому Байков у него научился.

Сержант Киселев был человек отчаянный и на первый взгляд нелюдимый. Он только и спросил Байкова, когда того перевели в разведку:

— Значит, Семеновская — родина твоя?
— Да.
— А что ж ты родину позади себя оставил?

Это было осенью 1941 года. Язык у Киселева был безжалостный. Как и глаза его: посмотрит — будто ножом полоснет. Зато в бою не было человека надежнее. Четыре раза его ранило. Четыре раза он возвращался в строй, не долежав срока.

И вот — убило Киселева.

Командир взвода выстроил разведчиков и перед строем вручил Байкову автомат Киселева. Байков взял автомат за шейку приклада, и ему показалось, будто он еще раз пожимает шершавую ладонь Киселева. Поклялся:

— Без пощады буду бить врага. И за нашего дорогого товарища Киселева, и за весь народ. Все.

Больше не сказал ничего.

А на другой день с автоматом Киселева пошел в разведку старшим. Командование поставило задачу: добыть языка.

Вышли ночью. Луну застилали тучи. К речонке, за которой окопался враг, подобрались, не обнаружив себя. Байков был впереди. Хотел уже скомандовать, чтобы подтянулись остальные, но не успел, как к нему подполз сапер Савелов.

— Товарищ командир отделения, не зовите людей. Помоему, берег заминирован.

Присмотрелись. Действительно так.

Принялись разминировать подступы к речонке. Работа близилась к концу, но в это время тучи вокруг луны растаяли и немцы заметили разведчиков. Повели огонь — из винтовок, автоматов, пулеметов.

Байков приказал на огонь не отвечать и отвел людей за сгоревший дом, оставшийся чуть позади. Велел им продолжать наблюдение за противником отсюда, а сам, спустившись немного ниже по течению речонки, перешел ее вброд.

Подполз к гитлеровцам метров на десять, отчетливо услышал их негромкий разговор.

Вытащил из-за пазухи гранату. Рукоятка удобно легла в широкой ладони...

Однако тут же передумал: что толку бросить гранату? Всех не уложишь; значит, все равно придется схватываться врукопашную с теми, кто уцелеет. Но разве тогда языка добудешь?

В левой руке Байков сжимал автомат. Невольно подумал: «А что бы сделал на моем месте Киселев? Наверно, что-нибудь отчаянное!»

Киселев стоял перед глазами, как живой, и словно бы подсказал: а что, если подняться во весь рост, нарочно, чтобы немцы увидели, и кинуться назад, к своим? Они ж обязательно захотят его взять живым и бросятся вдогонку!

Байков крикнул что-то самому ему непонятное (лишь бы громче), вскочил и побежал назад.

Как он и ожидал, фашисты побежали следом. Без выстрела — только надрывались:

— Рус, сдавайс!

И... приближались к нашей засаде.

Бежало шестеро: трое за Байковым, трое метнулись наперерез к берегу.

Новое решение созрело мгновенно. Едва поравнявшись с ближайшим полуразваленным домом, Байков с разбегу упал.

Как раз в этот момент луну снова заволокло тучами, и немцы, видно, не могли сообразить, куда он исчез. Еще несколько секунд они бежали, но потом залегли и стали приближаться к нему ползком.

Сдерживая дыхание, Байков примостил автомат к кирпичам разваленной печи...

Опять выглянула луна. Словно в прятки играла она в ту ночь! В кустах бывшего палисадника показалась голова в рогатой каске. Байков старательно взял ее на мушку...

Когда фашист приблизился совсем вплотную, метров на двадцать, Байков выстрелил. Фашист приподнялся, но вторая короткая очередь пришила его к земле навсегда.

Остальные — они знали, что русский один,— кинулись на Байкова.

И тут он дал себе волю! Не снимая пальца со спускового крючка, повел автоматом сперва справа налево, а потом слева направо.

Когда Байков отнял палец от спускового крючка, ему в уши ударила тишина. Впрочем, он не поверил ей и на всякий случай отполз несколько в сторону.

Прислушался. Ему показалось, что он слышит одинокий сдерживаемый стон. Байков обождал, пока стон повторился, и лишь тогда по-пластунски пополз проверить, не ловушка ли это. Нет. Гитлеровец стонал действительно от раны, и Байков изрядно намучился с ним, пока дотащил его...

А на другой день к парторгу отделения поступило заявление Байкова: «Прошу принять меня в кандидаты великой и справедливой партии большевиков».

Парторг спросил разведчика:

— Товарищ Байков, не расскажешь ли ты, почему подал заявление именно сейчас?

Молчаливый Байков ответил, с трудом подбирая неподатливые слова:

— Совесть приказала. Я малограмотный — всего две группы. Ну, прежде думал: надо подучиться сперва — что ж партии срамиться за такого перед народом! А теперь понял: нет, если у тебя душа партийная, то одна ли, две ли группы, а народ партию за тебя срамить не будет. Войну кончим — тогда подучусь. Дело наживное, думаю.

Парторг крепко пожал Байкову руку. Разведчику почему-то показалось, что рука у парторга такая, как у Киселева — беспощадного, отчаянного, но самого справедливого. Байкову очень хотелось, чтобы Киселев поздравил его со вступлением в партию...

ЕЛЕНА ЧУХНЮК, ПЕРВАЯ ГЕРОИНЯ

В ночь на 6 ноября машинисту Елене Мироновне Чухнюк сообщили по селектору, что Президиум Верховного Совета СССР присвоил ей, первой в СССР женщине, звание Героя Социалистического Труда.

Приближалась 26-я годовщина Октябрьской революции. Это были грозные дни Великой Отечественной войны. Однако коренной перелом в ходе войны уже свершился — уже была закончена битва на Волге и битва на Курской дуге. Наши войска с часу на час готовились вышибить врага из Киева...

Елене звонил начальник. Она так смутилась, что даже забыла поблагодарить в ответ. Она — Герой Социалистического Труда? Начальник, наверно, что-то перепутал. Что она, «катюшу» изобрела? Добилась расщепления атомного ядра? Она же рядовой машинист...

Но нет, она была не рядовым машинистом. Ее заметили уже давно, еще в горькие дни отступления 1941 года. Она работала тогда в Гомельском депо.

Враг рвался к Гомелю, угроза захвата нависла над Калинковичами... Самолеты с черными крестами носились над шоссе. По нему на восток уходили матери с детьми на руках; те, что постарше, как взрослые, толкали перед собой тележки с наспех набросанным скарбом.

Первый труп, который увидела Елена в эту войну, был труп ребенка на станции Буда-Кошелевская. Мальчик не успел

скрыться под вагоном — фашистский летчик настиг его на бегу. Склонившись над умирающим мальчиком — его лицо выражало одновременно страдание и недоумение,— Чухнюк почувствовала, что в ней словно что-то оборвалось.

Она не была воином, который вслух, перед всеми, связывает себя присягой. Но бывают решения крепче клятв...

На Буде-Кошелевской Елена попала и под первую бомбежку. Потом, когда у нее появился опыт Волги, Курской дуги, Тернополя, она поняла, что бывают бомбежки страшнее. Но это была первая, и оттого нестерпимо тянуло убежать куда-нибудь, забиться в темную, узкую, глубокую щель...

Станция была беззащитна. Фашистские летчики, издеваясь, летали так низко, что можно было различить их осклабленные физиономии. В Елене Чухнюк заговорили гнев и гордость. Пусть эти псы скажут: есть еще где-нибудь в мире женщины-машинисты? А она добилась этого! И никто в мире не сможет запугать ее, чтобы она бросила свой локомотив!

По путям, прикрывая лицо от пламени горящих вагонов, бежал военный комендант. Он увидел девушку, как изваяние стоявшую во весь рост в двери паровозной будки. Она не сводила глаз с неба.

— Эй! — крикнул он.— На вашей машине механик жив?

Девушка вздрогнула.

— Жив.

— Так передай ему, чтобы сейчас же разбросал этот состав повагонно,— комендант ткнул рукой в пожарище на соседнем пути,— а вот этот порожняк — в тупик! Поняла?

Выполнив приказ коменданта, механик явился за новыми распоряжениями. Гитлеровские летчики к этому времени уже ушли обратно, за новым грузом бомб.

— Приказание выполнено, товарищ комендант. Что делать дальше?

— А почему механик не пришел сам?

— Как не пришел? Механик — я.

Комендант вышел из-за стола и торжественно сказал:

— От лица службы объявляю вам благодарность, товарищ механик.

Семь дней не сходила Елена в тот рейс с машины. Семь суток почти без перерыва враг бомбил станцию, а она непрерывно растаскивала составы. Один пикировщик специально охотился за ней. Она, обманывая его, каждые несколько десятков секунд меняла скорость. Это был подлинный поединок, и победителем из него вышла Елена. Она привела паровоз в Гомельское депо

На том берегу — враг

«Хорош борщок»,— радуются бойцы



«Это наше оружие»,— говорят колхозники

на восьмые сутки. О ее делах уже знали, ей жали руки старые опытные механики, на нее с гордостью и немного завидуя смотрела молодежь. Она была первым машинистом депо, принявшим бой с врагом.

Гомель отстоять не удалось. 18 августа 1941 года он пал.

Елене, только что пригнавшей паровоз из Чернигова, было приказано немедленно угонять со станции все, что можно. Она не успела даже добежать домой — взять с собой сестру Шуру. Что с нею будет?..

Паровоз Чухнюк ушел из Гомеля последним.

Сперва его перебросили под Москву. Гитлеровские полчища, захватив Белоруссию, растекшись по Центральной России, старались зажать в клещи Москву.

Елена оказалась в Ельце, на южных подступах столицы, на участках, о которых прежде не имела представления. С профилем их пути надо было знакомиться и знакомиться, прежде чем водить поезда,— а когда? В кольце Тула, под ударом Кашира! Технические экзамены сдавать некогда — бери потяжелей состав да не мешкай, если увидишь где-нибудь нужный для ремонта инструмент.

На тендере своего паровоза Елена собрала такой склад инструментов, который позволял ей в девяноста случаях из ста производить ремонт собственными средствами.

Ей казалось: не может быть ничего страшнее того, что она видела в Гомеле и под Москвой. Но это казалось ей лишь до тех пор, пока она не стала водить поезда на участке Петров Вал — Камышин! Когда началась великая битва на рубежах Волги, ее перебросили на этот участок, отличавшийся от ада только тем, что ад, вероятно, занимал меньшую территорию.

Навстречу каждому составу, двигавшемуся к Сталинграду, враг высылал самолеты. Если им не удавалось уничтожить состав, они вызывали себе на смену следующую группу самолетов.

Теперь Елена кроме инструментов начала хранить на тендере еще и разного размера деревяшки — затычки для пробитого пулями котла.

Не было дня, который обошелся бы без ее поединка с самолетами.

Приходилось ей и тушить пожары, правда, к счастью, в других составах. Бригада Елены — помощник Шведов, кочегар Галега — в шутку называла ее брандмейстером. Но она считала, что настоящие герои не она, а они. Ведь это они орудовали шлангом, сбивая водой пламя, это они лазили на крыши

горящих вагонов. Она же только гнала свой паровоз к брошенному горящему составу — и все!

Однажды она вела состав: тридцать вагонов со снарядами, взрывчаткой и авиабомбами. Вражеские самолеты настигли ее на станции Петров Вал. Вероятно, они не знали, какой у нее груз. Но на станции это знали. И потому, когда из облаков вдруг вывалились пикировщики с черными крестами на крыльях, на путях в мгновение ока не осталось ни одного человека. Даже стрелку некому было перевести.

Однако Елена не оставила паровоза и не полезла прятаться под колеса. Она скомандовала Галеге: «Переведи стрелку!» и вывела состав на перегон. А там она уж — не в клетке станции! Там она перехитрит любого аса!

И перехитрила! И доставила по назначению все тридцать вагонов со снарядами, взрывчаткой и авиабомбами...

В другой раз прямым попаданием разнесло следующую за паровозом теплушку бригады. Елена немедленно отцепила теплушку, а состав увела.

Под Сталинградом Елену ранило. Но она отказалась лечь в госпиталь. И увела свой паровоз только тогда, когда бомба разворотила тендер и без депо было не обойтись. В депо локомотив надо было тянуть на буксире. Но это было недопустимой роскошью. И Елена решила попробовать довести паровоз собственным ходом.

Чем она только не латала изрешеченный тендер! И листами жести, и фанерой, и брезентом. И добилась своего! Паровоз дошел до депо без буксира. (Так бывалый раненый боец непременно сам пытается доползти до перевязочного пункта: бой идет насмерть; разве он посмеет отвлечь и взять себе в провожатые хоть одного из товарищей?!)

Когда Елена попала в Москву — а здесь в это время не было уже ни бомбежек, ни обстрелов,— ей вдруг стало не по себе. Ей не нужна передышка. Она требует, чтобы ее снова послали на фронт...

Доводы ее внимательно выслушали, но послали тем не менее не на фронт, а в тыл. К тому же в глубокий тыл.

Шла зима 1942/43 года. Гитлеровцы перерезали путь к кавказской нефти, еще держали в своих руках Донбасс, Подмосковный угольный бассейн был разрушен. Топливо было нужно как хлеб, как снаряды, как воздух.

Елену послали на дорогу Воркута — Котлас, на путь к печорскому углю.

— Вы еще скажете, что на фронте было легче,— напутство-

вали ее.— Мы посылаем вас на самое трудное дело, и как раз потому, что вы фронтовик.

Да, ей сказали правду.

Морозы достигали пятидесяти, а то и больше градусов. Лицо обжигал морозный ветер. Дорога состояла из сплошных подъемов, спусков и поворотов. Когда Елена добиралась после смены до теплушки, у нее не оставалось никаких сил.

И все-таки рейс за рейсом она увеличивала пробег паровоза без захода в депо. Она увеличила его до семисот километров и проходила их вместо трех суток за одиннадцать часов! Когда она вела состав, на платформы станций высыпали все железнодорожники, чтобы посмотреть на этого механика. Но товарный состав несся со скоростью курьерского — только слава о машинисте летела впереди него...

Елена Чухнюк не знала иного пути к победе.

И она пробилась к ней! Она уходила из Гомеля последней, а вернулась первой. Прошла через бои под Москвой, через вьюги Полярного круга, возвратилась на фронт — водила эшелоны у Курской дуги, была ранена у Тернополя...

С первыми нашими частями вернулась в Белоруссию. Она укрепила на лобовой части паровоза громадную красную звезду и украсила ее зеленью и цветами. К железной дороге, заслышав грохот состава, приближающегося с востока, из России — первого поезда из России! — выбегали советские люди, больше двух лет проведшие под фашистским гнетом. Увидев красную звезду, несущуюся им навстречу, плакали. Но это были слезы счастья, слезы радости, и Елена Чухнюк, думавшая, что навсегда разучилась плакать, плакала вместе с ними...

Вместо родного города она увидела развалины.

Где искать сестру, она не знала. Но — бывает же счастье! — нашлись родители, нашлась и Шура.

* *
*

Каждое утро из троллейбуса на Лермонтовской площади в Москве выходит средних лет женщина, скромно и со вкусом одетая. Она спешит в Министерство путей сообщения.

Это Елена Мироновна Чухнюк. В 1950 году она закончила Московский электромеханический институт имени Дзержинского, и ее направили в Главное управление локомотивного хозяйства Министерства путей сообщения. Здесь она и работает — старший инженер, героиня войны, первая в СССР женщина Герой Социалистического Труда.

ЗЕМЛЯ И НЕБО

I

Приезжайте сейчас в Керчь, и первое, что вы увидите, будет памятник па горе Митридат. Сойдете ли вы с поезда, и рельсы оборвутся у моря, и красные, в сурике, корпуса рыбацких кораблей повиснут над крышами домов на плечах ремонтных стапелей, подвезет ли вас паром с Кубани, и запахи моря окутают палубу, и ровной, как у хорошего лука, дугой изогнется каменистый берег керченской бухты, перед вами выше всего вознесется к солнцу силуэт воинского обелиска.

На гору Митридат сначала вползают окружающие ее улицы. Потом вверх ведут ступени... А с вершины вонзается в безбрежье неба гранитная игла. Над ней пролетают облака и ветры.

Это памятник героям-десантникам.

Было время, когда на древней горе, там, где сейчас ступени и рыжая трава, стояли фашистские батареи и серели глыбы дотов с пулеметными амбразурами. Отсюда захватчики вели огонь по десантным катерам, по нашим пехотинцам и морякам, защищая подступы к Керчи.

Керченская земля хранит в себе множество осколков. Это следы двух десантов.

В первый год войны, в декабре, неспокойные зимние волны Керченского пролива пересекли корабли Черноморского флота, чтобы высадить на уже занятый врагом берег храбрецов и помочь героическим защитникам Севастополя. Крым был оккупирован. У причалов стояли часовые в длинных зеленых шинелях, с наушниками от резких порывов норд-оста на голове, с автоматами на шее. Только Севастополь еще сражался, удивляя весь мир беспримерной стойкостью.

И вдруг на улицах Керчи и Феодосии появились бушлаты.

Десант! Братья защитников Севастополя стремились разделить с ними тяжесть осады, отвлечь огонь на себя.

И многое удалось.

Но силы были неравны. Враг ожесточился. Через несколько месяцев десантники, оставляя убитых, попрятав раненых в катакомбах под присмотром местных жителей и санитаров, прощались с крымским берегом, уплывая через штормовой пролив на подстреленных катерах, на рыбачьих лодках, на бревнах. Многих унесла ледяная вода.

И вот опять пришли великие, тяжелые и тревожные дни. Наступил ноябрь 1943 года. Враг был обложен в Крыму со всех сторон. Войска 4-го Украинского фронта готовились с севера штурмовать Перекоп, перевезти и перетянуть вброд через гнилой Сиваш орудия и кухни. Боевые корабли черноморцев вырывались на тыловые коммуникации фашистов, топили их транспорты между Севастополем и румынским портом Констанцей. А с востока двигалась Отдельная Приморская армия, та самая, которая обороняла Севастополь, под командованием того же генерала — Ивана Ефимовича Петрова.

За это время он из генерал-майора стал генералом армии. Старые бойцы шли мстить за товарищей, за разрушенный город, молодые мужали, учились воевать на их примере.

Армия наша благодаря бессонной работе народа не обессилела, а вооружилась новой техникой, окрепла и уже повсюду гнала врага с родной земли.

Отдельная Приморская сбросила захватчиков с берегов Тамани. Теперь за проливом по утрам перед ней вырисовывались сопки Крыма. Солнце кидало на них рассветные лучи, и сопки за морем фиолетово дымились, а потом отчетливо темнели.

Дорога в Севастополь лежала по воде. Надо было перепрыгнуть пролив.

Издалека, с севера, с Ладоги, пришли на платформах бронированные тендеры, послужившие блокадному Ленинграду. Тупоносые корабли, с пулеметами и пушками, без мачт и палубных надстроек, походили на танки.

Но их было мало, и на помощь явились катера-охотники, мотоботы, возившие легендарных десантников на Малую землю под Новороссийском, и рыбацкие баркасы.

В ночь на 3 ноября все, что плавало, повезло через пролив на Керчь пехоту и артиллерию, пулеметчиков и минометчиков, моряков, вооруженных автоматами и гранатами, и бесстрашных истребителей танков со своими длинными ПТР — противотанковыми ружьями.

Когда суда под покровом темноты достигли середины пролива, на кубанском берегу заговорила дальнобойная артиллерия. Коса Чушка и коса Тузла, размытая волнами на песчаные острова, громыхали стволами, возвещая Крыму начало его освобождения. Вспышки орудийных залпов и огненные вихри разрывов кромсали ту холодную и темную ночь...

Она была штормовой, эта ночь, враг не ждал высадки...

Враг не ждал десанта именно в эту ночь, но вообще-то готовился к его встрече долго, и газеты, и плакаты, которые мы видели потом в Крыму, возвещали хвастливо, что полуостров превращен в неприступную крепость.

Для кого неприступную?

Первая полоска керченской земли, отбитая у фашистов, была километра в три длиной и такая узкая, что одной катушки кабеля хватало, чтобы протянуть связь от берега до передовой. На каждом шагу этой каменистой, осыпанной морскими брызгами и осколками металла земли совершались подвиги.

В темноте командиры нередко теряли своих бойцов, многие падали замертво, не успев отдать команды, десантники, выбравшись из воды, случалось, путали свои подразделения с соседними, но сейчас же вступали в бой. Сами собой возникали боевые группы, смельчаки брали на себя руководство атакой, захватывали траншеи, блиндажи, поворачивали трофейные пулеметы в другую сторону, а там прибегали связные, ставили новые задачи, и пока еще разрозненные удары быстро подчинялись общей воле.

Десант высаживался, мощь его нарастала.

Здесь три бойца во главе с гвардейцем Гулиевым установили пулемет и отражали беспрерывные атаки фашистов. На них бросили бомбардировочную авиацию. Десятки бомб падали с высоты, разворачивая землю. Но пулемет снова заговорил. А может быть, это был другой пулемет? Другие пулеметчики?

Здесь расчет с полузатопленного мотобота вытянул свою пушку из воды на лямках. Скоро пушка уже стреляла. Здесь гранатами моряки — их тогда называли морские пехотинцы — сдержали контратаку врага с участием танков. Здесь саперы провели десантников через минное поле.

А здесь, вот на этой высоте, на рассвете зареял красный флаг. Кто установил его? Пока об этом не знали. Но все увидевшие клочок красной материи, плескавшейся на осеннем ветру, поняли, что десант живет, борется и побеждает, хотя за спиной было лишь несколько десятков шагов твердой земли и четыре километра воды...

Сопка с флагом была крутой, темной, с обрывом в сторону моря и голыми камнями по бокам. И, как многие похожие сопки вдоль моря, не имела названия... Безымянная высота...

Но имя героя, установившего на ее открытой вершине короткий шест с флагом, скоро стало известно. Гвардии рядовой Павел Тарасенко...

Я встретился с ним. Передо мной сидел на кочке у палатки медсанбата худощавый юноша с длинным лицом и большими темными глазами.

— Сколько лет?

— Двадцать два.

— Откуда родом?

— Кубанский.

— Из какой станицы?

— Кореновской.

Постепенно выяснилось еще кое-что... Не новичок на войне. Дрался под Курском. Был тяжело ранен. Служил радистом на батарее. Сначала разбило рацию. Стал передавать донесения сам — где ползком, где бегом. Накрыло снарядом. Подобрали радиста с окровавленной ногой.

Госпиталь, врачи... Посмотрели, говорят:

— Не годен.

И вот он идет по улице родной Кореновской с палкой в руке. Улица почти пустая... Вместо домов там и тут одни печи... А друзья — кто убит, кто воюет... И стал Павел снова думать о фронте, а мать вздыхает:

— Какой из тебя вояка! Хромый!

Отец Паши воевал. Ему не спалось дома. Добился своего — зачислили, хоть и в нестроевую часть.

На фронте, однако, в этом строгого постоянства не бывает. Особенно, если сам хочешь не в обозе ездить, а драться. Сейчас ты обозник, а через час лежишь за бронебойным ружьем.

Павел стал истреблять танки.

— Однако не повезет так не повезет.— Он без усмешки кидает наземь окурок и придавливает тяжелым сапогом.— Опять ранило.

На этот раз в руку. Не так сильно и не так заметно. Хромоты не спрячешь, а с рукой проще. Да и хромать он к этому времени перестал. На фронте вроде бы быстрей подживает.

И вот он стоит перед строем батальона накануне высадки в Крым. Ему вручают флаг на тонком древке, чтобы донести до вершины прибрежной высоты. Весь батальон доверяет ему,

комсомольцу Тарасенко, свою честь. И в ответ на это доверие он находит самые простые и значительные слова.

— Если меня тяжело ранят или убьют, прошу того, кто будет ко мне всех ближе, взять флаг и донести...

Когда катер, зарываясь в шумные волны, пересекал пролив, флаг лежал у Павла под шинелью. Бойцы вокруг, на палубе, курили в рукава, пили горячий чай. И он курил и пил. Потом и курить было нельзя: берег приближался... В воду Павел прыгнул одним из первых. Шинель промокла. И флаг, вынутый наружу, тоже был мокрым.

Фашистов он еще не видел, но стрельба шла сильная. Он выбрал сопку повыше и побежал к ней. Флаг — в левой руке, автомат — в правой. На поясе гранаты — десантник. Гранаты пригодились раньше всего — дорогу пересек немецкий пулемет. Он бил из траншеи. Пришлось ползти туда. В траншею полетело несколько гранат: кто-то еще кидал. Но разве в темноте разберешь кто? Свои! Павел понял, что он не одинок, ему помогали.

Он кинулся дальше. Колючая проволока. Резать нечем. Пули посвистывают вокруг, но бестолково... Он передохнул и стал перелезать через заграждение... Теперь рукой подать до вершины. Впереди мелькнули тени...

Павел вставил древко флага за пояс, в руки взял автомат и, расчищая себе дорогу пулями, двинулся дальше.

Вот и пик. Земля холодная. Он лежит на ней, тяжело дыша. Камни. Он отвалил один и воткнул в землю отточенный конец древка. И снова открыл огонь. С обратной стороны фашисты поднимались на сопку.

Павла нашли раненым возле флага, на вершине высоты, которую десантники скоро стали называть высотой Тарасенко. На красном лоскуте насчитали двадцать две пулевые пробоины. Когда в газетах среди других десантников в списке Героев Советского Союза нашли имя гвардейца, никто не удивился, только сказали:

— Высота!

За этой высотой, в изрытой снарядами впадине, скоро стали садиться самолеты. Они привозили хлеб, боеприпасы и медикаменты, а назад забирали раненых.

II

Когда пролив бушевал — а зимой это случалось часто,— десантники, освободившие Глейку, Жуковку, Капканы, Опасную и десяток других рыбацких сел под Керчью, оставались бы отрезанными от Большой земли, если бы не самолеты...

Катера качались и скрипели у кубанских причалов, а самолеты летали.

Их водили девушки.

Аэродром находился километрах в тридцати от пролива, на виду у станицы Сенной. Собственно, никакого аэродрома не было. Был клочок степи, неуютной, серой, с обгоревшей травой. Живучая полынь росла вокруг сусличьих норок, возле которых ползла под сапогом кучка мягкой, как пудра, земли.

Ветер легко передувал пыль.

Самолеты дрожали на ветру, как стрекозы.

Это были довольно беззащитные, слабо вооруженные «уточки», «кукурузники». Как их только не называли — этих верных тружеников военного неба! «Уточками» — ласково, от заводской марки — «У-2», а «кукурузниками» — шутливо, потому что одна хитрость оставалась им против воздушных пиратов — прижиматься к земле, летать не выше кукурузы. Опасное искусство!

Немцы окрестили эти самолеты не очень почтительно: «русс-фанер». Но частенько разбегались от них и прятали головы, потому что «уточки» использовались не только как транспортная авиация, но и как грозные, неожиданные и точные ночные бомбардировщики. Малая скорость позволяла им бомбить без промаха.

Так вот, работал на «уточках» женский полк. По-существу, девичий. Для грузов и раненых были приспособлены под хрупкими крыльями люльки. Издалека «уточки» смахивали на гидропланы.

В каждой люльке были носилки. Когда летели туда, в Крым, на них клали мешок с мукой, оттуда — раненого, нуждавшегося в срочной помощи. За проливом муку с посадочной площадки у высоты Тарасенко свозили к бывшему рыбацкому стану, одинокому каменному дому, в котором оборудовали пекарню для десантников. Раненых на этом берегу перекладывали в санитарные машины и везли в госпиталь, в Сенную, а там и еще дальше, в тыл.

Это был оживленный перекресток. И странный, как сейчас кажется. Мука, кровь, девушки за штурвалами... Но тогда мы к нему привыкли.

Впервые я пришел на аэродром с фотокорреспондентом нашей газеты Колей Ксенофонтовым. Он сразу залез на гору мешков и стал снимать летчиц. Нам надо было во что бы то ни стало попасть за пролив, и Коля завоевывал их расположение.

Керчь еще не взяли. И казалось, что настоящая война там, а здесь будничная толчея. До настоящей войны было пятнадцать минут лета. Там, у высоты Тарасенко, самолеты садились среди траншей и воронок, солдаты специальной службы разгружали их, хватали за хвост, поворачивали винтом к морю, клали в люльки раненых, махали рукой — пошла! — и летчица отправлялась в обратный путь.

Разбег был крошечный. Взлетали над водой, едва успев оторваться от песчаной кромки. В долине рвались мины, покрывая ее кляксами новых воронок. Над проливом караулили «мессеры». Наши истребители, оберегая девушек, вели непрерывные воздушные схватки. Так и летали...

Море неделю ходило ходуном, в пекарне истощились запасы муки, раненых накопилось... И надежды улететь за пролив у нас с Колей было мало. В таких условиях корреспондент не мог соперничать с мешком муки при всем уважении к духовной пище. Все же мы вертелись вокруг, война научила нас верить в случай.

Летчицы были разные. Одна — крупная, толстоногая, с уверенной походкой — не ходила, а уминала землю ногами, как хозяйка. А кулаки — боксер позавидует. Шлем на голове казался тесным. Кожаные уши его задрались, открывая щекастое румяное лицо. Другая — сбитая, упругая — по-спортсменски вскакивала на крыло самолета, прыгала с него в кабину одним махом и звонко кричала:

— От винта!

Третья — самая маленькая и поэтому обратила на себя наше внимание. Она была как подросток. Белобрысенькая, с короткой стрижкой, с тонкими бровками — будто чуть коснулись острием золотистой кисти, с крохотным острым носиком и несильными ладошками. Только глаза большие, и в них светилось голубое небо.

Небо было сейчас злое, нехорошее. Высокий ветер гнал по нему пыль и, казалось, запылил без остатка все необъятное пространство вокруг. Все небо стремительно летело куда-то со скоростью неудержимого ветра.

И только в глазах у маленькой летчицы стояла безоблачная синь.

Коля Ксенофонтов кричал ей:

— Ася! Ну как наши дела?

Он всегда узнавал все быстрее и легче меня. У него был фотоаппарат, на войне — завидная штука. Каждый фронтовик хотел послать карточку родным и к человеку с фотоаппаратом относился с вниманием.

Ветер, ветер... Самолетики взлетали, всползали на него, как на гору. И сейчас же исчезали из глаз. Иногда они долго прыгали по земле, так долго, будто жаловались: вот стараемся, а никак не можем оторваться с непосильной тяжестью хлебных мешков, но ведь и не оторваться нельзя! И повисали в воздухе на несерьезной высоте. Пасмурная даль поглощала их...

На войне легко не бывает. Но в первые месяцы на том берегу было особенно тяжело. Голый пятачок за проливом, случалось, жил без палки дров, без глотка воды и без хлеба. Но не сдавался!.. Пекарня трудилась день и ночь. А воду доставали из единственного колодца с журавлем, и была эта вода похожа по цвету на клей, а по вкусу — на дубильную кислоту. Соли моря мешались с рыжей землей. Сквозь дыру колодца в глинистую жижу ронял и ронял ведерко послушный журавль.

Фашисты знали про колодец — ведь они сами брали из него воду — и пристрелялись к нему. Ездовые выпрягали лошадей и подкатывали кухни к колодцу на руках. Лошадей берегли, себя — нет. Что же оставалось делать? За водой ходили, как в атаку. Горькая была водица!

Но мы проходили и мимо колодца. Все это стало буднями, бытом. Воду ругали по утрам: не мылилась, хоть не брейся. А героическое шли искать в окопы.

Наш редактор требовал вдохновенного слова о боевом подвиге.

Я пожаловался Асе:

— Если вы не перекинете нас с Колей через пролив, редактор скажет, что мы струсили. Помогите, Ася.

Она пожала плечиком.

Не держи она под локтем кожаного шлема, никогда бы и не подумалось, что она сядет за штурвал.

Но вот и ее самолет загрузили, и она встала с мешка с мукой. После нее осталась крохотная вдавлинка.

Ася улетела. Вернется ли? Мы ждали.

Было неудобно чувствовать себя не у дел, оторванными от общих забот. Мы с Колей стали помогать выгрузке раненых и разговаривать с ними, пока подходили санитарные машины.

Кое-кто просил написать домой. Пять-шесть строк. Мы вырывали листки из блокнота с названием газеты и клали в карманы солдатских гимнастерок. Вероятно, ребятам становилось спокойней оттого, что они как бы сообщали домой: ранен, но жив. Многие переставали стонать, думали: вот доберусь до медсанбата и отдам письмо в руки полевой почты... У многих же семьи были еще за линией фронта, те с завистью смотрели на соседей и молчали...

Вернулась Ася.

Из одной санитарной машины к ее самолету поднесли белые пакеты, какие-то коробки в клеенке.

— Это что? — спросила она.

— Лекарства.

Их ждал медпункт за проливом.

— Куда класть? — спросили солдаты.

— В кассету.

Оказывается, люлька под крылом называлась кассетой.

— А в другую кассету — мешок с мукой? — спросила Ася толстого капитана, перетянутого ремнями.— По такому ветру завалит!

— Сколько в вас весу? — вдруг спросил меня капитан.

Весу было немного, и я на всякий случай сказал:

— Как раз.

Ася хитро улыбнулась:

— Сойдет.

Так я попал в кассету под другое крыло. Меня вдвинули на носилках в пахнущий лекарством и мукой полусумрак и запечатали снаружи. Я видел, что у кассеты есть две прочные защелки по бокам. Какая разница? В самолете все равно не принадлежишь себе.

Весь мир теперь был виден мне в слюдяное окошко размером не больше папиросной коробки. Я видел то кусок пустого неба, то край моря, то половинку строгого лица Аси.

Позже я летал с Асей еще... Нас чуть не сбил «мессер». Ася прижалась к самой воде, а он заходил из одной атаки в другую, и я слышал его нарастающий свист. «Уточка» тряслась как в лихорадке. Вода под нами тянулась длинней, чем всегда. Лицо у Аси было очень злое. Вдруг колеса ударились о землю. Ася дотянула... Сердце мое билось с колокольной гулкостью.

А ведь у маленькой Аси было много таких встреч с «мессерами».

Как-то на аэродроме под Сенной в ожидании загрузки она спросила меня:

— Товарищ капитан, а что, трудно сочинить песню?

Я удивился.

— В самолете иногда петь хочется,— призналась она.— Я ору слова, какие придется. Любые!

Лететь, чувствовать под крыльями две спасенные тобой жизни, спешить, везти к врачам двух незнакомых, но родных людей и знать, что настанет время, когда не надо будет бояться ясного неба, что из-за туч перестанут выныривать «Мессершмитты»... От этого и хотелось петь...

В апреле наши войска пробили вражескую оборону под Керчью и пошли вперед по восточному берегу Крыма. Войска 4-го Украинского фронта успешно форсировали Сиваш и наступали к центру полуострова. Фашисты, превратившие Крым в крепость, очутились в нем как в западне, потому что уже была освобождена и Одесса... Транспорты противника, набитые войсками, шли ко дну... Это был разгром.

На аэродроме, переправляясь в Керчь, я в последний раз увидел Асю. И вдруг подумал: почему же я о ней-то так и не написал в своей газете? Ни строчки! Вот кончилась зима. Покатилась вперед техника, накопленная в укрытиях под крымскими высотами; десантники, удержавшие первый клочок земли, погнали врага. И незначительная, будничная работа на плацдарме стала необыкновенной. Это было терпеливое геройство, выковывающее победу. Я увидел Асю героиней самых трудных дней десанта.

— Ася! — крикнул я.— Увидимся в Крыму!

— Конечно!

Большой самолет, отлетающий на военный аэродром за Керчью, взревел.

— Ася! Я о вас напишу!

Винты работали вовсю.

— Слышите, Ася?

— А я вовсе не Ася!

— Что?

Мы поднялись в воздух. Она только махнула рукой на прощание.

Как же так? Мне Коля Ксенофонтов сказал, что ее Асей зовут. И всегда мы говорили: «Привет, Ася!», а она отвечала: «Привет!» Может быть, при первом знакомстве он ослышался, а она из скромности не поправила?

Ну ладно, разберемся в Крыму!

Внизу тянулась освобожденная земля, исполосованная траншеями, еще в колючей проволоке, с битыми машинами на

дорогах, с развалинами вокруг горы Митридат, на которой скоро встал строгий, отовсюду видный памятник десантникам.

Тогда его еще не было...

С Асей мы не встретились. Девушки-летчицы улетели на своих «уточках» в Белоруссию. Дрались за освобождение Польши. Долетели до Берлина...

Так я и не узнал имени хрупкой летчицы, девочки, которой хотелось петь в небе.

Для меня она навсегда осталась Асей.

ОГНИ ВОЛХОВА

Поезд шел осенними лесами, окрашенными в багрянец; полями, окутанными влажным туманом; мимо поселков, в которых подымались многоэтажные здания, не уступающие ленинградским. Я раньше таких зданий здесь никогда не видал. В вагоне ехал народ все разный: железнодорожные инженеры, занятые автоматизацией связи; грибники, избравшие для своего удовольствия приладожские леса; врачи, назначенные в новую районную больницу, рыбаки в высоких бахилах...

Одни люди входили, другие выходили, а поезд все приближался к местам, памятным моему сердцу. Все было иначе тогда, в ту пору, когда в кирзовых сапогах, в шинелях, набрякших от влаги, с полевыми сумками через плечо хаживали мы, армейские журналисты, по здешним тропам и дорогам. Сергей Наровчатов, Марк Урес, Николай Пожарский — вы помните ли, други?

Я не отходил от окна. Мга... Апраксин, Назия... Мне казалось, что в серой утренней дымке я вижу рабочие поселки на торфяных полях, те самые незабываемые поселки, где обняли друг друга волховчане и ленинградцы, прорвавшие кольцо блокады.

Приближался Волховстрой. Поезд проносился мимо составов, груженных воркутинским углем, череповецким прокатом, печорской нефтью, котласским лесом, а мне вспоминалось, как на этих путях стояли воинские эшелоны, как осенним сумрачным днем завыли сирены железнодорожного узла, как закричали тревожно паровозы: начинался воздушный налет.

Я не отгонял от себя этих воспоминаний: связь времен — великая связь. И сейчас ехал я на Волхов, потому что близилась памятная дата второго рождения Волховской гидростанции.

С собой я вез книгу, которую и вы должны прочесть, если еще не прочли. Я думаю, нет ленинградца, которого оставят равнодушным ее страницы. Эту книгу — «Поднятые по тревоге» — написал Иван Иванович Федюнинский.

Многим о многом напомнит его фамилия.

Осенью 1941 года войска, которыми он командовал, отстаивали Волховскую ГЭС. Нельзя было и помыслить о том, чтобы этот первенец ленинского плана ГОЭЛРО, поднявшийся на волховских берегах, достался варварам в стальных касках вермахта. Бои приближались к Волхову. Гитлеровцы рвались к гидростанции, названной именем Ленина. Пришел приказ: станцию демонтировать. С тяжелым сердцем выслушали волховчане эту невеселую весть.

— Товарищи,— сказал на рабочем собрании старый мастер А. С. Попов,— тяжело. Вот этими руками я ставил плиту под фундамент нашей гидростанции. В какие годы мы ее строили! И чтобы она досталась Гитлеру? Да нет же! Придет время — все опять на место поставим. Наше нашим и будет. А сейчас придется демонтировать оборудование, да поскорей.

И уже с конца октября на гидростанции шел демонтаж основного оборудования — генераторов, щитового управления, масляных выключателей. Каждый день в глубь страны уходили груженые платформы. Машинный зал, просторный и светлый, пустел. В кратеры рабочих колес опущена была взрывчатка.

На станции разместились саперы. Командовал ими старик генерал. Фамилия его — Чекин; он был начальником инженерной службы 54-й армии. Одним тревожным вечером он сел в вездеход с автоматчиком и Ковальчуком, главным инженером станции. Вездеход доставил их в небольшую деревеньку. Там в одной избе их принял командарм Федюнинский, обсудивший с ними меры, необходимые для того, чтобы Волховская ГЭС не досталась гитлеровцам, если...

Понятно, что значило это «если».

Вскоре после этой встречи, о которой рассказал мне Ковальчук, развернулись драматические события. О них поведал сам командарм в своей книге «Поднятые по тревоге».

Ранним утром 12 ноября 1941 года армейский узел связи принял телеграмму Главной ставки, возлагавшей ответственность за определение времени взрыва на командование 54-й армии. Командарм вызвал генерала Чекина, предложил ему безотлучно находиться на гидростанции вместе с подрывниками. Он предупредил его, что приказ о взрыве отдаст ему лично.

«Ждите этого приказа, даже если враг будет находиться у самой станции. Ни в коем случае не торопитесь».

«Я, конечно, понимал всю ответственность, которую брал на себя,— писал Федюнинский.— Ведь упустить время взрыва — значило отдать ГЭС противнику. Но и взрывать электростанцию прежде, чем исчезнет хотя бы маленькая надежда отстоять ее, было бы преступлением... Дело заключалось не только в том, что ГЭС являлась важным военным объектом. Она была гордостью советских людей. Ильич проявлял большую заботу о ее строительстве».

* *
*

Итак, приказ отдан был инженеру армии 12 ноября рано утром, а через несколько часов гитлеровцы пошли в наступление. Они все приближались. Они были уже в нескольких километрах от станции. Наши зенитки били по ним прямой наводкой. Наиболее тяжелый удар принимала 310-я стрелковая дивизия, которой командовал полковник Замировский. Он позвонил командарму, сообщив, что бой идет уже на командном пункте дивизии. Что делать? «Я понял,— пишет Федюнинский,— что он просит разрешения отойти, хотя и не высказывает свою просьбу в открытой форме». Но допустить отход — значит позволить немцам прорваться к гидростанции. И командарм ответил ему:

— Продолжайте драться...

«Замировский молчал. Я слышал в трубке его дыхание и понимал, как ему тяжело. Он ждал от меня другого ответа, но я не мог его дать.— Есть! — наконец медленно и глухо проговорил он».

Командарм положил телефонную трубку, думал свою думу: взрывать станцию или не взрывать; представлял себе, как на станции волнуется генерал Чекин, как, должно быть, прислушивается к пулеметной стрельбе, все приближающейся, как то и дело посматривает на молчащий телефон и требует от связистов проверки линии.

Прошло два часа. Снова позвонил полковник Замировский, испрашивая разрешения доложить обстановку. Голосом уверенным и даже веселым он сообщил, что противник отброшен на километр от командного пункта.

— Хорошо,— ответил ему командарм.— Если за каждые два часа вы будете отбрасывать врага на километр, то к

наступлению темноты ваш командный пункт окажется на нормальном удалении от переднего края.

А станция в те критические часы жила фронтовой жизнью.

О той жизни подробно рассказали мне волховчане. Одни, как и прежде, работали на станции, другие ушли на покой, но всем своим стариковским сердцем срослись с ней. И сменный инженер Тимофей Тимофеевич Громов, и машинист Николай Павлович Лешкет, и плотник Сергей Иванович Железняков, и техник Дмитриева, которую зовут здесь просто Верой, потому что помнят ее еще девочкой,— все они рассказывали, как на станции работали две малые турбины, обложенные бревнами, давая ток железнодорожному узлу, мастерским алюминиевого комбината, поселку Жихарево; как обстреливали гитлеровцы станцию дальнобойками, как на ее территории разорвалось двенадцать снарядов. Они перебивали кабели, разрывали пожарную магистраль, пробивали бетонные перекрытия. Осколки одного снаряда попали в машинный зал, перебили бикфордов шнур, тот вспыхнул, огонь змейкой пополз, уже почти подобрался к мостовому крану, а к нему прикреплена была взрывчатка. Но плотник Железняков обрубил взрывчатку топором, а бригадир слесарей Кузнецов забил огонь своим ватником.

Так работали волховчане на линии огня. А 19 декабря они устроили маленькое торжество, отмечая по традиции первый день пуска своей станции. Они убрали одно захламленное помещение, скололи на полу лед, завесили разбитые окна, затопили чугунку, составили общий стол. Вместе с ними сели за стол наши офицеры. Один из них поднялся и сказал:

— Товарищи, ждите крупных перемен. Наши дела улучшаются.

После этого скромного торжества Тимофей Тимофеевич Громов поднялся на крышу, подивился тишине, тому, что гитлеровцы не обстреливают Волховстрой, увидел зарево пожарищ, полыхавшее над Гостинопольем. Ночь прошла тоже спокойно, а утром все объяснилось: оказалось, гитлеровцев погнали. И больше к гидростанции они уже не приближались.

«Волховская ГЭС осталась далеко в тылу,— писал И. И. Федюнинский.— Вопрос «взрывать или нет?» сейчас уже не стоял. Первенец ленинского плана ГОЭЛРО продолжал выситься на берегу Волхова».

* *
*

Вскоре на станции появились новые люди: ленинградцы. Одной блокадной ночью они собрались в разбитом вестибюле Финляндского вокзала, занесенном снегом, стояли у стенки, чтобы не очень дуло, и ждали.

Их было человек сорок: с «Электросилы», с «Электроаппарата», с Металлического завода, из Ленэнерго. Они уезжали на Волхов по специальному заданию: принимать участие в восстановлении гидростанции. Поезд уже давно стоял на путях — несколько полуразбитых вагонов с обледенелым паровозом, который никак не мог поднять пары. Люди, ожидающие посадки, обмерзли, нашли темную комнату, набились в нее. Через несколько часов паровоз стал шипеть, проявляя признаки жизни. «Пошли, товарищи!» Люди медленно потащили за собой саночки с инструментом и расселись в вагонах с разбитыми стеклами. Нескончаемо тянулась декабрьская ночь ожидания. Время от времени в городе слышались гулкие разрывы снарядов. Часов в шесть утра раздался толчок, другой, поезд, скрипя, двинулся. Подошел он через несколько часов к берегу Ладожского озера. Там ленинградцев уже ждали. Им подали машины. Нагруженные людьми машины спустились на ладожский лед. Прижавшись друг к другу, ленинградцы с безмолвным восхищением глядели на зрелище, открывшееся им: по льду, словно конвейером, шли грузовые машины — с кулями, ящиками, замороженными тушами. Огни фар уходили несколькими светлыми цепочками за горизонт. Вдоль ледовой дороги, уходившей к Большой земле, стояли фанерные будки, вьюга занесла их снегом. Гусеничные тракторы медленно тащили за собой треугольные грейдеры, расчищавшие трассу от заносов. Снежные валы окружали белоствольные зенитки, у которых дежурили расчеты. Где-то высоко в небе пели моторы самолетов. Так вот какая она, эта знаменитая «дорога жизни»!..

Ехали ленинградцы всю ночь. Под утро вновь сели в Войбакало на поезд. Тот к полудню привез их на станцию Волховстрой-II. Здесь было безлюдно и снежно. Есть ли живая душа на гидростанции? И сама гидростанция — что с ней? Цела ли она?

Возле железнодорожной будки показался какой-то человек, должно быть стрелочник. Он сказал:

— Станция цела. Там есть люди, с ними можно созвониться по телефону вот из этой будки.

— Кто говорит? — спросил инженера Локшина чей-то голос с гидростанции.— Кто? Локшин? Александр Михайлович? Откуда? Из Ленинграда? Иду к вам! Сейчас буду.

И вскоре ленинградцы, группой стоявшие на снегу, увидели шагавшую к ним через сугробы высокую фигуру Ковальчука, главного инженера станции.

То была одна из тех встреч, когда люди не знают, с чего начать разговор. Ковальчука поразил изможденный вид ленинградцев, но он и виду не подал.

— Сейчас, товарищи, обо всем распоряжусь...

Пришли сани, на них погрузили инструмент. Кое-кто поехал, остальные пошли пешком. Миновали разрушенный поселок, приблизились к гидростанции, пестро расписанной камуфляжем. Главный инженер повел их не в жилой дом, а прямо в здание гидростанции. Они спустились в подвал, где в прежние времена была кузница. Вокруг горна сидели в полутемноте человек двадцать. Оказывается, здесь они варили себе пищу, здесь спали, отсюда выходили на вахту в машинный зал. Встретили они ленинградцев с трогательным радушием. Кто-то вносил в кузницу койки, кто-то сдвигал столы, кто-то резал хлеб...

В ту ночь Локшин ушел к главному инженеру. Но он не мог спать. Он слушал и рассказывал. Он рассказывал о Ленинграде, а слушал о Волховстрое.

Тем временем, пересекая всю страну, шел из Средней Азии к Волхову эшелон, состоявший из сорока двух платформ, груженных оборудованием гидростанции. Недолго оно пробыло под Ташкентом. В конце декабря М. М. Сидорова, которому доверена была сохранность оборудования, вызвал к себе академик Веденеев, известный гидроэнергетик.

— Хорошие вести, Михаил Михайлович. Волхов восстанавливается. Собирайте людей. Грузите оборудование. Сроки жесткие. Вы назначаетесь начальником эшелона.

И через пять дней этот эшелон вышел с Чирчикстроя. Вспомните: то был декабрь 1941 года, пора боев под Москвой. Но эшелон с машинами шел не на восток, а на запад. Эшелон шел по литере «глаголь», установленной для негабаритных грузов. На первом вагоне прикреплена была особая рама, по которой проверялась проходная способность состава. Он проходил по мостам со скоростью пять километров в час. На небольших станциях остановок не было. Путь от Ташкента до Волхова был пройден в течение пятидесяти дней. Наконец эшелон достиг Волховстроя.

Развернулась большая подготовительная работа. Ленинград помогал возрождению Волховстроя. В промерзших цехах люди, отогревая руки иад зажженными промасленными концами, обрабатывали вручную детали. Пришли из Ленинграда электроды, изоляторы, кабели, смазочные материалы. Поступило кое-какое оборудование, застрявшее у Тихвииа и у Лодейного Поля. Возвращались на свою станцию люди, осевшие в приволховских деревнях. Приводился в порядок мостовой кран, без которого невозможен был монтаж турбин. Расчищались и ремонтировались подъездные пути. Ученые и инженеры Ленинграда разрабатывали способ подачи энергии.

Высоковольтная линия, пройдя через понижающую станцию, должна была у Кабоны уйти на дно Ладожского озера, выйти на противоположном берегу у Осиновца и, пройдя через другую подстанцию, повышающую, направиться дальше к городу, мужествеиио превозмогавшему блокаду.

Итак, по дну Ладоги следовало проложить кабель. Обычные способы прокладки исключались: они требовали времеии, плашкоутов, хорошей, тихой погоды. Не было ии того, ии другого, ни третьего. Зато было задаиие: быстрее дать эиергию Ленинграду! Тогда был разработаи способ прокладки кабеля ночью.

Во тьме от берега без огней отходил караван, состоявший из трех небольших судов: буксира, баржи и тендера. С баржи спускали на дно озера кабель. За четыре ночи уложили четыре «нитки». Наступила ночь, в течение которой следовало проложить последнюю, пятую, «нитку». Но выход судов задержали до рассвета. А в 11 часов утра в просвете между облаками показались восемь немецких бомбардировщиков. Они разделились: четыре пошли в пике на тральщик, четыре — на встречный пароход. Тральщик отстреливался, маневрировал, но в конце концов загорелся от вражеской бомбы.

Но пятый кабель все же проложили. В одной из тех ночных операций принял участие боец, который до войны был художником. Хмурым утром к Большой земле подошел катер, высадил у деревянного причала людей, среди них был и тот художник. Они пересели в грузовики, поехали вдоль пустынного берега, поросшего редким кустарником, увидели в отдалеиии широкую баржу, которая грузно покачивалась на волнах. Свинцовый кабель, намотаиный на барабаи, свисал с ее борта.

Люди вошли по грудь в ледяиую воду, растянулись цепочкой, приняли иа себя кабель, потяиули его к берегу, как тяиули бечеву репинские бурлаки. Под впечатлением этого труда

художник Николай Бабасюк написал картину «Прокладка кабеля», которую, быть может, видели и вы.

В августе монтаж трех главных агрегатов был закончен. Пока они работали на холостом ходу: шло выявление и устранение неполадок, обычных при монтаже. 23 сентября 1942 года дежурный инженер станции дал ток городу Ленина. Первого октября станция начала нормальную работу. Энергетическая блокада великого города была прорвана. В декабре нагрузка станции достигла максимума.

По меткому выражению Г. О. Графтио, строителя Волховской ГЭС, «станция рождалась в грозу и в бурю». И возродилась она тоже в грозу и бурю.

* *
*

Целый день провел я на станции. Н. Севергин, начальник машинного зала, показывал мне ее сверху донизу. В великолепном машинном зале мерно работали все десять агрегатов: восемь главных, два вспомогательных. На одной из стен блестели золотом слова о том, что здесь работают четыре главных генератора, два вспомогательных, восемь мотор-генераторов, созданных русскими силами из русских материалов.

Казалось, все идет на станции как и в прежние, довоенные годы. Но нет: в прежние годы не было автоматического управления агрегатами. Пуск агрегата, взятие нагрузки, включение в систему дежурный инженер совершает поворотом одного ключа (импульса). А если диспетчеру Ленэнерго, дежурящему на Марсовом поле, понадобится включить какой-либо волховский агрегат, находящийся в резерве, он сможет сделать это с помощью управления на расстоянии...

Смеркалось. Над рекой клубились сизые тучи. Станция засветилась дивной жемчужиной, отразившейся в темных водах Волхова. Я возвращался в Ленинград. Опять вагон был переполнен. Народ ехал в нем все разный: усталые грибники, прикрывшие переполненные корзины листьями; топографы, уложившие на верхние полки свой инструмент; инженеры местного алюминиевого комбината; смешливые девушки в челках, в легких платочках, в брюках, которые почему-то полюбились им больше, чем юбки. Одни люди входили, другие выходили, а поезд все несся в темь, в ночь, по земле, овеянной дорогими воспоминаниями. Нет, я не отгонял их от себя: связь времен — великая связь.

ДЕВЯТЬ ГЕРОЕВ

ТИХМЯНОВСКАЯ ВЫСОТКА

Не на каждой карте значится деревенька Шарово, а высотка, затерянная в лесу, на восток от нее, и вовсе не имеет ни названия, ни отметки.

Высотка маленькая, неказистая, и если бы не две сосенки, растущие в обнимку на самой макушке, ее можно было бы легко спутать с другими. Мало ли их, безымянных — лысых, плоских, круглых, фигурных — высоток затеряно на берегах речки Черница, где-то на полдороге между Оршей и Витебском!

Для того чтобы попасть на батарею Тихмянова, нужно перейти через мост, подняться на обледеневший берег, углубиться в лес, миновать высотку.

Третья батарея 12-го минометного полка 43-й минометной бригады прикрывала переправу, а впереди, в боевом охранении, находилась одна неполная рота пехоты.

Пока телефонный провод связывал третью батарею с наблюдательным пунктом, пока «Соболь» переговаривался с «Орлом», Тихмянов был спокоен.

Но утром 25 февраля 1944 года немцы начали артиллерийскую подготовку к атаке и связь нарушилась. Наводчики были предоставлены самим себе, минометы сразу утратили точность, и гитлеровцы смяли боевое охранение.

Расчеты вели ожесточенный огонь. Агафонов, а за ним другие заряжающие бросили рукавицы на снег, потому что стволы раскалились и руки уже не мерзли.

Первая цепь немцев изрядно поредела, но вторая приблизилась настолько, что тяжелые полковые минометы уже не могли вести огонь. Стреляли до самых ближних пределов прицела, мины круто уходили вверх, но и они рвались уже за спинами немцев.

Стало видно, как солдаты в белых балахонах перебегали через просеку, укрывались за пнями, стволами сосен.

— Отбой! — подал команду Тихмянов.

Все кинулись к минометам. Скорей сняться с огневых позиций!

Тихмянов подозвал лейтенанта Ефимова и сказал, стараясь удержать голос от дрожи:

— Уложить по две мины на колесный ход.

Нет приказа горше. Значит, в случае надобности, каждый командир расчета осторожно опустит в ствол одну за другой две мины. Потом он отбежит с расчетом в укрытие, дернет оттуда за боевой шнур, и ствол миномета разлетится на куски. Лучше самим наложить руки на минометы, чем отдать их врагу...

Тихмянов еще мог отступить на восточный берег Черницы, но решил принять бой на высотке. Минометы втащили по склону, спрятали и забросали хвоей, благо веток, срубленных осколками, валялось на снегу много.

Минометчики забрались в траншею, вырытую на самом гребне высотки. Пришлось лишь наскоро возвести бруствер с западного склона. Позавчера в траншее сидели немцы, снег под ногами был утоптан, вокруг чернели вдавленные в снег каски, подсумки, противогазы. Пятна крови еще не присыпало свежим снегом.

— Друзья! — Тихмянов приподнялся над бруствером траншеи.— Позавчера, в День Красной Армии, наши отбили вот эту высотку. Так неужели сегодня мы не постоим за нее до последнего? Правда, высотка без имени и даже рост ее на карте не указан. Но она — наша! Отдать высотку — отдать переправу. Как же мы будем смотреть в глаза друг другу и тем героям, которые эту высотку отвоевали?

— Хватило бы боевого питания,— деловито откликнулся старшина Нестеров, самый запасливый человек на батарее.

Нестеров не любил воевать, как он выражался, «натощак». Он был обвешан гранатами и подсумками так, что непонятно было, как его поясной ремень выдерживает подобную тяжесть.

Апыла Джаманбаев в ответ крикнул по-киргизски и тут же перевел:

— Не будем отдавать родная земля!

Апыла еще плохо говорит по-русски, но умеет разобрать миномет до винтика и быстро собрать его. Он умеет «построить веер», подготовить данные для стрельбы, оборудовать огневую позицию. Но к чему сейчас его умение, если миномет лежит ря-

дом с ним без дела? Он с тоской посмотрел на хвою, в которой спрятан миномет, и поискал глазами Тихмянова. Что же будет дальше?

Джаманбаев воевал под командой Тихмянова давно, побывал с ним в разных передрягах и доверял ему безгранично. Он помнил, как Тихмянов вел себя, когда был ранен в последний раз. Вместо медсанбата, Тихмянов отправился на соседнюю батарею, чтобы «передать огни», сообщить засеченные им цели. Каждый шаг давался с трудом, повязка насквозь пропиталась кровью, но он все-таки доковылял до батареи и успокоился лишь после того, как там «приняли огни»,— теперь соседи могли стрелять по целям, которые он засек и пристрелял.

До того как Леонид Тихмянов стал минометчиком, он успел два года повоевать в пехоте — ходил в штыковую атаку на Березине, лежал за пулеметом под Серпуховом, ходил в разведку под Воронежем.

Гарнизон высотки имел опытного командира, и все это быстро почувствовали. Тихмянов заново расставил по траншее тридцать семь человек, отдал приказ всем проверить оружие, автоматчиков перевел на фланги, сам приготовился к бою. Ему стало жарко, он расстегнул ворот полушубка и отер пот со лба.

Когда немцы подползли к подножию высотки, их встретили огнем. На левом фланге, где сосняк подступал близко к гребню высотки и где было опаснее всего, находился Тихмянов.

Одного гранатометчика в белом балахоне Тихмянов подстрелил метрах в тридцати от траншеи. Нестеров дополз до фашиста и приволок его гранаты с длинными ручками — пригодятся!

Группа немцев попыталась подобраться к траншее с тыла, со стороны Черницы. В самый критический момент над бруствером показалась тоненькая даже в тулупе мальчишеская фигура военфельдшера Сергея Богомолова, восемнадцатилетнего комсорга дивизиона.

Сквозь разрывы гранат доносился его звонкий, по-юношески ломающийся голос.

Дальше и точнее всех бросал гранаты силач Агафонов, в прошлом волжский грузчик. А старшина Нестеров приспособился швырять трофейные гранаты с длинными ручками.

Богомолов откладывал санитарную сумку и брался за автомат, полз с бинтом в руке к раненому, а по пути успевал швырнуть гранату, другую.

После второй атаки в траншею приползли разведчики. Вести неутешительные: лесок между высоткой и берегом

Черницы, а также переправа захвачены немцами, батарея окружена.

Тихмянов приказал разведчикам: с наступлением сумерек пробраться на соседнюю батарею и вызвать огонь на высотку. Траншея глубокая, с двусторонним бруствером, она должна уберечь минометчиков во время залпов.

Все боеприпасы в минуту затишья разделили поровну. На каждого пришлось по двадцати патронов и по три гранаты.

Минометчики вели прицельный огонь и третью атаку немцев также отбили. Тихмянов расстрелял весь диск автомата и взял карабин убитого Хасанова.

Немцы накапливались в сосняке, готовясь к новой, четвертой по счету атаке, но в этот момент заговорила наша минометная батарея.

«Добрались мои орлы!» — обрадовался Тихмянов.

Лес тяжело загудел, эхо разносило звуки разрывов. Дымное облако повисло над высоткой. Тяжелые мины срезали верхушки сосен или выкорчевывали их, расщепляли стволы, рубили сучья, ветви, рвали мерзлую землю, и снег вокруг чернел от минного пороха быстрее, чем от наступающей темноты. К счастью, ни одна мина не разорвалась в траншее, где сидели минометчики. А мины, которые рвались на склонах, у подножия или на подступах к ней, не были страшны защитникам высотки. Осколки летели поверх голов. Спасибо немцам, что они отрыли такую глубокую и узкую траншею!

Немцы несли серьезные потери. Они начали отходить, и вскоре наступила долгожданная минута, когда Тихмянов приказал:

— Минометы — к бою!

С каким счастливым нетерпением номера расчетов устанавливали и заряжали минометы, на которых еще лежала хвоя елей! У Тихмянова дрожали руки, так ему не терпелось открыть огонь.

Первыми пошли в дело, одна за другой, мины, которые лежали на колесном ходу, те самые мины, которые должны были в случае чего разорвать стволы минометов.

У иных бойцов на перевязи руки, забинтованы головы, иные опирались на сучья, как на костыли. Но тридцать два человека хлопотали у минометов — подносили мины, заряжали, наводили, дергали за боевые шнуры.

Богомолов обошел всех тяжелораненых, сделал напоследок перевязку раненному в грудь Апыле Джаманбаеву и закрыл изрядно опустевшую санитарную сумку.

Нестеров долго лазил по склонам высотки и вернулся увешанный трофейными автоматами так, что сгибался под их тяжестью. Автоматы раздали всем номерам расчетов — пригодятся!

Перед тем как сменить огневую позицию, Тихмянов и Богомолов поднялись на высотку. На ее гребне, у подножия двух сосен, растущих в обнимку и чудом уцелевших в этой огненной метели, чернел могильный холм — последнее и уже вечное укрытие минометчиков Хасанова и Вазиева.

На склонах высотки, у ее подножия и вокруг нее насчитали двести пятьдесят девять фашистских трупов...

Когда-то, лежа в госпитале, Тихмянов огорчался, что фронтовая судьба забросила его так далеко от родного Ленинграда, где на Кировском заводе работал его отец, что ему не пришлось защищать свой любимый город. А сейчас не было для него на всей планете клочка земли дороже и роднее, чем этот.

Тихмянов в последний раз окинул взглядом неказистую высотку с двумя сосенками на опаленном гребне.

Об этой высотке ничего не будет сказано в очередной сводке Совинформбюро, но все-таки через нее, через эту высотку, лежит путь к какому-то большому городу, к какой-то столице.

Испокон веков высотка на берегу Черницы жила без имени, но с некоторых пор люди, живущие и воюющие в этих местах, называют ее Тихмяновской высоткой.

Белоруссия, южнее Витебска.
Февраль 1944 года

* *
*

16 мая 1944 года старшему лейтенанту Леониду Павловичу Тихмянову присвоено звание Героя Советского Союза.

3 июня 1944 года младшему лейтенанту медицинской службы Сергею Александровичу Богомолову присвоено звание Героя Советского Союза.

ПЯТЕРО В ЛОДКЕ

Ладони полные воды твоей набрав,
Мы припадали к ней горящими устами.

Адам Мицкевич, «Неман»

Неман светился в просветах зелени почерневшим серебром. Предутренний туман скрывал линию западного берега. Неман казался безбрежно широким, и от этого одного щемило сердце. Хорошо хоть, что в сером небе видны верхушки сосен на том берегу!

Все пятеро торопливо сняли с себя каски, разулись, разделись и аккуратно сложили одежду на прибрежном песке. Потом все закинули за спины автоматы. Голый Петраков подпоясался, прихватил поясом ремень автомата, подвесил к поясу гранаты, запасные диски, и, глядя на него, так же подпоясались еще четверо.

Резиновая надувная лодка с округлыми бортами и плоским дном ждала в лозняке на берегу.

— Пора! — сказал Петраков и взялся за причальное кольцо лодки.

Все сбежали к реке, держа легкую лодку на руках. Мокрый холодный гравий колол ступни.

Лодка закачалась на воде. За весла сел широкоплечий, большерукий Степан Васечко, ему было приказано грести тихо — без плеска, без шлепанья. Поближе к Васечко, готовые в случае чего сменить гребца, уселись взволнованный Кожин и беззаботный, даже веселый Кочеров. Сапер Моисеев — пожилой, молчаливый человек — устроился, свесив ноги, на носу лодки.

Петраков еще раз из-под ладони поглядел вперед и опять ничего не увидел за туманом. Черные тени елей, стоявших на обрыве за его спиной, отражались в реке, как в пыльном зеркале. Дальше, за верхушками елей, на матовой поверхности воды обозначались рябыми пятнами водовороты.

— Поехали, товарищи,— сказал Петраков спокойно, обыденным тоном, будто собрался с приятелями на рыбалку или просто так решил покататься на лодке.

Он спихнул корму лодки с песка и залез в нее уже на ходу.

Васечко выгребал против бурного течения, чтобы лодку не слишком сносило. Скоро стали отчетливо видны сосны и крутой берег, к которому они плыли.

Прошло еще несколько минут; немцы заметили лодку и открыли огонь из пулемета. Одна пуля расщепила весло в руке у

Васечко, вторая пробила резиновый борт. Лодка угрожающе зашипела. У предусмотрительного Моисеева был привязан к поясу индивидуальный пакет. Он принялся затыкать им пробоину и едва закончил работу, как пуля попала ему в ногу. Кровавая струйка стекала по ноге, но перевязать ее было нечем. Моисеев, кривясь от боли, придерживал рукой бинт, торчащий пробкой из пробоины.

Пули секли воду рядом с утлым суденышком, вздымали фонтанчики, скакали рикошетом по поверхности реки.

К корме лодки был привязан трос, свитый в четыре нитки из пунцового трофейного кабеля. Конец этого троса надо было во что бы то ни стало доставить на тот берег. Только держась за этот трос, натянутый под быстрой водой, смогут форсировать реку пехотинцы в намокшей одежде и в сапогах, навьюченные оружием и боеприпасами. От троса зависит успех всей переправы. И если в лодке уцелеет хотя бы один из пятерых, он свяжет оба берега этим тросом.

Васечко греб одним веслом, а обломок второго отдал Кочерову. Оба старались изо всех сил, но лодка попала на быстрину и к берегу подвигалась медленно. Тяжелый трос, опущенный в воду, то и дело цеплялся за подводные валуны. Яростная сила течения увлекала лодку за собой.

«Интересно, во сколько же раз Неман шире нашей Мокши?» — вдруг подумал Петраков.

Мокша, приток Оки, протекала около родной деревни Сарма Вознесенского района Горьковской области.

К счастью, утро было пасмурное, или, как говорил Петраков, «смарное». По-видимому, немец-пулеметчик часто терял цель. Лодку сильно сносило течением. В этом была опасность, потому что троса могло не хватить. Но это же могло и спасти: ниже по течению берег был круче, и лодка попадала под его защиту.

Еще десяток-другой весельных взмахов — и лодка, не дойдя метров сорока до берега, оказалась в мертвом пространстве. Пули шли поверх голов.

— Пулемет считать недействительным! — весело объявил Кочеров и от восторга выругался.

Между тем пробоина давала себя знать все сильнее, бинт не держал воздуха. Борта резиновой лодки стали дряблыми, она все больше погружалась в воду. Петраков боялся утопить трос и приказал добираться до берега вплавь, тащить лодку с Моисеевым за собой.

Первым из воды вылез Кочеров. Не поднимаясь на заросшую сосняком кручу, Петраков с тросом в руках пошел по воде

вверх по течению. Он облюбовал могучую сосну, стоящую на песчаном обрыве, вскарабкался наверх и захлестнул трос вокруг ствола. Все четверо натянули трос потуже — кто уперся голыми пятками в корневище, а кто плечом в шершавый ствол сосны — и закрепили трос накрепко.

Что же касается Моисеева, то он остался лежать за корягой у самой воды.

Петраков понимал, что немцы вскоре их обнаружат. Трос выдавал местопребывание десантников, но он же указывал своим их точные координаты.

Вначале Петраков хотел занять у подножия сосны круговую оборону, но затем рассудил: лучше отойти от нее подальше, чтобы самим не стать мишенью и чтобы простреливать с двух сторон подступы к сосне. А если немцы попробуют подобраться к сосне со стороны реки, прячась за крутым обрывом, их встретит внизу Моисеев. Кроме того, следовало ввести немцев в заблуждение относительно численности десанта: стрелять из леса, все время меняя свои позиции.

Наши пушки и пулеметы надежно прикрыли десант и дали «окаймление огнем». Лес вокруг гудел от разрывов.

Кожин и Петраков забрались в пустые немецкие окопы, а Кочеров и Васечко залегли в куче валежника с другой стороны сосны.

Петраков сидел в окопе спиной к реке. Он всматривался в близкий, полный опасностей лес, но при этом то и дело в тревоге оглядывался, будто краснотелая сосна, на которой алел драгоценный трос, могла сойти с места, или ее могло вырвать с корнем, или трос, впившийся в рубчатую кору, мог развязаться сам собой.

Отряд немцев пытался пробиться к сосне, и здесь, у ее подножия, закипела горячая схватка. Десантники пустили в дело свои гранаты и восемь гранат, которые они нашли в покинутом немцами окопе.

Воевали все нагишом, и противное ощущение беззащитности, когда по тебе, по голому, стреляют, не покидало Петракова и его товарищей.

Вскоре отряд противника отступил в лес, а вокруг сосны остались лежать шестеро убитых врагов и раненый Кожин.

Попытку немцев подойти к сосне со стороны реки отбил раненый Моисеев, лежавший в засаде за корягой.

«Чудно! — подумал Петраков, ежась от холода и оглядывая поле боя.— Живые нагишом, а мертвые в одежде».

К этому времени от восточного берега под сильным огневым прикрытием уже отчалил первый плотик. Кожин видел, как бойцы на плотике торопливо перебирали руками трос, но от нетерпения ему казалось, что плотик без толку торчит посередине реки и — ни с места.

Вскоре плотик подошел к берегу, и Петраков узнал в одном из четырех бойцов, соскочивших на мокрый песок, Куринского, своего друга, тезку и одногодка, постоянного соседа по окопу и на марше.

Куринский, Кочеров, Васечко и Кожин — ученики Петракова. Он обучал их военному делу в запасном полку, ехал с ними на фронт, водил их в первый бой. И командиру и его бойцам по двадцати лет, все они комсомольцы, но Петракова уже называют в роте Иваном Ильичом. Этот невысокий паренек, не по возрасту солидный в словах и движениях,— бывалый солдат.

— Утонул ваш гардероб. Везли и не довезли. Смыло водой,— успел сообщить Куринский.

Петраков только махнул рукой и приказал Куринскому и другим солдатам открыть огонь из ручных пулеметов вдоль берега, по кромке леса, чтобы отогнать врагов подальше в чащу, лишить их возможности вести прицельный огонь по переправе.

Держась за спасительный трос, солдаты переправлялись на плотиках, плащ-палатках, набитых сеном, на половинках ворот, снятых с петель, на бревнах, связанных попарно обмотками и поясными ремнями, на бочках и пустых снарядных ящиках, тоже связанных вместе.

Один немецкий пулемет никак не удавалось заглушить, и время от времени какой-нибудь солдат безжизненно разжимал пальцы, держащие трос. Если солдат был ранен, его подхватывали товарищи и волокли за собой, борясь с течением.

Рыжеволосый Анатолий Рыцарев, парень из Вязьмы, сидел верхом на бревне, за спиной у него висел телефон.

— Имей в виду, что я — «Алтай»,— сказал Рыцарев своему соседу, перебирая руками трос.— У меня к ноге провод привязан. В случае чего хоть мертвого вытаскивай меня на тот берег.

Но вот уже прибыли на плоту «максимы», причалил на лодке комбат, приплыли санитары. Они перевязали и согрели водкой окоченевшего и ослабевшего от потери крови Моисеева, лежавшего на песке за той же корягой, перевязали Кожина и других.

«Алтай» уже требовал переноса огня вперед, вдогонку за противником.

Командир батальона капитан Онусайтис выбрался на берег, и ему навстречу поспешил командир взвода Петраков.

Петраков, стоя по команде «смирно», доложил о выполнении приказа. Он сделал это так лихо, будто дело происходило на учении в лагерях, будто не стоял он в чем мать родила, пытаясь унять дрожь и стуча зубами от холода.

Онусайтис обнял Петракова и сказал взволнованно:

— От всего батальона...

Онусайтис был бос; светлый чуб, намокший от крови, прилип ко лбу (осколок мины разрезал козырек фуражки и слегка оцарапал голову).

Комбат еще раз оглядел Петракова и покачал головой. Ноги у того были сбиты в кровь, а руки он раскровянил, когда углублял окоп: ни лопатки, ни каски, ни штыка у Петракова не было. Он то и дело облизывал сухие, запекшиеся губы, видимо его мучила жажда.

— Герои, а голые. Как в бане!

Комбат указал рукой на пустой плот, привязанный к тросу, и распорядился:

— Езжайте все пятеро. Теперь и без вас управимся. Старшина вас оденет. Согреетесь. Отдохнете.

Пятеро погрузились на плот, доставивший миномет, и отчалили. Моисеев лежал, не шевелясь, с забинтованной ногой. Васечко и Кочеров перебирали руками трос.

— Как в раю жили. Чем не Адамы? — Кочеров кивнул на западный берег.

Кожин с забинтованной головой сидел на краю плота.

— Какую следующую реку будем форсировать, Иван Ильич? — неожиданно спросил он.

— Наши реки как будто кончились.

— Значит, теперь за иноземными реками черед?

— Как дважды два.

— Наверно, и вода у них какая-нибудь не такая, как у нас.

— Вода всюду одинаковая. Только люди ее мутят и пачкают,— подал голос Моисеев, не открывая глаз.

— Вы имейте в виду, я к следующей переправе обязательно поправлюсь,— твердо сказал Кожин.— Так что и для меня местечко в лодке оставьте.

— У нас лучше, чем на пароходе. Все места плацкартные,— весело откликнулся Кочеров, перебирая руками витой пунцовый трос.



Освобожден еще один город — и снова в путь, солдаты...



Дождалась...



В родной Севастополь!

— Так и быть, по знакомству место устроим,— солидно сказал Петраков. Он подтянулся на руках к краю плота, зачерпнул полные ладони воды и с наслаждением выпил ее.

Литва, Алитус.
Июль, 1944 года

* *
*

24 марта 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза гвардии красноармейцу Васечко Степану Павловичу, гвардии красноармейцу Кожину Павлу Петровичу, гвардии сержанту Кочерову Виктору Фомичу, гвардии сержанту Моисееву Александру Петровичу и гвардии старшему сержанту Петракову Ивану Ильичу.

ЛЮБОПЫТСТВО

Последние обороты винта. Лопасти его, еще минуту назад незримые в ревущем, крутящемся вихре, сейчас движутся лениво, нехотя, и кажется, что они рассекают воздух с большим трудом.

Самолет подруливает по кочковатому полю к стоянке. Летчик откидывает прозрачный колпак у себя над головой, подымается с сиденья и легко спрыгивает на землю. Весеннее солнце уже просушило землю, но она податлива, и каждый шаг оставляет на ней след.

Летчик снимает тугой шлем, пригладивший волосы, и вертит шеей так, будто ему жмет воротник. На шее видны красные пятна от ларингофона.

Только что, под прозрачным колпаком, в шлеме и с ларингофоном, он был условно занумерованным «Ястребом», «Орлом» или «Арканом», а сейчас на земле он вновь Митрофан Алексеевич Ануфриев, рослый и статный двадцатитрехлетний человек в звании капитана.

На нем просторная, кожаная, на меху куртка и кожаные брюки, такие крупнокалиберные, что Ануфриеву они почти по грудь. Со всех сторон блестят застежки «молнии», будто в кожаном костюме совсем нет обычных швов.

Ануфриев оглядывает машину, ласково похлопывает рукой по крылу, точно это шея лошади. Затем он еще раз оглядывает машину и идет уже не оборачиваясь, легко ступая по летному полю.

У самолета остается хлопотать механик Старостин. Он всегда приходит к машине первым, чуть свет, уходит последним, и ночью его фонарик часто мелькает у машины. Старостин из тех неуемных и заботливых механиков-хлопотунов, у которых руки вечно в машинном масле и которые летом спят под крылом самолета.

Я давно слышал о прославленном разведчике-истребителе Ануфриеве, но познакомился с ним только сейчас вот, когда он вернулся из своего четыреста двенадцатого боевого вылета.

Несколько минут назад Ануфриев был над Кенигсбергом, он пролетел над центром города, вдоль набережной реки Прегель, над Северным вокзалом, над кривой сетью узких уличек и переулков в северном предместье, застроенных домами с островерхими крышами.

Изо дня в день ведет он разведку города, который превращен немцами в крепость, в один сплошной дот.

Уже опрошены сотни пленных, местных жителей и вчерашних невольников, сбежавших из лагерей и от хозяев.

Укрепления противника изучены по планам и путем наблюдения. Где-то в штабе фронта изготовили деревянные макеты форта Понарт, захваченного в конце зимы. Офицеры, которым предстояло штурмовать подобные форты, охраняющие подступы к Кенигсбергу, часами просиживают над макетами.

Наконец, уже построен макет всей крепости и города. Над этой игрушечной крепостью часами просиживают генералы.

Ждали ясной погоды, чтобы при штурме можно было в полной мере использовать мощь авиации.

В этих условиях каждый разведывательный полет, новые, самые последние сведения о противнике, приобретали огромную ценность, и Ануфриев делает все, чтобы узнать о гарнизоне крепости как можно больше.

— Как сегодня зенитки? — спрашивают Ануфриева летчики.

— Стреляют, не стесняются.

— А что нового в гавани?

— Наши опять огоньку подбросили. Дым. Воды совсем не видно.

Сегодня это второй вылет Ануфриева в район Кенигсберга. Помимо города он успел прогуляться вдоль косы Фриш-Нерунг, наведаться в порт Пиллау.

Ануфриев очень любопытен, это, пожалуй, самая отличительная черта его характера. Ему хочется знать, что делается у причалов Пиллау, и что нового там на аэродроме, и что проис-

ходит на товарной станции Кенигсберг, и кто движется по дорогам к линии фронта, и какие улицы перегорожены баррикадами, и как выглядит с воздуха каждый форт.

До всего ему дело, все ему нужно разузнать, высмотреть, выпытать, подглядеть, запомнить.

Немцы не любят и очень боятся опасного и назойливого воздушного наблюдателя. Его встречают сильным огнем, и грязные облачка зенитных разрывов часто отмечают его маршрут. Бывает, воздух от близкого разрыва бьет в крыло, бывает, осколки пробивают плоскость или фюзеляж. А зимой, во время полета над Шакяй, в Литве, был ранен осколком и сам Ануфриев. Бывает, что в задачу разведки входят «прогулки» над немецким аэродромом или другим важным объектом, который буквально огорожен огневым заслоном зениток. Но никакой обстрел не пугает Ануфриева, когда он выполняет боевое задание.

Уже много дней Ануфриев летает только в район Кенигсберга и на Земландский полуостров. Для порядка карта-двухкилометровка всегда лежит у него в планшете, но Ануфриев редко в нее заглядывает. Он летал сюда десятки раз, изучил местность наизусть. Ануфриев знает теперь Кенигсберг, так сказать с птичьего полета, лучше, чем свой родной Липецк, где на улице Парижской коммуны, в доме № 43, живет его отец, почтовый сторож.

Выражение «с птичьего полета» подчас служит и для определения чего-то крайне поверхностного, небрежного. Однако Ануфриева, когда он видит врага с птичьего полета, никак нельзя упрекнуть в этом. Он обнаружит орудия по треугольникам пожелтевшей травы перед их стволами. От него не скроются танки, если они и замаскированы в виде копен сена. Он всегда отличит настоящий аэродром от поддельного. У него натренированная зрительная память, он замечательный мастер визуальной разведки.

Ануфриев — человек отчаянно смелый и драчливый в небе. Но как часто он улепетывает от немецкого истребителя! Он не имеет права азартно ввязываться в воздушный бой, не смеет без нужды рисковать добытыми сведениями, сделанными фотоснимками.

В начале войны, еще когда Ануфриев летал на разведку Юхнова и мостов через Угру, он очень огорчался каждым вынужденным отказом от боя. Мысль, что какой-то немец-летчик может подумать о нем как о трусливом противнике, приводила его в негодование. В то время он не раз подумывал о перемене своей воздушной специальности.

Позже Ануфриев излечился от ложной романтики и понял, в чем заключается мудрость его профессии. Пусть немец, от которого он улепетывает, думает, что имеет дело с трусом, «слабаком»,— Ануфриеву это совершенно безразлично. Он озабочен только тем, чтобы выведать как можно больше и сообщить об этом командованию быстрее и обстоятельнее.

Конечно, Ануфриев не упустит возможности сбить противника внезапной атакой, и зазевавшийся «мессер» от него не уйдет. А в воздушном бою, который ему навяжут, он будет сражаться с великолепным мастерством и яростью. Ануфриев, вынужденный обстановкой, сбил уже семь самолетов, провел десятки воздушных боев.

Один из этих боев разыгрался несколько западней Кенигсберга, когда Ануфриева и его напарника, старшего лейтенанта Сычева, атаковали восемь «мессеров». Ануфриев вовремя заметил противника, умело маневрировал и вовремя сумел выйти из боя.

Он интересуется главным образом землей, но при этом должен следить и за воздухом, чтобы в хвост не пристроился какой-нибудь «мессер».

В день, когда я познакомился с Ануфриевым, погода благоприятствовала разведке. А как часто он летал на разведку в туман, в опасное ненастье! Зимой на подступах к Кенигсбергу ему приходилось летать, когда высота облачности не превышала ста — ста пятидесяти метров, а видимость по горизонту — одного километра. Хуже не бывает, такая облачность оценивается синоптиками в десять баллов, а летчики про такую погоду говорят: «Консолей не видно».

Машина Ануфриева покрывает километр в шесть-семь секунд. Можно себе представить, как трудно ориентироваться летчику на бреющем полете. И вот в сплошном тумане, когда кажется, что самолет с трудом продирается сквозь белесую плотную завесу, Ануфриев нашел шесть танков в засаде и увидел противотанковые батареи немцев по дороге к фронту.

За его плечами три года воздушной разведки. Первый боевой вылет он совершил над городком Остров. Затем Юхнов, Вязьма, блестяще выполненное задание командующего фронтом по разведке обороны в районе Ельни, дальше Орша, переправы противника через Неман. И вот, наконец, разведка чужой земли, полеты в чужом небе, над «котлами», поверх которых стелется дым пожаров, визиты в Кенигсберг и Пиллау.

Вечное неутолимое любопытство по-прежнему самая отличительная черта его характера.

После очередного вылета Ануфриев зашел в столовую, уселся за стол и пробежал глазами меню. Рядом с ним обедали летчики, вернувшиеся на аэродром несколько раньше. Они уже покончили со вторым блюдом и принялись за компот.

— Как там, в Пиллау? Баржа у крайнего причала еще стоит? — спросил сосед у Ануфриева.

— Потопили.

— А паровозы на товарной станции дымят?

— Все дымит: и паровозы, и вагоны, и склады. Штурмовики только что оттуда вернулись.

— Тогда порядок,— удовлетворенно заметил сосед Ануфриева и встал из-за стола.

— Вот пообедаю, пойду посмотрю, что там нового,— сказал Ануфриев.

Он сказал это так, будто речь шла о прогулке по аэродрому, а не об очередном, четыреста тринадцатом боевом полете над Кенигсбергом.

Восточная Пруссия. Хайлигенбайль.
Март 1945 года

* *
*

19 апреля 1945 года капитану Ануфриеву Митрофану Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

СЕМЬ ВСТРЕЧ

Сперва по воду ездил рыжебородый немец, затем его сменил немец в очках. Может, сменился весь полк? Однако лошаденка, впряженная в сани с бочкой, все та же — низкорослая, с вечно опущенной мордой и оглоблями, которые для нее слишком длинны и сильно торчат вперед.

Можно было, конечно, подстрелить, или, как говорят снайперы, снять, и того рыжебородого и того в очках. Но это лишь испортило бы дело.

Прошло еще несколько дней, и на бочке снова восседал, сутулясь и ерзая, рыжебородый водовоз. Теперь уже Булахов был уверен, что имеет дело со старым, давно знакомым противником.

Этот противник оборонялся с яростным ожесточением, и полку, который понес в боях под Кенигсбергом большие потери и

сильно поредел, приходилось подчас очень туго. Здесь действовали танки немецкой дивизии «Великая Германия», тоже старые, недоброй памяти знакомые Булахова.

Туманным беззвездным вечером 28 февраля внезапная контратака немецких танков едва не закончилась трагически для всего штаба полка. Булахов считает, что он допустил оплошность: не эвакуировал принудительно местных жителей. И вот кто-то из штатских немцев совершил диверсию, поджег сараи в деревне, осветил поселок Годринен и ослепил наших артиллеристов. Штаб оказался в окружении, его отрезали от батальонов и от тылов. Позже обороняющиеся остались без патронов и гранат. Единственный путь спасения — через горящий сарай. Булахов, как все, надвинул шапку на глаза, закрыл уши, поднял воротник шинели и рванулся сквозь огонь, сквозь знойный едкий дым. А пройти нужно с открытыми глазами, чтобы не сбиться с направления и не споткнуться о горящие стропила, которые уже рухнули. Впереди пробирались два разведчика, за ними Булахов, еще несколько штабных офицеров, связисты. Прикрывал отход штаба геройский майор Семенов с группой автоматчиков. Позже подошло восемь наших самоходных орудий. Полустанок отбили, когда сараи уже догорали, но на улице стало еще светлее, потому что теперь ярким пламенем горели немецкий танк и четыре цуг-машины...

Булахов прожил со своим штабом у железнодорожного полустанка Годринен месяц с лишним и успел досконально изучить участок будущего наступления — восемьсот метров по фронту. Полк занимал позиции к югу от крепости, между восьмым и девятым фортами.

Немецкие пушки, пулеметы и даже снайпер, сидящий под сгоревшим танком,— все были засечены, все были взяты на заметку. Но их не спешили спугнуть, по ним не стреляли и всем режимом огня хотели показать свою неосведомленность и отсутствие наблюдательности.

Всего Булахов нанес на свою карту девятнадцать огневых точек и несколько минных полей. Как и все другие командиры полков, изготовившихся к штурму, он не жаловался на недостаток артиллерии. На каждую из девятнадцати огневых точек нацелилось по три орудия, поставленных на прямую наводку.

По крупицам, по деталям накапливал Булахов сведения о противнике, и такую же дотошную разведку и наблюдение вели десятки других командиров полков и батальонов, соседей слева и соседей справа.

Я нашел своего старого знакомого Алексея Анисимовича Булахова в подвале дома на командном пункте полка. Это была наша шестая встреча на фронтовых стежках-дорожках.

* *
*

Еще во время боев на западном берегу Оки, под городком Алексином, прославился бесшабашной удалью младший лейтенант Алексей Булахов. Вместе с сержантом Осетровым и красноармейцем Бессмертным он ночью ворвался в деревню Левшино, занятую противником. Три смельчака отбили деревню и уничтожили при этом пятнадцать фашистов. Они захватили два станковых и пять ручных пулеметов, захватили двадцать две тысячи патронов и продолжали бить гитлеровцев трофейным оружием. Тогда в дивизии стала популярной песня о героях-булаховцах «Все в порядке» (это любимое присловье младшего лейтенанта). Дивизию перебросили под Тулу из Казахстана, и, помнится, лицо Булахова было не по-зимнему смуглым, оно хранило следы загара и в декабрьские морозы.

Позже в 5-й армии приобрел широкую известность подвиг семнадцати, и тогда я встретился с Булаховым вторично. Семнадцать пехотинцев под командой сержанта Лихачева удержали важный рубеж близ Можайского шоссе; это были бойцы из батальона, которым командовал старший лейтенант Булахов. 11 февраля 1942 года батальон ворвался на восточную окраину Юхнова. Первым в город вошел отважный Осетров, а комбат шел в той цепочке третьим. Вскоре после взятия Юхнова Булахов был во второй раз ранен.

С августа 1942 года по март 1943 года Алексей Анисимович учился в Военной академии имени Фрунзе и закончил ускоренный курс с оценкой «хорошо». Прежде он никогда не имел дела с условным противником, не вел никаких боев, кроме всамделишных. И переход от войны к тактическим задачам, играм на макетах, переход к учениям на полигоне был для него так же труден, как первый бой для офицера, который до того воевал только на маневрах, а стрелял только на стрельбищах.

Радостно было вновь встретить старого фронтового знакомого, умудренного двухлетним опытом войны. Майор Булахов принял полк незадолго до боев севернее Орла. Только теперь он понял, насколько легче было командовать батальоном. Совсем другая мера ответственности, совсем другая тяжесть легла ему сейчас на плечи. А я с радостью убедился, что выросло коман-

дирское умение Булахова, расширился его тактический кругозор. Да, командовать полком потруднее, нежели самому возглавить группу разведчиков и совершить лихой набег на боевое охранение противника.

Алексей Анисимович расстелил карту и посвятил меня в тактические тонкости артиллерийского наступления. Нечего и говорить, информация секретная и печатать нельзя ни строчки, чтобы противник раньше времени не разгадал маневра.

Сперва наши батареи обрушились на передний край немцев, затем огонь был перенесен дальше — расшатать оборону на всю глубину, нарушить систему огня противника, подавить обнаруженные батареи.

После этого наш огонь на какое-то время стих.

По примеру предыдущих боев, немцы восприняли эту тишину как наш сигнал к атаке и приготовились ее отразить. Они вылезли из блиндажей, щелей, где укрывались от огня, и поспешили к своим пулеметам, стереотрубам, минометам, орудиям.

И вот здесь-то разразилась вторая, еще более мощная артиллерийская гроза. Она превратила в прах и передний край и его обитателей. Теперь уцелевшие немцы могли убедиться в том, что первый перенос огня оказался ложным.

Фашисты не успели поднять голов, очухаться, понять, что произошло, отряхнуться от земли, как рядом или уже за своими спинами они услышали разрывы гранат, автоматные очереди. Глазами, расширенными от ужаса, ослепленными близостью смерти, они увидели наших гвардейцев, ворвавшихся в траншеи и завладевших ими с ничтожными потерями...

Через год, в июле 1944 года, мне посчастливилось быть в полку Булахова, когда он форсировал Неман возле городка Алитус. Помню, как Булахов переправлялся под огнем с автоматом и в каске, держась за хвост плывущей лошади...

Так стоит ли удивляться тому, что я так горячо поздравил Алексея Анисимовича со званием Героя Советского Союза, которое ему присвоили? Но он отмахнулся, как бы считая поздравление неуместным накануне решающего сражения за Кенигсберг.

Он торопливо расстелил на столе карту, прижав один угол ее пистолетом, а другой — карманным фонарем, и принялся обстоятельно рассказывать обо всем, что, по его мнению, могло меня интересовать...

* *
*

В полдень 6 апреля после артиллерийской подготовки, когда багрово-серое облако дыма повисло над городом, полк Булахова начал штурм.

Как ни был предусмотрителен, памятлив, зорок и наблюдателен Булахов, у немцев все-таки оказались орудия, не отмеченные на его карте. Орудия эти не произвели до штурма ни единого выстрела и ничем не выдали своего местонахождения.

Одна такая пушка-невидимка ударила по командному пункту, когда Булахов стоял с биноклем у окна дома. Только по счастливой случайности он остался в живых; его спас громоздкий хозяйский шкаф, набитый одеждой и бельем. Вот уж поистине многоуважаемый шкаф!

Ночью полк Булахова и его соседи овладели Понартом, южным предместьем Кенигсберга.

Булахов отдал хитрый приказ: белый флаг считать в полку сигналом — «наши войска». Немцы полагали, что все эти флаги вывесили жители, и не обращали на них особого внимания. На самом же деле наволочки, занавески, полотенца, простыни, прикрепленные к шесту или палке от швабры, вывешивали наши, как только занимали дом или какой-нибудь его этаж, чердак, лестницу. Белые флаги, торчащие из окон, были отлично видны при свете пожаров и помогали ориентироваться штурмовым группам, артиллеристам, стоящим на прямой наводке, пулеметчикам.

Свыше десятка пулеметов установили немцы на кирхе, они простреливали с колокольни прилегающие улицы. Судьба кирхи решилась на рассвете, когда на паперть ее, а затем в притвор ворвались наши автоматчики.

Утром 8 апреля полк выдвинулся на набережную реки Прегель, пересекающей город. Из воды тут и там возникали искрящиеся на солнце мутно-зеленые фонтаны и фонтанчики. В одном месте на набережной были навалены бревна; казалось, немцы предусмотрительно приготовили их для наших саперов, мастеривших плоты. У набережной билась на привязи голубая лодка. В ту минуту Булахову не верилось, что Прегель мог быть местом мирных лодочных прогулок.

Но вот уже булаховцы овладели двухэтажным мостом, ведущим на остров, вот уже навстречу атакующим побежали с криком «Не стреляйте! Свои! Русские!» какие-то женщины, слышались выкрики по-польски, по-французски, еще на каком-то

языке. И на этом же мосту показалась первая толпа безоружных немцев — они бежали в плен прытко, с поднятыми руками.

А на следующий день к вечеру в Кенигсберге уже наступила неслыханная, почти невероятная тишина.

По мосту через Прегель тянулась бесконечная колонна пленных. Они шли всю ночь и следующее утро. Они шли по узким улицам, мимо разрушенных домов, мимо стен, на которых были намалеваны фашистские призывы: «Храбрость и верность», «Лучше смерть, чем Сибирь», мимо памятников королям и фельдмаршалам.

С черепичной крыши дома, соседствующего с северным вокзалом, еще отстреливался снайпер-смертник, и, чтобы долго с ним не возиться, по чердаку ударили раза три из орудия прямой наводкой, и все было кончено.

К солдатам Булахова, которые расположились на короткий отдых, пробралась девушка-белоруска. В подвале, где сидят женщины, освобожденные из лагеря, укрылись эсэсовцы. Они не позволяют никому выходить наверх, девушка украдкой выбралась из подвала. И вот она уже шагает обратно, показывая дорогу автоматчикам.

Алексей Анисимович Булахов занят приемом пленных. Беспризорные пленные сами пристают по дороге к колонне: под конвоем безопаснее. В колонне попадаются и штатские — переодетые и опознанные офицеры, эсэсовцы.

— Семнадцатую тысячу пленных сдает полк.— Булахов потрясает кипой бумажек: — Вот они, расписки-то! Все в порядке!

Булахов расположился сегодня со своими штабистами на третьем этаже здания швейной фабрики.

— Почему так высоко забрались, Алексей Анисимович?

— Во-первых, здесь комнаты почище. А потом, за всю войну я и мои офицеры ни разу не жили на третьем этаже. Любопытно все-таки...

И в самом деле, всю войну штаб 97-го гвардейского полка 31-й гвардейской дивизии ютился в подвалах, в погребах, в укромных подземельях, где можно жить и работать в минуты артналета, бомбежки. И вот впервые командный пункт полка с комфортом расположился на третьем этаже.

С крыши фабричного здания открывался вид на город. Понадобилось превратить этот город-крепость в каменоломню, чтобы заставить его капитулировать.

И вот Кенигсберг лежит в каменном прахе, и бронзовый фельдмаршал Бисмарк, у которого осколком выщерблена щека и

часть каски, смотрит со своего пьедестала на толпы соплеменников, шагающих в плен...

В полдень 10 апреля по-вечернему рыжее солнце висело в дымном и пыльном небе над старыми башнями Кенигсберга. В крутой грани черепичной крыши, венчающей ратушу, зияли дыры. Рваные зубцы стен возвышались над курганами разрушенных домов. Город лежал в дыму, в известковой и кирпичной пыли, застилающей глаза, хрустящей на зубах.

Пруд, в котором отражался мутный диск, похожий больше на луну, чем на солнце, тоже казался пыльным, как старое зеркало. А на берегу пруда, раздевшись до пояса, усталые солдаты Булахова смывали пыль, копоть и пот войны, въевшиеся в кожу за дни штурма. Они делали зто буднично и деловито, словно это была не пыль рухнувшей прусской цитадели, а обыкновенная пыль обыкновенной фронтовой дороги...

Годринен — Кенигсберг.
27 марта — 10 апреля 1945 года

КАВАЛЕРЫ ТРЕХ «ЗОЛОТЫХ ЗВЕЗД»

I

Вряд ли кто-нибудь из нас, военных журналистов, заскочивших в первые дни войны на полевой аэродром под Кишиневом, мог представить, что чуточку обескураженный случившимся на наших глазах, коренастый малоразговорчивый летчик впоследствии станет одним из выдающихся асов нашей авиации — трижды Героем Советского Союза? А произошло тогда вот что.

Собирая материал для газеты, мы беседовали с пилотами и механиками эскадрильи истребителей, ведущей бои с крупными стаями гитлеровских бомбардировщиков, летавших над Молдавией. Немилосердно жгло полуденное солнце, и авиаторы, ожидая сигнала на вылет, спасались от него под крыльями остроносых МИГов [1]. Только возле землянки командного пункта одиноко томилась фигура дежурного наблюдателя.

— Идет! Фашист идет! — послышался его встревоженный голос.

Действительно, поодаль от аэродрома на небольшой высоте шел самолет. Издали трудно определить тип машины. В небе, рассыпая искорки, повисла зеленая ракета — сигнал к взлету. И тотчас же, яростно взревев моторами, в воздух пошло звено дежурных истребителей.

— Возьмут в клещи,— сказал кто-то из техников.

И в самом деле, МИГи, взяв в клещи неизвестный самолет, повели его к аэродрому. Видя это, авиаторы на аэродроме торжествовали, хлопали в ладоши, кто-то бросил вверх пилотку:

— Ай да наши, ай да молодцы!

---

[1] МИГ — самолет-истребитель конструкции А. И. Микояна и М. И. Гуревича.

Самолеты встали в круг, и тут все увидели, что на крыльях двухмоторной машины алеют пятиконечные звезды. Наш бомбардировщик новой конструкции! Сначала приземлился он, а вслед за ним истребители. Пилот бомбардировщика возмущался:

— Неужели не поняли, что я свой?

Командир звена МИГов, парень со строгим лицом и острым взглядом, тоже возмущался:

— Разве не видел сигнала «садись»? Мы чуть не зажгли тебя...

Почему дежурное звено посадило свою машину? Неразбериха? Нет. В этом проявилось стремление не пропустить ни одного вражеского самолета в расположение наших войск. Пролетавший мимо аэродрома бомбардировщик по своим очертаниям немного походил на вражеский самолет. Летчики решили приземлить его и проверить, несмотря на ясно видимые опознавательные знаки. И они были правы, ибо гитлеровцы нередко в те дни, намалевав звезды на крыльях «Хейнкелей» и «Юнкерсов», залетали в тылы наших войск и либо бомбили их, либо сбрасывали парашютистов.

Случайный эпизод этот припомнился несколькими месяцами позже, когда один из наших армейских штабов южного участка фронта заботило неожиданное исчезновение танковой группировки врага, входившей в армию генерала Клейста. Зайдя к командующему военно-воздушными силами этого направления полковнику, впоследствии Главному маршалу авиации, К. А. Вершинину, мы застали его за разработкой задания на разведку.

— Разве в такую погоду можно летать? — усомнились мы.

За окном все бело от тумана, смешанного со снегом. Погода — чертовская!

— Всем нельзя, а одному можно,— усмехнулся полковник.

Спустя пять минут в комнату вошел коренастый летчик. На его армейской гимнастерке не было никаких знаков отличия, кроме значка парашютиста.

— Наш следопыт,— шутливо сказал полковник.

А я узнал в нем того командира звена, который в июне посадил свой бомбардировщик.

Летчик доложил: к полету готов. При взгляде на него бросалась в глаза уверенность во всех движениях. Это отнюдь не было тем удальством, какое порой присуще иным авиаторам. Наоборот, скупость в словах как бы подчеркивала: характер этого человека скромен, непритязателен.

— Будет выполнено,— коротко сказал он.

Да, это был тот командир дежурного звена истребителей, Александр Покрышкин. Потом, когда мы познакомились ближе, он рассказал, сколь трудным оказался этот разведывательный полет. За умелую разведку летчик получил тогда первую награду — орден Ленина.

Поиск вражеских танков явился единоборством с природой. В снегопаде и тумане порой совершенно исчезал горизонт, грозила опасность обледенения. Но врожденное упорство сибиряка заставляло Покрышкина продолжать полет. Наконец он увидел что-то похожее на след гусениц, избороздивших степь. Гитлеровцы несомненно слышали шум мотора МИГа, но ни единым выстрелом не выдали себя. В логу, в кустарниках, укрывшись за стогами сена, чернели квадратные коробки танков. В тот же день наши войска обрушились на врага.

В этой операции были захвачены большие трофеи, и в числе их несколько исправных «Мессершмиттов». Зная страсть Александра Покрышкина к исследованиям, командующий поручил ему изучить трофейную технику в воздухе. Исследовательская жилка живо пульсировала в летчике еще с детства. Еще тогда на родине, в далеком Новосибирске, сверстники называли его инженером.

Семья, в которой родился Саша Покрышкин, принадлежала к рабочему классу. Его отец был кровельщиком, строителем молодого города на Оби. Некоторое время Саша вместе с отцом работал на стройках. Затем поступил в школу фабрично-заводского ученичества на Сибметаллстрое, закончил ее и стал работать слесарем.

Как раз в ту пору во всю ширь стали расправляться крылья крупнейшего советского летчика Валерия Павловича Чкалова. Многим юношам хотелось стать похожими на него. Комсомольской организации Сибметаллстроя предложили направить нескольких комсомольцев в авиационную школу. Одним из первых счастливчиков оказался Саша Покрышкин. Но велико было его разочарование, когда, прибыв в училище, он узнал, что тут готовятся не пилоты, а авиационные техники.

— Все хотят быть Чкаловыми,— шутливо заметил начальник училища,— а кто же станет готовить машины к полету?

После выпуска из училища службу авиационного техника молодой офицер нес в Краснодаре. Тут, в кубанском небе, героем которого он стал в дни войны, Александр Покрышкин научился летать. Инструктор местного аэроклуба выпустил его в самостоятельный полет после четырех «провозных». Теперь ко-

мандир эскадрильи начал получать от авиатехника Покрышкина рапорт за рапортом: «Направьте в летную школу».

Наконец это страстное желание удовлетворили. Александра Покрышкина направили в старейшее в нашей стране Качинское авиационное училище летчиков-истребителей имени А. Ф. Мясникова. И вот — боевая эскадрилья. Эти годы жизни Александра Покрышкина прошли в упорной работе. Он умел летать, но сумеет ли драться в воздушном бою? В эскадрилье служил летчик, которого прозвали «стариком»: он старше других летами и, кроме того, имел боевой опыт. «Старик» и Покрышкин затевали над аэродромом учебные воздушные бои. Однажды, возвратившись из полета и снимая шлем с намокшей от пота головы, Александр Покрышкин услышал от «старика» похвалу:

— Сможешь драться!

Первый успешный воздушный бой Александру Покрышкину довелось вести на второй день войны над Прутом. В паре с одним из летчиков эскадрильи он вылетел на разведку. На подходе к Яссам их встретили пять «Мессершмиттов». Покачиванием крыльев Покрышкин сообщил напарнику: «Иду в атаку!» Набирая высоту, он оказался за хвостом вражеского самолета и с близкой дистанции дал очередь. «Мессершмитт» вспыхнул и повалился вниз.

Так полк открыл боевой счет.

Вскоре Покрышкина постигла неудача: во время полета над запорожскими степями его сбили. Пришлось совершить вынужденную посадку. Примкнув к стрелковой части, пробивавшейся из окружения, он прицепил МИГ на буксир к автомашине. Ночь и день люди кружили по степи, разыскивая слабое звено во вражеском кольце. С наступлением вечера летчика вызвал командир:

— Авиатор, веди ударную группу на прорыв!

Собрав в кулак бронемашины, поставив в центре грузовик с самолетом, Покрышкин повел людей на прорыв. Им удалось проскочить через вражеские заслоны. Спустя неделю летчик появился в полку. На него смотрели так, словно он явился с того света. Друзья уже разобрали на память его вещи: пилотку, запасной планшет, книги...

Таким примерно был боевой путь Александра Покрышкина к тому времени, когда мы встретились перед памятной разведкой танковой группировки. Испытывая в воздухе трофейные самолеты, он как бы действовал за двоих: за себя, советского летчика, и за вражеского пилота. Его интересовала не только чистота выполнения пилотажных фигур «Мессершмиттом», но и

его боевые возможности. А вечерами, положив рядом летные характеристики истребителей, он внимательно изучал графики их поведения в воздухе.

Всестороннее изучение вражеской машины, знание ее уязвимых мест позволило Покрышкину разработать новые приемы воздушного боя. Происходило это в горячее время сорок второго года. Гитлеровцы нажимали. Полк, в котором служил Покрышкин, действовал на юге. Летчики ходили с красными от усталости глазами — они вылетали в бой по нескольку раз в день.

В дни сражения на берегах Волги Покрышкина назначили командиром эскадрильи. Но пока еще он, пожалуй, ничем особенным не выделялся из всей массы авиаторов. В то время более известными были другие имена. Крылья Покрышкина, как мастера воздушного боя, развернулись несколько позднее, в кубанском сражении сорок третьего года, где он полностью использовал выработанную им формулу: высота — скорость — маневр — огонь. Я видел одну из схваток, проведенных по этой формуле. Вместе с генералом, командующим группой истребителей, мы стояли на радиостанции наведения. Бои шли на всех высотах. Внимание привлекла компактная группа наших истребителей, в течение нескольких минут рассеявшая отряд «Мессершмиттов». Когда самолеты бреющим полетом прошли над рацией наведения, все увидели, что флагманская машина отмечена знаком «100». Цифры, выписанные белой краской на фюзеляже, заметно выделялись среди опознавательных знаков других машин. «Сотку» пилотировал Александр Покрышкин. А подробности этого боя таковы.

Группа истребителей пришла к линии фронта на большой высоте и с большой скоростью. Чтобы скорость при барражировании не затухала, Покрышкин вел группу волнообразно. Придерживаясь определенной высоты, летчики все время набирали запас скорости небольшими снижениями.

Развивая большую скорость, Покрышкин добивался выигрыша времени. В воздушном бою успех порою решали именно те полсекунды, в течение которых летчику удавалось незаметно сблизиться с противником и выпустить по нему меткую очередь. Выигрывая эти полсекунды, Покрышкин, кроме того, как бы освобождал себя от непрерывного наблюдения за тем, что делается сзади, ибо в это время к нему незамеченным не мог подойти ни один неприятельский самолет. Так, барражируя на повышенной скорости, Покрышкин увидел десяток «Мессершмиттов». Наш воздушный патруль имел преимущество перед

ними и в высоте. Теперь настал черед вступить в действие третьему элементу формулы воздушного боя — маневру.

— Патруль! В атаку!

Истребители, круто пикируя, внезапно свалились на «Мессершмиттов». Удар сопровождался точным огнем с близкой дистанции. Группа «Мессершмиттов» оказалась разгромленной.

Александр Покрышкин, мастер группового воздушного боя, вскоре стал и мастером «свободной охоты». В те дни, когда наши войска закупорили гитлеровцев в Крыму, я заехал на аэродром истребительного полка, которым командовал Покрышкин, уже награжденный второй «Золотой Звездой». Счет сбитых полком вражеских самолетов приближался к пятистам. Из этого числа пятьдесят были уничтожены командиром. Он в ту пору частенько летал над морем, выискивая транспортные самолеты противника, курсировавшие между Румынией и Крымом. Как-то воздушные разведчики сообщили, что на одном из вражеских аэродромов находится более сотни самолетов. В тот же день Покрышкин в паре с другим опытным летчиком полка, Григорием Речкаловым, вылетел на боевое задание.

Перейдя линию фронта, летчики взяли курс в сторону солнца. Углубляясь на территорию противника, они как бы обходили его аэродром стороной. Большая скорость позволила быстро выполнить маневр и оказаться между солнцем и целью. Когда вдали показалось пятно вражеского аэродрома, истребители, приглушив моторы, вошли в пике.

Речкалов атаковал гитлеровский самолет, планировавший на посадку, а Покрышкин направил огонь на цистерны с горючим. Очередь! Очередь! Еще очередь! Летчики бреющим полетом проносятся над ошарашенными гитлеровцами. Вторая атака. Трассы тянутся к стоянкам самолетов, к бензовозам, к складу с боеприпасами, к расчетам зенитных орудий. Два советских летчика против целой эскадры гитлеровского воздушного флота!

...Через тысячу дней войны Александр Покрышкин возвратился в те места, где он сбил первый вражеский самолет. В воздушном сражении под Яссами он участвовал как командир авиационной дивизии. Этой дивизией он командовал и на берегах Вислы, где мы, журналисты, приехавшие поздравить с награждением третьей медалью «Золотая Звезда», нашли его в двух километрах от вражеских окопов. Круглую, лобастую голову летчика-аса перетягивали ремешки радионаушников. Сжав микрофон, он пристально вглядывался в небо, руководя воздушным боем. На следующий день Покрышкин сам повел группу истребителей в воздух.

Вскоре Александр Покрышкин получил краткосрочный отпуск с фронта. В Москве ему была вручена третья медаль «Золотая Звезда». На Центральном аэродроме имени М. Фрунзе состоялось памятное торжество: советскому асу передали эскадрилью истребителей, построенных на средства земляков. Обойдя строй самолетов, на фюзеляжах которых алели слова: «А. И. Покрышкину от новосибирцев», летчик тепло расцеловался с делегатами.

— Спасибо, дорогие,— прочувственно сказал он.— Летчики нашей дивизии будут еще нещаднее бить врага.

В тот же день вместе с Покрышкиным я вылетел на его родину, в Новосибирск. К вечеру транспортный самолет приземлился в Свердловске. В расчет полета не входила длительная остановка, но как можно было отказаться от просьбы побывать на Уралмашзаводе? Через час-полтора мы входили во двор промышленного гиганта. Один из командиров производства, высокий мужчина с черными усами на обветренном лице, провел нас в корпус, где происходила сборка танков и орудий. Бригады сборщиков и монтажников копошились возле бронированных коробок. Когда в цехе возник митинг-летучка, Покрышкин взобрался на башню танка и рассказал рабочим о фашистских «тиграх» и «пантерах».

— Совсем недавно, на Висле,— сказал он,— «королевские тигры» пытались контратаковать наши части. Я должен сказать, товарищи, что вы даете фронту замечательную технику. Она лучше, нежели вражеская...

С рассветом мы стартовали на восток. По мере приближения к Новосибирску заметнее становилось волнение Покрышкина. Он то и дело заглядывал в бортовые иллюминаторы, нетерпеливо посматривал на часы. Семь лет не был на родине! Но вот в воздухе появилась эскадрилья истребителей. Под их почетным эскортом самолет дошел до города, окутанного фабричными дымами. Прильнув к стеклу иллюминатора, Покрышкин внимательно рассматривал Новосибирск, аэродром, заполненный встречающими.

— Батюшки, да они с флагами,— засмущался летчик.

Встреча с земляками и родными была радостной. Мать летчика, Аксинья Степановна, пригласила экипаж на традиционные сибирские пельмени. Собрались гости; мы познакомились с женой летчика, Марией Кузьминичной, фронтовым медработником.

Отпуск Покрышкина был короток. А все в Новосибирске хотели его видеть. И вот первая поездка — на комбинат Сибме-

таллстрой. Летчика встретила тут большая группа рабочих, возглавляемая его бывшими сверстниками, ставшими командирами производства — сменными мастерами, инженерами, начальниками цехов. Покрышкин внимательно осмотрел инструментальный цех, где работал слесарем, пригляделся к работе лекальщиков. Потом, не выдержав, подошел к одному из рабочих:

— Пусти-ка на минутку.

Бережно взяв деталь, он точным движением зажал ее в тиски, взял напильник и начал аккуратно обрабатывать. Старик мастер придирчиво следил за работой...

— Готово,— застенчиво улыбнулся Покрышкин.

Контрольный прибор показал отличную обработку детали. Целый день провел Покрышкин в цехах Сибметаллстроя. Производство поражало своим размахом и темпами. Без суеты, но с большим напряжением, выполняя заказы фронта, тут трудились сотни людей. Перейдя обширный заводской двор, оказываемся в трехэтажном, просторном здании школы фабрично-заводского ученичества. Вот и знакомый Покрышкину класс во втором этаже. Двадцать два подростка поворачивают головы и, оставив напильники, горячо аплодируют трижды Герою.

Вся семья Александра Покрышкина тесно связана с жизнью Новосибирска. Его мать — одна из первых женщин, приехавших на великую сибирскую реку строить новый город. Сам он — слесарь; его сестра — работница; брат Валентин до ухода в летную школу трудился сборщиком на авиационном заводе. Ему, теперь курсанту школы пилотов, предоставили отпуск для свидания с братом.

За пять суток, проведенных дома, Александр Покрышкин успел побывать во многих местах. На краснознаменном заводе приезд летчика-героя совпал с вручением коллективу этого завода почетного Красного знамени Центрального Комитета партии. Торжество состоялось на стыке двух смен. Это был незабываемый момент, когда Александр Покрышкин передал директору почетное Красное знамя. Встав на колено, как гвардеец, директор поцеловал край алого полотнища и взволнованно от имени всего коллектива рабочих и инженеров обещал еще более увеличить количество продукции.

...Ночью наш самолет стартовал на запад. Александр Покрышкин, прислонившись лбом к стеклу бортового иллюминатора, внимательно смотрел на землю, провожая взглядом мать, жену, товарищей и залитый огнями заводов родной Новосибирск — арсенал могучего оружия для новых побед нашей армии.

II

В августе 1944 года, когда Александр Покрышкин стал трижды Героем Советского Союза, почетной награды — второй «Золотой Звезды» был удостоен летчик-истребитель другого соединения — Иван Кожедуб. Если счет — пятьсот пятьдесят боевых вылетов Александра Покрышкина и пятьдесят девять сбитых им самолетов врага — начался в самые первые дни войны, то Иван Кожедуб свое первое огневое крещение принял позднее — в суровую пору сражения на Курской дуге. Да и возрастом этот крепко сбитый, невысокий, плечистый авиатор был на целых восемь лет моложе. Но уж такова, видимо, сама природа советских авиационных богатырей — Иван Кожедуб к концу войны даже обогнал Александра Покрышкина в количестве сбитых самолетов. В небе Берлина он одержал свою шестьдесят вторую победу и также стал трижды Героем Советского Союза.

Александр Покрышкин и Иван Кожедуб воевали на разных фронтах. И с небом они породнились в разное время. Война застала Ивана Кожедуба, украинского парубка из села Ображеевка, что под Шосткой, на Сумщине, в летной школе. Но затем, после битвы на Курской дуге, боевые маршруты двух летчиков нередко пролегали примерно в одних и тех же местах заключительных сражений Великой Отечественной войны. Да и многое из того, что было творчески найдено новатором авиационной тактики Александром Покрышкиным и другими нашими летчиками, внимательно изучалось Иваном Кожедубом (всем летным молодняком), помогло ему быстрее расправить свои крылья — крылья храброго, мужественного, умелого воздушного бойца. Не раз и не два в своей книге «Служу Родине» Иван Кожедуб вспоминает, какую огромную помощь в становлении боевого мастерства оказал ему опыт тех советских авиаторов, которые самоотверженно боролись с врагом в сорок первом — сорок втором годах и своими победами закладывали основу будущего господства над гитлеровской авиацией. Так, прибыв на фронт с инструкторской работы в летном училище, он первым делом записывает в своем дневнике: «Мы с волнением следим за боями на Кубани. До нас уже докатились вести о подвигах Героя Советского Союза майора Покрышкина. Все летчики только и говорят о его изумительном боевом и летном мастерстве».

Позднее, почти через год, фронтовые дороги двух летчиков скрестились на одном из полевых аэродромов. Сюда, где базировалась часть, в составе которой нес боевую службу Иван Кожедуб, для того чтобы переждать надвинувшуюся грозу, при-

землилась группа самолетов Александра Покрышкина. Кожедуб еще издали увидел знатного советского аса. Ему с первого взгляда понравились быстрые, уверенные движения Покрышкина, что-то деловито объяснявшего своим пилотам. Ивану Кожедубу очень хотелось поговорить с ним, но какое-то чувство неловкости заставило воздержаться. А тем временем прилетевшие летчики уже разошлись по самолетам и поднялись в воздух.

Так и не встретились в тот день два советских аса, не поговорили друг с другом. А жаль! Ведь к тому времени Иван Кожедуб уже одержал не один десяток побед в воздушных боях, и Александр Покрышкин, пристально изучавший опыт других авиаторов, несомненно был бы рад такой встрече.

Свой боевой счет, сбив «Юнкерс-87», Иван Кожедуб открыл на второй день сражения, развернувшегося в июле сорок третьего года на Белгородском направлении. Через сутки — еще одна победа, тоже над «Юнкерсом-87», а еще через сутки молодой летчик-истребитель сбил два «Мессершмитта». О его крепкой боевой хватке заговорили в авиационных частях. Имя Ивана Кожедуба, нового советского аса, быстро стало известным на многих фронтах. Автору этих строк довелось слышать немало добрых отзывов о нем и в пору сражения на Днепре, и во время боев под Яссами, и на других участках боевых операций.

С одинаковой напористостью Иван Кожедуб дрался в воздухе и с истребителями, и с бомбардировщиками противника. Когда в феврале 1944 года он был удостоен звания Героя Советского Союза, от отца на фронт к нему пришло письмо. «Слышали мы, Ваня,— писал отец,— что ты, как и подобает советскому солдату, воюешь геройски. Это правильно! Только не зазнавайся... Помни, что в сражениях ты не себе славу добываешь, а Родине...»

Письмо отца взволновало летчика, воскресило в памяти родные края и то привольное юношество, смелые мечты которого привели его в авиацию. Вспомнилось, как в Ображеевке, окруженной зеленым морем созревающей пшеницы да густыми зарослями золотоголовых подсолнухов, загоревшимися глазами следил он за полетами самолетов Шосткинского аэроклуба, а потом надолго становился задумчивым и серьезным.

— Уж не летчиком ли ты, Лобан, хочешь стать? — спрашивали его сверстники, называя деревенским прозвищем.

— А что же? И стану!

И это не было хвастовством. Иван Кожедуб рос в Советской стране и знал, что у нас каждый может смело смотреть вперед. Пути перед ним открыты, широки его дороги к самостоятельной

жизни. Только надо любить труд, тогда добьешься всего. Самая смелая мечта станет явью. С первых школьных лет запомнились Кожедубу слова сельской учительницы:

— Выбери себе за образец выдающегося человека и старайся следовать его примеру в своей жизни.

Таким выдающимся человеком для Ивана Кожедуба, как и для многих других юношей, стал Валерий Чкалов. Он увлекался крупнейшим советским летчиком нашего времени по-своему: с жадным интересом читал все, что относилось к жизни Чкалова, к совершенным им во имя Родины подвигам. А если советский юноша выбирает себе как путеводную звезду жизненный путь Валерия Чкалова, то это неизменно приводит его в кабину самолета, в авиацию. И не удивительно, что, став студентом техникума, Иван Кожедуб тут же поступил в аэроклуб. А научившись летать на спортивной машине, решил стать военным летчиком.

Авиационные педагоги Чугуевского училища летчиков-истребителей быстро распознали в Иване Кожедубе отличного воздушного бойца. После выпуска курсантов его назначили на должность инструктора. И когда началась Великая Отечественная война, на все просьбы молодого авиатора о немедленной отправке его в действующую армию твердили:

— Вы очень нужны здесь, в училище. Сумейте быть патриотом Родины и в тылу: готовьте летчиков для фронта.

Вскоре Иван Кожедуб увидел результаты своего труда. В училище стали поступать письма из фронтовых авиационных частей. Их командиры писали, что воспитанники Ивана Кожедуба хорошо показывают себя в воздушных боях. Сколько радости доставляли ему эти весточки, с какой гордостью слушал он одобрительные слова командира эскадрильи:

— Ваши опять отличились, Кожедуб. Послушайте, что пишут о них с фронта...

В такие дни молодой инструктор испытывал душевный подъем, словно ему самому довелось провести жаркую победную схватку. Но и при этом он ни на минуту не оставлял своего страстного устремления поскорее оказаться на фронте, поскорее вступить в борьбу с врагом.

Когда началось берлинское воздушное сражение, на боевом счету отважного аса уже числилось около полусотни лично сбитых вражеских самолетов. А сколько потерь понесли гитлеровские авиаторы от ударов летчиков его подразделения! Ведь Иван Кожедуб, как и Александр Покрышкин, настойчиво учил их искусству воздушного боя, передавал свой опыт, заботливо выра-

щивал десятки таких же бесстрашных, как и он сам, летчиков-истребителей.

Если земляки-новосибирцы дарили летчикам авиационного соединения, которым командовал Александр Покрышкин, эскадрильи самолетов, либо построенных на их средства, либо выпущенных в результате ударного труда, то Ивану Кожедубу довелось летать и драться на именной машине, врученной ему стариком колхозником Василием Викторовичем Коневым. В Первомайские дни 1944 года он принял этот самолет, приобретенный на личные сбережения волжанина-пчеловода в знак памяти о своем погибшем на фронте односельчанине Герое Советского Союза подполковнике Н. Коневе. На следующий же день Иван Кожедуб одержал на этой машине свою тридцать восьмую победу и тотчас же сообщил В. В. Коневу, что присланная им на фронт машина открыла боевой счет.

На именном «Лавочкине» Иван Кожедуб воевал особенно старательно, выходил победителем из самых затруднительных положений. В одном из боев случилось, что четыре «Фокке-Вульфа» неожиданно атаковали Ивана Кожедуба. Во многих рискованных переделках приходилось бывать летчику, но в такую он, пожалуй, попал впервые. Пользуясь своим четырехкратным численным превосходством, гитлеровцы пытались зажать машину Кожедуба в клещи. Почти не бывало случаев, чтобы пилоту удавалось вырваться из подобных клещей. Но Иван Кожедуб не хотел и не мог признать себя побежденным. Его воля к победе оставалась неукротимой даже в этот миг смертельной угрозы.

Отвечая одной огневой очередью на четыре вражеские, советский летчик, призвав на помощь все свое летное мастерство, стал пилотировать «Лавочкин» так стремительно и так резко, что фашисты не выдержали темпа схватки. Это был невероятный по напряжению и блестящий по мастерству воздушный бой. Иван Кожедуб выиграл его оружием совершенного пилотажа.

В тот же вечер, прослышав про этот выдающийся случай, мы, журналисты, побывали в авиаполку. Иван Кожедуб, выполнивший за день кроме этого еще несколько боевых вылетов, спал богатырским сном.

Отчетливо помнится, как незадолго до начала берлинского, заключительного сражения по нашим полевым аэродромам, расположенным на берегах Одера, прошла весть: Иван Кожедуб сбил реактивный самолет врага. Гитлеровское командование, мобилизуя для противовоздушной обороны Берлина все наличные силы своей истребительной авиации, подняло в воздух

несколько экспериментальных машин, оснащенных реактивными двигателями, придававшими самолетам повышенную скорость. Это была так сказать последняя новинка вражеской авиационной техники, своеобразная козырная карта главаря фашистских стервятников — Геринга. Но и она оказалась битой!

Иван Кожедуб в паре с одним из летчиков своего гвардейского полка во время «свободной охоты» встретился с таким реактивным самолетом. Умело маневрируя на «Лавочкине», он развил предельную скорость и с близкой дистанции открыл огонь. Машина противника, насквозь прошитая меткой очередью, развалилась на части и закувыркалась к земле. О своем бое через несколько дней Иван Кожедуб подробно, с расчетами в руках доложил летчикам, собравшимся на фронтовую летно-тактическую конференцию. И этот эпизод, и другие случаи встреч наших истребителей с реактивными самолетами противника убедительно показали: плохо еще освоенная, «не доведенная», как говорят авиаторы, новая техника врага не представляет опасности для умелого воздушного бойца.

И вот началось берлинское сражение. Если Александр Покрышкин участвовал в нем, прикрывая со своими летчиками от ударов врага с воздуха наземные войска 1-го Украинского фронта, то Иван Кожедуб и его летчики поддерживали наступление войск 1-го Белорусского фронта. Не раз и не два довелось ему летать над самым Берлином, в котором пылал ожесточенный бой с отчаянно сопротивлявшимися гитлеровцами. Тут, в берлинском небе, за несколько дней Иван Кожедуб сбил десять вражеских самолетов.

В ночь, когда наши войска начали решительный штурм внешнего обвода берлинских укреплений врага, полк Ивана Кожедуба находился вблизи от передовой. Никто из летчиков не спал. Бодрствовал и Иван Кожедуб. Набросив на плечи кожанку, он с группой офицеров стоял возле штабной землянки. Говорить не хотелось: величественное зрелище захватывало все мысли и чувства. В темном небе стоял непрерывный гул авиационных двигателей. Впрочем, небо было темным только тут, над аэродромом. Впереди же, там, где проходил фронт, было светло от сотен прожекторных лучей, поднятых в зенит. Густая россыпь светящихся трасс и разрывов снарядов, казалось, создавала непреодолимую преграду. Можно было подумать, что нет силы, которая могла бы прорвать противовоздушную оборону врага. Но такая сила нашлась! То была наша славная авиация. Одна сотня самолетов за другой последовательно, методично проходила сквозь неистовый огонь зениток и лучи про-

жекторов и наносила могучие бомбовые удары по вражеским войскам.

Гордые мысли будила эта захватывающая картина мощи советской авиации. Ивану Кожедубу невольно вспоминались все другие воздушные сражения, в которых ему довелось участвовать. И в них нашим летчикам удавалось громить врага, навязывать ему свою волю, находить такие приемы борьбы за господство в воздухе, которые с каждым разом становились все совершеннее. Но то, чего предстояло достигнуть здесь, в небе над Берлином, превосходило все пережитое.

С наступлением рассвета действия нашей авиации усилились. Бомбардировщики всех типов и назначений, штурмовики, истребители непрерывным потоком в несколько ярусов неслись на запад, сметая гитлеровские воздушные патрули, громя живую силу, технику и оборонительные сооружения противника.

Советским истребителям, составлявшим как бы передовой отряд авиационного наступления, выпало много забот. Воздушные схватки закипали беспрерывно. Охваченные единым наступательным порывом, видя близкую окончательную победу, наши летчики проявляли чудеса отваги и воинского мастерства. Иван Кожедуб находился в первых рядах сражающихся. Его искусство истребителя достигло наивысшего расцвета. Случалось, что за день он сбивал по два, а то и по три вражеских самолета. В берлинском небе он совершил свой последний триста тридцатый боевой вылет, закончившийся очередной победой над гитлеровскими летчиками. Сто двадцать раз в годы войны скрещивал Иван Кожедуб оружие в воздушных боях и, одержав столько замечательных побед, сам ни разу не был сбит, не получил ни одного ранения. В этом сказалась великолепная выучка советского летчика.

В тот день, когда отважные советские солдаты водружали над фашистским рейхстагом Красное знамя нашей Победы, Ивана Кожедуба вызвали в Москву. Тут, в столице Родины, от имени воинов, штурмовавших Берлин, поздравляя по радио советских людей с первомайским праздником, он горячо благодарил их за самоотверженный труд для благородного дела победы.

Хорошо помнится, с каким волнением на улицах поверженного Берлина мы слушали это транслируемое по радио выступление героя-летчика, вложившего весь жар своего сердца в борьбу с врагом, отдавшего свои силы достижению великой победы над гитлеровскими захватчиками. А на рейхстаге, хорошо видное отовсюду, ярко пламенело пробитое пулями и осколками, закопченное пороховым дымом знамя Победы.

Широко развеваемое весенним ветром алое полотнище невольно наводило на мысль: оно водружено здесь не только храбрецами, взобравшимися под огнем врага на купол рейхстага, а тысячами и тысячами героев великой войны, на правом фланге которых почетное место по праву занимают такие наши богатыри, как Александр Покрышкин и Иван Кожедуб.

III

Кавалеры трех «Золотых Звезд» и по сей день находятся в боевом строю крылатых защитников Родины. После войны с Александром Покрышкиным и Иваном Кожедубом мне доводилось не раз встречаться и в стенах военных академий, которые они закончили с блестящими оценками, и на авиационных парадах, посвященных традиционным праздникам Воздушного Флота СССР. Они — депутаты Верховного Совета СССР, делегаты исторического XXII съезда КПСС. Их можно было видеть и в тесном кругу новых героев нашей авиации — космических богатырей Советского Союза Юрия Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева, Павла Поповича, Валерия Быковского, Валентины Николаевой-Терешковой, Владимира Комарова, Константина Феоктистова, Бориса Егорова... И несколько раз во время зарубежных поездок наших космонавтов доводилось слышать в рассказах о космических полетах проникновенные слова, что успехи рейсов в звездный океан, опираясь на достижения отечественной науки и техники, в то же время неотделимы от всей героической славы крылатого племени советских летчиков.

— Пожалуй, не будь Валерия Чкалова,— говорил в одном из своих выступлений в далекой Индонезии Герман Титов,— не было бы Александра Покрышкина и Ивана Кожедуба. А не будь их, не было бы и легендарного подвига Юрия Гагарина, проложившего первую трассу в просторах Вселенной...

Справедливые слова! Герои войны, кавалеры трех «Золотых Звезд», мужественно сражаясь за чистоту советского неба, открывали в нем дорогу новым героям — первооткрывателям космоса. И в этом величие знаменательной эстафеты героических поколений советских людей, чья жизнь до последней кровинки, до последнего дыхания принадлежит родной Коммунистической партии, нашей социалистической Отчизне!

АЛЕКСАНДР ЛУКИН

НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ

Трудно, очень трудно писать — даже двадцать лет спустя — о героях «невидимого фронта». Это были советские патриоты, беззаветно преданные Родине и Коммунистической партии, мужественные и до дерзости храбрые, самоотверженные и стойкие.

Как измерить свершенное ими в глубоком тылу врага под покровом строжайшей тайны и секретности?

В трудных, невыносимых условиях гитлеровской оккупации они боролись за свободу и независимость социалистического Отечества, все время находясь под угрозой погибнуть в застенках гестапо. Советские разведчики, выполняя особые задания, внесли свой вклад во всенародное дело разгрома злейшего врага человечества — германского фашизма...

Уральский инженер Николай Кузнецов совершил ряд неслыханных по смелости и отваге подвигов, каждый из которых достоин того, чтобы навеки сохраниться в памяти народной. Скромный сельский учитель комсомолец Авраамий Иванов одним из первых достал документальное подтверждение подготавливаемого гитлеровцами крупнейшего наступления на Курской дуге. Две молодые советские женщины — Лидия Лисовская и Майя Микота не остановились перед тем, чтобы пожертвовать своим добрым именем и прослыть предательницами в родном городе. Пали смертью храбрых разведчики Герой Советского Союза Николай Приходько, Василий Галузо, Николай Куликов и многие другие патриоты. Благодаря им советское командование регулярно получало бесценную информацию о планах врага.

Кто возьмется подсчитать, сколько жизней бойцов и командиров Красной Армии спасли эти люди и их боевые товарищи?

Нет, не жажда приключений и славы вела их на бессмертные подвиги. Разве мог скромнейший Николай Кузнецов думать в те минуты, когда его плечи жгли погоны гитлеровского офицера, что в разных

городах страны ему, прославленному Герою Советского Союза, воздвигнут памятники, а самое имя станет легендой?

Это были простые советские люди. Они смеялись, любили, мечтали о будущем — светлом будущем страны, сквозь бури и штормы идущей к коммунизму. Презирая смерть, они видели это будущее в самые тяжелые для нашей Родины дни. И не сдались. Выстояли и победили.

ПИСТОЛЕТЫ ПОД ПОДУШКОЙ

...Однажды, направляясь в Здолбуново и Ровно, наш разведчик Коля Гнидюк [1] догнал шедшую по обочине дороги пожилую женщину. Он попридержал лошадей.

— Можем подвезти, мамаша.

Обрадованная неожиданной удачей, женщина вскарабкалась в бричку. Через пять минут Коля уже знал от словоохотливой попутчицы, что она едет в город погостить у зятя, некоего Зеленко, владельца корчмы по Золотой улице, 10.

Еще через час Гнидюк познакомился и с самим Зеленко. Расторопный и энергичный молодой человек произвел на ресторатора самое лучшее впечатление. А когда Зеленко увидел в бумажнике «пана Багинского» солидную пачку марок, то проникся к нему почтением.

— По-видимому, пан Багинский делает хорошие дела? — вежливо поинтересовался он.

— Да, могу кое-что продать-купить,— уклончиво, но многозначительно ответил Гнидюк.

— А что?

— Да многое...

Как выяснилось, владелец заведения нуждается в «шнапсе», мясе и других продуктах.

Гнидюк охотно вызвался помочь: новое знакомство могло пригодиться. Пока что Коля отправился на базар, пошушукался с какими-то явными спекулянтами и закупил у них оптом целый воз съестного и несколько бутылей самогона. Все это добро он доставил в корчму и «уступил» владельцу по ценам, ниже базарных. Зеленко был в восторге.

— Знакомство нужно отметить, пан Ян.

Весь вечер шла попойка, а когда наступила ночь, хозяин стал уговаривать дорогого гостя:

[1] Сейчас Николай Акимович Гнидюк живет и работает во Львове.

— Ну куда вы пойдете? Неровен час, патруль задержит. Ночуйте у меня!

Коля, подумав, согласился и с наслаждением растянулся на широкой мягкой тахте в гостиной, сунув под подушку «ТТ».

Ночью Гнидюк проснулся: его придавило к стене что-то тяжелое. Рядом с ним лежал здоровенный мужчина, погруженный в непробудный сон. Он был мертвецки пьян. Коля поднял голову: на стуле возле тахты тускло отблескивало серебром шитье гестаповского мундира. Гнидюк быстро сунул руку под подушку и... вытащил оттуда вороненый «вальтер»! Сунул руку второй раз — и с облегчением нашел свой «ТТ» в целости и сохранности.

Поразмыслив, Коля пришел к выводу, что ему, видимо, ничто не грозит. Но свой пистолет он на всякий случай переложил под матрац и преспокойно заснул.

Как потом выяснилось, ночью в корчму неожиданно пожаловал еще один гость, гауптштурмфюрер Миллер — ответственный работник ровенского гестапо. Зеленко был его осведомителем, и Миллер захаживал к нему чуть ли не каждый день: почему не провести бесплатно вечерок в уютном месте, к тому же в обществе миловидной пани Зоси — сестры хозяина? Угодливого Зеленко такая дружба весьма устраивала.

Часа через два гауптштурмфюрер «нагрузился» до предела и без посторонней помощи был не способен встать со стула, не то что отправиться домой. Зеленко ничего не оставалось, как уложить фашиста на одну тахту с Гнидюком. Как ни пьян был Миллер, все же, верный профессиональной привычке, он тоже сунул под подушку свой «вальтер».

Так они и спали на одной постели: советский разведчик и гестаповец! А под подушкой рядышком дремали два взведенных пистолета...

Днем их разбудил хозяин. Гестаповец долго хохотал над своим «похождением» и заявил, что, коль уж так случилось, они должны стать друзьями с «паном Багинским». «Пан» не возражал. Когда через несколько дней «пан Багинский» уступил господину гауптштурмфюреру два дорогих отреза для посылки в Германию, тот не остался в долгу и стал регулярно сообщать «спекулянту» пароль для ночного хождения по городу. Николай очень дорожил этим знакомством...

ТРЕТИЙ ЭКЗЕМПЛЯР

К началу 1943 года через Здолбуновский узел шло фактически все основное снабжение Восточного фронта. Железнодорожные магистрали, проходящие через Брест, Ковель и Тернополь, работали плохо — их парализовывали действия партизан. По этой же причине почти не ходили поезда и по линии Брест — Минск и Ковель — Сарны. Линия Львов — Здолбуново — Шепетовка стала одной из главных магистралей, питающих гитлеровскую действующую армию. Каждые 10—15 минут по ней проходили эшелоны с живой силой, танками, боеприпасами. Станция Здолбуново превратилась в важнейший стратегический пункт.

Учитывая исключительное значение Здолбуновского узла, гитлеровцы резко усилили его охрану. Станцию и город наводнили жандармы, гестаповцы, полицаи.

В этих условиях вести разведку становилось с каждым днем все сложнее и опаснее.

Трудно передать словами то чувство горечи, которое испытывали наши подпольщики при виде беспрерывного потока, несущего смерть бойцам родной Красной Армии. К тому же почти невозможно было установить, что представляли собой составы, проходившие мимо Здолбунова без остановки. Созданная нами сеть разведки не справлялась с огромным количеством объектов для наблюдения. Между тем Москва требовала: «Не оставляйте ни одного железнодорожного состава без обследования!»

Мы предложили нашим разведчикам и подпольщикам любыми средствами найти пути для выполнения важного задания Москвы.

...На квартире Леонтия Клименко уже второй час совещались подпольщики. Был разработан план расширения и улучшения разведки и боевых действий на станции Здолбуново. Намечались фамилии надежных железнодорожников для привлечения к подпольной работе.

— Есть один человек,— предложил Красноголовец,— его зовут Авраамий Иванов.— До войны был учителем. Сейчас работает уборщиком на путях. Думаю, что он может быть нам полезен.

— Не годится! — запротестовал Бойко.— Он какой-то скучный, угрюмый, неповоротливый.

Решающее слово оставалось за Гнидюком.

— Надо с ним встретиться,— сказал он.

На другой день Клименко привел Иванова, худощавого человека, на вид лет двадцати пяти, с высоким лбом и начинаю-

щими редеть волосами. Держался он, действительно, как-то отчужденно и даже настороженно.

После недолгого разговора Гнидюк без всяких обиняков предложил Иванову вступить в подпольную организацию.

И произошло чудо: буквально на глазах человека как будто подменили! Куда только девалась его скованность и угрюмость!

— Конечно, я согласен! — воскликнул он.— Выполню любое задание, ведь я даже во сне только и думаю, как связаться с партизанами.

— Ну вот! — рассмеялся Гнидюк.— А некоторые товарищи считают вас слишком замкнутым, угрюмым.

— А чему мне радоваться? — обиделся Авраамий.— Тому, что Гитлер топчет нашу землю? Что гибнут советские люди, а я ничем не могу помочь им? Руки не поднимаются к работе, когда вспомню, что весь этот груз, который уходит с нашей станции, несет смерть советским людям.

Очень скоро мы по достоинству оценили этого скромного, преданного патриота. Иванов словно стремился восполнить время своего вынужденного безделья и не щадил себя. Мы думали сделать его связным между станцией Здолбуново и нашим партизанским «маяком», но Иванов вскоре стал у нас одним из самых лучших разведчиков.

Ему удалось приобрести бесплатный служебный билет и раздобыть пропуск, дающий право проезда даже на товарных воинских эшелонах. Каждый день, невзирая на погоду и постоянную усталость, голодный, в плохонькой одежонке, он садился в поезд, ехал до станции Клевань, а оттуда уже пешком отмеривал четыре километра до «Зеленого маяка». Вручив дежурным очередное донесение, он тут же отправлялся в обратный путь.

Домой Иванов возвращался далеко затемно, чтобы, переспав несколько часов, ранним утром без опоздания явиться на работу.

Несколько раз, отлучаясь под предлогом командировки, Иванов приезжал в наш лагерь. Однажды он передал мне очередной пакет. Сам же отошел в сторону, выжидая.

Уже по одному его смиренному виду я догадался, что произошло что-то необычное. Но действительность превзошла все самые смелые ожидания. Я держал в руках отпечатанный под копирку абсолютно секретный документ — подлинный экземпляр ежедневной сводки о прохождении эшелонов через Здолбуново, которая составлялась для немецкого коменданта станции.

Я не верил своим глазам.

— Откуда? Как?

Авраамий улыбнулся...

Еще раз пробегаю лиловые строчки: столько-то составов с живой силой, столько-то с танками, столько-то с боеприпасами, откуда, куда... Все! Ведь об этом можно было только мечтать!

Признаться, вначале я даже усомнился в подлинности документа: это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Подумал, уж не кроется ли здесь гестаповская ловушка, попытка дезинформировать нашу разведку?

Но проверка подтвердила стопроцентную точность сводки. Даже сейчас, через много лет, я не могу без волнения вспоминать об этом. Сведения о передвижении войск — главная задача разведки в тылу войск противника. От ее выполнения зависит подготовленность командования к операции врага. Сбор точных, надежных сведений о передвижении войск противника — трудное дело, связанное с риском для жизни многих людей. Проверить полученные сведения порой бывает еще сложнее, чем получить. Иногда это сделать вообще невозможно.

Вот почему мы давно вынашивали мысль — нащупать пути к прямому, основанному не только на внешнем наблюдении, получению сведений о работе Здолбуновского железнодорожного узла.

И осуществил эту мечту не профессиональный разведчик, а партизан-подпольщик, скромный русский человек Авраамий Иванов!

Вот как это произошло. Еще весной 1943 года Дмитрий Красноголовец познакомился с секретарем здолбуновской городской управы Павлом Васильевичем Ниверчуком. Поначалу Ниверчук не произвел на Дмитрия хорошего впечатления. Был он всегда хмур, неразговорчив, к обязанностям своим относился ревностно, начальство — и немецкое, и из украинских националистов — относилось к нему благосклонно.

Поэтому, когда Ниверчук неожиданно признался Красноголовцу, что ненавидит оккупантов, тот ему сначала попросту не поверил. Однако Ниверчук сумел убедить Красноголовца в искренности своих слов (по-видимому, он знал, что Дмитрий — коммунист, до оккупации служил в советской милиции). Получив наше разрешение, Красноголовец привлек Павла Васильевича к подпольной работе. Секретарь городской управы оказался для разведчиков человеком исключительно полезным. Достаточно сказать, что он мог в изобилии снабжать их различного рода удостоверениями личности, справками, пропусками.

В Киеве, на Крещатике

У переправы через Днестр



Сапер не может ошибиться



Все дальше на запад

Ниверчук с нашего ведома вовлек в подпольную деятельность своего родственника — секретаря гебитскомиссара Секача, чеха по национальности. Секач снабжал нас очень ценной информацией о деятельности и планах оккупационных властей и тоже доставал различные документы и чистые бланки.

Авраамий Иванов через Секача познакомился с военным оператором железнодорожной станции чехом из Судет Йозефом, который, по документам, считался немцем, мобилизованным в гитлеровскую армию. Йозеф, как и Секач, был антифашистом и охотно согласился помогать разведчикам.

Йозеф был как раз тем работником фашистской железнодорожной администрации, который собственноручно отстукивал на машинке сводки прохождения эшелонов через Здолбуново. Печатали их в двух экземплярах: один, как и полагалось, шел начальнику военных сообщений вермахта, второй — военному коменданту станции. Этот экземпляр аккуратно подшивался в секретную папку и хранился в специальном сейфе под постоянной охраной.

Теперь Йозеф стал закладывать в машинку третий листок...

Эти драгоценные для нас третьи экземпляры бесперебойно поступали в отряд.

Наши замечательные радистки-парашютистки Лида Шерстенева, Марина Ких, Валя Осмолова, Аня Беспояско и другие стали самыми занятыми людьми в отряде: ежедневно по нескольку часов они, подменяя друг друга, передавали в Москву полные и совершенно точные сведения о прохождении фашистских транспортов через важнейший железнодорожный узел в тылу врага.

И так на протяжении многих месяцев. Командир радиовзвода парашютистка-партизанка Лида Шерстенева даже ворчала порой на обилие работы. Но это «для порядка»: она отлично понимала, как дороги эти сводки командованию; чем дольше приходилось ей и ее боевым подругам сидеть над ключом, тем меньше вражеских эшелонов добиралось до фронта.

В ПОИСКАХ СТАВКИ ГИТЛЕРА

На восьмом километре к северу от Винницы, вдоль шоссе Винница — Киев, на берегу Южного Буга расположилось село Коло-Михайловка. На картах этого района любознательный турист найдет название и других окрестных сел: Стрижавка, Яку-

шинцы, Калиновка, Павловка, Корделевка, Черепашинцы, Полевая Лысевка. Обычные украинские колхозные села.

Если путешественник углубится в коломихайловский лес, ему сначала попадутся куски растрескавшихся асфальтированных дорог, по которым уже давным-давно никто не ездит. Потом он натолкнется на огромные разбитые и искореженные глыбы железобетона, разрушенные и обвалившиеся бункеры и подземные переходы, уже поросшие молодым лесом. На всем печать запустения, заброшенности, какой-то смутной тревоги. И путнику захочется поскорее уйти от этого угрюмого места, словно оно проклято.

...Стоял хмурый и студеный декабрь 1942 года. Резкий, порывистый ветер гулял поземкой по полям и перелескам, наметая у деревьев и придорожных столбов небольшие зыбкие сугробики.

В такой-то безрадостный день сразу после полудня из леса неподалеку от большого села Рудня Бобровская выехали пять фурманок. Подпрыгивая и громыхая по ухабам, они направились кружным путем в сторону шоссе Львов — Киев. На передней фурманке, зябко кутаясь в длинную офицерскую шинель, сидел немецкий обер-лейтенант, на остальных — полицаи. Их насчитывалось человек двадцать.

В общем, обычная для тех мест в те времена картина: команда полицаев во главе с немцем-офицером отправляется в какое-нибудь село для наведения «порядка» или заготовки продовольствия. Случайные встречные при виде зловещей колонны сворачивали поспешно в сторону — подальше от беды.

Часам к пяти фурманки выехали на шоссе и свернули влево, в сторону Корца. Время от времени, шурша скатами по заснеженному асфальту, мимо колонны в обе стороны пролетали грузовики, иногда попадались и легковушки.

Прошло еще полчаса, и вдруг где-то вдалеке по-комариному высоко и надсадно запел мотор, запрыгали, приближаясь с каждой секундой, желтые огни подфарников еще невидимого автомобиля. Встрепенулся невозмутимый до сей поры обер-лейтенант. Опустил поднятый воротник шинели, поправил автомат на груди. Каждому известно: желтые фары положены только автомобилям большого начальства.

Машина вылетела из-за поворота, не снижая скорости... И тут хлопнул пистолетный выстрел, а в следующую секунду один из полицаев выхватил из висевшей на боку торбы тяжелую противотанковую гранату и заученным, точным взмахом швырнул ее под заднее колесо автомобиля. Взрыв взметнул вверх

задний мост автомобиля с бешено вращающимися в воздухе колесами. «Оппель» замер на хрустнувшем, как орех, радиаторе. Потом грузно перевернулся и, сминая кабину, рухнул в кювет. Тускло блеснули полированные бока, и тут же их разорвали косые строчки автоматных очередей.

Первым с парабеллумом в руке к дымящейся груде исковерканного металла подбежал обер-лейтенант. Живых в бывшем «оппеле» не было. Повернувшись к подоспевшим полицаям, немецкий офицер на чистом русском языке приказал:

— Забрать все бумаги, документы, оружие!

Лишь только партизаны (а это были, как догадался читатель, они) выполнили распоряжение своего командира, из-за поворота вырвалась еще одна автомашина. Ее пассажиры, видимо, успели понять, что на шоссе — засада, потому что автомобиль — длинный, многоместный, полубронированный — гнал на полной скорости вперед, не сбрасывая газ. Гулко забарабанили по броне бессильные автоматные и винтовочные пули. И полуброневик ушел бы... ушел бы, если бы не кинулся к фурманке невысокий коренастый партизан. За какую-то секунду он успел сменить диск своего ручного пулемета и выпустил вдогонку машине длинную очередь. Тыркаясь и вихляя из стороны в сторону, как пьяный на ночной улице, автомобиль прокатился еще метров сто и, ткнувшись в кювет, замер: запасной диск «дегтярева» был заряжен бронебойными патронами.

Со стороны машины хлопнули два растерянных выстрела, и наступила тишина. Подбежавшие партизаны обнаружили в машине убитого наповал шофера и еще несколько трупов. Два офицера, сидевшие за бронеспинкой, хотя и потеряли сознание, ткнувшись при внезапной остановке головами во что-то твердое, были живы. Один из них — с погонами подполковника — продолжал судорожно сжимать в руках большой желтый портфель. Этот портфель и интересовал в первую очередь партизана в форме немецкого обер-лейтенанта.

Последовала новая команда:

— Пленных грузить на фурманки! Все вещи и оружие забрать и уходить!

И тут снова загудел вдали автомобильный мотор! Но пассажиров третьей по счету машины, видимо, судьба на сей раз хранила. Машина успела развернуться и уйти назад, в сторону Киева.

Снова наступила тишина. Обоих пленных офицеров (второй оказался майором), так и не пришедших в себя, уложили на переднюю фурманку и аккуратно прикрыли сеном. Через две

минуты на шоссе было пусто. Снегопад заносил уходящие в лесную чащу следы фурманок...

А теперь вернемся на несколько недель назад от описанных событий. В штаб нашего специального партизанского разведывательного отряда под командованием Д. Н. Медведева пришла радиограмма из Москвы. Командование ставило нас в известность, что, по некоторым, пока еще не проверенным данным, на Украине, недалеко от Винницы находится ставка Гитлера. Нам предписывалось уточнить ее местонахождение.

У нас, чекистов, руководителей отряда, даже перехватило дух: это было задание!

Винница — трудный для нас пункт. Прежде всего нас отделяли от Винницы 450 километров оккупированной территории. Засылка разведчиков в такую даль, где у нас в то время пока еще не имелось ни базы, ни своих людей, была связана с большим риском и требовала немалого времени.

Как определить границу, когда интуиция разведчика переходит в смутную догадку, догадка — в серьезное предположение, а предположение — в уверенность? Во всяком случае, я затрудняюсь сказать точно, на каком из этих этапов мне попался в руки номер издаваемой в Ровно на украинском языке газеты «Волынь». Строго говоря, газета нам попала в руки далеко не случайно. Этот грязный антисоветский листок, редактировавшийся известным националистом, предателем украинского народа Власом Самчуком, в штабе нашего отряда читали даже внимательнее, чем в гестапо, на чьи деньги он издавался.

Тщательное изучение вражеских газет может многое дать разведчику. Самое невинное на первый взгляд сообщение может принести больше ценной информации, чем даже «язык». Пресловутая «Волынь» оказала нам уже не одну услугу. Не подвела «старая знакомая» и на сей раз: на видном месте на первой полосе газета напечатала льстивое сообщение, что на днях в Виннице состоялся концерт артистов Берлинской королевской оперы, который почтил своим присутствием сам рейхсмаршал Герман Геринг.

Дмитрию Николаевичу Медведеву заметка тоже показалась прелюбопытной. Действительно, что забыл в скромной маленькой Виннице рейхсмаршал Геринг? Но делать какие-то далеко идущие выводы было пока что преждевременно. Геринг мог оказаться в Виннице и совершенно случайно, проездом.

Прошло еще некоторое время, и в руки к нам попала другая газета, уже немецкая, «Дойче украинише цайтунг», выходившая в Луцке. И снова в разделе хроники новость из Винницы!

На сей раз сообщалось о том, что на представлении оперы Вагнера «Тангейзер» в ложе театра находился один из высших гитлеровских военачальников, фельдмаршал Кейтель.

Неужели совпадение? Возможна и такая случайность, что Геринг и Кейтель с перерывом в несколько недель проезжали Винницу и заходили в театр. Факты многозначительные, но для разведчика еще не убедительные. Бывают совпадения совершенно невероятные, какие и нарочно не придумаешь. Копнешь их и обнаружишь: просто случайность, за которой не кроется решительно ничего стоящего. Но, разумеется, следили мы теперь за Винницей в оба.

Мы вспомнили, как еще летом бежавшие из фашистского плена красноармейцы рассказывали, что где-то под Винницей немцы вели большое строительство. Что там строили, никому не было известно, даже охране. Знали твердо только одно: из многих тысяч советских военнопленных, отправленных под Винницу, обратно в лагерь не вернулся ни один. Ходили жуткие слухи, что их всех расстреляли...

Обер-лейтенант Пауль Зиберт — под этим именем работал наш замечательный разведчик Н. И. Кузнецов — уже давно охотился за рейхскомиссаром Украины Эрихом Кохом, чья резиденция располагалась в Ровно. Кузнецов завязал обширный круг знакомств среди сотрудников рейхскомиссариата Украины (РКУ). Один из них обмолвился как-то, что Кох на несколько дней срочно уехал в Винницу и Киев.

Наконец, нам стало известно, что, отложив все дела, в Винницу укатил и знакомый Кузнецову сотрудник СД майор фон Ортель. Этот, как догадывался Кузнецов, матерый шпион перед своим отъездом в Винницу сказал что-то о «рейхсфюрере». Тем самым он проговорился о многом: петлицы с шитьем рейхсфюрера СС в гитлеровской Германии носил только один человек, самая зловещая после Гитлера фигура немецкого фашизма — Генрих Гиммлер. Но Гиммлер мог быть в Виннице лишь в одном случае: если там находится Гитлер.

Собственно говоря, цепь умозаключений была замкнута. Оставалось лишь определить точное местонахождение ставки, выяснить, что она собою представляет, как охраняется.

Для решения этих задач окольные пути уже не годились. Нужно было зацепить человека, имеющего доступ в ставку, иными словами, взять «длинного языка», хорошо информированного фашиста, располагающего требуемой информацией. Но как?

Легче всего нужного человека можно было разыскать в

Ровно. Но легкое в разведке далеко не всегда означает лучшее. Брать «языка» в Ровно не стоило по нескольким причинам. Во-первых, вывезти пленника из города было бы очень сложно, значительно сложнее, чем взять. Малейший промах поставил бы под удар наших лучших разведчиков, а только им можно было поручить столь ответственную операцию. Во-вторых, похищение крупного офицера сразу же привлекло бы особое внимание гестапо, неминуемо навело бы на мысль, что в городе действует не только партизанское подполье, но и специально заброшенные советские разведчики. Между тем многими успехами наш отряд был обязан именно тому обстоятельству, что путал все карты гестаповцам, маскируя разведывательную деятельность лихими партизанскими налетами и диверсиями.

«Языка» следовало взять так, чтобы у немцев не возникло и тени подозрения, кому и для чего он потребовался.

Операцию обдумывали долго и тщательно. К решению ее пришли коллективно. Так возникла вначале смутная, а потом выкристаллизовавшаяся до мельчайших деталей идея подвижной засады, или, как ее предпочитал образно называть Николай Иванович Кузнецов, «охоты на индюков».

Подвижная засада должна была высмотреть на шоссе штабной автомобиль, подорвать его и захватить пассажиров и документы. Налет обставлялся так, чтобы убедить последующих исследователей вопроса из гестапо, что это — дело рук одного из местных партизанских отрядов, совершившего обычное нападение на оккупантов.

Обстоятельства, однако, сложились так, что на помощь строгому расчету, не исключавшему, впрочем, и элемента случайности, пришла вовремя добытая информация.

В начале декабря Кузнецов с очередным визитом побывал в Ровно. Имел там несколько встреч с различными лицами из числа сотрудников фашистской администрации. Надо сказать, что Пауль Зиберт (об этом мы особо заботились) всегда располагал большим количеством денег, и не только оккупационных, но и рейхсмарок, на которые в магазинах «только для немцев» можно было купить что угодно, любые деликатесы, вплоть до коллекционных французских коньяков. Это обстоятельство в значительной степени обусловило успех обер-лейтенанта Зиберта в среде фашистских офицеров, где он всегда был желанным компаньоном. Происхождение подобного богатства, вовсе не обычного для простого обер-лейтенанта, отлично объяснялось вымышленным служебным положением Кузнецова. Офи-

циально он числился «чрезвычайным уполномоченным хозяйственного командования», в задачу которого входило использование ресурсов оккупированных областей СССР в интересах вермахта. Ведомство Зиберта по-немецки называлось «Виршафтскомандо» (сокращенно «Викдо») и открывало своим сотрудникам неслыханные для обычных армейских офицеров источники дохода.

Именно поэтому набиваться в приятели к Зиберту не считали зазорным не только обер-лейтенанты, но и майоры и даже полковники. Как говорится, чины чинами, а деньги деньгами.

В числе подобных «приятелей» Кузнецова, рассчитывавших заработать при его содействии, был один довольно крупный сотрудник рейхскомиссариата по имени Генрих.

Однажды в офицерском казино Генрих сказал Зиберту:

— Вы деловой человек, но все-таки не используете всех возможностей, которыми могли бы при желании располагать.

— А что вы имеете в виду? — чуть небрежно поинтересовался Кузнецов, стряхивая пепел с длинной египетской сигареты.

— Прежде всего связи ваших друзей,— многозначительно произнес Генрих.— Я понимаю, конечно, что это ваше «Викдо» предоставляет вам достаточную самостоятельность, чтобы чувствовать себя в коммерческом отношении независимым. Но и мы в рейхскомиссариате кое-что можем. Мы могли бы с вами неплохо сотрудничать, Зиберт...

Намек был более чем прозрачен. Но, как «делец», Николай Иванович не спешил с принятием предложения. Марка фирмы прежде всего! Выждав, сколько требовали приличия, он осторожно спросил:

— Вы сказали «мы»?

— Я имел в виду кроме себя своего друга, весьма важное лицо.

Разговор явно начинал интересовать Кузнецова.

— В таком случае,— удовлетворенно продолжал его собеседник,— вы понимаете, сколь плодотворным и ценным может быть наше деловое содружество.

Кузнецов широко улыбнулся и наполнил рюмки.

— Что ж, польщен вашим предложением и охотно принимаю его!

Нежно зазвенел хрусталь...

С аппетитом закусывая лососиной, сотрудник рейхскомиссариата обрадованно развивал перед обер-лейтенантом Зибертом самые радужные планы быстрого и легкого обогащения.

— Вы не пожалеете о сегодняшнем вечере, вот только мой друг приедет.

— А разве его нет здесь сейчас? — невинно удивился Кузнецов.

— Из Берлина он выехал в Киев на срочное совещание, ждем его на днях в Ровно. Я вас сразу же и познакомлю.

— Прямо на вокзале? — рассмеялся Кузнецов.

— Зачем на вокзале? Он приедет на машине, а встретиться можно часов в десять вечера у меня.

Лучшей добычи не сыщешь! Распрощавшись, Кузнецов поспешил в отряд.

Подвижная засада была блестяще осуществлена. Немного помятые, но невредимые, оба «индюка» оказались в наших руках. Как все происходило, вы уже знаете. Добавлю только, что первый сигнальный выстрел из пистолета сделал наш славный разведчик Николай Гнидюк, а метким гранатометчиком, перевернувшим машину, был Петр Дорофеев. Полуброневик, в котором ехали сами «индюки» — майор граф Гаан и имперский советник связи подполковник фон Райс, подбил пулеметной очередью партизан Жорж Струтинский. Кроме них в дерзкой операции участвовали Михаил Шевчук, Николай Струтинский, Алексей Глинко, Николай Бондарчук, Иван Безукладников, Валентин и Виктор Семеновы, Сергей Рощин, Николай Приходько и другие разведчики.

Несколько часов, петляя и кружа по лесу, партизаны добирались до хутора Вацлава Жигадло. Приказав разместить пленных в разных комнатах дома и выставив вокруг хутора надежную охрану, Николай Кузнецов разрешил всем участникам подвижной засады отдыхать до утра. Наскоро перекусив, улегся спать и сам.

Утром он приступил к допросу. Николай Иванович решил представиться пленным в немецкой форме. Во-первых, чтобы привести их в состояние наибольшей растерянности, во-вторых, для того, чтобы лишний раз проверить, насколько удачно получается у него роль гитлеровского офицера.

Первым в горницу ввели графа Гаана. Кузнецов немедленно встал, вытянулся, как это положено по уставу в присутствии старшего по званию, и, звонко щелкнув каблуками, представился своему несостоявшемуся компаньону:

— Обер-лейтенант германской армии Пауль Зиберт.

Граф в изумлении, не веря собственным глазам, уставился на тщательно выбритого, подтянутого «соотечественника».

— Что все это значит, где я нахожусь и кто вы такой? — истерически закричал он.

— Вы в плену у советских партизан, господин майор,— разъяснил Николай Иванович.— А я, увы, такой же пленный, как и вы. Вынужден выполнять здесь функции переводчика.

— Вы предатель! Вы предали фюрера! — закричал Гаан.

Кузнецов пожал плечами.

— Будьте благоразумны, господин майор. Я пришел к выводу, что война проиграна и Гитлер ведет Германию к неминуемой гибели. Вы, как умный человек, должны это знать не хуже меня. Я решил служить русским и советую вам, как коллеге и соотечественнику, быть с ними откровенным.

Гаан продолжал неистовствовать. По распоряжению Кузнецова его увели. Наступила очередь имперского советника связи подполковника Райса. Этот здоровенный рыжеволосый мужчина тоже ни на секунду не усомнился, что имеет дело с настоящим немецким офицером, и осыпал Кузнецова упреками в государственной измене.

Допросы продолжались. Кузнецов был терпелив. Его воля и упорство оказались сильнее тупого отмалчивания пленных. День ото дня Гаан и Райс делались все разговорчивее и наконец стали давать ценные показания.

Среди толстой пачки секретных документов, оказавшихся в заветном желтом портфеле, внимание Кузнецова привлекла топографическая карта, на которой были нанесены все пути сообщения и средства связи фашистов на территории Польши, Украины и Германии. Эта карта представляла огромный интерес и ценность для советского командования. В ходе допросов Гаан и Райс постепенно дали к ней подробные объяснения. Упорно молчали лишь об одном: что означает красная линия, начинающаяся между селами Якушинцы и Стрижавка, близ Винницы, и оканчивающаяся в Берлине.

— Государственная тайна,— твердили упорно оба офицера.

В конце концов Райс нехотя сказал:

— Это секретный подземный бронированный многожильный кабель.

— Для чего его проложили? — спросил Кузнецов.

— Для прямой связи Берлина с Якушинцами.

— Когда?

— Летом этого года.

— Кто прокладывал?

— Русские пленные.

— Где они сейчас?

Райс отвел глаза...

— Отвечайте на вопрос! — Кузнецов резко повысил голос.

— Давясь словами, Райс еле слышно пробормотал:

— Их ликвидировали, был строгий секретный приказ... Это гестапо.

— Сколько их было?

— Около тридцати тысяч, может быть, меньше...

Кузнецов отвернулся к окну. Его душила ненависть. С трудом взяв себя в руки, он продолжал допрос.

— Значит, проложили специальный кабель, чтобы фюрер в Берлине мог в любой момент переговорить по прямому проводу с этой деревушкой... Как ее... Якушинцы?

— Наоборот,— хмуро буркнул Райс.— Чтобы фюрер из Якушинцев мог говорить с Берлином.

— Это значит...— размеренно начал Кузнецов.

Безнадежно, как человек, которому уж нечего терять, Райс закончил фразу:

— ...что в Якушинцах находится ставка фюрера.

— Расскажите о ней подробнее,— потребовал Кузнецов.

— Подробностей не знаю. Мое дело — только связь. Об остальном спрашивайте Гаана. Это ему известно лучше, чем мне.

За время пребывания в плену с графа слетела вся его спесь. Он рассказал обо всем, чего не знал Райс.

— Ставка расположена в двух километрах от села Коло-Михайловка, в роще, в двухстах метрах восточнее шоссе Винница — Киев. Севернее ставки большой стратегический аэродром для прикрытия. Но пролетать над ним строго запрещено даже нашим самолетам.

— Что она собою представляет?

— Последнее слово инженерно-фортификационной техники. Условное кодированное название — объект «Вервольф» («Оборотень»).

Бункер главной квартиры фюрера, бомбоубежища, службы находятся глубоко под землей. Стены и потолки из железобетона толщиной в три — пять метров... Все сооружения обнесены густой стальной сеткой высотой в два метра, на метр сетка углублена в землю. Кроме сетки несколько рядов колючей проволоки, через которую пропускается электрический ток... Заборы оборудованы электросигнализацией...

Гаан говорил долго. Кузнецов быстро записывал в блокнот каждое его слово.

— ...Под лесом с северной стороны электростанция. По-

строены две радиостанции, водокачка, водопровод. Для фюрера построен одноэтажный кирпичный дом. Снаружи для маскировки он обложен сосновыми бревнами. Из дома ход в подземное железобетонное бомбоубежище. Перед домом оборудован специальный бетонный бассейн и разбит цветник. Вы знаете, фюрер очень любит цветы...

Все постройки покрашены в темно-зеленый цвет. Над сооружениями посажены деревья — сосна, граб, дуб... Деревья привезли из Черного леса и Винницкого городского парка. На территории сооружены также три мощных железобетонных дота. Рядом со ставкой посадочная площадка для связных самолетов.

Около аэродрома штаб-квартира Геринга. Кроме Берлина «Вервольф» связан подземными кабелями с Киевом, Ростовом, Харьковом, Днепропетровском и Житомиром, где расположена полевая ставка рейхсфюрера Гиммлера... Вокруг леса 36 наблюдательных вышек... В пяти километрах от леса с трех сторон замаскированы батареи противотанковых орудий, с четвертой стороны — батареи в лесу, и, помимо того, по линии железной дороги Калиновка — Винница постоянно курсирует бронепоезд. В лесу и вокруг леса в бараках расположены войска СС внутренней охраны ставки. Через каждые двести метров — специальные заставы. Установлен строжайший режим. Расстрелу подлежат все посторонние лица, кто только услышит о ставке... Задержанные передаются в особую команду СД для расстрела... Всех местных жителей проверяет и фильтрует специальная группа гестапо — СД Даннера... Вся охрана подчинена начальнику имперской службы безопасности при ставке оберфюреру СС полковнику войск СС Раттенгуберу. Раттенгубер подчинен непосредственно рейхсфюреру Гиммлеру...

Тайна объекта «Вервольф» для нас перестала существовать. Подробная информация о ставке Гитлера была передана в Москву...

БОЛЬШАЯ СИЛА

Тогда, пять или шесть лет назад, было тут скудно и очень скучно. Вот в этой избе сидит, бывало, уполномоченный райкома партии и, задумчиво поглядывая в окошко, пишет. Во дворе осенняя непогодь. От непрестанных дождей все потускнело; избенки, соломенные повети, трухлявый мост окрасились в бурые, серые цвета, и в мокрети, в стылом ветре обиженно и дико проступает все худосочие этой деревни, ее всяческая запущенность. А поблизости, в десяти, семи, даже пяти километрах отсюда, совсем иная жизнь. И в тех деревнях в плакучую эту пору, с ее непрестанными дождями, с холодеющей грязью, так сладостно чувствовать хозяйскую домовитость, веселую крепость артельных устоев! Там еще до бабьего лета зазябили поле, до непогоди отмолотились и уже давным-давно свезли на ссыпку, что причиталось государству. Жарко пылают в печах березовые поленья; у квашни с пшеничным тестом хлопочет разрумянившаяся хозяйка. По вечерам неторопливые вкусные речи об удоях и отелах, о том, какие сита поставить на новой мельнице, каких кровей жеребца надо купить... Это в десяти, семи, даже пяти километрах отсюда. А здесь сидит у окошка уполномоченный и пишет в райком записку, унылую, как мокрые повети. Пишет, что уже четвертые сутки тут не молотят, что он по-всякому борется с «сырыми настроениями», но перебороть их не может, что в колхозе очень худо с кормами, и так далее.

В избу входит председатель колхоза; на лице его изображено: «Страдал, терпел, надеялся, но хватит: сейчас взбунтуюсь...»

Угрюмо говорит уполномоченному:

Очерк написан в годы войны и публиковался в «Правде».

— Очень буду просить тебя помочь мне завербоваться.

— Что?

— Да все то же, Андрей Михалыч. Не могу, сил больше нет! Хочу на железную дорогу.

По заведенному обычаю уполномоченный должен был бы заговорить сурово о «недопустимости подобных настроений», о том, что «райком не пройдет мимо таких настроений, нет, не пройдет...». Но на этот раз уполномоченный не раскипятился, не стал произносить гневных слов, а грустно и тихо сказал:

— Подожди немного. Нам скоро обоим по шапке дадут.

Сидят они вдвоем и горюют: «Засыпались, ах как засыпались!..» Председатель работает здесь недавно, всего четвертый месяц. До этого он руководил другими колхозами, и везде у него дела ладились, потому что это были сильные колхозы... А тут невзгода за невзгодой.

— Ухватиться не за что,— говорит председатель.— В пространство все время попадаешь. С кем тут станешь работать? Разве это бригадиры! Ты ему одно, он тебе другое...

Сокрушенно качает головой.

— У меня выбор был,— как бы недоумевает уполномоченный.— Либо в Ворошиловский колхоз, либо сюда. Так угораздило сюда. Да сюда кого хочешь присылай — засыплется!

Они порицают районные организации и всех прежних деревенских вожаков за крайнюю запущенность колхоза, за то, что те «пустили все на самотек», «довели до ручки», а «вот теперь расхлебывай...»

Видно, собеседникам невдогад, что они-то олицетворяют «самотек», что обоими ими владеют навыки этого «самотека», неживая, бюрократическая механика, и оба они никогда не ведали творческой страсти, радости исканий, созидания, проникновения в живую жизнь.

Сидят тоскующие рохли, и невдомек им, что близится гораздо более трудное время: пахари, косцы, животноводы уйдут на войну, и будет большая убыль в машинах, тягле, во всем, но на третьем месяце войны придет сюда большевичка, и здешние люди выберут ее своим вожаком, и все тут волшебно изменится.

Зовут ее Ниной Пылаевой, родилась она и выросла вот в такой же деревушке, училась в сельскохозяйственном техникуме, вникая там не только в биологию, почвоведение, основы агрохимии, но и в ясные, светлые глубины ленинского учения о жизни, борьбе, созидании, человеке.

И не раз с благодарностью, глубокой и жаркой, вспомнит Пылаева о техникуме, о кружках, задушевных беседах,

о секретаре партийной организации, комсоргах, преподавателях-коммунистах, знавших, как безмерно важна доподлинно живая и жизненная политическая работа в школах, как несравнимо велика ее формирующая, организующая и одухотворяющая сила.

Шла ли, бывало, речь о диалектике, или об артельном уставе, или о том, что кадры решают все,— большевики техникума как бы вводили слушателей в обыденную, с детства знакомую жизнь, в мир, каким его видишь и ощущаешь, в русские городки, поселки, деревни. Чаще всего говорили о самом драгоценном, что есть на земле,— о человеке, о несчетном множестве талантливейших людей в народе, о крестьянской женщине, ставшей большой силой... И говорили, что жизнь несказанно сложна, что не просто открывается иная горящая и любящая душа, что искание кадров, пестование их — и радостный, и страдный труд. «Вот, например, в Ржевском районе произошла такая поучительная история...» Перед слушателями возникают бурые, неродимые земли, заболоченные луга, веревочная сбруя на лошаденках... Но приехал коммунист, посмотрел, сказал: «Видать, уж специальность у меня такая: из глины пшеничные бублики делать... Как считаете: сто пудов пшеницы с вашего гектара взять можно?» На него поглядели исподлобья, сказали: «А ты веселый!..» Он: «Мне это всегда в веселье, когда получаю задание из глины пшеничные бублики делать. С таким народом, как вы, да не сделать!..» А дальше рассказ о том, как человек этот искал, как нашел подручных, как вместе с ними поднял деревню на небывалые дела. И в этой почти осязаемой конкретности открывалась перед слушателями вся животворящая сила большевизма. Большевик заставит плодоносить и камень.

И тут, в Путилове, Нину Пылаеву не огорчат ни скаредные здешние земли, ни покривившиеся плетни, ни отощавшие коровенки под дырявыми поветями... Она слышит унылый говор: «До войны не могли дело наладить, а теперь уж где там!..» Но идет она от двора к двору веселая, словно видит не серость, дрему и худосочие, а затаившиеся неохватные силы артельной деревни.

* *
*

С этим дядей, сдается, каши не сваришь. Пришел на ток агитатор; колхозники, колхозницы сидят в кругу, слушают. Только один этот дядя не слушает, отошел в сторону, лег спи-

ной к агитатору, прикрылся от мух мешком. Агитатор говорит тем замусоренным языком, который превращает самую простую мысль в загадку.

— Не секрет,— произносит он,— что у нас имеются инциденты в части недовыработки...

Дядя вдруг заколыхался, приподнял голову и хрипловато и очень тревожно закричал, перекрывая голос агитатора:

— Ты, Ваньк, черт, чего кисет не вернул? Я тебя, черт, табаком не обязан беспечивать!..

Агитатор думает: «Ну, элемент! Вот поработай с такими!..»

Все колхозники, колхозницы тоже неодобрительно поглядели на дядю: хотя агитатор-то и очень плох, но, как знать, может быть, ненароком скажет что-нибудь нужное, интересное. Это бывает.

Но кончился обеденный перерыв, агитатор ушел, на току зашумели веялки, молотилки, а дядя и еще три колхозницы стали насыпать отработанное зерно в мешки, чтобы везти его на элеватор. Дядя насыпает зерно, носит мешки на телеги, укладывает их. Вдруг увидел что-то, подошел к колхознице, угрожающе проговорил:

— К-куда с-сыплешь?

И рывком отбросил мешок на солому.

В этом мешке кто-то хранил угли, он весь прочернел, в нем остались крохотные угольки, но колхозница, не обив мешка, не очистив, сыплет в него пшеницу.

И дядя до того разгневался, что у него на лбу заходила кожа:

— Ты кому хлеб посылаешь, а?!

Он не произнес слов «государство», «армия», но было понятно: это он вознегодовал на бабу за то, что та по небрежности своей засоряет зерно, которое сейчас повезут на государственный элеватор.

Колхозница обобьет мешок, дядя стихнет и зашагает за телегами к элеватору, и кто подумает, что человек этот ощущает взаимосвязь государственных и личных интересов куда глубже, чем иные?

Но Нина уже не забудет о дяде: как бы невидимкой стоит где-нибудь у вороха соломы, смотрит... Дядя-то не проворен и очень много ворчит, обзывает кого-то «завитушками», «кастратами», но все делает так рачительно, словно это его собственная скирда, собственная лошадь, собственный хомут... И вожак уже знает: этот дядя станет отличнейшим бригадиром. Нынче вечером надо потолковать с ним, потом, через день или два, словно

ненароком зайти к нему в избу и тоже поговорить о семейных и колхозных делах, о войне, о победе... Нина будет часто встречаться с ним, и спустя два-три месяца все будут дивиться дяде: «Смотри-ка какой хозяин! Вот это бригадир!..»

Однако вожак понимает: еще не сделано и полдела, с новым бригадиром надо много повозиться.

— Нет, да ты смотри, что написано! — говорит Нина бригадиру, развертывая газету.— Сорок пять тонн картошки с гектара. Под Москвой! Да там земля еще плоше нашей. Ты смотри, как они все перевернули! Там, друг, понимают, как надо помогать фронту!

И нет для нее увлекательнее, нужнее дела, как «повозиться» со своими помощниками. Она собирает их, ведет с ними задушевные беседы о войне, об артельных делах, заходит в избы:

— Думка одна у меня появилась интересная, Марьюшка. Насчет новой фермы. Ну-ка, налей чайку...

Эти люди понесут политическое слово, рабочую свою страсть в народ: в бригады, звенья, на тока, на фермы, в обозы...

В том, как Нина Пылаева искала и находила кадры, как растила их, примечательна безошибочность: все, кого «подглядела» она в буднях жизни, в деревенской повседневности — в избах, на огородах, на мельнице, на полях, у завалин,— все они теперь дивят округу своими делами.

Кто б сказал, что несловоохотливая, совсем неприметная Ольга Корсакова станет свинаркой, о которой зашумит слава по всему району? В станках, поднадзорных Ольге, народилось в минувшем году сто пять поросят, и все сто пять растут, тучнеют. Как она ухаживает за матками, как следит за рационами, за чистотой в станках, как выкармливает отъемышей!

И кто бы сказал, что настанет пора — и Марья Вахромеева ради артельных дел охладеет к своей усадьбе, к личному своему хозяйству, в котором трудилась когда-то сладко и увлеченно? Она артельный семеновод, создатель сортовых семенных фондов, она доводит всхожесть пшеницы, ржи, ячменя, овощей до ста процентов, до наивысшей хозяйственной годности.

Старая Марья Панина, выращивающая на каждом гектаре звеньевого своего участка двадцать четыре центнера ячменя, бригадир Марья Бихрева, бригадир Марья Бахарева, животновод Иван Степанов, пастух Иван Ипатов, звеньевые Таня Лебедева, Тоня Сентябрева, Аннушка Антонова, Нина Степанова поднялись из безвестности. Это Нина Пылаева увидела, как одарены они, как любят родную артель...

* *
*

Если сравнить, что и как делали на полях здешние люди до войны и делают теперь, как пахали они тогда, как культивировали, сеяли, как выпалывали дикие травы, подкармливали зеленя, теребили лен, косили хлеб, скирдовали, если сравнить это и нынешнее, то выйдет, что теперь артель вкладывает в гектар втрое больше труда, нежели прежде.

Любовной работой, точной агротехникой люди добывают с гектара до двадцати трех центнеров ржи, до двадцати четырех центнеров ячменя.

Пшеницу «дюрабль», и пшеницу «лютесценс», и льняное волокно, и льняное семя, и горох, и всякие овощи колхоз собирает тоже в количествах небывалых. Фронтовики сильно дивятся тому и, по всему судя, не вполне верят, что на малородных суглинках пошли такие урожаи: «Насчет урожая пишете много загадок...»

В минувшую осень артель «играючи», то есть весьма легко и быстро, справилась с поставкой зерна, причитавшегося государству. На селе говорили: «Вот как! А бывало, то хлеб сырой, то лошадей не хватает, то что!.. Иной год маялись до самого рождества...»

А после поставок было колхозное собрание, и на том собрании определили, сколько зерна следует продать государству. Продали почти вдвое больше.

И уже там и сям ставят новые дома, весело алеют над коньками изб звезды и кочеты, и все плетни выпрямлены, и неведомо когда расплодилась такая прорва гусей, уток, кур, и чуется по запаху: в печах румянятся пшеничные на топленом масле пироги. Ясноглазые, хорошие девушки идут за обозом; на телегах бидоны, жбаны, свиные туши: «В фонд Красной Армии»...

За деревней от небосклона до небосклона ветер гонит изумрудную волну сортовых пшениц, ячменей, ржи.

И уже идут в зеленях («Не пора ли полоть?») бригадиры, звеньевые — все те, в ком увидела Нина Пылаева любовь, волю и страсть, увидела и вместе с ними повела деревню к чудеснейшим делам.

А в правленческой избе распахнуто золотое и багряное Знамя Государственного Комитета Обороны. Оно присуждено Калининской области, а областные организации передали его «Красному путиловцу», самому славному колхозу в области.

Колхоз «Красный путиловец», 1944 г.

ДЕРЗОСТЬ. ДОБЛЕСТЬ. ПОБЕДА

ОТЦЫ И ДЕТИ

Высокий жилистый человек с такими жесткими и резкими морщинами, которые делают лицо не старчески дряблым, как у иных, а как бы высеченным из камня, поднялся из-за стола и сказал:

— Обратитесь до комиссара Николая Сергеевича, который в курсе боевых дел и вполне может осветить вопросы о нашем отряде.

Тогда поднялся сидевший рядом с ним молодой человек с забинтованной кистью руки и с большим уважением произнес:

— Я действительно есть комиссар отряда. Но вы, папаша, Сергей Иванович, есть его командир и можете осветить не хуже меня.

Они стояли рядом, высокие, строгие, преисполненные уважения друг к другу и к своему важному делу. Все остальные работники штаба поднялись со своих мест и тоже стояли, храня почтительное молчание.

— Прошу вас, сидайте, пожалуйста,— сказал тот, что был постарше.

Так мы повстречались с отцом и сыном Диковицкими. Третьего члена партизанской фамилии, младшего, Андрея, мы в тот день не увидели, как не увидели и двоюродных братьев Диковицких. Один убит в бою, остальные отправились на операцию. Глава семьи говорил:

— Семья наша разбросана по всей болотной земле. Одно детишко малое осталось у добрых людей за Сарнами, другое детишко взялись беречь совсем чужие нам люди, а третье детишко было вместе с женой. Семья наша идет по земле с боями, и малые гибнут невинно, а жизнь свою могут держать только те, что владеют оружием.

Фамилия Диковицких пошла по земле с боями с первых дней войны, когда солнце померкло в дыму и лица людей потемнели от близости крови и смерти. К дому Диковицких война надвинулась быстро. Жили они издавна близ границы. И семья вышла на бой, не дожидаясь призыва. В июньское воскресенье 1941 года братья Николай и Андрей поймали возле аэродрома пятерых диверсантов, сброшенных фашистами с воздуха. И это дело враги запомнили семье Диковицких. Красная Армия отходила в тяжелых боях. Раненный, опухший от скитаний и голода, боец-коммунист постучал в дом Диковицких. Они скрывали его на чердаке, выправили ему поддельные документы и, когда полицейские нагрянули с обыском, помогли выпрыгнуть с чердака и уйти от погони. Так они входили в войну, еще не имея оружия.

Вскоре семеро полицейских явились в хату и увели с собой отца, двух его сыновей и двух племянников. В комендатуре, оглядевшись по сторонам, старик сказал трудным, сдавленным голосом:

— Дышать нечем, сыны.

Николай кулаком вышиб окно, и ветер ворвался сквозь битые стекла. И тогда остальные в ярости стали ломать столы, крушить шкафы, набитые клеветой и доносами, и вместе с отцом кинулись на семерых полицаев, дали волю крепким своим кулакам и ушли все пятеро.

Встретиться суждено им было в городской тюрьме. Первыми бросили туда братьев. Отца схватили на месяц позже. Всех ждала одна участь — расстрел. Сидели они в разных камерах, но связь между собой имели.

— Если смерть близка, то нет для нас с вами страха,— передавал отец.— Бежать надо, сыны.

Обманывая стражу, они постарались соединиться в одной камере и привлечь к себе других верных людей. Были с ними и Козляковский, впоследствии погибший в бою, и Ногтев Иван, состоящий по сию пору в отряде, и одиннадцать других, исполненных такой же решимости. Трижды попытка побега срывалась.

Был апрель, первый день пасхи. Накануне стражники ходили по камерам с ножницами — стричь заключенных наголо. Отец шепнул другим, что не станет даваться, и это будет сигналом для бунта. Пришел в камеру стражник, отец выбил у него ножницы, Николай кинулся на помощь к отцу. Но остальные медлили. Стража сбежалась на шум, и отца увели до утра в холодный подвал. Может быть, только пасха отдаляла минуту

расстрела. Отец вернулся из подвала грозный и беспощадный к малодушию остальных заговорщиков.

— Сроку до казни нам совсем не осталось, а из могилы бежать будет поздно,— сказал он, обводя всех колючим взглядом.— Кто смерти подло боится, все равно умрет, а кто духом не сгнил раньше времени, так пусть уж не отступает в этот последний наш час.

Так начиналась последняя попытка побега. Братья подмазали полицаев, уговорили пустить на минуту в уборную. Вместо одного проскочило за братьями семеро, и там произошел между ними мгновенный уговор. Условились о каждом движении, о каждом ударе. И в ту же ночь каждый сдержал свое слово. Был сигнал — и счет пошел на секунды: один берет коменданта за глотку, другой выхватывает у него пистолет, Николай врывается в канцелярию за ключами, Ноздрин ждет его, отпирает тюремные камеры, выпускает заключенных. Остальные держат дозор и прикрывают работу зачинщиков.

В канцелярии полицейский забился в угол, дрожал. Николай схватил связку ключей. Кинулись отпирать главную дверь. Беглецов и самих бил озноб. Замки не поддавались. Тюрьма уже ревела, вопила тревогой. Яростно ворочаются ключи в скважине. Первый, третий, десятый, вот вся связка, а дверь все также глуха, и каждая минута задержки давит на сердце, и сердце колотится в ребра, а проклятая железная дверь не поддается, не поддается, не поддается напору. Провал. Конец. Смерть. В канцелярии Николай, страшный, бледный, в поту, держит за горло тюремщика, вдавливает его в угол, чтобы выжать из этого пса правду, секрет замка и ключей. Тюремщик хрипит, валится наземь, христом богом клянется, что ключи настоящие, верные.

Тогда кто-то опомнился, кто-то понял, что муки, тревоги, волнения многих месяцев сразу обвалились на людей в эту минуту, сковали им руки и держат всех на запоре. Замки не поддаются неспокойным рукам. И все вернулись к железным дверям. Со стесненным дыханием следили, как один из них последним напряжением воли задушил в себе дрожь и тихо, медленно, как в сновидении, ворочает в скважине ключ.

И дверь покорилась спокойной руке, и все вырвались в коридор, загнали очумевших стражников в одну камеру и стали открывать все подряд двери, чтобы всю тюрьму выпустить на свободу. И чуть не поплатились за такое доверие к людям. В одних камерах сидели уголовники, в других среди смелых людей забились трусы, хилые души, предатели. И когда раздался крик полицейского: «Ратуйте!» — иные из них подскочили к Николаю

и стали скручивать ему руки. Он отбился, отец и тут его выручил. Отец и сын выбежали последними. Остальные с Козляковским и Ногтевым были уже за стеной, впереди.

Ночь, снег, тихое небо.

Людей шатало от первых глотков свежего воздуха. Они обнялись в темноте, разбились па мелкие группы и разошлись на три стороны.

Диковицкие всю ночь шли без отдыха. Утро застало их в двадцати километрах от города. Верные люди сообщили, что по всей округе тревога, немецкие караулы брошены на дороги. За поимку отца с сыновьями объявлено 2000 рублей награды. Они поняли, что под фашистом земля для них чужая, что сами они стали для немцев зверями, которых будут нещадно травить. И тогда семья, еще не зная о тысячах таких же людей, собиравшихся в лесах для отпора, объявила фашистам войну.

Прошло малое время, и в колоднянских, в федорских лесах прошел слух об отце и двух братьях. Уже вешали в селах людей за связь с Диковицкими, уже немцы спалили семь крестьянских домов, выбираясь на следы Диковицких. Уже жена старика томилась в тюрьме и меньшие дети скитались, как сироты. А старик и два его сына имели всего пять винтовок для войны, объявленной Диковицкими фашистам. Они нуждались в оружии и стали искать соединения с такими же, как они, подвергнутыми травле, огню и крови. Так явились они в партизанский отряд, и здесь нашли многих людей такой же судьбы, и поразились их спокойной, обжитой, привычной уверенности в собственных силах.

— А как же ты думал, старик? — отвечали они Диковицкому.— Ты все один хотел воевать, одичал совсем, вон какой злой. А мы всем народом воюем. У тебя злоба в глазах и на сердце, а у нас — в делах и в бою. Кому легче жить, тебе или нам?

— Дайте мне дело,— сказал старик.

И ему дали дело. Он вместе с сыновьями рвал мосты на Стыри, пускал немецкие поезда под откос. И однажды поставил заряд на шоссе и увидел, как заряд обнаружила дорожная стража. Напал на стражу. Четырех солдат разогнал, одного с собой прихватил и его же заставил тол на другое место нести. В отряде увидели, что старик настоящий, серьезный, и доверили ему засаду на гебитскомиссара. Диковицкий гебитскомиссара взорвал со всей его свитой в машине.

Тогда решили, что пора ему иметь свой отряд, но пусть он сам найдет людей и оружие. С меньшим сыном Андрюшей старик направился в родные места, где много у него дядьков и

братков, всякой родни. И стал зазывать к себе в лес надежных людей, злоба которых томилась без дел. Одних принимал, других отсылал прочь, не имея доверия. И когда отобрал первых пятнадцать, он послал их в засаду отбивать у полицаев оружие и с ними направил Андрея. Он плакал потом, что сам не пошел. Вышла с Андреем беда — пистолет отказал у него в самое нужное время, полицаи поранили сына в челюсть и в бок. Андрея принесли к старику на руках.

— Андрюша,— позвал его отец, теряя власть над собой.

И сын не ответил.

— Ты что же, Андрюша, уходишь? — спрашивал старик, с ужасом глядя на кровь, будто первый раз в жизни видел ее.

Что было делать? Лекарей в лесу не бывает. Старик сам принялся лечить сыновние раны, отхаживал его шесть долгих недель и не пустил сына в смерть. К тому времени разыскал его в лесах старший сын Николай, посланный из основного отряда.

— Вестей от вас не было,— сказал он.— Сочли вас погибшими. Надо делом и боем дать весть о себе. Простите меня, папаша, я назначен к вам для ведения операции.

— Прощать тебя не за что,— сказал старик.— В нас общая кровь. Говори, что за дело.

А дело было новое и связано было не с лесом, а с водой, дело было речное. От Мозыря до Пинска ходили по Припяти немецкие газоходы. Эту коммуникацию надлежало хоть на время порвать. Оружия у Диковицких кот наплакал — один автомат, три винтовки, малость тола и худые гранаты, иные без капсюлей, бесполезные. С таким оружием в лесу еще можно управиться, а река — место открытое, видное. На реке с таким оружием страшно. Отец скрепя сердце все же прилаживал оружие к делу. У какой гранаты не было капсюля, он связывал ее с другими, исправными, чтобы рвались все разом при одном капсюле. А другие набивал еще толом, и получался у него заряд невиданной силы. В соседней деревне пошел слух о том, что двенадцать партизан с подобным оружием собираются на военные фашистские газоходы. И иные трусы в деревне смеялись. Диковицкие упрямо гнули свое. Николай ползал по берегу, искал удобного места для засады. Нашел изгиб, где фарватер проходит возле самого берега, и там приказал вырыть окопчик.

А трусы на деревне смеялись.

Пришла весть, что газоход уже близко, но не один, а с ним еще два, и все тащат за собой барки с солдатами, а впереди идет дозором моторка.

Деревня ждала, и Диковицкие, чтобы не терпеть от нее сты-

да, решили операцию не отменять, хотя никто из них не ждал, чтобы вместо одного газохода появилось на реке сразу три. Дело оборачивалось совсем необычно и страшно. Гитлеровцев с моторки предупредили, что где-то здесь возможна засада. И они спросили, сколько в ней может быть партизан. Узнали — двенадцать, и гитлеровцы пожали плечами, усмехнулись.

Однако флотилия не сразу двинулась дальше, помедлила. И тогда деревня смеялась уже над немецкой опаской и осторожностью.

А Николай все ждал в закрытом окопчике, и вместе с ним Андрюша в бинтах, и Козляковский, и еще пять-шесть человек с ними. Остальные же остались с отцом для прикрытия и на случай последнего смертного боя. Тихо было в окопчике. Говорить стало не о чем. Мысль билась где-то далеко, в глубине самой крови. Только Николай прервал молчание и сказал, что запрещает стрелять без приказа. Патронов было немного.

И тогда появился первый газоход с баркой на буксире. Николай выждал, когда он войдет в самый изгиб, на пять метров от берега. Отчетливо видел одного гитлеровца на палубе и стал медленно целиться, сдерживая остальных. Николай еще целился, когда солдат заметил его и бросился к бронированной кабине. Николай уложил его в самых дверях. В окне появился другой, всклокоченный, рыжий. Николай снял и его. И тогда фашисты кучей стали вываливаться из кабины, и Николай длинной очередью валил их в дверях. И тогда партизаны стали скопом бить с пяти метров и бросать гранаты. Немцы с барки отстреливались. Разрывной пулей у Николая вышибло автомат, песком забило глаза. Петра Козляковского убило наповал. Андрея поранило в щеку. За минуту до смерти Козляковский кинул ту самую связку гранат, что старик ладил в лесу своими руками. И связка сработала славно. Дым повалил с газохода. Первая барка с порванным бортом черпнула воды и, кренясь, заваливаясь набок, роняя в воду солдат, стала тонуть. На газоходе немцы рубили буксирный канат, отваливали в сторону, бросая на произвол судьбы затонувшую барку с солдатами. Другой газоход вдалеке разворачивался, пятился, уходил. С гранатами и винтовками, подобранными с затонувшей немецкой посудины, партизаны до темноты вели бой с солдатами на брошенной барке и ночью подобрались к ней, топорами вырубили пробоину. Она затонула, и солдат добивали в воде, а трех взяли живьем.

И в деревне уже никто не смеялся. Оттуда пришли в отряд мужики и рассказывали, что немцы, боясь нового нападения,

бросили свои газоходы и ушли в Пинск пешком и через день пригнали сто человек забирать назад газоходы. И эта бравая сотня первое время ползла по берегу на карачках, хотя не было вокруг ни одного партизана. После той операции из деревни сразу вступило в отряд еще 25 человек. Для Диковицких это было самой большой победой — над людским неверием в свои силы.

Так Диковицкие, всегда хранившие в себе одинокую злобу на гитлеровцев, вступили в большое партизанское войско. К тому времени и в других семьях западной стороны объявились отцы, подобные Сергею Ивановичу, и сыны, подобные Николаю с Андреем. И со всех сторон: с севера, с юга, с востока, из побитых немцами сел, с кровавой земли оккупации, из объятых огнем и бедою домов — потянулись в леса по многим тропам и дорогам тысячи простых, верных и беспощадных людей. И страх поселился в домах фашистских чиновников. Страх отравлял их ночи и дни. Страх ходил за ними, как тень. То земля, напоенная кровью невинных, поднималась на врага всем своим горем, всей ненавистью, всей надеждой на будущее.

1944 год

ОНИ БЫЛИ В ЭЛЬБИНГЕ

В центре города Эльбинга, на углу улицы Альтмаркт, поблизости от внутригородских старинных ворот, в хаосе развороченных стен, битого кирпича, рухнувших немецких домов стоит наш сожженный танк. Броня его покрыта рыжей окалиной, на башне густой налет каменной пыли и щебня, будто танк продирался сквозь чудовищные обвалы и город, застигнутый русским штурмом у моря, в последнем содрогании упал к подножию танка.

Стальной русский колосс и теперь возвышается на перекрестке широких улиц как памятник нашего наступления к морю. Танкисты генерала Вольского отдали последние почести героям, погибшим в пламени штурма, а танк оставили стоять монументом в центре приморского прусского города.

Пройдут годы, военные историки, изучая землю великих сражений, найдут и этот танк в Эльбинге. Они узнают о семи других танках, пробившихся через Эльбинг к морским каналам, к заливу Фриш-Гаф и двое суток державших круговую оборону в глубине германского фронта до выхода к морю основных наших сил. Историкам будет известно, что прорыв к Балтийскому морю и окружение германских войск в Восточной Пруссии осу-

ществлялись с помощью сотен боевых машин, что эпизод в Эльбинге составляет лишь тысячную часть всех событий танкового похода, но подвиг восьми экипажей позволит историкам полнее и глубже осмыслить размах наступления и доблесть его участников, русских людей, в глубине Восточной Пруссии.

Их было только восемь, этих танков, прорвавшихся к морю через Эльбинг еще в те дни, когда гитлеровцы и не помышляли о возможности появления русских возле этого большого приморского города. Их было только восемь, но о них услышал даже начальник генерального штаба гитлеровской армии генерал-полковник Гудериан. Восемь русских танков так напугали его, что Гудериан счел нужным в своем «Обращении к солдатам Восточного фронта» заявить, будто у Эльбинга в тот день советские танки были уничтожены. Это вранье понадобилось Гудериану для успокоения солдат германского Восточного фронта.

«Самые глубокие вклинения советских войск осуществлены ударами небольших бронированных передовых отрядов»,— писал Гудериан в своем «Обращении». Двумя строками ниже он забывает свои собственные слова о небольших бронированных отрядах и в тревоге, в смятении выдает себя: «Наплыву танков противника необходимо немедленно положить конец. Перед Эльбингом появилось четыре танка — они были немедленно уничтожены... То же самое происходило в сотнях других мест».

Правда и ложь так перемешались в паническом «Обращении» Гудериана, что собственные его солдаты понимали, в каком взвинченном состоянии сочинял он свое послание. Если в сотнях районов Германии появились советские танки, то это действительно не что иное, как наплыв советских танков, советских войск, берущих в котел целые германские провинции. Это так страшно, что Гудериан тут же вынужден прибегнуть ко лжи и заявить, что советские танки перед Эльбингом были уничтожены. Потеряв Восточную Пруссию, увидев советские войска под Данцигом, под Штеттином, под Бреслау, под Берлином, начальник генерального штаба германской армии пытается поднять дух немецких солдат:

«Советы думают теперь, что нахальство побеждает, но достаточно кучки солдат, чтобы справиться с такими налетами. Танки Т-34 не являются непобедимыми. Наша местность и наши населенные пункты дают возможность уничтожать их внезапно. Если повсюду будет пущено в ход оружие и раздробленные танковые силы врага будут уничтожаться, то это бесчинство продолжится не больше недели. Солдаты Восточного фронта,

покажите миру, что немецкая воля к сопротивлению не сломлена. Атакуйте врага повсюду, где вы его встретите. Вся Германия смотрит на вас».

Естественно, что немцам в их нынешнем положении не остается ничего другого, как называть «нахальством» и «бесчинством» неудержимое, стремительное наступление Красной Армии. Но я видел, как потешались над беспомощной бранью Гудериана танкисты генерала Вольского. Я видел, как смеялись командиры тех самых танков, которые Гудериан объявил уничтоженными под Эльбингом и которые тем не менее прошли через Эльбинг к заливу Фриш-Гаф.

Это был один из многих передовых отрядов генерала Вольского, совершившего со своими танками семидневный поход из Польши через границу Германии к берегам Балтийского моря в обход всей восточно-прусской группировки германских войск. Отряд появился у Эльбинга после 65-километрового марша, после предшествовавших этому маршу тяжелых боев в лабиринте немецких укреплений, после штурма таких городов, как Дзялдово, Дойтш-Айлау, Заальфельд, Пройссише-Холлянд. Люди едва не засыпали в своих стальных коробках. Несколько суток они не знали отдыха. Они гнали от себя сон непрерывным движением. Они не давали немцам опомниться. Передовой отряд вели к Эльбингу гвардии майор Николай Туз и гвардии капитан Геннадий Дьяченко. Туз в прошлом — комсомольский работник, председатель сельсовета. Дьяченко — моряк торгового флота, ходил на Сахалин, на Камчатку, плавал в Татарском проливе, помнит штормы и туманы Приморья, короткий матросский отдых во Владивостоке и новые, новые рейсы. Теперь он вел стальные сухопутные корабли через Восточную Пруссию к Балтийскому морю.

Главное — не дать немцам опомниться. Наваливаться на них, пока они не успеют насытить войсками оборонительные сооружения. Чтобы ни один мост не был взорван. Чтобы не было у них времени подвозить взрывчатку. Но как хочется спать! Хоть бы на один час заснуть! Только на один час! Ни черта нельзя сделать с веками, слипаются, будто их смазали клеем. Только один час, и все было бы в порядке! Но вдруг гитлеровцы именно этот час и прикарманят и взорвут мост, тогда даже за двое суток с ними не справишься. Нельзя останавливаться. Ни за что нельзя останавливаться.

Отряд не останавливался. Иногда танкистам приходилось трясти друг друга за плечи, выбивать, выталкивать сон. Иной просил: «Ударь меня. Ну, не бойся, ударь, я же прошу тебя по-

человечески». Сзади и справа шли с боями главные силы Вольского, рвали коммуникации немцев, расшвыривали их в обе стороны, двигались к морю.

Море. Там все решится. Нужно идти к морю без промедления, днем и ночью, в буранах и в стуже. Возле Маринфельде бронированный отряд разогнал немецкую пехоту, расстрелял три мчавшихся сцепленных паровоза. От Бридсдорфа до Померендорфа на протяжении трех с половиной километров танки сплошь утюжили колонну немецких обозов и кухонь. У Зерпина освободили 4000 военнопленных, французов и итальянцев. Они чуть не задушили танкистов объятиями. «Потом, потом, некогда»,— отбивались танкисты. Вперед!

Впереди был противотанковый ров. В одном месте фашисты оставили через него проход, не успели разрыть. Дьяченко почуял, что в том направлении немцы не сомкнули линию заграждений, имели для себя лазейку. Значит, справа и слева путь закрыт наглухо, не имеет смысла соваться туда, к автомагистрали Кенигсберг — Эльбинг. Там немцы ждут, там они наготове, там будет плохо.

Дьяченко обманул немцев и ввел свои танки в щель между узлами их обороны. Минуя автомагистраль, он пошел проселочными дорогами.

Уже здесь у командиров начала созревать мысль, странная, ошеломившая поначалу даже самого Дьяченко. Что, если прорваться к морю не в обход города Эльбинга, а через самый город? Город большой, второй в Восточной Пруссии после Кенигсберга. Правильно. Но в самом городе русских не могут ждать и не ждут. В городе считают, что передовые советские части вышли на укрепленные немецкие рубежи километров за сто отсюда. Вот о чем думают в Эльбинге. О том, что Дьяченко и Туз за одни сутки рванули на 65 километров в сторону моря, об этом немцам не обязательно знать. Вот здесь и поймать гитлеровцев. Пройти через город, просто пройти через большой этот город, вот и все, и делу конец, и будет море.

Трудно.

Да, трудно. Город немалый. Но учтите, что сегодня немцы могут ждать нападения где угодно, только не в самом Эльбинге. Справа и слева у них сильная оборона, они давно возились на ней и все приготовили, даже автомагистраль перекопали рвами, там сразу у них не прорвешься. Там и будет самое трудное. Надо рвануть через Эльбинг. Как это ни странно, надо пройти именно через Эльбинг. А там дальше море, и аккуратные, благоразумные немцы останутся в дураках.

И решили, что Дьяченко и Туз пройдут через Эльбинг. Теперь, когда все сделано, эта мысль выглядит простой и естественной. Но тогда, в лавине событий, в столкновении множества фактов, донесений, догадок, в решении трудной задачи со многими неизвестными, где малейшая ошибка, просчет, грозят смертью твоим подчиненным и провалом всей операции,— тогда такое решение могли принять только люди, у которых ясность и широта замысла сочетаются с умением идти на обоснованный риск, дерзать и добиваться победы. Рейд генерала Вольского выполнен такими людьми.

Я хочу вспомнить человека, внушившего своим танкистам мысль о возможности, а может быть, необходимости бить противника там, где тот считает невероятным, абсурдным присутствие наших войск. В своих планах он предлагал подчиненным исходить именно из невероятности, дикости, фантастичности нашей атаки, с точки зрения противника.

Немец — хороший солдат. Умелый солдат. Упорный солдат. Немецким же генералам присуща была некоторая, что ли, неподвижность мышления. Немецкие генералы расчетливы, аккуратны, пунктуальны. Их суждения нередко близки к арифмометру: подсчет, цифра, цифра, цифра. Из цифры они берут основу своих решений. Русские тоже ценят цифру, точный расчет. Однако русский расчет в пору войны против фашизма учитывал такие категории, плохо поддающиеся цифровому анализу, как святая злоба наших солдат, помнивших горечь первых месяцев войны, пепел разоренных деревень, кровь детей, позорище плена и рабства. Факторы такого рода арифмометрами не учитываются. В этом, отчасти, и состояла беда немецких генералов и немецких солдат.

И это хорошо знал генерал Василий Тимофеевич Вольский, возглавлявший во время сражений в Восточной Пруссии крупное танковое соединение. Я встречался с Василием Тимофеевичем еще до войны, в ту пору, когда он служил в Академии бронетанковых войск. Василий Тимофеевич был консультантом документального фильма, посвященного академии. Не без сарказма устранял он из моего сценария всякие наивности, в особенности всякую догму. Он говорил:

— Устав — отличная вещь. Но ведь у противника, когда таковой объявится, вероятно, тоже будет неплохой устав. Как вы думаете? Считайте меня еретиком, но я убежден, что успех боя хороший командир может найти и между строк устава или даже вне устава, пусть даже образцового, классического. У войны своя логика.

Так генерал думал в предвоенную пору, а когда война из чисто теоретической категории превратилась в грозную и страшную действительность, я встретил Василия Тимофеевича уже на земле врага, в Восточной Пруссии. И увидел, как те памятные его слова тоже превратились в действительность, стали как бы законом для танкистов генерала Вольского. Все то, что произошло на подступах к Эльбингу и в самом Эльбинге, что довело гитлеровских генералов до исступления,— это результат воинствующей, смелой, творческой, разящей врага мысли русского генерала.

Я хорошо помню те дни. Невозмутимого, чуть иронического Вольского, чуть грустного, не такого общительного, как прежде: он был очень уже болен, и болезнь доканала его незадолго до дня Победы. Тогда никто из нас не знал о его недуге. Василий Тимофеевич сражался с ним один на один, отмалчивался и отшучивался. Только говорил порученцу часто, очень часто:

— Чайку бы, только скажи, чтоб покрепче.

Выпьет, обжигаясь, стакан, и тут же:

— Слушай, нельзя ли чайку?..

В штабе уже посмеивались над генеральским чаем, и никто не догадывался, что свирепая, неутолимая жажда мучила Василия Тимофеевича всегда, неотступно. Потом только узнали, что смертельный недуг гнездился в почках, он-то и вызывал жгучую жажду. «Слушай, чайку бы?..»

Так было и в дни битвы за Эльбинг, за подступы к Балтийскому морю. Все, что будет рассказано дальше,— это замысел Вольского, его натура, его презрение к плоской арифметике некоторых гитлеровских генералов.

Здесь я рассказываю лишь о маленьком эпизоде рейда на Эльбинг, он составляет тысячную долю того, что сделано на пути к морю.

Проселочными дорогами передовой отряд танкистов вышел к большой, еще не вполне законченной немцами автомобильной магистрали Кенигсберг — Эльбинг. На одном из перекрестков дорога уходила под автостраду, под мост. Было уже темно. Передние танки почему-то остановились. Дьяченко послал узнать, в чем дело, и ему сообщили, что по автостраде сплошным потоком идут из Кенигсберга на Эльбинг немецкие машины. Что делать? Расстреливать? Дьяченко знал, что там, левее, колонны немецких автомобилей все равно будут перехвачены другими отрядами танков. Он не хотел выдавать себя, чтобы выйти на город внезапно. Он распорядился не стрелять. Танки прошли

под автострадой. Немецкие машины безмятежно мчались над ними.

Где-то в этих местах гвардии майор Туз натолкнулся на немецкие батареи, принужден был ввязаться в бой и с частью танков оторвался от гвардии капитана Дьяченко. Несколько его машин проскочили вперед и примкнули к отряду Дьяченко, который шел теперь к Эльбингу один. Миновал площадку, забитую фашистскими самолетами. Самолеты запорошены снегом. Неисправны или оставлены без горючего. Можно не трогать их, никуда не уйдут. Теперь главное — не выдавать себя. Мимо. Дать знать Тузу по радио, чтобы не вздумал ахнуть из орудий по этим самолетам, предупредить, что сюда уже вышли танки Дьяченко. И дальше!

Дальше был город Эльбинг.

Большой, многолюдный город. Знаменитые верфи, заводы, танкоремонтные мастерские, оружейные мастерские, фабрики, работающие на войну, портовые сооружения, причалы, пристани, судоходный канал и в самом городе — несколько военных училищ.

На этот город вышло восемь танков Дьяченко. Восемь! Сзади двигались в разных направлениях большие силы, но в этот день перед городом после 65-километрового марша появилось только восемь танков Дьяченко.

И они вошли в город, в каменный его лабиринт.

В первые же минуты Дьяченко убедился, что расчет был правильный — расчет на внезапность. В 300 метрах от площадки с самолетами возле своей казармы выстроился на вечернюю поверку весь состав гитлеровского военного авиационного училища вместе с аэродромной командой. Курсанты стояли по команде «смирно», тянулись, делали равнение, сдваивали ряды; они собирались спокойно закончить учебный день и отправиться в спальни на отдых. Дьяченко понял, что недаром на всем протяжении рейда танкисты валили телеграфные столбы, рвали немецкую связь: теперь он имел удовольствие видеть шестьсот фашистских молодчиков, стоявших перед его танками в положении «смирно». Через минуту они повалились на землю. Танки шли на большой скорости. Вечернюю поверку немецкого авиационного училища они взяли на себя и провели ее с помощью пулеметов и гусениц.

Танки Геннадия Дьяченко пересекли плац и вошли в город.

Теперь легко рассказывать об этом. Тогда же танкистам казалось, что они лезут в пасть зверю. Что их ждет впереди? Вон

там, за углом? Что будет с ними через пять, через десять минут? Им некогда было думать об этом. Они знали одно — через город они должны вырваться к морю.

Эльбинг был, что называется, на полном ходу. В подъездах домов горели лампочки с синими и даже белыми абажурами. Освещенные трамваи, переполненные пассажирами, позванивая, шли своими маршрутами. На тротуарах было полно. Публика возвращалась из кино и театров. Хлопали двери ресторанов и баров. Но война уже вошла сюда со своими тяжелыми грузами: мостовые были забиты военными грузовиками, машинами беженцев, толпами беглецов, искавших спасения в Эльбинге. Кто из них думал в тот вечер, что в Эльбинге появятся русские танки?

Эти тыловые немцы не интересовали Дьяченко. В неразберихе чужого города он искал одного — кратчайшего выхода к морю. Он дорожил каждой минутой. Скоро гитлеровцы опомнятся, и тогда будет плохо. Тогда будет очень плохо. Большой город. Ни черта не поймешь. Все чужое. Где море, где улицы, ведущие к морю?

Темпо. Много народу. Бегут. Рты разинуты. Значит, кричат. Мостовые забиты машинами. Можно завязнуть. Нужно двигаться по трамвайной колее, она свободнее. Два вагона пришлось сбросить с рельсов ударом с полного хода. Вагоны перевернулись, рухнули набок. В колоннах гитлеровских машин Дьяченко заметил на прицепе несколько пушек и минометов. Надо спешить. Иначе отсюда не вырвешься. Командир танка Симонов увидел группу офицеров, вбегавших в отель. Он со своим танком вошел в отель вслед за ними — проломал стену, ввалился внутрь здания, ворочал гусеницами. Офицеры от него не ушли.

Танки Исаева и Ефименко ворвались на мост, стали бить по теплоходам и баржам. Это была река или канал, только не море. Дьяченко стремился выйти на любую окраину и уже там найти путь к морю.

Вся трудность состояла в том, что восемь танков были одни против целого города и втянулись в него, и что̀ ему стоило раздавить их в своем чреве, и кругом стены, тупики, проклятые улицы, узкие, кривые, и надо вырваться, во чтобы то ни стало вырваться к морю. Танки выбились на одну из окраин. Дьяченко услышал, как впереди что-то грохнуло, полыхнуло ослепительно, взорвалось, и танки остановились. Дьяченко выбрался через люк, побежал вперед с автоматчиками, которые были у него на танках. Впереди была страшная мешанина

немецких машин, они сбились в четыре ряда, и на одной из них были, очевидно, боеприпасы. Головной танк ударил в нее, боеприпасы взорвались, и танк завяз в этой чертовщине.

Прикрывая участок огнем автоматчиков, Дьяченко приказал вытаскивать танк на буксире, а сам с помощью лампы-переноски из танка стал рассматривать карту Эльбинга. Здесь дорога забита, надо искать другой выход из города к морю. Вот туда — за мост, и там держать левее, все время держать левее. И не теряться, ни в коем случае не теряться. Если ты растеряешься, фашисты опомнятся и скрутят тебя.

Миновали мост. Повернули, в первую улицу налево. Оттуда ударили орудийные выстрелы. Немцы били из пушки. Вдоль узкой улицы они били из пушки. Им не нужно было даже особенно целиться: сама улица нацеливала их, и проклятый фашистский снаряд попал в головной танк, и танк загорелся. Механик не успел выбраться, погиб в пламени. Остальных раненых из экипажа перенесли в другие машины. Пылающий танк заклинил улицу. Пути вперед не было. Он так и остался в центре Эльбинга и до сих пор стоит там — памятник русской доблести.

Счет пошел на минуты. Каждая потерянная минута могла погубить весь отряд. Надо выбраться из этого тупика. К морю, только к морю! Дьяченко вернул отряд и направил его в соседнюю улицу, параллельную, тоже налево. Он был на втором танке в колонне. На соседней улице на него выскочил немецкий бронетранспортер. Дьяченко махнул рукой своему механику-водителю, и тот рванул вперед, разгрызая транспортер зубьями траков. Выскочил еще грузовик с гитлеровской пехотой. Автоматчики с танков расстреляли ее с ходу, в движении, и колонна Дьяченко, сбивая вагоны с рельсов, устремилась по трамвайной колее. Она врезывалась в толщу немецкого города, как бурав.

Здесь-то Симонов и распорол своим танком стену офицерской гостиницы. В танке Дьяченко сгорела радиостанция — штырь задел за трамвайные провода под током. Беспорядочная стрельба шла по всем улицам. Гитлеровцы стреляли наугад, куда угодно, лишь бы стрелять. Надо было разжечь эту панику. Дьяченко приказал двигаться на предельной скорости. Надо вырваться к морю. Головной танк хорошо делает свое дело. Сшибая преграды — вагоны, афишные тумбы, киоски, машины, он проминает дорогу к окраине. На нем настоящие парни — командир разведки лейтенант Берегов, командир танка младший лейтенант Олейников, механик-водитель Каменев. Вперед!



Знамя победы над рейхстагом.



Парад Победы, весна победы.

Так колонна Дьяченко вырвалась на окраину. Длинный поезд шел к станции. Пулеметными очередями танкисты зажгли паровоз. Машинист выскочил. Поезд слепо продолжал мчаться по рельсам. Последний вагон загорелся, в нем что-то с грохотом рвалось, а поезд без машиниста летел во мглу.

Дальше начинался участок круговой обороны Эльбинга. Из траншей фашисты били с двух сторон фауст-патронами. Автоматчики отвечали им с танков, и фашисты замолкли, мертвые или парализованные ураганным огнем и движением танков. Еще полтора километра. Еще одно усилие. И вот последний перекресток дорог, железнодорожный разъезд, а дальше — обширное пространство, свободное, вольное, без конца и без края. Здесь бы дышать всей грудью после городской тесноты и удушья смертельной опасности.

Море! Желанное море. Первые русские танки пробились к нему.

Дьяченко оседлал перекресток. Головным танкам оставил свободу маневра. Два танка поставил корма к корме — держать под огнем два шоссе. Дьяченко был занят организацией круговой обороны. Использовал высокую дамбу, она послужила надежным прикрытием с тыла. Остальное пространство контролировал танками и автоматчиками. Когда рассвело, танкисты распространили свой контроль на морской канал. Может быть, сказалась моряцкая хватка Дьяченко. По каналу двигались к Эльбингу три дизельных теплохода. И горсточка советских танкистов, за спиной которых был большой прусский город Эльбинг, дала им бой. Два теплохода загорелись, пылающими кострами их несло течением по каналу. Третий удрал. Позже появились буксир, тянувший баржу, и еще один теплоход. Их тоже обстреляли из пушек. Гвардии капитан, бывший дальневосточный моряк Геннадий Дьяченко наглухо закрыл движение по морскому каналу у Эльбинга.

Двое суток он держался с маленькой своей группой у самого моря. Это были первые советские танки, первые вестники нашей победы. Прикрываясь дамбой, они ощерились стволами орудий на три стороны и до подхода пехоты не сдали врагу свой участок у моря. Их было мало, но они сумели встревожить даже Гудериана в генеральном штабе германской армии. Их было мало, но в них была русская доблесть. Их было мало, но восемь их танков, их подвиг за Эльбинг — это лишь малая часть, только один эпизод великой победы, одержанной танкистами генерала Вольского в славном семидневном прорыве из Польши, сквозь дьявольский лабиринт укреплений, через Восточную

Пруссию — к Балтийскому морю. Немало было таких, как Дьяченко, и все они вышли на море, и Восточная Пруссия с германскими армиями оказалась в котле. Слава русским танкам у моря!

* *
*

Я писал это в дни битвы под Эльбингом. Вскоре генерал Вольский, добившись успеха на выходе к Балтийскому морю, был вызван в Москву. Он взял с собой и меня. Мы ехали на машине через Восточную Пруссию, через обездоленную войной Белоруссию, мимо развалин Смоленска. В дороге, на остановках, Василий Тимофеевич, потирая руки, просил: «Слушай, угостил бы чайком». И, обжигаясь, мы пили крепчайший чай, и генерал продолжал развивать мысль, высказанную им еще до войны: победу можно найти и между строк воинских уставов.

1944 год

ЗЕМЛЯК

В этот день дела задержали меня в партизанском велительстве, как поэтически назывался по-словацки повстанческий штаб, разместившийся в здании городского магистрата. Уже ночью возвращался я в свой отель. Темные чистенькие улочки красивого города Баньска Быстрица, волею военной судьбы превратившегося в столицу Словацкого народного восстания, в этот час были пусты. С темнотой схлынули с них людской шум, мотоциклетная трескотня, суетня военных автомобилей, вся эта нервная романтическая сутолока, придававшая городу суровый бивуачный вид. Только редкие и слишком уж лихие окрики повстанческих патрулей да тягуче-сладкое пение скрипок, просачивавшееся вместе с жидкими полосками света сквозь затемненные окна ресторанчиков и кафе, нарушали тишину города, казавшегося теперь бесконечно мирным.

Чужая яркая ущербленная луна, поднявшаяся из-за далекого гребня пологих лесистых гор, обволакивала острые крыши прозрачной дымкой холодного, равнодушного света. Порывистый сырой ветер, напоенный сытыми запахами осени, гудел в изломанных, коленчатых улицах, точно в самоварной трубе. Он осыпал мостовые рваным золотом кленовых листьев, сбивал с деревьев переспевшие каштаны, и они с треском падали на плитчатые тротуары, так что все время казалось, будто кто-то сзади бросает в тебя камни.

В этой светлой тревожной осенней ночи как-то все особенно подчеркивало, что ты на чужбине, оторван от родной земли, родной армии, от своих людей. Днем это почти не чувствовалось.

Повстанческий остров, окруженный наступающими немецкими частями, жил напряженной военной жизнью. Хороший, мужественный словацкий народ, вдохновленный успехами наступающей Красной Армии, поднял восстание против оккупантов и теперь яростно сражался.

Эта атмосфера самоотверженной борьбы походила на ту, в какой жили мы в военные годы. Но ночью, когда все стихало и повстанческая столица погружалась в мирный сон, вверяя безопасность партизанским патрулям, которые, украсив винтовки липовыми ветвями, беззаботно болтали с девушками в темных переулках,— чувство одиночества, тоски по Родине, по родным людям наваливалось со всей силой.

Увидев человека в форме Красной Армии, патрульные отскакивали от девушек и, улыбаясь во весь рот, делали винтовкой на караул. Редкие прохожие приподнимали шляпы, желали доброй ночи. А четверо коренастых крестьян, в своих живописных вышитых рубашках и шляпах, спустившиеся с гор, должно быть, на вербовочный волонтерский пункт, встретив советского офицера, остановились, положили друг другу руки на плечи и вместо приветствия стали скандировать:

— Ру-да Ар-ма-да! Ру-да Ар-ма-да!

Все было милое, необычное и... чужое. И вдруг кто-то не очень громко и на чистейшем русском языке окликнул:

— Товарищ майор!

Я вздрогнул, но не оглянулся. Кто бы это мог быть? Белый эмигрант не стал бы так обращаться. Советских офицеров здесь было всего несколько человек. Все мы знали друг друга, а этот голос был незнакомый. Так кто же?

Шаги сзади печатались четко. Это был, должно быть, военный.

Ответить, нет? Повстанческая столица, да еще такая беспечная по ночам, несомненно кишела вражескими лазутчиками. Могла быть провокация. Нет, надо подождать, не оглядываясь, не отзываясь, дойти до какого-нибудь людного места. Ускорил шаги. Незнакомец не отставал, но и не перегонял.

— Товарищ майор, одну минуточку.— Это прозвучало просительно, с надеждой и даже с обидой.

Нет, лазутчик сказал бы не так.

Я остановился. Передо мной был невысокий, прочно сколоченный человек в форме старшего сержанта Красной Армии. Только на пилотке его вместо нашей звезды были наискось пришиты две ленточки, красная и полосатая, цветов чехословацкого флага.

Вооружен он был весьма живописно. Немецкий автомат висел на шее наподобие саксофона, сбоку болтался тяжелый «парабеллум» в жесткой кобуре и на поясе, туго перехватывавшем его гимнастерку, подвешенные за шишечки, висели итальянские гранаты — «самоварчики». Рукоятка кинжала торчала из-за голенища ярко начищенного офицерского сапога.

Так вооружались иногда наши партизаны.

— Разрешите обратиться, товарищ майор! Старший сержант Красной Армии Константин Горелкин, а теперь вот, как видите,— он с добродушной улыбкой обвел рукой свою коллекцию оружия,— ныне словацкий повстанец.

Он крепко пожал мне руку небольшой сильной рукой.

— Простите, что я вас тут, на улице, остановил. Два с половиной года на Родине не был, по своим истосковался вконец. Сегодня в велительстве увидел своего человека, свою форму — так, верите ли, сердце так и заколотилось. Чуть к вам там не подошел, еле сдержался. Я ведь не знаю, с какими вы тут полномочиями, можно ли с вами разговаривать.

Он помолчал, явно волнуясь.

— Вот подкараулил вас, догнал. Может, нельзя? Скажите — я уйду.

Теперь я понял, что это, должно быть, один из тех советских людей, что были заброшены войной в чужие страны и тут продолжали борьбу. Словацкие друзья с благодарностью рассказывали о нескольких таких партизанских отрядах из советских военнопленных, которые крепко им помогали, умело, стойко сражаясь в разных концах страны.

Хорошее, открытое лицо этого человека, его частый говорок, каким изъясняются в моих родных тверских краях, подтверждали, что передо мной, несомненно, соотечественник. Но на чужбине, да еще в таком месте, как повстанческий район, осторожность — закон жизни, и я подчеркнуто холодно спросил его, кто он, где жил и что делал до войны, как попал в эти края и что ему от меня нужно.

Ни на мгновение не задумываясь, он ответил:

— До армии жил в городе Калинине, работал помощником мастера на прядильной фабрике «Пролетарка». Жил во дворе фабрики, в казарме, на третьем этаже, в глагольчике.

— Как звали рабочие вашу казарму? — спросил я, еле сдерживая радость, потому что тут, в чужом городе, я, кажется, встретил не только согражданина, но даже и земляка. Он сказал: «в глагольчике». Так называют калининские текстильщики — и только они — боковые коридоры своих общежитий.

Диверсант даже самой хорошей школы никак не смог бы узнать и заучить такое специфическое выражение.

— Нашу казарму звали «Париж»,— ответил он с некоторым удивлением.

— Кто был Горохов? Вы должны тогда знать Горохова.

— Директор ФЗУ имени Плеханова. Я там учился,— сказал он уже совсем тихо...— У меня есть партбилет, посмотрите.

Теперь можно было, не таясь, расхохотаться. Он был несомненно тем, кем себя называл. «Пролетарка» — фабрика, во дворе которой я вырос, где знаком мне каждый уголок. С партбилета — странного партбилета, от которого сохранилась только первая страничка, вклеенная в переплетик из жесткой кожи,— смотрело то же, только очень молодое и круглое лицо. И даже подпись секретаря райкома была мне знакома.

Так вот в каких невероятных условиях можно, оказывается, на войне встретить земляка!

Мы обнялись на чужой пустынной улице, два калининца, два советских человека, занесенных разными военными ветрами в горы Словакии, к подножью Низких Татр. Он предложил вместе поужинать. Какое-то шестое, журналистское, чувство подсказывало, что у этого парня с «Пролетарки» интересная судьба. Не теряя времени, зашли в ресторан «Золотой баран», что был на улочке, ведущей к курорту Слиячь.

Увидев двух военных в форме Красной Армии, посетители маленького, стилизованного под сельскую корчму ресторанчика,— партизаны в штатском, с винтовками, стоявшими у столиков, с трехцветными ленточками на шляпах, повстанцы в щеголеватых мундирах и сидевшие с ними девушки в военном и девушки в национальных костюмах — вскочили с мест и зааплодировали. Потом оркестранты, окружив нишу, в который мы устроились, заиграли «Катюшу», и посетители, немилосердно перевирая слова, запели по-русски эту нашу песню.

— Как нас тут встречают! — сказал я, получив возможность усесться наконец за наш столик.

— А вы думаете, только здесь? Везде так, во всех странах. Красная Армия — теперь мировое слово. Понимают без перевода. Волшебная палочка. В скольких странах оно нас кормило, укрывало, прятало, от преследований спасало.

— А вы и в других странах бывали?

Он только свистнул и махнул рукой, как будто спрошен был о чем-то само собой разумеющемся.

— Третий год скитаюсь. Кабы знали вы, как надоело! Иной раз такая тоска возьмет, хоть в пропасть головой. И люди хо-

рошие, и страны что надо, да разве с нашей-то, Советской страной, сравнишь!..

Он залпом выпил литровый бокал пива, спросил, нет ли советской папироски, пожалел, узнав, что нет, и, приподняв вдруг со лба темно-каштановые густые волосы, показал лучеобразные синие рубцы на лбу:

— Видите... В августе сорок первого под Смоленском ранило. Череп царапнуло, да вишь так удачно, мозг-то не задело. Только крови порядочно потерял. Упал без памяти, а когда очнулся, на наблюдательном пункте — сам-то я артиллерийским наблюдателем был,— наших уже никого нет. Кругом немцы. «Хенде хох!» Взяли меня, раба божьего. Которых тяжелых-то поперебили тут же, а меня взяли. Я ходить мог. Сбили нас в транспорт и повели на запад. Пешедралом. Вот с того самого дня и скитаюсь по белу свету. У вас времечко есть? Ну, часик-другой найдется, а? Очень мне хочется рассказать своему человеку, что я за это время пережил, перевидал. Послушаете? Эй, пан верхний, нам еще два.

Для убедительности он поднял два пальца.

И тут, в маленьком кабачке, под звуки цыганского оркестрика, игравшего тягучие, мелодичные, но чужие песни, Горелкин рассказал мне свою историю — удивительную историю советского солдата, попавшего в плен, увезенного далеко от Родины, но и тут, за тысячи километров от своей армии, не признавшего себя побежденным, не сложившего оружия и не переставшего воевать.

Я опущу из его рассказа некоторые, слишком уже известные теперь подробности о том, как обращались фашисты с военнопленными, как пешие транспорты таяли по дороге на запад, о лагерях, где делалось все для того, чтобы превратить человека в рабочий скот, без мысли, без воли, готовый безропотно и молчаливо выполнять любую работу.

Горелкину удалось выжить, перетерпеть все испытания и сохранить энергию и волю.

В Белостоке, в этапном лагере, пленных рассортировали. Группу, в которую попал Горелкин, посадили в товарный вагон и повезли на юг через Польшу, Чехословакию, Югославию. Среди пленных в вагоне оказался учитель географии, сносно говоривший по-немецки. Старый австриец-конвоир, участник еще прошлой войны, проболтался ему, что везут пленных в Грецию, в порт Салоники, который немцы тогда укрепляли, приспосабливая для военных нужд.

Печальный поезд, с пулеметами на тормозных площадках,

с платформой, на которой ехал вооруженный конвой, медленно пересекал Европу. Он тщательно охранялся. На остановках его окружали автоматчики. Бежать в этих условиях означало верную смерть. И все же почти на каждой крупной стоянке кто-нибудь да пытался бежать. Люди выпрыгивали из вагонов прямо на автоматы, навстречу верной смерти. Вряд ли кто из них всерьез думал уйти. Побег стал одной из форм самоубийства: уж лучше смерть, чем скотское существование.

Горелкин и друзья, с которыми он сошелся в вагоне,— донбасский шахтер Василь Копыто, электромонтер с рязанской электростанции Семен Агафонов и московский учитель Владимир Ткаченко — не искали смерти. Они хотели жить, бороться. Они мечтали бежать, но бежать умело, сохранить жизнь, вернуться в армию.

План побега придумал Копыто, человек неиссякаемой веселости и огромной физической силы. Он был очень прост, этот его план. Когда слякотной, дождливой весенней ночью поезд, скрежеща на поворотах ребордами колес и пища тормозами, тащился по горам Греции, друзья отодрали доски в полу вагона. В разверзшейся яме, сливаясь в продольные полосы, замелькала щебенка пути. Тогда они на руках начали спускаться в этот люк и, когда носки башмаков задевали за землю, отпускали руки и падали вниз лицом. Выбросившийся на полотно должен был сейчас же лечь и, подавляя боль от ушибов, ждать, пока поезд не прогрохочет над ним. Сквозь туман, льнувший к голым серым хребтам, сеял дождь. Тьма была так густа, что не видно было вытянутой руки. Из семи выбросившихся таким способом трое были перерезаны колесами.

Но разве жизнь в плену, разве рабская работа стоили чего-нибудь?

Когда грохот поезда стих в ущельях, Горелкин, Копыто, Агафонов, Ткаченко, отделавшиеся ушибами, отнесли останки погибших в кусты и по первой же горной тропинке свернули на север. Поначалу они решили двинуться по кратчайшей прямой — из Греции через Албанию, рассчитав пройти через районы итальянской оккупации в Югославию.

— Чем вы питались? На каком языке объяснялись с греками?

Широкая улыбка расплылась по загорелому лицу Горелкина, и два ряда белых зубов точно осветили, сделали его моложе, интеллигентнее.

— Я же вам говорил, товарищ майор. Наш пароль — «Красная Армия», хотите верьте, хотите нет, это теперь везде

понимают. Иной раз подберешься к деревне, стукнешь в крайнюю хижину и ждешь. Вылазит на крыльцо какой-нибудь сердитый иностранный дядёк, слушать ничего не хочет, замахает руками: «Ступай дальше — итальяно, итальяно!» Дескать, много вас тут шляется, а за вас итальянцы как раз и повесят. А ты тычешь себя пальцем в грудь: «Красная Армия! Советы!» И сейчас же другой разговор. Оглядится, в сени тащит, и поесть даст, и в дорогу соберет, а иной раз, если тихо в деревне, если оккупантов нет, и ночевать оставит. Так и шли.

В вагоне договорились держать путь напрямки — через Балканы, Среднюю Европу, Польшу, Украину — до Красной Армии. Они рассчитали пройти путь за полгода. Но не такой короткой и не такой легкой оказалась дорога четырех советских солдат домой.

В Албании, идя горными тропами по малолюдным районам, они почти добрались до берегов Скутарийского озера. Однажды в ясный день оно открылось перед ними с перевала в виде огромного сверкающего зеркала, повитого дымкой облаков. Но тут им встретился на шоссе транспорт скота.

Как потом выяснилось, итальянцы гнали этот отнятый у пастухов скот на погрузку в порт Дураццо. За серыми крутогорогими волами, за тощими коровенками, ободранными и пыльными, жалобно ревущими от голода и усталости, бежали толпы женщин. Женщины плакали, причитали и не отставали от гуртов. Солдаты-итальянцы, смуглые увальни в шортах и пилотках, беззлобно стегали женщин теми же кнутами, которыми погоняли коров. Их было несколько человек, этих конвоиров. Чувствуя себя в безопасности, они, покуривая, брели за стадом, иногда подходя к подводе, на которой покачивалась покрытая ковром бочка с плескавшимся в ней вином.

И тут произошло то, что изменило и очень удлинило путь четырех советских солдат. Спрятавшись в кустах, они хотели было пересидеть, пока пройдут гурты. Но, возмутившись тем, как конвоиры обращаются с женщинами, друзья к тому времени уже добывшие себе оружие, напали на них. Троих положили на месте. Остальные бежали, не пытаясь даже отстреливаться.

Затем Копыто, выполнявший у друзей, как он сам выражался, роль «наркоминдела» и поддерживавший связь с местным населением, обратился к женщинам с речью. На чистейшем русском языке он заявил им, что они могут разбирать свой скот, освобожденный из рук фашизма. Женщины, испуганные перестрелкой, не понимавшие даже, что же, собственно,

произошло, молча лежали в серой пыльной траве, прикрывая головы руками. Убедившись, что слова его до них не доходят, Копыто поднял палку и разогнал скот. Волы и коровы разбежались по сторонам и, уразумев, чего от них требуют, лениво пощипывая траву, отправились обратно, восвояси.

В этот момент на перевале появились высокие, крепкие люди в живописных костюмах, со старинными ружьями. Это были албанские партизаны, догонявшие транспорт. Увидев, что дело уже сделано, они стали жать руки отважным иностранцам, а узнав при помощи все тех же универсальных слов «Красная Армия», с кем имеют дело, увели друзей с собою в горы, в каменные дома-крепости, где, рассеянные меж гор, жили эти трудолюбивые, смелые крестьяне.

Албания давно уже числилась в списках держав оси, но там, оказалось, шла непрекращающаяся борьба. Четверо советских солдат, сами того не желая, были в нее втянуты. Прервав путь на Родину, они стали помогать горным пастухам придавать летучим отрядам организованность воинских частей. Они не знали языка. Но на войне о человеке судят не по словам. Вскоре в этом чужом краю у них было много друзей. И сами они полюбили открытых, смелых горцев.

Радио доносило и сюда отзвуки великих битв, развертывавшихся на родных полях. Родина властно звала. И однажды четверо друзей распростились с албанскими партизанами. Их снабдили всем, что могло потребоваться в трудном пути. Даже проводили до границы.

На этот раз после долгих споров решено было пробираться в Болгарию. Географически удлиняя путь, беглецы мечтали таким образом значительно сократить его во времени. Расчет был такой: достигнуть Болгарии, сдаться пограничным постам, быть интернированными, а потом через консульство потребовать возвращения на Родину. Наивные мечты! Рассказывая о них, Горелкин не мог скрыть усмешки. Оккупированная Гитлером Европа кипела и бурлила, как скованная льдом река, стремящаяся весной взломать свои оковы. В Болгарии, которую они мечтали увидеть мирной страной, далеко отстоявшей от всех фронтов, шла даже более ожесточенная борьба. И снова активность четверых советских солдат не позволила им равнодушно пройти мимо.

По дороге они натолкнулись на партизанский отряд, осаждавший фашистский гарнизон на маленькой пограничной станции. Они присоединились к партизанам, вступили в бой, и опять их солдатский опыт пригодился болгарским товарищам,

а традиционная любовь болгар к русским «братушкам» быстро выдвинула друзей в среде лесных воинов.

Вскоре Константин Горелкин руководил большой партизанской чётой —группой имени Христо Ботева. Три его друга воевали в его чете. Лето, осень и почти всю зиму чета, переросшая потом в отряд, успешно сражалась в горах Планины. Слава об отважных русских пошла по долинам Болгарии. Отряд причинил немцам немало беспокойства. Сюда бежала болгарская молодежь, мобилизованная на службу в фашистскую армию. Наконец болгарское командование, по требованию немецкого посла в Софии, двинуло в горы регулярные части, поставив перед ними задачу ликвидировать отряд партизан-коммунистов, якобы руководимый из Советской России.

Части эти по плану немецких инструкторов заняли перевалы, обложили отряд в горах и, зажав его, оттеснили в зону снегов. Это был дьявольский план. Теперь партизаны никуда не могли уйти, не оставляя следов на снегу. По этим следам каратели и шли за ними по пятам, сужая кольцо, закрывая горные проходы, преграждая огнем леса и ущелья.

Оторванный от сел, от баз питания и боеприпасов, истощаемый постоянными боями с противником, во много раз превосходящим и числом и вооружением, отряд таял в этой неравной борьбе. Началась цинга. Люди опухали. Зубы шатались, вываливались из десен. Многие были ранены, другие, обессилев, не могли идти, и их приходилось нести или тащить на салазках. Тех, кто отставал, кто пытался отсидеться в лесах, местные фашисты вылавливали и казнили страшной смертью. Людей, заживо прибитых к деревянным щитам, носили и возили по горным деревням, для устрашения выставляли на базарах, у церквей и в других людных местах. Головы казненных неделями торчали на шестах. Девушек-партизанок, которых фашистам удавалось захватить, живыми сажали на колья.

Но, тая, отряд все-таки шел вперед. Партизаны мечтали пробиться через границу и соединиться с народно-освободительной армией Югославии, о которой в Болгарии было много разговоров.

Это был переход, в который трудно поверить. К концу пути в отряде начался голодный тиф. Больные, в бреду, с воспаленными небритыми лицами, с дико сверкавшими из глубины глазных впадин зрачками, шли, пошатываясь, поддерживаемые под руки товарищами, которые несли их оружие. Но стоило прогреметь выстрелу или прозвучать словам командира, и эти люди, минуту тому назад бредившие о еде, о семьях, о лете,

приходили в себя, разбирали оружие, отражали вражескую вылазку.

И было совершенно невозможное. Усталые, почти безоружные, они пробились до Македонских гор. Граница Югославии была видна. Горелкин собрал остатки отряда. Сказал речь, смысл которой сводился к старому лозунгу коммунистов: лучше умереть сражаясь, чем жить на коленях. Решено было прорываться через границу.

Поутру, под прикрытием тумана, отряд совершил отчаянный рывок. Он обрушился с гор в долину, лобовой атакой пробил кольцо окружения, и, когда солнце осветило свинцово-серые вершины гор, он был уже за границей — в Югославской Македонии. Самым удивительным в этом прорыве было то, что сотня вконец измотанных, еле передвигавшихся, распухших от голода, истощенных тифом и горной хворью людей вынесла всех своих раненых, все оружие.

Здесь, на первых километрах югославской земли, остатки отряда и все четверо русских солдат чуть было не погибли.

Прорвавшись в лес, люди буквально свалились с ног. На ночлеге отряд был окружен итальянцами, имевшими здесь сильный гарнизон. Налет был внезапным. Смертельно усталые, больные, партизаны не успели даже проснуться. Отряд был разоружен, интернирован, загнан в помещение ограбленного элеватора, превращенное в тюрьму.

В главном зернохранилище, куда входили целые поезда, было тесно. Здесь ожидали своей участи крестьяне — македонцы, сербы, хорваты, заподозренные в партизанской деятельности, в связи с Югославской Народной армией.

Несколько отдохнув и оправившись в этой не очень строгой итальянской тюрьме, друзья стали думать об организации побега. Василь Копыто, опять приняв на себя функции «наркоминдела», исподволь попробовал связаться с арестантами из местных жителей. Сербы особенно располагали его к себе своей славянской внешностью, своим языком, так походившим на русский. Он решил, что именно с ними легче договориться. Но не тут-то было! Крестьяне понимали его, даже смеялись его шуткам, делились с ним табаком, разок угостили его крепкой водкой из плетеной бутылки, пронесенной сквозь все обыски. Но как только он, зондируя почву, заводил речь о югославских партизанах или принимался рассказывать о своих злоключениях в Болгарии, люди точно на замок замыкались: не понимаем — и все. Не знали они о партизанах, не знали даже, почему схвачены и брошены в тюрьму «итальянами».

Тогда друзья вместе с болгарами решили готовить побег сами. План опять предложил неиссякаемый на выдумки Копыто. Ночью он вдруг схватился за живот и, оглашая помещение неистовыми криками, стал кататься по полу.

Часовой, не понимая, в чем дело, вошел в сарай с фонарем. Василь катался и орал. Тело его подергивалось. Он кричал так исступленно, так естественно, что даже друзьям его становилось не по себе. Уж не стряслось ли с ним действительно чего-нибудь, не нужна ли помощь?..

Стражник пригласил для совета второго наружного караульного. Некоторое время оба они, держа винтовки наготове, настороженно стояли в дверях, вглядываясь в полутьму, откуда неслись вопли. Потом, позабыв осторожность, стали протискиваться сквозь толпу арестованных к месту происшествия. Тут их и оглушили булыжниками. Караульные упали, не пикнув.

Василь Копыто сейчас же переоделся в итальянскую форму, в которой выглядел мальчишкой, выросшим из своей одежды. Это его не смутило. Снял с пояса одного из стражников ключи, вышел наружу и открыл остальные двери элеватора. Привлеченные шумом часовые внешней охраны вбежали во двор поздно, когда толпа уже вырвалась из тюрьмы.

Все это послужило друзьям хорошей рекомендацией. Иные из неразговорчивых крестьян, от которых «наркоминдел» Копыто не мог добиться ни слова, оказались воинами Народной армии. Они увели русских и их болгарских товарищей в горы Македонии. Оттуда козьими тропами, через ущелья, протоки, скалы, через леса, через снега и льды, они повели их в Боснию, бывшую в те дни одним из центров партизанской борьбы. Здесь тоже никто не задерживал четверых советских солдат. Партизанский командир, к которому их доставили, обещал даже снарядить их в дорогу. Но шли горячие бои. Опять четверо советских парней не смогли остаться в стороне. Они вошли в один из отрядов и принесли в него свой, уже немалый, опыт, свое воинское умение.

И снова прервался их путь на Родину. Снова начали они сражаться на чужой земле, под чужим небом, в чужих горах.

Около года были они среди югославских партизан. Василь Копыто, забойщик по профессии, хорошо знавший подрывное дело, прослыл в своем отряде хорошим минером. Никто не умел так ловко, как он, заложить фугас на железнодорожном полотне или, пробравшись под носом у часовых к реке, взорвать мост. Босняки звали его на свой лад — Базиль. Русский бога-

тырь пользовался всеобщей любовью, девушки заглядывались на него.

Второй из беглецов, Семен Агафонов, бывший монтер, организовал передвижную механическую мастерскую для ремонта трофейного оружия. Когда отряду приходилось отступать и партизанский район передвигался, эту мастерскую, все ее машины в разобранном виде, весь ее инвентарь, запасные части, инструмент, материалы, партизаны увозили с собой на машинах, а иногда навьючивали на осликов и даже несли на собственных плечах.

Константин Горелкин, служивший до войны в Красной Армии на срочной службе, стал заместителем командира отряда по строевой части. В дни затишья он учил македонских пастухов и сербских пахарей военному делу, сложному искусству боев.

С каждым новым боем друзья заслуживали все большее уважение.

В одной из схваток с четниками, пытавшимися окружить партизан, погиб Семен Агафонов. Обычно в боевой день он оставлял свою мастерскую и становился пулеметчиком. В этом бою он вместе со своим вторым номером — сербом Блажо — укрепился на перевале. Им поручили прикрыть выход отряда из кольца в долину. Они выполнили эту задачу и успели бы, вероятно, уйти. Но, отступая, партизаны уносили раненых. Это задерживало движение колонны. Пулеметчикам приходилось своим огнем прижимать врага к земле, не давать четникам прорваться через перевал. Неприятельские лазутчики, зайдя сзади, навалились на них. Тогда гранатой пулеметчики взорвали себя, пулемет и насевших на них врагов. Уже потом крестьяне подобрали остатки их тел и погребли с почестями в одной могиле.

Рязанский парень был похоронен рядом с сербом из Воеводины на вершине серой боснянской горы.

Но как ни полна была напряженной борьбой жизнь троих оставшихся в живых русских солдат, их не покидала мысль пробиться к своим и вернуться в Красную Армию, от которой отделяли их тогда четыре страны и больше двух тысяч километров. Правда, расстояние это в те дни начало уже сокращаться. Красная Армия перешла в наступление и двигалась им навстречу.

В декабре, получив разрешение партизанского штаба, трое русских двинулись в путь. Без особых приключений они миновали северо-западную часть Югославии, пересекли Австрию, прошли краешек Венгрии и тут, недалеко от чехословацкой границы, переходя ночью вброд речку, наткнулись на мадьяр-

ский патруль. В завязавшейся перестрелке Копыто был ранен в ногу. Горелкин унес его на плечах в лес. Около месяца они жили в чаще, питаясь ягодами, рыбой, которую ловили в ручье, фруктами, что по ночам собирали на деревьях, обрамлявших дороги. Недозревшие кукурузные початки заменяли им хлеб.

Когда рана у Василя зажила, они без особых приключений перешли чехословацкую границу.

Снова очутились они в славянской стране, где речь их легко понимали, где не только магические и ставшие интернациональными слова «Красная Армия», но и само их советское гражданство служили им надежным пропуском и отворяли для них даже самые робкие и скупые сердца. Они быстро пересекли бы эту страну, если бы снова не одно непредвиденное обстоятельство.

Одинокая горная деревушка, в которой они заночевали, не выполнила контингентов, наложенных на нее в те дни марионеточным словацким правительством Тиссо. Рекруты не явились на мобилизационные пункты. Словаки не хотели воевать за фашистов. На грузовиках приехали в деревню каратели — жандармы из немецких колонистов. Они вламывались в домики мятежной деревни, хватали без разбора мужчин, сгоняли в сарай. В то время, в связи с наступлением Красной Армии, фашистские куклы нервничали в Братиславе. Им нужно было изобразить правительство твердой руки. Поэтому на площади перед костелом была произведена публичная экзекуция: арестованных наказали палками.

Словацкие крестьяне, как и все горцы,— народ самолюбивый и горячий. Они взялись за ружья. И тут пригодился боевой опыт троих русских, прятавшихся в одном из домиков и вовремя оказавшихся на месте схватки. Друзья помогли крестьянам атаковать жандармов. Отряд карателей был изгнан. Одного жандарма убили, и труп был сброшен со скалы в горный поток. Опасаясь ответных репрессий, мужчины деревни подались в горы. Но нельзя массе людей отсиживаться в лесу в бездействии, ожидая облав и мести. Трое русских сочли себя не вправе бросить на произвол судьбы этих славных, храбрых и совершенно неопытных в военных делах словацких мужиков. Был создан партизанский отряд. Это был один из отрядов, действовавших в лесной и горной Словакии.

И снова начали друзья борьбу на чужой земле против того же врага, с которым теперь уже совсем близко от них сражалась их армия. Как снежный ком, сорвавшийся с вершины горы в дни оттепели, падая, навертывает на себя пласты талого снега

и, все увеличиваясь, превращается в лавину, так рос и их отряд. К нему примыкали люди, бежавшие с принудительных работ, из концентрационных лагерей, из плена. Много таких скиталось тогда по Европе. Лучших Горелкин брал с собой. Отряд, избравший его командиром, становился интернациональным. Кроме чехов и словаков были в нем уже французы, бельгийцы, сербы. К нему приставали мадьярские и румынские дезертиры. Был в нем даже негр — Сид, огромный добродушный детина, ведавший отрядным довольствием. Это был бортрадист, выбросившийся с парашютом с горевшего американского бомбардировщика.

Константин Горелкин ввел в отряде суровую дисциплину, создал суд партизанской чести, каравший ее нарушителей. Собственной рукой в присутствии всех своих людей он расстрелял примазавшегося к отряду охотника до легкой жизни и чужого добра. В свободное от боев время партизаны обучались стрельбе, строю, рытью окопов, искусству маскировки. Даже политработа велась в отряде, причем слова Ткаченко, говорившего по-русски и по-немецки, доходили до его разноязычных слушателей иногда через двух, а то и трех переводчиков.

Вскоре слава об этом отряде укрепилась в Рудных горах, где оккупанты пытались организовать тогда добычу железа и меди. Назывался он «Отряд имени Красной Армии». Он нападал на немецкие эшелоны, устраивал взрывы на шахтах, дезорганизовывал работу рудников.

Летом 1944 года погиб чехословацкий партизан и донбасский шахтер, солдат Красной Армии Василь Копыто.

Друзья с рудников донесли штабу, что немцы везут новое оборудование — целый завод, демонтированный ими где-то в Бельгии. Это были дни, когда фашизм всячески старался повысить выплавку стали. Копыто решил руководить взрывом эшелона. Он выбрал место в горах, на повороте железнодорожного полотна — там, где оно шло над пропастью. С двумя бельгийцами, кровно заинтересованными в этой диверсии, вооружившись минами, которые добыли для них чешские рудокопы-коммунисты, он подобрался к повороту дороги. Путь в этот день сильно охранялся. Взад и вперед курсировала бронированная дрезина. На месте, намеченном для взрыва, ходил часовой. Диверсия могла сорваться. Тогда Копыто, оставив бельгийцев по ту сторону ущелья, один с рюкзаком фугасов за спиной вскарабкался по отвесной скале к самой линии. Все произошло на глазах партизан, сидевших в засаде по ту сторону ущелья.

Часовой, как на грех, ходил в нескольких шагах. Василю

никак не удавалось улучить минуту, чтобы незаметно заложить под рельсы свой фугас. А поезд уже гудел, спускаясь с откоса. Гулко постукивали рельсы. В ущелье громко раздавались свистки паровозов, их тяжелое отфыркивание. И вот острая грудь головного локомотива уже показалась из-за поворота.

Что думал Копыто в эти последние секунды своей жизни, об этом можно только догадываться. На глазах часового он перескочил каменный гребень откоса и рванулся вперед. Партизаны-бельгийцы, наблюдавшие за ним, не могли различить, что он сделал. Они видели только, как ринулась навстречу паровику человеческая фигура. Потом тяжелый грохот встряхнул горы. И в следующее мгновенье паровоз и вагоны, страшно скрежеща о скалы, медленно перевертываясь в воздухе, летели в пропасть.

Константин Горелкин и Владимир Ткаченко продолжали воевать. Их отряд то рос, то таял, но порою насчитывал уже несколько сот человек. Когда по горам распространилась весть о Словацком восстании и партизанская рация приняла по радио из Баньской Быстрицы призыв к оружию, «Отряд имени Красной Армии» проделал большой и трудный марш, добрался до района восстания и, с ходу атаковав, отнял у немцев важную железнодорожную станцию...

— Стало быть, теперь мы тут неподалеку воюем. Вот и все. А до Родины так и не дошли,— вздохнул Горелкин и, жадно осушив бокал, вытер ладонью губы.

Мне вдруг вспомнился партизанский полк Горелко, знаменитого здесь командира, о котором мне тут не раз говорили, какой-то полулегендарный интернациональный отряд, пришедший несколько дней назад неведомо откуда на помощь повстанцам.

— Позвольте, так Горелко...

— Это я,— сказал, усмехаясь, собеседник.— Это еще там, в Рудных горах, меня так окрестили. Легче им так выговаривать, что ли.— Он опять вздохнул.— Так все до дому и не дойду. Сегодня вот виделся с подполковником,— он назвал фамилию советского офицера связи при партизанском велительстве,— просил его разрешить идти на соединение со своими. Не приказывает: говорит, здесь нужен. Это верно, народ здесь славный — храбрецы, жизнь хоть сейчас готовы отдать за эти свои горы. Только вот воевать еще не горазды.— Он допил остатки пива и мечтательно улыбнулся чему-то своему, далекому от его нынешних шумных дел.— Так вы, стало быть, тоже калининский, тверской козел, значит?

И он стал расспрашивать о жизни Родины, об армии, о нашем городе, о Волге, в которой, оказывается, мы оба в детстве лавливали пескарей на перекатах, о реке Тверце, на чистых пляжах которой загорали когда-то по праздникам.

Беседа затянулась за полночь. Мы и не заметили, что кафе опустело, что кельнер, убрав остальные столики, прислонил к ним спинки стульев, вежливо позевывал, стоя в сторонке у стены.

— Так, стало быть, этот казаковский-то дворец, где облисполком был, они сожгли? Вот гады! Какой дворец! И уж восстанавливаем? Да ну? Молодцы земляки! Здорово. А лепка как же? Я там на пленумах горсовета бывал, все любовался лепкой. И лепку восстанавливают? По рисункам? А театр? Неужели совсем ничего не осталось? Вот жаль... А мы еще все, помню, субботами на постройку театра кирпичи таскали. Ну, погоди, мы им этот наш театр вспомним!

Чуть захмелев от пива, он раскачивался и стучал по столу кулаком.

А время шло. Кельнер, должно быть устав стоять, сел в кресло и задремал. Я указал на него собеседнику и хотел было подниматься.

— А мост через Волгу? Неужто и он взорван? Какой был мост — кружево! И его уже восстановили? В первый же год? Ну и работают! Должен я вам сказать, походил я по миру, поглядел, где как люди живут, и скажу вам: нигде таких работяг нет, как у нас. Нет, право слово.

Он улыбнулся. Морщины разгладились на усталом лице, крепко выдубленном чужими ветрами. И снова начал походить он на того круглоликого ясноглазого парня, что глядел с фотографии на партийном билете.

— А откуда у вас наша новая форма, погоны?

— Это тут сшили. В ней воевать легче. Лучше слушаются, и душе покойней,— вроде в Красной Армии служишь... Что ж, я права на то имею. Звание-то ведь пожизненно дается.

— А почему вы, командир полка, носите сержантские погоны?

— Что правительство дало, то и ношу. А разве плохо? Красной Армии старший сержант Константин Горелкин. Неплохо, а?

Баньска Быстрица,
1944 год

ИСТОРИЯ ОДНОГО ТАНКИСТА

Впервые я познакомился с этим интересным человеком в памятный ветеранам битвы на Курской дуге тяжелый день 7 июля 1943 года.

Мы встретились на пыльном, изрытом воронками Белгородском шоссе, южнее Обояни. Три грозных раненых танка с рассерженным ревом выходили из боя. На их горячей броне лежали девять мертвых гвардейцев, и боевые друзья стояли рядом, держась за поручни машины, словно почетный караул,— гвардейцы даже мертвыми не сдаются врагу, и тело каждого воина, отдавшего жизнь за Отечество, уносится его соратниками с поля боя — такова традиция.

Копоть и пыль покрывали лица танкистов, в глазах их еще мигали отсветы боя; в них трудно было узнать тех щеголеватых военных, какими мы видели их за три дня до этого в просторном лесном лагере. Теперь это были настоящие чернорабочие войны, их пыльные комбинезоны пропахли бензином, порохом и кровью.

На обочине шоссе, пока механики-водители возились у моторов раненых машин, танкисты рассказали нам подробности боя. И в этом бою вновь во всей красоте и богатстве раскрылись те благородные черты души, которыми уже тогда славна была наша гвардия, сражавшаяся под знаменем Ленина уже два года.

— «Все за одного, один за всех» — это наш старый закон, вы знаете. Ну вот, этот закон и помогает нам воевать...— отрывисто говорил усталым, хрипловатым голосом молодой летами, но уже опытный танкист, командир роты Владимир Бочковский.

Это и есть тот человек, о котором я собираюсь рассказать.

Обстоятельства сложились так, что мы в дальнейшем встречались с ним много раз и продолжаем встречаться сейчас, когда пишутся эти строки, то есть двадцать лет спустя после войны. Много интересного и удивительного произошло в жизни Владимира Бочковского за эти годы, но скажу, забегая вперед, что своей специальности он не изменил: остался танкистом. Вот только погоны у него на плечах менялись много раз: начав с лейтенанта, он дослужился до генеральского звания.

Ну вот, а в тот июльский день тогда еще совсем молодой человек, конечно, меньше всего думал о том, как сложится его жизнь через двадцать лет. Жил он боем, опалившим душу, сегодняшним днем, часом, минутой, думой о том пекле, из которого только что вырвался и куда предстоит вернуться...

Бочковский воевал уже второй год — свое боевое крещение он принял на Брянском фронте летом 1942 года, когда танковый корпус М. Е. Катукова преградил путь гитлеровцам, рвавшимся на восток и северо-восток; горячие, кровавые битвы разгорелись у Сомова, у Ломова... Я был тогда в 1-й гвардейской танковой бригаде и хорошо запомнил, как батальоны Бурды и Бойко стояли насмерть, уцепившись за невысокие холмы и тихие русские речки в знаменитых тургеневских местах. Тогда-то и вступила в бой группа молодых танкистов, только что прибывших из 1-го Харьковского танкового училища (впрочем, в то время училище было Харьковским только по названию, а находилось оно в далеком Чирчике), среди них был и Владимир Бочковский, только за год до этого кончивший десятилетку.

Военная карьера юного лейтенанта чуть-чуть не оборвалась трагически, когда его танковый взвод прорвался за линии немцев для ведения глубокой разведки в тылу противника и там попал под жестокий огонь. Танк Бочковского был подбит, его тяжело ранило: осколок снаряда перебил бедро. Надо было отходить. Но как потащишь под огнем человека с перебитым бедром?

Выручил лихой сержант Виктор Федоров, поспешивший к лейтенанту на своей легкой танкетке Т-60. Танкисты положили Бочковского на броню, сели рядом, уложив его перебитую ногу на крышку снарядного ящика, и Федоров во весь дух помчался к своим, лавируя среди разрывов снарядов и ускользая от фашистских автоматчиков. Танкетка прыгала, было очень больно, кровь лилась на броню, Бочковский терял сознание, потом снова приходил в себя. Наконец танкетка остановилась. Стало вдруг тихо. Все! Спаслись...

Лечили Бочковского в госпитале в Мичуринске. Молодой организм победил ранение: кость срослась, вот только нога стала короче на пять сантиметров, и лейтенант теперь ходит прихрамывая; ребята, незлобиво подшучивая над ним, зовут его Кривая Нога. В свой батальон он вернулся в ноябре, когда корпус Катукова воевал уже на Калининском фронте, под Нелидовом. С тех пор пули и снаряды щадили его...

И вот мы знакомимся с этим бывалым танкистом. Он и его друзья, присев на корточки прямо посреди дороги, торопливо рассказывают о том, что произошло вчера и сегодня в районе деревень Яковлевка и Покровка.

В ход пошли камешки и прутики, и на разглаженной горячей черной пыли была наглядно изображена схема битвы. Вот здесь, на склонах высоток южнее деревни Яковлевка, которую надо было любой ценой удержать в течение суток, стала рота. Она примчалась сюда стремительно в ночь с 5 на 6 июля, стараясь выиграть время, и все-таки танкисты не успели полностью укрыть машины... Вот эти танки пошли сюда, где торчит веточка, изображающая лесок, а эти восемь машин стали здесь, за бугорком. Стали насмерть...

Рассветало, когда немцы сунулись по дороге, ведущей к селу, группой в семь — десять средних танков и полком автоматчиков. С этими было просто... Первым открыл огонь Соколов, он тремя выстрелами подбил два танка, и тут же командир корпуса по радио передал приказ о награждении его орденом Отечественной войны 2-й степени. Бессарабов и Шаландин точными ударами зажгли еще две машины. Остальные откатились. Но гвардейцы понимали, что это только начало.

И действительно, в четыре часа утра Бочковский заметил в свете восходящего солнца сразу три колонны тяжелых машин с «тиграми» впереди, они вытягивались параллельными курсами по направлению к деревне. «Тигры» ревели и, как обычно, швырялись тяжелыми снарядами. Тут же послышалось прерывистое гудение с неба: группы самолетов одновременно заходили с разных концов и начинали бить по всей площади, на которую был нацелен танковый удар; это и есть то авиационно-танковое наступление, которое немцы практикуют теперь, как основу своих операций.

Земля загудела. Черная завеса потревоженной пыли закрыла горизонт. Стало темно. Образовались гигантские воронки, среди которых трудно было маневрировать. Но рота гвардейцев-танкистов и приданная ей рота гвардейцев-стрелков остались на месте и приняли бой.

Бои с «тиграми» описывались много раз, и теперь скажу лишь, что даже видавшим виды гвардейцам пришлось невыносимо тяжело. Своими восемью танками они держали деревню, как и было им приказано, весь день, а точнее говоря — тринадцать часов: с трех часов утра до четырех часов дня. Помощи никто не просил и не ждал.

Солнце поднялось к зениту и уже начало склоняться к закату, а бой все еще продолжался. Гвардейцы маневрировали, хитрили, били из засад, всячески старались заставить противника поверить, будто здесь не восемь, а по крайней мере полсотни советских машин, и выигрывали время, драгоценное время...

Вечером напряжение боя достигло высшей точки. Немцы, видимо, догадались наконец, что против них действует лишь горсточка лихих танкистов, и полезли вперед с утроенным бешенством. Бессарабов, Шаландин, Соколов, Прохоров, Бочковский, оставшиеся в строю, продолжали сдерживать натиск немцев. Но силы были слишком неравны; им пришлось отойти в деревню и начать уличный бой. К тому времени каждый из них уничтожил уже не одну немецкую тяжелую машину, но и гвардейцы несли потери.

Вот еще одна тяжелая бомба разорвалась рядом с танком Соколова. Машина, накренившись, съехала в глубокую воронку и застряла в ней. Бессарабов поспешил на выручку другу.

— Держись, Соколов, еще не все потеряно! — Бессарабов берет раненую машину друга на буксир и включает мотор.

Шаландин броней своей машины загораживает товарищей и прикрывает их огнем. Но вытащить тяжелый танк из глубокой воронки дьявольски трудно. Машина Бессарабова ревет изо всех сил, а дело не подвигается. Немецкие танки почти рядом. Как быть?

Бочковский, дравшийся неподалеку, тревожно наблюдал за маневрами Бессарабова. Он вывел из строя уже два вражеских танка и одну пушку, когда стрелок-радист взволнованно сказал ему:

— Соколов опять просит помощи: машина Бессарабова не тянет...

Бочковский взвесил обстановку. Его рота уже выполнила свою задачу, можно было отходить на новый рубеж, но как уйти, оставив друзей, попавших в беду?

— Будь что будет, а ребят не бросим! — сказал Бочковский механику Ефименко, комсоргу роты, и танк командира подошел к машине Соколова.

Подав Соколову второй буксир, Бочковский и Бессарабов двойной тягой потянули раненый танк из воронки. Надо помнить при этом, что все три танка находились под таким бешеным обстрелом, что кругом распыленный чернозем стоял сплошной тучей, а тяжелые осколки барабанили по броне как град. И все-таки танки упрямо тянули машину Соколова.

Волнующий миг спасения был уже близок, как вдруг два снаряда одновременно подбили еще раз и подожгли раненую машину — у нее отлетел ствол пушки, и пламя взметнулось над мотором. С болью в сердце танкисты отцепили теперь уже бесполезные буксиры. Развернувшись, Бессарабов и Бочковский снова открыли огонь по наседавшим машинам, принимая их снаряды на свою надежную лобовую броню.

Но вот и Бочковский почувствовал глухой удар: снарядом сшибло гусеницу.

— Гусеницу натянуть! — скомандовал командир, и танкисты без промедления выскочили из машины под огненный дождь, чтобы исполнить приказ. К сожалению, было уже поздно: вторым снарядом немецкий артиллерист зажег танк. Бессарабов остановил свою машину и взял с собой боевых друзей.

Экипажи подбитых танков и четыре мотострелка, до последнего мгновения оборонявшие свой рубеж, уместились на броне машины Бессарабова, и она с гневным рокотом ушла из деревни, маневрируя под градом бомб и снарядов.

Утром 7 июля бой возобновился. В распоряжении Бочковского теперь оставалось всего пять машин, включая танк Бессарабова, но каждый из них стоил по крайней мере десяти немецких. И рота снова стала непреодолимой стеной на пути вражеских танков. Всего за эти два дня она уничтожила тридцать пять танков (6-го — двадцать четыре и 7-го — еще одиннадцать), из них немало «тигров».

Конечно, и рота понесла потери, тяжелые, невозвратимые потери. Не вернулись в строй ни Шаландин, расстрелявший два «тигра» и два средних танка, ни Соколов, уничтоживший «тигр» и средний танк, ни Мажоров, зажегший два «тигра». Не вернулись и многие другие... Но они с честью выполнили свой долг, и рота будет вечно числить их в своих списках.

Раненые танки, уходившие на ремонт, снова двинулись. Механики оживили их.

— Нам пора,— сказал Бочковский,— приказано завтра быть на рубеже. Предадим земле тела товарищей, отремонтируем танки — и снова туда.

Он махнул рукой в сторону, где высоко тянулись к небу дымы взрывов, четко козырнул, отдал команду, и танкисты легко взлетели на броню, став на карауле у изголовья мертвых героев, убитых в бою.

Танки двинулись по взрытому бомбами шоссе на север...

* *
*

Второй раз судьба свела нас с Владимиром Бочковским осенью 1944 года, когда война уже отхлынула на многие сотни километров к западу. Слава 1-й танковой армии генерала М. Е. Катукова, в рядах которой по-прежнему служил этот молодой командир, снова прогремела на весь мир: она осуществила блестящую операцию на подступах к Карпатам. За участие в этой битве оба корпуса армии — 8-й и 11-й — были названы Прикарпатскими, на знаменах ее воинских частей добавилось восемнадцать орденов, а среди солдат и офицеров — еще двадцать семь Героев Советского Союза, одним из них и был Владимир Бочковский.

Закончив свою операцию, танкисты стояли близ Черновиц, принимая технику и пополнение. Пожалуй, это была последняя возможность повидать многих старых друзей-танкистов на советской земле: следующую операцию им предстояло проводить уже за рубежом.

Находясь в частях танковой армии, я беседовал со своими старыми друзьями, знакомился с новыми героями, выдвинувшимися из пополнения, приглядывался к будничной жизни в войсках. В один из этих дней мне и довелось заехать во 2-й батальон 1-й гвардейской танковой бригады, которым командовал Владимир Бочковский,— теперь он был уже капитаном.

Я еще в Москве слыхал, что Бочковский стал одним из лучших танкистов Катукова,— ему теперь поручалось выполнение самых ответственных операций. Именно он занял город Чортков и захватил важные переправы через реку Серет, и именно он в течение двух суток осуществил с группой из двадцати танков и самоходных орудий безумно смелый рейд на город Коломыя — опорный пункт гитлеровцев на подступах к Чехословакии. Имя Бочковского было названо в приказе Верховного главнокомандующего о взятии Коломыи, и ему салютовала Москва — случай не такой уж частый для комбатов.

Вот почему я с великим удовольствием воспользовался возможностью увидеться с самым молодым командиром, с которым мы за год до этого встретились на шоссе под Обоянью в трагический час, когда он выходил из боя, везя на броне танка мертвые тела своих товарищей.

И вот новая встреча... Батальон только что прибыл в новый район. Опушка леса. Несколько домиков с вишневыми садами — отдаленный хутор. Танки уже отведены в глубь леса и замаскированы. Танкисты, сбросив шлемы, ловко орудуют топорами и лопатами, готовя себе блиндажи. Командует ими молодой капитан в забрызганном грязью комбинезоне. Увидев, что кто-то залез на вишню, где алеют соблазнительные ягоды, он сердито кричит:

— Назад! Не обижать мирных жителей.

У него очень молодое, с легким пухом на щеках лицо, по-детски пухловатые губы, большой русый чуб аккуратно зачесан назад, ясные голубые глаза настороженно разглядывают незнакомого пришельца:

— Корреспондент? Позвольте глянуть ваши документы...

— Мы с вами уже встречались на Курской дуге!

— На Курской?.. Вряд ли, я там в тылах не бывал. Разве что до четвертого июля...

— Нет, я могу сказать совершенно точно: седьмого июля, когда вы выходили из боя с телами убитых танкистов на броне, близ развилки дорог у Зоренских дворов.

Капитан отступает на шаг, пристально вглядывается мне в глаза, потом порывисто пожимает руку:

— Теперь помню. Но это интервью было совсем необычное... Пойдемте, пойдемте в хату...

Заметив, что Бочковский немного прихрамывает, я вспоминаю, что еще на Курской дуге его звали Кривой Ногой: после ранения в бедро хирургам пришлось укоротить его ногу на пять сантиметров. Перехватив мой взгляд, капитан говорит:

— Видите, приходится толстую подошву носить. Но это еще терпимо, а вот лопатка...— он осторожно повел плечом,— лопатка еще дает о себе знать...

Оказывается, он был снова ранен, в бою у станции Попельня, когда ему поручили отразить контратаку вражеских танков. Осколок снаряда рассек Бочковскому лопатку и ребро. В госпитале он подлечился, сбежал в батальон, и вот теперь — хронический остеомиелит; капитан носит постоянную повязку.

— Я еще легко отделался,— говорит он на ходу,— а вот Бессарабов... Помните его? — Еще бы не помнить знаменитого

укротителя «тигров»! — Так вот, нет больше Бессарабова, он в том же бою погиб. Там его и похоронили... Не было цены этому человеку!

Мы вошли в просторную, чистую хату. На столе, покрытом белой скатертью, стоял букет свежесрезанных роз. Капитан вышел умыться, а я разглядывал его жилье. В глаза бросилась какая-то официальная бумага, вставленная в аккуратную рамочку, она стояла за букетом; видимо, капитан собирался повесить ее на стену. Я подошел поближе и прочел:

«Приказ заместителя народного комиссара обороны СССР № 63, 17 апреля 1944 года.

В одном из боев командир танкового взвода гвардии лейтенант 1-й гвардейской отдельной танковой бригады 8-го гвардейского механизированного корпуса Вольдемар Сергеевич Шаландин, находясь со своим танком в засаде, в решающую минуту боя сдерживал колонну вражеских танков. Им было уничтожено несколько вражеских танков и много солдат. В ходе жестокого, яростного боя танк т. Шаландина был подбит и загорелся. Но он не покинул горящего танка, а продолжал уничтожать вражескую технику и солдат. В этом неравном бою он погиб смертью храбрых, проявив геройство и мужество, чем обеспечил успех выполнения поставленной задачи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года гвардии лейтенанту Шаландину В. С. посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Геройский подвиг, совершенный т. Шаландиным, должен служить примером офицерской доблести и героизма для всего офицерского состава Красной Армии.

Для увековечения памяти Героя Советского Союза гвардии лейтенанта В. С. Шаландина приказываю:

Героя Советского Союза гвардии лейтенанта Шаландина В. С. зачислить навечно в списки 16-й роты 1-го ордена Ленина Харьковского танкового училища...

Приказ довести до сведения офицерского состава Красной Армии.

Заместитель народного комиссара обороны
Маршал Советского Союза *Василевский*».

Передо мной вновь встала запомнившаяся в мельчайших деталях драматическая встреча с только что вышедшими из этого страшного боя танкистами на обоянском шоссе, когда Бочковский и Бессарабов, чертя прутиками на дорожной пыли схему боя, рассказывали мне, как погиб Шаландин.

— Да, вожу этот приказ с собой. Как только приходит пополнение, перечитываю его перед строем. Помогает!..

Услышав голос Бочковского, я обернулся. Передо мной стоял уже совсем другой офицер, в чистой, отлично отглаженной гимнастерке с белоснежным воротничком и в начищенных до блеска сапогах. На груди у него сияло целое созвездие: «Золотая Звезда», орден Ленина, ордена Красного Знамени и Красной Звезды, медаль «За отвагу» и гвардейский знак. Уж так повелось в армии, здесь носили ордена повседневно. Только Александр Бурда возил свои награды в коробочке, мечтая сохранить ордена новенькими до мирного времени, да так и не дождался этого времени...

Капитан приглашает меня садиться и немного церемонно говорит:

— Простите, но водки не пью и угостить не смогу,— в батальоне спиртного не держу...

Он держится подчеркнуто прямо, выдвинув вперед свой крутой подбородок,— чувствуется, что ему в свои двадцать лет («Через месяц будет двадцать один»,— заботливо уточняет он) очень хочется казаться гвардейским офицером, человеком военной косточки. Отсюда и эта напускная педантичность, и любовь распоряжаться и командовать, и поза... Но постепенно все это внешнее, немного искусственное, отскакивает, разговор становится теплее, душевнее, и вот уже передо мной простой, с открытой и чуткой душой советский паренек, сердце которого опалила, но не сожгла война.

Мы снова беседуем о битве на Курской дуге, о летних, зимних и весенних боях, в которых участвовал батальон, о знакомых танкистах, о том, что они за этот год совершили. Тогда, в июле 1943 года, на обоянском шоссе бой вели десять выпускников Харьковского танкового училища: Бочковский, Шаландин, Соколов, Бессарабов, Малороссиянов, Литвинов, Чернов, Духов, Катаев и Прохоров. Война безжалостна: уже в первом сражении погибли пятеро — Шаландин, Соколов, Малороссиянов, Прохоров и Чернов. Бессарабова похоронили зимой. Литвинов погиб в марте, когда батальон брал Коломыю.

Духов и Катаев по-прежнему служат в батальоне. Ну, а сам Бочковский... Что ж, факты сами говорят за себя: был командиром роты — стал командиром батальона, начальство не ругает. Твердо решил: если удастся дожить до победы, пойти в военную академию и стать кадровым офицером. Такая уж, видно, судьба...

— Ну, это же все наши, так сказать, семейные дела,— говорит вдруг Бочковский.— А что же рассказать вам такого, что пригодилось бы для вашего репортерского пера?..— Он любит такие кудреватые обороты и щеголяет ими, подчеркивая свое южное произношение: «ше» вместо «что», частое употребление частицы «же», мягкое, с придыханием «ч»... Бочковский родился в Тирасполе, а детство провел в Сочи и в Крыму.

Я прошу его рассказать о знаменитом рейде на Коломыю, том самом, за который Бочковскому салютовала Москва. Ведь это за Коломыю ему дали звание Героя Советского Союза? Капитан усмехается: нет, «Звезду» Героя он получил за Чортков [1], а за Колымыю ему не досталось никакой награды. Его представили тогда второй раз к званию Героя, а всех участников операции — к ордену Ленина; они свои ордена получили, а Боч-

---

[1] Об этой операции я подробно рассказывал в книге «Путь к Карпатам». Когда танкисты генерала Катукова прорывали фронт гитлеровцев, выступив из района южнее Збарежа 19 марта 1944 года, Бочковскому было поручено с отрядом танков углубиться в тыл противника, захватить город Чортков, занять там переправу через реку Серет и удержать ее до подхода главных сил. Эта труднейшая задача была выполнена ценой огромного напряжения сил, благодаря исключительной воле и возросшему воинскому умению наших танкистов.

Напомню здесь лишь о кульминационном моменте операции, порученной Бочковскому. Вот как он в беседе со мной описывал захват переправы:

«Мы устремляемся на Чортков. Рассветает, низкий туман. Снег комьями летит из-под гусениц, обдавая экипажи и десант снежной пеленой. Подходим к первым домам. Снижаем скорость. Остановка. В первой же хате берем четырех пленных — умаялись, бедные, бежать от русских танков! Осторожно, на малом газу, спускаемся вниз в город. Рывок по улице. Первым идет танк лейтенанта Дегтярева, мой за ним — мчимся к переправе. Мост горит! Это немцы вкатили на мост бензоцистерну и, открыв краны, подожгли ее. По мосту ползет голубой огонь с полметра высотой. Бензин льется с моста в воду, вода горит островками. Выскакиваю из танка. Под прикрытием огня Дегтярева вбегаю на мост. Он еще не прогорел. Решаю: сбить цистерну и, пока крепок настил, проскочить по нему по ту сторону и попытаться спасти мост. Снимаем десант с танка Дегтярева, развертываем башню назад и укрываем танк брезентом. Объясняю механику-водителю старшему сержанту Волкову, что ударить по цистерне нужно левым ленивцем танка с тем, чтобы ее сбить с моста. Открываем огонь по зданиям, находящимся по ту сторону моста. Танк Дегтярева берет разбег, с ходу влетает на мост и бьет по цистерне. К небу вздымается клуб огня. Цистерна падает в реку. Танки один за одним прорываются по горящему мосту за реку. Брезент на танке Дегтярева горит. Цепляем его и стаскиваем. Огонь удается потушить».

Мост был спасен, и это в значительной степени облегчило весь ход операции танкистов Катукова.

ковский второй «Золотой Звезды» так и не дождался: больно высоко было заслано представление, и там, наверное, рассудили, что не стоит так часто давать «Золотые Звезды» одному и тому же молодому капитану, а о том, чтобы дать ему другую награду, так и не подумали.

Впрочем, Бочковский не в обиде: впереди еще много боев и много возможностей показать свои способности. А рейд на Коломыю — это действительно была примечательная операция, и капитан охотно соглашается о ней рассказать, это будет интересно для молодых танкистов, так сказать, «страничка боевого опыта».

...На рассвете 27 марта Бочковского, который был тогда заместителем командира батальона, вызвал вместе с комбатом комбриг Горелов: только что с самолета был сброшен вымпел с картой-приказом, на карту нанесена боевая задача и здесь же знакомым почерком командира написано: «Выдвинуть отряд под командованием капитана Бочковского в направлении города Коломыя, сломить оборону противника и занять город. Выступить в 9.00. На пути расставить три танка с радиопередатчиками для поддержания бесперебойной связи».

— Видишь, Володя,— сказал комбриг,— командарм тебе лично дает задание. Дело трудное, понимаешь сам. Разрешаю тебе отобрать самому экипажи для этого рейда...

Бочковский задумался. Он мысленно перебрал всех командиров танков батальона, все были отличные, обстрелянные мастера своего дела.

Вот старший лейтенант Духов, однокашник по танковой школе в Чирчике, худенький, быстроглазый паренек, невысокого роста. Очень трудно свыкался с войной: на Курской дуге его сгоряча чуть не исключили из кандидатов партии за трусость, а он не то чтобы трусил, а просто робел с непривычки под огнем. Потом в наступательных боях приобрел совершенно необходимое военному человеку чувство превосходства над противником, и робость пропала. Ходил на танке в разведку вместе с Бессарабовым. Уничтожил двух «тигров», получил орден Отечественной войны. Потом, под Казатином уже, командовал взводом, там опять отличился, получил второй орден Отечественной войны. В весеннем наступлении стал командиром роты, за героизм при взятии Чорткова был награжден орденом Александра Невского... Конечно, Духова надо брать! Какой может быть разговор?..

Младший лейтенант Бондарь... Это совсем молодой паренек: пришел с пополнением, когда бригада была уже под Шепетов-

кой. Но сразу проявил себя как смелый и дерзкий танкист. Награжден уже двумя орденами Красного Знамени. Такой не подведет!

Лейтенант Шарлай. Это ветеран, воюет в батальоне давно. На Курской дуге работал на легком танке Т-70, обеспечивал связь. Под Казатином ему уже дали «тридцатьчетверку». Воевал отлично. Наград пока не имеет, но он заслужил быть отмеченным. Надо взять и его.

Лейтенант Катаев... Тоже однокашник по Чирчику... Вот у кого сложилась действительно запутанная фронтовая биография! Вначале все шло хорошо: уничтожил «тигра», получил орден Красного Знамени, грамоту ЦК комсомола. И вдруг под Казатином, близ села Хейлово, произошло несчастье. Танк Катаева был подбит. Механик-водитель, охваченный паникой, бежал. Катаев попытался завести заглохший мотор, но не сумел... Сам покинул танк в надежде, что потом удастся его вытащить и отремонтировать. На командном пункте его пожурили за то, что не задержал механика и не заставил его отремонтировать мотор под огнем, и дали другую машину. Катаев снова пошел в бой, и опять ему не повезло: его танк был разбит, когда он прорвался за линию фронта, и ему с экипажем пришлось с боем пробиваться обратно. На этот раз Катаева судили военным судом. Приговорили к восьми годам тюрьмы, но, принимая во внимание старые заслуги, оставили воевать в батальоне. В весеннем наступлении Катаев вместе с Духовым все время шел впереди и был награжден двумя орденами. Судимость с него сняли. Этот медлительный с виду, долговязый, светловолосый и голубоглазый парень в бою буквально преображается и становится сущим дьяволом. Нет, он, конечно, не подведет и на этот раз... И капитан решил взять Катаева.

Перебрав всех командиров танков батальона, капитан остановил свой выбор еще на лейтенанте Большакове, которого он знал с Курской дуги, и младших лейтенантах Игнатьеве и Кузнецове — комсомольцах, хорошо зарекомендовавших себя в боях. Кроме них он взял старшего лейтенанта Сирика, отличившегося в бою за Чортков, Котова и еще двоих танкистов.

Всего, таким образом, в рейд отправились двенадцать танков, считая и машину Бочковского. Бочковский собрал командиров, разъяснил им задачу, повеселил, подбодрил. Запаслись боеприпасами, набрали горючего сверх всякой меры: идти-то далеко, да еще в распутицу! Приняли на броню десант автоматчиков и — в путь...

Головной машиной вызвался идти Духов.

— Только попробуйте отстать от меня! — шутливо пригрозил он остальным.

Обещали не отставать. Вторым шел Катаев, третьим — Бочковский. Приказ был такой: действовать дерзко, деревни проскакивать с ходу, ведя максимальный огонь, с мелкими подразделениями в драку не ввязываться, главное — как можно быстрее ворваться в Коломыю и оседлать переправу через Прут.

После долгих, затяжных дождей выглянуло солнце, но земля еще не подсохла. По обе стороны дороги расстилались раскисшие поля. Только свернешь туда, и танк проваливается по самое брюхо, прилипая к земле, как муха к клейкой бумаге. Это очень тревожило танкистов: возможность маневра была ограничена до минимума.

Оставался один путь решения задачи: мчать вперед по шоссе во весь опор, рассчитывая на эффект психической атаки.

Чернятин проскочил с ходу, дав лишь несколько пулеметных очередей. Но вот на подступах к деревне Сорока увидели на мосту знакомый угловатый силуэт «тигра». Как быть? Его пушка сильнее и бьет дальше... Духов притормозил, пригляделся. «Тигр» выглядел как-то странно: он перекосился, пушка его глядела вниз. Башенный стрелок радостно крикнул:

— Товарищ командир! Он завалился.

Действительно, «тигр» попал в капкан: мост не выдержал его тяжести, и он повис над водой, упершись пушкой в балки. Его можно было без труда расстрелять: он не мог отвечать орудийным огнем; а может, удастся его захватить целым?.. Автоматчики осторожно приблизились. «Тигр» молчал. Они подошли к нему вплотную и увидели, что люки открыты и танк пуст — экипаж бросил исправную машину.

— Мелкие люди! — ответил Бочковский, когда Духов по радио доложил ему об этом.— Оставь двух автоматчиков для охраны, а я сообщу нашим, чтобы увели этот «тигр» в бригаду...

«Тигр» потом вытащили тракторами, и он ушел в плен своим ходом, послушный советскому механику...

Переправившись вброд через мелкую речушку, отряд Бочковского ворвался в Сороку. Духов и Шарлай раздавили противотанковые пушки, открывшие было огонь по советским танкам, и на этом сопротивление противника закончилось. Бочковский разоружил полторы роты венгров, которым было поручено защищать Сороку, отправил их без охраны в Городенку с запиской: «Примите, товарищ Соболев, этих людей, они воевать больше не хотят» — и помчался дальше, к городу Гвоздец.

Здесь дело было серьезнее: гитлеровцы, узнав о приближении советских танков, зажгли мост через реку Черняву и пытались задержать наших танкистов, пока он не сгорит. Духова встретил артиллерийский огонь. На шоссе глухо шлепались мины, посылаемые тяжелыми минометами. Бочковский по радио крикнул:

— Обходим с юга! Сейчас мы им устроим бледный вид оторванной жизни...

Танки попятились за бугор, свернули в рощу, и вскоре их пушки заговорили уже на противоположном конце города. Танкисты быстро подавили сопротивление; увидев, что они окружены, гитлеровцы утратили волю к сопротивлению. Дело было решено буквально в течение часа.

Но время близилось уже к полудню. Чувствовалось, что противник начинает приходить в себя, требовалось увеличить темп продвижения. Оставив танк для связи и отделение автоматчиков, которым было поручено довершить дела в Гвоздце, Бочковский собрал свой отряд в колонну и отдал приказ: «Полным ходом вперед, на Коломыю!»

Можно было ожидать, что гитлеровцы попытаются зацепиться за реку Турка, и действительно, у селения Подгайчики они встретили танкистов артиллерийским огнем. Мост через реку горел. На западном берегу был наспех сделан эскарп: гитлеровские саперы рассчитывали, что советские танки его не одолеют и застрянут в реке.

Наткнувшись на узел сопротивления, машины, шедшие в голове колонны, укрылись за домами и открыли огонь. Тем временем Бочковский повел остальные танки в обход деревни. Гитлеровцы, увидев советские машины у себя в тылу, немедленно развернули все свои двенадцать противотанковых орудий против группы Бочковского. Завязался бой, а тем временем Игнатьев, Шарлай и Духов, воспользовавшись тем, что дорога оказалась свободной, рванулись вперед и, не останавливаясь, помчались к Коломые. Пока Бочковский с остальными танкистами добивали гитлеровцев в Подгайчиках, они уже ушли далеко...

Сборный пункт перед решающей атакой на Коломыю был назначен в селении Цинева. Гитлеровцы попытались организовать сопротивление и там, но налетевшие ураганом танки Духова, Игнатьева, Шарлая, Катаева и Бондаря смяли их. Бросив восемь орудий, три миномета и два пулемета, фашисты в панике бежали. Увлекшись преследованием, танкисты устремились дальше, и, когда Бочковский с остальными машинами вступил в село, там он уже никого не застал.

Бочковский был встревожен и раздосадован: он отдавал себе отчет в том, что за Коломыю гитлеровцы будут жестоко драться, и надо было, прежде чем начинать атаку, провести разведку, хорошо продумать и разработать в деталях план действий. Поэтому он немедленно передал по радио танкистам приказ остановиться и ждать его. Но было уже поздно: пять танков с ходу ворвались в Коломыю, и теперь оттуда доносилась яростная канонада. Как и опасался Бочковский, они сразу же попали в трудное положение.

Танкисты докладывали по радио, что они встретили сильное сопротивление. Шарлай торопливо говорил:

— Вижу справа и слева огневые точки противника... Подавили уже четыре пушки, автоматчиков скосили штук до двадцати, но их тут еще много...

Потом слышался голос Игнатьева:

— Веду бой... Сопротивление сильное... Есть «тигры»...

Духов докладывал коротко:

— Приняли удар на себя. Выстоим...

Когда капитан с группой танков примчался к Коломые, этому довольно большому, живописному городу, раскинувшемуся на реке Прут близ чехословацкой границы, он увидел страшную картину: близ железнодорожной станции из засады ведет огонь «тигр»; увлекшийся погоней за бегущей пехотой, Шарлай идет прямо на него. Удар... Прямое попадание... С «тридцатьчетверки» Шарлая слетает башня. Вспыхивает пламя. Шарлай погибает. Его заряжающий рядовой Землянов, сидя рядом с трупом убитого командира, продолжает вести огонь из пулемета (за этот бой он получил звание Героя Советского Союза). Игнатьев, укрывшийся за домом, открывает по «тигру» огонь, но лобовая броня мощной немецкой машины неуязвима для его снарядов. «Тигр» дает ответный меткий выстрел и пробивает машину Игнатьева,— башенный стрелок убит, сам Игнатьев тяжело ранен... Духов успел отскочить вправо, за другой дом. «Тигр» ударил по этому зданию, но Духов был уже за третьим домом... Оттуда он ударом в борт поразил наконец эту мощную машину, и, как с восторгом выразился картинно рассказывавший мне об этом Бочковский, «тигр» «показал свои светлые глазки», что означало «загорелся».

Обстановка складывалась весьма неблагоприятно: соотношение сил далеко не в пользу наших танкистов. Станция буквально забита гитлеровскими эшелонами (потом их насчитали около сорока). На аэродроме Коломыи то садились, то взлетали самолеты.

Раздумывать было некогда: вокруг снова стали падать снаряды, пущенные пушками сверхтяжелых немецких танков,— это открыли огонь шесть «тигров», стоявших на платформах эшелонов, лихорадочно готовившихся к отходу. Как на беду подоспевшие на помощь авангарду Духова танки, совершая обходный маневр по пахоте, застряли в раскисшей жирной земле. Бочковский скомандовал по радио:

— Духову — вытаскивать танки буксиром, всем машинам — вести огонь по «тиграм».

Он сам припал к прицелу и открыл огонь. Один «тигр», получивший несколько прямых попаданий, опрокинулся с платформы, за ним — второй, но остальные продолжали стрелять. Засвистел паровоз, и эшелон медленно пополз по направлению к станции Годы. Гитлеровцы отходили к Станиславу. Бочковский даже зубами заскрипел от сознания собственного бессилия, когда увидел, что за первым эшелоном вытягивается второй, третий, четвертый...

Но к счастью, Духову в это время удалось вытащить на дорогу танки Бондаря и Большакова, и капитан скомандовал всем троим по радио:

— Гоните к станции Годы! Приказываю догнать и остановить эшелоны!

Три танка помчались вперед. Еще две машины — Катаева и Сирика — Бочковский послал навести порядок на аэродроме,— они раздавили там несколько самолетов.

Тем временем Бочковский с остальными машинами выбрался на дорогу, ведущую к селению Пядыки, и тут из леса бросилась в атаку на них туча гитлеровцев при сильной поддержке артиллерийского огня. Автоматчики встретили их огнем, но гитлеровцев было впятеро больше. Танки стреляли по атакующим из пушек. Неожиданно у Бочковского заклинило башню. Танкисты выскочили из машины и под огнем развернули ее. Бой продолжался...

Эта схватка длилась около двух часов, как вдруг на дороге послышался знакомый рев «тридцатьчетверок»: это возвращались Духов, Бондарь и Большаков. Им удалось-таки догнать и остановить эшелоны. Успех обеспечил смелым и расчетливым ударом танк Бондаря: его опытный водитель старший сержант Телепнев умело вывел машину на невысокую железнодорожную насыпь и толкнул боком отчаянно свистевший паровоз эшелона. Паровоз накренился и рухнул направо; Телепнев резко повернул машину влево, уходя от рушившейся громады эшелона; вагоны лезли друг на друга. Танк не получил никаких

повреждений. Тем временем Духов и Большаков вели беглый огонь по эшелону. Следовавшие позади составы были вынуждены остановиться. Танкисты расстреляли и их. Поручив десанту автоматчиков собрать сдававшихся в плен солдат и взять под охрану трофеи, танкисты помчались обратно и прибыли на помощь Бочковскому как раз вовремя...

Гитлеровцы, ошеломленные стремительным натиском танкистов, сдались в плен. Командир полка по приказу Бочковского выстроил солдат — их было восемьсот сорок семь — и сдал свои восемнадцать орудий, сто шестьдесят лошадей и много ручного оружия.

Но Коломыя все еще была в руках немцев, располагавших там, судя по всему, немалыми силами. А у Бочковского сил оставалось совсем немного. К тому же горючее и боеприпасы были на исходе.

День клонился к вечеру. Бочковский снесся по радио, через расставленные вдоль шоссе танки с радиостанциями, с комбригом: его отряд ушел так далеко, что прямую связь, как и предвидел Горелов, поддерживать не удавалось. Капитан условным кодом доложил об обстановке и попросил прислать, если можно, еще несколько танков взамен вышедших из строя. Он дал понять, что атаку на город намерен предпринять ночью. На подбитом, но сохранившем способность передвигаться танке Игнатьева капитан отправил в тыл раненых, в том числе и самого Игнатьева, состояние которого внушало тревогу: у него было перебито бедро.

Комбриг одобрил план Бочковского, и около полуночи старший лейтенант Демчук привел еще восемь танков и самоходных орудий из 1-го батальона бригады. Танки несли на броне бочки с горючим и ящики с боеприпасами. Теперь в отряде Бочковского было уже шестнадцать машин, и он воспрянул духом: с такой силой можно решить задачу наверняка.

В два часа ночи капитан созвал командиров машин в хатке у дороги с Цинявы на Пядыки и посвятил их в свой план: надо обойти Коломыю по станиславскому шоссе, вырваться к переправе через Прут, а затем уже ударом с тыла брать город. Духов, Катаев и Бондарь, чуть не испортившие все дело своей горячностью, были сконфужены и расстроены, и Бочковский, понимая это, не стал напоминать об их ошибке, стоившей жизни Шарлаю и тяжелого ранения Игнатьеву; тем более, что Духов и Бондарь только что отличились, перехватив гитлеровские эшелоны. (Пока капитан излагал свой план, фельдшер

Николаев делал ему перевязку: открытая рана на лопатке, съедаемой остеомиелитом, сильно давала о себе знать...)

В три часа ночи Бочковский двинул танки в обход Коломыи, оставив перед станцией одного Бондаря: ведя огонь и маневрируя, он создавал там видимость подготовки к атаке и отвлекал на себя внимание гитлеровцев. Первым на этот раз шел Катаев, за ним Духов и все остальные. Дорога была свободна, только на подступах к селению Флеберг выскочил откуда-то немецкий «тигр», но не успел он развернуть свою грозную пушку, как Катаев и Духов выстрелами в упор сразу же сшибли его, и отряд помчался дальше. Со станиславского шоссе танкисты свернули на дорогу, шедшую вдоль реки Прут, и уже в четыре часа утра свалились, как снег на голову, часовым, охранявшим переправу. Железнодорожный мост был взорван, но шоссейный еще стоял, хотя наверняка был заминирован,— его, видимо, берегли для связи оставшихся в Коломые войск со своим тылом.

Расстреляв часовых из пулемета, Катаев влетел на мост. Выглянув из машины, он увидел нечто такое, от чего у него похолодело в груди: немцы успели поджечь бикфордов шнур, и сейчас золотая искорка быстро бежала к мине, заложенной под мостом. Дело решали секунды. Катаев прямо с башни прыгнул через перила моста и в воздухе весом своего тела оборвал шнур. Мост был спасен. Когда к переправе подоспели наши саперы, они вытащили из-под моста четыреста килограммов тола...

Оставив танки Катаева и Духова у моста, Бочковский повернул остальные машины на Коломыю и с рассветом ворвался в город, ведя огонь из всех пушек и пулеметов. Сопротивление было сломлено быстро,— деморализованные внезапным ударом с тыла и отрезанные от переправы гитлеровцы бежали через юго-восточную окраину города, бросая оружие, и вплавь уходили за Прут, чтобы спастись в Карпатах. К половине девятого утра все было кончено.

Бочковский сиял от радости. Расставив на всякий случай танки в засадах в направлениях на Заболотув и Оттыня, он доложил по радио комбригу о том, что приказ командарма выполнен, и теперь разъезжал на своей боевой машине по городу, выступая уже в роли коменданта Коломыи. Отыскал где-то старшего механика электростанции, приказал ему дать ток и осветить город. На каком-то мелком заводике собрал рабочих, произнес перед ними речь, роздал им трофейные винтовки и организовал рабочую милицию по охране захваченных складов и

поддержании порядка... Вечером услышали по радио, как в Москве гремел салют в честь взятия Коломыи...

— Вот и все...— задумчиво сказал Владимир Бочковский, заканчивая свой рассказ.— Все участники рейда награждены. Шарлая представили к званию Героя посмертно. Игнатьев сейчас в госпитале, ему тоже «Золотая Звезда» дана. В общем, работу нашу оценили высоко.— Он провел ладонью по лицу и задумчиво добавил: — Рассказывать, конечно, легче, чем воевать. Наверно, после войны многие будут книги писать, доклады делать, мемуары сочинять, кое-кто и прихвастнет, конечно,— без этого не обойдется. Но я все же думаю, что для пользы дела где-то надо вести абсолютно беспристрастный и точный реестр событий. Ведь на этих событиях мы после войны учиться будем...— Бочковский улыбнулся.— Я вам, кажется, уже говорил, что после войны пойду в академию. Это уж точно, решено и подписано, только дожить бы до Берлина.

Капитан достает из сундучка большой синий альбом, который он возит с собой в танке. В нем аккуратно подклеены снимки, напоминающие о совсем недавнем и уже таком далеком детстве... Открытки с видами Крыма и Молдавии. Скромно одетые молодые люди — он и она,— это родители Бочковского; их лица сияют, они любят друг друга, жизнь после разрухи, вызванной гражданской войной, начинает налаживаться. А вот и сам будущий капитан — упитанный голенький младенец недоуменно таращит свои светлые глаза... Его братишка Толик... Сочи. Гостиница «Кавказская Ривьера»; здесь отец Бочковского работает кондитером. А вот снимок Николая Островского... Школьник Бочковский был у него с пионерской делегацией.

Еще снимки: Крым. Отец живет и работает в одном из санаториев Алупки, а дети, Володя и Толик, учатся тут же в десятилетке. Володя уже председатель учкома и страстный спортсмен: вот он на фотографии в трусах и полосатых чулках с футбольным мячом на согнутом локте. Не шутите, Владимир Бочковский играет в сборной команде Ялтинского района! Девушки в белых спортивных платьях на параде... И выпуск десятилетки — выпуск 1941 года,— веселый чубатый хлопец глядит прямо в аппарат, не подозревая о том, что идут последние часы мирной жизни. Он мечтает об отдыхе, потом об институте...

Владимир Бочковский стоит у автобусной остановки в Алупке, собираясь ехать в Мисхор. Вокруг отдыхающие, туристы. Смех, шутки... И вдруг из репродуктора:

— Говорит Москва... Говорит Москва... Работают все радиостанции Советского Союза...

И вот 22 июня. Война! И сразу пустеет дом Бочковских: братья уходят добровольцами на войну. Владимиру суждено стать танкистом, Анатолию — артиллеристом (сейчас и у него уже три ордена).

После ожесточенных мартовских боев командарм вызвал Бочковского и сказал ему:

— Вот что, Володя, поработал ты хорошо и честно заслужил свою «Золотую Звезду» и повышение по службе. Но я понимаю, что у тебя сейчас на душе все же кошки скребут. Мне говорили, что ты так и не получил ни одного письма из освобожденной Алупки. Так вот, врачи дают тебе месячный отпуск, чтобы долечить левую лопатку (мне говорили, что твой остеомиелит опять дает сильное нагноение). Поэтому властью, мне данной, предоставляю тебе полуторку и пять бочек бензина на дорогу — поезжай-ка ты в Крым. Там и свой остеомиелит подлечишь на солнышке, и, быть может, узнаешь что-нибудь о родных...

Бочковский стал по команде «смирно» и приготовился отчеканить слова благодарности, но что-то клещами сжало ему горло, и на глазах выступили предательские слезы. Командарм осторожно обнял его за здоровое плечо:

— Ладно, Володя, не надо... Поезжай...

Назавтра Бочковский укатил на юг. На всякий случай он заехал в Тирасполь — поискать знакомых по старым адресам и, к величайшему удивлению и радости своей, вдруг встретил там поседевшую мать, уже утратившую надежду найти когда-нибудь своих сыновей. Она, плача, рассказала Володе, как жестоко преследовали их оккупанты, зная, что они родители офицера. Отца угнали в Германию. Он прислал оттуда письмо: «Нахожусь в Дармштадте, северные лагеря, барак № 4. Работаю на черной работе». На этом связь оборвалась...

— Теперь вы понимаете, как важно мне дожить до Германии,— тихо сказал в заключение Бочковский.— Всю ее пройду насквозь, а отца разыщу и за потерянных друзей расплачусь... Отцу за пятьдесят... Доживет ли до встречи?

* *
*

И вот третья встреча со старыми друзьями-танкистами, уже за рубежом, в Польше. Завершив очередную успешную операцию, 1-я танковая армия — теперь уже гвардейская — принимает пополнения, расположившись в укромной лесистой местности южнее Львова.

Читаю в своей пожелтевшей фронтовой тетради:

«Шестое ноября 1944 года. Снова у Катукова. Смешанный осенний лес: красная, золотая, зеленая листва. В роще — белые грибы. Зеленая трава. Солнце. Все это непривычно видеть в ноябре. Под Москвой, наверное, уже лежат снега. Радостно щемит сердце: далеко, очень далеко отогнали фашистов. Еще один-два броска, и там Германия...

Виллы: «Лесная», «Мария», «Ганна» — у каждой свое название. Это курорт Лазенки, близ Немирова. Теперь здесь отдыхают танкисты, оставившие за собой Буг, Сан, форсировавшие Вислу, чтобы создать за ней плацдарм.

Радостно было вновь увидеться с Катуковым. Он все такой же, неизменный, вот только на его генеральском кителе прибавилась «Золотая Звезда» Героя, а орденов на нем теперь столько, что новых, кажется, и поместить некуда.

Слава не испортила этого человека: он все такой же — простой, охочий до крестьянской пищи, любитель собирать грибы и охотиться на зайцев, жадный до работы, какой-то двужильный, несмотря на свои хворости, разговаривать о которых терпеть не может, находчивый и остроумный военачальник, любимец солдат и гроза интендантов, пытливый, думающий человек...

Седьмое ноября. С утра сопровождаю Катукова в поездке по частям. Очень интересно наблюдать, как он разговаривает с офицерами и солдатами.

Лагеря — в лесах. Обширные блиндажи, обшитые тесом,— каждый на взвод. Дорожки, посыпанные песком. Парадные линейки. У каждого блиндажа — подобие клумбы: из аккуратно раскрошенного кирпича, угля, мела выложены изображения гвардейских знаков, орденов Славы, изречения Суворова, лозунги. Под навесами столовые...

Приезжаем в 1-ю гвардейскую танковую бригаду,—в битве под Москвой Катуков сам был ее командиром, там мы с ним и познакомились. Генерал сияет: он у себя дома. Тут мы и встречаемся снова с Владимиром Бочковским. Объятия, радостные восклицания, смех. Наш герой жив и здоров, воюет по-прежнему отлично,— в такой бригаде нельзя иначе. Мы делимся воспоминаниями о том, что произошло за год,— военную науку наша армия постигла отлично, и рассказать есть о чем...

Восьмое ноября. Уже рабочий день: учения. С утра вдруг — снег. Мокро. Надев плащ-палатки, едем к городку Яворув — там в приближенных к боевым условиях проводится переправа через водную преграду. Высокий сосновый бор. Рядом

озерко, покрытое грязно-зеленой ряской. Саперы сладили под водой штурмовой мостик — бежать по нему надо по колено в воде. Вроде бы неудобно, зато мостик не виден противнику, его трудно обнаружить и разбить.

Часть солдат переправляется на подручных плотах, сделанных из досок и соломы. Тут же — надувные резиновые лодки. Некоторые бойцы в специальных костюмах — вокруг талии у них нечто вроде большого спасательного круга,— так легче переплывать реку.

Учениями руководит командир бригады полковник Бабаджанян, энергичный, опытный офицер. Каждая деталь операции отрабатывается тщательно, с многократными повторами. Ракеты. Солдаты, вырываясь из соснового бора, мчатся к воде. Переправа осуществляется в максимальном темпе: сэкономишь минуту,— быть может, спасешь этим сотни жизней. Лодки, плоты снуют от берега к берегу. С грохотом рвутся взрывные пакеты, имитирующие снаряды, мины, бомбы. Вспыхивают дымовые шашки,— это маскировка переправы.

Катуков внимательно наблюдает за ходом переправы, следя за минутной стрелкой часов. Здесь же офицеры ряда частей, среди них я вижу и Бочковского: учение опытно-показательное. Люди вымокли, устали, но никто не ропщет: уже давно поняли глубокий смысл суворовской фразы: «Тяжело в ученье — легко в бою»...

Девятое ноября. Наблюдаем учебные стрельбы в тяжелом самоходно-артиллерийском краснознаменном проскуровском полку, которым командует подполковник Дмитрий Борисович Кобрин; орденом Красного Знамени полк награжден недавно за образцовое выполнение заданий в боях при форсировании Вислы.

Оказывается, у этой воинской части поистине захватывающая история. Она ведет свое летоисчисление от формирования в Петрограде в 1917 году 1-го летучего броневого красногвардейского отряда, на базе которого 23 октября 1918 года был создан, как самостоятельная боевая единица, 2-й автоброневой дивизион. Вплоть до 1934 года в части хранился знаменитый двухбашенный броневик БА-27, с которого выступал Ленин,— потом его сдали в музей,— за ним ухаживали в гараже служившие тогда курсантами Потькало и Меняйло — сейчас они оба капитаны.

Учебные стрельбы проходят образцово — мощные самоходные орудия поражают цели с первого выстрела на предельных дистанциях,— мишени разлетаются вдребезги.

— Вот так и пойдем до Берлина,— удовлетворенно говорит внимательно наблюдающему за стрельбами капитану Бочковскому подполковник Кобрин, голубоглазый, русый богатырь, поглаживая свои усы...

И еще одно событие запомнилось мне в те дни: торжественный вечер офицеров 1-й гвардейской, посвященный Октябрьской годовщине.

В тот вечер в густом багряно-золотом лесу царила торжественная тишина. По широкой просеке, устланной мягким ковром желтых листьев, прогуливались празднично одетые танкисты, и косые солнечные лучи играли на их орденах. Уже четыре тысячи километров отмерили они гусеницами своих машин, колеся по фронтам, и четвертый раз встречали праздник на фронте — на этот раз далеко от родных краев, близ берегов широкой Вислы.

Потом началось собрание, докладчик стал говорить о пройденном пути и о том, какой путь остается пройти до Берлина, и мне вдруг вспомнилось, как ровно три года назад в небольшом подмосковном селе в тесной избе с бумажными розами и любительскими фотографиями на стене, в такой самый вечер полковник Катуков, командовавший 4-й танковой бригадой, проводил накоротке праздничную встречу со своими офицерами.

Тогда из бригады можно было за полтора часа доехать до Красной площади.

И полковник Катуков, человек спокойный, выдержанный, умеющий держать свои нервы в кулаке и шутить даже тогда, когда положение становилось критическим, снова и снова поглядывал на карту и в сотый раз проверял себя: удалось ли ему расставить свои немногочисленные танки так, чтобы каждый из них в бою сработал за целый батальон...

Да, с тех пор прошло всего три года, и 7 ноября 1944 года танкисты встречали в совершенно иной обстановке. Их бригада за эти годы выросла в корпус, а корпус — в армию, и армия эта располагает теперь такой техникой и такими людьми, что никакие силы и никакие рубежи их теперь остановить не смогут...

А докладчик говорил и говорил, рассказывая о том, какие огромные задачи встанут перед армией в эту зиму, которой, судя по всему, суждено стать последней военной зимой. И конечно же танкистам суждено снова быть впереди всех, прокладывая путь пехоте, и так — до самого Берлина, а в Берлине — до самого рейхстага.

— Мы их доколотим, товарищи,— сказал, улыбаясь, докладчик.

И тут я увидел, как сидевший в переднем ряду Владимир Бочковский вскочил, сорвавшись с места, и, бурно захлопав в ладоши, закричал:

— Доколотим! Обязательно доколотим!

Таким я его и запомнил в тот вечер — молодым, раскрасневшимся, веселым, бурно аплодирующим.

Обстоятельства сложились так, что мне не пришлось больше побывать в 1-й гвардейской танковой, и с Владимиром Бочковским мы встретились только спустя много лет, в Москве.

* *
*

И вот мы сидим у меня дома, в Москве, и сорокалетний генерал-майор танковых войск Владимир Александрович Бочковский рассказывает о том, что же было дальше. Его уже не назовешь Володей, хотя глаза его все те же — молодые, иной раз даже чуточку озорные, и вихор на затылке все такой же — непокорный.

Генерал Бочковский много думает о современных проблемах стратегии и тактики, о роли танковых войск в условиях войны. Живо интересуется новинками военной литературы, иностранным опытом боевой подготовки. Он принадлежит к тому поколению военачальников, которое вынесло на своих плечах всю тяжесть чернового, будничного ратного труда во второй мировой войне, начав свою военную карьеру с самой первой ступеньки; вот так же, с самой первой ступеньки — рядовыми красноармейцами,— начали свой путь на гражданской войне военачальники того поколения, к которому принадлежит Катуков, ныне маршал бронетанковых войск и дважды Герой Советского Союза.

Эта общность пути и сблизила оба поколения. Бочковский справедливо считает себя учеником Катукова, и самая заветная его мечта — когда-нибудь стать командиром того самого воинского соединения, которое Катуков довел-таки до рейхстага. А почему бы и не осуществиться этой мечте? Ведь Владимир Бочковский сейчас уже окончил Академию генерального штаба...

— А помните Виктора Федорова,— вдруг говорит генерал,— ну, того самого, что спас меня на Брянском фронте? Представьте себе, судьба опять нас свела, да еще где — в Польше! Послали меня принимать пополнение — маршевые танковые

роты. Тогда еще забавная история получилась, попал я впросак из-за очередной хитрости Михаила Ефимовича Катукова... Приехал на станцию, а танков нет. Стоят только эшелоны с сеном. Я рассердился, кричу на начальника станции: «Что же вы неправильную информацию даете? Где танки? Когда их доставят?» А он улыбается: «Это же и есть танки!» Оказывается, по указанию Катукова эшелоны были замаскированы сеном. А танкисты сидели в теплушках, и им было строго запрещено выходить, чтобы не демаскировать себя. Ну, даю команду: «Построиться!» Ребята с удовольствием выскакивают из вагонов. И вот, кого же я вижу? Виктор Федоров! Оказывается, он уже лейтенант; был ранен, вылечился, кончил офицерскую школу и вот теперь прибыл опять воевать. Так он оказался в моем батальоне. Кстати, Катуков, которому я тут же рассказал его историю, наградил Виктора орденом Красного Знамени.

Бочковский умолкает, на лицо его вдруг ложится тень:

— Хорошо воевал Виктор, по-гвардейски. И всего лишь несколько дней не дожил до победы: погиб в Берлине, почти у самого рейхстага. Вы знаете, что случилось с ним под Франкфуртом-на-Одере?

Нет, я не знал, что было с Виктором Федоровым под Франкфуртом-на-Одере, и Бочковский рассказал мне эту удивительную историю во всех деталях.

Дело было в феврале 1945 года. Бочковский, как обычно, шел впереди танковых войск Катукова, в головном отряде,— под командованием его был все тот же неизменный 2-й батальон 1-й гвардейской танковой бригады, а с ним три батареи самоходных артиллерийских установок 400-го самоходного полка, две роты автоматчиков и зенитная батарея,— техники теперь хватало!

Отряд Бочковского взял с ходу Куннерсдорф, имя которого много раз встречал в книгах: ведь это здесь Суворов когда-то разбил наголову немцев, после чего ему были вручены ключи Берлина. Теперь это селение как селение, и все же необыкновенно радостно было войти сюда по стопам Суворова. Из Куннерсдорфа — прямо к Франкфурту-на-Одере. Пока что все идет гладко, гитлеровцы деморализованы глубоким рейдом советских танков. И вдруг с окраины города — сильный огонь...

Комбат послал разведку. Пленные сказали: во Франкфурте укрепились две юнкерские школы из Берлина. Туда подошло очень много танков. Говорят, что сейчас перед юнкерами выступает сам Гитлер — уговаривает их стоять до последнего. Эх, силенок бы побольше, трахнуть бы по Гитлеру!.. Но ближайшие

советские части в ста километрах позади. Сунешься без подкреплений в это осиное гнездо — можешь потерять все...

Смиряя себя — уж очень хотелось ворваться в город! — Бочковский отвел свой отряд на юг, перебрался, не встречая сопротивления, через Одер по нетронутому мосту. Прочел на дорожном указателе надпись: «Берлин — 67 километров»... Бочковский еще раз усилием воли подавил в себе желание устремиться дальше вперед, по такому отличному пути: ведь желанная цель так близка!

Но чутье бывалого танкиста подсказывало, что вот-вот обстановка изменится: не зря сюда гитлеровцы перебрасывают свои танковые части. И Бочковский отдал приказ отойти к деревеньке на опушке леса, в трех километрах от Франкфурта-на-Одере, удобной для обороны, и занять там боевые позиции, ожидая подхода наших войск.

Это было единственно правильным решением: едва успел отряд Бочковского занять позиции, как на него сразу обрушились пятьдесят танков и закипел жестокий бой, продолжавшийся без передышки полтора суток. Положение осложнилось тем, что 1-я гвардейская танковая армия получила приказ идти на север, к Балтийскому морю, чтобы отсечь своим стальным клином путь к отступлению немецким армиям, оставшимся восточнее. Командир корпуса Дремов передал Бочковскому по радио приказ: пробиваться на соединение со своей бригадой.

Но Бочковский в этот момент был уже зажат в кольцо — с востока его атаковали немецкие части, пробивавшиеся на соединение со своими войсками, с запада, с севера и с юга наступали части, оборонявшие рубежи Одера. Наиболее сильный натиск Бочковский испытывал с востока: противник предвидел, что он попытается пробиться к своим.

Подумав, капитан принял неожиданное и смелое решение: атаковать Франкфурт — немцы этого никак не ждут! — и, воспользовавшись неизбежным замешательством, проскочить по его окраине вдоль берега Одера на север, а где-то там, впереди, уже наши...

Так и сделали. Внезапный, молниеносный удар сделал свое дело, и отряд Бочковского с грохотом и треском промчался по намеченному пути, не понеся никаких потерь.

Но вот Виктору Федорову решительно не повезло: его танк застрял в воронке на «ничьей» земле — метрах в двухстах от немцев и в трехстах от своих окопов! Танкисты, придя на выручку другу, пытались вытащить его машину на буксире: ее цепляли тросами к двум, трем, наконец, к пяти танкам, но сдви-

нуть с места так и не смогли. А пришедшие в себя немцы усилили обстрел. Что делать?

— Лейтенант Федоров! — скомандовал, волнуясь, по радио Бочковский.— Разрешаю вам оставить машину и отойти в расположение нашей пехоты.

В ответ послышался глуховатый, но упрямый голос:

— Разрешите остаться в машине. Будем продолжать вести бой, оставаясь на месте и поддерживая связь с нашей пехотой...

Бочковский поколебался мгновение, потом подумал: сам на его месте поступил бы точно так же. И сказал:

— Разрешаю. Оставим тебе свои боеприпасы и продовольственный запас...

Так на «ничьей» земле неожиданно образовалась долговременная огневая точка, расстреливавшая фашистов в упор. Когда у Федорова вышли все снаряды, он начал посылать по ночам членов своего экипажа ползком к зенитчикам за восьмидесятипятимиллиметровыми снарядами: они подходили к пушке его танка. И грозная машина снова оживала и била по гитлеровцам.

Так прошло около месяца. Танкисты Катукова все время участвовали в жестоких боях, но о своих друзьях, оставшихся на «ничьей» земле, не забывали. Как это ни может показаться парадоксальным, Федоров ухитрился даже переслать письмо в батальон через полевую почту пехотинцев: «Живы, воюем, вот только со снарядами и с едой туговато».

Узнав об этой истории, Катуков приказал своей технической службе любой ценой выручить танк лейтенанта Федорова. В тот район была послана настоящая инженерная экспедиция. Установив (по ночам) сложную систему тросов, блоков и полиспастов, протянувшуюся на добрые полкилометра, инженеры вытащили-таки федоровскую машину. Счастливые танкисты своим ходом пришли в бригаду. Федоров получил тогда еще один орден Красного Знамени.

— Замечательный был танкист,— повторяет Владимир Бочковский.— Был бы теперь большим командиром. Дорого, очень дорого обошлась нам Берлинская операция...

Да, 1-я гвардейская танковая бригада, которая наносила лобовой удар, начиная от знаменитых Зееловских высот и до самого центра Берлина, в эти заключительные дни великого наступления принесла поистине тягчайшие жертвы.

Там, в Западном Берлине, у самого рейхстага, за Бранденбургскими воротами, где высится величественный памятник героям Берлина, лежат в сырой земле лучшие люди бригады:

похоронен там комбриг Темник, проведший свою часть от Львова до Берлина; командир 1-го батальона Володя Жуков, прошедший в рядах бригады дальний-дальний путь — от Москвы до рейхстага; ветеран бригады майор Винников, который был заместителем у Бочковского по политической части; лихой танкист Федоров и другие герои 1-й танковой...

Ну, а как же сложилась судьба самого Бочковского в дни Берлинской операции? Он опять — уже в который раз! — оказался на волоске от смерти и спасен был только чудом. Случилось это на тех же самых, трижды проклятых, Зееловских высотах, где остались лежать навечно многие ветераны наших полков и дивизий, штурмовавших Берлин.

Было это 16 апреля 1945 года. Бочковский навеки запомнил эту дату. Танки вводились в бой на очень невыгодном рубеже: они шли по открытому полю, а сверху, с Зееловских высот, их поливали смертоносным огнем самоходные пушки, артиллерия, авиация забрасывала бомбами. Уже загорелись десятки наших танков. Но натиск советских войск усиливается: рубеж, прикрывавший доступ в Берлин, должен быть взят любой ценой. Бочковскому дан приказ: нанести фланговый удар, чтобы облегчить положение батальонов, атакующих Зееловские высоты в лоб.

Маневр осуществлен удачно. Бочковский на минутку выскакивает из танка, остановившись у какого-то дерева, чтобы оглядеть местность. И надо же! Именно в эту минуту какой-то шальной снаряд ударяет в дерево, и в то же мгновение Бочковский, падая, ощущает резкий удар в живот. Кровь бьет струей. В рану попала земля. Нужна немедленная помощь, да и то вряд ли спасут... А тут обстрел усиливается. Двое танкистов, подбежавших к командиру, тащат его за руки под танк, двое других, в сумятице, ухватив за ноги, тянут в противоположную сторону, к свежей воронке. Бочковский теряет сознание. Последняя мысль: «Сейчас разорвут пополам, черти!..» А своих машин рядом нет: они ушли вперед...

Как же спасли его? Как он выжил? Генерал Бочковский, охваченный этими драматическими воспоминаниями, тихо говорит:

— Володя Зенкин, тринадцатилетний хлопчик, воспитанник нашего батальона,— вот кому я обязан тем, что меня не похоронили рядом с Володей Жуковым тогда у рейхстага...

Володя Зенкин давно уже прижился в батальоне. Родом он был из города Орджоникидзе, что на Северном Кавказе. Отец ушел на войну, и след его затерялся, мать с Володей эвакуиро-

валась на Урал и там умерла. Оставшийся сиротой Володя прибился к танкистам, приехавшим за новыми машинами, да так и укатил с ними на фронт. Бочковскому очень полюбился этот смелый паренек, и он решил после войны усыновить его, хотя разница в годах у них была не так уж велика.

И вот в те страшные минуты Володя Зенкин, как обычно, оказался рядом с капитаном, которого буквально боготворил.

— Нет, нет! Он не умрет,— отчаянным голосом крикнул Володя и, вскочив, помчался зигзагами под яростным огнем вдаль, откуда доносился трубный голос танков.

До сих пор невозможно понять, какими судьбами Володя уцелел, но это факт: он нашел танк и привел его к размочаленному снарядом дереву, под которым лежал залитый кровью капитан. На танке его доставили на командный пункт 1-й гвардейской танковой бригады, а туда командарм Катуков прислал за ним самолет, и его эвакуировали сразу в тыловой госпиталь.

— Ну, а потом, что ж,— задумчиво говорит генерал,— лечение, как обычно. На мое счастье, гангрены не было, и в августе сорок пятого, уже после войны, я вернулся в батальон, который теперь пребывал на мирном положении. Многие уже демобилизовались, но я ведь с самого начала решил, что военная служба будет моей профессией...

— А Володя Зенкин?

— Я не успел его усыновить: он уехал с нашим старшиной, который демобилизовался. Старшина был родом из Орджоникидзе, и мальчика потянуло с ним вместе на родину. И что же вы думаете? Дальше случилось то, что бывает только в кино или в романах со счастливым концом. Пошли они однажды вдвоем на базар и вдруг встретили отца парнишки. Он только что вернулся, живой и невредимый, с войны и никак не мог разыскать своих близких...

— А ваш отец, Владимир Александрович? Так и не удалось вам отыскать его следы в Германии?

— В Германии я его не нашел, но, представьте себе, мы встретились с ним сразу же после войны, как только я вышел из госпиталя и отправился в Тирасполь повидаться с мамой, которая жила там, у наших родных. Оказывается, отец выжил в немецком плену, и, как только его освободили наши, он вернулся на родину и разыскал семью.

Я провожаю генерала. Мы идем по Москве в летний ночной час, когда движение стихает, охладевший воздух становится гуще и по улицам разносится сильный медвяный запах цвету-

щих молодых лип. Где-то звенит гитара, поют чистые молодые голоса — о тихих подмосковных вечерах. Слышится смех, кто-то пускается в пляс.

И я думаю о том, что этих людей, вот так, попросту, без затей радующихся жизни, этому теплому летнему вечеру, этим мигающим в небе звездам, не было, вероятно, на свете, когда школьник Володя Бочковский и его сверстники, едва успевшие потанцевать на последнем школьном балу, уже надевали военную форму, чтобы начать свой невероятно трудный и долгий фронтовой путь.

Так же, как поколение 1917 года, свершившее революцию, прошедшее по всем фронтам гражданской войны, преодолевшее разруху, голод и холод, пожертвовало своей молодостью ради будущих поколений, так поколение сороковых годов, не успев вдоволь потанцевать, погулять, попутешествовать, полюбоваться жизнью, отдало себя целиком, без тени колебаний самой страшной из войн, какие в то время можно было вообразить,— чтобы вот этим, нынешним, было хорошо.

Так свершается круговорот жизни. И давно ли Володя Бочковский досадливо морщился, когда старики говорили: «Ну что эти молодые, нешто на них можно положиться? Вот, помнится мне, под Касторной в девятнадцатом...» — а теперь и он сам вроде бы принадлежит уже к старшему поколению и иной раз ловит себя на том, что ему вдруг хочется сказать: «Ну что эти молодые, разве на них можно положиться? Вот, помнится мне, в сорок четвертом...» А потом вдруг выясняется, что и «эти молодые» способны сотворить такие необыкновенные дела на нашей старушке земле и в ее космических окрестностях, что только крякнешь от неожиданности!

— Понемножку стареть как будто начинаем,— вдруг говорит, улыбаясь, генерал, словно разгадывая мои мысли.— А между прочим, это нам ни к чему. В самую хорошую, по-моему, пору вступаем!.. Ох и наворочает же великих дел нынешняя молодежь, пока мы своими танками и прочими такими невеселыми штуками обеспечим ей, так сказать, мирный уют и спокойствие. Ради этого стоило избрать пожизненно военную профессию, не так ли?

Стоило! Очень даже стоило, Владимир Александрович.

ПОД СТЕНАМИ РЕЙХСТАГА

Немногие знают, что, когда в рейхстаг ворвались наши бойцы и знамя Победы появилось на его крыше и мир уже был оповещен об этом, бои за рейхстаг шли еще два дня и две ночи.

Укрывшиеся в подвалах гитлеровцы подожгли здание. Рейхстаг горел. Он горел так, как горит всякий дом, а гореть в рейхстаге было чему: горела мебель, краска стен, вспучивался и полыхал паркет. Дым, а потом пламя вырвались из окон, из пробоин.

Тем, кто находился рядом, на Кёнигплац, казалось, что наши бойцы в рейхстаге сгорели. Но нет! Они не сгорели, они сражались в горящем рейхстаге, а когда огонь стал утихать, снова заблокировали выходы из подвалов... Немцы не смогли добиться своего.

И знамя Победы развевалось над куполом.

Было это на тысяча четыреста десятый день войны.

О некоторых участниках боя и командирах нашей 150-й Идрицкой Берлинской стрелковой дивизии я рассказываю в моих коротких новеллах. Только о тех, которых я знал сам и с которыми встречался в те дни.

ЧЕРЕЗ КЁНИГПЛАЦ

— Подъезд. Подъезд. Подъезд,— настойчиво повторяла телефонистка.

Ответа не было.

Десять человек, отправившихся в этот день на линию, не вернулись... Одни гибли, не дойдя до места повреждения, другие — на обратном пути...

Но телефон опять стал действовать.

— Подъезд слушает.

Неустроев схватил трубку. Командовавший штурмовой ротой Илья Сьянов докладывал комбату: противник скапливается для атаки со стороны Бранденбургских ворот — и просил дать огня по шоссе.

Над головами снова послышалось знакомое всем сипенпе, и впереди где-то тяжелые мины стали долбить мостовые...

В течепие этого длинного дня — одного пз самых напряженных за всю войну — па площади перед рейхстагом шел бой. Людп лежали вблизи подъезда рейхстага и пробовали подняться в атаку, но безуспешно. Огневые точки еще жили. Местамп их было по две на одно окно. И бронеколпаки на углах. И самоходные орудия, прячущиеся в глубпне парка...

Через площадь на небольшом пространстве, где теперь было сосредоточено столько огня, тянулся малопрпметный красный провод — нить, связавшая бойцов, лежавших перед рейхстагом, с командным и наблюдательными пунктами, с теми, кто управлял огнем батарей... Всякий раз при новом артналете осколки разрывалп этот тонкий проводок. Но чья-то невидимая рука, там, на плаце, отделявшем командный пункт от рейхстага, опять сращивала провод, и связь начинала действовать.

Когда телефон после перерыва вновь заработал, Сьянов сообщил: правее рейхстага появились танки...

Наши батареи открыли огонь, два танка были подбиты. (Они и после стояли у рейхстага и попали на снпмкп.) Остальные танки укрылись за углом...

Когда мы занялп зданпе п большая часть оборонявших рейхстаг немцев была загнана в подвалы, в боевых действиях наступила пауза. На КП батальона, который уже успели перенестп из подвала на берегу Шпрее в небольшую комнату в самом рейхстаге, пришел боец.

У него былп красные глаза п рваная гимнастерка...

Вера Абрамова, телефонистка батальона, увпдев его, очень удивилась. В те тяжелые часы линейный Мельников Алексей в числе других ушел на линпю.

Командир батальона видел, как он молча, стараясь не попасться начальству на глаза, прошел в угол, где стояли телефонные аппараты, и, опустившись на колени, стал крутить ручки...

— Подъезд?.. (Позывные еще не успели сменить.) Проверка.

Ясно было, что рассказывать Мельников ни о чем не соби-

рался. О том, как он подолгу укрывался в воронках. Как на этом бесконечном, изрытом снарядами плаце ему трудно было найти разорванный провод. Как, спрятав голову за булыжник, сращивал он порывы... Обо всем этом дне.

Труднее всего было перебраться через канал. Над ним лежал рельс. Все, что оставалось от взорванного моста. Ползти мешал висевший на боку аппарат. Телефонист садился верхом на рельс и продвигался, опираясь на руки. Двигался медленно, чтобы не свалиться в воду. Подключившись к линии, он опять слушал, есть ли связь, потом покидал укрытие и опять «лез по проводу».

Глаза у него были красные. Он не спал много суток.

Неустроев отложил трубку и обернулся к нему:

— Ты исправлял линию?

— Я.

ЗАБЫТЫЙ СОЛДАТ

Среди имен людей — бойцов и офицеров, бравших рейхстаг,— забыто имя Пятницкого. Петра Пятницкого.

Между тем именно он первым выпрыгнул утром из окна «дома Гиммлера», когда начался штурм. Потом, у канала, под огнем, когда роты надолго залегли, встал солдат с красным полотнищем — только здесь он его развернул — и увлек за собой своих товарищей. Это был Петр Пятницкий.

Вскоре из дома увидели: наши солдаты показались у подъезда, взбежали на ступени, и опять вспыхнуло знамя, а потом человек со знаменем упал.

Это был он, Пятницкий.

Знамя его поставили на рейхстаге рядом с другими знаменами, а его... разные бывают судьбы, у него особая судьба.

Когда под вечер, после артиллерийской подготовки, атака была возобновлена и бойцы его батальона подбежали к рейхстагу, Пятницкий лежал перед подъездом с флагом в руках... И чтобы его не затоптали, его отнесли и положили у колонны... А потом о нем забыли. А когда хватились — его уже похоронили где-то в братской общей могиле. Вероятно, в Тиргартене.

Петр Пятницкий — рядовой. Впрочем, насколько помнит это теперь его командир, комбат Неустроев, за два-три дня до броска к рейхстагу ему присвоили младшего сержанта. Он был связным у комбата.

Мы тогда написали о нем в дивизионной газете, но дальше «дивизионки» это не пошло. А после имя его уже реже стало называться.

Он погиб и ничего этого не знает... Но живут в Брянской области, в деревне, его жена, вдова Евдокия Пятницкая, и его теперь уже взрослый сын, и, как узнал я недавно, они считают своего отца пропавшим без вести...

Он пришел к нам в дивизию незадолго до наступления на Висле... Это Пятницкий, когда выходила шнайдемюльская группировка и немцы отчаянно двигались по дороге вслед за танками с автоматами, прижатыми у бедра,— это он ночью поставил пулемет на перекрестке и расстроил их плотную колонну... Об этом и о том, как поднимал он бойцов, залегших перед каналом на Кёнигплаце, можно было бы рассказать подробно. Но я пишу только о том, как он бежал по площади и как погиб, чтобы знали, кто был этот солдат, упавший с флагом перед подъездом рейхстага...

Не будем забывать мертвых. Они делят славу с живыми.

С ФЛАГОМ

Знамя Победы на куполе рейхстага водружено Егоровым и Кантарией.

Но и другие были флажки и знамена. И я хочу, хотя я тогда же написал об этом, рассказать еще о двух смельчаках — уже не из батальона Неустроева, где действовали разведчики Кантария и Егоров, а из батальона Василия Давыдова,— о флаге их, который они несли и который укрепили на рейхстаге.

Они остались вдвоем, огонь отсек остальных. Прикрытые невысоким берегом канала, они заползли под мост. До рейхстага было недалеко, отсюда им видны были массивные колонны и ступени парадного входа, но ближе не подступиться. Завернутое в темную бумагу (сорвали светомаскировку с окна) красное знамя было спрятано под фуфайкой на груди Кошкарбаева. Головы нельзя было поднять. Немцы били с верхних этажей рейхстага, расстреливали наших солдат, укрывавшихся в ровиках и за глыбами вывернутого асфальта. Снаряды рвали камни площади, пули чертили булыжник. За спиной горели дома. Маленький Гриша Булатов, немного испуганный, совсем еще мальчик,— гимнастерка сидела на нем мешковато и была

чуть длинна, пилоточка тоже была ему велика — вертелся где-то под мышкой Рахимжана Кошкарбаева.

— Что будем делать? — спрашивал Булатов, доверчиво заглядывая ему в глаза.

Рахимжан Кошкарбаев — лейтенант, командир взвода. Булатов — солдат его взвода. Кошкарбаев — казах, Булатов — русский, вятич.

И Кошкарбаев сказал:

— Знаешь, если нам удастся, поставим наше знамя хотя бы на ступеньке у рейхстага.

Они говорили «знамя», хотя у них в руках был просто «штурмовой» флаг, который, как и флаг, водруженный Кантарией — Егоровым, был пока простым полотнищем, куском плотной грубоватой материи.

Они решили подписать полотнище. Смоченным химическим карандашом вывели наспех свои имена, а ниже — «674». Номер своего полка и подразделения.

Ближе к вечеру, когда стало темнеть и удалось организовать новую атаку, к выдвинувшейся вперед группе Сьянова присоединились роты двух других батальонов. (Первая атака, возглавленная Пятницким, как говорилось уже, не была успешной, и группа эта погибла.) Кошкарбаев с Булатовым выскочили из своего укрытия и кинулись к подъезду. Вот стена и слепые, заложенные кирпичами окна. Тут, у подъезда, к ним присоединились другие...

Булатов и Кошкарбаев прикрепили свой флаг сначала к средней колонне, а когда была очищена левая часть здания, они высунули свой флаг из окна второго этажа.

...Знамя их потом поставили на крыше, но оно стояло не над куполом, как знамя, водруженное Егоровым и Кантарией, а над карнизом, возле одной из башен.

«ПОЛКОВНИК» БЕРЕСТ

Из глубины подвала вдруг выкинули белый флаг. На лестнице, на нижней площадке, появился офицер. Шинель распахнута, в руке парабеллум. Он заявил, что немецкое командование готово начать переговоры. Но — с офицером в высоком ранге.

На лестницу к немцам отправился Берест...

Берест — замполит командира батальона. Лейтенант. Да и в этом звании он лишь несколько дней: приказ пришел, когда

мы вступали в Берлин. Только вчера Берест был младшим, но уже несколько месяцев работал заместителем у Неустроева... Вот только не знаю, как они «срабатывались», очень уж это были разные, крепкие и твердые характеры.

Алексею Бересту было двадцать лет... Всего двадцать! Совсем недавно он ходил в комсомольцах.

Он и спустился туда.

Сам собой пал на него выбор. Скорее всего, это Берест и сказал, что пойдет он.

Солдат полил ему из фляги, и он смыл копоть с лица. Всегда он выглядел подчеркнуто аккуратным. Даже после этих двух ночей белела у него полоска подворотничка... Вчера на площади он лежал в одной воронке с бойцами. Потом с двумя разведчиками, Кантарией и Егоровым, он «устанавливал знамя»... Теперь вот уже сутки он был здесь, вместе со всеми.

Поверх гимнастерки Берест надел чью-то чужую кожаную длинную куртку. Капитан Матвеев, политотделец, отдал свою фуражку — новую, с малиновым околышем.

Неустроев тоже пошел. Но не стал ничего надевать, а даже телогрейку с себя сбросил, чтобы ордена были видны. У Береста наград было не густо, а у Неустроева много... Так солиднее!

Третьим они взяли с собой солдата из недавно освобожденных на Одере военнопленных. Он знал по-немецки.

Внизу их уже ждали. Здесь было светло. Горели факелы! Сразу их окружили немецкие солдаты. Парабеллумы в руках. На касках маскировочные сетки.

К Бересту и его спутникам подходил немец. Берест вгляделся: оберст! Полковник. С ним были двое моряков. Курсанты. И переводчица — женщина в желтой куртке. Солдаты-немцы расступились, дав им дорогу.

Полковник протянул было руку. Но Берест поднес руку к фуражке и сказал:

— Полковник Берест.

И так, в черной своей кожанке, приподняв голову, он стоял, высокий, молодой... Заместитель командира — комиссар! Видный, широкоплечий. Уверенный в себе. Кто-то из немцев сказал: «Молодой, а уже полковник!»

На Неустроева они почти не смотрели. Он стоял незаметно. Только ордена у него блестели. И немцы поглядывали на его грудь. (Рядом с Берестом низкорослый Неустроев казался еще меньше.) Когда Берест к нему обращался, комбат старательно щелкал каблуками...

— Я предлагаю вам сдаться! — сказал Берест немцам.— Вы находитесь в подвалах. Положение ваше безвыходное...

Но ему на это ответили:

— Еще неизвестно, кто у кого в плену... Вас здесь триста человек. Когда вы атаковывали, мы подсчитали... Нас — в десять раз больше.

— Сложите оружие,— сказал Берест.— Мы вас отсюда не выпустим...— И взглянул на часы, показав, что он на этом желает закончить разговор.

Представитель немцев опять стал доказывать Бересту, что это он, Берест, у них, у немцев, в клещах... И неожиданно потребовал, чтобы им дали возможность уйти в район Бранденбургских ворот...

Берест с трудом себя сдерживал. Он был молод — ему было только двадцать. И он забыл, что он дипломат!

— Зачем мы пришли в Берлин,— сказал он,— чтобы вас, гадов, выпустить?.. Если вы не сдадитесь, мы вас переколотим!..

Немецкий оберст запротестовал:

— Господин полковник! Так не полагается разговаривать с парламентерами!

Берест его не слушал...

Моряки молчали, переводчица в желтой куртке нервничала.

Полковник-немец заговорил вдруг по-русски, и даже сносно.

— Нам известно наше положение, и мы хотим сдаться... Но ваши солдаты возбуждены... Вы должны их вывести и... выстроить. Иначе мы не выйдем!

— Нет! — ответил Берест ему.— Не для того я сюда пришел со своим полком (он так и сказал — полком), чтобы выстраивать перед вами своих солдат... Даже если вас две тысячи, а нас двести человек!..

— Что ж,— сказал немец,— я доложу, что вы предлагаете нам проходить через ваши боевые порядки.

Задерживаться дольше не имело смысла. Берест козырнул. Неустроев тоже.

Немцы, остававшиеся в подземельях рейхстага, сдались лишь ночью, той же ночью. К утру.

Переговоры об их сдаче с ними вел уже старший сержант Сьянов.

ЩЕРБИНА

На любительском, старом, сохранившемся у меня снимке снята группа людей, вышедших из боя.

Они стоят на ступеньках рейхстага, в котором еще все горит.

Я думаю, что у меня это один из самых памятных снимков войны.

Тут и офицеры, и солдаты. На всех одинаково прокопченное и одинаково грязное обмундирование — кто солдат из них, кто офицер — не разберешь.

Впереди всех — боец с белой перебинтованной головой. Он стоит на ступеньку ниже, в обмотках, с автоматом в руках. В гимнастерке с длинными, подвернутыми рукавами. Повязка свежая, чистая. Белый бинт горит на солнце.

Кто он, этот солдат?

Я расскажу о нем немного, так как сам немного знаю. Лишь однажды беседовал с ним — там же, в рейхстаге, на другой день... Раньше, до того как был взят рейхстаг, я с ним не встречался.

Увидев его на этом снимке, я сразу вспомнил его имя — Петр Щербина.

Когда я его разыскал там, в рейхстаге, корреспонденты настолько успели ему надоесть, что он готов был от них прятаться. И не удивительно: после недели непрерывных боев он еще не спал... Но все же мы присели на площади, там же, напротив главного входа. Возле афишной разбитой тумбы. И вот моя запись беседы с ним. Вернее, его рассказ.

Щербина Петр Дорофеевич, 1926 года рождения. Его домашний адрес тогда был такой: Запорожская область, село Скелька... В Берлине, уже на Шпрее, ранен был в голову. Но в санчасть уходить отказался и остался в батальоне.

О событиях этих последних дней и о последнем бое говорит так:

«Из «дома Гиммлера», из окон, мы выскакивали один за другим. Первым — Пятницкий. Когда бежали через мост, уже стемнело. Когда мы под огнем преодолевали площадь, со мной рядом бежал Руднев и Новиков. И Прохожий. Огонь был очень сильный, я за всю войну не видел такого огня. Достигнув парадного входа, мы по лестнице кинулись наверх.

Овладели большой комнатой. По нас стреляли из подвалов, и хорошо, что мы догадались, закупорили выходы. Оказалось, что подвалы набиты немцами. Снизу в нас летели гранаты и

фаустпатроны, сверху на голову сыпалась штукатурка. Но мы стояли у входов и выходов и отбивались гранатами.

Горячими были минуты, когда загорелись архивы. Все наполнилось дымом, и огонь вскоре пробился туда, где были мы. Оставаться дольше в этом коридоре было невозможно. Пришлось вылезать в окно. Мы разыскали чердачный ход и по нему перешли из горящей части здания в негорящую...

Из рейхстага мы не ушли. Когда прогорело, опять начали штурмовать подвалы».

Вот и все. То ли я так коротко записал, то ли это все, что он рассказал.

На самом деле обстановка была куда драматичнее. Об этом стало известно из рассказов других участников боя.

Да, Щербина был вместе с Пятницким... Отделение Щербины первым достигло подъезда рейхстага и завязало бой в вестибюле. А когда комнаты стали заполняться дымом и когда немцы предприняли контратаку, бойцы попятились.

— Куда вы? Оставайтесь на месте! — закричал Щербина.

Солдаты залегли и стали отстреливаться, забрасывать гранатами показавшихся в проломе немцев.

Зажимая рты, в полумраке долго блуждали по коридорам и залам.

Ядовитый чадный дым все больнее щипал глаза. У людей кружилась голова, в глазах темнело. Оставаться здесь дольше не было возможности.

От сильного удара, по-видимому от попадания фаустснаряда, задрожала стена. Она рухнула у всех на виду, чудом не похоронив бойцов под обломками...

Щербина пробрался на лестницу, ведущую куда-то наверх, очевидно на второй этаж.

— За мной! — прокричал Щербина.

Он тоже наглотался дыму и чувствовал, что задыхается. Он вел людей, но и сам не знал, куда идти. Шел, и за ним вслед шли другие. За белой, видневшейся сквозь дым повязкой. Он верил, что выход найдется, и шел впереди всех...

Таким вот перебинтованным он и был, когда я беседовал с ним.

Я еще не сказал о том, что, когда Кантария и Егоров искали путь на крышу, чтобы водрузить знамя, тот же Щербина и несколько бойцов в рейхстаге охраняли их с тыла.

На этой же площади перед рейхстагом младший сержант Петр Дорофеевич Щербина был награжден орденом Красного Знамени...

Надо бы еще сказать и о бое на мосту через Шпрее и за «дом Гиммлера», и о том, что, когда Петр Пятницкий был убит, его флаг поднял Петр Щербина...

Петр Щербина и Петр Пятницкий. Два военных брата, два героя-бойца... Петру Пятницкому было за тридцать, он был отцом семейства, а Щербина — совсем еще паренек, молодой и неженатый. Дома у него мать... Ему-то, Щербине, и передал Пятницкий свой флаг.

Вот кто этот боец, молоденький, раненный, с перевязанной головой, стоящий на ступенях рейхстага.

КОМБАТ

Только в бою да на переднем крае не бросался в глаза его малый рост...

После нескольких бессонных ночей Неустроев не успел еще прийти в себя и был молчалив. Но ему хотелось самому показать мне эту взрытую огнем площадь перед рейхстагом. Места, где дрались бойцы батальона, которым он командовал. А эта лежащая теперь под ногами площадь вся была загромождена вывороченным камнем, плитами асфальта и просто кусками расщепленного дерева. А здание рейхстага от набережной Шпрее выглядело особенно изуродованным. Гигантский остов пробит снарядами и густо задымлен, и колонны сильно обглоданы. Как лошади обычно обглядывают бревна коновязи...

Я давно и хорошо знал Неустроева. Увидев его здесь, у рейхстага, на этих широких ступенях здания, перед площадью, по которой шел он на штурм, я невольно вспомнил маленькую, затерянную в снегах Калининской области деревеньку Поплавы...

Бои под Поплавами начались еще в 1943 году, осенью. Немцы подтянули на этот участок свежие силы, много техники, и скоро наше наступление здесь приостановилось.

Но месяца через два, зимой, под Поплавами снова заговорила артиллерия... За белыми ближайшими сопками, когда с сумкой на боку я подошел к переднему краю, был слышен один протяжный возглас — голос наступающей пехоты.

В полуразрушенном блиндаже, которых было много на дне оврага, спиной ко мне сидел перед рацией полковник, командир полка, и докладывал:

— Батальон прорвал оборону и сейчас дерется в третьих траншеях. Батальоном командует капитан Неустроев.

В тот день мне так и не удалось встретиться с капитаном Неустроевым... А через месяц я услышал его фамилию снова, на этот раз в боях за деревню Стайки.

Он оказался прямо-таки неуловимым. Как-никак я знал к тому времени всех комбатов дивизии и со многими из них подружил.

Но однажды дивизия вышла из боев. Мы строили оборону на реке Великой...

Снега сошли. Из-под прошлогодней листвы выбивалась первая травка. Вместе с талым снегом с земли нашей стали сходить следы врага.

Какой-то человек, небольшой, в тесном кителе, в сапогах с налипшей к ним красной глиной, ходил по передовой и, стоя над окопом, что-то говорил бойцу, у которого была видна только одна голова, и показывал, как рыть. Он переходил от участка к участку, осматривал новые траншеи, новые ячейки, пулеметные гнезда. Он был очень занят.

Это и был Неустроев.

Потом мы виделись чаще. Но все-таки не очень часто. Встреч с газетчиками он не искал, я потом это понял.

Во время перекура мы лежали на холме, над рекой Великой, среди леса, и он немного разговорился.

Он уралец, из Свердловска. Вернее, из города Березовска, что рядом со Свердловском.

Там, на Урале, он вырос, там у него родители, отец, мать, сестры...

И опять бои. Латвия. Польша. Померания. Одер...

Неустроев был пять раз ранен. Тяжело контужен. Однажды снаряд угодил в землянку, где он находился. Всех засыпало, побило, а Неустроев выжил, хотя и был весь изранен...

Пять орденов на его кителе говорили мне о его пути. Из Старой Руссы — в Германию...

Вот что я вспомнил, когда, перелезая через завалы, мы шли с Неустроевым по площади.

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Историки и статистики еще продолжают подсчитывать, во что обошлась человечеству авантюра главарей третьего рейха, однако уже сейчас можно безошибочно сказать, что ни один ученый не сможет ответить на этот вопрос с точки зрения моральных затрат. Какими весами можно взвесить горе осиротевших детей, отцы которых погибли в пламени войны? Как подсчитать боль и страдание людей, оставшихся калеками оттого, что им пришлось гасить это зловещее пламя? В какие объемы можно вместить изнуряющую тоску и грусть овдовевших солдаток? Таких весов и объемов еще не найдено. Известно только одно: наибольшие утраты и затраты понесли во второй мировой войне советские люди, на чью долю выпала главная тяжесть борьбы с фашистской Германией.

В апреле сорок пятого года мы шли к стенам Берлина с большим моральным счетом.

Месть — плохой советчик в мирных делах, но тогда еще шла война, и мы не могли погасить в себе так называемое шестое чувство: орудия заряжались снарядами, пулеметы и автоматы — боевыми патронами, души воинов — решительностью.

Предстояло жестокое сражение. Жестокое, потому что главари третьего рейха, чувствуя неминуемую гибель, хотели продлить истребление людей. Они не исключили гибель и тех, кто оборонял Берлин.

— С мертвых не спрашивают даже за гибель своих соотечественников,— сознался позже начальник генерального штаба сухопутных войск Германии генерал Ганс Кребс, придя с белым флагом на командный пункт 8-й гвардейской армии.

Они планировали сражение за Берлин как самое кровопролитное за всю историю второй мировой войны. «Зона гибели

миллионов» — так было названо пространство от Одера до стен немецкой столицы, а сам Берлин — «вулканом огня». Три оборонительных обвода с тремя промежуточными позициями опоясывали его. Доты, дзоты со скорострельными пулеметами и автоматическими пушками оседлали все возвышенности и перекрестки дорог. Картофельные поля и пашни густо засевались противопехотными и противотанковыми минами. Перелески и сады опутывались колючей проволокой с взрывающимися «сюрпризами». Мосты и виадуки оснащались сатанинской силой тротила. Под асфальтовую корку дорог и площадей прятались фугасы. Каждый квадратный метр на всем пространстве от Зееловских высот до Тиргартена таил в себе злую силу разлуки человека с жизнью. Я уже не говорю, в какие оборонительные узлы были превращены города и села, дачные поселки, лежащие на пути к Берлину. Каменные особняки, точно крепостные форты, имели свои гарнизоны пулеметчиков и стрелков. На балконах, чердаках и в подвалах свили себе гнезда «рыцари Гитлера» — фольксштурмовцы, вооруженные фаустпатронами против танков. Этот фаустпатрон, покрашенный в белесый цвет, напоминал человеческий череп, насаженный на метровую трубу. Он пробивал любую броню танка с расстояния 60—70 метров. Он был знаменем последних дней третьего рейха. Гитлер делал большую ставку на фаустников.

Чтобы прорваться к Берлину, нужно было преодолеть зону сильных укреплений глубиною более 70 километров, форсировать Нейсе, Даме, Шпрее, а также десятки каналов, рвов, оврагов и долин, которые от весеннего половодья превратились в реки и озера.

Проще говоря, в апреле 1945 года русскому солдату выпало, как в сказке, пройти сквозь огонь, воду и медные трубы. В трубах — подземных коммуникациях Берлина, включая канализацию,— пришлось тоже вести боевые действия.

Опасность быть убитым в последнем сражении подстерегала наших солдат на каждом шагу, но они не могли медлить. Злу нельзя давать времени, оно коварно. Клин вышибается клином, огонь гасится огнем. Поэтому наше наступление через Зееловские высоты к Берлину шло под прикрытием огня из 42 тысяч стволов орудий и минометов. Зона смерти была преодолена за четверо суток.

220-й гвардейский полк, в котором я был заместителем командира по политчасти, шел в авангарде 8-й гвардейской армии, действовавшей в направлении главного удара основных сил 1-го Белорусского фронта.

Между окружной берлинской автострадой и Мюнхенбергом мы освободили лагерь военнопленных. Много было радости и слез. Возник стихийный митинг. Меня подняли на башню танка. Но не успел я сказать и слова, как из тыла лагеря донесся крик. Кричала русская женщина, пленница. Боясь опоздать отблагодарить нас за свое освобождение, женщина бросилась к нам с криком. Бежала через всю площадь, напрямик. На ее пути лежал большой клубок колючей ржавой проволоки. От счастья ничего не видя, она налетела на него и запуталась в нем. Я спрыгнул с башни и помог ей выбраться из этого клубка. Теперь она уже молча посмотрела на меня, затем расстегнула кофточку, достала узелок, развязала его, и у нее на ладони оказалась горсть земли. Взяла щепотку и стала посыпать свои кровоточащие раны.

— Что вы делаете? — закричал подбежавший врач полка.— Гангрена!..

Она взглянула на него уже улыбающимися глазами и сказала:

— Не волнуйтесь. Я три года лечу свои раны этой землькой. Она у меня исцелительная, смоленская...

После этого отпала всякая необходимость в речах. Русская земля-исцелительница. Мы пришли сюда, к Берлину, чтобы больше никогда и никто не топтал нашу святую землю погаными сапогами.

И вот он, «вулкан огня», откуда взметнулось зловещее пламя второй мировой войны. Мы увидели его вечером 21 апреля. Огромное плато развалин. Широкая долина Шпрее от края и до края заполнена дымящимися нагромождениями. Где-то в центре вздымались желтые столбы огня и кирпичной пыли. С неба валились хлопья сажи и копоти — черный снегопад. Земля, деревья, скверы — кругом черным-черно. Весна, но зелени почти не видно, лишь кое-где светлели бледной бирюзой узкие полянки в Трептов-парке и в Карлхорсте. Здесь уже было что-то вроде землетрясения. Оно длилось почти 40 дней и ночей: с начала марта до начала нашего наступления с одерского плацдарма сюда вываливали свой груз ежедневно 2 тысячи американских и английских бомбардировщиков. Однако бомбы не берут городов, они только разрушают их. Разрушенный город сам собой превращается в сплошные баррикады. В нем легче обороняться. А наступать?.. Попробуй разберись в развалинах незнакомого города, где оборонительный рубеж, где просто глыбы рваных стен, лежащих вдоль и поперек улиц. Кому помогали на этом этапе войны американские бомбардировщики,

пусть решают военные историки, исследователи, но нам, солдатам, подошедшим к Берлину, сразу стало ясно, что предстоят грозные и кровопролитные схватки. И удивительный характер наших воинов: они не умеют подставлять спину попутному ветру. Если бы не обнаружились такие неожиданные трудности, подготовка к штурму Берлина шла бы своим чередом, по плану. А планом было предусмотрено начать форсирование Шпрее и штурм Берлина после перегруппировки войск, после того, как подтянутся понтонные бригады, артиллерия и приотставшие части. Такому плану суждено было остаться на бумаге. Жизнь внесла свои поправки.

Едва сгустились вечерние сумерки, как полки и батальоны приступили к форсированию Шпрее. Пока инициатива в руках, ждать нельзя — таков закон боя. И если говорить прямо, то надо признать, что успех форсирования Шпрее и начало штурма Берлина определили не столько оперативно-тактические планы штабов, сколько порыв людей, отказавшихся от отдыха и передышки. На войне опасность не ждут: ожидание опасности изнуряет бойца больше, чем встреча с ней.

Мне выпало переправляться через Шпрее с шестой ротой второго батальона своего полка. Переправлялись ночью на обыкновенных прогулочных лодках, приведенных разведчиками с той стороны. Плыли в кромешной мгле по широкому плесу. Автоматы, гранаты наготове. Лодки ткнулись в берег, и всех как ветром сдуло — вперед! К утру мы уже были в кварталах Адлерсгофа. Это юго-восточный район Берлина, где был расположен аэропорт военно-транспортной авиации — Иоганнисталь.

Берлин, Берлин... На топографических картах он напоминает панцирь черепахи: желтоватые квадраты кварталов срослись в большой щит с зазубренными краями. Куда ни сунься — попадаешь под фланговый огонь. Синие извилистые линии, словно набухшие вены, разделяют город на несколько частей. Это каналы и отводные рукава Шпрее. В центре зеленое пятно — Тиргартен. Он со всех сторон опоясан синей продолговатой петлей. Это остров зла. Там, в Тиргартене, в глубоком подземелье имперской канцелярии, укрывается Гитлер. Туда стремятся прорваться вместе с танкистами Богданова войска армии Берзарина, наступающие с востока, справа от них — войска Кузнецова. Это, так сказать, правое крыло 1-го Белорусского фронта. С юга и юго-востока к центру Берлина прорываются силы левого крыла фронта, в их числе танкисты генерала Катукова и гвардейские полки армии Чуйкова. Позже к этому крылу присоединились танковые части генерала

Рыбалко, представляющие здесь войска 1-го Украинского фронта. Не теряли надежду прорваться в Берлин с северо-запада войска 2-го Белорусского фронта, которые вел по сложному обходному пути маршал Рокоссовский.

Так выглядел Берлин на карте. Так располагались войска трех фронтов по сводке, которая была получена утром 22 апреля.

В этот день мы уже начали штурмовать юго-восточный район Берлина. Здесь особенно усердно поработали американские бомбардировщики. Никаких признаков не осталось от тех кварталов, что были обозначены на карте. Сплошные развалины, не за что зацепиться глазу для ориентира, некуда шагнуть, как в тайге после бурелома, и каждая глыба с рваной арматурой искрится пулеметными очередями. Наяву Берлин оказался сложнее, чем на карте. Но наши войска, в частности полки 8-й гвардейской армии, навязали противнику такую тактику боя, какой он, конечно, не ожидал. Здесь у нас не было взводов и рот. Они числились только на бумаге, а бой вели мелкие штурмовые группы и штурмовые отряды. Вместо атакующих цепей, против которых противник приготовил массированный огонь, действовали одиночки, знавшие общую задачу и хорошо владевшие своим оружием. За плечами каждого был большой опыт уличных боев. Они начали подготовку к штурму Берлина еще под Москвой в сорок первом, у стен Ленинграда и на улицах Сталинграда в сорок втором, в руинах Запорожья в сорок третьем, затем проверили свою готовность в сорок пятом, при штурме Познаньской и Кюстринской крепостей.

Люди, мастера уличных боев, встают перед моими глазами, когда речь идет о штурме Берлина.

Вот высокий белокурый капитан с артиллерийскими эмблемами на погонах, Алексей Очкин. Ему всего двадцать два года. Он заместитель командира полка по артиллерии. Входя в Берлин, Алексей будто забыл или вовсе потерял командный пункт полка. Он, как рядовой солдат, тянул орудия по разбитому железнодорожному мосту через канал Тельтов, грузил снарядные ящики в лодки, разгружал их, все время подгоняя артиллеристов:

— Шевелись! Шевелись!

И сам работал так проворно, что, глядя на него, можно было подумать: хочет перегнать самого себя или в самом деле уже успел схватить за гриву сказочного коня и теперь несется рядом с ним во весь мах, чтобы ветром скорости сбить с себя пламя. Он сгорал от нетерпения — скорее прорваться в Тиргар-

тен и там взять на прицел прямой наводки и ударить залпом батареи если не прямо по Гитлеру, то по его последнему укреплению. Это тот самый Алексей Очкин, что в дни самых жестоких схваток за тракторный завод в октябре сорок второго года возглавил группу пятидесяти семи отважных воинов 112-й стрелковой дивизии и отстоял священный берег Волги.

Алексей Очкин оставил кручу после того, как немецкий снайпер взял его на прицел: пуля угодила ниже глаза и прошила голову насквозь. Казалось, после таких ранений люди не возвращаются в строй, но Очкин выжил. На Курской дуге он своим телом прикрыл амбразуру дзота, но через три месяца снова вернулся в строй. Сколько пропустил он через себя свинца и железа! Осколок пробил ему комсомольский билет, но миновал сердце. Этот человек — легенда. Трижды вернувшийся из мертвых, он пришел штурмовать Берлин. У него особые счеты с Гитлером. И разве могли остановить его укрепления, какие были нагромождены на пути к Тиргартену!

И сколько таких героев штурмовали Берлин! Тысячи, десятки тысяч!

Был в нашем полку комсорг Леонид Ладыженко. Сейчас он живет в Куйбышеве, работает директором вечерней школы рабочей молодежи.

Рассказывать об этом участнике штурма Берлина без связи с его боевыми друзьями и предыдущими событиями невозможно. Поэтому рассказ о нем будет, по существу, рассказом о действиях нашего полка в Берлине.

Впервые я встретился с Леонидом Ладыженко в июле сорок третьего года, в самые жаркие дни боев за плацдарм, который нам удалось захватить на Северном Донце в районе памятника Артему. Бои шли тяжелые. Немцы пустили против нас новые танки — «тигры». Грозные и сильные машины. Теперь можно сказать, что порой нам казалось, эти «тигры» не остановишь. Благо за спиной была река, а танки не лодки, поэтому мы были спокойны за наши тылы, которые находились еще на восточном берегу Донца. В первые дни борьбы с «тиграми» мы понесли большие потери. И вот в наш полк стали прибывать резервы.

Первую маршевую роту я встретил у памятника Артему. Впереди роты вышагивал высокого роста чубастый боец в пилотке набекрень, в хромовых сапогах. На груди у него — автомат, в руке — ветка краснотала, которой он играючи похлопывал по голенищу сапога. Слева угрожающе застучал крупнокалиберный немецкий пулемет. Засвистели мины. Рота залегла, а он, этот, с веткой, продолжал стоять...

— А ты что стоишь? — набросился я на него.

— Я агитатор, из резерва Военного совета армии,— ответил он.

Да, был такой в армии резерв агитаторов из опытных и обстрелянных бойцов. Они вступали в дело только по личному распоряжению командующего армией Чуйкова. Сильные, ловкие, смелые ребята!

— Тем более ты не имеешь права так бравировать! — возмутился я.

Он подошел ко мне вплотную и как бы по секрету объяснил:

— В бою и под огнем осмотрительность нельзя терять. Мины шлепаются вон где, а они лежат...

На следующее утро перед рассветом после короткой беседы об обстановке и задаче полка я послал его в роту бронебойщиков. Уходя, он будто нечаянно оставил небольшую книжицу «Памятка агитатора», в ней записка. Читаю: «Ладыженко Леонид Терентьевич, 1923 года рождения, член ВЛКСМ. До войны работал учителем начальной школы. Домашний адрес: Красноярский край, Междуреченский район, село Междуречье». Сделал он это не случайно. Ему выпало быть на таком участке, откуда едва ли можно было рассчитывать на возвращение в строй. Он это понял с полуслова и оставил записку, чтобы я не забыл сообщить в случае его гибели родным.

В тот день роте бронебойщиков, поставленной в оборону на танкоопасном направлении в районе Голой долины, названной бойцами «долиной смерти», пришлось вступить в неравный бой с семью «тиграми».

Позже мне рассказывали, что Ладыженко пришел в роту в тот момент, когда «тигры» уже начали утюжить окопы боевого охранения. Он возвестил о своем приходе к бронебойщикам игрой на губной гармошке, дескать, все вижу, понимаю, но не унываю.

Удары бронебойных пуль ПТР высекали лишь искры из брони «тигров».

Вскоре вся рота оказалась в окружении. Пал ее командир. Казалось, в роте наступит неразбериха, паника. Но этого не случилось.

— Слушай мою команду! — раздался голос Ладыженко.— Бейте «тигров» по смотровым щелям, заклинивайте башни!

И никто не знает, откуда у каждого расчета появился листок, на котором был нарисован «тигр» и красными звездочками помечены точки, куда надо целиться.

Вскоре башня головного танка была заклинена точным

выстрелом. Говорят, что этот выстрел сделал сам Ладыженко. «Тигр» будто костью подавился. Раздалось еще несколько выстрелов, и второй танк уже не может вынюхивать орудием цель. С заклиненными башнями фашистские танкисты не могли вести прицельный огонь и попятились назад!

Перед штурмом Запорожья на пути нашего полка лежал глубокий противотанковый ров. Сам по себе ров для пехотинцев не такое уж непреодолимое препятствие. Но вся сложность заключается в том, что там, за земляным козырьком рва, укрывались танки. Как только наши стрелковые подразделения появлялись на той стороне рва, эти танки вступали в дело. Огнем и гусеницами они отбрасывали пехотинцев обратно в ров. Противотанковые орудия не могли их взять на прицел: мешал земляной козырек. А навесной огонь корпусной и дивизионной артиллерии не давал нужного эффекта. Что делать? Пришлось созвать боевой актив агитаторов. Это было в ночь на 26 октября. Леонид Ладыженко пришел с опозданием и сразу:

— Разрешите слово.

Говорил он всего три минуты, но после него продолжать разговор не было смысла. Он внес короткое и верное предложение:

— Сегодня же ночью сделать вылазку мелких штурмовых групп за ров, к танкам,— он показал по карте, где они укрываются в ночное время,— и подорвать их на месте стоянки.

К рассвету ни один немецкий танк, поставленный в засаду в полосе наступления полка, не мог действовать. Они остались в засаде мертвыми грудами металла.

После взятия Запорожья Леонид Ладыженко был принят в партию, ему присвоили звание лейтенанта, и он окончательно закрепился в нашем полку.

Еще совсем юный, высокий, подвижной, гибкий, как лозинка, он всегда был там, где трудно, и очень скоро завоевал такой авторитет в полку, что к нему стали прислушиваться буквально все: и командиры, и политработники, и седые ветераны войны. Ругал его только я. Ругал за излишнюю лихость. Но он не мог побороть себя, не мог изменить себе и хотел остаться таким, каким его знали воины полка. Такая уж натура у человека.

Много раз его отправляли в госпиталь с тяжелыми ранениями, но он удивительно быстро возвращался в полк, как правило без продовольственного и вещевого аттестатов — значит, сбежал.

— Зачем ты это делаешь?

— Но ведь я молодой и кости срастаются быстро,— оправдывался он.— Это у лошади кости не срастаются, сломает, бедняга, ногу — и каюк. А я человек.

Вот и поговори с ним. У него тоже были свои счеты с Гитлером.

Посмотришь, бывало, на людей полка и видишь: почти каждый из них чем-то похож на Алексея Очкина или Леонида Ладыженко. Те, что были в дни великой битвы на Волге рядовыми, в Берлин входили сержантами, а бывшие сержанты — офицерами. А сколько у каждого из них накопилось боевого опыта и мастерства! Против таких не устоит ни одна крепость.

Хорошо помню ночь перед штурмом Темпельхофа. Она была короткая и длинная. На рассвете, слышу, открывается дверь. По приглушенному покашливанию и мягкому стуку сапог узнаю: он, Ладыженко. Положил что-то на стол и, видимо раздумывая, будить или не будить, застыл в нерешительности. У порога притаились еще двое.

Я лежал лицом к стенке и, не поворачивая головы, спросил:

— С чем пришел?

— С думами. Каждому солдату нужен проводник по Берлину.

— Где ты их столько наберешь?

— Набрать можно, но это лишние мишени. Демаскировать будут. Поэтому принесли вот, вроде ключи-указки. Утвердить надо.

— Какие еще ключи?

— Взгляните.

У порога стояли старшина Евгений Горчаков и сержант Федор Редькин — оба бывшие моряки Тихоокеанского флота. Помню их по боям за Мамаев курган. В ту пору они были просто рядовыми пехотинцами. Отважные люди, но абсолютно не знали и не признавали пехотной тактики, не любили и не умели окапываться. «Давай вперед — и никаких». Но вскоре боевая жизнь научила их окапываться и понимать тактику наземного боя. Теперь они настоящие пехотинцы: один — комендант штаба, другой — помкомвзвода разведки. Они, готовясь к штурму Берлина, очень старательно изучали немецкий язык.

— Это их решил ты сделать «ключами» от Берлина? — спросил я Ладыженко.

— Нет,— ответил он,— с ними я размножил «ключи к Берлину». Целую ночь бегали. Тут кинофабрика есть, и типогра-

фию нашел. И вот сделали.— Он показал на пакет, лежащий на столе.

Развернул пакет. На листах фотокопия плана Берлина. Центр обведен двойным пунктиром. Наверху надпись: «Добьем врага в его собственной берлоге». Внизу справа и слева названия улиц и площадей, обозначенных на плане цифрами. На обороте во всю страницу нарисован ключ и мелким шрифтом вписана справка: «Этот ключ от Берлина взят русскими войсками в 1760 году. С тех пор прошло 185 лет. Кому теперь его вручит история — зависит от вас, гвардейцы!»

— Ну, как? — не вытерпев, спросил Ладыженко.

— Размножить бы надо...

— Это уже сделано. Если утвердите, сейчас же будет у каждого комсомольца.

— Почему только для комсомольцев? — спросил я.

Ладыженко безусловно ждал такого вопроса.

— Я считаю, теперь все комсомольцы,— ответил он.— Это вот когда нас к Волге прижимали, тогда и меня можно было считать стариком, а теперь посмотришь на седого бойца, он того и гляди в комсомол запросится...

— Теперь каждому подольше пожить охота,— добавил Редькин.

— Листовок на всех хватит,— сказал Горчаков.— Бежим раздавать.

Хлопнув дверью, они почти вприпрыжку пробежали мимо окон.

Утро 25 апреля. Перед нами аэродром Темпельхоф. Правее сосредоточиваются главные силы дивизии — одним-то полком такое огромное поле не взять. И пока там идет сосредоточение, командир полка Михаил Захарович Мусатов, среднего роста седеющий подполковник, направляет несколько штурмовых групп к западной кайме аэродрома — занять там выгодные позиции и отвлечь внимание противника от направления удара главных сил дивизии.

Михаил Захарович начал войну политруком роты, затем стал командовать батальоном. В дни боев на Днепре командовал полком. После форсирования Вислы его назначили заместителем командира дивизии. В первый день наступления с Одерского плацдарма он пришел к нам, заменил выбывшего из строя командира полка Михаила Степановича Шейкина и так остался у нас почти до самого конца штурма Берлина. Волевой и опытный командир. Я научился понимать его с полуслова. И сейчас здесь, перед аэродромом, его решение действовать мелкими

группами мне показалось самым верным и самым точным. Уговорив его остаться пока на командном пункте полка, я пошел в группы.

Добрался с автоматчиками до железнодорожного полотна, что огибает аэродром с южной стороны. Плотно прижимаясь к шпалам, ползу между рельсов, не отрывая глаз от идущих впереди. Миновав стрелочный пост, мы стремительным броском пробегаем через развалины моста и закрепляемся на бугре. Перед глазами взлетное поле. Кругом пальба, взрывы, над взлетными бетонированными дорожками покачивается слой дыма. Кое-где курятся свежие воронки от снарядов. Центр аэродрома не тронут: гитлеровцы охраняют его для взлета, наши артиллеристы — для посадки самолетов. Кому он сейчас больше нужен, трудно сказать, но ясно одно: аэродром надо немедленно захватить: здесь стоят, как показали пленные, самолеты начальника генштаба Кребса и бронированный «Юнкерс» Гитлера. Я не верил этому, но когда допросил лично помощника коменданта аэродрома, взятого в плен на рассвете, то еще раз услышал:

— Да, здесь есть один самолет фюрера. Он стоит в полной готовности для взлета...

Над головой загудели моторы знакомой девятки штурмовиков. Они подошли к цели так низко, что немецкие зенитчики не успели открыть огонь. Но что такое? Летчики! Один из них открывает стрельбу по зенитчикам, а другие, не разворачивая своих машин на штурмовку целей, идут на посадку прямо в центр поля. «Они, вероятно, считают, что мы уже захватили аэродром, и потому так смело приземляются»,— с волнением подумал я.

— Погодите! Там еще фашисты! — крикнул кто-то над моей головой. Поднимаю глаза: Леонид Ладыженко. Не верю себе.

— Это ты? Жив?..

— За пилоткой вернулся,— ответил он как ни в чем не бывало.— Там возле ангаров все в порядке, сейчас там наши ребята гранатами работать начнут...

— Спасибо,— вырвалось у меня.

Через минуту здесь появился командир полка Мусатов.

Еще минута — и на аэродроме началось что-то невероятное. Вдоль бетонированных взлетных полос вместо самолетов понеслись танки, и на такой скорости, словно они собирались подниматься в воздух; в это время приземлившиеся штурмовики вступили в наземный бой, открыв огонь из пулеметов и пушек по крышам ангаров, где засели фашистские автоматчики.

Мусатов спокойно наблюдает за происходящим: наши отряды действуют скрытно и умело. Мелкие штурмовые группы оттесняют вражескую охрану от главного здания аэропорта. Лишь один танк с десантом автоматчиков слишком увлекся влево, и Мусатов подал команду по рации:

— Соловьев, Соловьев, держись правей...

Схватка за аэродром кончилась так же неожиданно быстро, как началась: гарнизон аэродрома капитулировал.

— Вот уже действительно огнем и колесами, винтом и гусеницами помогают пехотинцам все рода войск! — вслух подумал я, когда мы вошли на площадку аэродрома.

— Пора учиться и богу молиться,— ответил Мусатов, вероятно вспомнив беседу генерала Чуйкова с летчиками, танкистами и артиллеристами, собравшимися у него перед наступлением на Берлин.

Правильно толкуют, говорил тогда Чуйков, пехота есть царица полей, артиллерия — бог войны, летчики — короли воздуха, танкисты — гроза и смерть врагу, но надо знать, что все эти царицы и короли сами по себе не выигрывают сражений без главного бога войны — без взаимодействия...

Василия Ивановича Чуйкова в дни битвы на Волге солдаты любовно называли «генерал упорство». Перед штурмом Берлина он был озабочен делом организации четкого взаимодействия между всеми видами и родами войск, чтобы не допустить заминки или спада наступательного порыва. Теснить и теснить противника без остановок, без передышек. В этом, пожалуй, главный смысл штурма. И надо сказать, в полосе наступления 8-й гвардейской армии противник не получил передышки ни на час, ни днем ни ночью. Чуйков требует от своих полков безостановочных действий: вперед и вперед, через проемы стен, через подвалы и нагромождения развалин.

Здесь, в Берлине, Чуйкова называли «генерал штурм».

По рации запросили из штаба корпуса:

— Кто взял аэродром?

— Все брали,— ответил Мусатов.

— Не понимаю!

Мусатов собрался изложить ход боя, но в этот момент к нему подошел командир девятки штурмовиков.

— Разрешите, я доложу.

Мусатов передал ему микрофон.

— Говорит «Сокол-восемь» Березин. Я говорю с земли. Вы спрашиваете, кто взял аэродром? Запишите: аэродром Темпельхоф взят общими усилиями — взаимодействием.

На утро 26 апреля было назначено начало штурма центральных районов Берлина, или, точнее, старого Берлина.

Нашему полку придали еще один батальон танков. Ночью мы провели разведку боем. Перед стенами старого Берлина фашисты сопротивляются с возрастающим упорством, в плен не сдаются и не отступают. Это отчаяние обреченных.

— Ну что ж, посмотрим,— ответил на это Мусатов.

Едва дождавшись темноты, он поднимает полк и дает сигнал «Вперед!»

— Прорвемся через этот пояс, а там будет видно,— сказал он мне, когда я направился во второй штурмовой отряд, которому приказано сопровождать танки.

Ровно в двадцать четыре часа танки с полного хода таранным ударом врываются во двор корпуса, обороняемого фашистами. В проломы устремляются штурмовые группы. Увлеченные успехом, гвардейцы таким же приемом овладевают еще одним корпусом.

Рядом со мной парторг полка капитан Александр Николаевич Евдокимов, среднего роста, внешне спокойный и даже, кажется, неповоротливый человек. Но это только кажется. На груди «Золотая Звезда» Героя. Он получил ее за умелые и дерзкие действия на Висленском плацдарме. Там он возглавил батальон, стремительным броском ночью прорвался в тыл противника и тем обеспечил успешные действия дивизии. Бывший инженер текстильного комбината Иванова, начавший войну рядовым солдатом, здесь, в Берлине, стал капитаном и парторгом полка.

Проскакиваем с ним в горловину прорыва вслед за танками. Я с напряжением смотрю вперед. Танки мчатся на большой скорости, высекая искры из мостовой. Судя по всему, командир полка решил и следующий квартал брать. Правильно решил: бей по клину, коль трещина обозначилась.

Во дворе шестиэтажного корпуса мы догоняем танк и тут же слышим голос старшины группы обеспечения:

— Здесь будет пункт боепитания.

— Товарищ старшина, пяток гранат можно? — просит его Евдокимов.

— Пяток многовато, товарищ парторг. Экономить надо.

— Почему?

Старшина, не ответив на вопрос, сует ему в руки две гранаты.

— И только?

— Больше не могу.

Мы выходим со двора, прислушиваемся: справа густо стрекочут ППШ, а где-то во дворе соседнего корпуса хлопают выстрелы миномета. Хорошее оружие миномет: из него можно стрелять через дом. Однако куда же палят при такой темноте? А вот уже сигнал «Закрепляйся!» Три ракеты выписывают в небе желтые дуги: «Закрепляйся!», «Закрепляйся!»

Апрельская ночь коротка. Начинается рассвет. Горячая перестрелка, частые взрывы гранат и фаустпатронов доносятся с того участка, где наши отряды прорвались через узкую горловину: противник пытается ликвидировать прорыв.

Появляется командир полка. Он знакомится с обстановкой. С ним разведчик дивизии Виктор Лисицын, высокий, белокурый капитан, и старшина группы обеспечения. Наша позиция Мусатову понравилась: из окна здания просматривается весь переулок и часть широкой улицы, что пересекает сереющие вдали развалины.

— Ничего, только окна надо не горшками и стульями укреплять, а вещами попрочнее,— замечает он.

— Есть попрочнее,— отвечает Файзулин, известный своей отвагой автоматчик полка.

— Под лестницей кирпичи, используй их.

Посмотрев еще раз через окно на переулок, Мусатов приглашает меня пройтись с ним по отрядам. Евдокимов остается на месте.

Закончив обход позиций полка, занявшего круговую оборону, Мусатов с удовлетворением отмечает:

— Ночной бой проведен успешно. Молодцы гвардейцы! Правильно поняли обстановку и почти все заняли такие позиции, что придраться не к чему...

Мусатов пытается связаться по радио со штабом дивизии, но передать обстановку не удается: в эфире тесно, полков в Берлине не один и не два и все работают на одной волне. К тому же радист предупредил, что противник запеленговал его рацию и внимательно подслушивает все сигналы. Значит, надо молчать.

Выключив рацию, Мусатов выпрашивающе смотрит на капитана Лисицына:

— Можно ли доставить в штаб дивизии подробное донесение?

— Можно, товарищ подполковник.

— Каким путем?

— Один мой разведчик говорит, что есть ход по каким-то подземным трубам.

— В метро?

— Нет, метро затоплено водой. Разрешите...

Мусатов, подумав, отвечает:

— Действуй!

Часа через два радист поймал позывные командира дивизии и вступил в связь. В микрофоне рации послышался голос командующего армией:

— Молодцы!

Чуйков одобряет действия наших штурмовых отрядов и дает понять, что атака дивизии по расширению прорыва отменяется: надо ждать большой зорьки — всеобщего штурма.

Теперь нам стало ясно, что Лисицын прибыл в штаб дивизии с картой, читая которую командование поняло, как далеко вклинился наш полк в оборону старого Берлина.

К полудню, как следовало ожидать, обстановка в полку несколько осложнилась: противник навалился тремя батальонами пехоты на штурмовые отряды второго батальона, и Мусатов вынужден был бросить туда почти весь свой резерв.

Слева, на той стороне переулка, перед нашим наблюдательным пунктом рухнула стена четырехэтажного дома. Постепенно из оседающей пыли вырастает, как вырубленный из красного камня, с гранатой в руке Мусатов. Он стоит у рации, приготовившись что-то сказать в микрофон.

— Как дела в «доме отдыха»? — спрашивает его Чуйков.

Командующий, вероятно, чувствует, что нам час от часу не легче.

В самом деле, нам пришлось отбиваться огнем автоматов и гранатами от фашистов, окружавших дом. Противнику удалось расчленить второй и третий отряды: полк рассыпался на несколько самостоятельных гарнизонов, состоящих из одного-двух гвардейцев. Судя по всему, нас решили уничтожить по частям. Удастся ли врагу осуществить свой план? Ведь на ликвидацию отдельных групп и гарнизонов противник вынужден втягивать в бой значительно больше сил, чем на окружение целого полка.

Наиболее жестокий бой, как мне показалось, разгорелся перед нашим домом. И в тот момент, когда в узкий переулок, ведущий в центр квартала, втянулась колонна фашистских автоматчиков, группа саперов подорвала стену. Что там сейчас происходит, нам не видно: Мусатов у рации, я у дверей с автоматом.

— Держись,— это Чуйков говорит Мусатову,— сейчас поможем тебе солистами с участием «Раисы». Держись...

Мусатов, откашлявшись и выплюнув сгусток пыли, отвечает:

— Постараюсь...

Издали донесся раскатистый залп артиллерии. Частые взрывы снарядов «катюш» пришлись как раз по скоплению противника.

— Эх, наддай еще, милая! — восклицает Мусатов, видя, как рвутся снаряды.

Рядом с ним Ладыженко. Он не слышит: взрыв гранаты оглушил его, но видит и восторгается удачным залпом «катюши». Странно видеть восторг человека, лицо которого залито кровью.

А артиллерия главных сил армии все усиливает огонь. Она окаймляет границы осажденного гарнизона сплошными взрывами снарядов, и подход свежих сил противника, стремящихся уничтожить наш полк, прекращается.

Под ногами ощущаются толчки. Земля вздрагивает, а склоны берлинского неба багровеют со всех сторон. Занялась заря. Идет заключительный штурм центрального укрепленного района Берлина.

К полудню 28 апреля штурмовые отряды полка соединились с главными силами дивизии. Части противника, осаждавшие наш полк, сами оказались в окружении и вскоре капитулировали.

Это было в южной части Вильмерсдорфа (теперь эти кварталы находятся в американском секторе Западного Берлина).

Вечером 29 апреля наши воины прорвались к каналу Ландвер. Отсюда до имперской канцелярии, в подземелье которой находилась ставка Гитлера, 400 метров. 400 метров по прямой — 500 шагов!..

Форсировать канал с ходу не удалось. Его обороняли батальоны особой бригады «Лейбштандарт Адольф Гитлер», или, как их называли, «костоломы Монке». Генерал Монке, командир этой бригады, прославился своей свирепостью со всеми, кто попадал в число недовольных фюрером. В бригаде Монке было девять батальонов. Они обороняли Тиргартен с юга, включая имперскую канцелярию.

Утром 30 апреля за час до начала штурма Тиргартена знаменщик полка сержант Николай Масалов принес знамя к каналу Ландвер. Было тихо, как перед бурей. И вдруг в этой тишине, тревожной и напряженной, в приглушенном треске пожаров послышался детский плач. Словно из-под земли звучал голос ребенка:

— Муттер, муттер...

Николай Масалов чутким ухом уловил, где плачет ребенок.

— Разрешите спасти ребенка, он под мостом.

Добираться до горбатого моста было чрезвычайно опасно. Площадь простреливалась со всех сторон, под коркой асфальта таились мины. Николай Масалов медленно полз вперед, осторожно прощупывал каждый бугорок, каждую трещину на асфальте. Вот он пересек набережную, укрылся за выступом бетонированной стены канала. И тут снова услышал голос ребенка. Масалов поднялся во весь рост — высокий, сильный гвардеец, кавалер двух орденов Славы. Он был призван в армию из Сибири Тисульским райвоенкоматом. Воевал под Москвой, на Мамаевом кургане, после форсирования Вислы стал знаменщиком полка. Ни пули, ни осколки не могли остановить его.

Масалов, пренебрегая опасностью, броском перекинулся через парапет канала. Прошло пять, семь, десять минут. Неужели напрасно рисковал Масалов?

Несколько гвардейцев, не сговариваясь, приготовились было к броску под мост. И тут все услышали голос сержанта:

— Я с ребенком. Пулемет справа, на балконе дома с колоннами. Заткните ему глотку!..

Мне, кажется, никогда не доводилось видеть такого дружного и сильного огня, какой был открыт по дому с колоннами. Гвардейцы прикрывали выход знаменщика из опасной зоны, ведя огонь из всех видов оружия. Масалов невредимым вышел из-под моста с трехлетней девочкой на руках.

Форсировать канал в тот день не удалось. Очень сильный огонь вели с той стороны пулеметчики Монке. К вечеру саперы ухитрились снять мины и обезвредить два фугасных заряда, подвешенных под фермами моста. Теперь, казалось, можно пустить здесь танки. Однако первая попытка не дала результата. Танк — крупная цель, и, как только он появился перед мостом, на него обрушился шквал огня. Из глубины Тиргартена били противотанковые орудия. Танкисты попросили усилить на этом участке дымовую завесу. Но и это не помогло. Под прикрытием дыма успели проскочить через мост только две группы автоматчиков: одна — во главе с Леонидом Ладыженко, вторая — с бывшим моряком Тихоокеанского флота, теперь гвардии старшиной, Евгением Горчаковым. Однако развить их успех не удалось.

Казалось, на том и закончатся попытки танкистов прорваться в Тиргартен с юга. Но их выручила находчивость пехотинцев, которые предложили пустить через мост горящий

танк. Как? Просто: броня штурмовых танков прикрывалась от удара фаустпатронов мешочками с песком; эти мешочки были облиты соляркой, и танк можно было пускать в дело горящим, не подвергая опасности экипаж. Эксперимент удался. Первый танк на подходе к мосту воспламенился. Эсэсовцы растерялись: горящий танк продолжает двигаться и ведет огонь!.. Этой растерянностью воспользовался экипаж. Проскочив мост, горящий танк ворвался во двор углового дома.

К утру 1 мая действовавшие справа и слева полки тоже захватили на той стороне канала два небольших плацдарма.

На горбатом мосту появились немецкие парламентеры с белыми флагами. Среди них был, как потом выяснилось, начальник генерального штаба фашистских войск генерал Ганс Кребс. Его отправили на командный пункт Чуйкова. Там он пытался начать переговоры об условиях перемирия.

Генералу Кребсу было сказано:

— Никакого перемирия, только безоговорочная капитуляция.

Парламентеры вернулись через несколько часов — какие это были длинные часы! — и боевые действия возобновились.

Утром 2 мая штурмовые отряды полка стали продвигаться к стенам имперской канцелярии. Дом, в котором оставались группы Ладыженко и Горчакова, был взорван немцами, но наши товарищи, к счастью, уцелели.

— Все помяты, но мертвых нет,— доложил врач.

Кончился штурм, и я тотчас же направился в санроту проведать Ладыженко и его товарищей. Не успел я поздороваться и задать первый вопрос: «Как себя чувствуете?» — как сами они начали рассказывать. Леонид Ладыженко молчал. Он не мог говорить: все лицо его было забинтовано (пуля пробила щеку насквозь), оставлены лишь небольшие отверстия для рта и глаз. Я дал ему карандаш, блокнот:

— Напиши, что хочешь сказать.

И вдруг он начал вздрагивать всем телом.

— Ты что плачешь, тебе тяжело?

Он покачал головой, затем взял карандаш и крупными буквами написал: «Нет, мне сейчас легко, от радости плачу — мы победили!»

Боевые действия в городе закончились в десять часов утра 2 мая. Войска армии генерала Кузнецова взяли рейхстаг, они подошли к нему с севера; войска генерала Берзарина, овладев в жестоких боях восточной частью Берлина, также вышли к рейхстагу; войска генерала Чуйкова взяли имперскую канце-

лярию. Приказ о капитуляции берлинского гарнизона подписал начальник обороны Берлина генерал Вейдлинг. Он пришел на командный пункт Чуйкова со своим начальником штаба и сказал, что сопротивление теряет всякий смысл, что его войска прекращают огонь и готовы сложить оружие. Это случилось после того, как батальоны бригады Монке, оборонявшие подступы к имперской канцелярии, были смяты.

Вейдлинг сказал, что он готов был дать такой приказ еще два дня назад, но не был уверен, что ему подчинятся войска СС.

В завещании, которое подписал Гитлер в четыре часа 29 апреля 1945 года, говорилось, что президентом Германии назначается адмирал Дениц. Но Дениц в эти дни находился в Мекленбурге. Судя по этим показаниям и документам, можно подумать, что немецкие войска, оборонявшие Берлин до последнего патрона, действовали самостоятельно. Но это не так. Как показывает личный секретарь Гитлера фрау Винтер, руководители третьего рейха ушли от руководства войсками не 29 апреля, а несколько позже, после того, как советские войска оказались у стен имперской канцелярии. Гитлер и Геббельс долго ждали генерала Кребса, который в это время ходил с белым флагом к русскому командованию для переговоров об условиях капитуляции. Кребс вернулся в четырнадцать часов 1 мая.

— Русские не идут ни на какие условия. Только безоговорочная капитуляция,— доложил он.

После этого Гитлеру и Геббельсу осталось одно: кончить жизнь самоубийством. Другого выхода у них не было.

Когда мы вошли во двор имперской канцелярии в девять часов тридцать минут утра 2 мая 1945 года, труп Геббельса еще дымился, а над ямой, в которой были запрятаны обгоревшие Гитлер и Ева Браун, струились испарения... Мрак и смрад — вот все, что оставили после себя главари третьего рейха.

После заключительного штурма Берлина на улицах города несколько часов стояла оглушительная тишина. И вдруг все ожило. Это началось около трех часов дня 2 мая. На площадях и улицах появились толпы немецких мирных жителей, возле русских походных кухонь возникали стихийные митинги. В Берлине началась новая жизнь. Будем верить — новое летосчисление столицы миролюбивой Германии начнется с этого дня, остальные шесть с лишним веков останутся по ту сторону водораздела, который пролег в нашем веке между войной и миром.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРА МУЖЕСТВА. М., Политиздат, 1965.
576 с. с илл.
На обороте тит. л.: Сост. В. С. Локшин.
9(С)27

Художники *В. Талашенко* и *Н. Симагин*
Технический редактор *А. Данилина*

Фото корреспондентов *М. Альперта, А. Егорова, О. Ландер, А. Капустянского, М. Редькина, И. Шагина, Е. Халдея, Н. Хандогина, Г. Хомзора* и др.

Подписано в печать с матриц 24 мая 1965 г. Формат 60 × 84¹/₁₆. Физ. печ. л. 36 + 1¹/₈ л. иллюстрации. Условн. печ. л. 33,79. Учетно-изд. л. 33,33. Тираж 200 000 (100 001—200 000) экз. А 04118. Заказ № 3158. Цена 1 р. 05 к.

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография «Красный пролетарий» Политиздата, Москва, Краснопролетарская, 16.




МЕРА МУЖЕСТВА